ЮЛИАН
СЕМЕНОВ

wirtschaftsmi
1687/43
dieses Geschäftszeichen und den
weiteren Schreiben anzugeben
Reichsminister für Rüstung
Kriegsproduktion - Rüstungsamt -
von Herrn Kapitän z.S. v. Henrici
- OVIA -
E 1 1
помнят роли, сыгранные ими.
"Подруги" Зои Федоровой и
"Двое" Виктории вошли в анна-
лы искусства навсегда — как до-
кументы эпохи.
— Мама была у меня в гостях
несколько раз,— рассказала Вик-
тория. — Однако, когда я пригла-
сила ее в восьмидесятом, вскоре
после того как здесь выпустили
мою книгу "Дочь адмирала" —
отец умер в звании адмирала
флота США, — маме отказывали
в выдаче паспорта. Я обратилась
за помощью к тому сенатору,
которого голосовала, — Бро
После совещания в его
мне ответили: "Если бы
просилась в эмиграцию, с
вам, для воссоединения
мы бы могли оказать ка
помощь. В ином случае
невская администрация
кажет: "Давать или не
выездной паспорт для
в гости — наше
дело..."
Год жизни - это и мало
Тысячи писем, поступ
Продолжать борьбу
Выступать против той
и его банде создать камеры
Катыни, а его ученикам - п
"Совершенно Секретно" - это
На этом мы стояли и будем стоять.
Приветствия от Библейского Общест
актеров, художников, режиссеров,
schaftsminister
7/43
Geschäftszeichen und den
eren Schreiben anzugeben
minister für Rüstung
ktion - Rüstungsamt
z.S. v. H

Антон Семенов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ

Семенов

ТОМ ТРЕТИЙ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ 1944-1945

Москва
МШК МАДПР, ДЭМ
1991

ББК 84. 3Р7
С 30

Редакционная коллегия
Л. АННИНСКИЙ
А. БЕНЕНСОН
В. КОЗЬМИН-БОРОЗДИН
О. СУЛЕЙМЕНОВ

Художники
В. БЕЛЯКОВ, В. ПОМОЧИЛИН,
М. ШЕСТОПАЛ

С $\frac{\text{4702010201-009}}{\text{МШК МАДПР, ДЭМ}}$ Без объявл.

ISBN 5-85207-023-8(т. 3)
ISBN 5-85207-019-X

© Ю. С. Семенов. 1991
© Составление и оформление
МШК МАДПР, ДЭМ 1991

МАЙОР „ВИХРЬ"
(1944–1945)

Председатель имперского народного суда Фрейслер то и дело срывался на крик. Он просто не мог слушать показаний обвиняемого, перебивал его, стучал кулаком по столу и чувствовал, как от гнева холодеют ноги.

— Вы даже не свинья! — кричал он. — Вы гибрид осла и свиньи! Отвечайте: какими мотивами вы руководствовались, передав красным сведения государственной важности?!

— Я руководствовался только одним мотивом — любовью к родине, — ответил обвиняемый, — только любовью к родине...

— Наглец! Вы не смеете говорить о любви к родине! У вас нет родины!

— Я очень люблю свою родину.

— Какой же любовью вы ее любите?! Вы ее любите любовью гомосексуалиста! Ну?! Кому вы передали эти данные в Кракове?

— Этот вопрос уже не представляет для вас интереса. Те, кому я передал сведения, вне сферы вашей досягаемости.

— Вы не просто гибрид осла и свиньи! Вы еще и дурак! В горах Баварии уже создано сверхмощное оружие уничтожения, которое сокрушит врагов рейха!

— Не тешьте себя иллюзиями. Сейчас март сорок пятого, а не июнь сорок первого, господин председатель.

— Нет, вы не просто дурак! Вы наивный дурак! Возмездие грядет так же неумолимо, как рассвет и как восход солнца нашей победы! Лишь такие разложившиеся типы, как вы, не видят этого! Отвечайте суду всю правду — это единственное, что может сохранить вашу вонючую, трусливую, продажную жизнь!

— Я не буду больше отвечать.

— Вы отдаете себе отчет, чем это вам грозит?

— Мне уже больше ничего не грозит. Я сплю спокойно. Не спите вы.

— Уведите этого негодяя! Уведите его! Мне противно видеть это гнусное лицо!

Когда обвиняемого увели, Фрейслер надел свою четырехугольную шапочку, оправил мантию и сказал:

— Объявляется перерыв для вынесения приговора!

Он всегда объявлял перерыв за десять минут перед обедом: председатель имперского народного суда страдал язвенной болезнью, и врачи предписали ему не только тщательнейшим образом соблюдать жесткую диету, но и принимать пищу по минутам.

Все это, происшедшее в марте 1945 года, было одной из развязок истории, начавшейся прошлым летом...

Центр. Совещание в полевом штабе Гиммлера 12 мая 1944 года было прервано в связи с вызовом рейхсфюрера СС к Гитлеру. Однако часть вопросов, включенных в повестку совещания, была обсуждена. Вопрос о переводе партийных руководителей Восточной Пруссии на нелегальное положение в связи с акциями русских войск был оставлен до следующего совещания.

Был рассмотрен вопрос о судьбе крупнейших центров славянской культуры. Привожу запись:

«Гиммлер. Одной из наших серьезных ошибок, я убежден в этом, было крайне либеральное отношение к славянам. Лучшим решением славянского вопроса было бы копирование, несколько, правда, исправленное, еврейского вопроса. К сожалению, мои доводы не были приняты во внимание, победила точка зрения Розенберга.

Кальтенбруннер. Я глубоко убежден, что хорошее предложение никогда не поздно провести в жизнь.

Гиммлер. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Если бы мы начали активное, энергичное решение славянского вопроса два года назад, нам бы сейчас не приходилось готовить себя к уходу в подполье. Давайте трезво смотреть на вещи. Теперь мы обязаны саккумулировать наши усилия, с тем чтобы постараться решить в максимально короткий срок то, что не было до сих пор решено.

Кальтенбруннер. Я думаю, наши предложения о полном уничтожении исторических очагов славизма — Кракова, Праги, Варшавы и других подобных им центров — наложат определенную печать даже на возможное (я беру крайний случай) возрождение этой нации. По своей природе славянин не просто туп, но и сентимен-

тален. Вид пепелищ будет соответствующим образом формировать будущие поколения славян. Крушение очагов исторической культуры есть форма крушения духа нации.

Гиммлер. Армия не согласится на немедленное уничтожение всех подготовленных по вашему проекту центров. Армия не может воевать в пустыне. Вопрос, если мы думаем его решить согласованно, вероятно, может ставиться таким образом, что уничтожение центров славизма должно быть непреложно проведено в жизнь либо после нашей окончательной победы, либо, на худой конец, в последние дни перед отступлением армии из названных вами городов.

Бройтигам. Стоило бы продумать вопрос об эвакуации части наиболее ценных исторических памятников.

Кальтенбруннер. Бройтигам, мне смешно вас слушать. Вы дипломат, а несете чушь.

Гиммлер. Определенный резон в предложении Бройтигама есть. Но к этому пункту мы вернемся на следующей неделе. Кальтенбруннер, свяжитесь с Кейтелем или Йодлем; по-видимому, лучше с Йодлем, он умнее. Обговорите с ним частности и детали. Выделите несколько наиболее крупных центров — я согласен с вами: Краков, Прага, София, Братислава...

Кальтенбруннер. Братислава — чудный город, в окрестностях прекрасная охота на коз.

Гиммлер. Перестаньте перебивать меня, Кальтенбруннер, что за дикая манера!

Кальтенбруннер. Все-таки Братислава — пока что столица дружественного нам словацкого государства.

Гиммлер. Порой я не знаю, как реагировать на ваши умозаключения: то ли смеяться, то ли бранить вас. Я порву листок соглашения со Словакией в тот час, когда мне это будет выгодно. Не думаете ли вы, что договор со славянами — любой их национальной формой — может быть серьезным?

Кальтенбруннер. Итак, мне нужно получить принципиальное согласие армии на акцию по уничтожению этих центров?

Гиммлер. Да, обязательно, а то генштаб начнет тревожить фюрера жалобами на нас. К чему нам лишняя склока! Мы все смертельно устали от склок. До свидания, друзья...

Бройтигам. Всего хорошего, рейхсфюрер.

Кальтенбруннер. До свидания. Рейхсфюрер, вы забыли свое перо.

Гиммлер. Благодарю, я очень к нему привык. Швейцария делает великолепные ручки. Молодцы! «Монблан» — это во всех смыслах высокая фирма...»

Как мне стало известно, Кальтенбруннер уже договорился с Йодлем о совместной (гестапо, СС, СД и армия) акции по уничтожению крупнейших центров славянской культуры. *Юстас.*

Эта шифровка пришла из Берлина в Центр 21 мая 1944 года. В тот же день она была передана с нарочными всем командующим фронтами. Одновременно в Берлин — по каналу Эрвина и Кэт, радистов Штирлица, работавших с ним в Берлине уже не первый год, — была отправлена радиограмма:

Юстасу. Найдите возможность посетить Краков лично. *Центр.*

Через месяц в разведотделе штаба фронта были составлены документы следующего содержания:

«Группа военной разведки в составе трех человек: руководитель — Вихрь, заместитель по разведработе — Коля и радист-шифровальщик — Аня, откомандированные Генеральным штабом РККА для выполнения специального задания, прошли подготовку по вопросам, связанным с паспортным режимом генерал-губернаторства и — отдельно — Кракова; уточнены легенды, шифры, время и место радиосвязи.

Задачи группы — установление способов, времени, а также лиц, ответственных за уничтожение Кракова.

Способы выполнения оговорены с руководителем Центра по выполнению специального задания полковником Бородиным.

Работа: после выброски и приземления — сбор. Определять местонахождение друг друга по миганию фонариков. Центром сбора является Аня. Если у кого-либо ушиб или ранение — необходимо перемигиваться фонариками

чаще, с интервалом через одну минуту, а не через три, как это установлено. Световые различия: радистка — белый цвет, руководитель — красный, заместитель — зеленый.

Сразу после приземления закапывают парашюты и начинают передвижение к северу — три километра. Здесь — привал; переодеваются и устанавливают связь с Бородиным. После этого рация должна быть закопана, двое остаются в лесу возле рации, а заместитель по разведке отправляется в село Рыбны. Там он должен выяснить наличие немецких патрулей. Если в селе нет войск и патрулей, Вихрь идет в город Злобнув, на улицу Грушову, дом 107, к Сигизмунду Палеку и передает ему привет от его сына Игнация, полковника Войска Польского. Сигизмунд Палек выводит Вихря через своих людей на связь с шифровальщиком Мухой. Вихрь подчиняет себе Муху.

Если по каким-либо причинам все члены группы не собрались после приземления или дом Палека занят немцами, местом встречи устанавливается костел в селе Рыбны: каждый день, с седьмого по десятое, с десяти до одиннадцати утра. К руководителю подойдет Муха — молодой человек в потрепанной немецкой форме без погон. Вихрь должен быть одет в синий костюм, кепка в правой руке, в левой — белый платок, которым он будет утирать лоб справа налево быстрым движением. Пароль: «Простите, пожалуйста, вы здесь старушку с двумя мешками не видели?» Отзыв: «По-моему, она недавно уехала с попутной машиной».

«Оснащение группы «Вихрь»:

оккупационных марок — 10 000
рейхсмарок — 2000
золотых часов — 8 штук
костюмов — 4 (два бостоновых, два шевиотовых, сшитых по спецзаказу во Львове)
ботинок — 4 пары
сапог — 2 пары
сорочек — 2 пары
носков шерстяных — 2 пары
носков нитяных — 3 пары
платков носовых — 4 штуки
пистолетов парабеллум — 3 штуки
обойм к ним — 6 штук
гранат — 8
автоматов ППД — 3 штуки
рация — одна
комплектов питания — 2

Вещи переданы капитаном Высоковским (подпись).
Вещи приняты майором Вихрем (подпись)».

В тоненькую папку, приобщенную к материалам операции «Вихрь», были вложены следующие характеристики:

«Бурлаков Андрей Федорович, русский, родился в Тамбове в 1917 году, холост, член ВКП(б) с 1939 года. В 1935 году поступил в педагогический институт, на факультет филологии и истории. Окончив пединститут, тов. Бурлаков А. Ф. был направлен учителем в школу с. Шаповаловка. Участвовал в войне с белофиннами. После ранения и демобилизации вернулся в Тамбов, где начал работать инструктором горкома партии. В начале Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт. Впоследствии откомандирован в спецшколу Генерального штаба РККА. По окончании спецшколы был заброшен в Днепропетровск, где стал во главе резидентуры. Год жил на нелегальном положении, три месяца — легально, устроившись переводчиком в организации Тодта на объект 45/22. За успешное выполнение заданий командования награжден орденом Красного Знамени и орденом Отечественной войны I степени. К суду и следствию не привлекался. Выдержан, морально устойчив. Делу партии беззаветно предан».

«Исаев Александр Максимович, русский, родился во Владивостоке в 1923 году, холост, член ВКП(б) с 1943 года, в 1940 году поступил на физический факультет МГУ. В июне 1941 года добровольцем ушел на фронт Великой Отечественной войны. За мужество, проявленное во время боев под Гжатском, был награжден медалью «За отвагу». Направлен в спецшколу Генштаба РККА. По окончании спецшколы три раза забрасывался в глубокий тыл со специальными заданиями. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени. Выдержан, морально устойчив. К суду и следствию не привлекался. Делу партии предан беззаветно».

«Лебедева Евгения Сергеевна, русская, 1923 года рождения, член ВЛКСМ, не замужем, родилась в г. Тайшете Красноярского края. В 1940 году окончила среднюю школу. Работала коллектором в управлении изыскательских работ филиала Южсиба. В 1941 году подала заявление в райвоенкомат. Была направлена в части противовоздушной обороны Ленинграда. Оттуда, после пребывания в госпитале, направлена в школу радистов. Забрасывалась в тыл со специальным заданием. Награждена

орденом Красной Звезды. К суду и следствию не привлекалась. Выдержана, морально устойчива. Делу партии предана».

Здесь же хранились тексты легенд, разработанные для внедрения и легализации, а также на случай провала.

«Я, Попко Кирилл Авксентьевич, украинец, родился 24 октября 1917 года в Днепродзержинске в семье учителя. Моя мать, член бюро райкома партии, была расстреляна НКВД осенью тридцать седьмого года. Я работал грузчиком на железнодорожной станции Кривой Рог, в седьмой дистанции пути Сталинской железной дороги. Проходил действительную службу в рядах РККА в войсках Киевского военного округа, в первом стрелковом полку отдельной кавдивизии, дислоцированной в районе Белой Церкви. Во время боев под Киевом сдался в плен. После проверки в фильтрационном лагере № 56/а был освобожден и устроился работать помощником начальника цеха на мельзаводе Днепропетровска. Отец работал директором школы, и вскоре я перешел с мельзавода на работу в школу завхозом. При наступлении частей Красной Армии отец погиб во время воздушного налета. Я отступил с частями немецкой армии во Львов, где работал на железнодорожной станции диспетчером службы депо. В настоящее время ушел оттуда в связи с наступлением большевиков. Аусвайс № 7419, выданный городским бургомистратом Львова».

«Я, Гришанчиков Андрей Яковлевич, русский, родился 9 мая 1922 года в Москве. Учился в педагогическом институте, на физическом факультете. Был отправлен в сентябре 1941 года под Москву рыть окопы. В октябре сдался в плен. Был отправлен в Минск, где работал сначала строительным рабочим, потом парикмахером в мастерской Ереминского, которая находилась на Угольной улице, в доме 7. Отступал вместе с немецкими войсками, в настоящее время иду в Краков, где, как мне сказали в эшелоне, есть пункт для оказания помощи лицам, бежавшим от большевистского террора. Аусвайс № 12/299, выданный 22 июля 1942 года бургомистратом Минска».

«Я, Грудинина Елизавета Родионовна, русская, родилась 16 августа 1924 года в деревне Выселки Курской области. Мои родители были раскулачены в 1929 году и сосланы на поселение в Хакасскую автономную область, в деревню Дивное. За месяц перед войной, после оконча-

ния девятого класса, я поехала в гости к тетке в Курск. Здесь, у тетки, проживавшей на улице Ворошилова, дом 42, квартира 17, меня и застала война. После того как большевики ушли из города, я стала работать в офицерском клубе официанткой. В дальнейшем была секретареммашинисткой в городской больнице. Вместе с семьей моей тетки, Лакуриной Прасковьи Николаевны, отступила в Киев, там устроилась работать горничной к вице-прокурору Штюрмеру. Из Киева, отстав от семьи тетки, я переехала в Ужгород, где встретила моего знакомого по Курску, офицера русской освободительной армии Шевцова Григория, который сказал, что видел мою тетю при отступлении из Львова. Тетя собиралась ехать в Германию через Краков. Поэтому я сейчас иду в Краков, чтобы обратиться к властям с просьбой о помощи. Вместе с семьей тетки я также собираюсь ехать в Германию. Аусвайс № 7779, выдан 3 августа 1942 года».

Следующие три листочка бумаги были написаны от руки.

«Я, Бурлаков Андрей Федорович, майор Красной Армии, прошу причитающийся мне оклад переводить моим родителям по адресу: Астрахань, Абхазская, 56, Бурлаковым Федору Федоровичу и Тамаре Михайловне».

«Я, Исаев Александр Максимович, старший лейтенант Красной Армии, прошу причитающийся мне оклад переводить моей матери, Гаврилиной Александре Николаевне, по адресу, имеющемуся в моем личном деле».

«Я, Лебедева Евгения Сергеевна, младший лейтенант Красной Армии, прошу переводить мой оклад на сберегательную книжку, так как родственников после смерти родителей не имею. Сберкнижку прилагаю».

И — последний документ: «Сегодня, 27 июня 1944 года, в 23 часа 45 минут в квадрате 57 произведен сброс трех парашютистов. В связи с низкой облачностью и сильным ветром возможно небольшое отклонение от заданного района. Капитан Родионов».

Летчик Родионов оказался прав — облачность была низкая, а ветер сильный. Он был не прав в другом: отклонение от заданного района вышло очень большое. Группа выбросилась в семидесяти пяти километрах от заданного места приземления. Ветер расшвырял парашютистов в разные стороны. На сигналы белого луча Аниного фонарика никто не отвечал. Земля была не по-летнему холодной. Лужи пузырились дождевыми нарывчиками. В лесу пахло осенними листьями. Где-то вдали выли собаки. Аня

закопала парашют, комбинезон и рацию, причесалась, вымыла руки в луже и пошла на север.

ПОПКО

Под утро Вихрь выбрался к шоссе. На асфальте лежала молочная роса, будто первый осенний заморозок. Облака поднялись и теперь уже не разрывались, как ночью, натыкаясь на верхушки деревьев. Было очень тихо, как бывает на рассвете, когда ночь еще пытается противоборствовать утру.

Вихрь шел вдоль дороги, по мелколесью. Мокрые листья мягко касались его лица, и он улыбался, вспоминая отчего-то, как отец сажал деревья на участке вокруг их дома. Он откуда-то привез саженцы американского ореха — широколистого, изумительной красоты дерева. Когда два саженца принялись и бурно пошли вверх и вширь, отец, возвращаясь домой, останавливался и здоровался с деревьями, как с людьми, осторожно пожимая двумя пальцами их большие листья. Если кто-то замечал это, отец делал вид, что щупает листья, а если рядом никого не было, он подолгу, тихо и ласково, разговаривал с деревьями. То дерево, которое было шире и ниже, считалось у него женщиной, а длинное, чуть заваленное на один бок — мужчиной. Вихрь несколько раз слышал, как отец шептался с деревьями, спрашивал их про жизнь, жаловался на свою и внимал подолгу, что они ему отвечали — шумом листвы своей.

Воспоминания не мешали Вихрю думать: то, что он вспоминал, медленно проплывало у него перед глазами, становясь некоей зримой связью с домом, с тем, что отныне стало прошлым. А думал он сейчас о настоящем, о том, что случилось этой ночью с товарищами. Он перебирал все возможные варианты — худшие сначала, а потом, постепенно, самые благоприятные для членов его группы.

«Видимо, нас разбросал ветер, — думал Вихрь. — Стрельбу я должен был услыхать, потому что ветер был на меня, а они прыгали первыми, следовательно, они приземлились в том направлении, откуда налетал ветер. Вихрь, — усмехнулся он, — налетал вихрь... Глупая кличка, просто на манер Айвенго, право слово... Надо было взять кличку Ветер — хоть без претензий».

Он остановился — толчком — и замер. Впереди асфальт был перегорожен двумя рядами колючей проволоки, подходившей вплотную к полосатому пограничному

шлагбауму. Вдоль шлагбаума ходил немецкий часовой. На опушке леса темнела сторожевая будка. Из трубы валил синий дым — клубами, ластясь к земле: видимо, печку только-только растопили.

Несколько мгновений Вихрь стоял, чувствуя, как все тело его сводит тяжелое, постепенно пробуждающееся напряжение. Потом он стал медленно приседать. Он знал лес. Еще мальчишкой он понял, что нет ничего более заметного в лесу, как резкое движение. Зверь бежит через чащобу, и его видно, но вот он замер — и исчез, до тех пор исчез, пока снова не выдаст себя движением.

Вихрь лег на землю, полежал так с минуту, а потом стал потихоньку отползать в лес. Он забрался в чащобу, повернулся на спину, закурил и долго смотрел на причудливое переплетение черных веток над головой.

«Видимо, я вышел к границе рейха с генерал-губернаторством, с Польшей. Иначе — откуда граница? По-видимому, мы выбросились много западнее Кракова, значит, патрулей здесь до черта. Хреново!»

Вихрь достал карту, расстелил ее на траве и, подперев голову кулаком с зажатой в нем папиросой, стал водить ногтем мизинца по шоссейным дорогам, ведшим из Кракова: одна на восток, другая в Закопане, третья в Силезию, четвертая на Варшаву.

«Точно. Это дорога на Силезию. В километре отсюда — территория третьего рейха, мать его так... Надо назад. Километров семьдесят, не меньше».

Вихрь достал из кармана плитку шоколада и лениво сжевал ее. Выпил из фляги немного студеной воды и стал отползать еще дальше в чащобу, то и дело замирая и вслушиваясь в утреннюю ломкую, влажную тишину.

(Вихрь верно определил, что перед ним граница. Он также совершенно правильно предположил, что здесь больше, чем в каком-либо другом месте, патрулей. Но Вихрь не мог знать, что вчера их самолет был засечен пеленгаторными установками. Более того, было точно запеленговано даже то место, где «Дуглас» лег на обратный курс. Поэтому шеф краковского гестапо дал указание начальнику отдела III-А прочесать леса в районе тех квадратов, где, предположительно, был сброшен груз или парашютисты красных.)

Вихрь шел по лесной дороге. Она то поднималась на взгорья, то уходила вниз, в темные и холодные лощины. В лесу было гулко и тихо, дорога была неезженая, но тем не менее отменно хорошая, тугая, не разбитая дождями.

Вихрь прикинул, что если он пойдет таким шагом через лес, то завтра к вечеру будет совсем неподалеку от Рыбны и Злобнува. Он решил не заходить в села, хотя по-польски говорил довольно сносно.

«Не стоит, — решил он, — а то еще наслежу. Здешнюю обстановку я толком не знаю. Лучше проплутать лишние десять километров. Так или иначе, компас выручит».

Выходя на поляны, он, так же как и на границе, замирал, медленно опускался на землю и только потом обходил поляну. Один раз он долго стоял на опушке молодого березняка и слушал, как глухо гудели пчелы. Он даже ощутил во рту медленный, откуда-то изнутри, липовый вкус первого, жидкого светлого меда.

К вечеру он почувствовал тяжелую усталость. Он устал не оттого, что прошел более сорока километров. Он устал оттого, что шел через лес — настороженный, молчаливый; каждый ствол — враг, каждая поляна — облава, каждая река — колючая проволока.

«Сволочь, — устало думал Вихрь об этом тихом лесе, — растет себе — и плевал семь раз на войну. Даже макушек, срезанных снарядами, нет. И выгоревших секторов тоже. Горелый лес жалко. Попал в людскую перепалку и страдает ни за что ни про что. А этот — благополучный, тихий, пчелиный лес, мне его совсем не жаль».

Когда стало темно, Вихрь сошел с лесной дороги и двинулся по мокрому мягкому мху куда-то вниз, туда, где шумела река. Он решил там заночевать. Чем ниже он спускался, тем труднее было идти: начиналось болото. Вихрь решил посветить вокруг фонариком, но потом подумал, что делать этого не стоит, свет в лесу издалека виден, всякое может случиться.

Он начал подниматься обратно — вверх к дороге, упал, промочил колени, рассердился, потому что завтра рассчитывал войти в Рыбны, а входить в село в измазанных брюках неразумно: сразу видно, что из лесу. Достал из немецкого, свиной кожи портфеля фонарик и быстро осветил место, где упал. Мох под лучом фонаря стал неестественно зеленым, каким-то изумрудным даже, светился изнутри, как фосфор ночью в кабине пилота.

Вихрь вышел на дорогу, долго чистил березовой листвой свои щегольские тупорылые полуботинки, изношенные настолько, чтобы не казаться новыми: гестапо здорово осматривает вещи при задержании, они в этом дóки, а новые вещи всегда подозрительны. Сверился по карте, где он сейчас должен находиться, и полез вверх — по ле-

вую сторону от дороги. Ночной лес был ему приятен — совсем иной, особой, столь нужной сейчас тишиной. Леса незнакомого, и особенно ночного, боятся все: и те, которые ищут в нем, и те, которые в нем скрываются. Но те, которые ищут, боятся его больше.

Не разводя костра, он устроился под большой теплой елкой; вытянулся с хрустом и не заметил, как уснул — тяжелым сном с липкими, тягучими сновидениями.

Проснулся он словно от удара: ему послышалось, что рядом кто-то тяжело дышит. Он даже отчетливо понял, что дышит человек с насморком — в носу при каждом вдохе хлюпало.

КОЛЯ, ОН ЖЕ ГРИШАНЧИКОВ

Он, пожалуй, дольше остальных ходил вокруг места приземления — сначала маленькими кругами, а потом все бóльшими и бóльшими, — но безрезультатно. Никаких следов товарищей он не обнаружил.

Под утро Коля вышел на проселок. Возле развилки стояла маленькая часовенка. На чисто беленной стене был прибит большой коричневый крест. На кресте был распят Христос. Художник тщательно нарисовал на белом теле Христа капельки крови в тех местах, где его руки и ноги были пробиты гвоздями. Над входом в крохотную часовенку висела иконка пресвятой девы Марии: детское лицо, громадные глаза, тонкие пальцы прижаты к груди, словно при молитве.

На полочке под крестом стоял стакан. В стакане догорала свеча. Пламя ее в рассветных сумерках было зыбким и тревожным.

«Заграница! — вдруг подумал Коля. — Я — за границей! Как мы смотрели на Ваську, когда он приехал с родителями из-за границы! Он приехал из Польши в тридцать восьмом. Смешно: он сочинял небылицы, а мы ему верили. Он говорил, что купался в гуттаперчевом море. Можно плавать, даже если не умеешь. «Вода, — говорил Васька, — держит. Специальная, американская вода». Мы его даже не били, потому что он был за границей».

Коля вздрогнул, услыхав за спиной кашель. Обернулся. В дверях стояла старуха. Она прикрывала рукой большую, только что зажженную свечу.

— Доброе утро, пани, — сказал Коля.

— Доброе утро, пан, доброе утро.

Старуха выбросила огарок из стаканчика, что стоял под распятием, и укрепила в нем новую свечу, покапав стеарином на донышко. Ветер лизнул пламя, оно взметнулось, хлопнуло раза два и исчезло. Коля достал зажигалку, высек огонь, зажег фитиль.

— Благодарю пана.

— Не стоит благодарности.

— Пан не поляк?

— Я русский.

— Это чувствуется по вашему выговору. Вы что, из лагеря в Медовых Пришлицах?

— Нет. А какой там лагерь?

— Там живут те русские, которые ушли с немцами. Туда каждый день приходит много людей.

— А мне сказали, что этот лагерь под Рыбны...

— Пану сказали неверно.

— Вы не покажете, как туда идти?

— Покажу, отчего же не показать, — ответила старуха и опустилась на колени перед распятием. Она молилась тихо, произнося неслышные быстрые слова одними губами. Порой она замолкала, упиралась руками в пол и склонялась в низком поклоне.

Коля смотрел на старуху и вспомнил бабушку, мамину тетю. Она была верующая, и Коля очень стыдился этого. Однажды у бабушки упала ее старенькая красная сумочка, в которой она носила деньги, когда ходила за покупками. Из сумки выпало медное квадратное распятие. Коля засмеялся, схватил с пола распятие и стал дразнить бабушку, а после зашвырнул распятие в угол, под шкаф. Бабушка заплакала, а двоюродный брат мамы дядя Семен, войдя в комнату, в гимнастерке без портупеи — он только что принимал ванну, — ударил Колю по шее, не больно, но очень обидно. Лицо его потемнело, он сказал:

— Это свинство. Не смей издеваться над человеком, понял?

— Она верующая! — мальчик заплакал. Тогда ему было двенадцать лет, и он был не безликим Колей или Андреем Гришанчиковым. Он был Сашенькой Исаевым, баловнем дома, и его никто ни разу не ударял — ни мать, ни дядя Семен, пока он жил у них, ни бабушка. — Она верующая! — кричал он, заливаясь слезами. — Поповка! А я пионер! А она верующая!

— Я тоже верующий, — сказал дядя Семен. — Я в свое, она — в свое.

Уже много позже он рассказал Коле, как в первые

годы революции они брали дохлых кошек и бросали их в окна холодной церкви, где молились старики и старухи, вымаливая у своего Бога победы красным, своим детям-безбожникам. И у одной старухи случился разрыв сердца, когда в нее попали дохлой кошкой, а у нее на руках были четверо малышей: мать их умерла от голода, а отец был красный командир у Блюхера.

Полька поднялась с колен:

— Пойдемте, я покажу вам, как добраться до Медовых Пришлиц.

Коля достал из кармана пачку немецких галет:

— Вот, мамаша, возьмите. Внукам.

— Спасибо, пан, — ответила старуха, — но мы не едим немецкого...

Они шли со старухой по дороге, которая вилась среди полей. Вдали, на юге, громоздились горы. Они были в сиреневой утренней дымке. Когда Коля и старуха поднимались на взгорья, распахивался громадный обзор: места были красивые, холмистые, поля разрывались синими лесами, торчали островерхие крыши костелов, они казались игрушечными, видно их было за многие километры, потому что воздух был прозрачен, как вода ранним утром в маленьких речушках с песчаным дном — каждую песчинку видно, словно под микроскопом. Только иногда налетит ветер, тронет воду, замутит ее — песчинки исчезнут, останется желтая масса песка. А потом вдруг настанет тишина, ветер улетит вверх — и снова песчинка отлична от песчинки, лежи себе и рассматривай их. Так и сейчас: иногда налетал ветер, гнал быстрые серые облака, крыши костелов скрывались, но ненадолго. Были видны красные черепичные крыши домиков. Курились дымки. Голосили петухи. Шло утро.

— Большевики такие страшные, что пан бежит от них? — спросила старуха.

— Я ищу свою невесту. Она ушла с родителями. Все уходили, и они ушли.

Старуха взглянула на Колю и сказала:

— Пан знает, что у него порван пиджак на спине?

— Знаю, — ответил Коля, хотя он не знал про это — видимо, порвал в лесу.

— Немцы любят опрятных панов, — сказала старуха и внимательно посмотрела на Колю.

— Я тоже люблю опрятность, — ответил он. — Приду туда и зашью

От дороги отходила тропинка к маленькому домику стоявшему возле леса.

— Мне сюда, — сказала старуха. — До свидания пан.

— Всего хорошего. Спасибо, пани. Вы что, специально носили свечу в часовенку?

— Нет, я шла из Кракова, там в тюрьме мой сын.

— За что ж его?

— За разное, — ответила старуха.

— Если хотите, я могу прийти помочь вам по хозяйству, — сказал Коля. — Отсюда недалеко до лагеря?

— Километров пять. Не беспокойтесь. У меня два внука, мы управляемся. А пиджак зашейте, немцы не любят тех, кто неопрятно одет.

В Медовых Пришлицах Колю допрашивал старый немец в мятой армейской форме. Он мотал его часа четыре. Потом заставил написать подробное изложение своей истории, забрал его аусвайс, посадил в маленькую комнатушку без окон, запер дверь на французский замок и выключил свет.

Коля знал про лагеря, в которых группировались те, кто уходил с немцами. Такие лагеря стали организовываться месяца три-четыре назад и поэтому не успели обрасти немецкой пунктуальностью — текучесть была громадная, лагерный персонал не особенно квалифицированный, потому что в основном сюда, в эти лагеря, стекались люди, верные фашистам: полицаи, служащие бургомистратов, торговцы. Проверка носила характер поверхностный: немцы не успевали толком заниматься с явными врагами, им было не до прислужников.

Коля считал, что со своими документами наверняка пройдет проверку. Потом он рассчитывал получить направление на работу — таким образом произойдет легальное внедрение. А это всегда самое главное в работе разведчика. Он знал по материалам генштаба, что людей, прошедших такие лагеря, направляли на строительство оборонительных сооружений, без конвоя и со свободным жительством у цивильных граждан.

«Конечно, элемент риска во всем этом есть, — думал Коля, по-стариковски медленно поглаживая свои колени, — но это риск разумный. Во всяком случае, более разумный, чем торчать в Рыбны на площади возле костела или ночевать в лесу. Я играю ва-банк, но у меня козырная карта и я знаю психологию моего противника в

такой ситуации. Ворота этого лагеря не охраняются. Охраняют, и то два инвалида, только один барак, где содержатся человек пятнадцать новеньких — обычная и естественная проверка».

В темноте трудно уследить за временем. Кажется, что оно ползет медленно, как старая кляча. Сначала в кромешной темноте хочется двигаться, а после — исподволь — находит на человека медленное оцепенение, остро чувствуется усталость, а потом начинает клонить в сон, но сон не идет, и человек барахтается в тягучей дреме. Все в нем обнажено, он слышит какие-то шорохи, потом начинаются слуховые галлюцинации, а потом ему видятся светлые полоски, и он думает, что в щели пробивается свет, а на самом деле это в глазах звенит темнота; она ведь звенящая — эта полная темень, положенная на гулкую, напряженную тишину.

«А может быть, стоило все же идти на встречу к костелу? — думал Коля. — Но это слишком безынициативное решение. С моим польским языком было бы глупо два дня околачиваться по здешним местам без связи. А сидеть в лесу — значило бы попусту переводить время. А так я использовал шанс. Он обязан быть моим, этот шанс. Все за меня. И нечего психовать. Это все из-за темноты. Надо думать о том, как жить дальше. И все. Нечего пугать самого себя. Разведчика губит не риск, и не случай, и не предательство. Разведчика может погубить только одно — страх».

Его продержали в темной комнате, как ему казалось, часов десять, не меньше. Он ошибся. Он просидел там пять часов. Старик офицер, тот, что его допрашивал, сказал:

— Теперь идите в барак. Мы проверяем ваши документы. Ничего не поделаешь: война есть война.

— А я и не в претензии, — сказал Коля, — только обидно: как с врагом обращаетесь. У меня от темноты глаза разболелись.

— Ничего, ничего... Идите в барак, завтра все решится... Часовой, отведите этого господина в зону.

Часовой довел Колю до колючей проволоки, а там пустил его одного.

Когда Коля шел через темный двор к бараку, над входом в который горела синяя лампочка, кто-то вышел из другого барака. На крыльце возле синей лампочки

Коля остановился, чтобы закурить. И вдруг он услышал чей-то тихий, до ужаса знакомый голос:

— Санька!

Коля врос в крыльцо, спрятал в карман зажигалку и, не оборачиваясь, пошел в барак.

— Санька, — негромко повторили из темноты. — Ты что, Сань?!

К Коле подошел человек — молодой еще, но с сединой в волосах. Коля лениво глянул на него и судорожно сглотнул комок в горле: перед ним стоял Степан Богданов, его приятель по Москве, из тридцать седьмой квартиры. Он пропал без вести в сорок первом — так говорил его отец.

— Вы ошиблись, — сказал Коля, — вы меня с кем-то путаете. Я не Саня, я Андрей. Спокойной ночи...

— Стой, — сказал Богданов и взял Колю за рукав пиджака. — Не сходи с ума, понял? Не сходи с ума!

АНЯ

Она добралась в Рыбны на второй день под вечер. Аня вываляла в дорожной пыли свою шерстяную кофту, испачкала грязью лицо и, согнувшись, как больная, пуская слюни — к блаженным немцы не приставали, — медленно прошла через большое село: сначала кружным путем, по окраинным улочкам, а потом через центр, мимо костела, двухэтажного каменного дома сельской управы, мимо большого магазина и нескольких указателей, укрепленных на площади. Синие стрелки показывали расстояние до Кракова и Закопане.

Аня вышла из Рыбны и двинулась через перелесок на юго-восток, к гряде синих карпатских гор. Она решила переночевать в лесу неподалеку от Рыбны, чтобы послезавтра идти на площадь перед костелом — искать Вихря или самой пытаться выйти на связь с Мухой. Центр ждал сеанса.

Она сошла с дороги и через скошенное желто-коричневое поле двинулась к опушке частого леса; среди берез торчали сосны и лиственницы. Лес был красив — листва звонко трепетала под ветром, в глухой чаще кукушка отсчитывала годы чьей-то жизни, ручей, спрятанный в разросшемся кустарнике, бормотал свою быструю и невнятную речь.

Аня отошла от опушки с полкилометра и решила остановиться на ночлег, но потом отошла еще подаль-

ше — огонь костра виден с дороги, а в глубине леса можно развести большой огонь, и греться возле него всю ночь, и вскипятить воды в маленьком немецком котелке, а потом развести в нем концентрат и сделать венгерский гуляш. Аня однажды ела этот гуляш — с сушеной морковью, черным перцем и кусочками вяленого мяса. Он был очень вкусный, почти как похлебка, которую в тайге варил отец, когда Аня приезжала к нему на каникулы из Тайшета. Только отец резал вяленое мясо большими кусками и бросал в котел несколько сушеных морковин, а не десять — двадцать стружечек, как было в венгерском трофейном концентрате.

Капитан Высоковский два раза угощал Аню этим венгерским гуляшом и уговаривал ее выпить спирту, но Аня не хотела пить спирт, потому что в тайге несколько раз пробовала его с геологами и у нее до сих пор, когда заговаривали о спирте, появлялся во рту сухой, ржавый привкус.

— Я бы вина выпила, — говорила Аня красивому капитану с воловьими иссиня-черными глазами, — вино хоть сладкое, а это — гадость.

— Лапочка моя, — смеялся капитан, допивая свой стакан, — сладким вином вас будет поить муж после победы. Спирт — для начала интриги. Чисто дружеской, никак не иначе...

Выросшая в тайге среди сильных, добрых мужиков, Аня научилась понимать людей сразу — с первого часа. Там, где она росла, иначе было нельзя. Там надо сразу определить: можно с этим человеком идти через зимнюю тайгу за десять километров на Артемовские рудники кино смотреть или нельзя. Тайгу всяк любит, да не каждый выдержит — даже десять километров.

Ане было занятно, когда волоокий красавец капитан говорил с ней заумными, многозначительными фразами. Аня прекрасно понимала, чего он хотел, и ей было смешно, что он так хитро и издалека начинал осаду. Ей было так же смешно, когда впервые в тайге, в поисковой партии, к ней, семнадцатилетней девчонке, полез геолог из Красноярска. Аня поначалу, когда он обнимал ее, смеялась, а потом ей все это надоело, она оттолкнула геолога, взяла полено, лежавшее возле печки, и сказала:

— Сейчас как врежу по кумполу!

Ей казалось странным, когда ее подруги, влюбленные в ребят, не позволяли им себя целовать.

«Зачем так? — думала тогда Аня. — Когда любишь,

нельзя кокетничать. Ведь кокетничают только с нелюбимыми или если дело какое».

Ее раз послали в Красноярск за реактивами. Реактивов не было. Аня пошла в парикмахерскую, ей соорудили на голове крепость из ее кос, она отправилась к заместителю начальника отдела материально-технического снабжения, и он ей выписал реактивы. Но не отпускал от себя часа два, все баклуши бил и вздыхал, глядя ей в глаза.

Аня знала, что она хороша, но относилась к этому спокойно, как хороший солдат к оружию: есть и есть, злоупотреблять не следует, а когда нужно — сразу в дело.

Она влюбилась в Ленинграде в политрука своего дивизиона. Она ждала, что он позовет ее к себе в блиндаж. Она бы пошла не задумываясь. Но политрук все не звал ее, только, встречая, шлепал по щеке и дарил корочку хлеба. Аня хотела прийти к нему сама и сказать, что любит его и что хочет быть с ним, но не успела. Политрук умер от голода — замерз по пути от трамвайной остановки до передовой.

Костер загорелся сразу — выстрелил в небо белым шипением, потом разъярился, затрещал красными искрами окрест себя, а потом успокоился, захлопал желтыми руками и стал греть Аню. Она поворачивалась к костру по-таежному: сначала левым боком, потом спиной, после правым боком, а уже потом, зажмурившись, чтобы не портить глаза, обернулась к огню лицом.

«Наверное, идолопоклонники очень правильно делали, что поклонялись огню, — думала Аня. — Зря поддались христианам. Там было во что верить: разведи себе костер — и молись. А я как выдумываю? И лесу молюсь, и небу, и реке...»

Аня собрала сухого валежника, принесла его к костру и сделала себе подстилку. Легла, потянулась, подвинулась еще чуть ближе к огню и почувствовала, что вот-вот уснет. Она заставила себя открыть глаза и поглядеть на костер, хватит ли на всю ночь? Она сделала себе сибирский костер: нашла сваленную елку, срезала тесаком сучья, принесла березовой коры и подожгла сухое дерево. Надо только через каждые три часа просыпаться и чуть пододвигать вперед елку, чтобы она равномерно обгорала, а не пузырилась огоньками вдоль по всему стволу.

Аня подвинула древесину — вокруг заискрило, пламя на мгновение замерло, а потом вспыхнуло с новой силой. Аня завернулась в легкое пальтишко, выданное ей сверх утвержденного комплекта капитаном Высоковским, и сразу же уснула.

ТОЛЬКО НАЧАЛО

«Дурацкие сны», — подумал Вихрь, не открывая глаз. Человек в ночном чужом, враждебном ему лесу, чтобы выжить и победить, обязан быть как зверь — то есть сначала жить инстинктом, а после уж разумом. Инстинкт сейчас решал вместо Вихря: открыть глаза, или вовсе не поверить этому сопению, или повернуться, словно во сне, но так, чтобы правая рука обязательно ощутила под собой кожу портфеля, в котором гранаты и парабеллум. Он всегда клал этот портфель справа от себя, под боком: со сна очень трудно вытаскивать оружие из карманов — карманы перекручены, и, пока вырываешь оттуда оружие, теряются те мгновения, которые могут спасти. Он повернулся, будто во сне, зачмокав губами. Он не приказывал себе играть это чмоканье спящего человека — это было помимо него, это шло само собой как результат последних трех лет его жизни.

Портфеля не было, хотя Вихрь хорошо сыграл жест правой рукой, выбросив ее далеко вперед, чтобы захватить побольше мха, если разметался во сне и портфель остался в стороне.

Еще отчетливее он услышал близкое сопение.

«Наверное, коза, — сказал себе Вихрь, все еще не открывая глаз. — Стоит и слушает, прежде чем переходить дорогу, спускаясь к реке, на водопой. И вся содрогается при малейшем ветерке».

Так он говорил себе, прекрасно понимая, что сейчас врет. Это уже в нем верховодил разум, а ведь разум способен врать. В инстинкте больше правды: земной, живой, честной.

— Неплохой сон у этого парня, — услышал он немецкую речь у себя над головой.

Вихрь открыл глаза. Прямо над ним стояли три гестаповца. В руках у одного из тех, что стояли чуть поодаль, ближе к дороге, был его желтый портфель.

— Кто вы такой? — спросил Вихря человек в штатском, когда в полдень его привезли в краковское управление гестапо.

На окнах были тяжелые, витые, очень красивые решетки. Стекла были вымыты до «зайчиков». За окном было солнечно и тихо — как вчера в лесу.

Вихрь понял вопрос, он знал немецкий, но ничего не ответил, а только подобострастно улыбнулся и недоуменно пожал плечами. Тогда второй человек, длинный, жилистый, тот, который держал его портфель при аресте в лесу, слез с подоконника, подошел к Вихрю и спросил:

— Вам нужен переводчик?

— Я не понимаю по-немецки, — сказал Вихрь, — вернее, понимаю, но очень слабо.

— Шеф отдела спрашивает, кто вы такой.

— Человек, — подобострастно улыбнулся Вихрь. — Попко, Кирилл Авксентьевич.

Длинный перевел. Шеф попросил:

— Расскажите о себе.

— Вас просят рассказать о себе.

— Что ж... Я готов. Попко я, Кирилл, украинец... Позвольте закурить, а то мои при обыске изъяли...

— Пожалуйста.

— Спасибо. Очень хороший табак. Откуда у вас турецкие?

— Воруем, — усмехнулся длинный. — Дальше!

— Я из Днепродзержинска. Папаша — сеял разумное и вечное, мама была членом бюро райкома. Ее расстреляли в тридцать седьмом.

— Минуту, — сказал длинный и перевел сказанное Вихрем шефу.

Вихрь отметил, что переводил немец слово в слово, совершенно не спотыкаясь, без пауз.

— Продолжайте.

— Работал грузчиком, потому что в институт не принимали, сами понимаете. Потом служил в армии. Сдался во время боев под Киевом. Сидел в вашем фильтрационном лагере пятьдесят шесть дробь «а». После работал на мельзаводе. Отступил с частями немецкой армии во Львов. Сейчас иду в Краков, хочу здесь устроиться на железную дорогу.

— Минуточку, — попросил длинный и перевел все шефу.

Тот слушал, улыбаясь уголками четко вырезанного, капризного, очень красивого рта.

— Очень хорошо, — сказал он. — Пусть расскажет свою историю еще раз, только подробней.

— Я родился в Днепродзержинске в семнадцатом году. Из интеллигентов. Мать расстреляли чекисты, отец учитель, погиб в сорок третьем под бомбежкой. Работал грузчиком, служил в армии, в Киевском военном округе. Сдался в плен под Белой Церковью. Работал на Днепропетровском мельзаводе помощником начальника мукомольного цеха. Отступил во Львов с войсками.

Шеф выслушал Вихря, помахал длинному пальцами — мол, переводить не надо — и попросил:

— Ну, расскажите-ка вашу столь печальную историю еще раз. Пока вы чувствуете себя скованным и чересчур старательно повторяете заученный вами текст.

Длинный переводил слова шефа, а Вихрь в эти секунды, пока ему переводили то, что он и без того понял, мучительно старался найти объяснение двум главным вопросам, которые ему еще не задавали, но зададут обязательно: откуда в его портфеле пистолет и гранаты.

— Вы не верите мне? — спросил Вихрь, когда длинный перевел слова шефа.

— А вы себе верите? Сами-то вы себе верите? — сказал длинный.

— Я не понимаю... — улыбнулся Вихрь. — Можно подумать, что я совершил нечто предосудительное. Мой аусвайс в полном порядке, в портфеле должны лежать характеристики с работы, подписанные вашими людьми.

Он упомянул про портфель, ожидая сразу же вопроса о его содержимом, но ошибся.

— Хорошо, хорошо, — сказал шеф, — мы ждем. Повторите вашу историю, она занятна.

— Я готов повторить ее хоть сто раз — она не станет иной, моя история, как бы я ни хотел этого. Вы думаете, мне очень легко повторять вам о зазря погибшей матери, о вашем фильтрационном лагере, где не так сладко, говоря откровенно? Разве легко рассказывать о гибели отца, об отступлении — страшном, голодном отступлении под бомбежкой с вашими войсками во Львов?

— Мне искренне жаль настоящего Попко, — сказал шеф. — Аусвайс подлинный, мы проверили. История Попко тоже правдива. Но меня интересует: какое вы имеете отношение к господину Попко? Настоящий Попко в данное время проживает в Бреслау, на Моцартштрассе, 24, в общежитии рабочих, которые трудятся на фабрике музыкальных инструментов.

«Грубо работает, — решил Вихрь. — Попко сидит у нас».

— Либо это мой однофамилец, — сказал Вихрь, — либо вас вводят в заблуждение. Я готов к очной ставке.

— Ого!

— Конечно... Мне нечего бояться, я чистый перед вами. Я всегда был лояльным по отношению к новой власти.

— Послушайте, — сказал шеф, — я вижу, как вы напряженно ждете того момента, когда я стану спрашивать вас о парабеллуме и гранатах. Вы уже приготовили версию, видимо вполне правдоподобную: мол, пистолет нашел во время отступления и гранаты тоже. Вы, верно, станете говорить, что вам это оружие было необходимо для личной безопасности — все это мне понятно. Я не буду вам морочить голову. Я вам сейчас покажу ваш парашют и отпечатки ваших пальцев на шелку и стропах.

— Здесь какая-то досадная ошибка, господин начальник.

— Бросьте. Вас выбросили ночью, и вы закопали свой парашют в двух километрах от наших казарм: солдаты в том лесу заготавливают дрова. Случайность — не спорю, но для вас эта случайность оказалась роковой.

— Пошли, — сказал длинный, — мы вам предъявим парашют для опознания.

— Мне нечего опознавать...

— Бросьте... Вы его закопали под двумя соснами, разве нет? И еще муравейник порушили — большой муравейник. В темноте, видно, упали: прямо в муравейник.

Вихрь почувствовал, как у него зацепенели руки: он действительно упал в муравейник.

— Пошли, пошли...

И они пошли сквозь анфиладу комнат в большой зал. Здесь на вощеном паркете лежал его парашют. Вихрь пожал плечами и заставил себя улыбнуться.

— Не ваш? — спросил гестаповец.

— Конечно, не мой.

— Понятно.

Они вернулись в кабинет шефа. Тот расхаживал вокруг стола и говорил по телефону, прижав плечом трубку к уху. Длинный шнур волочился за ним по полу. Шеф молча кивнул Вихрю на несколько листочков бумаги с отпечатками пальцев. Он, видимо, говорил с женщиной, потому что время от времени улыбался и играл бровями. Вихрь посмотрел листочки с отпечатками пальцев и сказал длинному:

— Я вообще-то в этой хитрости ничего не понимаю.

— От вас и не требуется ничего понимать. Просто поглядите: здесь заключения наших экспертов. Этого достаточно для того, чтобы расстрелять вас сегодня же.

— От таких шуток мороз дерет по коже...

— А нам не до шуток.

Шеф повесил трубку, закурил и, сев в кресло напротив Вихря, заговорил:

— Слушайте меня внимательно: сейчас не первый год войны, а четвертый. Время убыстрилось, у нас нет возможности держать вас в камере и разрабатывать тщательным образом. Для нас бесспорно, что вас сюда забросили. Вся ваша история с Попко была бы темой для разговоров, не найди мы — абсолютно случайно — парашют. Продолжайте слушать меня внимательно: мне вообще не нужно доказательств вашей вины, чтобы пустить вам пулю в лоб, хотя бы потому, что вы славянин. Сейчас я во всеоружии: вы не просто славянин, вы русский парашютист. Я попробую с вами поработать: два дня вас будут пытать — больше у меня просто-напросто нет времени, а потом либо вы сломитесь, либо мы вас устраним. Я сейчас сказал вам абсолютную правду. Нам трудно, у нас мало времени и много дел. Решайте, как вам поступать. Выбирайте: смерть или работа с нами. Правда, которую вы нам откроете, может быть достаточной гарантией вашей жизни. Вообще-то говоря, запираться вам глупо: игра проиграна, в жизни всякое бывает, как ни обидно.

Вихрь хрустнул пальцами:

— Позвольте сигаретку...

— Курите, курите, — сказал длинный, — сигареты действительно хороши.

— Спасибо.

Длинный щелкнул зажигалкой, дал Вихрю прикурить, отошел к окну, сел на подоконник и распахнул створки. В кабинет ворвался свежий ветер, пробежал по бумагам, лежавшим на столе, поднял их, покрутил и снова опустил на место. Захлопали белые шторы.

Длинный сказал:

— Действительно, случай редкостный: все очевидно с самого начала, нечего доказывать.

— Ладно, — сказал Вихрь, — ладно. Раз проиграл — значит, проиграл. Да, действительно, я не Попко. Я майор Красной Армии, из военной разведки...

ПРИКАЗ ОКВ О ПОДГОТОВКЕ ОБОРОНЫ РЕЙХ

Начальник штаба верховного главнокомандования вооруженных сил.
Штаб оперативного руководства вооруженными силами.

Ставка верховного главнокомандующего вооруженными силами.
Совершенно секретно.

По вопросу: подготовка обороны рейха.

...В своей деятельности, касающейся подготовительных мероприятий, инстанции вооруженных сил должны руководствоваться принципом, что в их компетенцию входят только чисто военные вопросы, в то время как задачи мобилизации всех сил на территории Германии, ставшей театром военных действий, а также обучение личного состава и особенно мероприятия, связанные с эвакуацией гражданского немецкого населения, являются исключительно задачами партийных инстанций...

I

Порядок подчинения.

1. Подготовка обороны территории Германии, на которой ведутся боевые действия, входит... в компетенцию начальника вооружений сухопутных сил и командующего армией резерва...

2. Принципиальные указания по вопросам подготовки обороны страны исходят от штаба оперативного руководства вооруженными силами...

4. Остаются в силе распоряжения по вопросам:

а) борьба с вражескими парашютистами и десантными частями на территории Германии;

б) борьба с отдельными парашютистами;

в) борьба с авиационными и речными минами на водных магистралях Германии;

г) защита военных и важных в военном отношении объектов и сооружений...

6. Оборона территории страны, оказавшейся театром военных действий, опирается на готовность всех слоев населения и возглавляется в областях гауляйтерами и государственными комиссарами обороны...

II

Задачи.

К осуществлению подготовительных мероприятий, касающихся обороны территории Германии, ставшей театром военных действий, командующие войсками военных округов привлекают все командные инстанции, расположенные на территории данного военного округа, войска, учреждения и организации вермахта и войск СС, а также дополнительные силы, предоставляемые в их распоряжение гауляйтерами и высшими руководителями СС и полиции...

Задачи подготовки к обороне охватывают в основном следующий круг вопросов.

1. Надзор за размещением, численностью, обеспечением средствами транспорта и вооружением сил, предназначенных для боевого использования.

2. Планирование сосредоточения этих сил...

3. Планирование привлечения и подготовки резервов за счет гражданского населения, предоставляемых по указанию партийных руководителей соответствующих областей в распоряжение вермахта для задач обороны...

4. Освобождение руководящих кадров партии и работников госаппарата от военной службы по согласованию с гауляйтерами и государственными комиссарами обороны соответствующих областей.

5. Подготовка распределения сил по объектам для сооружения укреплений и выполнения других оборонительных и боевых задач...

6. а) Подготовка к эвакуации военнопленных во взаимодействии с государственными комиссарами обороны.

б) Информирование о мероприятиях по эвакуации иностранных рабочих, осуществляемой рейсхфюрером войск СС.

в) Информирование о подготовительных мероприятиях по эвакуации немецкого гражданского населения, входящих в компетенцию только гауляйтеров.

7. а) Подготовка к рассредоточению, эвакуации и выведению из строя объектов, а также к подрывным работам в зоне военных действий.

б) По требованию государственных комиссаров обороны и во взаимодействии с ними участие в подготовке плана мероприятий по рассредоточению, эвакуации и выведению из строя или уничтожению объектов в районах, не охваченных боевыми действиями, что входит в компетенцию государственных комиссаров обороны, действующих в соответствии с директивными указаниями высших государственных инстанций, а также оказание поддержки госкомиссарам обороны при осуществлении указанных мероприятий...

Кейтель.

АДВОКАТ ТРОМПЧИНСКИЙ И СЫН

Как всегда по средам, в маленьком лесном поместье Тромпчинского, что за Рыбны, собирались пан Рогальский, бывший издатель «Жиче Краковскего»; герр Трауб, немецкий писатель, военный корреспондент при штабе группы армий «А» в Вавельской крепости, давнишний знакомый Кейтеля, еще с тех пор, как он был в милости у имперского министра пропаганды Геббельса; и пан Феоктистов-Нимуэр, полукровка — мать немка, отец русский — известнейший актер, исполнитель жанровых песен, приехавший на гастроли в войска.

Адвокат Тромпчинский принимал этих людей у себя в поместье, закусывали чем бог послал, пили самогон, который Тромпчинский выменивал на бумагу и перья, а после ужина садились за преферанс.

Сын Тромпчинского Юзеф готовил кофе, а когда отец выходил на кухню заняться закусками, он заменял его за зеленым ломберным столом.

Адвокат держал тридцать кур. Это считалось богатством. Он готовил для гостей прекрасный омлет — его рецепт славился не только в Кракове. Омлеты адвоката Тромпчинского до войны знали в Варшаве и в Париже, куда он частенько ездил по делам фирм, представляя их интересы на всяческих деловых конференциях и при торговых переговорах.

— Господа, — говорил Тромпчинский, сдавая карты, — я вчера наслаждался Цицероном. Я позволю себе прочесть маленький кусочек. — Он бегло посмотрел на свои карты, пожал плечами и коротко бросил: — Пас. Так вот, прошу... — И, полузакрыв глаза, по памяти начал цитировать: — «Если бы духовная доблесть царей и

вообще правителей в мирное время была такой же, как и на войне, то человеческие отношения носили бы характер ровный и устойчивый и не пришлось бы наблюдать ни смещений одних правительств другими, ни бурных революционных порывов, изменяющих и ниспровергающих все. Ведь власть легко удерживается при условии сохранения тех принципов, под влиянием которых она вначале создавалась. Но стоит только внедриться в обществе праздности вместо трудолюбия, произволу и надменности вместо выдержки и справедливости, как сейчас же вместе с нравами коренным образом изменяются внешние условия жизни...»

Юзеф поморщился: он не любил, когда отец щеголял своей профессиональной адвокатской памятью.

Писатель Трауб буркнул:

— Чепуха. Цицерон — не история, а современность. Я отношусь к этой его тираде как к передовице в «Дас шварце кор». Юлиус Штрайхер любит подобные отступления в стиле антики, перед тем как перейти к очередным призывам против пархатых американцев и кровавых большевиков.

Тромпчинский тонко улыбнулся: он обожал спорить, сознавая за собой достаточную силу, чтобы побить противника изяществом аргументации.

— Мой друг, — сказал он, поправив пенсне, — Цицерон утверждал: «Удачи оказывают растлевающее влияние даже на мудрецов».

— Какие к черту удачи? — удивился Трауб. — Бьют повсюду, а вы говорите об удачах.

Все сразу замолчали. О неудачах немцев мог говорить только немец. Остальные обязаны были этого не слышать.

— У меня мизер, — сказал Рогальский и потер свои маленькие веснушчатые руки, — чистый мизер, господа, можете не переглядываться.

— А я буду играть девять пик, — сказал Феоктистов-Нимуэр.

— В таком случае я беру мизер без прикупа.

Трауб хмыкнул:

— Славяне начали драчку, будет чем поживиться арийцу. Как думаете, Юзеф?

— Думаю, что ариец останется с пиковым интересом, — сказал Юзеф.

— Все злитесь, все злитесь, — вздохнул Трауб. — И правильно делаете. Глупый немецкий писатель только

к старости понял, что единственное губительное снадобье для искусства — это национализм.

— Господа, — сказал Рогальский, — у меня начинает ломить в висках от вашей политики. Я не хочу политики, я чураюсь ее, потому что боюсь того, чем ее подтверждают.

— У гестапо плохо с пленкой для диктофонов, — сказал Трауб, — и потом, здесь нет электричества. А если кто из вас донесет — все равно поверят мне, а не вам. Правильно, Юзеф?

— Вам лучше знать гестапо, господин писатель.

— Что у вас — зубы режутся? — спросил Трауб. — Кусать охота? А? — И бросил свои карты на стол. — Ловить пана издателя будет герр-товарищ актер? — спросил он. — Обожаю, когда дерутся интеллигенты. Драка — это всегда начало истории. Когда социал-демократы вертели задом и дрались с коммунистами — родился фашизм. Когда дерутся интеллигенты — крепнет аппарат тайной полиции.

— Юзеф, — сказал Тромпчинский, — будь любезен, сыграй за меня, я должен посмотреть яйца и молоко. Господа, через полчаса будет омлет.

Феоктистов-Нимуэр ловил Рогальского. Трауб сидел, откинувшись на спинку высокого стула, и задумчиво смотрел мимо Юзефа, куда-то в стену — между двумя старинными картинами предков Тромпчинских.

— Как вы думаете, за чем будущее, Юзеф? — спросил он.

— За правдой.

— Бросьте чепуху пороть. Я задаю вам серьезный вопрос.

— Я серьезно отвечаю вам, писатель.

— Перестаньте называть меня писателем, я просил вас сто раз. Я же не называю вас пианистом без консерватории или, например, офицером...

— Почему? Можете называть.

— Много чести: офицер без армии. В этом все вы, поляки, — нация добровольных безумцев.

— Мы не такие уж безумцы, — отвлекся Рогальский, — как это может показаться.

— Безумцы, безумцы, — повторил Трауб, — но не просто безумцы, а добровольные безумцы. Это я вам комплимент говорю. Мы, например, продуманные кретины. Это я о немцах. О себе и о половинке Феоктистова. Великая нация, великая нация! Нация не может

быть великой, если она заставляет всех уверовать в это с помощью концлагерей. Признание величия обязано быть актом добровольным. Как выборы. Как наши самые свободные в мире выборы в нашем самом счастливом государстве самых добрых людей, руководимых гением великого фюрера.

— Господин Трауб, это нечестно по отношению к завоеванным, — сказал Рогальский. — Право слово, нечестно. Вас пожурят, нас повесят.

— А что я сказал? — удивился Трауб. — Я сказал, что мы — самая великая нация, самое великое государство самого доброго и мудрого фюрера.

— Важна интонация, — сказал Рогальский.

— Э, бросьте... За интонацию пока еще не сажают. Если бы я сказал, что мы — нация кретинов, несчастное государство, попавшее в лапы идиота, тогда я первый бы проголосовал за свой арест! Но я-то сказал прямо обратное.

— С вами день ото дня труднее, — сказал Юзеф, — что с вами, милый писатель?

— Я не писатель! Я — добровольный наймит с душой подхалима!

Трауб поднялся со стула и отошел к столику, уставленному бутылками с самогоном. Следом за ним поднялся Юзеф. Он остановился возле Трауба и сказал:

— Господин военный корреспондент, мне нужен чистый аусвайс для одного друга...

— Дурачок, — ответил Трауб, выпив, — если я ругаю мое государство и его лидеров, так это не значит, что я готов продавать мой народ, попавший в их лапы.

— Каждый народ заслуживает своего правительства.

— Глупо. Значит, вы в таком случае заслуживаете то, что имеете сейчас. Я к вам неплохо отношусь, но спасти от виселицы не смогу: Геббельс меня теперь не любит. Не лезьте в кашу. Выживите, это будет ваш долг перед родиной. Чтобы ей служить, надо уметь выживать. Побеждает выживший. Погибший герой обречен на забвение, выживший трус может стать живым героем, когда кончат делать пиф-паф друг в друга.

— Это вы красиво говорите, Трауб, — задумчиво ответил Юзеф, — но только мы боремся против вашего правительства, а ваш народ ваше проклятое правительство поддерживает.

— Я в своей прозе всегда вычеркивал эпитеты. «Проклятое» — это эпитет. Двадцатый век смял человека.

Сейчас все будет решать — помимо нас — великое неизвестное, название которому — в р е м я.

— Юзеф! — крикнул с кухни пан Тромпчинский. — Юзеф, дрова кончаются.

— Простите, я сейчас, — сказал Юзеф и вышел из гостиной.

На кухне возле двери стоял Зайоцкий. Для пана Тромпчинского-старшего он был просто Зойоцкий — часовщик и самогонщик. Для Тромпчинского-младшего это был товарищ Седой. На самом деле он был Збигнев Сечковский — начальник группы разведки Краковского подпольного комитета Коммунистической партии Польши.

Юзеф и Седой вышли во двор. Ночь была холодная. Порывами налетал студеный — не июньский, а скорее ноябрьский — ветер. Звезды были по-осеннему яркие.

— Юзеф, — спросил Седой, — когда ты в последний раз видел Андрея?

— Андрея? Позавчера. А что?

— Погоди. Где ты его видел?

— В городе.

— Это ясно. Где именно?

— Возле магазина пана Алойза.

— В какое время?

— В три часа.

— Он был пьян?

— Что ты... Нет...

— Сколько денег ты ему передал?

— Тысячу злотых, как обещал.

— Куда он пошел после?

— Не знаю. Я смотрел, чтобы за мной не было слежки. За ним я не смотрел. А в чем дело?

— Погоди. Как он был одет? Не в немецкой форме без погон?

— Нет. Он был в сером костюме.

— Серая рубашка с красным галстуком?

— По-моему, да... Наверняка — да.

— Вот так штука...

— А что случилось?

— В пять часов его видели входящим в абвер. В девять часов он вышел оттуда.

— Не может быть... Он ведь прислан красными... Он русский разведчик.

— А до часу ночи он пил в казино для немецких офицеров с полковником абвера Бергом.

— Что ж мне — пора уходить в лес?

— Ты два раза передавал ему деньги?

— Да.

— Ты ведь ему не говорил, кто ты такой?

— Нет. Сказал, что пришел от тебя.

— А я для вашей семьи не столько часовщик, сколько самогонщик. Ты с ним не говорил ни о чем?

— Никогда.

— Как бы не пришлось менять квартиру мне... Ты вне игры, он не знает, кто ты и откуда. Передавал деньги за самогон моему человеку — это убедительно. Ай-яй-яй, какая штука получается...

— Ты запрашивал красных?

— В лесу кончилось питание для рации. Ладно, иди, проигрывай деньги немцу. Завтра утром я к тебе подойду, может, что прояснится. Во всяком случае, помни: ты передавал деньги моему человеку за самогон, который получал у нас. Для отвода глаз я тебе брошу письмецо с просьбой остаток вашего долга передать пану Андрею.

— Хорошо.

Седой пожал Юзефу руку и пошел вниз, к дороге. Он всегда прощался и здоровался, очень крепко сжимая руку, чуть дергая ее на себя — будто борец перед началом схватки.

Юзеф стоял на крыльце до тех пор, пока не затарахтел мотоцикл на нижней дороге: это значило — Седой уехал. Юзеф достал сигарету и закурил. Он почувствовал, что руки у него дрожат.

Но ни Юзеф, ни Седой не знали, что «красный разведчик» Андрей, посланный сюда три месяца назад, имеет кличку Муха и что именно на встречу с ним была заброшена группа Вихря.

ОДИССЕЯ СОРОК ЧЕТВЕРТОГО ГОДА

— Я совершал побег из концлагеря возле Аахена раз сто, — медленно говорил Степан Богданов, прислонившись затылком к дощатой стене барака. Коля слушал его, закрыв глаза, и чувство гадливости к себе не покидало его — он ничего не мог с собой поделать — он не верил Степану. Он не верил его рассказу оттого, что встреча их здесь, в Польше, была слишком уж неожиданной, странной, а его учили остерегаться всякого рода незапланированных странностей. — Я перебегал к

вагонеткам, — медленно продолжал Степан, — бросался плашмя на уголь, полз вплотную к откаточным рельсам, ждал, когда резанет белым, окаянным светом прожектор, потом забирался в вагонетку и начинал засыпать себя углем. Я совершал побег раз сто — в мыслях. А в тот раз мне предстояло совершить его наяву. За пазухой я спрятал кусок фанеры, чтоб было чем забросать себя углем. Выйдет? Или пристрелят.

— ...Строиться! — кричат конвойные. — Быстро!

Довольно трудно строиться быстро после десяти часов работы в шахте, поэтому охрана орет зло и монотонно. Вообще немцы орут монотонно — у них даже в этом какой-то свой, особый, немецкий распорядок.

— Вперед! Бегом! Живей!

Грохочут деревянные колодки. Задыхаются люди. Смеясь, переговариваются охранники. Я бегу и смотрю на них. Их двое. Колонна бежит, а они неторопливо идут справа от нас — по узенькой асфальтовой дорожке, сделанной специально для них. Охране не надо бежать — колонна длинная, они видят нас сбоку, справа. А слева — вплотную — проволока с пропущенным током и вышка с пулеметами. Так что охрана отвечает только за правую сторону — за уголь и вагонетки. Еще правее, следом за тремя большими кучами угля, тоже проволока с током и вышки с пулеметами. Для меня сейчас единственный выход — вагонетка с углем, потом стометровый путь по откаточным рельсам через проволоку и охрану — к железнодорожному бункеру, в который меня вышвырнут, перевернув вагонетку метрах в трех над бункером.

Но сейчас я не думаю о тех трех метрах, которые мне предстоит пролететь вместе с глыбами угля. Сейчас я бегу и смотрю на немцев. Обычно они останавливаются и, повернувшись друг к другу лицом, прикуривают сигарету. Мне нужен именно такой момент. Они чиркают спичкой или зажигалкой — и на какую-то долю минуты перестают видеть. Так бывает, если сначала посмотреть на горящую лампу, а потом на вечерний лес. Тогда лес покажется сплошной черной стеной.

И люди — тоже. Я специально зажигал спичку, а потом смотрел по сторонам — и ничего не видел. Только звенящую, черно-зеленую темноту. Я высчитывал, сколько времени продолжается эта черно-зеленая темнота, и получалось почти достаточно, чтобы добежать до ближайшей угольной кучи, броситься рядом с ней, замереть и ждать, пока пройдет колонна с охранниками, а потом снова ждать белого луча прожектора, который с немецкой пунктуальностью начинает шарить по этому кусочку лагеря особенно тщательно после того, как пройдет колонна.

Остановились! Я вижу, как они наклоняются друг к другу. Вспыхивает огонек спички. Он колеблется на ветру. Я рывком выбрасываюсь направо, делаю десять прыжков. На четвертом прыжке у меня сваливается с ноги колодка.

— Живей! Живей! — орут немцы.

Значит, они ничего еще толком не видят и поэтому кричат особенно зло. Сейчас у них пройдут зелено-черные круги перед глазами и они смогут видеть все вокруг, а значит, и меня они смогут увидеть. А мне еще надо сделать восемь шагов. Ведь я бегал здесь сто раз — я же знаю. Я высчитал. Я делаю восемь шагов и вижу, что мне еще осталось сделать столько же.

Все. Это конец. Я ошибся с расстоянием, но я не мог ошибиться с огоньком спички. Сейчас у них прошли эти черные круги и они обязательно оглянутся по сторонам. А оглянувшись, увидят меня.

— Э! — кричит кто-то в колонне. — Эй, ребята, колодка слетела! Стойте!

— Живей! — орут немцы. — Свиньи! Живей!

Они выучили эти русские слова специально для нас, военнопленных.

— Колодку потерял! — кричит кто-то.

Я слышу, как у меня за спиной начинается свалка. Это меня выручают ребята. Только б охрана не стала стрелять в них! Нет. Просто орут. Это ничего, они всегда орут.

Я падаю и вжимаюсь в землю. Крики моментально прекращаются, охрана тоже успокоилась. Только колодки гремят. А потом становится тихо-тихо, как в лесу.

Через пять минут прожектор переползает на мой участок. Я вижу, как он шарит по дороге, потом медленно перебирается почти вплотную ко мне, быстро скользит по угольным кучам, снова возвращается на дорогу и осторожно, словно слепой, ощупывает каждый метр.

Как в кино, детально, в свете прожектора — моя колодка. Я холодею. «Все. Увидали, собаки. Сейчас пойдет облава», — думаю я.

Луч прожектора лежит на моей колодке чуть дольше, чем следовало бы. Я прищуриваюсь — и моя колодка кажется мне куском угля.

«Может быть, им тоже так кажется? Ведь они дальше».

Прожектор уходит, а потом резким рывком возвращается назад. И снова в луче — моя колодка. Луч прожектора становится нестерпимо ярким, голубым даже, а не белым, а потом постепенно исчезает. Становится темно и гулко. Я поднимаюсь, в момент оказываюсь на том месте, где только что лежал круг голубого света, хватаю колодку и бегу к углю. Подбегаю к вагонеткам, переваливаюсь в одну из них и начинаю орудовать куском фанеры. Через минуту я спрятан под углем. Все. Теперь надо ждать, когда вторая смена станет давать уголь и вагонетки пойдут к бункерам.

...Люди говорят: «Фу, какая проклятая жара!» Неужели я тоже так говорил? Не может быть! Я никогда не говорил так. А если и говорил, то никогда больше не скажу. Я всегда буду говорить: «Какая благословенная, прекрасная жара!»

Я думаю так потому, что моросит дождь. Это даже не дождь, а скорее мокрый снег. Ноябрь. Пора бы и снегу быть. А я лежу босой. В робе, которая от пота, от голодного пота, стала жестяной.

Не надо думать о холоде. Но и о жаре тоже не надо думать. У нас было запрещено говорить и думать о еде. Мне тоже надо запретить себе думать о жаре. Но и о холоде тоже надо постараться не думать. «Постараться не думать» — слабо. «Надо не думать» — так вернее.

У нас работал электромонтер-чех. Он получил

семь лет за дочь. Его дочери восемь лет. Любопытное сочетание возраста дочери и срока, полученного за нее чехом. Их город разбомбили союзники. Во время бомбежки погибло много людей, потому что оборудованные бомбоубежища были только в немецкой колонии. Никто из немцев не пострадал. И дочка нашего чеха предложила:

— Надо забрать у немцев бомбоубежища и засыпать их землей, тогда сразу же мир заключат, потому что немцам тоже будет страшно без бомбоубежищ...

Чех рассказал про это дочкино предложение в очереди за свеклой. На него донесли. Он потом понял, что на него донес маленький человечек из соседнего дома, который ходил тихо и неслышно, всем улыбался и норовил помочь каждому. Он, как оказалось, не брал денег в гестапо. Он доносил со страху.

Чех, видимо, догадывался, что я иду в побег. Он отдал мне свои перчатки. Поэтому рукам довольно тепло. Руки в побеге очень важны. Если пальцы застынут — тогда совсем плохо. Пока-то их согреешь! А ведь пальцы могут понадобиться в любой момент, и они у меня в любой момент готовы. Пальцы — мое оружие. Я храню его в тепле. Спасибо чеху!

Когда ты в напряжении, тогда видишь и слышишь то, чего ждешь, на мгновение раньше, чем на самом деле увидел или услышал. Я еще ничего не почувствовал — ни толчка, ни подергивания троса, я ничего не слышал — ни усиливающейся работы мотора, ни гудка регулировщика, но я уже твердо знал, что через секунду, самое большее — две, вагонетки тронутся и поползут к бункерам.

И они поползли к бункерам. Медленно, натруженно визжа, поскрипывая. Бельгиец-моторист, с которым я подружился, говорил, что вагонетка ползет до бункера минут десять. Я начинаю считать. Я стараюсь спокойно отсчитывать шестьдесят ударов, чтобы знать, когда пойдет десятая минута. Та самая, когда надо будет лететь три метра — в бункер: съежиться как можно крепче и падать боком, подставляя

под удар мякоть руки и ноги, но обязательно закрывая ребра, плечо и бедро. Ну и голову, конечно. У меня с детства сохранился ужасный страх за висок. Я помню, как у нас во дворе умерла девочка, потому, что мать стукнула ее за баловство ложкой по виску. Не сильно стукнула, по-матерински, а девочка все равно умерла — легла поспать и не проснулась.

Все ближе и ближе слышу грохот. Это переворачиваются вагонетки, ссыпая уголь в бункер. Я слышу гудки паровоза, который маневрирует на запасных путях. Слышу, как другой паровоз где-то совсем рядом отфыркивается, — наверное, он стоит у водокачки. Иногда я слышу голоса немцев. Я на свободе, потому что немцы не орут и не ругаются. На свободе они совсем иные, они становятся зверями, как только входят за проволоку, к нам в лагеря.

Я слышу, как сталкиваются буферами вагоны и от этого по всей станции, где-то внизу подо мной, проходит длинный, веселый перезвон.

В лагере я не слышал таких звуков. И гудок паровоза, и голоса людей, которые не орут и не ругаются, а просто говорят, и перезвон буферов — все эти звуки являются для меня сейчас олицетворением свободы.

Лечу в бункер. Я стараюсь съежиться, повернуться боком, стать пружинистым и маленьким, но не успеваю этого сделать. В самый последний миг вижу голубые — от звезд — рельсы, а потом чувствую удар в затылок и уже больше ничего не вижу и не слышу, только мама поет.

Я открываю глаза, стараюсь пошевельнуться — и ужас входит в меня: я не могу двинуть ни рукой, ни ногой. Я весь стиснут глыбами угля. Я заживо закопан. Напрягаюсь, чувствую, что глыбы на моей спине шевелятся, извиваюсь, кричу — аж глаза лезут из орбит.

Трудно заставить себя замереть и подумать в такой ситуации. Мне это не сразу удается. А когда наконец я замираю, чтобы прийти в себя и осмыслить происшествие, начинаю понимать: укачивала меня не мать и приговаривала не она — просто бункер идет по рельсам, а я придавлен углем, и ничего страшного в этом нет,

только не надо сходить с ума и тратить силы на бесполезные движения. Надо постараться перевернуться на спину и откопать себя. Ничего нет страшного, я ведь не под землей, я в бункере, который везет меня к свободе.

Когда я вылез на поверхность, то был весь мокрый и потный. Я видел над собой небо, усыпанное звездами. Я долго сидел на глыбах угля, чтобы прийти в себя, успокоиться, отдышаться, а потом, отдышавшись, стал петь песни.

Уже рассвело, когда состав остановился. Я снова закопался в уголь и незаметно для себя уснул. Не знаю, сколько я спал. Только проснулся будто от толчка. Всего меня знобило. Я потрогал лоб. Пальцы у меня были холодные, и поэтому лоб показался горячим, как жаровня. Потом я увидел, что уголь вокруг — белый.

«Это жар, — решил я. — Плохо дело!»

После я понял, что это снег лег на уголь. Пушистый, крупный, сплошные звездочки.

На каком-то ночном полустанке я вылез из своего бункера и ушел в лес.

Мне казалось, что я иду строго на восток. Даже не знаю, почему я был так убежден в этом. Теперь, когда я быстро шел, меня все сильнее знобило. Но я понимал, что ни в коем случае нельзя останавливаться или ломать темп, который я взял с самого начала, как только углубился в лес.

«Ночью разложу костер, — думал я, — обязательно большой, из еловых веток, и отогреюсь как следует. Сначала спину, потом грудь и бока. Озноб пройдет, и все будет в порядке».

Сначала я не думал о том, что у меня нет спичек и никакой костер я разложить без них не смогу. Но чем дальше я шел, тем явственнее понимал, что костра не будет. Тогда я стал уговаривать себя, что смогу добыть искру трением.

«Найду сухой бересты и буду сильно тереть ее друг о дружку. Появится дым. Сначала он будет синим, а потом, постепенно, станет серым, голубым, белым, вовсе исчезнет и появится огонь, — так думал я и быстро шел к востоку. — Только надо все время идти, не задерживаясь ни на минуту».

К вечеру я вышел к шоссе. По бетонной широкой автостраде проносились машины: я слышал, как противно визжали шины, когда шофер входил в вираж. Я лег в кустарник, чтобы дождаться темноты. Лег — и сразу впал в забытье.

Наверное, я пролежал в кустах часа два, потому что, когда открыл глаза, уже стемнело. Меня всего било. Только зубы были стиснуты так сильно, что я никак не мог разлепить рта. Казалось, что если я сейчас же не поднимусь, то уж вообще не поднимусь никогда.

Я стал кататься по земле, чтобы унять противную, слабую дрожь и хоть немного согреться. Я поднялся, но меня по-прежнему всего било, и рот не открывался, потому что зубы будто срослись и стали единым целым.

Я уже не очень-то понимал, куда иду. Только когда я увидел вокруг себя красивые одноэтажные дома, то понял, что забрел в деревню. Я не испугался. Просто испуг уже не доходил до меня из-за холода, из-за того, что всего било, и еще из-за того, что живот стал прирастать к спине. И вдруг меня что-то толкнуло в грудь. В двух метрах от себя я увидел человека в теплой куртке, в ботинках и охотничьей шляпе с пером. У его ног стояли банки консервов, построенные пирамидой, а над головой на веревках висели окорока, колбасы и гирлянды сосисок.

«Магазин», — думаю я спокойно и трезво. Я понимаю, что разбить стекло — значит погубить себя. Но мне очень хочется разбить стекло и раздеть этого фарфорового болвана, который не знает, что такое холод.

Ощупываю дверь. Ищу замок. Я помню, что на дверях магазинов обязательно должны быть большие висячие замки. А здесь его нет. Ясное дело — немцы. Нация изобретателей, будь она трижды неладна! Дверь заперта на внутренние замки. Их, кажется, два. Меня в нашем театральном институте учили анализировать творчество драматургов, меня учили сценическому перевоплощению и музыковедению, только вот взламыванию замков, к сожалению, не учили. Придется учиться самому.

Промучившись с дверью, я понял, что здесь

у меня ничего не получится. Тогда я обошел дом. В магазин вела еще одна дверь, а рядом с ней — окно, закрытое ставнями, цинковыми. гофрированными, похожими на самолетный фюзеляж. И эти ставни — я только потом вспомнил, что их называют жалюзи, — были заперты маленьким замком, какие вешают на почтовые ящики.

Ноги у меня подкосились, и я опустился на землю. Я сидел на асфальте и смотрел на маленький замок.

Надо мной проносились облака. Они казались черными, потому что небо было чистое и звездное. Звезды, казалось, перемаргивались друг с другом и со мной тоже. Луна светила окаянно белым, холодным светом.

Замок отлетел быстро. Я поднял жалюзи, взломал форточку, открыл окно и залез в магазин. Я задохнулся от запахов, давно забытых мною. Круг копченой, сладкой колбасы я съел во мгновение ока. Живот заболел резкой болью. Мне показалось, что колбаса царапает все внутри, будь она трижды неладна!

Я сбросил с себя робу и остался голым. Сначала я нашел в ящиках шерстяное белье. Искать пришлось долго, потому что белый лунный свет падал на противоположную стену, туда, где лежали продукты. Поэтому я вытаскивал ящики один за другим, пока наконец не вытащил шерстяное белье. Потом нашел носки — тоже толстые, шерстяные. Я надел все эти сказочные вещи на себя и сразу же почувствовал тепло.

Потом я надел костюм, шапку, пальто, подобрал себе большие ботинки, набил карманы колбасой, сыром и сахаром, взял свою робу и вылез в окно.

Робу я зарыл в песок, как только вошел в лес. Прошел еще немного, забрался в кусты, лег и сразу же уснул.

...Отец мне говорил: «Поступишь в театр, поедешь с гастролями за границу и привезешь мне тогда егерское белье. Преотличнейшим образом его делают в Германии. Болезнь враз снимает. А из свободной штанины я перчатки сошью...»

Проснувшись, я сразу же вспомнил отцовские слова. Лежу и пытаюсь сообразить — почему я вспомнил именно эти его слова? Не его самого — безногого и седого человека, не его голос — хрипловатый, усмешливый, а слова, сказанные им.

Потом я слышу детский голос. Какой-то мальчишка поет песню по-немецки. Поворачиваюсь, раздвигаю кустарник и вижу, как по лесной дорожке на велосипеде едет мальчуган. Это он поет песенку.

Мне сейчас велосипед был бы очень кстати. Одет я нормально, как немец, и мог бы поскорее уехать на велосипеде от этого места, но мне становится стыдно этой мысли: отобрать велосипед у мальчишки? Мальчишки в нашу «игру» не играют, они тут ни при чем, мальчишки в коротких штанишках, — пускай ездят на велосипедах и поют песенки, а я и пешком смогу уйти.

Дорога кажется каучуковой. Это опавшие листья легли на тропинку, и она теперь пружиниста, как мягкая резина. Идти по такой дороге — одно удовольствие. Ноги не устают, дыхание держится ровное и спокойное. Мне тепло идти, даже, скорее, жарко.

«Черт, вот почему утром я вспомнил про егерское белье, о котором говорил отец, — догадываюсь я. — Оно очень теплое и легкое, недаром же так жарко...»

Тишина. В отчаянно светлом небе — осеннее солнце. Слышно, как с деревьев опадают листья. Это всегда очень грустно. Наверное, оттого, что в детстве листопад связывался у нас с началом занятий в школе.

Я даже засмеялся этой мысли. И — сразу же замер, испугавшись. Я сошел с тропинки в чащобу и постоял там минут десять, пережидая.

У реки я остановился на отдых. Достав из карманов колбасу, поел. Мучила жажда, я часто опускался на колени и пил из реки. Вода была чистая, прозрачная и очень холодная.

Сытый человек делается беспечным. Я наелся колбасы, напился студеной воды и, забравшись в кусты, уснул.

...Были сумерки. Тишина по-прежнему стояла

в морозном воздухе. Листья с деревьев уже не облетали, потому что совсем не было ветра.

Я поднялся с земли, снова начал есть колбасу, и вдруг острая и длинная боль резанула в животе. Скрючившись, я лег на бок.

Три дня я пролежал в кустах у реки, потому что не мог идти. Я чувствовал, как кожа все больше и больше обтягивает скулы. Я ощущал это физически. Дизентерия — гадкая штука. Меня беспрерывно трясло противной дрожью, и все время резало в животе. И еще тошнило. Я понял, что мне нельзя есть. И воду из реки тоже нельзя пить. Но меня все время тянуло к проклятой жирной колбасе. Тогда я закрыл глаза и выбросил ее в реку. А потом долго ругался. Я ругал себя, проклятую колбасу, небо и опадающие листья. А потом впал в забытье — тяжелое и липкое, как грязь...

В конце третьего дня я смог идти. Мне было очень легко идти, даже слишком легко идти, потому что я себя совсем не чувствовал. Меня здорово шатало, иногда мутило, но боли в желудке прошли, и поэтому я шел не отдыхая. Я должен был выйти в каком-нибудь месте на шоссе, чтобы посмотреть по указателям, где я и куда идти дальше.

На перекрестке бетонной дороги ночью, при луне, я увидел указатели: «Берлин — 197 км. Дрезден — 219 км». Я сел на обочину и пальцем нарисовал карту Германии. Я понял, что нахожусь в самом центре страны.

Мне стало страшно. Впервые я подумал: «А ведь не дойду...» Но я одернул себя. Я не смел так думать. Отчаяние — сестра трусости...

Богданов замолчал. Вдали, на костеле, большие часы прозвонили три раза.

— Утро, — сказал Коля. — Скоро солнце взойдет.

— Спать хочешь?

— Нет.

— Спички дай, мои отсырели. Может, соснем? А? Сволочи, они на допросы выдергивают с шести часов, аккуратисты проклятые...

Строго секретно!
11 июня 1944 года.
Вавель,
тел. А. 7. флора 0607.
Весьма срочно!

Документ
государственной
важности!
Напечатано
4 экземпляра.
Экземпляр № 2.

Замок Вавель в Кракове
Рейхсфюреру СС Гиммлеру

Рейхсфюрер!

Я посылаю Вам стенограмму совещания у генерал-полковника Нойбута, посвященного вопросам, связанным с решением проблемы очагов славизма в Европе.

Нойбут. Господа, существо вопроса, по-видимому, знакомо всем присутствующим. Поэтому я освобожу себя от тяжкой обязанности обосновывать и теоретически подкреплять, как это любит делать наша официальная пропаганда, необходимость тех акций, которые запланированы. Прошу докладывать соображения.

Миллер. Я поручил практические работы полковникам Дорнфельду и Крауху.

Нойбут. На какой стадии работа?

Миллер. Дорнфельд и Краух вызваны мной. Они готовы к докладу. Пригласить?

Нойбут. Нет смысла. Видимо, вы, как руководитель инженерной службы, сможете объяснить нам все тонкости. Частные вопросы, которые, вероятно, возникнут, вы решите позже.

Миллер. Я готов.

Нойбут. Пожалуйста.

Миллер. Форт Пастéрник, что в девяти километрах от города, вот он здесь, на карте, оборудован нами как штаб по выполнению акции. Сюда будут проведены электрокабельные прожилины. Старый город, крепость, храм, Старый рынок, университет и все остальные здания, представляющие собой сколько-нибудь значительную ценность, будут заминированы.

Нойбут. Нет, нет, Миллер. Такую формулировку наверняка отвергнут в ставке рейхсфюрера. Речь идет обо всех зданиях, всех, я подчеркиваю. Мы солдаты, а не исследователи, и

не нам определять ценность исторических памятников. Акция только в том случае станет действенной, когда будет уничтожено все, а не выборочные объекты. Да и потом, в случае уничтожения выборочным порядком наиболее ценных памятников потомки обвинят нас в вандализме. Полное уничтожение оправдывается логикой войны.

Биргоф. Господин генерал, думаю, что вопрос оправдания наших действий не должен занимать умы солдат. Наш удел — выполнение приказов.

Нойбут. После окончания первой мировой войны вам было лет десять?

Биргоф. Мне было тринадцать, господин генерал, но я живу будущим, а не прошедшим.

Нойбут. Вам следовало бы родиться язычником, а не партийным деятелем нашей армии.

Биргоф. Я высказал свою точку зрения.

Нойбут. Их у вас две? Или больше? Продолжайте, Миллер.

Миллер. Мы внесем коррективы. Все здания будут заминированы. Центр в Пастернике, охрану которого должны нести войска СС, может в любую необходимую минуту поднять Краков на воздух. В целях маскировки главного кабеля мы прокопаем несколько рвов — якобы в целях ремонта водопровода и канализации. Это позволит нам ввести в заблуждение возможных красных агентов, а также местное националистическое подполье.

Нойбут. Между прочим, Биргоф, я плакал от восторга в Лувре. Я бы возражал против этой акции, если бы не отдавал себе отчета в том, что она необходима — как военное мероприятие.

Биргоф. Какие мины вы думаете употребить? Не может ли случиться так, что Краков взлетит на воздух в то время, когда наши солдаты будут спать? Поляки могут пойти и на такую садистскую акцию.

Миллер. Вы считаете, что поляки пойдут на самоуничтожение?

Биргоф. Вы плохо знаете поляков.

Миллер. Если поляки столь безумны, то мы не гарантированы от любых случайностей.

Биргоф. Вы забываете, что в нашей стране существует такая организация, как гестапо.

Нойбут. И армейская контрразведка.

Биргоф. Военная контрразведка — довольно аморфный институт.

Нойбут. Вы забываетесь, Биргоф.

Биргоф. Простите, генерал, но партия меня учит правде. Я не намерен лгать даже вам.

Миллер. Вы против того, чтобы операцию курировала армейская контрразведка?

Биргоф. Да. Я убежден, что курировать эту акцию должны гестапо и войска СС.

Нойбут. Гестапо работает в контакте с инженерным ведомством?

Миллер. Да, наши друзья из тайной полиции получают информацию ежедневно и оказывают нам немаловажную помощь.

Нойбут. Как будут охраняться те девять километров, что идут от города к форту?

Миллер. От города к форту пойдет семь каналов с проводами: пять — в качестве маскировки, один канал — связь и один, в бронированном футляре, — канал взрыва.

Нойбут. Разумно, хотя и обидно: страховаться с такой тщательностью, будто речь идет о вражеском тыле, а не о нашем. Что еще?

Миллер. Вот графическое решение вопроса — схемы, карты, выкладки и один довольно интересный подсчет: на восстановление Кракова, если кто-нибудь рискнет восстанавливать выжженную пустыню, потребуется более ста миллионов долларов.

Биргоф. Странно, почему расчеты велись в долларах. Рейхсмарка — не валюта?

Нойбут. Биргоф, вы стараетесь казаться самым верным сыном Германии из всех присутствующих здесь. Право, это смешно. И не очень умно. Человека украшает скромность, юмор и сдержанность. Послушайте совета старого солдата. Пригласите Дорнфельда и Крауха, я хочу пожелать им успеха.

С подлинным верно:

СС бригадефюрер *Биргоф.*

Эта шифровка пришла к Гиммлеру (а в копии — к Шелленбергу) в тот день, когда Штирлиц получил задание срочно вылететь в Мадрид. Поэтому содержание стенограммы совещания у Нойбута, а также планы и схемы минирования Кракова прошли мимо него и были сразу же переданы в стальные сейфы личного архива Гиммлера.

ВОТ ТАК МУХА!

— Где ваши спутники?

— Я был заброшен для выполнения специального задания.

— Пожалуйста, подробно расскажите нам о задачах, которые были поставлены перед вами командованием.

— Меня удивляет ваша манера вести допрос, — сказал Вихрь и потянулся за сигаретами, лежавшими в плоской металлической коробочке. — Либо вы не верите ни единому моему слову, либо не хотите слушать меня внимательно. Я уже показал вам, что начиная с пятнадцатого июня каждый четверг и субботу я должен появляться на городском рынке возле торговцев, продающих корм для голубей. Я должен ходить от фонтана до магазинчика церковных принадлежностей, который расположен в угловом здании рынка. В воскресенье с часу до трех — возле касс вокзала...

— Принесите фотографии рынка, — после долгой паузы попросил шеф своего помощника.

Вернувшись, длинный, словно хороший картежник, разбросал перед Вихрем несколько больших фотографий. Собор, широкая площадь, торговцы кормом для голубей, фонтан.

— Ну, пожалуйста, — сказал шеф, — вот площадь Старого рынка, покажите ваш маршрут.

Вихрь аккуратно разложил перед собой фотографии, долго рассматривал каждую, а потом, удивленно подняв брови, сказал:

— Или у вас дрянные фото, или вы хотите меня провести на мякине. Это ж не Краков.

— А вы что, уже бывали здесь ранее?

— Нет.

— Откуда вы знаете, что это не Краков?

— Потому что я достаточно серьезно готовился к этой операции. Вы мне подсунули липу.

— Гюнтер, — спросил шеф, — неужели вы все перепутали?

Длинный стал переворачивать фотографии. Он внимательно разглядывал номера, проставленные на обратной стороне каждого фотокартона.

— Ерунда какая... — сказал он. — По-видимому, это площадь Святого Павла в Братиславе. Сейчас я принесу Краков.

— Не стоит, — сказал Вихрь. — В конце концов, я могу вам нарисовать схему, и вы сверите ее с подлинником.

— Хорошо, хорошо, — сказал шеф и достал маленькую зубочистку. — Давайте двинемся дальше. Только, прошу вас, говорите медленно, а то моему коллеге трудно переводить, он устает от вашей трескотни.

— Я должен по четвергам и субботам начиная с пятнадцатого июня ходить утром среди продавцов кормов и спрашивать каждого молодого мужчину в черной вельветовой куртке и в серых брюках: «Нет ли хорошего корма для индеек?» Наш человек должен ответить: «Теперь корма для индеек крайне дороги; видимо, вы имеете в виду индюшат...» Если встреча состоится возле касс вокзала, меня спросят: «Вы не видали здесь инвалида с собакой?» Я отвечаю: «Здесь был слепец без собаки». Отзыв: «Нет, тот не слепец, тот с котомкой, безногий парень». Этот человек даст мне явки, связи и радистов.

— Кличка связника?

— Связник без клички, его должен определить пароль и отзыв.

— Погодите, разве вам неизвестно, что его кличка — Муха?

— Что, что?!

— Могли бы и побледнеть, — сказал длинный. — Хотя некоторые краснеют. Важен не цвет, важна реакция.

— Увы, я не знаю никакой «мухи».

— Да?

— Да.

— Ну что ж... Это нетрудно проверить. Через полчаса Муха будет здесь.

«Я поступил правильно, — медленно думал Вихрь, когда его отвели в подвал, в маленькую холодную камеру без окон. — Другого выхода у меня не было. Вася спасся в Киеве, когда он вывел себя с их охранниками

«на связь» в центр киевского рынка. Раз в неделю, а то и чаще они там устраивают облаву. На вокзалах — тоже. Это мой единственный шанс. Они обязательно должны устраивать облавы на толкучках, это у них такая инструкция, а немец под инструкцией ходит, она для него вроде мамы родной. Видимо, гестапо не станет связываться с полицией, чтобы отменять облавы на рынках и вокзалах. Разные ведомства, свои законы, свои инструкции — это тоже мой шанс. Но Муха... Если он провалился, тогда начинается провал общий. Три дня назад я сидел на радиосвязи с ним, он передавал информацию в Центр, Бородину. Если его взяли сразу после радиосеанса, неужели он сломался за три дня? Его кличку знали только Бородин и я. Ключ к коду? Вряд ли гестапо могло засветить наш код, это исключается. Почти наверняка исключается, так будет точнее. Муха меня в лицо не знает. Стоп! Он знает только, что к нему должен подойти человек в синем костюме, с кепкой в руке и с белым платком в другой. На мне синий костюм. Платок они наверняка нашли в портфеле. Кепка... Где кепка? Они привезли меня без кепки. В портфеле ее тоже не было. Так. Я лег спать, подложив кепку под голову? Нет. Под головой у меня был плащ. Ну-ка вспоминай, — приказал себе Вихрь, — вспоминай по минутам, что было ночью! Я пошел с дороги вниз, думал ночевать в низине. Провалился в какую-то бочажину, начиналось болото. Я поднялся, пошел обратно и решил уйти через дорогу вверх, там, думал я, будет сухо, там можно хорошо переночевать. По-моему, я пришел на место, где меня взяли, без кепки. Видимо, я потерял ее, когда провалился и вылезал из ямы. Кепка мне чуть велика, я не заметил, как она соскочила. Так? Наверное, так. Я привык к армейской фуражке, она давит на лоб, ее всегда чувствуешь. В Днепропетровске я жил зимой, шапку носил. А весной сбросил шапку и ходил в немецкой пилотке. Видимо, я не заметил, как кепка слетела с головы. Это на счастье... Как мне себя вести с Мухой, если тот человек, которого они мне подсовывают, действительно Муха? Хотя, не зная настоящего Мухи, они не смогут подобрать похожий типаж. Я ж помню фото. Красивый парень, смуглый, скуластый, с большими бровями, сросшимися у переносья...»

Вихрь не успел додумать всего, потому что его вызвали на допрос не через полчаса, как обещали, а через пятнадцать минут.

— Вы знаете этого человека? — спросил шеф, указывая глазами на Муху.

Вихрь сразу понял, что перед ним в кресле Муха. Скуластый, высокий, бровастый парень в модном костюме — накладные карманы, материал елочкой, большие подложные плечи, хлястик, в карманчике у лацкана — уголок платка.

— Нет, этого человека я не знаю.

— А вы? — обратился шеф к Мухе.

— Не встречались, — ответил тот, помедлив. — По-моему, я там его не видел.

— Кто к вам должен был прийти на связь и где? — спросил шеф Муху.

— В селе Рыбны, возле костела.

«Все, — спокойно подумал Вихрь. — Он сволочь, он продался...»

— Как он должен быть одет?

— Кто?

— Человек от Бородина.

«Все, — снова подумал Вихрь. — Он развалился до конца, если сказал им про Бородина. Он сволочь, вражина, продажная тварь... А если он и раньше был с ними?»

— В синем костюме, в кепке и с белым платком в левой руке.

Шеф подмигнул Вихрю и сказал:

— Все сходится, а? Синий костюм, платок в портфеле чистенький...

Вихрь хмыкнул:

— У меня и кепка была, когда я выбрасывался. Коричневая, в красную прожилочку. Кстати, какого цвета должны были быть туфли у того, кто шел к вам на связь? — спросил Вихрь Муху.

— Про цвет ботинок мне не сообщали.

— Ну?

— Нет, не сообщали.

— Вы в каком звании? — спросил Вихрь.

Он задавал вопросы очень быстро, и Муха так же быстро ему отвечал.

Длинный гестаповец с трудом успевал переводить вопросы и ответы своему шефу.

— У меня нет звания.

— То есть?

— Меня забросили, потому что я был связан с Львовским подпольем, выполнял их поручения.

— Что-то вы финтите, — сказал Вихрь. — Я в разведке не первый день, но, насколько мне известно, командование цивильных мальчиков в тыл не засылает. Это во-первых. Во-вторых, что-то я не верю вашим данным про синий костюм, платок и кепку — только лишь. Мы всегда довольно тщательны в описании внешних данных агента или резидента. Мне, например, известно, что человек, который будет со мной на связи, должен быть одет в вельветовую черную куртку, серые брюки, заправленные в немецкие солдатские кирзовые сапоги с голенищами раструбом...

Шеф сказал:

— Вы в прошлый раз не уточняли деталь с сапогами.

— По-моему, я имею дело не с подготовишками от контрразведки.

Длинный и шеф переглянулись.

— И тем не менее... — сказал шеф. — Ваш связник знает вас в лицо?

— По-видимому.

— Почему вы так думаете? Если Муха не знает в лицо своего резидента, то почему «вельветовая куртка» обязан знать вас?

— Потому, что «вельветовая куртка» — офицер Красной Армии и ему полностью доверяло руководство.

Вихрь теперь старался посеять в гестаповцах недоверие к Мухе. Он играл точно, хотя не знал всех скрытых пружин, которые помогали ему в этой быстрой и единственно возможной сейчас игре: давала себя знать давнишняя вражда между военной разведкой Канариса и ведомством Кальтенбруннера. А Муха как раз и попал в эти жернова: на него по своим каналам вышел полковник военной разведки, абвера, Берг, а он, не зная всех тонкостей этой давней вражды между абвером и гестапо и считая немцев единым, слаженным государственным организмом, предложил свои услуги и гестапо — между встречами с Бергом, который, во-первых, никогда не ходил в форме, а во-вторых, говорил по-русски, как русский, потому что в тридцать втором году закончил химический факультет МГУ. Гестапо, конечно же, знало о работе Берга с Мухой, и поэтому всякая компрометация этого агента абвера входила в перспективные планы гестапо: потом, позже, при случае, поставить Бергу подножку — мол, работает с заведомым дезинформатором, либо с дезинформатором невольным, либо с бесперспективным — с оперативной точки зрения — человеком.

— Мне тоже доверяло руководство! — сказал Муха обиженно. — Меня сам Бородин провожал!

— Как фамилия Бородина? — спросил Вихрь.

— То есть как — фамилия? Бородин.

Шеф и длинный снова переглянулись. Вихрь рассмеялся.

— Милый мой, — сказал он, — у разведчика не может быть одной фамилии.

— А какова настоящая фамилия полковника Бородина? — спросил шеф.

Шесть дней назад во время бомбежки погиб полковник Валеев, заместитель Бородина. Все нити, которые могли вести к нему, были оборваны его смертью, тем более что он не курировал ни одну из резидентур, а только осуществлял подготовку, учебу и заброску людей в тыл. Назвать фамилию с потолка было нельзя: где гарантия, что у гестапо нет хотя бы нескольких точных фамилий наших разведчиков из штаба? Считать врага глупым — это значит заранее обрекать себя на проигрыш.

— Фамилия Бородина — Валеев. Алексей Петрович. Полковник, выпускник академии Генштаба.

— Подождите в приемной, — сказал шеф Мухе.

Муха вышел. Шеф подвинул Вихрю сигареты и зажигалку.

«Надо, чтобы эти дни Муха был со мной, — подумал Вихрь, — спаси бог, если он будет торчать у костела. Коля или Аннушка могут пойти к нему на связь...»

— Хорошо бы, если ваша «муха» пошла со мной на рынок и вокзал.

— А кто сказал, что вы пойдете туда?

— Вас интересует связник в вельвете...

— Разумно. Только почему вы думаете, что мы не сможем его взять без вашей помощи?

— Вы бывали на Старом рынке? — спросил Вихрь.

— Бывал.

— Сходите еще раз и посчитайте, сколько вы там встретите людей в черном вельвете, серых брюках и немецких солдатских сапогах раструбом. Надеюсь, вы, засылая своих людей к нам, одеваете их не как попугаев, а так, чтобы они были похожи на тысячи окружающих их. Не так ли?

— Почему вы так откровенны с нами?

— Потому, что я проиграл.

— Проигрывая, ваши люди кричат, бранятся и стараются плюнуть в лицо.

— Этим своим вопросом вы хотите унизить меня? Или просто оттолкнуть?

— Не понял, — сказал шеф и попросил длинного: — Что он имеет в виду, пусть объяснит подробно.

— Все довольно просто, — сказал Вихрь. — Если я буду молчать — меня уберут после пыток. Если я стану говорить — у меня будет шанс погибнуть без пыток. Если же я подтвержу свои показания человеком со связями и явками — я буду выгоден вам и вашей контригре. Вот и все. Муха мне нужен только для того, чтобы он подстраховал меня: вдруг он уже встречался с этим человеком в вельвете, кто знает?

— У Мухи свои задачи, — сказал шеф, — он ждет своих гостей.

«Значит, он караулит наших возле костела, — понял Вихрь. — Все решит случай, и только случай. Какая глупость: говорят, случайностей не бывает. А я сейчас надеюсь только на случайность. Правда, в подоплеке этой моей надежды на случайность лежит знание их психологии, но обернуть на пользу это мое знание их психологии может только случай. Конечно, они пустят меня на рынок — это очень редко, когда наши люди перевербовываются ими, это для них радостное ЧП. И то, что он задумчиво сказал мне про задачи Мухи, — явный симптом его внутреннего согласия с моим предложением. Он сейчас начнет играть со мной. А я уже выиграл, теперь только надо разумно держаться».

— Давайте-ка отвлечемся, — сказал шеф, — давайте побеседуем о вашем жизненном пути. Меня интересует все, относящееся к вам, начиная с сорок первого года.

Вихрь похоронил много людей, своих друзей по борьбе. Он знал подполье Днепропетровска и Кривого Рога и помнил имена тех, кто погиб в гестапо. Значит, эти имена шеф мог перепроверить, запросив архивы. Многие товарищи Вихря по фронтовой разведке погибли, но остались их клички и легенды. Вихрь решил обратиться к мертвым друзьям. Друзья, даже мертвые, обязаны спасти живого.

— Как вам будет угодно, — сказал Вихрь. — Я могу рассказать, или лучше записать на бумаге?

— Пишите, — сказал шеф. — Будет неплохой материал для контрпропаганды на красные войска по радио.

— Этим вы погубите меня как вашего возможного агента. И этим же вы погубите моих близких.

— О ваших близких — адреса, имена, места и годы рождения — мы будем говорить позже. Вот вам бумага и перо. Мой коллега проведет вас в тихую комнату, где вам никто не будет мешать. К сожалению, наши стенографистки не знают русского языка, я лишен возможности облегчить ваш труд. До вечера.

Начальник
полиции безопасности и СД

Штамп получателя:
Начальник полиции безопасности и СД округа Краков.

Отдел наружной службы.

Секретный документ государственной важности.
13 экземпляров.
Экземпляр № 4.

28.6.1944 г. высший руководитель СС и полиции на Востоке издал следующий приказ:

«Положение с обеспечением безопасности в генерал-губернаторстве ухудшилось настолько, что отныне следует применять самые решительные средства и принимать наистрожайшие меры против виновников покушений и саботажников не немецкой национальности; с согласия генерал-губернатора приказываю, чтобы во всех случаях, когда совершены покушения или попытки покушения на немцев или если саботажники разрушили жизненно важные сооружения, должны быть расстреляны не только схваченные виновники, но, кроме того, должны быть казнены также все родственники-мужчины, а родственники по женской линии — женщины и девушки старше 16 лет — направлены в концентрационный лагерь. К родственникам-мужчинам относятся отец, сыновья (старше 16 лет), братья, деверья и шурины, двоюродные братья и дяди виновника. Точно так же следует поступать в отношении женщин.

Таким образом, намечается обеспечить коллективную ответственность всех мужчин и женщин — родственников виновного. Благодаря этому будет наиболее чувствительным образом за-

тронут круг людей, среди которых действовал политический преступник. Такая практика уже принесла прекрасные результаты в конце 1939 г. в новых Восточных областях, в частности в области Варты. Как только этот новый способ борьбы с виновниками покушений и саботажниками станет известен инородцам — это может произойти путем устной пропаганды, — женщины из круга родственников, в котором вращаются участники движения Сопротивления или банд, будут, что подтверждается опытом, оказывать предупреждающее влияние».

Я ставлю об этом в известность и предлагаю в надлежащих случаях (не касаясь уже имевших место) возможно быстрее устанавливать местожительство и немедленно арестовывать соответствующих членов семьи.

Крюгер.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОДИССЕИ

— Дней через десять я был в тридцати километрах от Берлина, — рассказывал Степан Коле после очередного допроса. — Теперь я шел только с вечера до рассвета, а остальное время спал в кустарниках около озер, чтобы в случае чего уйти от собак. Хотя, правда, товарищи в лагере говорили, что вода от собак не помогает: фашисты пускают псов по обоим берегам и быстро засекают то место, где выходишь из воды. Но все равно я ложился спать в кустарниках рядом с берегом — так я чувствовал себя уверенней.

Он замолчал, словно бы всматриваясь в самого себя.

— Ну? — поторопил его Коля. — Дальше-то что?

— Я прошел сто шестьдесят километров за десять дней. Это был хороший результат. Если учесть, что шоколада мне, как спортсмену, не давали и приходилось грызть картофель или брюкву. Я понимал, что до Польши осталось не так уж много. Там есть партизаны, там я у своих.

В то серое рассветное утро я забрался на ночь в одинокий сарай. Лил дождь со снегом, и

я решил закопаться в сено на чердаке, а вечером спокойно двинуться дальше.

Сено было теплое. Оно пахло солнцем и летом. Я уснул так, как не спал уже много месяцев. Несколько раз я просыпался, слышал, как дождь монотонно и спокойно бьется о черепичную крышу, и засыпал снова.

Дома я удивлялся, как это умудряется отец спать в троллейбусе или трамвае. Он садился в уголок, когда мы с ним ехали в гости к нашей тетке на Сельскохозяйственную выставку, поднимал воротник пальто, ставил рядом с собой костыль, опирался на него локтем и сразу же засыпал. Поначалу меня это злило, а потом стало смешить. Злило, когда я был мальчишкой. Мне казалось, что над отцом будут смеяться из-за того, что он спит в троллейбусе. Наверно, я здорово обижал отца своей снисходительностью. Я это понял, когда уходил в армию. Вернее, тогда я только догадался об этом, а понял значительно позже, в концлагере. И там же по-настоящему понял, отчего отец спал в троллейбусе даже в воскресные дни. Люди, уставшие за много лет, либо все время хотят спать, либо страдают жестокой бессонницей.

«Театральный дождь, — думал я, глядя в темный потолок, — шумит куда правдоподобнее, чем этот, настоящий. Слишком уж благополучен сегодняшний мелкий осенний дождь. И ветер чересчур спокоен и ласков. Так можно позабыть все на свете. Если еще к тому же не болит живот и в кармане есть несколько картофелин».

Сырой картофель кажется противным только первое время. Если привыкнуть, то он становится даже приятным на вкус.

Я достал картофель и начал неторопливо жевать его, очистив от грязи рукавом пальто. Я жевал картофель и мучительно вспоминал, кто из ученых утверждал, что картофельная шкурка — суррогат калорийности. Верное утверждение, хотя звучит на первый взгляд смехотворно.

Я заметил, что если съедаешь картофель чищеным, то все равно остаешься голоден, а вот стоит заставить себя слопать его вместе со шкурой, то даже одна картофелина может заменить

домашний завтрак. По калорийности, во всяком случае.

Вообще, когда начинаешь думать даже о самых пустых вещах, то сон уходит. Я ругаю себя за то, что стал размышлять о картофеле и о калорийности шелухи. Надо было сжевать одну картофелину и постараться снова уснуть. Я не помню кто, но, кажется, Павлов утверждал, что каждый час сна до полуночи равен двум часам после двенадцати. Суворов ложился спать в восемь, а вставал в три часа утра и сразу садился за работу. Вот бы мне в спутники Александра Васильевича!

Я слышу женский голос. Сначала и прежде всего я слышу женский голос. Потом уже — тяжелую поступь коровы, стук ведер, быстрые шаги женщины, ее тихие и ласковые слова. Я слышу, как женщина похлопывает корову по крупу. Потом я слышу, как она, приговаривая попрежнему тихо и ласково, начинает доить корову. Я слышу, как струйки горячего молока, пронзительно дзинькая, ударяются о стенки ведра.

Видно, я здорово обманываю себя с картофельной шелухой, с калорийностью и с ерундой насчет полезности дневного, утреннего и вечернего сна. Это все ерунда, когда говорят и думают о полезности. Вот я услыхал, как дзинькает горячее молоко о стенку ведра, и меня всего свернуло — от голода, и от боли в желудке, и от душной злобы истощенного человека. Наверное, я застонал, потому что дзиньканье молока прекратилось и женщина испуганно спросила:

— Фрицци?

«Сейчас сюда ввалится мордастый Фрицци, — думаю я, — и прощай тогда Польша!»

Я замер. Сколько же раз мне приходилось замирать во время побега! Сколько раз мне хотелось исчезнуть, стать маленьким или — еще лучше — совсем невидимым! Как же это унизительно для человека!

— Оэй, мамми! — слышу я детский голос. Ребенок кричит где-то далеко, по-видимому, метрах в пятидесяти.

Если это Фрицци, то все пока еще не так плохо, как мне казалось мгновение назад. Я слы-

шу, как кто-то бежит сюда, к сараю. Слышу детское дыхание, смех и вопрос, которого я не понял. Женщина быстро ответила, мальчик убежал. Я снова слышу дзиньканье молока о стенку ведра. И ласковое пришептывание. У нас в лагере рядом со мной работал один ветеринар. Он рассказывал, что в Германии изобрели приспособление: корову начинают доить электрической доилкой, и сразу автоматически включается патефон, и музыка тихонько играет или женский голос что-нибудь ласковое нашептывает. Тогда коровы не волнуются и дают себя выдаивать электроприбором. Умная нация — немцы. Даже сентиментальность коров учитывают.

Женщина ушла. Корова внизу хрупает сеном и тяжело, по-человечески, вздыхает. Меня снова тянет ко сну, и — да здравствует Павлов! Суворов, конечно, тоже...

Я открываю глаза и вижу над собой лицо женщины. Она красива, хотя и не молода. Мне в лагере редко снились женщины. Да и остальным заключенным тоже: голодным редко снятся женщины. Чаще всего снится еда, но мы и во сне боролись с этим. Мы уговаривались смотреть только патриотические сны. Иначе расслабишься и станешь доходягой — тогда каюк.

Я отворачиваюсь, закрываю глаза и рукой отгоняю от себя видение. Моя рука натыкается на плечо: передо мной на коленях стоит женщина — не во сне. Наяву.

— Что?! — спрашиваю я.

Женщина начинает плакать.

— Миленький, неужто наш? — шепчет она.

Я давно не слышал женской речи. Мужчины в лагере говорят иначе. Ни в одном нашем слове там не было такой доброты, испуга и такой радости, какую я услыхал сейчас.

— Тише! — прошу я.

— Да спят они.

— Кто?

— Хозяйка моя с детьми.

— А ты здесь зачем?

— Она велела.

— Что она велела?

— С чердака сухого сена принести.

— Не врешь?

Она не отвечает. Она опускается рядом, закрывает глаза и тянется ко мне. На женщине накинут френч, он расходится, и я вижу ее тело. Меня всего начинает бить такой дрожью, как будто я очень замерз. Она что-то быстро-быстро говорит, обнимает меня и все сильнее прижимает к себе. Я не вижу ее глаз — они крепко зажмурены, я только чувствую ее всю рядом с собой.

Женщины! Пожалуй, о них в лагерях тоскуют так же сильно, как и о свободе. Только те, у которых дома остались малыши, больше тоскуют о них. У нас один капитан плакал по ночам навзрыд и причитал: «Сыночек мой маленький, Сашенька... Как ты там без меня? Сыночек мой маленький, Сашенька...»

Год назад Надю угнали из Брянска в Германию. В России остались мать, два маленьких брата и муж Коля. Он в армии.

Ее дыхание щекочет ухо, и я улыбаюсь, слушая ее. Потом я понимаю, что она может обидеться, и чуть отодвигаю голову. Но она придвигается еще ближе ко мне, и снова ее дыхание щекочет мне ухо, и снова я не могу не улыбаться.

— У нас дом чистый, пятистенный, — шепчет Надя, — у окон герани стоят и два фикуса. У нас еще лимонное дерево было, только его братишка разбил. Ночью пошел в сени воды напиться и разбил. Мы другую кадку сделали, да только оно все равно завяло.

— Корни, наверное, повредило, — говорю я.

— Ну, конечно, корни, — радуется Надя, — а что ж другое-то? Хотели мы новое купить — а тут война началась.

— Кончится война — купите.

Надя сразу же начинает плакать.

— Ты не плачь, — прошу я, — не надо плакать. Обижают тебя здесь?

Женщина отрицательно качает головой.

— Нет, — говорит она, — немка добрая. Не дерется. Пацаненок только ейный камнями иногда кидает. А так — ничего. У других хуже. Ты про них не говори, — перестав плакать, просит она, — ты про нас говори.

— Ладно.
— Про дом.
— Ладно.
— У тебя тоже цветы есть?
— Есть. Столетник.
Надя улыбается:
— Это какой же такой столетник?
— С иголками. От всех болезней помогает.
— Да?
— Честное слово.
— Я тебе верю. А ты женатый?
— Нет.
— Невесту оставил?
— Нет.
— А у меня Коля красивый. Волос у него кучерявый, русый и мягкий очень. Добрый он — оттого и волос мягкий.

...Под утро я ушел дальше. Она показала мне кратчайший путь к развилке дорог, чтобы я мог сориентироваться. Женщина поцеловала меня и улыбнулась сквозь слезы.

— Знаешь, как зовут тебя? — спросил я.
— Как не знать! Надя, я ж говорила.
— Нет. — Я глажу ее по голове, по плечам, по шершавым, натруженным рукам. — Нет, тебя не Надя зовут. Тебя зовут Надежда. Понимаешь — Надежда?

Теперь, по всему, до польской границы километров пятьдесят, от силы сто. Я иду вдоль берега реки. Очень большая река. Я уже целый день иду вдоль берега — ищу переправы.

Аккуратные немцы не оставляют на берегу лодок, как у нас в России. Взял, оттолкнулся шестом — и пошел. И никуда она не денется — пригонят назавтра. Хозяин поворчит, поудивляется, а потом даже радоваться будет: приключение. У нас приключения любят, только обязательно чтобы с хорошим концом.

Под утро в сером рассветном тумане я увидел мост. С той стороны реки — небольшой городок.

«Дождусь утра, посплю в лесу, а ночью пойду на ту сторону», — думаю я и машинально лезу в карман за картофелиной. Карманы пусты. Мои съестные запасы кончились. Надя принесла мне

хлеба, маленький кусок черствого сыра и кожуру от колбасы. Два дня я блаженствовал и не замирал от страха, как прежде, потому что тогда в животе у меня от голода громко урчало.

«Или пойти сейчас? — продолжаю думать. — Может, они крепче всего спят именно сейчас, под утро?»

Я подхожу еще ближе к мосту и вижу маленький домик. Это охрана. Подползаю к домику вплотную, благо кустарник упирается в стену. Решаю лежать до тех пор, пока все не узнаю.

Я не зря пролежал в кустарнике. Слышу, как открывается дверь. Потом — шаги. Это шаги старого человека. Вижу силуэт старика с карабином. Он медленно идет к мосту и исчезает в сером тумане, который все плотнее ложится на землю. Через пятнадцать минут он возвращается, заходит в дом, и я слышу, как щелкает замок.

Отползаю чуть в сторону. Поднимаюсь и, пригнувшись, иду к мосту. Иду очень быстро, чуть не бегу. Впереди видно метров на пятнадцать. Очень хорошо, что пал такой туман, лучше и не придумаешь. Сейчас должен показаться берег. Тогда — я победил. Ну же, спите, немцы! Спите крепче! Что вам стоит поспать покрепче, а?!

Теперь я не бегу, а крадусь. Если и на той стороне такой же старый охранник, тогда все в порядке. Я иду вперед, затаив дыхание.

Стоп! Впереди — у перил, метрах в двух от конца моста — стоит немец. Он смотрит в воду. Рядом с ним — прислоненная к перилам винтовка. Стараясь не дышать, отхожу назад.

— Эй! — негромко окликает меня охранник.

Я иду молча и рассчитываю: не пора ли бежать? Пожалуй, нет, потому что это сразу же насторожит его и он поднимет тревогу. Но пятиться назад — тоже, по-видимому, не лучшее решение. Я поворачиваюсь и бегу.

— Хальт!

Я несусь во весь дух. Сзади гремит выстрел. Второй... Как долго я шел на тот берег и как мгновенно оказался на этом, проклятом, который дальше от Польши, и от партизан, и от моей родины!

Я выскакиваю к домику. Навстречу мне бе-

жит старик и размахивает карабином. Он совсем рядом, он в шаге от меня. Я бью его что есть силы в переносье, старик падает, карабин громко бряцает об асфальт.

Позади гремят выстрелы. Я секунду раздумываю, куда бежать: туда ли, откуда пришел, или в другую сторону? Решаю — надо в другую сторону: там, по всему, болота, там не страшны собаки, там можно пересидеть тревогу, поднятую охранниками.

Через несколько минут я понимаю, что сделал глупость: впереди — дома. Я вижу, как загораются огни и хлопают двери. Немцы проснулись и сейчас будут устраивать на меня облаву.

Поворачиваю назад. Останавливаюсь. Передо мной стоит мальчишка в трусах и куртке. В руке у него пляшет пистолет. Он что-то бормочет и целит мне в лицо.

— Пусти, гад! — кричу я в отчаянии.

— Хенде хох! — выговаривает наконец он. Уже выучился. Они этому быстро выучиваются. Я отпрыгиваю в сторону, и мальчишка стреляет два раза подряд. Мимо. С двух сторон подбегают еще несколько человек. Они окружают меня. Мальчишка смеется истерическим смехом, радостно говорит что-то окружающим меня людям, поднимает свой пистолет, ударяет меня дулом в лицо и снова стреляет два раза подряд прямо в лицо.

...Я сижу в комнате. Здесь много народу. Все смеются надо мной, потому что в руках у мальчишки был пугач, а я от выстрелов в глаза потерял сознание. Не смеется только один старик. Он седой, с запавшими глазами и острым кадыком. Он протягивает мне сигарету.

«Сейчас и этот гад что-нибудь придумает. Они умеют издеваться», — думаю я и отрицательно качаю головой.

Потом в комнату вошел худои старый солдат с винтовкой. Он толкнул меня стволом в плечо и сказал:

— Э, ком...

Он отвел меня в большой дом и запер в темной комнате. Отпер часов через десять. В руках у него была большая бумага с печатью.

— Фарен, — говорит он, стараясь быть понятным мне. — У-у-у, — делает он губами, подражая паровозу.

Конвоир идет сзади и вздыхает. Мне слышно его хриплое дыхание. Когда конвоир устает, он трогает меня за руку и говорит:

— Э, хальт...

Я останавливаюсь, и конвоир тоже останавливается. Мы стоим на пустынной улице, тяжело дышим и смотрим друг на друга. Где-то неподалеку во дворе смеются дети. Они бегают наперегонки — я слышу это по их веселым крикам. А может быть, играют в прятки и визжат, когда тот, кто «водит», открывает тайники, в которых прячутся остальные. Прятки — хорошая и нужная игра. Я это понял во время побега. Она приучает к неожиданностям.

Немец смотрит на меня испуганно. Хотя у него в руках винтовка, а вокруг в домах живут такие же немцы, как и он, — все равно конвоир смотрит на меня со страхом. Мы с ним долго стоим на улице, которая становится серовато-голубой. И смотрим друг на друга. Он смотрит на меня со страхом. Я — безразлично, потому что не думаю сейчас о побеге, в городе нечего и думать о побеге. А на конвоира смотрят с ненавистью, когда идут в побег. В остальное время, особенно если конвоир не дерется и не стреляет в отстающих, на него никто не смотрит с ненавистью.

Чем дальше мы идем, тем испуганнее он смотрит на меня. А потом тихо говорит:

— Э... Их вар социал-демократ...

И — трогает меня штыком. Осторожно, в плечо. Я понимаю его, и мы идем дальше. Я слышу, как немец подстраивается под меня, чтобы шагать в ногу. Он перескакивает, но никак не может подстроиться, потому что у него волочится левая нога. Я иду быстро, а он скачет сзади и никак не может попасть в мой ритм. Я слышу, как он снова начинает хрипеть и тяжело, сухо кашлять. Он кашляет все страшнее. Я останавливаюсь. Он стоит, схватившись за живот, и глаза у него красные и мокрые. Он долго кашляет, а потом, отдышавшись, говорит:

— Данке шен...

И снова трогает меня штыком, чтобы идти дальше.

На станции он отвел меня в полевую жандармерию, а сам отправился отмечать проездное свидетельство до Берлина. Он вернулся через полчаса, принес кружку пива и два бутерброда, сел рядом и стал есть. Он очень подолгу жевал каждый кусок, прежде чем проглотить его, а когда делал глоток пива, оно будто проваливалось в пустоту. Я отвернулся, чтобы не видеть, как он ест. Но я все равно слышал, как он жевал, и от этого у меня кружилась голова.

Я долго сидел отвернувшись, а потом не выдержал. Я обернулся к нему и сказал:

— Социал-демократ! Жри тише!

Немец поперхнулся и быстро посмотрел по сторонам. Старик жандарм сидел за столом и с кем-то громко говорил по телефону. Я понял, что мой конвоир испугался «социал-демократа». Я вспомнил, что со мной в лагере сидело несколько человек, которых посадили за то, что они были социал-демократами.

— Ну! — громко сказал я. — Ду бист социал...

Конвоир вскочил со своего места и закашлялся. Бутерброд упал на пол. Я поднял бутерброд и начал медленно есть хлеб с кровяной колбасой. Немец подождал, пока я доем бутерброд, а потом повел меня к поезду.

Нам дали маленькое купе. Немец запер дверь, велел мне сесть у окна, а сам устроился у двери. Винтовку он положил на колени. Поезд тронулся, и я увидел, как немец взвел курок.

Я понимал, что мое единственное спасение — в побеге. Я знал, как все это будет. Когда стемнеет, я прыгну на этого немца, придушу его, а на подходе к маленькой станции соскочу с подножки, предварительно переодевшись в форму конвоира.

Я наметил время. Как только зажгутся звезды, значит, пора.

«А что, если сегодня не будет звезд? — думаю я. — Это не худшая беда, хотя лучше бежать в звездную ночь. Меня, конечно, легче заметить, но и я зато лучше замечу каждого. Если

звезд не будет, надо начинать, когда исчезнут деревья, проходящие вдоль пути. Когда они исчезнут, значит, пора».

Я вспоминаю Архипо-Осиповку. Это станица на Черном море. Там почти нет отдыхающих, только колхозники и рыбаки. Мы туда приехали вдвоем с отцом. Всего два приезжих курортника на всю станицу. Я вспоминал Архипо-Осиповку и сразу же слышал тревожный и радостный крик цикад. Боже ты мой, сколько их там было! До сих пор я не могу представить себе, какие они из себя, эти цикады. Или, например, сверчки. Мне всегда хотелось сыграть в диккенсовском «Сверчке на печи». Но я до сих пор не представляю себе, какие они, эти самые сверчки. Очень будет неприятно узнать, что они похожи на мокриц или тараканов. Хотя в таком случае можно и не поверить. Ведь совершенно необязательно верить тому, что тебе чуждо.

На небе появились звезды. И в этот же миг в купе зажегся синий свет. Тусклый, вполнакала.

— Э, — сказал конвоир, протягивая мне фотокарточку, — майне киндерн.

«Дети, — подумал я. — Киндер — это понятно».

Я взял фотокарточку. Там было пять девочек и мальчишка. Старшей было не больше шестнадцати, а мальчишке — годик.

— Э, — сказал конвоир и протянул мне следующую карточку, — майне фрау.

Я увидел женщину в гробу. Рядом стояли дети и мой конвоир в штатском затасканном костюме.

Я вернул ему карточки, он спрятал их в бумажник, вздохнул, усмехнулся, тронул себя пальцем в грудь и сказал:

— Туберкулез...

Сейчас он смотрел на меня не испуганно, а грустно и спокойно. Наверное, он решил, что я ничего не смогу с ним сделать, потому что мы едем с большой скоростью, дверь купе заперта и курок винтовки взведен.

Ты дурак, немец. Это не важно, что поезд несется с большой скоростью. Каждую дверь можно отпереть, на твою винтовку прыгнуть, а

самого тебя ударить головой в лицо. Вот и вся наука.

«Старшая девочка здорово похожа на него, — думаю я, — и такая же худая. А мальчишка толстый. Все маленькие дети толстые. Они начинают худеть, когда их отрывают от материнской груди».

— Э, — говорит немец и, протягивая сигарету, прикладывает палец к губам, — социал-демократ — тшш!

«Какой ты социал-демократ? — думаю я спокойно. — Ты дерьмо, а не социал-демократ. Ты трус и подлец, только у тебя есть шестеро детей, а самому маленькому — год. И у них нет матери».

Я должен убить его, если хочу сбежать. Если я хочу, чтобы побег удался, я обязан его убить. А мне хочется оглушить его, чтобы дети — пятеро девочек и один пацаненок — не остались круглыми сиротами. Я знаю, что такое расти без матери. Но я даже представить себе не могу, как они останутся и без отца. Без этого туберкулезного отца, у которого огромные худые руки и который говорит мне, что он социал-демократ.

«Вот сейчас, — говорю себе я, — сейчас пора».

Я подбадриваю себя, я подбираю ноги для прыжка, я уже почти готов...

«О толстых маленьких детях говорят, что они перевязаны ниточками, — вспоминаю я, — это у них такие складки на ножках и на руках. У худых детей они исчезают очень скоро, и тогда маленькие дети делаются похожими на стариков. А маленькие дети не знают языка. Даже если он рожден немкой, его можно выучить говорить по-русски. Или по-французски, какая разница, в конце концов? Только бы не по-немецки. Это очень плохо, когда люди говорят по-немецки, хуже быть не может».

Я чувствую, что не могу ненавидеть этого туберкулезного немца так, чтобы убить, потому что видел его шестерых детей. Я ничего не могу с собой поделать. Просто у меня не будет силы, чтобы прикончить его, — я же знаю.

— Их вилль шлафен, — говорю я и закрываю глаза.

— Э, — говорит немец, — битте.

Поезд идет быстро. Я еду к гибели. Он — от нее.

«Немцы... — думаю я. — Будьте вы прокляты, фашисты. Ненавижу. Всех вас ненавижу...»

— Ну? Дальше... — спросил Коля. — Что дальше-то?

— Дальше — хуже. В гестапо меня держали месяца три. Следователь у меня был Шульц. Мордастый такой, краснорожий... Они на моем ворованном костюме споткнулись. Он был сшит на немецкой фабрике, а материал-то наш — с «Большевички», до войны мы им поставляли, по торговому договору. Ну, они меня и начали мотать — мол, ты чекист, заброшен на связь. Шульц меня все донимал, чтоб я на каком-то процессе выступил как советский офицер, разведчик... Потом в госпитале валялся, а после они меня власовцам перепульнули, в Восточную Пруссию... Никак не верили, что я просто пленный, сбежал из лагеря. А фамилию свою мне говорить тоже нельзя — я на шахте «Мария» с мишенью на спине ходил как штрафник... Ну вот... Привезли меня, значит, в контрразведку к Власову...

— А как ты попал сюда? — спросил Коля после долгого молчания.

— Расскажу... Погоди... А ты зачем? У тебя ж документ есть... Ты зачем сюда пришел?

«Если люди так врут — тогда надо пускать пулю в лоб, — думал Коля, — не может быть, чтоб так человек исподличался. Но ведь я знаю его по Москве. Я знал его лет десять, не меньше...»

— Я попал сюда по дурости, — соврал Коля.

Он не смог себя заставить сказать Степану правду. Долг жил в нем помимо него самого. А может, это никакой не долг, думал Коля, может быть, просто я сейчас подличаю и продаю самого себя, потому что незачем играть в нашу игру, если никому не веришь, а особенно другу.

— Я боюсь, они меня прижмут, если ты не поможешь мне...

— Это как?

— Ну, если ты скажешь им, что знал Родиона Матвеевича Торопова...

— Ты по документу Родион Торопов?

— Да.

— А если документ — липа?

— Я этого и боюсь — тебя завалю. Я не обижаюсь, — вздохнул Степан, — я понимаю, откуда ты. Когда ты не обернулся, я сразу понял.

— Ты верно понял, — сказал Коля и глубоко выдохнул мешавший все время воздух. — Ты все верно понял, Родька... Что у него было еще в документах?

— А ничего. Аусвайс из Киева — и все.

— Слушай... Будешь говорить, что, мол, из Киева ты уехал в Минск... Тебя еще ни разу не допрашивали?

— Нет... Он тебя держал, я был в предбаннике. А потом он ушел спать, тебя — в барак, ну и меня тоже.

— Ладно. Попробуем.

Коля понимал, что он сейчас идет на преступление. Но он не мог поступить иначе. Он обязан был поступить только так, и никак иначе, потому что он не имел права подписать своими руками смертный приговор другу, с которым рос в одном дворе, жил на одной площадке и учился в одном классе.

— Ты жил в Минске на Гитлерштрассе, четыре, а потом переехал на Угольную, дом семь. В этом доме была парикмахерская Ереминского, но ты про это не говори сразу. Они тебя сами начнут спрашивать, потому что у них в деле есть мой адрес, понимаешь? Они тебе наверняка дадут очную ставку со мной. Я тебя не узнаю — мало ли проходило через меня клиентов! Ты скажешь, что я — мастер, работавший возле большого окна, под вывеской «Мастерская Ереминского» — мужчина с трубкой в зубах и женщина, завитая как баран. Я подтвержу эти твои показания. Ясно?

— Наверное, я сволочь, — сказал Степан. — Наверное, я не имел права тебя просить.

— Видимо, я не имел права соглашаться тебе помогать, — сказал Коля.

— Погоди, а как тебя зовут?

— Это не важно... Ты ж не знаешь, как меня зовут, — для них, во всяком случае. Излишняя подробность так же настораживает, как и плутание в потемках.

— А если я не сыграю? — спросил Степан. — Вдруг не сыграю?..

ВСТРЕТИЛИСЬ

День был солнечный. Легкую голубизну неба подчеркивали длинные белые облака. Прорезая эти белые

облака, носились черные ласточки. В безбрежную высоту уплывал медленный перезвон колоколов.

«Совсем другой звук, — думала Аня, прислушиваясь к перезвону, — какой-то игрушечный, не взаправдашний, не как у нас; словно музыкальный ларец. Люди такие же, как у нас, и лицом похожи, только в шляпах, а у женщин вязаные чулки и юбки широкие, в складочку, а вот колокола совсем другие».

Когда большие двери костела, окованные металлическими буро-проржавелыми языками, чуть приоткрывались, пропуская людей, до Ани доносились тугие, величавые звуки органа.

«Какая красивая музыка, — думала Аня каждый раз, когда до нее доносились звуки органа. — Когда кончится война, обязательно пойду в консерваторию слушать орган. Говорят, в Москве самый большой орган. А я раньше смеялась: «Что хорошего в этой тягучке?!» Дуреха! Музыку вообще можно понять лишь после того, как переживешь что-то большое, очень твое, главное — горе ли, счастье. Только тогда тебе дано будет понять серьезную музыку, а не «утомленное солнце нежно с морем прощалось...». Когда весело, тогда надо, чтоб был джаз-оркестр вроде утесовского, а если страшно и сил нет, тогда пусть будет орган. Делаешься маленькой-маленькой, и страх тоже становится маленьким, как и ты сама».

Аня стояла под навесом магазинчика. Длинный навес, сделанный в форме козырька, прятал ее от солнца, и, кроме того, она могла наблюдать за площадью так, что ее почти не было видно, а ей было видно все.

Она пришла сюда к девяти часам, за час до того времени, как было условлено. Аня знала, что следует заранее прийти на место встречи: час даст возможность свыкнуться с обстановкой; час поможет ей заметить подозрительное; час поможет спокойно подготовиться к той минуте, когда она подойдет к молодому мужчине в немецкой военной поношенной форме без погон и спросит его: «Простите, пожалуйста, вы здесь старушку с двумя мешками не видели?»

Аня определила для себя, что она не выйдет к человеку в форме, если увидит двоих или троих людей, которые, возможно, будут прогуливаться в разных концах площади или сидеть на телегах перед костелом. Гестаповцы, она прекрасно понимала, могут быть спрятаны и в костеле, и в домах, окружающих площадь, и, наконец, они могут сидеть в машинах где-нибудь неподалеку

и только дожидаться условного сигнала, чтобы взять ее и Муху, как только они увидятся. Аня все это понимала, но ей казалось, что следует подстраховаться хотя бы в пределах тех возможностей, которые она имеет, и в пределах того опыта, который у нее есть. Она не могла и предположить, что Муха может быть перевербован, и что на встречу к ней он придет один, и поведет ее на хорошую квартиру, и поможет откопать и принести сюда рацию — и все это не по своему разумению, а по плану, заранее разработанному полковником абвера Бергом.

Без четверти десять Аня увидела молодого парня в кожаной расстегнутой куртке. Он шел по площади как гуляка, заломив кепку на затылок, в руке букет полевых цветов, ноги обуты в щегольские краги — в таких щеголял в Красноярске Ленька Дубинин, инструктор автоклуба Осоавиахима; он их по случаю купил в комиссионном магазине, когда ездил на слет осоавиахимовцев в Ленинград.

Парень двигался медленно, лениво поглядывая по сторонам. До середины площади он не дошел, свернул в маленькую улочку — в ту самую, через которую пришла в Рыбны Аня.

«Там парикмахерская, кафе и два магазинчика, — вспомнила Аня, — машине там негде стать, потому что посредине большая лужа, видимо очень вязкая, а выезд на проселок, который ведет к шоссе, слишком крутой. И потом, что это я запсиховала? Я подожду двоих или троих гуляк — тогда надо будет думать...»

Парень, однако, появился снова. Он несколько раз уходил с площади, снова появлялся, возле ворот костела поворачивался и быстро скрывался в переулке. Аня подождала до десяти, потом вышла из-под козырька и неторопливо пошла в переулок следом за парнем. Возле парикмахерской он постоял минуту, повернулся и двинулся навстречу Ане — к площади. Когда открылась дверь парикмахерской и оттуда вышел мужчина в потрепанной немецкой форме без погон, парень, словно бы увидев это затылком, остановился и начал потуже застегивать краги. Он застегивал краги до тех пор, пока человек в немецкой форме не прошел мимо него — на площадь.

«За ним следят, — решила Аня, — если это Муха, за ним слежка. Что делать? Если я подойду к нему, значит, нас поведут двоих».

Через пять минут к парню в крагах подъехал на

велосипеде мальчишка в коротких штанах и в майке-безрукавке. Они поздоровались, мальчишка слез с седла, парень в крагах посадил его на багажник («У нас на раме ездят», — успело мелькнуть у Ани), и они уехали с площади.

«А я-то с ума сходила, — сказала себе Аня, — вот сумасшедшая!» Она не обратила внимания на девушку, которая вышла на площадь с той улицы, куда только-только укатил на велосипеде парень в крагах с мальчиком на багажнике.

И тут к костелу подошел Муха — она его сразу узнала.

— Простите, — сказала Аня и откашлялась, потому что у нее запершило в горле, — вы тут старушку с двумя мешками не видели?

— Что? — удивился Муха. — Не видел я никакой старушки...

Аня несколько мгновений смотрела ему в глаза, а потом повернулась и пошла через площадь к костелу.

«Он решил не идти со мной на контакт. Почему он должен идти на контакт со мной, когда он ждет резидента в синем костюме? Что же делать, а? Объяснять ему? А вдруг это не он? Он. Наверняка он. Он ответил мне по-русски. Дурак! Зачем он отвечал мне по-русски, если не хочет засветиться? Машинально? Разве ж так можно?!»

— Пани! — вдруг крикнул парень у нее за спиной. — Постойте, пани!

Он подбежал к ней запыхавшись. Лицо его было бледно, губы — Аня очень четко увидела это — пересохли и потрескались, сделались чешуйчатыми, как у мальчишек после первых заморозков, когда они сосут сосульки.

— По-моему, она недавно уехала с попутной машиной, — сказал Муха. — Уехала та старуха. С попутной машиной уехала...

Они быстро пошли вперед — он на полшага перед ней, заглядывая ей в лицо; он прямо-таки впился глазами в ее лицо, а она, торопясь, шагала за ним. Ей казалось, что он так жадно смотрит на нее потому, что она оттуда, с Большой земли, и поэтому она улыбнулась ему. А он так жадно смотрел на нее потому, что она была хороша, очень хороша, и он силился представить себе, что станет с этим лицом, когда она очутится там, где должна будет очутиться вскоре.

Аня оглянулась, с трудом оторвавшись от его воспа-

ленных глаз с покрасневшими белками. Улица была пуста — шла девушка, совсем еще молоденькая. На нее Аня не обратила внимания. (Она не могла себе представить, что от этой молоденькой девушки будет зависеть ее жизнь — в эти ближайшие часы и дни.)

Муха привел ее в маленький домик на окраине Рыбны. В домике было две комнаты. В одной, с небольшим окном, выходившим на улицу, жила глухая старуха, а в большой комнате с тремя окнами, заросшими плющом и диким виноградом, было прибрано и пусто, как после покойника.

— Здесь будешь жить, — сказал Муха. — Кроватка видишь какая? С пружинами — спи, как дома. Отдохнешь? Или поговорим? Где остальные?

Аня присела на край кровати и сказала:

— Знаешь, я полчаса полежу, а то пока тебя ждала — совсем выдохлась.

Она сбросила туфли и подтянула к голове подушку. Тело ее стало тяжелым и словно бы чужим. Аня увидела со стороны свое тело, и ей стало вдруг беспричинно и пронзительно жаль себя.

«Ничего, — подумала она, — это бабье, это можно перебороть. В первый раз тоже так было. Главное, я его встретила. Двое — не одна, теперь все в порядке».

С этим она и уснула. Муха сидел возле окна, смотрел на спящую девушку, на ее сильные ноги, на красивое и спокойное во сне лицо, на грудь, видневшуюся в вырезе кофточки; он смотрел на человека, обреченного им, и тихонько похрустывал пальцами, каждым в отдельности — сначала первой, потом второй фалангой, а потом двумя фалангами вместе.

Муха сидел недвижно, как изваянный. Он должен был сидеть здесь до тех пор, пока девушка не проснется и не скажет ему, где рация и шифры. Потом они привезут все это сюда, и он будет поставлять ей дезинформацию, и она начнет передавать дезинформацию в Центр, Бородину, а потом надо будет найти руководителя группы, который выброшен вместе с ней, и сделать так, чтобы он встретился с Бергом — именно в тот миг, когда его можно будет взять «с поличным». Что дальше будет — это уже Муху не волновало. Они после отправят его в тыл, в Германию, подальше от войны, от ужаса и крови. Хватит с него. Хватит с него того, что он видел. Хватит с

него бессонницы, страха и надежд, которым не суждено сбыться. Там у него ничего не может быть — ничего, кроме того, что было в коммунальной квартире. Здесь у него будет маленькая автомастерская, коттедж, где не пахнет керосинками и щами, и машина марки ДКВ. Больше ему ничего не надо. Ничего. Он все время чувствовал у себя на затылке чужие глаза — с того часа, как выбросился сюда. Он больше не мог так, не выдерживали нервы. Все это ему предложил Берг — маленькое, но его. И он согласился. Согласился потому, что не мог поступить иначе: сдавали нервы. Хватит с него, хватит!

ПЕРВАЯ СУББОТА

Посредине Кракова — поразительный в своей средневековой красоте Старый рынок. Два костела, выложенная каменными плитами площадь, крытые ряды Сукеницы, снова площадь, устланная серыми плитами, а вокруг двух- и трехэтажные дома с островерхими черепичными крышами. Еще до войны дома были выкрашены в разные цвета — желтый, красный, серый, но теперь краска выцвела, местами облупилась, и поэтому площадь была не игрушечно-средневековая, как раньше, а казалась по-настоящему перенесенной сюда из давно ушедших веков.

С раннего утра площадь Старого рынка гудела. Здесь была самая крупная толкучка: меняли костюмы на сало, живопись Матейко на яйца, бриллианты на самогон, оккупационные марки на довоенные злотые, сапоги на табак — чего только здесь не меняли в тот год!

И среди этого гомона, составленного из выкриков торговцев, быстрого шепота спекулянтов, плача потерявшихся детей, истерики, если вытащили из кармана продуктовую карточку на жиры, — среди этого монотонного шума, похожего, если закрыть глаза, на карнавальный вечер в городском саду, только продавцы икон и корма для голубей были молчаливы и тихи. Они не ходили взад и вперед, они никому не предлагали свой товар. Они стояли безмолвно с утра и до вечера, когда торговля кончалась, или до того момента, когда раздавались свистки полицейских и рынок, как громадная морская волна, все сметающая на своем пути, слизывал людей, оставляя на серых плитах обрывки газет, коротенькие, обгоревшие до пальцев, окурки, яичную скорлупу и огрызки моченых яблок (сразу видно, приехали торговать из села) да порой галошу или ботинок, слетевший с ноги во время бегства при облаве.

Эта суббота ничем не отличалась от всех остальных дней. Также было людно, тревожно и душно. Так же через каждые полчаса трубач на костеле высовывался на пятидесятиметровой высоте в окошко и играл своим длинным средневековым серебряным горном позывные тревоги. Он играл до середины и резко обрывал пронзительно-чистый мотив. Так было многие столетия. Предание рассказывает, что трубач увидел из своего окошка татар, которые двигались к городу молчаливой, устремленной пыльной лавиной. Он затрубил тревогу, но не успел допеть свою песню до конца — его пронзила стрела. С тех пор каждые полчаса трубач — днем и ночью — обрывает свою песню тревоги на высокой плачущей ноте.

Было так жарко, что Вихрь, пробираясь сквозь толпу, заметил, как босой паренек, менявший дамские ботинки на хлеб, не мог стоять на горячих плитках — все время переступал с ноги на ногу, поджимая пальцы, и норовил подольше продержаться на пятках: не так жгло ступни. Вихрь шел медленно, разглядывая людей, собравшихся здесь. Рядом с ним плечом к плечу двигался гестаповец, переодетый под слепца, — весь в черном, с синими очками на курносом веснушчатом носу.

Когда Вихрь посмотрел на него в камере, перед выходом на толкучку, ему стало весело. «Болваны, — подумал он, — у слепца никогда не может быть такого аккуратного курносенького веснушчатого носа. Слепота всегда накладывает отпечаток трагизма на лицо человека. А этот — румяный и сытый. Болваны!»

Второй гестаповец шел справа, чуть поодаль. Он был одет под крестьянина. Третий шел впереди и часто оглядывался, словно отыскивая кого-то в толпе. Пять других сотрудников гестапо заняли ключевые позиции вокруг рынка — на перекрестках улиц, так, чтобы видеть друг друга и обеспечить преследование в случае, если русский попробует бежать от своих непосредственных сопровождающих. О том, что рынок будет оцеплен, Вихрь догадывался, хотя про этих пятерых ему, естественно, ничего не говорили перед выездом из гестапо.

Корм продавали старухи. Они держали в скрюченных пожелтевших пальцах маленькие кульки, свернутые из старых, серых газетных срывов.

Над толкучкой летали голуби. Раньше, до войны, на площади Старого рынка только и стояли эти старухи с кормом для голубей, и люди покупали у них корм и угощали голубей с руки. Голуби были прирученные, они

садились человеку на плечи, на руки, на голову и уютно, таинственно бормотали что-то, расклевывая распаренные, большие зерна. Теперь же голубям негде было садиться днем — площадь была занята толкучим рынком, по которому ходили голодные люди. Только по вечерам голуби садились на площадь, и она делалась голубой, нереальной, сказочной.

Корм почти никто не покупал, так же как иконы. Старухи и старички с иконами и кормом стояли на Старом рынке потому, что они здесь торговали всю жизнь. Отними у них это занятие — и им нечего будет делать на земле. Разве что изредка корм покупали немецкие офицеры и шли фотографироваться к костелу — они улыбались в объектив, облепленные голубями, дрожащими от голодной жадности.

Еще реже покупали корм ксендзы и раздавали его горстками детям, чтобы те могли — после службы в костеле — покормить божьих птиц.

А иконы не покупал никто: в каждом доме были свои. Только разве изредка какая вдова остановится возле скорбной богоматери или доброго лика Христова, утрет слезу, быстро перекрестится, присядет в полупоклоне и спешит дальше, предлагая платок в обмен на творог для больного ребенка.

Вихрь впитывал людскую речь. Он испытывал острое чувство счастья, слыша голоса людей, потому что не должен был никому и ничего отвечать. Каждый ответ в гестапо дорого стоил ему. Ответ должен быть быстрым, непринужденным и правдивым настолько, чтобы при возможной проверке оставался путь для двоякого толкования. Ночью после допросов он не мог спать, ибо заново «прокручивал» в памяти это свое «кино» — удел любого разведчика. Он вспоминал каждую интонацию шефа, он вспоминал, в какой последовательности они задавали ему вопросы, что он им отвечал, где д е р ж а л паузы, какие его ответы могли оказаться после их з м е й с к о г о анализа поводом к новым вопросам. Он не готовил себя к завтрашнему дню. Вихрь понимал, что, если он заранее приготовит позицию, а они поведут допрос совсем по другому срезу, ему будет трудно переделывать свою концепцию на ходу. Он готовился к следующему допросу иначе. Сначала он восстанавливал в памяти все предыдущие допросы, отмечал для себя, какой круг вопросов они еще не затрагивали, прикидывал, что их должно интересовать в первую голову, и таким

образом намечал заранее приблизительные ответы на каждый возможный узел тем, которыми, вероятно, будет интересоваться гестапо.

Однажды сволочной старичок из Орла, работавший на немцев среди интеллигенции в качестве секретного сотрудника гестапо, говорил Вихрю и двум молоденьким чекистам, допрашивавшим его: «О голодные, истеричные, пронизанные слухами и надеждами рынки войны! Как быстро люди в дни мира забывают вид этих трагичных рынков! Единственная гарантия против войны — это людская память. Но ее, людской памяти, нет. Есть память человеческая — у каждого своя, и притом, как правило, плохая. Если бы заменить память иным чувством, например завистью, тогда войн не было бы вовсе. Память — как погода, она меняется в зависимости от настроения человека. Хорошо ему — он вспоминает хорошее или же о плохом говорит с улыбкой: оно, это плохое, уже миновало и в настоящее время ему, этому человеку, не угрожает. А коли человеку плохо, так все зависит от характера: он или на другого за это «плохо» вину навесит, или будет биться насмерть, чтоб плохое поменять на хорошее, или запьет горькую, или плюнет на все и заглянет в лицо старухе с косой — когда нет выхода. Вспоминают вообще редко. Чаще думают о будущем. Потому и воюют...»

«От старый черт! — как-то удивленно подумал Вихрь, вспомнив старика. — Про трагизм базаров он верно говорил. Я почти никогда не вспоминал голод двадцать девятого года, а ведь я его помню... Про зависть и остальное — надо было б поспорить. Спор — это вроде точильного камня в поисках истины».

Слепец толкнул Вихря в бок.

Вихрь неторопливо обернулся. Слепец кивнул головой на молодого парня в черной вельветовой куртке, в серых брюках, заправленных в сапоги. Парень держал в руках кульки с кормом для голубей.

ОЧНАЯ СТАВКА

Старик в военной форме теперь был не один. Рядом сидел человек в сером штатском костюме. Коля понял, что этот — из гестапо. Он не ошибся. Старик офицер сказал:

— С вами будет беседовать господин из отдела по перемещению иностранной рабочей силы.

«Знаю я эту рабочую силу, — усмехнулся про себя Коля. — Рожа — кирпича просит».

— Очень приятно, — сказал он, — а то я сижу, уж волноваться начал.

— Волноваться вредно, — сказал штатский, — особенно такому здоровому молодому человеку, как вы.

— Я волнуюсь не по своей воле, — улыбнулся Коля.

— По нашей? — тоже улыбнулся штатский.

— Да уж не по своей.

— Ну, хорошо... Оставим это. Где бы вы хотели работать? В какой отрасли хозяйства нашего народного государства?

— Видите ли, я получил много профессий за последние три года. Я уже их перечислял.

— Да, я в курсе. Вы оборвали цикл занятий на физическом факультете ближе к завершению или в середине?

— В середине. Да, пожалуй, в самой середине.

— А как у вас с языком?

— Скорее плохо, чем хорошо. Я и в школе получал посредственные оценки по немецкому языку.

— Да?

— Теперь жалею. Но у нас плохо учили немецкому.

— Совершенно верно. Мне рассказывали, что в ваших школах вообще не изучают произношение. А ведь у нас есть и берлинское, и баварское, и северное, и швейцарское, и австрийское произношение.

— В том-то и дело. А самому заниматься было трудно: времени не хватало, есть хотелось, а не подхалтуришь — не пошамаешь.

— Пошамаешь? Это что такое?

— Шамать — значит есть, жевать, как говорится, от пуза.

— Вы веселый молодой человек. Вас зовут...

— Андрей...

— Андрей, — повторил немец. — А отчество?

— Яковлевич. Андрей Яковлевич.

— Яковлевич, — задумчиво протянул немец. — Вообще-то весьма еврейское отчество.

— Яков? Ну что вы... У вас самих много Яковов. У меня был знакомый немец Якоб Ройн, фельдфебель.

— Откуда этот Ройн?

— По-моему, из Берлина.

— А отчество вашего отца?

— Иванович. Яков Иванович.

— Где родились?

— Потомственный москвич.

— Место жительства?

— Мое?

— Отцово.

— Вместе с нами жил.

— Это вы уже написали. Меня интересует, где он жил до того, как вы приехали на вашу квартиру?

— Я не помню... Где-то на Палихе, а точно не помню, не интересовался.

— Скажите мне вот что, — растягивая гласные, сказал гестаповец, — где вы работали в Минске?

— В парикмахерской.

— Их там было много. В какой именно?

— В парикмахерской Ереминского.

— Опишите мне подробно внутренний вид парикмахерской.

— Ну как... Длинная комната, в ней кресла — вот и все.

— Сколько было у вас кресел?

«Они мотали Степку, теперь проверяют на мне. Но Степка говорил, что мотал его один старик, почему пришел штатский? Степка наверняка сидит в темной комнате, они его выдерживают — психологи чертовы. Но почему пришел гестаповец? Неужели Степка погорел? Или погорел я? Не может быть! Он не мог продать меня, не мог!» — быстро думал Коля, машинально отвечая:

— У нас было три кресла.

— Три кресла, — задумчиво повторил гестаповец, — это хорошо, что три кресла... Это отлично, что у вас было именно три кресла...

Он открыл толстую папку, на корешке которой было выведено по-немецки «Минск», и стал рассеянно рыться в бумагах.

«Такие номера у нас не проходят, — подумал Коля, — так пугают только дошкольников...»

— Это просто совершенно великолепно, что у вас было три кресла, — снова повторил гестаповец, — а за каким креслом работали вы?

— Когда как...

— Определенного, своего кресла у вас не было?

— Чаще всего я устраивался возле большого окна: была видна улица... Интересно, знаете ли...

— Девочки, ножки, юбочки...

— В том-то и дело.

— Сколько вам платили в месяц?

— У нас была понедельная оплата. Хозяин платил нам каждую субботу. Это приказ бургомистрата — платить понедельно, разве вы не слыхали?

Гестаповец чуть улыбнулся уголком рта, и Коля понял, что он ведет себя верно: его ловили с разных сторон, и не в лоб, а издалека, через детали.

— Скажите, пожалуйста, — спросил гестаповец, по-прежнему длинно растягивая гласные, — а какой-нибудь рисунок у вас на окнах был?

— Было два рисунка, — сухо ответил Коля. — Вы что, не верите моим документам?

— Какие были рисунки?

— Как всегда на парикмахерских. Мужчина и женщина. С фасонными прическами.

— Хорошо... Какой машинкой вы работали? Русской или немецкой?

— Сначала русской, а потом достал немецкую, золингенской стали.

— Какая лучше?

— Конечно, немецкая.

— Почему «конечно»?

— Потому что фирма солидней.

Гестаповец распахнул свой черный портфель и достал оттуда ножницы, гребенку и машинку для стрижки волос.

— Сейчас вы покажете нам свое искусство, — сказал гестаповец. — Согласны?

И, не дожидаясь ответа Коли, он сухо приказал:

— Пригласите Торопова.

— Сейчас же приглашу, господин Шульц, — ответил старик офицер и вышел из кабинета.

В голову Коли словно ударило: Шульц! Сначала он не понял, отчего его так ударило. А потом ясно услышал Степку, его рассказ про следователя гестапо Шульца — красномордого и здорового, который уговаривал его выступить на процессе как чекиста-связника.

А ГДЕ РАЦИЯ?

Аня проснулась через час. Ей казалось, что она только на минуту закрыла глаза. Аня увидела незнакомый потолок над головой (она всегда запоминала карнизы потолков и могла по ним безошибочно определить высоту комнаты), и все в ней закружилось, заметалось, напряг-

лось. Но так было только одно мгновение, пока она не увидела возле окна Муху. Он сидел в той же позе, что и час назад, — опершись рукой на подоконник, выкрашенный жирной белой краской.

Он сидел, закинув ногу на ногу, — уютно, по-довоенному, нисколько не скованно, будто он вовсе не в тылу у немцев, а в штабном домике после возвращения с задания — сидит себе и отдыхает бездумно.

— Ну, — улыбнулся он, — отдохнула?

— Хорошо отдохнула.

— Я на тебя глядел: красивая ты. Зачем таких посылать? Можно кого поплоше...

— Это почему?

— Так... Если поплоше какая попадется — не жаль.

— Каждый человек — человек... Да и потом, не в вывеске дело.

— Ты про душу-то не заводи, не надо, — сказал Муха, — это мы в школе проходили. Рация где? Надо выходить к нашим, в лесу у местных партизан питание кончилось, они теперь немые.

— За рацией надо идти.

— У верных людей спрятала?

— Я ее закопала.

Муха присвистнул.

— Теперь черта с два найдешь!

Аня улыбнулась:

— Найду. Завтра же найду. Вдвоем пойдем?

— Нет, втроем. Я еще одного местного с собой прихвачу.

— Кто такой?

— Один... парень... Из моей группы.

— Он не наш?

— Раз мне помогает, значит, наш.

— Это понятно. Я спрашиваю: его тоже забросили или он местный?

— Местный. Я его тут вербанул.

— Как мне называть тебя? Мухой как-то неудобно звать.

— Я — Андрей. А ты?

— Аня.

— А по-настоящему?

— Я же не спрашиваю, как тебя звать по-настоящему...

— По-настоящему меня зовут Андрий, вот и вся разница.

Аня быстро глянула на Муху и подумала: «Что он, с ума сошел — настоящее имя говорит?» Она ничего не сказала ему, села к столику и, достав зеркало, стала причесываться.

— А ты чего незавитая? — спросил он. — Сейчас модно, чтоб с шестимесячной.

— Мне не идет.

— Одели тебя ничего, — продолжал Муха, — похоже... А остальные как? В трофеях или шили по заказу?

— Кто в чем...

— Резидент в синем костюме прыгал?

— Он прыгал в комбинезоне.

— А штиблеты на нем какие были? Не помнишь, какого цвета?

— Не помню...

— Ты на карте пометила место, где спрятана рация?

— Я карту закопала.

— Где?

— Здесь недалеко.

— Пошли за картой.

— Лучше вечером. Спокойней. Я ее хоть ночью найду, я заметины в лесу оставила.

— Какие заметины?

— Ну, следы... Кору надрезала, линию прочертила от тропки, валеги накидала... Это сибирское, я это умею.

— Сибирячка?

— Почти.

— Ишь какая осторожная, — улыбнулся Муха, — все намеками да намеками. Слышь, Ань, а второй как одет? На всякий случай, чтоб знать, если резидент сгинул...

— Тоже в комбинезоне, — ответила Аня. — По паролю узнаешь.

— Ты что, не веришь мне?

— Почему? — удивилась Аня. — Как же я могу тебе не верить?

— Я тут один — три месяца! Сколотил группу! Передаю сведения, вам базу приготовил! Не сплю, не жру! Эх, чего там!

— Не сердись, Андрюша, ну что ты... Если ты волнуешься, не ходи на явку. Теперь могу пойти я. Я-то ведь знаю их в лицо...

— Ладно, там решим... Извини, что сорвался: нервы на пределе. Но за картой пошли сейчас.

— А почему сейчас? Вечером надежней. Давай вечером, а?

Вечером у Мухи была назначена встреча с Бергом. Поэтому он сказал:

— Нет, Анечка, вечером мы не пойдем: патрулей до черта, напоремся еще, не ровен час.

А карту он обязан был показать полковнику Бергу — тот велел. И еще он хотел показать карту гестаповцам: после очной ставки с разведчиком он чувствовал себя оплеванным — ему явно не верили. Покажет карту — поверят.

— Ну, хорошо, — сказала Аня, — если ты считаешь, что надо идти сейчас, пошли, я готова.

— Погоди, — сказал Муха, — я тебе приготовил поесть.

— Спасибо, — улыбнулась Аня, — а то я голодная как волк.

Муха вышел в сени и вернулся с тарелкой, в которой лежала вареная картошка, желтая крупная соль и молодой, видно прямо с грядки, зеленый лук.

— Ой, спасибо, — сказала Аня, — красота какая!

— Погоди, — сказал Муха, — я тебе еще кринку простокваши приготовил.

— Спасибо, Андрюша, только я ее не ем.

— Это почему? Самое вкусное, что есть, — простокваша.

— Не могу. Меня в детстве мать напугала. Сказала, что в нее лягушек кладут — для холода. С тех пор не могу, лучше голодной ходить.

— Вот женщины! — сказал Муха. — А еще туда же — воевать... Ну, лопай как следует. А завтра я молочка тебе раздобуду. У них тут молочко жирное, хорошее молочко...

Через десять минут они вышли из дому.

— Слушай, Ань, — спросил Муха, — а какое у нас задание теперь будет, не знаешь?

— Знаю, — ответила Аня, — задание специальное, особой важности, детали тебе Вихрь объяснит. Только не сердись, ладно? Я ж тебя не спрашиваю о твоих связях и явках. Придет Вихрь — с ним разберетесь.

— Да я и не сержусь, что ты... Он длинный такой, Вихрь, да? Глаза голубые-голубые?

Аня оглянулась. По дороге следом за ними ехала девочка на велосипеде. Больше никого не было. Аня оглянулась еще раз: велосипед показался ей знакомым — точно такой же, как у мальчишки, что приехал за парнем в крагах.

— Тут велосипедов много? — спросила Аня.
— В каждом доме. А что?
— Ничего. Интересуюсь.
И они свернули в лес.

СТАРЫЙ РЫНОК

«Липа, — подумал Вихрь, — это липа, они меня берут на пушку. Это их человек. Они хотят меня пощупать еще раз: стану кричать «Беги!» или подойду к нему? Дурачки! Они же мне так помогают. Сами себя убеждают в моей им преданности. Стоп! А что, если это случайное совпадение? Погубят парня, зря погубят. Вряд ли... Это не случайность. Это не может быть случайностью — слишком точно все сыграно».

Он медленно шел следом за парнем, который ходил мимо остальных торговцев — пять шагов вперед, пять назад.

— У вас нет хорошего корма для индеек? — склонившись к человеку в вельветовой куртке, спросил Вихрь.

Тот быстро обернулся, мгновение разглядывая Вихря и слепца, стоявшего за спиной, а потом ответил, словно выдавливая из себя слова:

— Теперь корма для индеек крайне дороги... Видимо, вы имеет в виду индюшат...

И первым протянул руку Вихрю. Вихрь пожал протянутую ему руку.

«Это уже становится глупо. Видимо, он поведет меня на их явку, — думал Вихрь. — Бежать с дороги? Нельзя. Если будет облава на рынке, у меня девяносто шансов из ста. Бежать сейчас — один из ста. А если других больше не представится? Если облавы не будет? Если... Тысяча если... Тысяча проклятых если...»

Все это пронеслось у него в голове, когда он, обернувшись, сказал слепцу:

— Знакомься, это наш друг.

А после они шли по улице Святого Анджея, повернули к университету, вышли на сквер Плянты — кольцо тополей, издревле окружающее старый город, — и двинулись вдоль трамвайных путей — к реке.

Народу было немного. На скамейках сидели женщины с детьми. Лица у детей были землистые, кожа возле висков морщинистая, старческая. Дети войны. Они не бегали наперегонки, не кричали, играя, не рылись с

лопатками на газонах. Они сидели возле женщин тихо — ручки сложены на коленях, колени громадные, раздутые, а ножки тоненькие, как спички.

«Здесь все простреливается. Они меня возьмут здесь, — думал Вихрь, — нет смысла. Зря погибнуть — всегда легче легкого».

— Спотыкайся немножко, — шепнул он слепцу, когда парень в вельветке отвернулся.

Слепой кивнул, но продолжал идти, как зрячий — по-солдатски выбрасывая ноги, ступая уверенно, будто на параде.

Возле высокого дома, соседнего с гостиницей «Варшавской», вельветовый парень остановился, посмотрел на белую табличку, где были обозначены номера квартир, чуть заметно кивнул головой и отворил дверь. Вихрь и слепой вошли в подъезд следом.

«А если ринуться назад! — подумал Вихрь. — Нет. Там их люди. Наверняка там хвост. Все проиграю. Нельзя».

Около пятой квартиры на третьем этаже они остановились. Вельветовый парень долго прислушивался, потом замер, приложившись ухом к замочной скважине, и ловко, одним поворотом, отпер дверь.

В большой комнате, почти совершенно пустой — маленький стол и два кресла, в углу широкая смятая тахта, — возле громадного, чуть не во всю стену, итальянского окна стоял шеф отдела III-А. Он улыбался.

— Простите меня, но в нашей работе приходится порой разыгрывать спектакли.

Вихрь был готов к этому; он сыграл такое изумление, что гестаповцы — сначала шеф, потом слепец, прятавший очки в футляр, а потом вельветовый парень — громко расхохотались.

ВКУС ШНАПСА

Шульц оказался однофамильцем. Коля понял это, как только ввели Богданова. Степан разыграл все правильно — как они репетировали в бараке. Коля подстриг его артистически. Он яростно щелкал ножницами вокруг головы Богданова, все время повторяя дурацкие вопросы:

— Не беспокоит? Не тревожит? Не беспокоит?

Вечером им выдали по пятьсот марок: каждому уходившему вместе с немецкими войсками от красных выда-

валась компенсация перед окончательным трудоустройством.

Коля получил направление на работу в офицерскую парикмахерскую, а Степана направили в автомастерскую танковой части, дислоцировавшейся в семи километрах от Кракова.

Получив деньги, Коля с Богдановым зашли в солдатский распределитель. Там по записке старичка офицера им продали банку свиных консервов, булку, сто граммов маргарина и бутылку шнапса. Они завернули все это в газету и пошли в лесок. Там разложили костер и начали пировать. Степан после первого же стаканчика опьянел и стал плакать. Он плакал, всхлипывая, слезы катились по его желтым щекам, он не вытирал их, и они заливались к нему в рот, и только тогда он вытирал губы ладонью и виновато улыбался.

— Знаешь, что самое страшное? — говорил он. — Самое страшное — это какими мы можем стать потом. Сможем ли мы победить в себе эту ненависть, которая в нас родилась? Сможем ли мы побороть в себе страх, который теперь живет в нас вместе с отчаянием и храбростью? Сможем ли мы сломать в себе ненависть к людям, которые говорят на немецком языке?

Он жадно выпил шнапс, понюхал корку хлеба и, подвинувшись еще ближе к костру, стал говорить:

— Пал Палыч был моим следователем. Власовец, паскуда, нелюдь. Он лысый, старый и больной. Я видел что он болен, потому что у него все время закипала пена в уголках рта и еще потому, что лицо у него было желтое и до невозможности худое.

— Ну-ка, хлебало открой, — говорит Пал Палыч.

— Что?

Он грязно ругается и повторяет:

— Хавало открой свое! Рот, понял?!

Открываю рот. Он заглядывает, как говорят врачи, в зубную полость и сердится:

— Что, «желтую сару» уже сняли гансы?

Я ничего не понимаю.

— Фиксы, говорю, фиксы гансы сняли? Ну, фиксы, золото, не понимаешь, что ли?!

— Теперь понял. Не было у меня «желтой сары».

— Экономно жил?

— Экономить было не с чего.

— Не давали большевички навару? В черном теле держали?

— В каком?

— В черном! — орет Пал Палыч. — Больной, что ли?!

— Я-то здоровый...

Пал Палыч обегает стол и ударяет меня по щеке.

— Ты — умненький, — усмехается он, — шутить любишь. Колоться станешь или будешь ж... вертеть?

— Нет ее у меня. Кости одни остались.

— Пожалеть?

— Пожалел волк кобылу...

— Какая ты кобыла? Я бы кобылку пожалел. У лошади сердце большое и глаз добрый. А ты — человек. Самый страшный на земле зверь. Или я тебя, или ты меня. Какой номер обуви, подследственный?

— Сорок второй.

— Костюм какого размера носил?

— Тот, что украл?

— Ты мне не верти! Украл... Дома какой размер носил?

— Не знаю.

— Как не знаешь?

— У меня один и был-то костюм, отец подарил ко дню рождения.

— Давай, давай, чекистская харя! «Отец подарил»! Мозги-то мне не крути, знаем, сколько вам грошей отваливали. Высосали из народа всю кровушку... А ну, стань к стене!

— Стрелять хочешь?

— Мараться!.. Исполнителя держим — все, как у больших.

Я подхожу к стене. Он меряет мой рост линейкой, работает ею легко, как купец.

— Так я и думал, — говорит он, — пятидесятый, третий рост.

— Раньше-то продавал?

— Точно. Продавал, — тихо отвечает он, — у тебя зрачок есть.

— Что продавал-то?

— Слезы в бутылочках. Русский слезу любит.

И покаяние. Без содеянного не покаешься — вот и грешим.

Он снимает трубку телефона, набирает номер и говорит:

— Алло, Василий Иванович, привет! Пятидесятый, третий рост. Сорок два. Ага. Ну а как у тебя? Слышу, слышу... Горластый. — Пал Палыч манит меня к себе. Я подхожу. Он протягивает трубку и шепчет: — Послушай, твои друзья концерт задают.

Я слышу в трубке отчаянный, нечеловеческий вой, чей-то пьяный смех и крики. Пал Палыч жадно смотрит мне в лицо:

— Страшно, подследственный?

— Страшно.

— Мне — тоже.

— Тебе-то понятно отчего. Трусишь.

— Что ты? — удивляется Пал Палыч. — Я храбрый, я возмездия жду — а все одно отступничаю. Думаешь, мне по ночам пенька ноздрю не щекочет? Коньяк жру — трезвею, спать не могу, страх душит. Но утром-то я где? Я тут утром, на своем боевом посту, я утром — боец.

— Какой ты боец? Палач.

— Я? Да что ты, подследственный! Какой же я палач? Разве я тебе пальцы ломал? Низ резал? Я с тобой, как боец с бойцом — по-честному, я — вот он весь. Я мук тебе не делал, зачем напраслину возводишь?

— Будешь еще, верно, и резать и ломать...

— Боишься? А? Я — не стану. А за других ответ не держу, не табуном живем, а каждый по своей свободе.

В кабинет приносят власовскую форму. Пал Палыч берет френч, привычным жестом продавца прикидывает к руке, оттопырив локоть, и протягивает мне:

— Пятидесятый, третий рост. Носи на здоровье.

— Не пойдет.

— Боль чувствовать станешь, подследственный. Горло сорвешь криком, а потом согласишься. В гестапо тебя просто лупили. Это не страшно, они аккуратисты, гансы-то. Аккура-

тисты вонючие. Побили — велик страх! Мы страданий больше гансов прошли, у нас в каждом своя досада. Гансы служат, когда бьют, а мы, когда вашего брата обрабатываем, мы тоской своей русской исходим, правду ищем. Вот какой коленкор выходит, так что смотри!

— Ладно, посмотрю.

Пал Палыч говорит:

— В окошко глянь. Не бойсь, не бойсь, заглянь, там решетка, все одно ничего не сделаешь. Вишь одноэтажненький домишко? Это тюряга, а за тем забором — наш спецлагерь для тех, кто вроде тебя фордыбачит и лягается. Знаешь, что такое спецлагерь? Это вот что: немцы — химики, они когда кой-чего изобретают, на жидочках испытывают, но ведь жид — из юркости составлен, поди угадай, как немецкие лекарства будут на обыкновенных людей действовать. Так вот, мы спецлагерников к евреям приравниваем. Когда у аккуратистов появляется нужда — так отрываем с работы одного-двух и отправляем в лаболатории.

— «Лаборатории» надо говорить, а не «лаболатории»...

— Силен. Страх в себе дерзостью давишь? Силен, ничего не скажу. Ну так что? Попробуешь боль или в согласие перейдешь?

— В согласие не перейду.

— Дурак обратно же. Ты моего совета послушай: надень форму, сапожки — и на фронт, а там жик-жик и к своим. Так, мол, и так, заставил меня Пал Палыч.

— А фамилия у Пал Палыча какая?

— Абрамсон у него фамилия! Абрамсон, по имени Еврей Иванович! А ну, надевай форму, падла!

— Не сторгуемся, Пал Палыч. Не выйдет.

Пал Палыч набирает номер и говорит в трубку, посмеиваясь:

— Вася, привет, милый! Снова Баканов беспокоит. Веселый у меня подследственный сидит, веселенький. Заходи, побалакаем. Может, ты ему все растолкуешь, тогда и решим на месте, чтоб резину не тянуть. Лады. Жду. А как твой? Понятно. Ну, ничего, ничего, бог простит...

Василий Иванович все время сосет ментоловые леденцы, поэтому у него изо рта пахнет кондитерским магазином. Руки он держит глубоко засунутыми в карманы, словно урка-малолеток на «толковище». Брови у него мохнатые, громадные, сросшиеся у переносья, лоб высокий и гладкий, без единой морщины.

— Этот? — спрашивает он Пал Палыча.

— Так точно.

— На карточке ты красивше, — говорит Василий Иванович и коротко бросает: — Можете садиться.

Пал Палыч присаживается на краешек стула и смотрит на Василия Ивановича с обожанием.

Василий Иванович долго и обстоятельно чистит свои ногти спичкой, а после начинает неторопливо поучать меня:

— Чудак, ты запомни: победит тот, кто стариком помрет. Старикам все прощается, да и время — хороший лекарь. Помяни мое слово. Кто у немца лучшим другом будет через десяток лет? Русский будет ему лучшим другом. Фюрер перебесится, поймет, что без нас он — ноль без палочки. Диалектика, никуда не попрешь. Вот такие пироги, брат... Пал Палыча мы бросаем на интеллигентов, он умеет Достоевского наизусть шпарить, в лагере у Авербаха научился, на Колыме. У тебя лик осторожный, скула не прет, ну мы и определили его на тебя. Ошиблись, ничего не скажешь. Я-то лично считаю, что интеллигентность — категория возраста, а не крови или там образования. Честно говоря: нам ты на кой сдался? Ни на черта ты нам! Но гестапо на тебя замкнуло, у них, я думаю, заготовлен план интересного процесса против своих коммунистов, они их хотят под шпионаж подвести, ну а ты — карты им в руки. Образованность тебя погубила, аккуратен ты в словах, а это для процесса — самый смак. Понял? То-то и оно! А нам — расхлебывай, гестапо не шутит... Как ни верти, а нам поручили тебя до конца расколоть, иначе сами потом щебенкой харкать будем. Так что помозгуй, помозгуй как следует. Мы тогда погодим тебя через соты пропускать. Страшное это дело — наши соты. С мозгов

сдвинешь, во всем признаешься, все на себя примешь — только здоровье до конца сорвешь. Думай.

Я мотаю головой.

Василий Иванович перестает чистить ногти, засовывает руки еще глубже в карманы и просит меня:

— Ну-ка ладошки покажи, я гадать умею. Не бойсь, не бойсь, не съем тебя, чудак.

Он смотрит издали на мои ладони, морщится и говорит:

— Ну-ка, ну-ка на стол положи, у тебя линии интересные, долгие, не на смерть ты записан.

Я кладу руки на стол ладонями вверх. Василий Иванович изгибается над моими ладонями, делает какой-то быстрый жест, и я на мгновение слепну, а потом вижу, что из моих пальцев торчат белые костяшки и растекается вокруг ладоней кровь по столу. Это он хлобыстнул кастетом.

— Отопри шкаф, — говорит он Пал Палычу, снимая с руки кастет.

Тот открывает дверцы маленького шкафа, и они меня заталкивают туда и запирают за мной дверь. Из перебитых пальцев хлещет кровь. Я пытаюсь поднять руки ко рту, чтоб унять кровь, но рук поднять не могу — они прижаты к телу.

— Подследственный, — слышу я голос Пал Палыча, — ты не обижайся на меня-то... Он ушел, а я тебя упреждал по-хорошему. Как решишь согласиться — ты покричи, охрана враз услышит, отопрет, к лекарю сводит. Только про несогласие не кричи, а то хуже будет...

Ничего в жизни не надо бояться. Ничего, кроме фашизма. Его люди обязаны уничтожать в зародыше, где бы он ни появлялся.

Старика зовут Сергей Дмитриевич. Говорят, у него туберкулез. С большим трудом, как рассказывал русский парень-моряк, захваченный власовцами в Бельгии, удалось перевести его на самую благодатную должность — в ассенизаторы.

— Доцент, — отрекомендовался Сергей Дмитриевич на второй день, когда нас загнали в бараки. — Вожу дерьмо.

Нас здесь заставляют делать одно дело: разнашивать офицерские сапоги. Поэтому у всех в бараке ноги окровавлены, синие, громадные. Но утром так лупят, что не надеть сапог нельзя — насмерть запорют нагайками. Час разнашивается одна пара. Норма — пятнадцать пар в день. Пятнадцать часов бегом, гусиным шагом, вприпрыжку. После того как сапоги разношены, их отправляют на фронт, офицерам. Кое-кто умудряется незаметно подбросить песочку под стельку, после того как сапоги сняты и отложены в сторону — к готовым. Если заметят — вздернут на виселице. Она торчит в углу аппельплаца, очень неприметная. Вешают не больше двух человек в день. Два-три исчезают бесследно, помимо виселицы, в лабораториях. Два-три не выдерживают, сходят с ума. Их увозят. За те дни, что я здесь, только один человек сломался и пошел к власовцам на поклон.

По вечерам, когда мы валимся на нары, морячок начинает бредить Бельгией: он там ходил с партизанами, жил в Арденнах, он много рассказывает мне про старика кюре, который помогает беглецам, про то, как многие пробиваются во Францию; там есть русские, грузины, армяне — целые партизанские соединения, составленные из советских людей. Морячок говорит быстро-быстро, будто у него кризис в болезни, будто он кончается. Попал он глупо — пошел к кюре за провиантом, а его и накрыли возле дороги. Теперь мотают, требуют дать явки и особенно интересуются местом расположения русских партизанских соединений. Морячок молчал, поэтому сейчас весь седой, а лет ему, как мне, двадцать.

Сергей Дмитриевич, который днем возит дерьмо и чистит уборные, по вечерам проводит — для пяти-шести человек — беседы о советской литературе. Он читает свои «лекции», полузакрыв глаза, и непонятно — видит он нас, жадно его слушающих, или нет. Голос у него низкий, сипловатый, очень мягкий, никак не

вяжется с квадратной физиономией и отвислыми щеками; глаза голубые и бровки торчат воинственные, пшеничные.

— Мандельштам, как никто, хотел понять и упорядочить окружающий мир, — пророчествует доцент. — В его поэзии действуют центростремительные силы. Тишину он сравнивал с прялкой. Этим он разгадывал иррациональное понятие: тишину после этого можно было потрогать руками, она превратилась в знакомый всем предмет — прялку. Чтобы по-настоящему понять Мандельштама, следует любить Гомера. Кто из вас помнит Гомера?

Молчим. Морячок тяжело дышит, скребет тонкими пальцами шею.

— У нас в училище только-только начали проходить античную литературу, — шепчу я, — а здесь война. Не успели.

— В каком ты учился?

— В театральном, на режиссерском отделении.

— Это где же?

Я называю адрес.

— Господи, так я там рядышком жил. Айяй-яй, как же все это далеко и невозвратимо. А кто у вас вел литературу? Не Бабенышев?

— Нет. Васильчаков Михаил Никифорович.

— Погоди, погоди, он, кажется, преподавал и в ИФЛИ?

— Нет. Он преподавал у мхатовцев, в их студии.

Кто-то просит:

— Ты продолжай, доцент, адреса потом выяснять будешь.

— Да, да... Прошу простить... Итак, Мандельштам и открытие им философского термина «тишина». Извольте, я прочту вам его строки. Сейчас, минуту... Память...

Ну а в комнате белой,
Как прялка, стоит тишина,
Пахнет уксусом, краской
И кислым вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме
Любимая всеми жена,
Не Елена, другая,
Как долго она вышивала...

Видите? Здесь — все вещи каждодневного обихода: уксус, краска, подвал, кислое вино. Но, размышляя над такими гигантскими понятиями, как Россия, он тоже умел находить конкретное проявление образа.

Чудовищно, как броненосец в доке,
Россия отдыхает тяжело.

И вам сразу становится зримо понятна Россия, израненная, в тисках молчаливых высоких доков... Или же, извольте, — правда, кое-что я подзабыл:

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей...

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет!

Мандельштама он подвирает — у отца был томик его стихов.

Кто-то тихо, с болью шепчет:

— Ну да... А нас кто здесь убивает? Равные? Люди?

— Я позволю себе, — отвечает доцент, — опять-таки обратиться к Мандельштаму. Слушайте же:

Не мучнистой бабочкою белой
В землю я заемный прах верну.
Я хочу, чтоб мыслящее тело
Превратилось в улицу, в страну —
Позвоночное обугленное тело.
Осознавшее свою длину.

Морячок шепчет:

— Повесить и сжечь — еще не значит убить, это точно. Очень мне хочется дожить до того часа, когда будет на земле улица имени меня.

— Улица моего имени, — поправляет доцент.

— Улица имени меня, — упрямо повторяет морячок.

— Разговорчики! — орет капо.

Воцаряется тишина. Как прялка. Это поразительно. Тишина не может быть без звука, который бы ее не оттенял. У нас — это дыхание людей. А там, в белом доме, была прялка.

— Тебя как зовут? — шепчет доцент.

— Степан.

— Меня Сергей Дмитриевич. А фамилия?

— Богданов.

— Ты не Василия Богданова, музыкального критика, родственник?

— Нет, мой старик — инвалид гражданской войны. Его тоже Степаном зовут. Ноги́ у старика нет...

— Сейчас вроде бы там стало легче. У меня там тоже семья. Две дочери и жена. Ты где жил?

— Усачевка, дом семь.

— А я только-только переехал с Молчановки. Идешь вечером, боты по снегу — хруст-хруст, луна окаянная, в окнах — тепло, по парадным влюбленные затаились. Не умели ценить мир, всё метались, спорили, от самих себя бежали... Я, помню, иногда поражался — время стал ощущать, оно вокруг меня, как вода в горной речке, несется, несется. Я совместителем был: утром университет, а вечером вел курс в школе госбезопасности...

— Вы?!

— Да, а что?

— Ничего. Они меня обвиняют, что я заброшен к ним с самолета как разведчик, мол, школу госбезопасности кончил...

— А ты? Ты...

— В том-то и дело, что нет. Я сбежал с шахты «Мария», там каторжный был лагерь, для штрафников. Я три раза сбегал — два раза ловили тут же, а третий — удалось, и взяли-то по глупости. Если скажу про «Марию», значит, туда отправят. А там — виселица, у меня мишень была на спине.

— Бедный, бедный... А летом мы, бывало, на Клязьму выезжали, на дачу. Вечером после дождичка идешь с поезда, на участках патефоны играют, детишки беззаботно смеются, и такое во всем спокойствие и высшая целесообразность — бог ты мой! Я купил дачку в тридцать седьмом... Утром проснешься — в окнах солнце, сосны красные, медовые, птицы разливаются; выйдешь на террасу, а там после дождя ночного лужицы,

а в лужицах — солнце высверкивает, глаза режет...

Его мучительно сладко слушать, потому что говорит доцент так, будто он смотрит на все это, будто он сам сейчас — во всем этом; и еще очень мучительно слушать его, потому что это расслабляет, делает мягким, жалостливым, начинаешь думать, что все муки терпишь впустую, зря — все равно никогда уж не придется тебе видеть раннего синего утра, и медовых сосен, и лужицы на терраске, которая осталась после ночного дождя.

Доцент замолкает и поворачивается к стене. Морячок шепчет мне в ухо:

— Слышь, бежать надо, погибнем тут, задарма погибнем. Отсюда до Бельгии ночь ходу, они меня пехом гнали по дороге. На запад по звездам, а там в Бегнье живет чудесный старик, их кюре, — он спрячет.

— Как убежишь? Здесь охраны вокруг — тьма, забор выше бараков, не болтай глупости. Отсюда не сбежишь. Надо думать о том, как жить здесь.

— Бормочи, бормочи, — говорит морячок, — да не заборматывайся. Тут один доцент долго живет, а те, кто вкалывает, — те месяц, и с приветом, ногами вперед в крематорий. Слышь, сладким потянуло? Это они по ночам печь топят, трупы жгут. Разбежаться с шестом, через забор и — деру. Меня днем вели, я все запомнил.

У доцента затряслась спина — внезапно, будто он стал часто-часто икать.

— Вы что, Сергей Дмитриевич?

— Ах, отстань, бога ради! — отвечает он сквозь слезы. — Отстань!

— Не надо... Скоро наши придут, — успокаиваю его, — мне в тюрьме говорили, что Гитлера под Сталинградом раздраконили, бегут они во всю ивановскую...

— Перестань! Противно слушать! Кто тебе рассказал про все это?!

— Мой сокамерник...

— Сокамерник, сокамерник! Пойми, все погибло, родина наша поругана, семьи под сапогом, культура заплевана! А мы здесь — русские

с русскими деремся, не можем языка найти, не можем простить друг другу формы во имя смысла жизни нашей, во имя родины, которая у нас у всех — одна!

— У меня с Пал Палычем родины разные.

— С каким Пал Палычем еще?

— Со следователем моим.

— Изуверы есть всюду.

— Тоже верно.

— Ах, Степан, Степан, как мне хочется хоть на минутку оказаться дома, пройти по своему кабинету, потрогать корешки книг, погладить лица родных — и тогда можно обратно, можно хоть до конца...

Ночью барак подняли по тревоге и, даже не разрешив нам одеться, погнали на аппельплац, хотя двор у власовцев аппельплацем не назывался и проклятой вывески «Работа делает свободным» на воротах не было — как у нас на шахте «Мария». Во дворе нас выстроили в колонну по четыре и приказали бежать к воротам. Там — в два ряда — стояли эсэсовцы с дубинками и власовцы при нагайках.

— Быстрей, быстрей! — кричат нам.

Передние ряды замерли возле власовцев — те гогочут и помахивают нагайками. Те, кто сзади, напирают — их тоже бьют. Получается, что наша колонна, словно живой организм, подвигает самое себя к воротам, где всех нас ждет «генеральное побоище». Слышно громкое дыхание и ровный топот сотен ног. Голоса власовцев, подгоняющих задние ряды, в этой напряженной тишине кажутся до того страшными, что кто-то из наших не выдерживает и начинает истерично, на одной ноте верещать. И — началось. Власовцы, стоявшие возле открытых ворот, набросились на первые ряды и стали пропускать людей «через себя». За открытыми воротами — маленькая территория крематория. Эсэсманы и власовцы организовали живой коридор и бьют нас свинцовой проволокой, нагайками, палками, дубинками. Главное — беречь голову. Люди закрывают голову, власовцы пьяно орут, смеются, лупят почем зря. Впереди меня бежит Сергей Дмитриевич. Острые локти его прижаты к ребрам, голова за-

прокинута, он все время кричит: «Господа, господа, погодите же, господа! Господа, погодите же, давайте разберемся!»

Включены прожекторы. В их мертвом свете все мы выглядим какими-то зловещими персонажами из забытых детских сказок — в полосатых каторжных костюмах, бритые, босые на растаявшем снегу. И кровь, которая у всех нас сейчас на лицах, не кажется красной. Сейчас она черная, будто лак, которым обрабатывают дерево.

Утром я сижу в кабинете у Пал Палыча. Его нет. На его месте сейчас сидит Василий Иванович и сосредоточенно грызет ногти. Изредка он лениво задает мне вопросы вроде «У тебя зуб мудрости болел когда-нибудь?» или «Ты от изжоги не пробовал настой чаги?». Я отвечаю после долгих пауз, обдумывая, нет ли какого подвоха. Иногда Василий Иванович прерывисто вздыхает, трогает свой пульс и, поджав губы, досадливо и с затаенным страхом покачивает головой.

— Пил вчера много, — говорит он, — а давление высокое. Особенно нижнее давление. Скачет, падла, то вверх, то вниз. А наши коновалы ничего, кроме триппера, лечить не могут. Нельзя пить, нельзя.

Он неторопливо осмотрел обгрызенные ногти, потер их о лацкан своего пиджака и сказал:

— Вот такие пироги, товарищ Степан Богданов.

Видно, у меня резко изменилось лицо, потому что Василий Иванович расхохотался так громко и весело, так заразительно и беззаботно, будто ничего смешнее и занятнее он в своей жизни не видел.

— Что? Шахту «Мария» вспомнил, Степанушка? — окликнул меня с порога веселый, улыбчивый Пал Палыч.

«Все, — очень спокойно понял я. — Теперь все. Они получили на меня данные с шахты. Значит, дня через два вздернут. Хотя, может, не через два, а через три — шахта «Мария» в районе Аахена, пока-то меня туда переправят».

— А ты сколько мук принял, дура, — про-

должает за меня вошедший Пал Палыч. — Смысл был?

— Был, был, — отвечает за меня Василий Иванович, — ему так морально спокойней, перед собой он красиво выглядел, как циркач под куполом. Ну как, теперь будешь продолжать в прятки играть? Снова молчишь? У нас деньги на транспортные расходы есть, мы тебя живо туда доставим. Молчи не молчи — там тебя сразу признают.

— Чего вам надо от меня?

— Не «чего», а «что». Нехорошо, актер, культурный человек, а, как говорится, падежов не знаешь.

Меня словно тазом по голове стукнули — все зазвенело, заухало, зарычало. Откуда ж они про актера-то? Этого даже в лагере, на шахте «Мария», нигде в делах не было.

— Не таращь, не таращь зенки-то, — улыбается Пал Палыч, — мы теперь всё-всё про тебя знаем, подследственный.

— Ну вот что, хватит куражиться, — заключает Василий Иванович, — теперь ты сам у себя в руках: хочешь жить — живи, надоело — молчи. Нас ты больше не интересуешь, ты нам теперь, как голенький, понятен. Придется тебе, если хочешь жить, выступить перед микрофоном под тем именем, которое тебе даст гестапо, твой тамошний следователь; расскажешь про чекистское житье-бытье и объяснишь доблестным красным воинам, что ты решил сбросить чекистскую хламиду и поменять ее на форму русской освободительной армии генерал-лейтенанта Власова. Понял мою мысль?

— Не до конца.

— Я поясню. Ты должен будешь сыграть роль чекиста, который перешел к нам, легендочку тебе создадут — прелесть легендочку, цыпуленьку. Ну и на процессе у них дашь показания, расскажешь про то, что им требуется. Вот так.

— Не пойдет.

— Пойдет. Иначе мы папу замажем твоим предательством. Усачевка, дом семь, Богданов Степан, безногий инвалид гражданской войны и красный герой.

Меня будто озарило — доцент! Сергей Дмитриевич! Он! Больше некому! Глазки голубенькие, брови пшеничные, торчком, осанка благородная, скорбная — он, кто ж еще?! Больше-то об этом никто не знает! Дурак! Растекся, русскую речь услышал! Ненавижу немцев? А как быть тогда с русскими? Сергей Дмитриевич — не германн, он — наш! Наш он! Наш!

— Да ты дыши, дыши носом, — серьезно советует Василий Иванович, — не злись. Злость в проигрыше — наихудший советчик. Вот, полистай Уголовный кодекс РСФСР, там пятьдесят восьмая статья популярно разъясняет, как следует поступать с членами семьи изменника родины, то бишь перебежчика. Портреты у нас твои есть, фуражечку пририсуем, шрамики заретушируем и дадим текст: «Дорогой отец! Как сейчас, вижу тебя в Москве, на Усачевке, 7, в нашей квартире, — безногого инвалида гражданской войны, брошенного на произвол красными. Здесь, в рядах русской освободительной армии, я борюсь с коммунистами и евреями, поработившими нашу родину! Друзья солдаты! Переходите в наши ряды» — и так далее и тому подобное, я-то текстов не составляю, у нас особый отдел этим занимается: распишут — как в очерке Эренбурга: не веришь, а все равно слезу пустишь.

— Мне надо подумать, — говорю я после долгой паузы. Я знаю, что надо сделать. Прийти в барак и задушить доцента. Он провокатор, он не должен жить.

— А ты здесь думай, подследственный, — предлагает Пал Палыч.

— Нет, вопрос слишком серьезен, я так не могу.

Василий Иванович начинает тихонечко, осторожно посмеиваться.

— Нет, — смеется он, — нет, Степа, не выйдет у тебя номер, не пройдет... Мы своих друзей в обиду не даем, ты это запомни.

— Давно он у вас?

— Сергей Дмитриевич-то? Давно. С год.

— Избили его вчера крепко ваши люди...

— Ничего, зато сегодня как следует накормят.

— А чего ж вы его не отпустите? Тоже небось обещали отпустить, как и меня?

— У тебя перед ним одно преимущество, подследственный, — говорит Пал Палыч, — молодой ты, а он — старик, ему по нонешним временам ходу нет. Солдат тот ценен, который бегать может и пушки из грязи тащить.

— Нет, пустите в зону. Дайте день, куда я от вас денусь?

Василий Иванович перебрасывает листок календаря и отмечает красным карандашом: «Степа Богданов, артист».

— Лады, — соглашается он, — только, чтоб ты не бедокурил, мы тебя на день в одиночку поместим, там и подумаешь.

— Она в зоне, одиночка-то, подследственный, — улыбается Пал Палыч, — в зоне.

— Так что смотри, — заканчивает Василий Иванович, — нам ты не важен. В гестапо на тебя замкнули. Мы сами понять не можем, ей-богу. Они ж аккуратисты, европейцы, у них беспорядок не проходит, раз они чего задумали — так умри, а исполни. Может, они уж и забыли про тебя, разве мало вас, таких, но — приказ есть приказ, поди его не выполни. А Серега ничего работает, верно? Он нам переколол народа до черта! На интеллигента подследственные падки: он стихами вам души растормаживает, отходите вы от рифмы, как глухари, забываетесь.

— Дай-ка Уголовный кодекс взглянуть, — прошу я его.

— На. Пятерка с высылкой и поражение в правах. И карточку отымут. Кранты-колеса придут твоему родителю, это точно.

Степан закурил, длинно сплюнул, вздохнул и снова надолго замолчал.

— Меня заперли в одиночке, — продолжал он тихо, с хрипотцой. — Там было тихо, ни единый звук не доносился. Высоко под потолком маленькое, сплошь зарешеченное оконце. Я видел через него крохотный кусочек неба. Оно было серо-черное. Потом небо сделалось черным, а потом, когда пришла ночь и взошла луна, оно стало белым, словно подсвеченное юпитерами.

Я не мог уже ни о чем думать. Все отупело во мне,

стало каким-то тяжелым и чужим. Я начал чувствовать вес своих пальцев, нога мне казалась стокилограммовой и очень холодной. Я возненавидел свой лоб — такой тонкий, выпуклый, и кожа по нему нелепо ерзает, а за этой дряблой кожей и за тонкой костяшкой лба (из черепов студенты медики делают прекрасные пепельницы) лежит красно-серая масса мозга. Нас учили гордиться тем, что мы, люди, в отличие от зверей, можем мыслить, то есть понимать, и, поняв, принимать решения. Мозг все чувствует и понимает, он — всемогущий хозяин моего тела, но он не мог помочь мне, он только ежесекундно и постоянно фиксировал тот ужас, который рос во мне, и ничего я не мог с собой поделать.

Время остановилось. Смена цвета неба — ерунда и глупость. Времени больше не было. Скоро утро. А тогда они приведут меня к себе и снова будут тихо говорить и смеяться, и грызть свои ногти, и щупать животы, и заставлять меня предать отца, обречь его на позор члена семьи изменника родины, а в том, что они так будут поступать, я не сомневался: они звери. Больные, неизлечимо больные звери, от них может спасти только пуля или веревка.

...Они вернулись в лагерь для перемещенных поздно вечером. Коля нес на спине уснувшего Степана. Чтобы не привлекать к себе внимания, он пел власовский гимн — не громко, но так, чтобы его слышала охрана, состоявшая из власовцев. Один из охранников обернулся:

— Упился?

— Есть маленько.

— Не шумите в бараке, а то немцы шухер подымут.

— Мы тихонько, братцы, — пообещал Коля, — до завтра проспимся, а потом — айда...

ЧТО ЕСТЬ ПОЛЯК?

Трауб зашел к адвокату Тромпчинскому вечером, когда отгорел красный, поразительной красоты закат. Его не было. Сын — Юзеф сидел в темной комнате, играл Шопена. Лицо его, выхваченное из темноты зыбким светом свечи, было словно выполнено в черно-белой линогравюре.

— Вы любите только Шопена? Что-то вы никогда никого больше не играете, — сказал Трауб.

— Шопена я люблю больше остальных.

— Этим выявляете польский патриотизм?

— Ну, этим патриотизм не выявишь...

— Искусство — либо высшее проявление патриотизма, либо злейший его враг...

— То есть?

— Либо художник воспевает ту государственность, которой он служит, либо он противостоит ей: молчанием, тематикой, эмиграцией.

— Вы считаете, что художник второго рода — не патриот? По-моему, он куда больший патриот, чем тот, который славит свою государственность. Я имею в виду вашу государственность, конечно же...

— Слушайте, Тромп, отчего вы рискуете так говорить с немцем?

— Потому что вы интеллигентный человек.

— Но я немец.

— Именно. Интеллигентный немец.

— А мало интеллигентных немцев доносит в гестапо?

— Интеллигентных? Ни один. Интеллигент не способен быть доносчиком.

— У вас старые представления об интеллигенции.

— Старых представлений не бывает.

— Занятный вы экземпляр. Я кое-что за вами записывал. Вы никогда не сможете стать творческим человеком, потому что вами руководит логика. Злейший враг творчества — логика и государственная тирания. Хотя вообще-то это одно и то же.

— Ни в коем случае. Логике противна тирания.

— Логика — сама по себе тиранична, ибо, остановившись на чем-то одном, она отвергает все остальное.

— Но не уничтожает. Здесь громадная разница.

— Если идти от логики, то отринуть — это значит обречь на уничтожение.

— Это не логика, это софистика. А что вы такой встрепанный, милый мой вражеский журналист?

— Заметно?

— Очень.

— Иногда я начинаю глохнуть от ненависти к происходящему, а потом тупею из-за своей трусости. Они всех нас сделали трусами, презренными трусами!

— Полно, Трауб. Человека нельзя сделать трусом, если он им не был.

— Э, перестаньте. Не люблю пророков. У нас их хватает без вас. Можно, все можно. Человек позволяет

делать с собой все, что угодно. Он поддается дрессировке лучше, чем обезьяна.

— Что случилось, Трауб?

— Вы как-то просили меня достать бумаги...

— Ну?

— Ничего не обещаю. Ненавижу обещать — влезать в кабалу. Словом, если у меня что-либо получится, я постараюсь помочь вам... Вот, кстати, поглядите, — сказал он и положил перед Юзефом листовку, отпечатанную в Берлине.

Рейхсфюрер СС и начальник германской полиции распорядился, чтобы все рабочие и работницы польской национальности носили на видном месте с правой стороны груди любой одежды изображенный здесь в натуральную величину матерчатый знак. Знак следует крепко пришивать к одежде.

Мы живем в эпоху борьбы за будущее нашего народного государства и сознаем, что на нашем жизненном пространстве в большом количестве будут жить инородные элементы. Кроме того, в результате допуска в рейх польских сельскохозяйственных и фабричных рабочих на всей территории империи национальный вопрос также стал злободневным. Народное государство сможет существовать вечно только в том случае, если каждый немец в своем поведении будет сознавать национальные интересы и самостоятельно разрешать все эти вопросы. Законы могут только поддерживать регулирование сосуществования. Самым важным остается сдержанное и уверенное поведение каждого.

Немецкий народ! Никогда не забывай, что злодеяния поляков вынудили фюрера защитить вооруженной силой наших соотечественников в Польше! В сентябре 1939 года их погибло в Польше 58 000 человек! Мужчины, женщины и дети, беззащитные старики и больные были замучены до смерти на пересыльных этапах. В польских тюрьмах немецкие люди вынуждены были терпеть такие муки, которые по их жестокости могли быть выдуманы только недочеловеками со зверскими склонностями. Оставление в течение многих дней без какой-либо пищи,

избиение палками, удары прикладами, беспричинные расстрелы, выкалывание глаз, изнасилование — нет такого вида насилия, которое бы не применялось к ним. Одного юношу облили бензином и сожгли в печи пекарни; на товарный состав с перемещенными пустили на полной скорости локомотив. Недавно в одном пруду купающиеся дети нашли 17 трупов.

Представители этого народа прибыли к нам теперь как сельскохозяйственные и фабричные рабочие и военнопленные, так как мы нуждаемся в рабочей силе. Тот, кто вынужден иметь с ними дело по службе, должен понимать, что ненависть поляка сегодня больше, чем когда бы то ни было, что поляк имеет в национальной борьбе гораздо больший опыт, чем мы, и что он все еще надеется с помощью враждебных нам держав создать новую, еще бóльшую Польшу.

Подобострастие, которое поляк проявляет по отношению к немецкому крестьянину, — это коварство. Его добродушный облик фальшив. Везде необходима осторожность, чтобы не содействовать объединению поляков и возможной шпионской деятельности.

Прежде всего нет никакой общности между немцем и поляком. Немец, будь горд и не забывай, что причинил тебе польский народ! Если к тебе кто-нибудь придет и скажет, что его поляк приличен, ответь ему: «Сегодня у каждого есть свой приличный поляк, как раньше у каждого был свой приличный еврей!»...

Немец! Поляк никогда не должен стать твоим приятелем! Он стоит ниже любого соотечественника-немца на твоем дворе или на твоей фабрике. Будь, как всегда, справедлив, поскольку ты немец, но никогда не забывай, что ты представитель народа-господина!

Германские вооруженные силы завоевывают для нас мир в Европе. Мы же ответственны за мир в новой, большой Германии. Совместная жизнь с людьми чужой национальности еще неоднократно будет приводить к испытаниям народных сил, которые ты должен выдержать как немец.

Народный союз немцев за границей.

Тромпичинский осторожно вернул листок Траубу.

— Ну что? — спросил журналист. — Страшно?

Юзеф ответил:

— Нет. Не страшно, просто очень...

— Противно?

— Нет, не то... Очень обидно. Обидно за немцев. А то, что обещали помочь, если сможете, — так и должно быть. Спасибо. Хотите, я вам поиграю?

— Очень хочу.

Юзеф сел к роялю и стал играть Баха.

БУКЕТ РОМАШЕК

Аня и Муха шли через лес. Они шли медленно, потому что Аня внимательно смотрела на стволы деревьев, на какие-то одной ей понятные заметины; иногда она замирала, долго слушала лес, закрыв глаза, и улыбалась ласково.

Сначала Муха, глядя на нее, недоверчиво качал головой — не найдет. Потом ему надоело ждать, и он начал собирать букет, пока она по-собачьи вертелась на одном месте, угадывая, куда идти дальше Он собрал большой букет и, пока Аня отыскивала тропу, разглядывал ее, пряча лицо в цветы. Он разглядывал ее придирчиво, будто хозяйка — праздничный, не тронутый еще гостями стол.

«Ей бы в дочки-матери играть, — думал он, глядя на фигуру девушки, — а она туда же. В бойню. Тело у нее хорошее. Я бы прошелся: экая ладненькая. Опасно. Спугнешь еще, потом хлопот не оберешься. Бабы — дуры».

— Здесь, — сказала Аня, — под ольхой.

— Брось...

— Вот чудак, — сказала Аня, — я ж говорю: здесь.

Она опустилась на колени и взяла траву пятерней, словно котенка за шкирку. Ровный, вырезанный кинжалом квадрат дерна поднялся, и Муха увидел что-то белое. Аня достала это белое, оказавшееся полотенцем, развернула его и показала карту, пистолет и гранату.

— Ты что ж, невооруженная ко мне пришла?

— Что ты, — ответила Аня и похлопала себя по карману, — у меня тут браунинг и лимоночка. На четверых — как раз в клочья.

— Оружие давай мне, — сказал Муха, — ты краси-

вая, они могут с тобой начать заигрывать — погоришь по глупости.

Аня протянула ему браунинг.

— Лимонку тоже давай.

— Она же маленькая...

— Давай, давай, Ань, не глупи.

Он спрятал лимонку, потом развернул карту и сказал:

— Ну, показывай, где?

— Вот, возле Вышниц.

Муха аж присвистнул:

— Ты с ума сошла? Это ж сто километров!

— Ну и что?

— Ты границу переходила?

— Какую?

— Рейха и генерал-губернаторства...

— Я под проволокой пролезала, но я не думала, что там граница.

— За два дня отмахала сотню верст?

— Ну и что?

— Свежо преданьице.

— Ты не верил, что я карту найду?

— Молодец, — сказал Муха, — если так — молодец. Там же патрулей до черта, как ты сквозь них прошмыгнула? Шифры где? Там?

— Конечно.

— Опиши — где.

— Ты не найдешь один.

— Найду.

— Не найдешь, Андрюша. Там сухой камыш, там только я найду.

— Ладно, пошли домой. Буду думать, где лошадей достать. Вообще-то, на машине б хорошо: за три часа можно подъехать к границе. А как переносить? Если там камыши, значит, болотина есть. Как вынесем все?

— По моему следу вынесем — где я прошла. Я проведу, Андрюш, я вожу хорошо, по-сибирски.

Возвращались в Рыбны напрямик, по солнцу. Через час глаза резануло острым, белым высветом. Аня улыбнулась, а Муха замер на месте как вкопанный — испугался чего-то.

— Это вода. Озеро, наверное, свет стоячий — видишь...

Через пять минут они подошли к озерку. Заросшее кустарником и низкими синими сосенками, оно было тихое, вблизи — черное, а не ярко-светлое, каким показалось издали.

— Андрюш, ты иди влево, а я здесь выкупаюсь, ладно?

— Может, дома баньку затопим? Тут бани хорошие, с паром, медком поддают.

— Нет, я поплавать хочу, — ответила Аня, — я быстро, ты иди, подожди меня.

Муха сел на теплую высокую пахучую траву и стал снова разглядывать букет желто-белых ромашек. Потом он увидел Аню посредине озера: она плыла быстрыми, мужскими саженками. Руки она выбрасывала далеко перед собой, и Муха, похолодев, понял, что плывет она голая.

«Черт с ним, — подумал он, чувствуя, как кровь разом прилила к лицу, — попытка — не пытка».

Муха поднялся и пошел к тому месту, где он оставил Аню. Он шел, прижимая к себе букет. Он пришел туда как раз в ту минуту, когда девушка выходила из воды. Она подошла к платью, лежавшему на мелком, желтом песке, и в это время из кустов вышел Муха. Он шагнул к девушке, бросил под ноги букет и обнял Аню. Он обнял ее сильно и грубо — одной рукой притиснул к себе, а второй сжал грудь, повалил на траву.

— Я один, один, один, — шептал он, прижимая ее к земле, — я все время один... Ну, не мучай, пусти... Пусти. Не мучай.

— Не надо, Андрюшенька, — тихо, спокойно ответила Аня, — я понимаю, как тебе трудно, только не надо начерно жить.

Если б она закричала, или стала вырываться, или начала б царапать его лицо, он бы ослеп и не совладал с собой. Но этот ее тихий, спокойный голос вошел в него с какой-то тягучей, отчаянной, забытой болью. Он шумно выдохнул и повернулся на спину.

— Одевайся, — сказал он, — я отвернусь.

Когда Аня, одевшись, села подле него, Муха открыл глаза, собрал букет, протянул девушке и сказал:

— Держи. Подарок. Зла только не держи.

И — хватил ртом воздуха, будто из воды вынырнул.

Поздно вечером, когда стемнело, он сказал Ане, что едет в Краков к своим людям за лошадьми или, что

еще лучше, за машиной. Вернуться обещал завтра утром. Вообще-то, он был уверен, что Берг заставит его возвратиться немедленно и даже, как прошлый раз, подвезет к Рыбны на своем «хорьхе», но Муха решил найти себе на ночь проститутку — заглушить ею, этой незнакомой, доступной женщиной, то видение, которое то и дело возникало перед глазами: острый, неожиданный высверк озера, солнце, рассыпавшиеся по песку цветы и девушка, красивей которой он в своей жизни не видел.

— Я тебя запру, — сказал Муха на прощание, — так будет спокойней. И ставни закрою: в пустые дома они не суются, они туда суются, где печи топят.

В час ночи кто-то осторожно поскребся в ставню. Аня замерла в кровати и с ужасом подумала, что все ее оружие спрятал Муха. Ставень, скрипнув, отворился. Через стекло Аня увидела седого мужчину. Он поманил Аню пальцем, он видел ее, потому что на кровать падал мертвый, медленный, серебристый лунный свет.

Аня поднялась и, набросив на плечи кофту, подошла к окну.

— Девушка, — сказал седой, — меня послал Андрий.

Человек говорил с сильным польским акцентом.

— Какой Андрий?

— Откройте окно, не бойтесь, если бы я был немец, я бы шел через дверь.

Аня открыла окно.

— Дочка, — сказал человек, — Андрий велел мне срочно привести тебя на запасную квартиру. Тут стало опасно, пошли.

Аня быстро оделась и перелезла через подоконник.

ВСЕГО ХОРОШЕГО!

Теперь, после бесконечных, изматывающих ночных допросов, пробираясь сквозь толпу на рынке, Вихрь — спиной, ушами, затылком — чувствовал, что слепец уже не так напряжен и не сжимает в кармане рукоять парабеллума. Вихрь чувствовал и по темпу проходивших «дружеских собеседований», и по вопросам, уже не таким прострельным и стремительно менявшимся, что гестаповцы склонны верить ему после их экзамена с «вельветовой курткой».

Поэтому сейчас, продираясь сквозь толпу, Вихрь чувствовал, что на первом этапе возможного побега во время облавы ему будет легче, чем позавчера, потому что непосредственная его охрана уже пообвыкла и успокоилась после первого похода на рынок.

Вихрь ждал облавы. Он понимал, что если и сегодня облавы не будет и ему не удастся уйти, то он может запутаться в той осторожной полуправде, которую он показывал на допросах. Он пока что скользил по вопросам, которые ему ставили, но скользил так, чтобы вызвать «эффект слаломиста», — стремительно, шумно и много снежной пыли. Однако эта снежная пыль вот-вот уляжется, и гестаповцы посидят с карандашом над предыдущими допросами и пойдут по деталям. Их будет интересовать все относящееся к нашей армии. Вихрь считал гестапо серьезнейшей контрразведывательной организацией; наивно полагать, что гестапо было в неведении о системе нашей фронтовой разведки, об именах, основных спектрах интересов и направленностей. Вопрос заключался в том, ч т о они знали, какими фактами — именами и цифрами — могли, незаметно для самого Вихря, уличить его во лжи.

Пока что Вихрь расплачивался именами погибших товарищей, историей своего Днепропетровского подполья, секретами своей — теперь уже устаревшей — разведработы в Кривом Роге, в организации Тодта. Он шел осторожно, на ощупь, но он, с каждым днем все явственнее, видел конец своего пути, когда кончается игра и начинается предательство.

Вихрь брел по рынку, присматриваясь к людям, которые его окружали, и думал, что сейчас промедление становится подобно смерти. Поэтому он с особым вниманием вглядывался в лица людей, окружавших его, и старался представить, как они будут себя вести, если он ринется сквозь толпу — напропалую, не дожидаясь облавы.

«Либо все попáдают, когда начнется стрельба, либо кинутся в разные стороны, и я окажусь в простреливаемом коридоре. Впрочем, слепой начнет палить вслед без разбора, да и длинный, который впереди, — тоже. Хотя с длинным легче: пока он обернется, я уйду далеко, а если пригнусь, они меня не увидят в толпе, — думал Вихрь, — но все равно станут палить, людей перегубят — страх...»

Высоко в небе запищал комарик. Вихрь замер, про-

должая размеренно и валко идти вперед. Он шел, как шел, только начал ступать на носки, будто в лесу на охоте в ожидании дичи, когда ее нет, но вот-вот где-то сейчас, здесь, из-под ног, высверкнет тетеревом, двумя, тремя тетеревами, выводком, большим тетеревиным выводком, резанет воздух дуплетом, грохнется черно-белорыжий комок на землю, заскулит пес, потянет пороховой гарью, замрет сердце счастьем.

«Тише вы! — чуть не кричал Вихрь на людей, которые шли, громко шаркая голодными, тонкими, уставшими ногами по серым плитам площади. — Тише вы! Слышите, самолеты!»

Потом он увидел в небе черные точки: армада самолетов шла с запада на восток — бомбить наших. Вихрь вздохнул, опустил глаза и увидел, что идущий впереди гестаповец, поднявшись на мыски, заглядывал через головы шумливых старух. Он увидел мальчишку, который ползал на коленях, собирая огрызки яблок и окурки, валявшиеся возле скамеек, где сидели люди, ожидавшие поезда. Мальчишка был черненький, длинноносый, с проволочными гладкими волосами.

«Цыганенок, — понял Вихрь, — они для них вроде евреев. Как натасканный пес — не может пройти мимо цыганенка. Что сейчас в нем творится, в этом длинном? Точно, как натасканная собака. Тварь этакая».

Длинный гестаповец свернул, прошел сквозь плотную шеренгу торговцев, толкнул какого-то старичка в широкополой черной шляпе, отвел локтем немецкого солдата и больно толкнул цыганенка в бок мыском сапога — будто бы невзначай. Цыганенок вскинул свое громадноглазое лицо, увидел длинного и, словно нутром поняв опасность, стал отползать на карачках. Потом поднялся и юркнул в тихую, жаркую, настороженную толпу. Людское море голов зашевелилось там, где пробегал мальчишка.

«Вот! — резануло Вихря. — Вот оно!»

— А-а-а! — заорал он, что есть силы ударив слепца по очкам, и ринулся в сторону, противоположную цыганенку, сшибая руками и ногами людей с узлами и чемоданами. Рынок зашумел; пронзительно затрещали свистки полиции; кто-то тихо, испуганно закричал у него за спиной — началась паника, заржали кони, хлестнул выстрел, другой...

Вихрь бежал согнувшись, выставив вперед голову, сдирая с себя на бегу синий пиджак — первую примету.

Он бросил пиджак под ноги, увидел — стремительным кинокадром, — как к пиджаку потянулись чьи-то руки, на пальцы в тот же миг обрушилась здоровенная ножища, но крика уже не было слышно, потому что кричало и вопило все вокруг.

Вихрь глянул вправо — там разворачивался грузовик с крытым зеленым кузовом: из него черными комьями вываливались полицейские.

Мелькание в глазах вдруг сменилось замедленным видением — как в предсмертный, последний час. «Парикмахерская» — проплыли перед глазами буквы чуть подальше парадного входа гостиницы «Варшавской».

Каким-то последним, холодным, отчаянным разумом Вихрь толкнул дверь; остро дзинькнул звонок. Парикмахер, побледнев, шагнул навстречу.

Мгновение Вихрь стоял на пороге, а потом сказал:

— Я бежал из гестапо. Это ищут меня.

У ПАЛЕКА

Седой привел Аню в старую баню. Здесь пахло дубовыми бочками, пенькой и каким-то особым, далеким, но знакомым Ане рыбацким запахом: то ли дегтем, то ли прошлогодней вяленой рыбой. Этот запах, знакомый Ане по тайге, вдруг успокоил ее: так бывало в зимовьях, где отец останавливался, если шел белковать на сезон.

— Сядь, девка, — сказал Седой и, достав большой клетчатый платок, вытер лицо. — Сядь, — повторил он, засветив огарок тоненькой церковной свечки.

Аня огляделась и вздрогнула: у стены сидели женщина, парень в крагах и девушка, которая ехала следом за ней с Мухой на велосипеде, когда они шли в лес.

— Сядь, — повторил Седой еще раз, — сядь и отдохни. Здесь твои друзья, если ты — та девка, которая должна была прилететь с рацией.

— О чем вы говорите? — пожала плечами Аня. — Вы меня путаете с кем-то.

— Ладно, — сказал Седой, — хорошо. Ты этих людей не знаешь, они знают тебя.

— Где Андрий?

— Твой Андрий у немцев.

Аня поднялась и прижала руки к груди:

— Что?!

— То самое, — подтвердил Седой.

— Его арестовали?

— Нет. Он им служит.

Аня усмехнулась:

— Что-то я не понимаю, о чем вы говорите. Вы меня путаете, честное слово. Я тетю ищу. Тетю с Курска, понимаете?

— Перестань. Мы не шутим, — сказал Седой, — мы твои друзья. Мы ждали вас, нам говорил про вас Андрий, когда прилетел. Это дом Палека, это ваша явка. Мы друзья тебе, друзья, пойми.

— Вы меня с кем-то путаете, честное слово, — засмеялась Аня, — мне жить негде, я тетю ищу, Андрий меня и приютил.

— Не болтай ерунды. Ты и остальные члены вашей группы должны были прийти в дом к Станиславу Палеку, что на Грушовой улице, и передать ему привет от его сына Игнация, полковника Войска Польского.

— Я его сын, — сказал парень в крагах. — Сын Игнация, внук Станислава. Ты у нас в доме.

Аня оглядела всех людей, собравшихся сейчас в этой маленькой баньке.

«Бросьте вы говорить про физиогномику, — вспомнила она слова капитана Высоковского. — Иной раз мотаешь типа — ангел с физии, а все равно убежден, что перед тобой — вражина, сердце говорит...» Аня тогда засмеялась и спросила красивого капитана: «А сердце ваше говорит после того, как глаза посмотрели в глаза, не так ли?» «Нет, — ответил Высоковский, — в донесения. Они точнее глаз и сердца. Настоящую историю общества напишут через много лет, и это будет самая точная история, потому что наши архивы, досье на ангелов и чертей, счета им — и чертям и ангелам — на машины, особняки и лекарства станут открытыми. И люди не будут гадать, разглядывая рисованные или фотографические портреты, хорош он был или плох. Они будут знать всю правду: и про негодяев с чистыми глазами святых, и про героев с хамскими лицами и косноязычной речью».

— Я не верю вам, — сказала Аня, — вы знаете все, но я вам не верю. Он не мог быть предателем!

— Он мог им не быть, — ответил Седой, — он им стал.

— Он не мог им стать!

— Почему?

— Потому, что он наш!

— А мы чьи? — спросил парень в крагах. — Нас ты считаешь чьими?

Седой сказал:

— Надо срочно связаться с вашим Центром: как поступать с Андрием? Брать его живым или убирать здесь же, пока он больших бед не натворил?

«Неужели я не верю этим людям только потому, что они плохо говорят по-русски, а Муха — наш парень? — думала Аня, отстраненно прислушиваясь к тому, что ей говорил то Седой, то сын полковника Игнация, внук Палека. — Если это так, тогда ужасно. Тогда надо записываться в союз Михаила-архангела. Муха был все время на связи с Бородиным. Ему верили в Центре. Нас посылали к нему. Но ведь нас к нему послали потому именно, что он передал о своих связях с польским подпольем. Фамилию Палек я знаю, тут они говорят правду. Про Палека знали Муха, Вихрь, Коля и я. А если — радиоперехват? Если все это сейчас разыгрывают статисты из гестапо?»

— Запомни: промедление — преступно, — закончил Седой, — особенно сейчас.

— Я у вас, — сказала Аня, — я в ваших руках. Можете делать со мной все, что угодно. Я вам не верю! Понимаете?! Не верю!

ВЕЧЕР И НОЧЬ

Не предупреди Берг Муху, тот обязательно отправился бы в гестапо — сказать о радистке, которая живет у него. Но полковник — после вызова агента на очную ставку с Вихрем — просил Муху все дела вести только с ним одним, сказав, что теперь по указанию руководства он один будет курировать группу, которая выходит на связь с Мухой.

— Мои друзья из гестапо, — говорил Берг, — сейчас заняты другими вопросами, так что вам я запрещаю беспокоить их. Ясно?

— Ясно, — ответил Муха, — только они могут обидеться...

— Мы не дети и не ревнивые жены, — ответил Берг, — мы не обижаемся; мы убираем тех, кто нам мешает, и поднимаем тех, кто оказывает дружескую помощь. Но обижаться... Это не занятие для разведчиков.

— Ваши люди будут держать мою явку под наблюдением? — спросил Муха.

— Зачем? — удивился Берг. — Я надеюсь, к вам пришлют не первоклассников, а опытных людей. Хвост всег-

да заметят опытные люди, как бы точно мы ни организовали слежку. Или вы что-то напортачили? Ничего не брякнули девице?

— Что вы... Мы с ней подружились.

— Она не засомневалась?

— С чего?

— Ну и слава богу. А когда подойдут остальные, тогда мы с вами вообще будет видеться раз в месяц — где-нибудь в ресторане, на людях, чтоб ни у кого не было никаких подозрений: беседует себе молодой парень со старым польским учителем.

Берг рассказал Мухе план завтрашнего дня. В девять утра через центральную площадь Рыбны, мимо костела, пойдет старая машина с несколькими пассажирами в кузове. Муха должен будет поднять руку. Шофер притормозит и попросит десять оккупационных марок с двоих. Муха уплатит восемь — после торговли. С этой машиной они доедут по шоссе до того места, где приземлилась Аня. Когда они выкопают рацию, вечером по шоссе тоже пройдет машина, и шофер подбросит их до Рыбны.

Берг дал Мухе денег и позвонил в казино, чтобы его пропустили туда. Муха много пил, не пьянел, присматривался к проституткам и улыбался осторожной улыбкой, когда к нему обращались по-немецки официантки.

«К черту, — все время вертелось у него в голове, — все к черту, к дьяволу, к бесовой матери. К черту, к черту».

Он не мог бы объяснить себе, кого посылал к черту. Просто он отгонял от себя этим бесконечным, хмельным одиноким «к черту, к черту» то непонятное и тяжелое, ворочавшееся в нем — особенно по утрам, после похмелья, или когда Седой приносил сало, чтобы подкормить его, или когда Аня тихо сказала ему, что нельзя жить начерно.

Около двенадцати он договорился с пожилой размалеванной женщиной, собиравшей со столиков пивные кружки с осевшей на донышке пеной, которая была похожа на рваные кружева. Он дал ей аванс и сказал, что будет ждать ее на углу, под часами.

Когда она вышла к нему, он больно взял ее за руку и рванул к себе, чтобы она была ближе, рядом.

— Пан такой юный, — сказала женщина, — мне даже страшно идти с паном.

— Молчи ты, — ответил ей Муха по-русски, — идешь и иди. Только молчи.

Рейхсфюреру СС Гиммлеру

Строго секретно.
Документ государственной
важности.

Рейхсфюрер!

Сегодня утром меня посетил штандартенфюрер Швайцер. Следуя указанию, полученному от Вас, я передал ему приблизительные планы по краковской акции. Поскольку он направлен в Прагу и Братиславу с идентичными заданиями, мне казалось целесообразным посоветовать ему не перенимать все то, что сделано нашими инженерами, ибо условия Братиславы в настоящее время отличаются от положения в Кракове.

Видимо, было бы разумнее откомандировать в Прагу полковника Крауха, хотя бы на месяц, для оказания практической помощи Швайцеру. Думаю, что я смогу убедить армию в необходимости такого мероприятия, хотя, как мне показалось, Швайцер не очень-то расположен принимать мое предложение, в то время как опыт Крауха должен быть перенят и изучен ввиду его значительного интереса для всех нас.

Дело заключается в следующем. По плану Крауха и Дорнфельда в случае нашего стратегического успеха, будет ли он продиктован нашей военной мощью, дипломатическим маневром или введением на фронтах нового смертоносного оружия возмездия, — акция уничтожения Кракова, как апофеоз нашей победы и поражения славизма, будет проводиться саперами, как обычная армейская операция. В случае же нежелательного и маловероятного поворота дел Краков будет в течение ближайших месяцев готов к уничтожению. Всякая случайность, преждевременная команда сумасброда или паническое форсирование событий исключается, поскольку в Пастернике в специально оборудованном бункере будут находиться два офицера СС. Это позволит нам

контролировать положение до последних секунд, это позволит нам впустить в город войска противника и уже потом похоронить Краков со всеми находящимися там войсками. Естественно, при отборе кандидатур мы обратимся в местный партийный аппарат, который и проведет утверждение подобранных нами людей.

Прилагаю список возможных кандидатов, всего двадцать человек, то есть десять вариантов на каждое место. Прилагаю также схемы и чертежи, признанные нами окончательными.

Хайль Гитлер!
Ваш *Биргоф.*

...Ранним утром Муха вернулся на явку и мечтал только об одном — помыться горячей водой: голова разваливалась, самому себе был гадостен. Он отпер дверь и увидел Седого; Ани не было.

— Где радистка? — спросил Муха.

— Пошли, она у нас, — сказал Седой, — ночью была облава, мы ее увели к себе, тут неподалеку. Пошли.

Когда Седой пропустил Муху в баньку, здесь было сумеречно. Муха сказал:

— Зажги лампу, а то с солнца не видно ни черта.

— Сейчас.

Седой чиркнул спичкой и поднес ее к фитилю. Лампа хлопнула, фыркнула, вспыхнула грязно-желтым пламенем. Седой привернул фитиль. Муха огляделся и вдруг почувствовал себя легко-легко, как ночью, после первых минут у той женщины. И еще он увидел желтый песок, черную воду озера и рассыпавшиеся ромашки.

Перед ним сидела Аня, а рядом с ней, сцепив между коленями длинные пальцы, — тот парень, с которым ему давали очную ставку в гестапо.

— Выйдите все, — сказал Вихрь.

Аня и Седой стояли возле баньки в саду, на самой окраине села. Они ждали больше часа. Потом в бане грохнул выстрел. Вихрь вышел на порог и сказал Седому:

— Сейчас мы его похороним, и всем надо уходить. Он продал явку Палека и то место в лесу, которое ты ему показала, Аня.

— Какое? — спросила Аня.

— То самое. Где рация.

— А как же теперь быть?

— Нужна машина, Седой, — сказал Вихрь, — выручай, друг.

— Машина есть у Тромпчинского. Машина будет. Он Тромпчинского не продал?

— Он его не знал по имени. Он продал тебя и Аню. Ну, пошли копать яму.

Когда они похоронили Муху, Аня спросила:

— А где ты был до сих пор? Я места себе не находила...

Вихрь ответил:

— Я был на другой явке.

— У кого?

— У наших друзей.

Ранним утром, вернувшись с Тромпчинским на его машине со спрятанной в багажнике рацией, Аня вышла на сеанс с Бородиным и передала, что группа приступает к работе.

...БЕСЕДУЮТ

Стенограмма совещания в ставке Гитлера

Присутствовали фюрер, Гиммлер, Кальтенбруннер, Йодль.

Гитлер. В принципе идея, бесспорно, хороша. Нация, побежденная в войне, обязана вымереть или ассимилироваться — в той, конечно, мере и в таких строго дозируемых пропорциях, чтобы не загрязнить кровь победителей. Когда болтают о некоей особенности степени превосходства людей смешанной крови над людьми точных и верных кровей, я не перестаю удивляться близорукости этих болтунов. Превосходство в чем? В умении приспосабливаться? В умении находить лазейки? В умении искать для себя те сферы деятельности, которые дают большую выгоду? В этом люди смешанной крови, бесспорно, преуспевают по сравнению с чистой кровью, приближаясь в некоторой степени к приспособляемости евреев. Но разве умение приспособляться или жажда легких путей в жизни, овеянной героикой, — идеал для будущего поколения арий-

цев? Мне всегда были противны ухищрения и хитрости. Я шел к нации с поднятым забралом! Я шел к немцам с правдой. Проблема ассимиляции покоренных — особая тема для изучения. Идея уничтожения очагов славянства, как некоторая гарантия против возможного возрождения, соподчинена нашей доктрине. Но, Кальтенбруннер, я призываю не к декларациям, я призываю к разумному исследованию экономической подоплеки вопроса. Вы представили мне прекрасно продуманные планы и четкие инженерные решения, я рукоплещу вашей скрупулезной и вдохновенной работе. Однако позвольте мне поинтересоваться: скольких миллионов марок это будет стоить народу? Сколько вам потребуется для этого фугаса? Тола? Бронированных проводов? Вы занимались изучением этого вопроса?

Кальтенбруннер. Нам хотелось сначала получить принципиальное подтверждение разумности нашей идеи...

Гитлер. Вы допускали мысль, что я буду стенать по поводу языческих церквей Кракова или Праги? Вождь обязан отдавать свое сердце — все без остатка — той нации, которая родила его, поверила в него и привела к трагическому и прекрасному кормилу государственного руководства. Залог грядущей победы заключается в том, что наши враги являют собой конгломерат разноязыких государственностей, построенных на одинаково глупых, но вместе с тем противоречивых идеях отмершего демократизма; нам противостоит Ноев ковчег. Мне не нужно ничего, кроме времени, которое неумолимо работает на немцев!

Гиммлер. Это бесспорно, мой фюрер.

Кальтенбруннер. Кое-кто высказывает мнение о целесообразности контактов с Западом, мой фюрер...

Гитлер. Сокрушающая мощь рейха поставит на колени и Восток и Запад. Запомните, пожалуйста: вы не политик, вы — полицейский.

Гиммлер. Политика, не подтвержденная хорошей полицейской службой, — это миф.

Гитлер. Кальтенбруннер не нуждается в вашей защите. Он достаточно хорошо знает мое

к нему отношение. Неужели даже в разговоре с друзьями мне должно придерживаться бюрократических пиететов? Друзья должны говорить друг другу о том, чего им недостает, а не о том, что принесло им славу и признание. Итак, я прошу ответить на мой вопрос: сколько мне будет стоить ваша затея?

Кальтенбруннер. Фюрер, я не готов к ответу.

Гиммлер. Нам потребуется день-два на подсчеты и консультации с ведущими специалистами.

Йодль. Фюрер, на проведение этих акций в Кракове, Праге, Братиславе нам необходимо столько тола, сколько выработает вся химическая промышленность рейха в этом году.

Гитлер. Браво! Это восхитительно, Гиммлер, вы не находите?!

Йодль. Но при условии, что ни один снаряд не упадет на головы наших врагов.

Гитлер. Я аплодирую, Гиммлер! Я в восторге от вашей программы. Наивность в политике граничит с предательством национальных интересов! Почему я должен продумывать детали за вас?! Почему я должен ломать голову над вашими бредовыми планами?! Есть предел всему! Я заявляю с полной ответственностью, что в грядущем уголовном положении рейха я введу статью, которая будет карать наивность превентивным заключением в концлагерь.

(Фюрера приглашают к прямому проводу с фельдмаршалом Кейтелем, и он уходит из кабинета.)

Кальтенбруннер. Йодль, был ли смысл говорить здесь о ваших подсчетах?

Гиммлер. Йодль поступил правильно, а вот вы ставите меня в нелепое положение. Самолюбие — как нижнее белье: его надо иметь, но не обязательно показывать.

(Гиммлер уходит следом за фюрером.)

Кальтенбруннер. Простите, Йодль, но нервы у всех на пределе.

Йодль. Э, пустое...

Кальтенбруннер. Слушайте, а если я достану тол?

Йодль. Вы верите в чудеса?

Кальтенбруннер. Теперь у нас все верят в чудеса.

Йодль. Меня все-таки исключите из списка.

Кальтенбруннер. Напрасно. Я помню, когда мы в Вене в тридцать четвертом году объявили голодовку в тюрьме, я на седьмой день явственно увидел чудо: на край моей койки сел пес. В зубах у него был кусок хлеба. Он отдал мне хлеб, и я съел его. А вскоре все кончилось, ворота тюрьмы распахнули солдаты, и меня на носилках вынесли из камеры, и люди бросали мне розы.

Йодль. Когда в чудеса начинают верить солдаты, тогда кампанию следует считать проигранной.

(Входят фюрер и Гиммлер.)

Гитлер. Я всегда считал ум Гиммлера наиболее рациональным и точным из всех великих умов, которыми провидение окружило меня!

Гиммлер. Кальтенбруннер, каковы запасы нашего долларового фонда?

Кальтенбруннер. Реального или тех бумаг, которые мы печатаем у себя?

Гитлер. Меня интересуют те доллары, которые вы печатаете у себя.

Кальтенбруннер. Долларовые запасы весьма невелики. У меня много фунтов стерлингов, опробированных нашими людьми в Лондонском банке.

Гитлер. Вы сможете на эти фунты закупить мне тол?

Кальтенбруннер. В Аргентине или Бразилии?

Гитлер. Это меня не волнует! Хоть у евреев в Америке!

Кальтенбруннер. Боюсь, что с американскими евреями будет нелегко договориться.

Гитлер. Я всегда верю людям, лишенным юмора!

Кальтенбруннер. Видимо, есть только один шанс: через Испанию или Португалию прощупать южноамериканские республики.

Гиммлер. Мы сможем доставить тол в Болгарию? Под их флагами?

Кальтенбруннер. Рейхсфюрер, вы подняли меня на смех, когда я говорил о Словакии и о договоре, существующем между нами. Я позволю себе высказать более серьезное опасение: Южная Америка — это не Словакия. Если там обнаружат мои фунты стерлингов, если разразится скандал, мы потеряем опорные базы друзей национал-социализма.

Гиммлер. У нас есть Геббельс. Он докажет как дважды два, что все это интриги экспансионистской Америки и Англии, которые мешают нам торговать. Пусть это вас меньше всего тревожит. Пусть ваши люди договорятся с торговцами Аргентины или Чили...

ЗВЕНО ЦЕПИ

Генерал Нойбут в личной жизни был человеком аскетичным. И это не был показной, истеричный аскетизм фюрера. Кадровый военный, человек в глубине души серьезно верующий, он хотел делить со своими солдатами хотя бы часть тех тягот, которые несла с собой война. Поэтому, приезжая в Краков, генерал останавливался не в специально содержавшемся правительственном особняке, а в офицерской гостинице, которая стояла на берегу реки, почти прямо против входа в старый замок польских королей.

Нойбут обычно занимал номер на третьем этаже. Дежурный адъютант генерала майор фон Штромберг перед приездом Нойбута приказал вынести из комнат мебель черного дерева, заранее завезенную сюда подхалимами из службы тыла.

— Генерал не станет жить в этой роскоши, — сказал майор, — этот стиль более соответствует вкусу состарившейся звезды из варьете, нежели солдата. В гостиной оставьте письменный стол. Кресло заберите, генерал не любит мягкой мебели. Только этот высокий стул. Тумбочку для телефонов отнесите к окнам. Генерал разговаривает по телефону стоя. Корзину для бумаг — под стол. Из спальни — все вон! Стенные шкафы достаточно глубоки? Хорошо. Сюда, в нишу, поставьте металлическую кровать с пружинным матрацем. Пуховые перины — вон. Генерал укрывается суконным одеялом.

Фон Штромберг сел на подоконник и стал наблюдать, как офицер из охраны СС, дежурный по этажу инвалид-

фельдфебель и горничная пани Зося — старуха в белом хрустящем фартуке и белой наколке на белых, даже чуть с синевой, седых волосах, расставляли заново всю мебель.

«Старуха была ничего, — думал фон Штромберг, глядя на пани Зосю, — она даже сейчас грациозна».

— Господину генералу будет неудобно спать, — сказала пани Зося, — если мы поставим кровать в нишу, свет будет падать ему в глаза.

— Вы занятно говорите по-немецки. Спасибо за совет. Женщина остается женщиной. Кровать поставьте к стене. Нет, нет, сюда — чуть подальше от шкафа. И пожалуйста, ни в коем случае не наливайте в графин кипяченой воды. Только сырую, только сырую.

Нойбут прилетел вечером, когда стемнело. Он вошел в номер, долго стоял возле большого окна, любуясь громадой Вавеля, четко вписанного в серую пустоту неба, потом опустил светомаскировку, включил свет в большой, яркой люстре и сел к столу. Мельком оглядев убранство комнаты, он благодарно кивнул фон Штромбергу. Тот, словно дожидаясь этого момента, положил на стол серую папку из толстой свиной кожи: последняя почта и документы на подпись.

— Благодарю, — сказал Нойбут, — я вас не задерживаю более. Отдыхайте.

— Спокойной ночи, господин генерал.

— Спасибо. На всякий случай — кто сегодня дежурит?

— Подполковник Шольф.

— Хорошо. Пусть он соединяет меня только со ставкой, для остальных я сплю. Дьявольски болтало в полете. С погодой происходит что-то нелепое — то грозы, то тропическая жара.

— Природа, видимо, тоже воюет.

— С кем? — улыбнулся Нойбут. — Ей не с кем воевать, она едина и неодолима.

Он раскрыл папку, и фон Штромберг сразу же вышел из комнаты. Нойбут быстро проглядывал документы, подготовленные дежурным по штабу. Бумаги, не представлявшие интереса, он складывал в папку; серьезные материалы откладывал в сторону и придавливал их большим камнем сердолика, подаренным ему генералом Прайде, когда тот прилетал на неделю из Крыма; наиболее важные документы Нойбут собирал в большой

зажим, сделанный в форме руки дьявола: с большими, кривыми, острыми ногтями.

Генерал работал до часу ночи. Первый документ, который он подписал, был приказ, подготовленный в его секретариате совместно с сотрудниками контрразведки, о повсеместном введении смертной казни на оккупированных территориях:

> Давнишним желанием фюрера является, чтобы при выступлениях против империи или оккупационных властей на оккупированных территориях против преступников применялись иные меры, чем до сих пор. Фюрер придерживается такого мнения: при подобных преступлениях наказание в виде лишения свободы, а также пожизненная каторга рассматриваются как проявление слабости. Эффективного и длительного устрашения можно достичь только смертными казнями или мерами, которые оставляют близких или население в неизвестности о судьбе преступника. Этой цели служит увоз в Германию. Прилагаемые директивы о преследовании преступлений соответствуют точке зрения фюрера. Они апробированы и одобрены им.
>
> *Нойбут.*

Документ был составлен довольно четко, без раздражавшей Нойбута партийной трескотни, поэтому он подписал его после второго прочтения, переставив в двух местах запятые — всего лишь: Нойбут не любил в документах много знаков препинания.

«Приказ — не беллетристика, — говорил он, — запятые мешают усвоить суть дела. Они цепляют глаз солдата».

С другими документами Нойбут сидел значительно дольше, вносил коррективы, переписывал целые абзацы. И чем больше он работал, тем медленнее подвигались дела — то ли сказывалась дневная усталость, то ли его раздражала плохая работа канцеляристов — обилие витиеватых формулировок, дутая многозначительность: каждый, даже самый маленький, штабист мнит себя стратегом. «Неверное понимание стратегии, — подумал Нойбут. — Истинная стратегия немногословна и отличима своею обнаженной простотой».

Нойбут принял душ, растерся сухим, подогретым полотенцем и лег в постель. Закрыл глаза. Он засыпал сразу же, как только укрывался одеялом. Но сегодня впервые по прошествии десяти — пятнадцати минут он с некоторым удивлением заметил, что сон не идет. Нойбут повернулся на правый бок и сразу же вспомнил мать: она заставляла его спать только на правом боку, подложив обе руки под щеку. Нойбут улыбнулся, вспомнив вкус яблочного пирога: по воскресеньям мать готовила большой яблочный пирог — с ванилью и мандаринами. Мать называла мандарины грейпфрутами, хотя это были настоящие мандарины.

«Неужели бессонница? — подумал Нойбут. — Говорят, это крайне изнурительно. Отчего так? Несуразица какая-то».

Он лежал, крепко смежив веки. Сначала он видел зеленую пустоту, а потом в этой зеленой пустоте он увидел черные ряды бараков концлагеря. Они сегодня пролетали над этим концлагерем для военнопленных. Офицер из СС прокричал в ухо Нойбуту:

— Это лагерь с газом. Производительность печей — более тысячи человек ежедневно.

— Каких печей? — спросил Нойбут.

— Газовых, господин генерал, газовых, — пояснил тот, — это гигиенично и рационально: не расползаются вздорные слухи.

«Видимо, это, — подумал Нойбут. — В последнее время они то и дело колют нас, солдат, этой своей гадостью. Зачем? Пусть за газовые печи, если это необходимо, гестапо отвечает перед нашим будущим и своей совестью. Я — солдат. Нация позвала меня на борьбу, и я стал на борьбу».

Нойбут поднялся с кровати, подошел к окну, поднял светомаскировку и долго смотрел на город, который будет уничтожен.

«Они стенографировали каждое мое слово, когда я уточнял план уничтожения очагов славянской культуры, — вспомнил отчего-то генерал. — О, трухлявый ужас архивов, где хранится то наше, о чем мы сами давным-давно забыли! Тихие, злорадные чиновники-мышата надежно и цепко хранят наш позор. Как многие мечтают, верно, забраться в архивы и секретные сейфы и уничтожить все, касающееся их судеб, слов, призывов, обещаний!»

Нойбут отошел к столу и снова начал пролистывать

бумаги, подписанные им сегодня. Над первым документом — о казнях и высылке в Германию — он задумался по-новому.

«Я старый человек, — подумал он жалобно и горько. — Они должны будут понять, что я старый человек и солдат. Никто не имеет права судить солдата, кроме родины. Никто не смеет судить долг перед народом».

Нойбут поднялся и сделал приписку к этому приказу: «Применение этого приказа, сурового, как и все, рожденное войной, необходимо только в тех случаях, если налицо — доказательства преступления».

Он прошелся по комнате, вернулся к столу и тщательно зачеркнул свою приписку.

«Корректировать фюрера? — подумал он. — Вряд ли это пройдет незамеченным. Гальдеру и Браухичу легко: они ушли в оппозицию давно; им простится все, что они делали прежде. Мне уходить в оппозицию поздно — не приобрету там, но потеряю здесь. Я забыл о главном принципе военной стратегии: «отступи вовремя». Я поверил грохочущей логике нашего фюрера, тогда как превыше всего обязана ценится тихая логика собственной мысли. Общенациональный истеризм смял и меня. Это — очевидно».

Нойбут вызвал дежурившего подполковника Шольфа и сказал:

— Принесите мне стенограмму совещания, которое я созывал, — о будущем Кракова.

Шольф положил перед генералом стенограмму совещания, созванного им в связи с акцией по уничтожению очагов славизма.

Нойбут сидел за столом — строгий; мундир в талии перехвачен широким черным ремнем, сапоги — каблук к каблуку, как на параде. Он внимательно перечитал стенограмму и поставил галочку против своих слов: «Между прочим, Биргоф, я плакал слезами восторга в Лувре. Я бы возражал против этой акции, если бы не отдавал себе отчета, что она необходима как военное мероприятие».

Он откинулся на высокую спинку и подумал: «Ну что ж... По-моему, это достойно. Я говорил как солдат».

Он отложил стенограмму, потянулся, замер, сцепив пальцы рук. Усмехнулся — возле его рук лежали пальцы дьявола, вцепившиеся в бумаги из сегодняшней почты.

«Вот оно, — подумал Нойбут. — Все мое наиболее важное и страшное хранится в этих лапах. Я был у Гим-

млера, когда он говорил о целях уничтожения славизма и его очагов. Эти цели продиктованы их политическими и расовыми устремлениями, а не требованием военной обстановки. А я согласился с ним. И все слышали это. Неизвестно, что страшнее: мои фразы в этой стенограмме или же обоснование необходимости уничтожения там, у Гиммлера в кабинете. Самое худшее, если я предстану перед судом потомков в роли дешевого балаганного двуликого актера, а не солдата».

Нойбут расцепил похолодевшие пальцы, поднялся, пристукнул кулаком по столу, выключил свет, открыл окно и сказал:

— Только драться... До конца...

С этим он лег. Уснул легко.

Порыв ветра слизнул со стола несколько листков. Пролетев через всю комнату, они мягко скользнули под кровать.

Поднялся Нойбут, как обычно, в шесть утра. Сделал гимнастику, принял ледяной душ, сам побрился и вызвал Шольфа.

— Пусть мне сменят этот зажим для бумаг, — попросил он, указав глазами на пальцы дьявола. — Абракадабра какая-то. Вкус трусливого мещанина, разбогатевшего на сводничестве.

Шольф сразу же пошел отдать соответствующее распоряжение. Через несколько минут генерал в сопровождении дежурных адъютантов вышел из своего номера. Проходя мимо замершего по стойке «смирно» офицера охраны СС, дежурного по этажу — инвалида и польской горничной, он остановился и сказал:

— Я оставил на тумбочке рубашку. Постирайте ее, пожалуйста. Но ни в коем случае не крахмалить. Воротничок должен быть мягким.

— Хорошо, господин генерал.

Нойбут протянул пани Зосе леденец:

— Это вашим внукам.

Она сделала низкий книксен, принимая подарок, и тихо ответила:

— Благодарю вас, у меня нет внуков.

— Дайте сыну, — улыбнулся Нойбут, — пусть точит зубы.

Пани Зося сделала книксен еще раз:

— Я одинока, господин генерал. Я съем леденец сама.

Ее сын сидел в тюрьме, дожидаясь расстрела. Он был приговорен к расстрелу имперским народным судом в Бреслау. Он был связным у Седого. Он не открыл своего имени, иначе пани Зося не смогла бы работать здесь. Пани Зося не стала обращаться за помощью к генералу — он, возможно, спас бы жизнь сыну. Подполью пани Зося была нужна в офицерской гостинице.

Пани Зося вошла в номер к генералу, сложила в сумку рубашку и начала уборку. Сначала она перестелила постель — ей показалось, что Нойбут недостаточно аккуратно взбил подушку, потом вытерла пыль и начала протирать паркет провощенным куском фетра. Она увидала под кроватью два листка бумаги, взяла их и быстро спрятала в сумку. Через два часа кончилась ее смена, и пани Зося вышла из гостиницы под руку с дежурным инвалидом-фельдфебелем — он у нее столовался.

ЗА РЮМОЧКОЙ

Фон Штромберг вызвал дежурную машину, когда Нойбут отпустил его, устроился на заднем откидном кресле, где обычно сидел генерал, а не впереди, на обычном адъютантском месте, и спросил шофера:

— Как ты думаешь, куда я хочу поехать?

— Чуть развеяться, господин майор.

— Милый Ганс, ты мудр. То, что ты сидишь в шоферах, лишний раз свидетельствует против нас как организации. Твое место в Берлине.

Шофер засмеялся:

— Не хочу.

— Отчего так?

— Шоферов любят женщины, и не надо снимать комнаты: сиденья отбрасываются.

— Что ты говоришь?!

— Только кожа холодная. Некоторые жалуются. А одна, в Лодзи, отказала мне в повторном свидании — у нее открылся глубинный ишиас.

Фон Штромберг хохотал до слез. Он и вылез из машины, сгибаясь пополам от смеха. Махнув шоферу рукой, он разрешил ему уехать.

— Когда за вами? — спросил Ганс.

— Не надо... Я останусь где-нибудь здесь.

Трауб ждал фон Штромберга, лежа на диване в каль-

сонах розового цвета и в шерстяной — до колен — рубахе.

— Салют воину!

— Салют писателю! — ответил фон Штромберг. — Вставайте, граф, вас ждут великие дела!

— Великие дела кончились. Осталось одно дерьмо.

— Я не могу спорить с тобой, пока трезв.

— В столе — виски.

— Откуда здесь виски?

— Мне оставил ящик парень из «Газетт де Лозанн».

Фон Штромберг достал из стола бутылку, налил, разбавил водой, выпил, блаженно зажмурился и сказал:

— Писатель, ты чувствуешь, как от этого пойла тянет настоящим хлебом, а? Шнапс я пить не могу: по-моему, его делают не из хлеба, а из мочевины. Химия рано или поздно убьет институт гурманства. Люди станут глотать шарики, начиненные калориями.

— Что новенького?

— Ничего.

— Скоро дальше?

— Какое «дальше» ты имеешь в виду?

— Мне нравится эта девица! Я имею в виду, когда снова начнем давать деру?

— Это зависит не только от нас, но в какой-то мере и от красных.

Трауб усмехнулся.

— Смешно, — сказал он. — Куда сегодня?

— Куда-нибудь, где много людей и хорошая музыка.

— Это крематорий.

— Писатель, ты злой, отвратительный человек.

— Едем в казино — больше некуда.

— У тебя новенького нет ничего?

— Ты имеешь в виду баб?

— Пока еще я не подозреваю тебя в гомосексуализме.

— Нет, ничего особо интересного нет.

— Ты добр во всем, но женщин скрываешь.

Трауб кончил одеваться, сделал радио чуть громче и остановился возле коричневого громоздкого аппарата.

— Тебе не бывает страшно, когда слушаешь этот ящик, Гуго?

— Почему? Меня изумляет это чудо.

— Тебя изумляет, как люди смогли втиснуть мир в шесть хрупких стеклянных лампочек? Так ведь?

— Так.

— Это — от дикарства. Ты дикарь. А дикари лишены страха, потому что Бог обделил их воображением. Меня страшит радио, я боюсь его, Гуго. Послушай. — Трауб повернул ручку, красная стрелка поползла по шкале, рассекая названия городов: Лондон, Мадрид, Москва, Нью-Йорк, Каир. — Слышишь? Мир создан из двух миллиардов мнений. Сколько людей — столько мнений, судеб, правд. У нас один, десять, сто человек навязывают правду национал-социализма миллионам соплеменников. А кто может зафиксировать то, о чем говорят эти миллионы в постели перед сном, уверенные, что диктофоны гестапо их не запишут? Что они думают на самом деле — о себе, о нас, о доктрине? О чем мечтают? Чего боятся? Кому это известно в рейхе? Никому. В этом зарок нашего крушения. Наша правда идет не от миллионов к единицам, а наоборот, от единиц — к миллионам. Знаешь, мир обречен. Видимо, это вопрос нескольких десятилетий. Разные правды, которые во времена феодализма могли быть сведены в одну, теперь обречены на взаимоуничтожение, ибо они подпираются разумом ученых и мощью индустрии.

— В этой связи все-таки стоит продумать вопрос — с кем мы будем сегодня спать.

— Мы махонькие мыши, нам надо стрелять не туда, куда стреляют солдаты на фронте.

— Я этого не слышал, я выходил в ванную комнату, — зевнув, сказал майор.

— Мы все предали самих себя: нам очевиден наступающий крах, а мы молчим и бездействуем, прячем голову под крыло, боимся, что гестапо посадит в концлагеря наших ближних. Что ж, видимо, будет лучше, если их перестреляют пьяные казаки. Нас отучили думать — мы лишены фантазии, поэтому страшимся близкого гестапо, забывая про далекую чека.

— Где та блондиночка из Гамбурга?

— Иди к черту!

— Что с тобой, милый писатель? Откуда столько желчи и отчаяния?

— Почему ты путаешь два эти понятия? Желчь — это одно, а отчаяние — прямо противоположное. Желчные люди не знают отчаяния, а отчаявшиеся не понимают, что такое желчность. Ты умный человек, а повторяешь Геббельса. «Желчные скептики» — так он говорил, по-моему? Если трезвое понимание сегодняшней ситуации называют желчным скептицизмом — это значит, на-

верху поняли суть происходящего, неизбежность катастрофы. Все, кто посмел понять это же внизу, подлежат лечению от «желчности» в концентрационном лагере. Я продал себя второй раз в тридцать девятом году. Я понял тогда, что все происходящее у нас обречено на гибель. Тысячелетнюю империю можно было создать, уповая на каждого гражданина в отдельности, а потом уже — на всю нацию. Надо было идти от индивидуального раскрепощения каждого немца, а они пошли на массовое закабаление. Я знал людей из подполья — и тех, которые ориентировались на Коминтерн, и тех, которые контактировали с Лондоном. Я должен был, я обязан был выслушать их платформу. А я прогнал их из дому. Я прогонял их, понимая, что внутренне я с ними. О, воспитание страхом, как быстро оно дает себя знать, и как долго мы будем страдать от этого! Мы, нация немцев.

— Слушай, писатель, а ты ведь поступаешь нечестно.

— То есть?

— Очень просто. Мы с тобой дружим, но зачем же ставить меня в идиотское положение. Я — солдат. Ты — писатель, ты можешь позволить себе роскошь быть в оппозиции к режиму, тебя просто посадят; меня гильотинируют. Это — больно. И — потом: мы все, как туберкулезники. А туберкулезники, если они нашли мужество все понять про себя, не жалуются и не стенают, а живут. Просто живут. Бурно живут — то время, которое им осталось дожить. Все. Я высказался, едем к бабам.

— Пойдем пешком. Здесь ночи божественны.

— Бандиты застрелят.

— Это ничего. Это даже хорошо, если пристрелят сейчас — похоронят с почестями, и родные будут знать, где могила. Знаешь, я ужасно боюсь погибнуть в хаосе, во время праздника отмщения, когда будет литься кровь тысяч — и правых и неправых. Я очень боюсь умереть безымянным, на пике русского казака, для которого все равно, кто ты — интеллигент, который страдал, или бюрократ из партийного аппарата НСДАП.

Когда они вышли на тихую ночную улицу, фон Штромберг задумчиво сказал:

— Писатель, я тебе дам совет. Ты спрячь самого себя под френч и погоны, которые на тебе. Погоны — это долг перед нацией. Тебе не будет так страшно — перед самим собой в первую голову. Ну а перед победителями — тем более. Ты выполнял свой долг. Понимаешь?

Ты повторяй это себе каждое утро, как молитву: «Я выполнял свой долг перед народом. Если я не буду выполнять свой долг перед народом, сюда, на мою родину, придут паршивые американцы или красные большевики». Попробуй — это само спасение.

Они вышли к площади Старого рынка. Лунный свет делал островерхий храм, и торговый крытый ряд, и дома, стиснувшие гранитные плиты площади, средневековой гравюрой.

— Божественно, — сказал фон Штромберг, — и страшно.

— Почему? Меня это, наоборот, успокаивает, я ощущаю себя причисленным к вечности.

— Страшно, потому что все это обречено на уничтожение.

— Нет. Это противоестественно. Такая красота не может погибнуть. Бомбежка никогда не уничтожит это.

— Ты не в курсе. Поступил приказ Гиммлера подготовить Краков к полному уничтожению — как один из центров славянства. И есть человек, который это подготовит. Только не знаю, кто именно, он засекречен...

Трауб вернулся домой ранним утром: сначала пили в казино, потом их увез к себе полковник Крайн из танковой дивизии СС, и они пили у него, на окраине, над Вислой, а потом закатились к девкам. Молоденькие вольнонаемные — толстушки из противовоздушной обороны, а телефонистка — длинная, черная, крупная. Ее звали Конструкцией. Трауб спал с ней. Поначалу Конструкция веселилась, много пила, рассказывала скабрезные анекдоты про мужчин, а когда они легли, она затряслась и шепотом призналась Траубу, что он у нее — первый. Трауб усмехнулся в темноте: отчего-то все женщины говорили, что он у них либо первый, либо второй. Только одна молоденькая женщина из Судет сказала ему, что он — тринадцатый. Трауб потом полюбил ее и хотел, чтобы она вышла за него замуж. Она должна была приехать к нему во Львов — он был там с армией. Но ее эшелон разбомбили. Трауб сначала отнесся к этому с равнодушием, испугавшим его самого, и только после, постепенно, он все чаще и чаще стал испытывать тягучую, безысходную тоску, когда вспоминал о ней.

Домой Трауб вернулся желтым и злым. Спать не хотелось. Он сделал кофе и, когда налил черную жижу в чашку, вспомнил фон Штромберга: «Краков будет уничтожен как один из центров славянства».

Он съежился и увидел себя со стороны: седого длинного человека в зеленой форме. Он вдруг точно представил себе громадное здание суда и себя самого перед судейским красным столом в штатском костюме, но без галстука. Он услышал, как переговаривались люди в ложе прессы.

Трауб снял трубку и набрал номер.

— Пан Тромпчинский? — спросил он. — Где ваш сын? Что? Ладно. Пусть он зайдет ко мне — только непременно.

Вечером Юзеф Тромпчинский передал разговор с Траубом Седому. Ночью Седой пошел на явку к Вихрю. Он передал разговор с Траубом и бумаги от Нойбута, принесенные пани Зосей.

— Все сходится, — сказал Вихрь. — Значит, все правда. Значит, мы пришли вовремя.

Они часа три сидели с Седым, набрасывая план на будущее: уточнение возможных районов работ, выявление людей, отвечающих за операцию, наличие складов и дислокацию саперных частей.

Днем Вихрь пошел к Палеку: там жила Аня. В три часа сорок минут она вышла на связь с Центром и передала Бородину первое подробное донесение.

КРЫСЯ

Степан Богданов понял: для механика автобазы Ленца главное «выглёнд»[1], чтоб сверху были красота и блеск. Это у немца в психологии — если сверху блеск и шик, то внутри, само собой, тоже все в таком же отменном порядке. Ленц не мог себе представить, чтобы аккуратно вымытая, отполированная до блеска машина имела при этом какую-то неисправность в мостах или двигателе.

Еще в шахте «Мария» Степан понял, что немецкие мастера не замечали саботажа, если инструмент вытерт, промаслен и имеет хороший «выглёнд». Видимо, многие десятилетия промышленного развития наложили отпечаток на всю нацию. Это был некий слепок доверия к внешнему виду инструментов и машин, детский фетиш аккуратности в труде.

Степан этим пользовался: на шахте он всегда надраивал свой отбойный молоток на глазах у немецких мас-

[1] Выглёнд — внешний вид (*польск.*).

теров, а когда они отворачивались, он ослаблял винты, и таким образом изнашиваемость увеличивалась раз в десять, а то и больше.

Немцы не могли понять, что их святое отношение к инструментам труда не может распространиться на миллионы тех людей, которые были пригнаны в Германию Заукелем, чтобы залатать дыры в системе трудового фронта. По всей Германии, невиданный доселе в истории человечества, рос и ширился массовый, стихийный протест, который выражался поначалу пассивным отношением к работе, а потом выливался в осмысленный саботаж. Сводки, представлявшиеся руководителям трудового фронта Заукелем Мартину Борману, являли собой внушительную картину успехов: миллионы людей были привезены в рейх со всех концов Европы. Но если сравнить производительность труда одного немца, то она равнялась производительности труда, по крайней мере, ста, а то и полутораста иностранных рабочих. Немец работал на себя, он, работая, понимал, во имя чего он работает: не только во имя победы на фронте, но и во имя тех марок, которые дадут ему возможность купить новый шкаф, велосипед или автомобиль. Иностранный рабочий работал на врага, во-первых, а во-вторых, даже те, самые нестойкие, готовые пойти на компромисс во имя материальных благ, получали под расчет баланду и деревянные колодки.

Механик Ленц как-то сказал Богданову:

— Была б моя воля, я бы платил вам, как немцам: тогда бы мы победили наверняка. Даже макака в зоопарке делает свои фокусы за конфету. Почему считают, что иностранцы будут работать за пустую баланду? Ты белая ворона — так все вылизываешь.

Богданов молчал, продолжая надраивать «опель-капитан». За годы плена он приучил себя к золотому правилу: молчи, слушай, улыбайся. И все.

— Погоди, — сказал механик, — ну-ка, дай я. Ты не совсем верно трешь.

Он взял у Богданова тряпку, обмакнул ее в полировочную воду и начал наводить блеск не быстрыми, как у Степана, движениями, а медленными кругами, словно мыл спину ребенка.

Степан часто работал один в гараже. Он мог и ослабить болты в моторах, и сыпануть песочку в двигатель, и чуть отвернуть ниппель, но Коля, когда они в последний раз виделись, категорически запретил ему это.

— Все понимаю, — сказал Коля, — все понимаю. Жгутом себя свей, но держись. Ты мне всю игру так завалишь. Из-за глупости погибать — ни к чему.

— А что мне делать? Объясни. Я так не могу.

— Я тебе объяснял: меня интересует, кто ездит на этих машинах, куда ездит, фамилии шоферов, их хозяев. И саперы, саперы. Меня интересуют саперы и СС.

Встречались они вечерами, в домике Крыси, где жил Богданов. Крыся, худенькая, белая, голубоглазая, двадцати лет, была тихой-тихой, как мышка. Из дому она почти никогда не выходила, двигалась по комнатам как-то боком, ступала неслышно, и движения ее были округлы и осторожны.

Она стала такой с тех пор, как сошлась с немцем. Его звали Курт Аппель, он был тоже голубоглазый, худенький, белый — совсем мальчик.

— Я все понимаю, — говорил он, — я к тебе буду приходить только ночью, когда никто нас не увидит. Я не буду позорить тебя собой, Мышь.

Он называл ее Мышь, и лицо его делалось, как у святого: чистое, светлое, ласковое.

До того как они встретились, Крыся была связана с людьми Седого. Она была веселой, говорила громко, ходила, как все люди, а не так, как сейчас — испуганно и зажато. Теперь она затаилась, перестала видеться со своими товарищами по подполью, особенно после того дня, когда Седой через связников попросил ее давать информацию, добывая через немца.

— Я ж люблю его, — сказала она тогда, — я не могу так. Я не продажная какая...

— Ты понимаешь, что говоришь? — спросил связник.

— Если б не понимала...

— Родину, значит, продаешь, ради кобеля?

— Он не кобель, он мальчик...

Связнику было семнадцать лет. Он поднялся со стула и ударил Крысю по щеке, а потом плюнул себе под ноги.

— Эх ты, курва! Паршивая немецкая подстилка...

Когда об этом узнал Седой, он очень разозлился, но к Крысе не пошел, потому что не знал, как она после этого его встретит. А она ждала. А потом ждать перестала. День она стала ненавидеть: ей казалось, что днем ее должны убить за измену. Она днем ждала ночи. К ней приходил Курт, и Богданов слышал, как они по ночам тихонько говорили, или говорил только немец, успокаивая ее, плачущую, или тихонько, под утро, смеялась

она — странным, вибрирующим смехом, даже и не поймешь сразу — смеется она или это истерика у нее.

Степан подолгу слушал, как они шептались, и чем дальше, тем все больше утверждался в мнении, что говорят они, словно дети, и любят друг друга исчезнувшей в годы войны чистой детской любовью, что они — из того ушедшего в небытие мира, когда любовь была внезапной, испепеляющей, горестно-счастливой болезнью, а не инструментом забвения вроде водки или морфия.

Однажды Богданов сидел с Колей за чаем. Было еще не поздно, до комендантского часа оставалось около часа. Хотя у Коли был аусвайс и ночной пропуск, он всегда возвращался домой — и от Богданова, и с других явок — засветло, чтобы не вызывать лишних подозрений.

Крыся была на кухне, мыла посуду. Когда распахнулась дверь в дом, Степан, как на шарнирах, обернулся. Коля продолжал сидеть в прежней позе, чуть склонившись над своей чашкой.

«Надо будет ему сказать, — подумал он, — что нельзя так вертеться. Резкое движение — могильщик разведчика, во всем, и в резких поворотах мысли — тоже».

На пороге стоял немец. Это был Курт.

— Здравствуйте, панове, — сказал он на ломаном польском и тихо, вроде Крыси, прошмыгнул мимо них на кухню. Сначала там было тихо, наверное, целовались, а потом начали быстро говорить. Вернее, говорил Курт, а Крыся изредка спрашивала его о чем-то. Потом они надолго замолчали.

Богданов кивнул головой на кухню и шепнул:

— Ишь Монтекки и Капулетти.

— Тш-ш-ш, — Коля приложил палец к губам.

Коля все время прислушивался к разговору: немца переводили в Германию, он не хотел уезжать.

«Немец был бы нам очень кстати, — подумал Коля, — только какой-то он раззява. Понятно, что мальчик, но нельзя же быть таким — война как-никак».

А потом немец заплакал. Было слышно, как жалобно он плачет, по-детски всхлипывая. Крыся утешала его, что-то быстро шептала ему, а он всхлипывал и мешал немецкие и польские слова.

— Ну что же делать, — шептала Крыся, — что же делать, значит, не судьба нам, значит, не судьба.

— Я никуда не уеду отсюда, — выдохнул Курт, — никуда.

...Есть люди, которые скоропалительны в своих решениях, но по прошествии времени в сердце их начинается мучительная борьба: прав был или не прав. Обычно такие люди эмоционально неуравновешенны, и кажущаяся их искренность, смекалка и провидение на самом деле оказываются внешним выражением некоего комплекса одаренности, который мешает им впоследствии продолжать начатое, — они разбрасываются.

Есть люди, которые, казалось бы, медлительны и неповоротливы и путь их к решению тяжел и долог. Этот тяжелый и долгий путь к решению на первый взгляд является гарантией того, что человек тщательно взвесил все «за» и «против», выбрал единственное, казавшееся ему верным решение. На самом деле и такие люди сплошь и рядом оказываются перед трагической дилеммой: изменить данному слову или держаться его, наступив на горло собственной песне. Причем такие люди приходят к этой дилемме не от эмоционального поворота, но от мучительного, холодного, «самоедского» логического разбора.

Из людей первого рода рождаются самоубийцы — в том случае, конечно, если речь идет о человеке недюжинном, а слово, данное им, или решение, принятое однажды, имеет поворотное значение в его судьбе.

Из людей второго рода — если рассматривать их применительно к разведке — чаще всего рождаются агенты-двойники.

И только редкий союз эмоциональной непосредственности и медлительной аналитичности рождает тот сплав, который делает человека разведчиком — не просто видящим, слушающим и молчащим, но главное — быстро и точно думающим; не просто оценивающим факт, но анализирующим его с точки зрения перспективы.

Коля этим даром обладал.

Откуда это пришло к нему — судить с полной определенностью трудно. Но вполне возможно, что передалось ему это поразительное качество — сплав противоположностей, каждая из которых может одновременно считаться и достоинством и недостатком, а вкупе великий дар — от его отца Всеволода Владимировича Владимирова, который был известен его матери Александре Николаевне Гаврилиной как Максим Максимович Исаев, а Кальтенбруннеру — как оберштурмбанфюрер СС Штирлиц.

Коля поднялся из-за стола и пошел на кухню — к немцу и Крысе.

В ЦЕНТРЕ

Только около часа шифровальщики кончили работу и передали полковнику Бородину текст третьего радиосеанса с Вихрем.

— Чайку у нас не осталось? — спросил полковник капитана Высоковского. — Замерз я что-то, погреться хочу.

— Сейчас я включу плитку, — сказал капитан. — У меня, по-моему, и медку есть немного.

— Это будет божественно, — сказал Бородин и потянулся за табаком. Он несколько лет работал с Буденным и от него взял привычку: курить табак, заворачивая его в папиросную бумагу.

Высоковский пошел на кухню. Разведотдел занимал маленький коттедж неподалеку от Львова. Особнячок был удобный, с массой закоулков и кладовок, пахло в нем как-то по-особому довоенно — засахарившимся вареньем, сушеными грибами и апельсиновыми корками: в особняке жил владелец б а к а л е и.

Бородин слышал, как капитан гремел на кухне кастрюлями.

«Это приятно, когда в доме много кастрюль, — усмехнувшись, подумал Бородин. — Значит, большая семья и достаток. Иным кажется это слово буржуазным, недостойным большевика. А ведь достаток — это и воспитание, если умно рассмотреть. С какой нежностью будет человек вспоминать свой дом, и липы в окнах, и привычную лампу под рукой, и книжные полки над головой. Патриотизм, рожденный в битве, обязан быть подкреплен достатком. Патриот — человек, осознанно защищающий комплекс понятий: реку, театр, город, дом друга, чужого ребенка, свою кухню. Обязательно и свою кухню с большим количеством кастрюль».

Бородин затушил свою сигарообразную самокрутку и открыл первую страницу расшифрованного радиодонесения Вихря.

Район форта Пастерник — тот плацдарм, на котором базируются немецкие войска, осуществляющие подготовку к акции.

Коля через «Родиона» — Степана Богданова

(Москва, Усачевка, 7, квартира 37), советского военнопленного, бежавшего из лагеря, вышел на немецкого военнослужащего Курта Аппеля, шофера в штабе армии, и завербовал его. Аппель просит помочь ему остаться в Польше вместе с его женой Крысей Живульской. Коля обещал, но просил его выяснить все, относящееся к службе саперного обеспечения. Просьбу эту Коля мотивировал тем, что ему необходимо достать партию лопат и кирок для продажи помещикам, нуждающимся в инвентаре.

Аппель сообщил, что он работает разгонным шофером; определенного офицера, который был бы прикреплен к нему, нет. Чаще других он ездит за город, в расположение саперных подразделений: 12-го отдельного саперного полка, 5-го батальона, приданного 4-й дивизии 17-й танковой армии СС, и 5-го отдельного саперного батальона, дислоцированных в радиусе пятидесяти километров вокруг Кракова.

Просим сообщить имеющиеся данные на немецкого военного журналиста Трауба, 1900 года рождения, берлинца.

Коля создал боевую группу из военнопленных, бежавших из лагерей, а сейчас находящихся в лесах, в районе Закопане. Фамилии и полные данные этих людей сообщу во время следующего сеанса.

Коля работает в парикмахерской интендантства. Интендант благоволит Коле, ибо тот делает массаж всем его друзьям. Фамилия интенданта Козицкий Иоганн, звание обер-лейтенант, сорок три года, родом из Кельна, жену зовут Матильда, урожденная фон Зассель. Он оказывает помощь с документами, позволяющими беспрепятственно ходить по Кракову. *Вихрь.*

Бородин поморщился и красным карандашом исправил грамматические ошибки. Написал на полях: «Научитесь же наконец расшифровывать без ошибок — стыдно так». Потом Бородин подчеркнул синим карандашом фамилии, переданные Вихрем, выписал их на отдельные картонные карточки и отложил в сторону.

Вернулся Высоковский и поставил перед полковником большую чашку чаю и плошку с липовым медом.

— Спасибо, — рассеянно ответил Бородин, продолжая делать выписки.

— Остынет.

— Что? — спросил Бородин.

— Остынет чай, товарищ полковник.

— Плохо, если остынет.

Бородин достал из сейфа только что принятую радиограмму из Москвы, сделал выписку, спрятал шифровку обратно и начал писать ответ Вихрю.

> ...Начиная с двадцать шестого числа три дня подряд вам или Коле надлежит быть на всех вечерних службах в костеле на прощади рынка, пятый ряд, первое место слева, а после — в ресторане «Французского» отеля. Вы или ваш заместитель должны быть одеты в синий двубортный костюм с черным галстуком и значком национал-социалистской партии в петлице. На левой руке, на среднем и безымянном пальцах, вы должны будете иметь кольца: обручальное и перстень. Через равные промежутки времени закрывайте левый глаз ладонью — как следствие контузии. К вам подойдет человек и спросит: «Великодушно простите меня, свободно ли это место?» Вы ответите ему: «Бога ради, но я жду даму». Поступите в распоряжение этого человека на то время, пока ему потребуется. *Бородин.*

Случилось так, что Аня успела принять только часть шифровки Бородина. Они с Вихрем сидели в заброшенном сарайчике в лесу, вокруг — ни души. В сарае пахло сеном и засохшими цветами, весь чердак был забит свежескошенной травой. Когда Аня заканчивала прием первой фразы Бородина, в дверь забарабанили.

Вихрь, схватив листок с передачей, ринулся по лесенке на чердак, в сено. Аня ударила передатчик топором и стала быстро жевать оставшиеся бумаги. Потом она успела оттащить лесенку, ведущую на чердак, и закидала ее сеном. А после ворвались солдаты.

НЕОБХОДИМЫЙ ЭКСКУРС

Штирлиц пристегнулся большим резиновым ремнем к спинке кресла.

— Смотрите-ка, — обратился к нему Отто цу Ухер, — вы заметили, что я сижу на тринадцатом месте?

— У меня тринадцать, понедельник и пятница, а также високосный год — счастливые приметы. Хотите обменяемся?

— Хочу.

— Вы — сумасшедший? — деловито спросил Штирлиц.

— Вероятно.

— Ну, садитесь.

— Вы это делаете искренне или играете?

— Играю, — проворчал Штирлиц, — мне очень хочется поиграть.

Отто цу Ухер сел на место эсэсовского офицера и стал сосать леденец.

— Не люблю летать, — сказал он, — терпеть не могу летать. Все понимаю: на шоссе гибнет больше народу, чем в небе, но не люблю, и все тут.

— Вы умный, — сказал Штирлиц, — вам есть что терять, оттого и боитесь.

Отто цу Ухер был доктором искусств. Он летел осматривать наиболее ценные памятники, которые могли быть обращены в валюту. Гиммлер прислушался к мнению Бройтигама — дипломат смотрел дальше Кальтенбруннера. Штирлицу было поручено выбрать вместе с доктором искусств наиболее интересные полотна средневековых мастеров, просмотреть библиотеку университета и отобрать все средневековые книги для отправки в подвалы Вавеля — там жил генерал-губернатор Франк.

Самолет, натужившись, будто спринтер, несся по взлетной бетонной полосе Темпельхофа. Фюзеляж дребезжал противно мелкой алюминиевой дрожью. Несколько раз самолет тряхнуло, моторы зазвенели, и самолет завис в воздухе. Казалось, что он недвижим; потом нос Ю-52 задрался, и самолет начал быстро набирать высоту.

Отто цу Ухер прилип к окну. Штирлиц заметил, как дрожали его тонкие пальцы, вцепившиеся в поручень кресла.

«А ведь действительно боится, — подумал Штирлиц. — Такой умница — и вдруг трус. Хотя — человек искусства, нервы обнажены, представления фантастичны. Им завидуют — особняки, деньги, слава. Несчастные, бедные, замученные люди. В исскустве нет фанатиков, как в политике. Там люди видят шире и дальше, у них нет шор, они могут себе позволить докапываться до сути явлений. Даже негодяй мечтает — где-то в самой глу-

бине своей — написать о чистой любви или о том, что изнутри поедает его, как ржа. А умному и честному художнику — и того сложнее жить. Фейхтвангер эмигрировал, а сколько сотен людей осталось в рейхе? Людей, которые думают также, как Фейхтвангер? Но они вынуждены либо делать прямо противоположное тому, что хотят, либо предают себя, и в этом предательстве зреет их ненависть ко всему вокруг — к самим себе тоже».

За те двадцать три года, что он провел за границей, покинув родину на кораблях, увозивших из Владивостока остатки белой гвардии, мысль его сделалась острой, б р и т в е н н о й: он препарировал события, угадывал в них перспективу, нисколько не затрудняя себя бессонными раздумьями. Штирлиц собрал у себя дома, в бабельсбергском коттедже, труды римских классиков и богатейшую коллекцию книг по истории инквизиции. Он подчас поражался точному повторению в рейхе тех же самых ходов и поворотов, которые совершали тираны Рима в борьбе за честолюбивые национальные устремления. Когда на смену широкой демократии приходила личная власть и человек, выходивший на трибуну сената, обращался к депутатам от лица нации, уверенный, что он один только знает, чувствует и предвидит ее, нации, устремления, надежды и чаяния, тогда Штирлиц совершенно спокойно проводил для себя аналогии с современностью и никогда не ошибался в перспективных решениях по тому или иному вопросу.

Штирлиц точно определил свое поведение: тиран боится друзей, но он, хотя и не дает особенно расти тем, кто говорит ему ворчливую правду, тем не менее верит больше именно этой категории людей. Поэтому, пользуясь своим партийным стажем, он позволял себе иногда высказывать мнения, шедшие не то чтобы вразрез с официальными, но тем не менее в некоторой мере оппозиционные. Это не давало ему роста в карьере, но зато ему верили все: от Кальтенбруннера и Шелленберга до партайляйтера в его отделе СД-6. Такое, точно избранное им, поведение позволяло быть искренним до такой степени, что невольный и возможный срыв был бы оправдан и понятен с точки зрения всей его предыдущей позиции.

В сорок первом году он был откомандирован в Токио. Здесь, встретившись на приеме в шведском посольстве с Рихардом Зорге, он говорил с ним о тех планах напа-

дения на СССР, которые разрабатываются в генштабе. Рихард Зорге устроил ему встречу с секретарем советского посольства. Тот знал о приезде Штирлица. Он дал ему фотографию: на Исаева смотрел парень — он сам, только в двадцать третьем году. Это был Александр Исаев, его сын. Штирлица словно бы обожгло, опрокинуло. Он почувствовал себя маленьким и пустым — совсем одиноким в этом чужом ему мире. А потом, заслоняя все, появилось перед глазами лицо Сашеньки Гавриловой. Оно было таким ощутимым, видимым, близким, что Исаев поднялся и несколько мгновений стоял зажмурившись. Потом спросил:

— Мальчик знает, чей он сын?

— Нет.

— Когда вы нашли их?

— В тридцать девятом, когда парень пришел за паспортом.

— Что делает Сашенька?

— Вот, — сказал секретарь, — здесь все о них.

И он дал Исаеву прочитать несколько страничек убористого машинописного текста.

— Я могу ей написать?

— Она будет очень рада.

— Она...

— Все эти годы она была одна.

«Любовь моя! Спасибо тебе за то, что ты была и есть. Спасибо тебе за то, что в мире есть второе «я» — наш сын. Спасибо тебе за то, что я все эти годы ощущал тебя — в одном воздухе, в одном мире, в одном дне и в одной со мной ночи. Я ничего не могу обещать тебе, кроме одного — моей любви. Я буду с тобой, как был. Мир кончится, если рядом со мной не будет тебя.

Максим».

Самолет плюхнулся на краковский аэродром.

— Не зря мы обменялись местами, — выдохнул Отто цу Ухер, — мое тринадцатое стало вашим счастьем: мы долетели без приключений.

— В воздухе приключений не бывает, — ответил Штирлиц, — приключение — это если долго, а самолет падает ровно одну минуту, а уже на второй секунде вас хватит кондрашка: разрыв сердца — гарантия от воздушных приключений.

Вечером в парикмахерскую к Коле пришел тот летчик, который вел самолет со Штирлицем. Знаком он показал Коле, что хочет побриться: на рукаве Колиного пиджака была маленькая метина «Ост». Летчик решил, что парикмахер не понимает по-немецки — откуда ему! — и похлопал себя по щекам. Коля улыбнулся:

— Массаж?

— О, массаж, — кивнул головой летчик и закрыл глаза.

Следом за ним вошел бортмеханик и спросил:

— Ты пришел спать или бриться?

— Я пришел и спать и бриться, — ответил летчик. — После рейсов с этими любимчиками Гиммлера нервы совсем сдают. Спаси бог, случись что-нибудь с самолетом...

— Почему ты решил, что Штирлиц — любимчик рейхсфюрера?

— Потому, что его провожал помощник начальника политической разведки Шелленберга. И потом, я раз видел, как он говорил с Шелленбергом — они говорили чуть ли не на равных.

Пилот был молодой человек, и ему нравилось быть осведомленным во всем, и особенно в том, что происходит наверху. Люди многоопытные эту свою осведомленность — необходимую или случайную — скрывают. Те, что помоложе и только-только соприкоснулись с жизнью «великих», наоборот, не могут не щегольнуть этой своей чуть усталой, рассеянной осведомленностью.

— В каком он чине?

Летчик не знал этого и, опять-таки по молодости лет своих, ответил:

— Он бонза СС с довоенным стажем.

— Поехал к Франку? В крепость?

— Нет, он остановился во «Французском» отеле. Штирлиц большой любитель Баха — напротив в костеле великолепный орган.

— Когда обратно?

— Через день-два. Мне приказано ждать его здесь.

Коля побрил бортмеханика, увидел, что в парикмахерскую набилось довольно много народу, незаметно резанул себе палец бритвой и побежал в медпункт. Потом он ринулся к Вихрю сообщить о приезде столь важной фигуры из ведомства Гиммлера.

Вихрь немедленно связался с Седым и попросил его через своих людей в гостинице «Французской» узнать о некоем Штирлице все, что можно узнать, а особенно — маршруты поездок, кто сопровождает, на чем ездит, когда встает и где обедает.

СТИЛЬ РАБОТЫ

Полковник армейской контрразведки Берг с исчезновением Мухи внутренне весь съежился: после того как фюрер уволил в отставку адмирала Канариса — шефа, создателя, а точнее всего, мозг и сердце абвера, всякий срыв сотрудников абвера воспринимался гестапо как лишнее подтверждение их правоты в давней войне с армией. Полковник Берг приготовился к худшему, хотя, собственно, чего еще ждать худшего, если ты уже оказался шефом контрразведки армии после семи лет работы на Тирпицуфере, 74, в Берлине, в центральном досье абвера, где были собраны материалы на политических деятелей, экономистов, писателей, танцовщиц, генералов, психиатров, режиссеров, философов — словом, на всех тех людей, которые либо оказывали услуги третьему рейху, либо оказывают в настоящее время, либо могут их оказать в той или иной ситуации, вольно или невольно, с вознаграждением или без оного.

Берг, работая у Канариса, был посвящен во многое, но далеко не во все, потому что адмирал считал его блистательным служакой — не более. Особенно настораживала Канариса поразительная память Берга: ему не нужно было поднимать досье, которое он читал десять лет назад, он помнил его чуть не наизусть.

— Хорошая память присуща малоталантливым людям, — говаривал Канарис, — если речь идет о человеке, посвятившем себя гуманитарии, а не технике. Разведка, как первая составная часть политики, это гуманитария, причем наиболее ярко выраженная, — для тех, кто знает суть вопроса. Когда мне говорят, что в разведке успех акции зависит от математической точности расчета, я улыбаюсь. Математика вредит нам, ибо она — воплощение прокрустова ложа разума. Разведка взывает к самым низменным страстям и устремлениям. И в этом ее высший разум.

Адмирал любил говорить афоризмами. Он ловил себя на том, что, даже беседуя с любимой таксой Зепплем, невольно следил за тем, чтобы его речь была изящна

и упруга. Берг, как и большинство сотрудников абвера, не приближенных к адмиралу настолько, чтобы сохранять свою индивидуальность, ибо залог дружбы — это разность индивидуальностей, во всем подражал Канарису. И в манере говорить — улыбчиво, доброжелательно, располагая к себе собеседника, шутливо останавливаясь на самом главном; и в манере одеваться — как говорят французы, «нон шалон» — чуть небрежно, но так, чтобы эта небрежность была элегантной; и в манере строить отношения с сотрудниками — мягко, но чуть свысока, и опять-таки в такой мере, чтобы не обидеть, но лишь дать понять разницу в занимаемом положении.

Когда Берг жил и учился в Москве, на химическом факультете МГУ, он поражался отношениям, сложившимся в России после революции: нарком и рабочий были одинаково одеты, и разговор их был разговором товарищей, Берг, начав работать в абвере, попробовал было скопировать эту русскую манеру, но Канарис сказал ему как-то, видимо, точно поняв, откуда это у Берга:

— Мой друг, последователем быть хорошо, но подражатели — жалки.

Берг вспыхнул — он легко краснел — и с тех пор во всем копировал адмирала, даже в жестах: разговаривая с сотрудниками, он клал им руку на плечо — дружески-доверительно, но в то же время это был жест снисхождения, а не искренней расположенности.

Чем хуже было положение Берга, тем мягче он разговаривал со своими людьми, тем чаще шутил, смеялся и подолгу сидел у контрразведчиков, рассказывая им смешные истории и еврейские анекдоты.

Берг ждал, когда над его головой разразится буря в связи с исчезновением Мухи. Следствие, проведенное им, показало, что Муха исчез после того, как привел к себе на явку радистку. Агентов среди польского населения у Берга не было, а если б они и были, то Берг не считал возможным верить им до конца: в каждом поляке можно было ждать двойника или дезинформатора.

И лишь когда Берг, пользуясь своими хитрыми возможностями, узнал о провале гестапо с русским майором-разведчиком, только тогда он успокоился: гестапо не станет сейчас сводить с ним счеты, потому что они упустили куда как более важного человека. Берг считал, что вполне логично допустить возможность связи: Муха — радистка — русский майор. И Берг начал действовать, отталкиваясь именно от этой мысли. Гестапо по-

шло по своим обычным путям: массовые облавы, аресты, подслушивание телефонных разговоров, усиленная агентурная разработка подозрительных поляков. Берг избрал иной путь: он вычеркнул для себя центр города и сосредоточил поиск в краковских пригородах. Пять радиопеленгационных автомашин круглосуточно курсировали по шоссе и проселкам в радиусе пятидесяти километров вокруг Кракова. Десять групп с переносными пеленгаторами начали методическое и неторопливое прочесывание лесов и гор вокруг города. Берг не торопился: он предполагал, что радистка выйдет на связь с Центром. Он знал также, что русские радисты обычно подолгу торчат в эфире — времени, чтобы засечь, будет достаточно.

Человек многоопытный, Берг подстраховал себя через подставного агента, словака по национальности, подсунув ему материал, из которого следовало, что в районе Рыбны несколько человек видели Муху и человека, по внешнему описанию похожего на бежавшего русского разведчика; после этого Муху больше никто не встречал, а человека, похожего по приметам на бежавшего из гестапо, видели выходившим из лесу ночью в мокром пиджаке и с синяками на лице. Это донесение, специально подстроенное Бергом, нашли возможность подсунуть агенту так, что его рапорт выглядел вполне убедительно. Берг в гестапо звонить не стал, но рапорт приобщил к делу об исчезновении Мухи — на всякий случай, если начнутся т р е н и я с руководителями управления безопасности Кракова.

Берг не ошибся: вскорости после исчезновения Мухи радиоперехват засек новую точку, находящуюся примерно в тридцати километрах на юго-запад от Кракова, по направлению к Закопане. На следующий день Берг подтянул в тот район семь групп из своих десяти и три автомашины. Через неделю передатчик был засечен снова. А еще через месяц Аня была арестована военной контрразведкой. Вихрь спасся случайно: солдат прокалывал сено, в котором он лежал, очень зло, но не так тщательно, как следовало бы. Штык проколол штанину Вихря и поцарапал голову. Вихрь ждал, что после обыска они подожгут сарай. Поэтому он лежал, сжав в руке гранату. Он не стал бы сдаваться просто так.

Вихрь слышал, как Аню били и как офицер кричал:

— Где остальные, красная шлюха?! Отвечай!

— Я одна, — отвечала девушка. — И можете так не орать, у меня хороший слух.

Вихрь сжался, и плечи его вздрагивали от пощечин, которые он явственно слышал.

— Эх вы, европеец, — сказала Аня. — Неужели у вас принято бить женщин?

— Ты — паршивая потаскуха, а не женщина! — крикнул офицер. — Ложись на землю лицом вниз!

— Я не лягу на землю лицом вниз, — ответила Аня. — Можете стрелять в лицо.

— Прежде чем я выстрелю тебе в лицо, ты еще у меня попляшешь, курва! — сказал офицер. — Ты у меня еще так попляшешь, что ой-ой! И тебе не поможет любимая родина и дорогой товарищ Сталин!

— Мне поможет родина, — ответила Аня, — мне поможет товарищ Сталин, а вам уже ничто не поможет.

Вихрь снова зажмурился, потому что слышал, как офицер избивал девушку. Вихрь представил ее себе сейчас: такую красивую, женственную, но в то же время еще ребенка — курносую, с раскосыми громадными глазами и ямочками на щеках.

«Ну? — подумал он. — Пора выходить, что ли?»

Судьба разведчика... Ночные кабаки, танцовщицы, которые в перерыве между любовью курят, лежа на спине возле потного министра, и рассеянно спрашивают его о секретах генерального штаба; алюминиевые аэропланы и трансатлантические перелеты для переговоров за коктейлем с финансовыми магнатами; конспиративные явки в таинственных коттеджах с двойными стенами; лихие похищения чужих офицеров; толстые пачки новеньких банкнот в шершавых портмоне; любовь острогрудых, флегматичных блондинок; трескотня жестких от крахмала манишек на раутах и дипломатических приемах; легкая — за чашкой кофе — вербовка послов и министров... Боже ты мой, как же все это смешно, если б не было глупо и — в этой своей глупости — безжалостно по отношению к людям этой профессии.

А вот лежать и слушать, как бьют девочку и заставляют ее ложиться на землю, а ты затаился в сене, и тебя раздирает долг и сердце, разум и порыв — тогда как? А если приходится шутить с человеком, смотреть ему в глаза, угощать обедом, но знать, что сейчас, после этого обеда, когда вы вместе пойдете по ночной улице, ты должен будешь этого твоего доброго знакомого убить как врага? А ты бывал у него в доме, и знал его детей, и видел, как он играл с годовалой дочкой, — как тогда? А если ты должен спать с женщиной, разыгрывая любовь

к ней, а в сердце у тебя другая, та, единственная? Тогда как? А если можно сказать на допросе только одно-единственное «да», а отвечать нужно «нет», а за этим «нет» встает камера пыток, отчаяние, ужас и безысходность, а потом длинный коридор, холод, плиты, в последний раз небо, в последний раз снег, в последний раз взгляд, в последний раз люди, которые в самый последний миг станут вдруг дорогими-дорогими, потому что они — последние люди, которых ты сможешь видеть на земле? Тогда как?!

Где-то рядом заурчал автомобильный мотор. Скрипнули тормоза, хлопнула дверь, и Вихрь услышал немецкую речь:

— Перестаньте, болван вы этакий! Что это за скотство — бить женщину!

Потом этот же человек мягко произнес:

— Я приношу вам извинения за это безобразие, девушка. Пожалуйста, садитесь в машину.

Ане перевели слова немца. Он дождался, пока ей это перевели, и обратился к своему подчиненному:

— Мне совестно за вас, обер-лейтенант. У вас стиль мясника, а не офицера германской армии.

— На русском фронте погиб мой брат, — тихо ответил обер-лейтенант.

— Война — не игра в серсо! На войне убивают.

После первого дня допросов Берг понял: с этой девицей ни о чем не договориться, если следовать обычным канонам вопросов и ответов. Она будет врать, а если ее уличить — замолчит. Берг решил идти другим путем — пробный шар он подпустил при ее аресте. Когда отчитывают в присутствии арестованного того, кто его брал и бил, — это неплохой аванс для дальнейшей работы. Берг решил поиграть с русской: он решил завербоваться к ней, а уж потом через нее выйти на остальных участников группы, заброшенной в тыл. Решив партию так, он вызвал Аню на допрос ночью, когда все остальные сотрудники военной разведки разошлись по квартирам и во всем здании осталось только пять человек: четыре охранника и полковник.

Берг усадил Аню в кресло, включил плитку и поставил чайник. Потом он сел напротив нее — близко, так, что их колени соприкасались, и начал улыбчиво и грустно рассматривать девушку. Весь день он вел допрос через переводчика, никак не выдав свое знание русского языка.

Это был тоже ход. Берг рассчитывал на этот ход. Он тихо сказал:

— Вот такие пироги, золото мое...

Сказал он это с таким милым волжским оканьем, что Аня отпрянула к спинке кресла.

«Яростной убежденности большевиков глупо противопоставлять гестаповский фанатизм. Коса найдет на камень, — думал Берг, рассчитывая все ходы будущей операции после первых восьми часов допроса. — Надо искать иные пути. Косе надо подставлять траву. Но она, эта подставляемая трава, должна оказаться такой густой, что коса в ней сначала затупится, а потом запутается. И направить косу нельзя — точильного камня поблизости нет».

— Только тихонько говори, — перешел на шепот Берг, — здесь даже стены имеют уши.

Он отошел к шкафу, открыл дверцы, выдвинул большой американский автоматический проигрыватель «Колумбия», поставил несколько пластинок и включил музыку. Он слушал танго, закрыв глаза и покачивая в такт головой.

— Слушай, — сказал он, медленно подняв тяжелые веки, — слушай меня внимательно. Я не хочу знать ни твоего настоящего имени, ни кто ты, ни с кем связана. Я постараюсь тебе помочь, но не ценой предательства, а иной ценой. Не понимаешь?

Все это было так неожиданно, что Аня, покачав головой, также шепотом ответила:

— Не понимаю.

— Я хочу, чтобы ты мне ответила только на один вопрос, — сказал Берг очень медленно, — ты считаешь, что все немцы с Гитлером или нет?

— Нет, — ответила Аня, — не все.

— Как ты думаешь, может под погонами полковника скрываться человек, не симпатизирующий фашизму?

— Такие люди сдаются в плен.

— Верно. В плен могут сдаться люди, которые находятся на переднем крае. А что делать человеку — я не о себе говорю, не думай, у нас ведь идет отвлеченный разговор, — так вот, что делать человеку, который не имеет возможности сдаться в плен?

— Гитлера застрелить — вот что.

— Ну, хорошо... Я этого твоего ответа вообще не слышал. Я повторяю свой вопрос: как такому человеку доказать свою антипатию фашизму?

— Чего вы от меня хотите? — спросила Аня.

— *Ничего, — сказал Берг. — Сейчас будем пить* чай — всего лишь. Ты любишь как — покрепче или слабенький?

— *Покрепче.*

— *Зря. От крепкого чая портится цвет лица.*

— *У меня уж и так испортился цвет лица, — сказала* Аня и пощупала синяк под глазом.

— Пойми его. У этого офицера на фронте погиб брат, молоденький мальчик.

— Про молоденького он не говорил. Он сказал — просто брат.

«Барышня знает немецкий», — отметил для себя Берг, но вида не подал.

— Ну, все равно брат. Родной ведь человек.

— Не мы все это начали.

— Тоже верно. Я не оправдываю его, просто я пытался тебе объяснить, почему он был несдержан.

— Может, вы скажете, что у вас не пытают?

— У нас — нет. У нас расстреливают. Пытают в гестапо, а я — не гестапо, я армейская разведка. Абвер. Вернее, бывший абвер. Слыхала?

— Нет. Не слыхала.

— Ну, это не важно, — улыбнулся Берг и посмотрел в глаза девушке, — я не ловлю тебя, не думай.

— А я и не думаю.

— Сколько тебе сахару класть?

— Чем больше — тем лучше.

— Четыре. Достаточно?

— Можно и пять.

— Ну, пожалуйста. Давай положим пять. Сам я пью вприкуску.

— Откуда вы так хорошо знаете русский?

— Я не могу тебе ответить.

— Почему?

— Потому, что это — моя тайна, а если ее узнаешь ты, это перестанет быть тайной. Вас виссен цвай, виссен дас швайн.

Аня промолчала.

— Поняла? — спросил Берг.

— Нет, не поняла.

— А что же не спрашиваешь?

— Сами скажете, если надо.

— Верно. Это значит: что знают двое, то знает и свинья.

— Горячий чай-то... Не притронешься.

— А ты не торопись. У нас есть время.

— Сейчас сколько?

— Двенадцать.

— Вы меня долго продержите?

— Сколько захочешь. Я приказал дать тебе одеяло в камеру.

— Мне дали. Спасибо.

— Господи, не за что...

— Так я не пойму — чего вы от меня хотите?

— Ровным счетом ничего, — мягко улыбнулся Берг. — Я хочу пофантазировать. Представь себе: русской разведчице — не тебе, не тебе, а какой-то другой, тебе незнакомой — дают возможность бежать. Так? И даже помогают ей перейти линию фронта. Или наладить радиосвязь отсюда. Только с одним условием: чтобы она сказала в разведотделе или в генштабе, что, мол, в одной из германских армейских группировок, одной из самых сильных, скажем, группировок, есть человек, который хотел бы войти в контакт с русской разведкой. Как ты думаешь, пойдут на это большевики?

— Откуда я знаю...

— Ты не знаешь, понятное дело... Я ведь не о тебе говорю, я просто фантазирую. Позволь и себе пофантазировать. Как ты думаешь, пойдут на контакты с таким человеком или нет?

— Из немецких тюрем побег невозможен.

— Конечно, невозможен, если ты попала в гестапо. Но ты попала в руки армейской секретной службы. Из гестапо никто не убегает. Оттуда устраивают побеги для перевербованных агентов — только лишь. Вот недавно такой побег гестапо устроило одному перевербованному агенту прямо с краковского рынка.

Берг мельком глянул на девушку: он хотел видеть ее реакцию. Если она связана с тем бежавшим от гестапо русским, она не может не прореагировать. Но лицо ее осталось спокойным, никак не напряглось, и руки тоже спокойно лежали на коленях.

«Значит, она не связана с тем человеком, — решил Берг, — видимо, это другая группа. Через нее я все выясню о Мухе. По его описаниям, это, конечно, она».

(Конечно, если б Вихрь сказал Ане про свой арест, она бы дрогнула. Когда человек арестован, он перестает бояться за себя — он боится за друзей. Но Вихрь ничего никому не сказал, потому что отдавал себе отчет: скажи

он, и все его подчиненные шарахнутся от него как от возможного агента гестапо — просто так из гестапо не уйдешь. Он решил открыться потом, когда задание будет выполнено.

Так сложное взаимосплетение случайностей спасло Аню — а этих взаимосплетений случайностей окажется в ближайшие дни столько и значение их будет так велико, что существенным образом перекорежит судьбы многих людей, в той или иной степени связанных с операцией «Вихрь».)

— А где гарантия, что русская разведчица не получит пулю в спину? — спросила Аня.

— Ну, это уже смешно, — ответил Берг, прихлебывая чай. — Первая гарантия — возможность пустить ей пулю в лоб, а не в спину. Как русскому шпиону — здесь, в тюрьме, даже без суда.

— Что, многие у вас поняли — крышка? Да?

— Я же не задаю тебе прямых вопросов, золото мое. Я же с тобой фантазирую, а ты требуешь ответов, которые могут стоить мне головы.

— Ладно, — сказала Аня, допив чай. — Я согласна попробовать.

Берг тоже допил чай, аккуратно поставил чашку на тоненькое блюдечко саксонского фарфора и сказал:

— А где гарантия, что я не буду тобой продан, если побег по каким-либо причинам не состоится?

— Вы не будете от меня ничего требовать — здесь, заранее?

— Буду.

— Чего же именно?

— Твоего согласия поехать в наш радиоцентр и передать своим, в штаб, несколько дезинформаций.

— Не получится.

— Погоди. Не горячись. Ты передашь две-три дезы, а потом я тебе устрою побег и ты сможешь связаться со своими людьми и передать в Москву, что такие-то и такие-то сведения не что иное, как дезинформация. Во-вторых, после того как ты это передашь своим, они смогут начать игру против нас, «поверив» нам, а на самом деле они будут знать всю правду. Это выгоднее Москве, чем Берлину, уж послушай меня, я в разведке не первый год.

— Зачем нужен такой трудный путь для побега?

— Затем, что оттуда можно бежать. Радиоцентр — не тюрьма.

— Я должна подумать.
— Думай.
— Нет, не здесь.
— Ты хочешь вернуться в камеру?
— Да.
— Ладно. На, поешь, — сказал Берг, достав консервы, — мажь на хлеб, это свинина.
— Спасибо.
— Теперь вот что: при допросах я, возможно, буду на тебя кричать и топать ногами. Это необходимо, понимаешь? Так что не обижайся.
— А почему бы вам не бежать вместе со мной?
— Чтобы быть у вас расстрелянным? Не хочу.
— Я даю вам гарантию.
— Душечка ты моя, — улыбнулся Берг, — гарантии могу дать только один я — себе самому. Для этого мне надо передать здесь твоим людям такие сведения, которые покажут вашему начальству, что я собой представляю. Мне нужен связник, который будет сразу связываться с вашим Центром.
— А почему вы решили говорить обо всем этом со мной?
— Ты думаешь, мы каждый день ловим русских разведчиков? И потом — ты идеальный случай, ты радистка, я могу забрать тебя на радиоцентр, понимаешь? Отсюда я тебе побега устроить не смогу ни при каких обстоятельствах.
— Я хочу подумать, — повторила Аня.

В камере она упала лицом на нары и завыла, как от боли.

«Дура, дура, набитая дура! — думала она. — Ничего не знаю, ничего не понимаю! Дура! Мамочка, как мне быть-то, мамочка?!»

И — заплакала, как от злой обиды в детстве.

ВСЕ ПЛОХО

Карл Аппель уехал с офицерами куда-то в сторону Закопане. Поэтому Вихрь и Коля решили остаться ночевать у Степана: дом Крыси был надежен — в здешнем гарнизоне все знали, что хозяйка любит солдата вермахта.

Крыся поставила на стол большой чайник и творога, а сама ушла спать.

— Вот так! — сказал Вихрь. — Вот так, братцы...

— Погубят девку, — сказал Коля. — Хороший она человек.

— Не сломится? — спросил Степан.

— Нет, не сломится, — ответил Вихрь.

— Не сломится, — повторил Коля.

— Мы теперь без связи, — сказал Вихрь, — дело — швах. Думаю, не пришлось бы идти к своим — за рацией. Правда, Седой обещал подумать, может, будем передавать через партизан.

— Армия Людова?

— Да. Хлопски батальоны. По-моему, у него есть связь. Но об этом будем думать. Пока вот что... Последняя фраза от Бородина была такая: «...быть в костеле, а потом в отеле «Французском». Именно там был в эти дни фон Штирлиц...

— Ну? — спросил Коля.

Вихрь долго молчал, а после сказал, не глядя на Богданова:

— Степан, ты б пошел в сени, — может, кто слушает нас.

Богданов усмехнулся и вышел.

— Ты что, не веришь ему? — спросил Коля.

— Почему не верю... Верю... Если б не верил — не пришел бы. Просто сейчас надо вдвоем подумать — что это значит.

— Ты как считаешь?

— Я только начну об этом думать — сразу на Анюте замыкаюсь. Я у нее последнюю неделю жил, у Войтеха, пасечника. Она, знаешь, как песенка — легкая такая, веселая, нежная. Утром встанет — глазищи громадные припухли со сна, ямочка на щеке, как у младенца... Мужика можно пытать болью, это, конечно, страшно, но, как все, связанное с телом, можно перенести. А вот девушку могуть замучить позором. Меня иногда ужас берет: живут на земле люди — все по одному образу и подобию созданы, и недолго в общем-то живут, а поди ж ты — тюрем понастроили, пытать выучились, стреляют друг в друга, детишек делают несчастными... Какую ж еще им правду надо всем рассказать, чтоб наступило братство под этим небом?

— Сначала надо повесить Гитлера.

— Понимаешь, каждая новая жертва сама по себе делает еще большее количество людей обреченными: пепел Клааса стучит в сердце.

— Ты что это, милый? Против того, чтобы вешать Гитлера?

— С ума сошел! Я не об этом. Да и потом, Гитлер, по-моему, не вправе считаться человеком. Человек может ошибаться, делать глупости, может стать невольным виновником несчастий, но человек — двуногое позвоночное, получившее в дар возможность осознанно рассуждать и проводить в жизнь задуманное, — не имеет права обосновывать физическое уничтожение себе подобных только тем, что у них окающий язык, горбатый нос или страсть к таборной жизни. Гитлер — это патология. Войну мы уже выиграли. Как дальше будет жить мир — вот о чем я. Знаешь, я отношусь к той категории людей, для которых все наши жертвы — это не повод слезливо вспоминать прошлое, а встряхивающий шок, заставляющий думать — как будет дальше, как будет в том мире, ради которого наша Анюта сейчас обречена на мучения.

— Что-то тебя в минор потянуло, Вихрь?

— Говорят, страдания делают человека черствым... Не знаю... Наверное, это не совсем так. Страдание калечит психику. Я в сорок втором, в Кривом Роге, расстрелял одного предателя... Он был у гестаповцев агентом. В газетенке пописывал. Вильна Украйна, проклятые москали, жидивска коммуна... Словом, все как полагается, большой джентльменский набор. Одно б дело — просто пописывал, а то играл в националиста-антигитлеровца. Несколько наших клюнули, ну и погибли в тюрьме. Я к нему пришел, а он — молоденький паренек, красивый, вокруг жена воркует, ласковая, добрая... А он назначил свидание трем мальчишкам-студентам из патриотической группы: они у нас на сводках Совинформбюро сидели. Значит, не убей я его сейчас, завтра трое наших пареньков будут висеть в камере пыток. И знаешь, что страшно: я даже про тех, кого он уже продал, тогда не думал. Я думал о тех, кого он продаст завтра, а видел его жену... Когда мы с ним вышли, он на колени упал, мычит и все повторяет: «Лёлечка у меня, Лёлечка сиротой останется, пощадите ради Лёлечки, я вам отслужу... Лёлечка не виновата, что у нее муж слабым оказался...» Я потом три ночи не спал.

— Ты ее любишь, — тихо сказал Коля, — я понял тебя, Вихрь.

— У тебя нет детей, тебе этого не понять. Ладно. Давай будем думать про Штирлица. Люди Седого подтвердили, что он — большая фигура.

— Эсэсовца, видимо, надо либо угробить, либо выкрасть. Таких нельзя пропускать.

— Видимо. Но это большая разница: выкрасть или ликвидировать. Ты «Французскую» гостиницу хорошо знаешь?

— Знаю.

— Туда имеют право входа цивильные?

— Я пройду.

— Не хвались, едучи на рать...

— Я пройду, — упрямо повторил Коля. — Для такого дела пройду.

— Тогда посмотри за ним денек. Теперь дальше. Седой работает по связи с тюрьмой.

— Нужны деньги?

— Да. Возможно, понадобятся.

— Достанем.

— Стоп. Я поэтому и хотел поговорить с глазу на глаз. Ты держишь нити интенданта Курта и боевой группы плюс часть связей Седого. Если ты загремишь — мы провалим всю операцию. На экспроприацию, если она вообще будет нужна, должен пойти Богданов.

— Один?

— Зачем один... Ты подключишь к нему троих из твоей лесной боевой группы. Причем брать надо либо банк, либо магазин. Если мы пойдем на экспроприацию какого-нибудь склада или аптеки — можем засветиться на реализации. Что нового от интенданта?

— Он передал скучные данные — никаких сенсаций. Его, кстати, в Прагу переводят...

— Когда?

— Точно не знаю.

— Ничего. Он нам еще здесь пригодится.

— Звать Степана?

— Да.

Коля вышел в сени. Степан сидел под дверью, напряженно прислушиваясь к тревожной ночной тишине. Изредка завоет собака, станет от этого жутко и тоскливо, а потом снова тишина, особая тишина оккупации, когда каждая минута несет с собой ожидание выстрела, вопля, гибели.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ СЛУЧАЙНОСТЕЙ

У Седого в Варшаве до войны жил брат — известный в городе психиатр. У брата была дочь Мария. Когда

отец погиб в тридцать девятом, она перебралась в Краков. Сначала она жила в доме у Седого, а когда он перешел на нелегальное положение, сняла себе комнату — от покойного отца осталась коллекция золотых монет и несколько подлинных средневековых гравюр, на это можно было жить. Некоторое время Мария работала в университете, но когда университет гитлеровцы закрыли — по их планам, в Польше должны были быть только начальные школы, — она стала работать переводчицей на железнодорожном узле. Здесь она познакомилась с Игнацием Домбровским, инженером. Сестра Игнация Домбровского Ирена была невозможно мила, по улице ей ходить трудно: все оглядывались, особенно немцы. Именно так, на улице, когда она возвращалась с работы (выучилась на медицинскую сестру), с ней познакомился Вацлав Шмит — по матери словак, по отцу немец, по должности помощник начальника тюрьмы.

Он ходил за Ireной два года — краснел, вздыхал, сох. Тетушка Шмита жила в Лозанне, там у нее был обувной магазин. Чтобы достать документы на выезд к тетушке — и ну вас, немцев, к черту с вашей тюрьмой, — ему нужно было тридцать тысяч марок.

— Здесь — нет, — сказала ему Ирена, — среди этого вашего скотства может быть все, но не может быть любви. Здесь мы никогда не будем вместе. Увези меня в Швейцарию, где не стреляют и где озера в горах, — я стану тебе женой.

— Я тебя увезу, а ты меня там бросишь.

— Поляки могут делать все, что угодно, — ответила Ирена, — только они не умеют нарушать данного слова.

— А деньги? Откуда я возьму столько денег?

После ареста Ани Седой пошел по всем своим связям: любыми путями ему нужно было выйти к тюрьме. Два дня прошли впустую. Утром, когда он встретился с племянницей, та сказала:

— Знаешь, ничего нельзя обещать наверняка, но встречу я тебе устрою. Насколько мне известно, человеку из тюрьмы, некоему Шмиту, для счастья с Ireной нужны деньги. Может быть, тебе поговорить с ним?

...Когда Шмит и Седой остались в комнате одни, Седой сказал:

— Я знаю вашу историю. Помогите мне, я помогу вам.

— Кто вы?

— Моя история похожа в некоторой степени на вашу. Я люблю женщину, женщина эта сидит в вашей тюрьме. Мне нужно, чтобы эта женщина была со мной, мы уедем в горы — там мои родители, а вы уедете в Швейцарию — там ваша тетушка.

— Как зовут женщину, которую вы любите?

Седой закурил, пустил к потолку дым, прищурился и ответил:

— Ее зовут русская радистка.

— Вы с ума сошли...

— Я не сошел с ума.

— Это невозможно.

— Отчего?

— Оттого, что мне дорога жизнь.

— Вы будете чисты.

— Каким образом?

— Сначала мне нужно ваше принципиальное согласие.

— Это невозможно...

— Хорошо. Допустим, вам поступает приказ — передать мою женщину для допроса ночью, когда вы дежурите. Бумага остается у вас, а вам следует только выполнить приказ.

— Это невозможно...

— Вы меня не так поняли. Я знаю, вам нужны деньги, чтобы уехать с Ireной в Швейцарию. Разве нет?

— Допустим.

— Я даю вам эти деньги. Я даю вам тридцать тысяч. Вы мне даете мою женщину.

— Нет... Это невозможно...

В комнату вошла Ирена — глазищи зеленые, длинные волосы на плечах, талия осиная. Она остановилась возле двери и сказала:

— Да, Вацлав. Не «нет», но «да».

Шмита прижало к стулу, лицо его засветилось, пальцами захрустел.

«Несчастный парень, — подумал Седой, — ни черта не соображает, весь под ней».

— Да, — повторил Шмит. — Но мне ваш план не до конца понятен...

— Это уже другой разговор, — ответил Седой. — Валяйте-ка рисуйте план тюрьмы и опишите всех поляков, которые работают в тюремной обслуге. И график ваших дежурств. Я составлю точный план.

— Хорошо, — ответил Шмит. — Вы боретесь за свою любовь. Я буду драться за свою. Пятнадцать тысяч вы мне должны передать, когда я составлю тот график, который вы просите. Пятнадцать — в тот час, когда передам вам русскую. Ее номер 622.

— Курносая, с ямочками на щеках, да?

— Да. С ямочками. Радистка.

— Вас никто не собирается обманывать, Шмит.

— Я тоже не собираюсь обманывать...

Ирена, стоявшая в дверях, сказала:

— Он прав, пан, он прав. Вы боретесь за свою судьбу, он за свою. Здесь я обязана молчать, иначе он не будет мужчиной.

Весь следующий день Вихрь провел с Седым и Юзефом Тромпчинским. Они медленно ездили по краковским улицам в разбитом, стареньком «вандерере» адвоката.

— Вот, — сказал Юзеф, — хозяин этого магазина Игнаци Ериховский. Сволочь, целует нацистам задницу. Портрет Гитлера выставил, каков, а?

— Ну и что? Хозяин моей новой явки тоже держит в комнате портрет Гитлера, — сказал Седой. — Кричать на каждом углу «я ненавижу Гитлера» — проявление ненормальности. Лучше кричи, что ты его обожаешь, но проткни шилом два баллона в их машине — и то больше пользы.

— На твоей новой явке радиопередатчик можно будет установить? — спросил Вихрь.

— Можно. Только нет смысла.

— Почему?

— Засекут. Недалеко шоссе.

— Глупость. Мы с Аней сидели в лесу, и там нас засекли очень даже просто. Один дом — они нас и окружили. А если б было с десяток домов — хотя бы с десяток, — неизвестно, чем бы все кончилось.

— Кончилось бы тем, что все десять домов были взорваны, жители расстреляны, а ты сидел бы в гестапо вместе с Анной, — сказал Тромпчинский. — Вихрь, глядите, во-он тот подъезд видите?

— Да.

— Это подвальчик. Там кабаре и проститутки. Я там был ночью: выручка громадная. Хозяин сидит за перегородкой, у него сейф. По-моему, плюс ко всему он спекулирует медикаментами. С гестапо связан уже два года...

Он доносит гестаповцам, его весь город ненавидит, этого гитлеровского холуя. Фашист и спекулянт.

— Ночью опасно, — сказал Вихрь. — Задержат патрули.

— Да, — согласился Седой, — ночью мы будем, как голые.

— Стоп, — сказал Вихрь, — а если на немецкой машине? Юзеф, ты мог бы принять участие в этом деле?

— Меня знает хозяин. Меня вообще многие знают в городе.

— Я могу, — сказал Седой, — если очень надо, пойду я.

— Понимаешь, если пойдет один Степан с нашими ребятами, они сразу засветятся, хотя документы Коля им достал через своего интенданта.

— Да, — сказал Седой, — ваших даже в смокинге за версту определишь. Держаться совсем не умеют.

— Здесь банк? — спросил Вихрь.

— Да.

— Идеальнее ничего не придумаешь.

— Расстреляют всех служащих, — сказал Седой, — за пособничество бандитам.

— Ну что? — спросил Вихрь. — Остановимся на кабаре?

— Я — «за» — сказал Тромпчинский.

— «За», — сказал Седой.

На следующий день трое сбежавших из лагеря военнопленных, включенные в боевую группу Коли, пришли на явку Степана. Часов в двенадцать в окно постучали условленным стуком: раз-раз, пауза, раз, пауза, раз-раз-раз. Это были Вихрь и Седой.

— Новиков Игорь, — представился первый.

— Муравьев Владислав.

— Николаев Евгений.

— Садитесь, товарищи, — предложил Вихрь. — Будем беседовать.

В полночь Коля вынес костюмы: ребята переоделись. Седой скептически покачал головой.

— Новиков еще, может, подойдет, — сказал он Вихрю, когда они вышли в другую комнату, — а остальные нет. У них глаза с яростью, их засекут. Там играть придется, там надо часами дожидаться минуты. Они себя засветят. Ребят надо держать для диверсий, а эта штука с эксом не для них.

— Ну что ж... — задумчиво сказал Вихрь, — видимо,

ты прав. Пойдем втроем. Ты, Степан и я. Удирать будем на машине Аппеля. У него ночной пропуск.

— Этих ребят я сегодня отведу обратно в лес, а оттуда их перебросим к нашим партизанам, так будет разумно. «Соколы» — большой отряд, я с ним на связи, — сказал Седой.

— Хорошо. Экс отнесем на завтра.

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Берг не любил свой почерк. Он понимал, что его каллиграфический почерк, точные нажимы и неимоверно изящные соединения свидетельствовали о несгибаемом канцеляризме его обладателя. Поначалу Берг гордился и своей феноменальной памятью, и каллиграфическим почерком. Он возненавидел свой почерк, когда до него дошел отзыв Канариса. Он пробовал изменить почерк, но из этой затеи ничего не вышло: почерк вроде дефекта речи — рожден заикой, ну, стало быть, заикой и помрешь. Реванш Берг брал в другом: развелся с женой и пустился во все тяжкие. Как это ни странно, но расчет его оказался точным, и по прошествии года о нем стали говорить не как о канцеляристе, но как об удачливом донжуане, рубахе-парне, незаменимом в компании мужчин человеке, если захотелось после дружеской попойки где-нибудь повеселиться — у Берга всегда были наготове телефоны верных подруг.

Но фюрер уволил Канариса в почетную отставку — адмиралу было поручено руководить экономической войной; абвер слили с ведомством Кальтенбруннера, а управление кадров в ведомстве Кальтенбруннера выражало недоверие людям морально не стойким. Останься Берг тем памятливым каллиграфом, каким он был, — наверняка судьба вознесла б его в аппарате Кальтенбруннера. Он делал ставку на вкусы Канариса, но пришел Кальтенбруннер — и Берг оказался в Кракове, всего лишь в должности офицера 1-С (офицера фронтовой разведки) группы армий «А».

Поэтому сейчас каждый свой шаг он перестраховывал с такой тщательностью, которая в случае новых непредвиденных случайностей гарантировала бы его, во всяком случае, от окончательного разжалования.

Разработку русской радистки он вел осторожно и неторопливо; после пяти бесед с Аней почувствовал, что скованность девушки прошла; со дня на день он ждал,

что она примет его предложение и тогда он получит в руки связь, а по связи уж куда легче идти на внедрение в подполье.

После каждой беседы Берг исписывал гору бумаги, восстанавливая каждое слово русской радистки со скрупулезной точностью, — это был его оправдательный документ. Более того, когда Берг почувствовал, что девушка вот-вот «дозреет», он связался с шефом краковского гестапо. Крюгер приехал к нему вечером, и они вдвоем просидели над материалами, приобщенными Бергом к делу, условно названному «Елочка». Шеф гестапо одобрил проведенную работу, и Берг сразу же попросил шефа позвонить руководителю отдела А-2, с тем чтобы в дальнейших контактах, если они появятся, руководство отдела А-2 оказывало помощь Бергу в разработке этой перспективной операции.

Шеф гестапо спросил Берга:

— Послушайте, а не слишком ли жирная фигура для вербовки к красным полковник Берг?

— Приятно слышать, — улыбнулся Берг, — что меня считают жирной фигурой.

Крюгер ответил:

— Ну, поймите меня правильно.

— Я понимаю вас верно, — ответил Берг, — я использую возможность шутить в разговоре с человеком, понимающим юмор. Увы, это редкое качество... Мне кажется, что, если им предложу свои услуги я и в случае если они это наше предложение примут, тогда мы войдем в контакты с более высоким уровнем заинтересованностей красных, чем ежели бы свои услуги им предложил унтерофицер. По тому кругу интересов и по тем вопросам, которые они могут поставить передо мной, мы поймем их дальние планы, а не местные интересы — полка или в лучшем случае дивизии, противостоящей нашей обороне на том или ином участке фронта.

Шеф сидел задумчиво, поигрывал пригоршней карандашей, кусал верхнюю губу и щурил левый глаз.

Берг нажал:

— Если эта наша операция пройдет успешно, думаю, Кальтенбруннер останется в высшей степени доволен нами.

Это было приглашением к танцу: Берг дал аванс на обоюдную славу.

Крюгер положил карандаши на стол и снял трубку телефона.

— Отто, — сказал он руководителю отдела А-2, — мы с Бергом задумали интересную работу. Поднимись к нам, пожалуйста, мы обговорим детали.

«Около десяти часов, — записывал Берг, — мы сели ужинать. Радистка учила меня, как надо заваривать чай. Она утверждала, что его нельзя кипятить на плитке, а надо держать укрытым теплой тряпкой.

Я. Почему вы так думаете?

О н а. Так делала мама. У нас в Сибири умели заваривать чай, нигде так не могут чаевничать, как у нас.

Я. А кофе вы любите?

О н а. Не очень. Оно горькое.

Я. Надо говорить «он».

О н а. Это не по правилам грамматики.

Я. Придется поставить вам двойку по русскому устному. Я готов доказать со словарями и учебниками мою правоту.

О н а. Сдаюсь.

Я. Памятуя формулу Максима Горького: «Если враг не сдается, его уничтожают», я бы загнал вас в угол.

О н а. Я много думала над нашими разговорами.

Я. Ну и?

О н а. Я не могу поверить вам. Мы однажды поверили вашему честному слову.

Я. Кто это мы?

О н а. Мы — СССР.

Я. Чьему слову вы поверили?

О н а. Мы поверили честному слову немцев в тридцать девятом году».

(Кое-что Берг записывать не стал, потому что разговор был следующего содержания:

Б е р г. Немцев ли?

А н я. Кого же еще...

Б е р г. Если мне не изменяет память, в одном из ваших партийных документов, конкретно в докладе Сталина, было сказано: Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается... Не надо путать одного человека и весь народ.)

Всю дальнейшую часть беседы Берг воспроизвел полностью:

«О н а. Если бы вы отправили сейчас весточку моему командованию...

Я. Каким образом? Написать на конверте: «Москва, Кремль» и опустить в ящик?

О н а. Вы — разведчик, вы и придумывайте, как переправить.

Я. Ну хорошо, допустим, я отправил с одним из ваших пленных. Какой смысл?

О н а. Этого будет достаточно для моего согласия.

Я. Наоборот. Вам не поверят.

О н а. Почему?

Я. Потому, что это немыслимое дело, чтобы полковник немецкой разведки отправлял через линию фронта письмо с предложением сотрудничать.

О н а. Есть возможность связаться с командованием и не переправляясь через линию фронта. Зачем же исключать такую возможность?

Я. Ну что ж... Интересно... Хотя очень опасно. Если вы провалитесь здесь — вы или ваши здешние руководители, — тогда, скорее всего, вы попадете в руки гестапо. И там вас выпотрошат: гестапо — это отнюдь не армейская разведка.

О н а. Вы ошибаетесь. Здесь я могу дать вам любую гарантию.

Я. На будущее: старайтесь быть аналитиком. Подчиняйте эмоции разуму. Все не так просто, как вам сейчас представляется. Все значительно сложнее.

О н а. Вы правы. Но только чрезмерное усложнение так же опасно, как и упрощение. И не столько опасно, сколько смешно.

Я. Я готов встретиться с вашим человеком и передать ему весточку от вас. Могу передать ему — в порядке аванса — интересующие вас документы и принести от этого вашего человека сообщение: передал я документы или нет.

О н а. Какие документы вы можете передать?

Я. Пожалуйста, на выбор: дислокация частей гарнизона, планы перемещения войск.

О н а. Это может быть дезинформацией с вашей стороны.

Я. Конечно. Все может быть. Все может быть, если никому не верить. В общем, видимо, наш разговор следует считать несостоявшимся. Я спасу вам жизнь, я отправлю вас в лагерь. Но давайте больше к моему предложению не возвращаться.

О н а. Почему же... Я, между прочим, могу сообщить вашему начальству о ваших предложениях.

Я. Это нецелесообразно по трем причинам: во-первых, вам не поверят, во-вторых, это будет стоить вам жизни,

и, в-третьих, я уже никогда не смогу попробовать помочь вам в вашей борьбе.

О н а. О том, чтобы вы связались с нашими людьми здесь, не может быть речи: они ушли со своих явок, и я не знаю, где они могут быть.

Я. Вы хотите, чтобы я перебросил вас через линию фронта?

О н а. Конечно.

Я. Значит, вы согласны поехать на радиоцентр?

О н а. Сначала я хочу посмотреть, какую дезинформацию мне придется передавать нашим.

Я. Хорошо. Завтра вы увидите эти материалы. Я могу сообщить радистам, что вы дали принципиальное согласие?

О н а. Сначала дайте мне просмотреть материалы и объясните, какую цель они преследуют.

Я. Хорошо. Завтра утром я вызываю вас на очередной допрос.

О н а. До свидания.

Я. Спокойной ночи».

Назавтра Берг проинформировал шефа гестапо, что русская радистка приняла его предложения, и сразу же связался с оперативным отделом штаба армейской группировки «Висла» с просьбой подготовить серию серьезных дезинформаций стратегического значения.

ИСТИННАЯ ПРИЧИНА

17 октября 1939 года сотрудник английского посольства в Осло достал корреспонденцию из большого синего почтового ящика, укрепленного на стене возле ворот. Разбирая корреспонденцию, он обратил внимание на белый самодельный конверт. Адрес был отстукан по-немецки. Имени отправителя, почтового штемпеля, марки или сургучной печати не было. Сотрудник посольства вскрыл конверт. Так как немецкого языка он не знал, то ограничился просмотром нескольких страниц, испещренных цифрами, чертежами и короткими аннотациями к ним. Сотрудник посольства отправился к военно-морскому атташе Великобритании контр-адмиралу Гектору Бойзу. Тот вызвал своего переводчика, и они вдвоем засели за изучение документа. А когда документ был переведен, на аэродром ринулся звероподобный «роллс-ройс» под посольским штандартом. А на аэродроме с запущенными

моторами уже стоял специальный самолет. Вечером этого же дня документ был вручен шефу английской разведки. На следующий день изучение документа из Осло было поручено советнику Черчилля по военной технике, профессору Абердинского университета в области баллистики и астрономии сэру Реджинальду Виктору Джонсу. Впоследствии к изучению этого документа подключился профессор сэр Артур У. М. Эллис.

Документ сообщал, что в Пенемюнде, на берегу Балтийского моря, организован центр третьего рейха по созданию «V. z. b. v.» — «оружия возмездия особого назначения». Из документа явствовало, что под руководством двадцатисемилетнего ученого Вернера фон Брауна здесь, в Пенемюнде, проводятся сверхсекретные работы по созданию ракетных снарядов и баллистических ракет.

Документ из Осло был поразителен с точки зрения проникновения в святая святых рейха. Однако сведения, полученные из одного источника, не могут считаться сведениями; это может быть гениальное сумасшествие, дезинформация, домысел. Начинать немедленное действо хорошо в любви или в искусстве. В политике и разведке это может принести только вред. У разведчика, как и у политика, есть только один надежный союзник — время.

Через год после получения документа из Осло в Лондон пришло донесение от группы польского Сопротивления во главе с инженером Антони Кацьяном: на острове Узедом в районе Пенемюнде действительно работает секретная база Вернера фон Брауна, занимающаяся проблемой ракетной техники «особого назначения».

В 1943 году данные из Польши были уточнены французской подпольной группой.

Более того, через французские и польские источники стало известно, что в 1944 году гитлеровцы намерены запустить на Англию более пяти тысяч ракет со смертоносным грузом. Французские, бельгийские, голландские патриоты, а также группы английской разведки обнаружили сто тридцать восемь стартовых площадок на северном побережье Франции и Голландии.

Военная разведка Великобритании получила данные аэрофотосъемки района Пенемюнде: на взлетных бетонных дорожках стояли самолеты с поразительно короткими крыльями, казавшиеся сверху похожими на пчел; в нескольких местах просматривались тени от вертикально установленных ракет громадного размера.

Теперь двух мнений быть не могло: Пенемюнде не был

хитрым ходом, дьявольской игрой «Завлечения», устроенной гестапо или Канарисом. Это был сверхсекретный военный центр.

18 августа 1943 года на Пенемюнде был совершен внезапный налет. Остров бомбило шестьсот «летающих крепостей». На объект Вернера фон Брауна было сброшено полтора миллиона килограммов бомб. Была уничтожена половина всех лабораторий, разрушены кислородный завод и электростанция; городок для инженеров превратился в пепел.

19 августа в Пенемюнде прибыл Эрнст Кальтенбруннер с новым штатом эсэсовской охраны. Гиммлер предоставил осенью 1943 года Вернеру фон Брауну полигон Хайдлагер для испытания сверхмощных ракет V-2. Хайдлагер размещался на территории польского генерал-губернаторства, к северу от Кракова, в междуречье Вислы, Вислока и Вислоки.

Именно это и послужило истинной причиной полета в Краков Штирлица. Осмотр памятников старины был только поводом для Максима Максимовича Исаева. Чтобы получить эту командировку, ему потребовалось девять месяцев. Он и раньше слыл любителем изящных искусств, а для того чтобы лично ему, Штирлицу, поручили выполнение этого задания, пришлось несколько раз поговорить о французском ренессансе в присутствии Вальтера Шелленберга, шефа разведки СД, и в приемной у Кальтенбруннера. Разведка — сгусток памяти. Эти его беседы вспомнились тем, кому Гиммлер дал задание выяснить, что следует вывезти из Кракова, Праги и Братиславы. И выбор кандидата был определен: Штирлиц.

ТАНГО СО СЛЕЗОЙ

О, горькая тишина ночных ресторанов, обреченная нежность одинокой грусти, когда тушат на столиках свечи замотанные официантки и пьяный пианист тихонько наигрывает твои самые любимые песенки, а женщина за соседним столом кажется тебе самой красивой и единственно тебя понимающей! О, это ожидание рассвета, когда в открытые окна тихонько прокрадывается, словно наемный убийца, серый, зыбкий, тревожный утренний свет. Где все несчастья, где война, окопы, вздувшиеся серые трупы, когда ты пьешь смирновскую водку из синих рюмок, а на коленях у тебя хрустит белая салфет-

ка?! А та быстрая и отчаянная дружба, которая завязывается здесь, а те песни, которые ты орешь вместе со всеми, и тебе кажется, что никогда и нигде еще лучше не пели, чем сейчас... А то легкое счастье, когда ты возвращаешься к себе домой и глядишь на утреннее, первое, бело-синее солнце и на желтую полоску рассвета!

Но это все потом, а сейчас надо сидеть и замирать, и холодеть, и радоваться, и плакать, слушая, как пани Анна стоит на сцене в свете двух прожекторов и поет о варшавском Старом городе, где тихие улочки, дымные рассветы, где влюбленные похожи на пластилиновые фигурки в игрушечной декорации средневекового замка и где только крик — отчаянный, одинокий крик переносит вас в сегодняшнюю ночь. Но кого же зовут, на кого надеются те, кто кричит в ночи? Им не на что надеяться, им совсем не на что надеяться, им можно надеяться разве что на сонное бормотание Вислы и на то, что вокруг сейчас ночь, которая всегда с влюбленными.

В кабаре было человек тридцать: спекулянты, несколько офицеров люфтваффе с компанией пьяных молоденьких проституток в школьной форме, сделанной нарочито вульгарно: юбчонки выше колен, вырезы на шее до поддыха, а талии перетянуты широкими кушаками, чтобы подпирать посильнее неоформившуюся еще грудь.

Седой и Степан вошли в кабаре первыми. Они сели у самого входа, за первый же свободный столик: здесь было темно, а Степан очень волновался, и лицо у него было землистое, а глаза лихорадочно горели, и зрачки были громадные, Седой — тот улыбчиво оглядел зал, сел нога на ногу, небрежно, как завсегдатай, щелкнул пальцами, не глядя на официантку, принял у нее из рук карточку и рассеянно прикурил — палец не дрогнул.

Следом за ними вошел Вихрь. Под руку он вел Крысю. Он справедливо решил, что на эту операцию надо идти с женщиной — только тогда будет оправдано желание сидеть до последнего, пока в кабаре никого не останется.

Аппель долго целовал Крысю в машине, перед тем как она с Вихрем вошла в кабаре.

— Мотор выключите, — сказал Вихрь, — мы там будем долго.

— Может, мне пока что уехать?

— Не надо. Всякое может случиться. Ночью, как только Крыся выйдет, сразу заводите: через несколько минут подойдем мы.

Крыся обращала на себя внимание. Она была хороша и не затаскана, как все женщины, собиравшиеся здесь. Вихрь шел с ней через зал к перегородке, за которой сидел хозяин. Вихрь был одет в скромный костюм, может быть, даже чересчур скромный, если бы только в петлице левого лацкана не было маленького значка члена немецкой национал-социалистской рабочей партии. Волосы его были зализаны бриолином. Очки старили — они были с толстой коричневой роговой оправой, которая закрывала чуть не четверть лица.

Хозяин — в петлице пиджака значок с портретом фюрера — провел его за маленький столик возле сцены.

— Здесь слишком шумно, — сказал Вихрь по-польски. — У меня лопнут перепонки.

— Может быть, фрау любит громкий джаз? — улыбнулся хозяин.

— Это не фрау, — жестко ответил Вихрь, — это пани.

Он заметил, как у официантки, что стояла возле хозяина, сузились глаза, словно у кошки перед прыжком. Но это было мгновение — быстрое, стреляющее мгновение.

— Вон там, пожалуйста, — Вихрь указал глазами на столик возле стены: оттуда хороший обзор всего зала и закутка хозяина.

— Там дует от окна.

— Ничего. Я — закаленный человек.

Вихрь заказал белого вина и сыру. Налил вина в бокалы, положил свою руку на ледяные пальцы Крыси и сказал:

— Пани волнуется?

— Да... — ответила Крыся шепотом.

— Не надо волноваться, — так же тихо сказал Вихрь. — Давайте выпьем за тех, кто нас ждет.

Они выпили, и Вихрь попросил:

— А теперь расскажите мне все, моя маленькая польская козочка, про то, что вам хочется мне рассказать.

— Мне хочется вам рассказать, — начала Крыся повторять текст, заученный ею накануне, — про то, как глупо ошибиться в первый раз и как безнадежно преступно ошибаться вторично. Я все время боюсь ошибиться вторично.

— Пойдемте танцевать, — сказал Вихрь, — я еще ни разу не танцевал с пани.

Седой и Богданов пили молча, перебрасываясь ничего не значащими фразами. Иногда только Седой что-то рассказывал ему, и Степан начинал громко смеяться — так разработал его поведение Вихрь. Пьяный человек в ночном кабаре обязан быть громким во всем: в слове, смехе, любви — тогда это в порядке вещей. Если человек скован, он тем самым может дать повод к драке: молчаливых и тихих не очень-то жалуют в кабаках. Пьяный не любит, когда его окружают зажатые, трезвые люди, он хочет, чтоб вокруг были все так же счастливы, как и он.

К столику Вихря подошел обер-лейтенант люфтваффе, поклонился Крысе и сказал:

— Могу я просить фройляйн танцевать с солдатом?

— Пани танцует с солдатом, мой друг, — ответил Вихрь.

Обер-лейтенант секунду стоял над ними, раскачиваясь с мысков на пятки, а потом чересчур экзальтированно поклонился и отошел к своим.

Вихрь снова пошел танцевать с Крысей.

— Я очень люблю танцевать, — сказала Крыся, — и Курт любит танцевать. Мы с ним вдвоем танцуем до упаду. Он только больше всего любит вальсы, а я люблю танго со слезой.

— Что это такое — танго со слезой?

— Его часто пел по радио Феоктистов-Нимуэр.

— О чем же он пел?

— О том, что танец — всегда воспоминание о прошлом. Когда танцуешь, обязательно вспоминаешь ушедшее и ушедших, и тебе становится невыразимо грустно, как будто уже старость и ничего не осталось, кроме воспоминаний...

А потом офицеры заставили своих проституточек танцевать на сцене, и девочки неумело дрыгали ногами и кричали какое-то непотребство — голоса у них звонкие, детские.

— Бедненькие, — сказала Крыся, — за что их покарал Господь?

— Господь здесь ни при чем.

— Может быть, у них дома голодные матери и братья.

— Сейчас нет сытых матерей, Крыся, — тихо сказал Вихрь, — это не оправдание. Голодные матери — это заслон, который себе создает похоть.

— Мужчины всегда слишком строги к ошибкам женщин.

— Во-первых, они — девочки, а не женщины. А во-вторых, это даже не ошибка. Это — предательство.

Крыся вдруг вспыхнула. Вихрь снова положил руку на ее ледяные пальцы и сказал:

— Не надо принимать на себя чужие грехи.

...К четырем часам утра кабаре опустело. Остались только два пьяных посетителя. Они никак не могли подняться из-за стола, и хозяин с дюжим поваром пытались вытолкнуть их из маленького полуподвального зала.

— Иди, — шепнул Вихрь, — иди, Крыся.

Крыся глубоко вздохнула, нахмурилась и, резко поднявшись, быстро пошла через зал к выходу. Вихрь проводил ее взглядом, поднялся и достал из кармана пистолет.

— Всем сидеть тихо! — сказал он.

Хозяин с поваром обернулись. Человек, которого они пытались вытащить, бухнулся лбом об стол. У входа стоял Богданов с гранатами. Возле него был Седой.

Хозяин обмяк и опустился на пол.

...Когда они выскочили из кабаре, возле машины Аппеля стояли эсэсовцы-патрульные и молча просматривали документы шофера. Крыся прижалась к стене, расставив руки, словно распятая.

Было уже светло, хотя солнце еще не взошло.

ЯДРО ОРЕХА

Трагедия режима личной власти заключалась в том, что единственным аппаратом, фиксировавшим недовольство народа, истощенного войной, бомбежками и голодом, была организация Гиммлера и в некоторой степени военная контрразведка Канариса. Гитлер не желал видеть объективной правды, он требовал от своего окружения вообще и от Гиммлера в частности только тех данных, которые бы подтверждали его, фюрера, историческую правоту. Зная характер фюрера, Гиммлер не рисковал передавать объективную информацию о настроениях народа, он подлаживался под Гитлера и гнал ему лишь те сообщения, которые тот хотел получать. Когда однажды Канарис во время доклада в ставке осмелился объективно проанализировать положение на Восточном фронте, фюрер побелел, бросился к адмиралу, схватил

его за отвороты серого френча и, с неожиданной силой рванув на себя, закричал:

— Вы что же, хотите сказать, что я проиграл войну, негодяй вы этакий?!

Вскоре после этого Канарис был устранен. Теперь истинное положение в стране — всеобщее глухое недовольство, усталость, пессимизм, крах веры в идеалы национал-социализма, незыблемые еще три года тому назад, — знал только один человек: маленький учитель словесности, в пенсне и с красивыми маленькими руками, которые он то и дело потирал, будто мерз. Это был шеф СС Генрих Гиммлер. Как никто иной, он совершенно отчетливо понимал, что рейх катится в пропасть. Поэтому Гиммлер не только выжидал, внимательно наблюдая за всеми перипетиями генеральского антигитлеровского заговора, но и думал о том, чтобы наладить свои контакты с Западом. До тех пор, пока в число заговорщиков не вошел однорукий герой африканской битвы полковник Штауффенберг, поставивший условием переговоров контакт с коммунистическим подпольем, Гиммлер ждал. И не только ждал, но и предпринимал свои шаги, ни в коем случае не повторявшие шаги генералов. Он подтверждал — косвенно, конечно, — их деятельность, направленную на установление контактов с Западом, потому что знал: генералы в разговорах с людьми из Штатов говорили о Гиммлере как о единственной фигуре, которая может быть реальным помощником и покровителем переворота. Так, во всяком случае, Гиммлера информировал его агент доктор Лангбен, связанный с генеральской оппозицией. А Лангбену Гиммлер имел все основания доверять — агент прошел многие годы проверки, он был верным человеком. Косвенное подтверждение, аванс силе генеральской оппозиции (естественно, после того, как Гиммлер точно уяснил для себя, что именно он, а не кто другой выдвигается генералами как фигура, способная удержать Германию в повиновении после переворота и продолжать сопротивление большевизму) выдал в Стокгольме личный представитель Гиммлера доктр Керстен. Приехав в Стокгольм осенью сорок третьего года, доктор Керстен вошел в контакт с американским дипломатом, представившимся Абрахамом Хьюитом. После нескольких дней взаимного зондажа Хьюит сказал Керстену, что он согласен помогать в установлении контактов между Гиммлером и определенными лицами в Соединенных Штатах на следующих условиях:

роспуск нацистской партии и СС, проведение свободных выборов в Германии, освобождение всех оккупированных территорий, наказание военных преступников, контроль над военной промышленностью рейха.

Керстен передал все это рейхсфюреру СС. Тот запросил: каковы будут гарантии в отношении его, Гиммлера? Будут ли сохранены его права — не рейхсфюрера СС и ветерана партии, но просто человека по фамилии Гиммлер?

Хьюит выжидал, Гиммлер торопил. В Стокгольм вылетел начальник политической разведки СС Шелленберг. Он принял на себя ведение переговоров с Хьюитом. Гиммлер, получая каждый день шифровки от Шелленберга, метался по фронтам, ночами пил лекарства, чтобы уснуть; много ходил пешком — его всегда раздражала аристократическая манера Канариса каждое утро совершать верховые прогулки; перечитывал Гёте, потом вдруг выключался и сидел, глядя в одну точку, а в голове было пусто-пусто и только метались какие-то тягучие обрывки слов — чаще всего суффиксы или глагольные окончания.

В конце концов он принял все предложения американцев, кроме одного: он не соглашался с пунктом, который предусматривал суд над военными преступниками.

— Есть только одна форма преступности, — говорил он, — это уголовная преступность. Война, как утверждают наши идеологические противники, это продолжение политики иными средствами. Политика нельзя судить так же, как карать заключением проигравшего шахматиста.

Согласие Гиммлера на все эти условия подтвердило американским разведчикам состояние краха и разброда в гитлеровском партийном руководстве — во-первых, серьезность генеральской оппозиции — во-вторых, и наличие фигуры Гиммлера, который поможет осуществить переворот, — в-третьих, поскольку он принимает такие условия, которые даже «консервативный революционер» Канарис не считал возможным принять во время бесед с американскими разведчиками в Стамбуле.

Все эти переговоры с Западом велись людьми Гиммлера как «прощупывание» врага; узнай об этом фюрер — Гиммлер сумел бы его убедить, что все это не что иное, как обычная в политической разведке игра с врагом.

Но при этом Гиммлер несколько раз на встречах у Гитлера очень внимательно смотрел в глаза тем генералам, антигитлеровские беседы которых он прослушивал

в магнитофонной записи у себя в кабинете. Тот генерал, в голубые, чуть навыкате глаза которого он смотрел, мялся, краснел, бледнел, а потом вымученно улыбнулся. Гиммлер чуть кивнул головой и тоже улыбнулся. После этого Гиммлер получил сведения, что посредник Запада банкир Валленберг говорил идеологу путча Гердлеру:

— Только не трогайте Гиммлера! Он не помешает вам, если все дело направлено против Гитлера.

Все шло своим чередом до тех пор, пока отдел гестапо, занимающийся коммунистами, не вышел на связи, которые установило радикальное звено оппозиции с представителями Коммунистической партии Германии. Аресты прошли мимо Гиммлера — коммунистов хватали без санкции высокого руководства. Но беда заключалась в том, что рядовые сотрудники гестапо неожиданно вышли на связи коммунистов, которые протянулись к левым в генеральской оппозиции. Секрет, который знал Гиммлер, становился известен аппарату гестапо. Страшная сила аппарата грозила — в результате случайности — смять основателя этого аппарата, того человека, который стоял на трибунах партийных съездов возле фюрера, рукоплескал его речам, славил его в своих выступлениях и одновременно вел торг, в котором жизнью фюрера покупал свое, Гиммлера, благополучие.

Трагедия личной власти — особенно в моменты критические — сокрыта в отрицании ею эволюции, логики развития, в нежелании переосмыслить догмы, признать поражение, искать путь к победе в новых исторических условиях новыми средствами и формами. Альтернатива этому нежеланию только одна — путч. Гиммлер верил в путч как в средство, способное сохранить ему жизнь, благополучие, свободу. Он поэтому ждал. Он мог ждать до тех пор, пока аппарат гестапо не оказался посвященным в связь молодого крыла заговорщиков с коммунистами. Гиммлер оказался на распутье. Слабый человек, даже если он кажется олицетворением могущества на экранах и на фотографиях, может принять верное решение только в том случае, если он способен откровенно посоветоваться с теми, кому он доверяет. В гитлеровской машине было все: четкая слаженность звеньев партийного, военного и государственного аппарата, прекрасно поставленная агитация, демагогически отточенная пропаганда, молодежные и женские объединения, физкультурные общества и буффонадные спортивные празднества, красивые парады и отрепетированные народные

волеизъявления, — все это было. Не было только одного: не было взаимного доверия. Отец боялся сына, муж боялся жены, мать боялась дочери.

Гиммлер был одинок в своих сомнениях и в своем метании. Поэтому внешне он казался спокойным, как никогда, только глаза под пенсне чуть потухли и руки он потирал чаще обычного.

Развязка наступила двадцатого июля.

Гиммлер знал многое. Однако он не знал, что полковник Штауффенберг два раза откладывал покушение на Гитлера только потому, что в ставке не было ни Геринга, ни Гиммлера. Штауффенберг принадлежал к левому крылу оппозиции. Он не считал возможным сохранение гитлеризма путем устранения одного лишь Гитлера.

20 июля 1944 года он вылетел с военного аэродрома под Берлином, чтобы прибыть в резиденцию Гитлера на совещание по вопросу о формировании новых дивизий резерва. Совещание началось в двенадцать часов тридцать минут. Генерал Хойзингер, свободно разыгрывая на громадной карте, что была расстелена на длинном столе, приблизительную схему сражений, громыхавших на Восточном фронте, давал точные, сухо сформулированные анализы положения на отдельных, наиболее сложных участках громадной битвы.

Штауффенберг, потерявший во время африканского похода руку и глаз, а поэтому очень импонировавший фюреру (тот особо ценил физически выраженные проявления героизма), вытащил под столом чеку из английского замедленного взрывателя, поставил кожаный темно-коричневый портфель с миной, уже готовой к взрыву, поближе к фюреру, поднялся и, чуть склонив голову, негромко сказал Кейтелю:

— Прошу простить, мне необходимо связаться с Берлином.

Гитлер только мельком глянул на полковника, и некое подобие улыбки скользнуло по его лицу. Кейтель недовольно поморщился — он не любил, когда нарушался порядок во время доклада оперативных работников штаба.

— Русские, — продолжал между тем докладывать Хойзингер, — крупными силами продолжают поворачивать западнее Двины на север. Их передовые части находятся юго-западнее Динабурга. Если мы не отведем

группу армий от Чудского озера, нас постигнет катастрофа.

Сочетание великого и смешного, трагичного и шутовского — в логике жизненных явлений. Хойзингер не сказал больше ни единого слова: высверкнуло оловянно-красным пламенем, рухнул потолок, вылетели с морским, скляночным перезвоном толстые стекла из распахнутых окон летнего бунгало — произошла простая и закономерная химическая реакция в бомбе полковника Штауффенберга.

Гитлер вскочил с пола — в синем дыму и горьковато-соленой копоти.

— Мои новые брюки! — закричал он обиженным, чуть охрипшим голосом. — Я только вчера их надел!

Все дальнейшее было похоже на трагикомедию, выдуманную писателем-фантастом самого вульгарного пошиба: в течение пяти часов после покушения Гитлер мог и должен был пасть. Он не пал.

Если анализировать провал заговорщиков в их попытке захвата власти с точки зрения формальной логики, то, видимо, стоит сделать три сноски: во-первых, на национальный характер немцев, для которых буква приказа есть буква религии. Заготовленный приказ «Валькирия» — приказ, который позволял армии взять власть в свои руки, отдан не был. Во-вторых, заговор против диктатора может осуществиться только в том случае, если все его участники готовы отдать жизнь во имя своей идеи. Далеко не все участники генеральского заговора были так же фанатичны, как тот, против кого они поднялись. И наконец, в-третьих: заговор в стране, где господствовал партийный аппарат НСДАП, могли успешно осуществить только люди, знавшие все потаенные пружины этого аппарата. Генералы, однако, посчитали, что все может решить армия, как некое «государство в государстве». И они просчитались. Многолетняя подготовка к схватке армия — НСДАП окончилась поражением армии.

В тот же день, двадцатого июля, основные руководители заговора по приказу Геббельса были расстреляны во дворе на Бендлерштрассе. Беку и Штауффенбергу предложили застрелиться. Бек застрелился, Штауффенберг отказался.

— Кончают самоубийством люди, виноватые в чем-то. Я ни в чем не виноват перед народом.

Его расстреляли под рев автомобильных моторов.

Гиммлер понял, что, пока Гитлер и Геринг ждут известий в Растенбурге, в ставке командующего, ему остаются считанные часы для того, чтобы уничтожить наиболее влиятельных заговорщиков, которые могли догадаться о его, рейхсфюрера, осведомленности в планах путчистов. Он должен был уничтожить тех, кто мог сказать об этом, пока эсэсовские следователи не арестовали всех заговорщиков.

Нет страшнее палача, чем тот, который хочет замести следы своих преступлений.

Гиммлер начал массовую волну террора.

Канариса рейхсфюрер и боялся, и в то же время совсем не боялся. Он справедливо полагал, что этот умный хитрец знает: молчание — залог спасения. Именно поэтому он раздумывал, стоит ли его арестовывать, несмотря на старые связи адмирала с расстрелянными генералами и теми, которых сейчас хватало гестапо; первым бросили в подвал фельдмаршала Вицлебена, которого ранее в газетах называли «военным гением рейха».

Канарис, считал Гиммлер, может оказаться разменной монетой в игре с Западом.

Но Гиммлер, к счастью, не успел начать разговора с фюрером о судьбе адмирала; тот сам спросил:

— Как себя ведет этот негодяй в камере?

— Кто именно? — не понял Гиммлер.

— Я имею в виду Канариса.

— Его еще не успели привезти в тюрьму, — ответил Гиммлер, — завтра я доложу о нем подробно.

И в тот час, когда Геббельс, выступая публично, смеялся: «Это бунт по телефону!» — начальник политической разведки СД Вальтер Шелленберг арестовывал бывшего начальника абвера адмирала Канариса. (Даже уволенный со своей должности, Канарис был ненавидим Кальтенбруннером.) Адмирал попрощался со своими любимыми таксами, утер слезу и сказал:

— Шелленберг, любите собак, они не предают.

Об аресте своего бывшего шефа полковник Берг узнал ночью, когда его вызвал руководитель краковского гестапо. Не глядя на полковника, он подвинул ему перо и стопку бумаги.

— Напишите о вашей совместной работе с Канарисом и презренным врагом нации Штауффенбергом.

Берг понял: случилось страшное. Раньше Канарис был в опале, теперь он в Моабите. Раньше Штауффенберг, с которым он несколько раз встречался в Берлине, был героем нации, теперь он стал ее врагом.

Берг писал автоматически, строчки ложились ровные, каллиграфические, как всегда. Он перечислял дни встреч с Канарисом и Штауффенбергом, но думал он сейчас — по своей врожденной привычке — спокойно и математически точно.

«Видимо, та игра, которую я начал с этой девочкой, сейчас, волею Бога, может оказаться моей спасительной партией. Мне надо теперь не играть, а всерьез работать на них. Это, видимо, единственная реальная возможность выбраться из катавасии, в которую я попал. Только бы гестапо не отстранило меня от работы в разведке. Они могут в каждом военном разведчике видеть потенциального последователя Канариса. Они не хотят видеть в Канарисе патриота, который мечтал ценой жизни фюрера спасти миллионы жизней немцев. Они никогда не позволят себе — внутренним своим цензорским окриком — даже решиться подумать об этом. В этом и сила их и трагедия одновременно. Если я начну работать с красными, я обеспечу себе потом алиби. «Национальный комитет свободной Германии» во главе с Паулюсом — это, конечно, не замена Гитлеру, но тем не менее это уже кое-что. Самое глупое, конечно, если они меня сейчас посадят. Они могут. Девчонке надо готовить побег. Пусть уходит. Надо сделать так, чтобы она ушла не от меня, а от гестапо. Только бы меня не посадили. Господи! Тогда я попрошу в помощь сотрудника гестапо. Я скажу шефу, что в трудные для нации дни армию необходимо подкрепить проверенными партийными кадрами. Я отвезу девчонку на радиостанцию и передам ее эсэсовцу. А ему, когда он привыкнет к девчонке, я подсуну какую-нибудь проститутку и водки. Партийные функционеры так измучены пуританской моралью Гитлера, которая запрещает члену их партии пить шнапс, а женщине красить губы — «это предательство интересов родины наймитам американской плутократии», — что, я убежден, человек гестапо клюнет на бабу и водку. Чего, кстати, больше в этих запретах Гитлера: фанатизма, зависти к нормальной жизни или просто тупости? Неужели он не понимает, что запретный плод сладок? Чем меньше запретов во внутренней жизни государства, тем труднее проникать враждебной идеологии, экономике, политике: не на чем ло-

вить людей. Когда людям все можно, в разумных, конечно, пределах — ни в коем случае нельзя благословлять скотство, — тогда мне, разведчику, нечего делать в такой стране. Только неумные политики в период трудностей шарахаются от усиления жестких методов подавления инакомыслия к проявлениям уступчивого либерализма. Умные политики осторожно выпускают пары — и тут мне, разведчику, опять нечего делать. Наши идиоты, которые проиграли войну, теперь, после спасения фюрера, проводят террор и демонстрации народа во славу Гитлера и на страх заговорщикам. Эти аресты и демонстрации еще больше перепугают народ. А народ, который запуган и не мыслит, никогда не победит».

— Здесь все, — сказал Берг, протягивая Крюгеру листки бумаги. — Какие мерзавцы! Кто бы мог подумать, что этот морской кулинар нес в своем мохнатом сердце камень неблагодарности фюреру!

Шеф гестапо внимательно посмотрел на Берга и спросил:

— А что готовил Канарис, когда приглашал вас к себе в гости?

— Я был слишком незаметной фигурой среди военных разведчиков, — ответил Берг, — персонально меня он не приглашал ни разу. Персонально он приглашал ведущих руководителей: Остера, Бамлера, Пикенброка. Я бывал у него только дважды: один раз, когда он устраивал день рождения, пятидесятилетний юбилей. Он великолепно готовил, эта свинья, индийский рис с рыбой, «индише райстафиль».

— Это было у него в Целендорфе?

— Да. Это известно центральному аппарату гестапо: на его раутах всегда бывал Гейдрих.

— Как фамилия егеря Канариса?

— Которого?

— Того, что устраивал ему охоту на лис с флажками. Эта сволочь даже охотился по-английски — с флажками. А егерь привозил ему одну лису в готовый загон, и ваш вшивый моряк загонял несчастное, запуганное животное... Какое зверство и лицемерие... Ну, это уже от эмоций. Хорошо, вы свободны, полковник. Прошу никуда не отлучаться из кабинета — вы можете мне понадобиться каждую минуту.

— Хорошо... Теперь, если позволите, о деле

— Да.

— Наша с вами операция с русской разведчицей

подвинулась весьма далеко. Мне хотелось бы просить вас подключить сотрудника гестапо. Сейчас тот период, когда я без непосредственной помощи гестапо ничего не смогу сделать.

Шеф гестапо спрятал листки, исписанные Бергом, в сейф, вернулся к столу и сказал:

— Я подумаю.

Из стенограммы совещания Гитлера с генерал-полковником Йодлем в «Волчьем логове»

Присутствуют: фюрер, генерал-полковник Йодль, генерал Варлимонт, группенфюрер Фегелейн, полковник фон Бе́лов, подполковник фон Амсберг, подполковник Вайценэггер, майор Бюкс.
Начало совещания: 23 часа 53 мин.

Ф ю р е р. Йодль, когда я размышляю о больших заботах сегодняшнего дня, то прежде всего передо мною встает проблема стабилизации Восточного фронта — большего ведь на данном этапе добиться невозможно — и я задаю себе вопрос: может быть, учитывая всю обстановку в целом, действительно не так уж плохо, что мы зажаты на сравнительно узком пространстве. В этом ведь не только недостатки; есть и преимущества. Если удержать ту территорию, которой мы сейчас владеем, то она все же может обеспечить нам существование, а в то же время у нас не будет таких огромных, растянутых тылов. Но для этого необходимо, конечно, действительно перебросить в боевые части все, что у нас за прежнее время накопилось в тылах. Только тогда эти части превратятся в определенную силу. Если мы этого не сделаем, если вместо этого тылы расположатся в Германии, если мы будем растягивать оперативные тыловые районы на все большую глубину, хотя никаких тыловых районов вообще не нужно, если мы — несмотря ни на что — будем раздувать органы военной администрации, осуществляющие исполнительную власть в прифронтовой полосе, хотя такие органы вовсе не нужны, поскольку все и без того осуществляют предоставленную им власть в интересах армии —

вспомните 1939 год: мне бы пришлось тогда на Западе уступить военной администрации исполнительную власть вплоть до Ганновера, ведь вся территория до Ганновера и Миндена была сплошным районом стратегического развертывания, — так вот, если мы покончим с этой абсолютно не воинской, совершенно неизвестной в других армиях, исповедуемой лишь нами (но, как мы теперь видим, заимствованной из чужого мира) идеологией, тогда сужение пространства не всегда будет только недостатком, а может стать и достоинством; но только при одном условии: если мы действительно подчиним интересам боя все, что нагромоздили в этом огромном пространстве, поставим под ружье всех, кого до сих пор использовали в тылах. При этом условии можно, по моему самому горячему убеждению, стабилизировать фронт и на Востоке... Я обдумывал вопрос: каковы теперь те опасные моменты, которые в принципе могут оказаться для нас роковыми в масштабах всей войны? Это, конечно, прежде всего прорыв на Востоке, который повлек бы за собой реальную угрозу нашей немецкой родине, будь то Верхнесилезский промышленный район или Восточная Пруссия, и сопровождался бы тяжелыми психологическими последствиями. Но я думаю, что теми силами, которые мы сейчас формируем и которые постепенно вступают в боевые действия, мы в состоянии обеспечить стабилизацию положения на Востоке — таково мое мнение — и что мы преодолеем этот человеческий кризис, этот моральный кризис. А он, кстати, неотделим от того акта, который был совершен здесь 20 июля. Ведь этот акт нельзя рассматривать изолированно; нет, событие, происшедшее здесь, служит, я бы сказал, лишь симптомом внутреннего нарушения кровообращения, симптомом наступившего у нас внутреннего заражения крови. Чего можно ожидать от фронта, если — как это теперь видно — в тылу важнейшие посты заняты настоящими диверсантами; не пораженцами, а именно диверсантами и государственными преступниками. Такова правда: если в службе связи и квартирмейстерском управлении сидят люди, совершившие государственную измену в

абсолютно прямом смысле этого слова, люди, о которых не знаешь, сколько времени они уже тайно работают на противника, то нечего и ждать, что отсюда будет исходить тот боевой дух, который необходим. Ведь русские определенно не стали за год-два намного выше по боевому духу; и люди у них не стали лучше; но зато мы, без сомнения, стали морально слабее, потому что у нас под носом сколотилась шайка, которая непрерывно испускала яд; и в шайку входила организация генштабистов — генерал-квартирмейстер, начальник службы связи и прочие. Теперь нам только и остается, что спрашивать самих себя (а может, и спрашивать не надо, поскольку и так все ясно?): как противник вообще узнает наши мысли? Почему он так часто успевает принять контрмеры? Почему он молниеносно реагирует на столь многие наши акции? Вероятно, дело здесь вовсе не в проницательности русских, а в перманентном предательстве, которое совершала эта отпетая банда ничтожеств. Но если даже не ставить вопрос столь конкретно, то достаточно было и того, что люди на ответственных постах сидели опустив руки; и это — вместо того, чтобы постоянно излучать энергию и распространять уверенность в наших силах, а главное, вместо того, чтобы углублять сознание жизненной важности этой борьбы, которая решит нашу судьбу; борьбы, от которой нельзя уйти, нельзя укрыться каким-то хитрым политическим или тактическим маневром. Они бездействовали, вместо того чтобы доводить до сознания людей: эта борьба подобна той, которую вели гунны; в ней можно только победить или пасть — одно из двух. А если таких мыслей нет в высших инстанциях, если, напротив, эти идиоты воображали, что окажутся в лучшем положении, чем их предшественники, потому что сегодня собрались делать революцию генералы, а не солдаты, как в 1918 году, то это уже вообще ни на что не похоже; в таких условиях армия должна постепенно разложиться сверху донизу... Так что надо сказать прямо: здесь совершалось непрерывное прямое предательство, причем в этом есть доля и нашей собственной вины: из-за оглядок на репутацию

армейского руководства мы всегда слишком поздно пресекали действия предателей или вообще их не пресекали, хотя мы давно, уже полтора года, знаем, что предатели есть, мы считали, что не можем компрометировать армейское руководство. Но это руководство оказывается куда сильнее скомпрометированным, когда мы предоставляем маленькому человеку — солдату — самостоятельно разбираться в тех призывах, которые постоянно разбрасываются русскими от имени немецких генералов; когда разъяснять суть этих призывов поручается мелкой сошке — фронтовому офицеришке, который и сам должен постепенно прийти к убеждению: либо русские правы, либо мы слишком трусливы, чтобы им ответить. Надо положить этому конец. Так продолжаться не может. Эти подлейшие твари из всех, когда-либо носивших солдатский мундир, эта сволочь, эти недобитые элементы прежних времен должны быть истреблены. Таков наш высший долг. Если мы преодолеем этот моральный кризис, то окажется, что русские нисколько не лучше, чем были раньше, а мы не хуже, чем были раньше. С точки зрения военной техники и другого имущества мы, наоборот, скорее находимся в лучшем положении, чем раньше, наши танки и самоходки стали теперь лучше, а у русских положение с техникой скорее ухудшилось. Таким образом, я считаю, что мы сможем поправить наши дела на Востоке.

В то время, когда по Германии прокатывались волны патриотических демонстраций, когда мимо гауляйтеров и партийных бонз маршировали старики и юноши, вооруженные автоматами, двигались колонны трудового фронта — с лопатами и топорами на плечах, когда зрители вопили: «Хайль Гитлер!» — как раз в этот час происходило очередное заседание Европейской консультативной комиссии и советский делегат Гусев оглашал согласованное коммюнике о границах оккупационных зон Германии, об условиях безоговорочной капитуляции и о том, что Германией будет управлять Контрольный совет, составленный из командующих оккупационными армиями

ВСТРЕЧА

Перед тем как отправиться на экспроприацию в кабаре, Вихрь просидел полчаса с Колей: тот докладывал о ходе наружного наблюдения за эсэсовским бонзой Штирлицем.

— Мы его водим, когда только можно. Если он на машине — не очень-то за ним походишь. Правда, номер я знаю: ребята из группы разведки польского подполья два раза засекли его возле Вавеля и один раз около костела Мариацкого. Он ходил с каким-то гадом и разглядывал иконы, фрески и орган.

— Хороший там орган?

— По-моему, грандиозный. Когда играют Баха во время мессы, кожа цепенеет, вроде как замерз, к черту.

— О Боге говоришь, а черта поминаешь.

— Так я ж марксист, — улыбнулся Коля, — явление суть единство противоположностей. Вообще мы делаем одну ошибку.

— Кто это *мы* и какую ошибку? — спросил Вихрь. Ему было приятно сейчас так неторопливо говорить с Колей. Перед операцией надо хоть на десяток минут расслабиться.

— Мы — это мы, а ошибка — в нашем отношении к христианству.

— Ну? — усмехнулся Вихрь. — Смотри, разжалую за богоискательские разговоры.

— Я серьезно. Меня в свое время мама здорово просвещала. У Христа в заповедях много такого, что мы взяли. Честное слово. Возлюби ближнего своего, не укради, чти отца и мать.

— Как в смысле подставить щеку?

— Нельзя брать все. Мы не берем ведь всего у Гегеля или Фейербаха.

— Ладно, о христианстве — потом. Как будем поступать с этим подонком?

— Вчера ночью он один гулял по скверу. Потом сидел в ресторане гостиницы.

— А ты?

— Пролез.

— И что?

— Он жрал этот свой немецкий «айсбайн» — сало капало в тарелку. Свиная ножка — объедение... Пил много.

— Кто к нему подходил?

— Парочка девок из люфтваффе.

— А он?

— Что он?

— Ну, реагировал как?

— Никак. Одну по щеке потрепал. У него глаза, между прочим, красивые: как у собаки.

— Ты считаешь, что у собак красивые глаза?

— Так мама говорит. Она очень любит, если у людей глаза, как у собак.

— Слушай, мне как-то все неловко было тебя спросить: у тебя отца вообще не было, что ль?

Коля чуть улыбнулся:

— Так вроде не бывает. — Закурил, продолжил заученно: — Я, когда маленький был, спросил маму про отца, а она ответила: «Твой отец — прекрасный человек. Мы потеряли друг друга в революцию. Нас разметало. Люби его, как меня, и постарайся больше никогда не спрашивать о нем». Вот и все.

— Она так одна и осталась?

— Да. Ей всего сорок три исполнилось. Ребята говорили в университете: «Ничего у тебя подруга». Как воскресенье — на корты. Теннис — до пяти потов. А потом сядет на велосипед, а меня гонит бегом — поэтому я такой...

Вихрь усмехнулся:

— Какой?

— Жилистый, — в тон ему ответил Коля. — А жилистые на излом прочны.

Вихрь взглянул на часы, потер виски и сказал, сдерживая нервную, холодную и назойливую зевоту:

— Верное соображение. А эсэсмана этого, я думаю, надо убрать.

— Ты же говорил: выкрасть.

— Замучаемся. Подумай сам: где его прятать? У партизан? И так людей не хватает, а тут этого типа сторожи. Накладно. И потом, как бы нам с этим гусем главную операцию под удар не поставить. Если его взять, шухер подымут, знаешь какой? А так, ты ж сам говоришь, он по ночам без охраны шляется. Надо будет только имитировать ограбление, тогда все спокойней пройдет.

— Ясно...

— Ну, пока, — сказал Вихрь, — мы двинулись. Надо бы нашего шефа валерьянкой напоить — у него руки играют, как у склеротика.

Когда Вихрь со своими людьми уехал и шум автомобильного мотора стих, Коля потянулся с хрустом и, расхаживая по комнате, стал раздеваться. Он раздевался так, как всегда делал это в Москве: расхаживая взад и вперед по своему маленькому кабинету и оставляя на спинке стула, на столе и на кровати рубашку, майку, носки, брюки. Однажды он был в гостях у своего школьного товарища — тот был сын кадрового военного, и в семье его воспитывали по-военному: сам застели кровать, сам заштопай носки, сам выгладь брюки, сам свари себе обед. Когда Коля рассказал об этом матери, Сашенька спросила:

— Тебе это нравится?

— Очень.

С того момента, когда сын начал ходить и говорить, Сашенька вела себя с ним не как с маленьким несмышленышем («вырастешь — узнаешь»), но как с равным себе, живым, думающим существом.

— Наверное, это очень хорошо и правильно, и если тебе кажется, что надо расти именно так, по-спартански, по-командирски, — значит, так и поступай, — ответила она сыну. — Знаешь, мне так никогда и не пришлось ухаживать за папой. За мужчиной в доме. Очень приятно ухаживать за мужчиной в доме, который раздевается, расхаживая по комнате, и который не сумеет так постирать рубашку, как это умею сделать я, женщина. Наверное, это очень хорошо, когда мужчина умеет красиво погладить брюки, но мне это сделать для папы или тебя еще приятнее. Понимаешь?

— А я не вырасту баловнем?

— Ну, знаешь ли, — ответила Сашенька, — можно стирать себе носки и быть баловнем. Баловень — это состояние духа, это моральная дряблость.

— А что мне делать дома?

— Это другой вопрос. Знаешь, очень приятно, когда в доме пахнет свежим деревом. Как в охотничьей заимке. Было б прекрасно, оборудуй мы верстак... Ты бы сделал нам шведскую стенку. Зарядка по радио — вещь хорошая, но на шведской стенке мы бы с тобой вытворяли поразительные штуки.

— А еще что?

— Пушкин. Ты должен знать Пушкина, без этого невозможен русский интеллигент.

— Всего?

— Всего. Твой отец знал всего Пушкина.

— А кем он был? — тихо спросил мальчик.

— Он был самый хороший человек из всех живших на земле, — повторила Сашенька ту фразу, что она както сказала. — Самый лучший. Поверь мне.

— А меня в школе спросили: «Вас отец бросил?» Он нас не бросил?

— Гадкое слово — «бросил»... Что значит бросил? Он мог разлюбить. Любовь — не воздух, это не постоянная величина, вроде ноши на спине. Если любовь — это ноша на спине, тогда это вовсе не любовь. И никто никого никогда не бросает: просто человек перестает любить другого человека, и они не живут вместе. Это я тебе ответила вообще, понимаешь? Но папа не разлюбил меня. Он меня никогда не разлюбит.

В сороковом году, весной, он впервые увидел мать плачущей. Они приехали в воскресенье с тяги — Сашенька ездила с сыном на охоту, она приучила его любить охоту, сама научила стрелять, сама выбирала маршруты, — легли они спать рано, а утром, еще перед тем как она кончила готовиться к лекции по французской литературе (она вела курс в институте иностранных языков), к ней позвонили и попросили спуститься вниз — машина стояла у подъезда.

Мать вернулась через два часа заплаканная, легла на диван и отвернулась к стене. Он сел к ней и стал гладить ее голову.

— Санька, — сказала она, всхлипывая, как ребенок. — Санька, это и горе, и счастье, и боль. Твой отец жив.

— Где... Где он?

— Возьми мою сумочку.

Он принес матери ее плоскую сумочку. Сашенька щелкнула замком.

— Вот, — сказала она, — это — его.

На диване лежали три красные коробочки. В них на красном сафьяне лежали два ордена Ленина и орден Красного Знамени с номером на белой эмалевой планочке, под гербом. Номер был 974.

Поэтому-то Коля на какое-то мгновение замолчал, когда Вихрь спросил его об отце. С Колей никогда никто о нем не говорил — ни в кадрах, ни командование. Видимо, о его отце знало лишь несколько человек в стране. Поэтому, когда Вихрь спросил его, Коля внутренне сжался — самое тяжелое, что есть на земле, так это что-то свое самое дорогое утаивать от друзей. Все, знавшие

его семью, не могли удержаться от этого вопроса, и всем, даже самым близким друзьям, он отвечал так, как ответил Вихрю.

«Здесь нет мамы, — подумал Коля, посмотрев на разбросанное белье. — Здесь надо самому. Ей радость, другим — тягость. Матери все в радость от ребенка. Как это величественно — женщина! Какое гармоническое и поразительное совмещение любви к мужчине и к ребенку».

Он вспомнил свой разговор с одним молодым художником. Тот писал портрет матери. Как-то этот художник сказал:

— Люблю детей. Впору жениться на любой задрипе, только б ребенка родила.

У Коли не было секретов от матери. Он рассказал ей об этом разговоре. Сашенька брезгливо сморщилась:

— Боже, какой кретин. Можно провести ночь с нелюбимой, но жениться только для того, чтобы она родила, — в этом есть что-то от негодяя. Знаешь, мне сейчас стало неприятно видеть его. Я откажу ему от дома.

— Но он талантливый художник.

— Ты — умница. Таланту можно прощать все, кроме негодяйства. Но если тебе с ним интересно, конечно, продолжай видеться. Я готова терпеть его здесь.

— Тебе будет очень трудно терпеть?

— Я не знаю, что такое т р у д н о. Я знаю, что такое в о с п и т а н н ы й ч е л о в е к.

— Значит, воспитанный человек может с улыбкой прощать подлость?

— Ни в коем случае. Но он может без улыбки отвечать на приветствие и смотреть мимо. Очень важно уметь смотреть мимо. Глаза — оружие пострашней револьвера. Если, конечно, считать их выражением души.

— Понимаешь, я тебе передал наш разговор. Мне будет неудобно перед ним. Если бы он сказал это тебе — тогда иное дело, но он сказал это мне. Я выгляжу доносчиком. Понимаешь?

— Понимаю. Ты прав, Санька. А я не права. На том и порешим. Да?

— Ты очень смешно сказала — «откажу ему от дома».

— Почему смешно?

— Старорежимно, — улыбнулся он. — А здóрово...

Коля долго стоял у зеркала, повязывая галстук по

последней моде — чтобы узел был толстым, оглядел себя еще раз, сунул в карман «вальтер» и вышел из дому. Он шел убивать эсэсовского бонзу Штирлица.

СОРОК ДВЕ СЕКУНДЫ

— Документы, — сказал патрульный эсэсовец Крысе, козырнув Вихрю.

«Почему он не приветствовал меня партийным приветствием, как полагается эсэсовцу? — подумал Вихрь и полез в карман за сигаретами. — Почему он козырнул мне? Видимо, это не кадровые эсэсовцы. Крыся сейчас завалит все дело — упадет в обморок. Седой и Богданов держатся хорошо. Аппель — молодец. Только руки трясутся. Если сейчас заверещат в кабаре, начнется пальба. А пистолет у меня сзади. Сколько раз говорил себе: только во внутренний карман пиджака. Кто мог знать, что они окажутся здесь в эту минуту? Все в жизни решают минуты. Можно нечто готовить годы, а придет та минута, и все полетит к чертям. Что это, закономерность? А если это глупая случайность?

Эсэсовцы просмотрели документы Богданова и, козырнув, вернули ему аусвайс.

— Пожалуйста, ваши документы, — попросили они Седого.

Тот, угодливо улыбнувшись, протянул им свой ночной пропуск. Его ночной пропуск был липой. Правда, его изготовили в хорошей типографии настоящие мастера, которые до войны работали на международных контрабандистов, но несколько раз патрули СС забирали обладателей такой чистой липы в дежурные караулы, а оттуда передавали в гестапо, на допрос с пристрастием.

«До ближайшего штаба отсюда порядочно, — думал Вихрь, пряча в карман зажигалку, сделанную из патрона. — Так что стрельбу там не услышат. Хотя — ерунда, на площади дом их партийного аппарата. Там большая эсэсовская охрана. У них мотоциклы и автомобили. Весь город расквадратят, как в тот раз, когда я бежал от них. Если убирать их, так тихо: по голове — и в машину. У Крыси нет документов. Они не посмеют требовать у нее документы, я скажу, что она со мной. Черт, сколько прошло времени? Секунд, верно, тридцать. Если они сунутся в кафе, тогда начнется стрельба. Втихую нам их не убрать. Ишь как я еще могу думать-то, а? Попробовать бы записать, что человек видит и слышит за эти

тридцать секунд. Какие многотомные романы получились бы, стоит только записать, что сейчас слышат и видят Седой, Крыся, Аппель, Богданов и я. Никто этого никогда не запишет до тех пор, пока не намудрят ученые, чтобы это можно было фиксировать, как течение химического опыта. В такие секунды люди всех национальностей думают одинаково об одинаковом. Воспоминания — последнее прибежище человека, попавшего в беду. Если воспоминания и ассоциации сменяются отчаянием — человек погиб. Разведчик, во всяком случае».

— Пожалуйста, — сказал эсэсовец и протянул ночной пропуск Седому, — вы свободны. Можете идти.

Второй тем временем подошел к Крысе и сказал:

— Пани, ваш документ.

— У меня нет с собой документа.

— Как так? — удивился эсэсовец. — Почему?

— Эта женщина со мной, — сказал Вихрь. — Еще какие-нибудь вопросы?

Первый эсэсовец сказал Седому и Богданову:

— Я же сказал вам, вы свободны, можете идти.

«Сейчас их надо убирать. Если Седой и Степан пойдут, тогда они пропали. Патруль заглянет в кабаре. Через мгновение они выскочат оттуда. Даже если я приторможу, чтобы в машину влезли мои, все равно они полоснут по шинам, и мы остановимся, провихляв еще метров тридцать. От черт, глупость какая».

Седой сказал:

— Спасибо. Сейчас мы уходим. Закурю, и пойдем. А то, если перепил да еще нет во рту соски, тогда никуда не придешь.

И он стал доставать из кармана резиновый кисет с сухим, мелкокрошеным табаком.

— Вы пригласили эту женщину в кабаре? — спросил Вихря эсэсовец.

— Да.

— Это ваша хорошая знакомая?

— Конечно.

— Простите, я не знаю, к сожалению, кому я задаю вопросы.

— В таком случае, спросите мои документы, — сказал Вихрь жестко.

— Да, пожалуйста.

Вихрь достал из кармана обложку удостоверения офицера СС, обложку партийного билета и две орденские книжки. Обложки он достал через Колю, а тот в

свою очередь сумел получить это у своего интенданта. Орденские книжки принес Седой — их взяли у офицеров во время налета на казармы под Жешувом, это было громкое дело краковских партизан, когда они разгромили целый гарнизон, а потом ушли через Татры в Словакию.

«Сейчас очень важно сыграть, — думал Вихрь, протягивая эту липу эсэсовцу. — Важно так уронить эту мою липу, чтобы он немедленно нагнулся поднять ее. Я обязан быть точен во всем: и в том, как я протяну документы, и в том, как буду смотреть прямо ему в глаза, и в том, как сыграю тот момент, когда буду разжимать пальцы, чтобы он почувствовал себя виноватым, чтобы он сразу же понял, что документы офицера СС упали на тротуар по его вине. Седой меня понял. Мы с ним уговорились — аврал: это его кисет и моя липа. Черт, запомнил ли это Богданов? Ужасно будет, если Аппель вдруг нажмет на акселератор и махнет себе к чертовой матери. Вон как в руль вцепился. Ногти аж голубыми стали. А машину-то он в наше отсутствие всю протер до блеска. Характер. Другой бы мандражил, или пытался читать, или уговаривал себя написать открытки домой, а этот машину драил. Мы сюда приехали, она же грязная была, до полной невозможности. А где он успел помыть руки? У него ногти чистые, как у врача. Ага, вон перчатки лежат. Лайковые. В перчатках работал парень. Молодец. Только не вздумай сейчас уехать, Аппель. Сейчас я роняю мою липу, и через несколько секунд мы уедем отсюда все вместе. И все будет хорошо, Аппель, ты уж поверь мне».

Эсэсовец словно подкошенный опустился поднимать офицерскую книжку СС, партийный билет и орденские книжки. Уже опустившись на корточки, он увидел, что офицерское удостоверение — пусто; только обложка, внутри ничего. Эсэсовец лишь успел поднять голову и как-то жалобно, вопрошающе поглядеть на этого худого, очкастого человека, так похожего по внешнему виду на партийного бонзу. Он не успел больше ничего, кроме как посмотреть на этого очкастого снизу вверх. Вихрь прыгнул на него, сидящего на корточках, и придавил к земле.

Второй эсэсовец мычал что-то: Степан зажал ему рот руками, а Седой, ухватив его поперек туловища, тащил в открытую дверь машины. А по тротуару катилась его каска и страшно, пронзительно, как набат, как сто набатов, как рев воздушной сирены, громыхала, громыха-

ла, громыхала, пока не ударилась о срез мостовой и, дзенькнув несколько раз, замолчала.

Седой подскочил к тому эсэсовцу, которого сломал Вихрь, они вдвоем подняли его и забросили в машину поверх того, что уже там лежал и корчился, сучил ногами и вертел белым лицом.

Вихрь подбежал к каске, схватил ее, швырнул в машину и внимательно огляделся по сторонам.

«Сейчас нельзя переторопиться, — сказал он себе. — Нельзя. Как же сейчас можно торопиться, если на тротуаре валяются эти мои липовые документы с отпечатками пальцев? Пальцы у меня были в тот миг липкими от волнения и от страха, так что следы пропечатались, как в тюрьме. Хорошо. Их мы быстренько соберем. С этим порядок. Что еще? Смотри, Вихрь, смотри внимательно. Вроде бы все в порядке, а? Кровь. Это он выхаркнул кровью, когда я прыгнул на него сверху. Плохо. И табак. Черт. Плохо. Смешно, если б я сейчас взял у Аппеля перчатки и стал протирать мостовую. Где это было — человек руками без перчаток протирал мостовую, а вокруг него гоготали жирные фашистские рожи? Где ж это было? Ах, да. Кино. Хорошее кино про доктора Мамлока. Так. Надо удирать. Тут уж ничем не поможешь. Интересно, сколько мы времени провозились? Верно: я так и думал — секунд пятьдесят. Ошибка на восемь. Сорок две секунды».

Вихрь прыгнул на сиденье рядом с Аппелем и сказал:

— Едем.

Аппель рванул машину с места, мотор взревел, но Аппель не успел снять машину с ручного тормоза, и, чихнув и дрогнув, мотор заглох.

Аппель медленным движением вытянул левую ногу, долго нащупывал педаль стартера, уперся в нее мыском, нажал, мотор надрывно завыл, но искры зажигания не было. Было слышно, как провертывался вентиляторный ремень, как поскрипывал подсос, но мотор не заводился.

— Убери подсос, — сказал Вихрь тонким, не своим голосом.

— Я убрал.

— Ты забыл убрать.

Вихрь толкнул белую кнопку на щитке.

— Вот так убирают, чудак, — сказал он.—Секунду погоди. Еще. Рано. Не торопись. Погоди. Пусть стечет бензин.

Вихрь обернулся и поглядел на своих людей: Крыся лежала, откинувшись на сиденье. Богданов, выпятив нижнюю челюсть, сгорбился, держа за шею второго эсэсовца, а Седой деловито сворачивал закрутку.

— Свой? — спросил Вихрь.

— Что? — не понял тот.

— Свой, говорю, табак?

— Свой.

— Свежий?

— Прошлогодний.

— Дашь затянуться?

— Дам.

— А ну, — сказал Вихрь Аппелю, — пробуй, дружище.

Осторожным, каким-то балетным движением Аппель вытянул мысок, уперся в педаль стартера, но нажать не смог.

— Боюсь, — сказал он шепотом.

— Э, ерунда, — сказал Вихрь, — валяй.

Аппель нажал на стартер; мотор, чихнув несколько раз, взревел, и Вихрь даже представил себе — с кинематографической четкостью, — как из выхлопной трубы сейчас вырвался густо-синий дым, а вот сейчас он же не густо-синий, а фиолетовый, а сейчас, когда машина тронулась, он и вовсе стал бесцветным.

— Все-таки Бог есть, — сказал Вихрь Седому и засмеялся деревянным смехом, почувствовав, как тонко и пронзительно захолодела вся левая рука.

— Что? — удивился Седой.

— Ничего, — ответил Вихрь. — Это я так, с Колей говорю.

Когда они выехали на Планты, Вихрь закрыл окно — поднялся ветер. В маленьком переулке, следующем за тем, где была та парикмахерская, куда он заскочил после побега с рынка, метрах в девяноста от вокзала мелькнули две мужские фигуры. Мужчины стояли друг против друга очень близко, чуть не упираясь лоб в лоб, как дерущиеся мальчишки или пьяные друзья. Вихрю показалось, что мужчина, стоявший спиной к нему, — Коля.

КРОВЬ

Штирлиц уже два дня приходил на встречу в костел и в ресторан «Французского» отеля, но связи так и не получил. Он, конечно, не знал и не мог знать, что его

контактуют не с разведчиками подобного ему класса, а с сотрудниками фронтовой разведки. Но знать и допускать — две эти категории необходимы разведчику, без них он обречен на неминуемый провал. Как и любой человек, разведчик не может знать всего, но в отличие от других он обязан делать допуск в своих размышлениях — допуск, граничащий с жюльверновской фантазией.

Поэтому, увидав за собой хвост позапрошлой ночью — хвост странный — всего один человек, Штирлиц остановился на двух допустимых версиях. Первая: дурак Шверер из гестапо решил проявить усердие и прикрепил к нему, как к одному из крупных работников центра, входящему в орбиту Шелленберга, некое подобие телохранителя. От такого контрразведчика, каким считал Шверера Штирлиц, этого хода вполне можно было ожидать. Вторая версия: связь дали свои, но через человека еще малоопытного (в конце концов, не боги горшки обжигают, а опыт работы во Львове с молодым парнем из киевской чека убедил Исаева, что в дни войны опыт нарабатывается быстрее, чем в мирную пору). Но, честно говоря, в такой ситуации и в такой ответственный момент стоило бы подстраховаться опытным человеком; хотя, опровергал себя Штирлиц, вполне вероятно, что в Центре решили пойти на этот шаг, считая Краков городом «циркулирующим» — беженцы, армейские передвижения, трудности, связанные с местными условиями, — а где «циркуляция», там больше беспорядка, а где больше беспорядка, там хотя и шансы на провал велики, но столь же реальны шансы на удачу, если только кандидатура выбрана правильно; нужен этакий Олеко Дундич. Штирлиц допускал возможность, что на связь к нему придет человек из фронтовой разведки, потому что задание, связанное как со спасением Кракова, так и с опытами фон Брауна, который забрасывал Лондон своими «фаустами», нельзя было осуществить без контакта с фронтовой разведкой, без местного подполья и русских десантников.

Первый день Штирлиц никого не заметил. Человека, которого, по условленному описанию, он ждал в костеле, не было. Хвост, который он за собой протащил через весь Краков, обнаружил, когда выходил из костела.

Ночью, а вернее, даже ранним утром, вернувшись в отель, Штирлиц забрался под перину и с любопытством — пожалуй что внезапным — впервые задумался не над своими поступками, а над своим анализом поступков.

И с явной очевидностью он понял, что и поступки его, и особенно анализ этих поступков претерпели развитие. Когда он еще только внедрился в аппарат гиммлеровской службы безопасности, ему стоило громадного труда быть внешне рассеянно-спокойным. Он был как натянутый канат — тронь только острым ножом, сам разлетится, никаких усилий прилагать не надо. Теперь, по прошествии четырнадцати лет, Штирлиц, как он сам определил, покрылся «актерскими мозолями удач». Порой ему было страшно: по прошествии получаса знакомства он все знал о том человеке, которого только что увидел. Однажды он зашел к предсказателю будущего, знаменитому своими гаданиями. Это было в Берлине, прекрасным осенним вечером, когда солнце залило зловещим красным светом Бранденбургские ворота, а липы на Унтер-ден-Линден сделались сине-золотыми, и кругом было тихо и красиво, и над Шпрее летали утки, а возле остановки у Фридрихштрассе тихие старухи кормили красных лебедей черными хлебными корками.

Штирлиц перед этим был в маленьком кабачке «Цум летцен инстанц», что за судом, неподалеку от «еврейского двора», где некогда жил автор гитлеровского гимна Хорст Вессель. Там Штирлиц пил много пива, а до этого, на приеме в польском посольстве, он пил водку и поэтому вышел из кабачка румяным и размякшим.

«Цум летцен инстанц» по-русски значит «К последней инстанции», — думал он, — это занятно. Напротив имперского суда — «последняя инстанция». Пить здесь можно или с тоски, или с радости — оправдали или посадят. Дальше, чем в «последнюю инстанцию», идти некуда. Я сейчас пил от радости. Интересно, мог бы я сейчас свободно говорить по-русски? Или как эмигрант — с эканьем и меканьем? Бедные эмигранты — несчастные люди, которые считают, что только они-то и любят родину по-настоящему. Их даже ненавидеть толком нельзя. Бессильные люди, которым ничего не дано, кроме как ругать нас днем, бояться и плакать ночью».

Предсказатель спросил, какое гадание предпочитает господин оберштурмбанфюрер СС: вкупе с небом, карточные лабиринты или одна лишь рука?

— Начнем с руки, — сказал Штирлиц, — вам нужна левая?

— Конечно, — ответил тот, — непременно левая.

Он долго гладил руку Штирлица, прикасаясь к бугоркам и линиям ладони, близко рассматривал ее, за-

мирал, потом закрывал глаза, снова гладил холодными, выпуклыми кончиками пальцев ладонь, а потом начал говорить:

— Вы прошли сложную, исполненную благородства и борьбы жизнь солдата идеи. У вас было трудное детство — оно прошло в горе, скрытые пружины которого вам еще не понятны и сейчас. Вы видели много несчастий, вы сами прошли через несчастья. Вас спасала ваша воля. Вы очень волевой человек, но ваша волевая устремленность базируется на мягком сердце. Вы очень добры. Это — ваша затаенная боль, это — вопрос, на который вам еще надлежит ответить. Линии разума, которые у большинства людей сопутствуют — совершенно автономно — линии жизни, у вас слились воедино после какого-то шока, который вы пережили. Скорее всего, это был шок, связанный с борьбой, с вашей внутренней борьбой против общего зла.

«Боже ты мой, как ловко и общезначимо он врет и как это должно нравиться нашим деятелям! Он скользит по срезу общепартийных биографий людей в черных формах. Бедняга, что бы он говорил, приди я сюда в штатском, — думал Штирлиц, неторопливо оглядывая комнату, где они сидели. — Надо попугать этого провидца, это будет смешно».

— Спасибо, — сказал Штирлиц. — Про будущее не надо. Теперь хотите, я погадаю вам?

— О, это занятно.

— Дайте мне вашу левую руку.

Штирлиц бегло оглядел ладонь, потом долго смотрел в глаза предсказателю, а потом начал медленно говорить:

— В детстве вы много болели. Один раз вы были при смерти. Вас спас отец. Он вынянчил вас. По-моему, это был дифтерит.

Предсказатель чуть откинулся назад. Штирлиц, словно не заметив этого, продолжал:

— В школе вы очень плохо учились, вы даже не кончили ее, и много работали на физической работе. Женщина, которую вы любили, недавно ушла от вас, и вы всю свою нерастраченную любовь перенесли на животных. Около года вы учились в университете. В это время вы голодали, а потом, разбогатев, серьезно заболели. Больше всего бойтесь вашей щитовидной железы. Я не советую делать ту операцию, которую вам уже предложили или же предложат. И не обольщайтесь по

поводу формальной логики и математической психологии. Вы не во всем чисты — внутренне, перед идеями нашего государства. То ли в концлагере отбывает превентивное заключение один из ваших родственников, то ли вы жили с еврейкой.

Предсказатель осторожно убрал ладонь со стола и сказал, жалко улыбнувшись:

— Это не гадание. Просто вам известна моя анкета, заполненная в полицайпрезидиуме.

Тогда впервые Штирлицу стало по-настоящему страшно, потому что, конечно же, никакой анкеты этого человека он не читал — он попросту ч и т а л в глазах, лице, руке, залысине, в блеске чуть выпуклых глаз, в пыли на буфете и книжных полках, в фотографии женщины на стене, в реакции на его самые первые слова — словом, в том громадном количестве окружающих каждого человека вещей и наличествующих в нем черт, следов, ссадин, манер, во всем том, что позволяет, при необходимом допуске смелости, сделаться пророком.

Поэтому однажды, желая спасти юного нелегала-чекиста в Париже, работавшего против кутеповцев, Штирлиц, выслушав пылкого графа Граевского, когда тот прибежал к нему с сообщением, что красный обложен компрометирующими материалами и что перевербовать его — дело дня, пустяк и тьфу, усмешливо сказал:

— Лапочка моя, это не вы его перевербуете, а он вас заагентурит. Компрометирующими материалами, так же как и деньгами, не вербуют, а если и вербуют — то кретинов, абсолютно ненужных мало-мальски уважающей себя разведке.

— А как же, по-вашему, следует вербовать? Как и чем? — удивился граф.

— Умом, — ответил Штирлиц. — Умом, идеей и волей. Человек — это великое явление, и рассматривать его должно в целом: стар — молод, красив — уродлив, талантлив — усидчив, блестящ — скромен... Деньги, бабы, компрометирующие материалы — сие чепуха и суета, всяческая суета. Иной бабник — кремень, и ключ к нему подобрать невозможно, а другой — правоверный сухарь — страдает постыдным пороком, — так он, считайте, ваш. Идти надо от добра и зла, от категорий глобальных, а не от привычно-хрестоматийных исследований. Причем идею, добро, зло каждый возраст принимает по-своему, с оттенками, — вот где собака зарыта. Так

что плюньте вы на этого красного павиана. Если он так открыто вам подставился, отойдите в сторону. Тут вашего труда нет, здесь видна его преажурнейшая работа, поверьте. Зрите в корень, граф, только в корень...

«Завтра мне надо будет приглядеться к хвосту внимательно, — сказал себе Штирлиц, — надо мне посмотреть ему в лицо — там решим. Не нравится мне все это. Как в плохом детективе. Ах, Господи, Господи, писатели вы мои милые, какую муру вы все несете — хреновина с морковиной, как говаривал Спиридон Дионисьевич Меркулов, последний премьер белой России».

Коля шел по другой стороне, стараясь не попадаться на глаза эсэсовцу, что вышагивал впереди. Тот уходил все дальше и дальше от центра, петлял по маленьким улочкам, и тревога Коли росла с каждым часом.

«Где ж его стрелять-то? — думал он. — Сволочь, ходит там, где гарнизоны или проходных дворов нет. Неужели почуял? Не должен. Он ни разу не оборачивался, а в ресторане я сидел в другом зале».

Часа в два ночи, когда луна стала яркой, зыбкой и очень близкой к притихшей, настороженной земле, Штирлиц свернул за угол и вжался в стену дома. Он слышал, как его преследователь, стараясь ступать на мысках, торопился за ним и перебегал улицу, чтобы сократить расстояние.

«Точно. Он водит меня, — понял Штирлиц. — Тут надо все выяснить: по-моему, этот тип не от Шверера. Поглядим в лицо. Всегда надо успеть посмотреть в лицо тому, кто идет следом за тобой ночью по городу».

Коля на бегу переложил «вальтер» из внутреннего кармана пиджака в боковой. Он старался не дышать и ступал на самые мысочки: «Не услышал бы, гад». Коля свернул за угол и — лицом к лицу столкнулся с оберштурмбанфюрером СС. Свет луны делал лицо фашиста непроницаемо черным, а его, Колино, наоборот, осветил холодным, отчетливым светом. Он от неожиданности замер — даже в карман за пистолетом не полез. Какое-то мгновение они стояли недвижно: один запыхавшийся, а второй спокойный, с черным лицом, руки за спиной. И вдруг Коля оглох, а потом снова обрел слух, потому что вокруг него — по улицам, в небо, к луне покатилось слово, которое сказал эсэсовец. Он сказал только одно тихое, отчаянно нежное русское слово:

— Санечка...

ГДЕ АНЯ?

Берг последние дни не выходил из кабинета. Он поставил себе мягкий диван, привез перину и две большие подушки, попросил нового шофера забросить ему макарон, геркулеса и сгущенного молока, сложил все это в шкаф и жил здесь, в зарешеченном тихом кабинете, безвылазно.

Он понимал, что все его поступки, все его телефонные разговоры, связи и прогулки (если бы таковые он совершал) находятся под неусыпным контролем гестапо. Только один раз Берг позвонил к приехавшему в город генералу Нойбуту и попросил его о приеме.

— Приезжайте сейчас, — предложил генерал, — я собираюсь поехать верхом — ужасно устал, надо отдохнуть. У меня есть прекрасная лошадь для вас.

Берг сразу же понял, какую опасность таит в себе предложение генерала покататься на лошадях, несмотря на то что Нойбут был через жену в каком-то дальнем родстве с семьей Кальтенбруннера, начальника имперского управления безопасности. Гестапо — такая организация, которая стоит над личными связями. И если Нойбут мог апеллировать к своему могущественному родственнику, то Бергу апеллировать не к кому: он говорил один на один с генералом, гестапо не может прослушать их разговор, следовательно, гестапо вправе допустить все, что угодно, как по отношению к Нойбуту, так и, в первую очередь, по отношению к Бергу.

— Благодарю вас, мой генерал, — ответил Берг и кашлянул, — мне было бы очень радостно отдохнуть вместе с вами, я представляю себе, какие у вас прелестные лошади, но, увы, я простужен. Может быть, вы назначите мне иной час, когда мы сможем встретиться по очень важному вопросу?

— Хорошо. Завтра в три часа. Не обедайте дома, я угощу вас украинским борщом.

Берг удовлетворенно положил трубку: значит, завтра в три часа гестапо установит аппараты прослушивания в кабинете генерала, и эта беседа будет приобщена к его делу. Следовательно, надо постараться таким образом провести беседу, чтобы она пошла ему, Бергу, на пользу, а не во вред, с одной стороны, и сломала настороженное молчание шефа гестапо по поводу работы с русской разведчицей, которая может вывести Берга к красным, — с другой.

Он думал абсолютно правильно: гестапо не имеет о нем сейчас никаких данных — ни от наружного наблюдения, ни от тех, кто прослушивал его телефонные разговоры, ни от тех, кто копался в его личном деле. Что касается его личного дела, то здесь Берг был спокоен: он никогда не влезал в интриги; разве что только его компрометируют связи с женщинами после того, как он развелся. Но все женщины, с которыми он был связан, являлись чистокровными арийками, с безукоризненным прошлым, из хороших семей. После того как фельдмаршал Бломберг был отстранен от должности только за то, что женился на бывшей проститутке, Берг стал крайне аккуратен. Более того, он понял, что наиболее верными подругами могут быть женщины, состоящие в партии: им нельзя болтать про то, с кем они спали, потому что в силу вступали пуританские законы нацистов. Первым бабником из гитлеровского партруководства после Геббельса был Кальтенбруннер. Он не мог себе позволить такой смелости, какую поначалу позволял Геббельс, переспав со всеми актрисами на киностудии, ибо Кальтенбруннер «ходил» не под Гитлером, который либо слепо верил, либо так же слепо не верил, а под Гиммлером, который самое понятие веры отвергал напрочь — он следил. Поэтому Кальтенбруннер подбирал себе в агентуру женщин — членов партии и развлекался с ними как хотел. В разведке трудно хранить тайны друг от друга: про баб Кальтенбруннера знали все. Каким-то чудом он вылезал из неприятностей, и все начиналось сызнова. Берг скопировал опыт шефа гестапо — его партийные подруги не предали его, это полковник знал, и не предадут, потому что на карту теперь, после покушения, поставлена не столько их честь, сколько физическое существование. Хотя чем черт не шутит — очень может быть, что сейчас начнется такой нажим и такое разбирательство всех сотрудников Канариса, что женщины могут сплоховать и все вывалят следователям: если человеком занимается гестапо — ручаться нельзя ни за кого.

И тем не менее Берг не очень боялся своих связей с женщинами: это были люди, фанатично преданные режиму; но ведь и фанатики сделаны не из минералов, им тоже хочется всего того, чем живут обыкновенные женщины и мужчины.

Главное — успокоить гестапо по поводу своей благонадежности как разведчика. Этого можно добиться — хотя бы в некоторой степени — разговором с Нойбутом.

Тем разговором, который он заранее отрепетирует и постарается провести так, чтобы Нойбут невольно подыгрывал ему.

Он прибыл к генералу без трех минут три: как требует этикет. Адъютант провел его в маленькую гостиную. Стол уже был накрыт. По тому, как адъютант суетился, и по его ослепительным улыбкам Берг понял, что мальчик сотрудничает с гестапо. Берг спросил — доверительно и мягко:

— Мы будем с генералом одни?

— О да, — ответил адъютант, — вы будете вдвоем с генералом, полковник.

Потом он ушел. Берг прошелся по комнате. На маленькой тумбочке стоял телефонный аппарат. Берг улыбнулся: «Нельзя же быть столь наивными. Я десятки раз ставил аппаратуру именно в такие телефоны, постыдились бы, право, считать только себя умными, а возможных противников — слепыми котятами».

Нойбут вошел с некоторым опозданием.

— Простите, я был на прямом проводе со ставкой. Мы прекрасно пообедаем. У нас есть час, целый час. Садитесь сюда, здесь не так бьет в глаза солнце. Какая жара, как вам это нравится, а? Такая странная осень... Борщ великолепен, не правда ли? Немного водки?

— Нет. Благодарю вас.

— Сделались трезвенником?

— Вообще-то я никогда не был пьяницей.

— А я выпью. У русских где-то отбили большой склад, мне привезли в подарок ящик водки. Что вы так дурно выглядите? Прóзит!

— Благодарю.

— Обязательно ешьте борщ с чесноком.

— Спасибо. Но мне теперь как-то неприятно есть чеснок.

— Что так?

— Эта свинья Канарис любил чеснок. И мне теперь чеснок стал отвратителен — из чувства моральной брезгливости.

— Да, это чудовищно. Кто бы мог подумать...

— Я до сих пор не могу прийти в себя.

— Все обошлось, преступники схвачены, они не уйдут от возмездия.

— Это понятно. Мне другое непонятно: как они посмели?

— Расследование ведет лично Кальтенбруннер.

— Тогда я спокоен.

— Ну, что вас привело в мои пенаты? Выкладывайте. Вы же хитрец. Вы всегда держитесь в стороне от начальства. Уж если пришли ко мне — значит, случилось что-то интересное. Что замыслили, что хотите предложить?

— Генерал, я пришел не с этим, хотя кое-что перспективное у меня имелось.

— Ну, ну, пожалуйста, я весь внимание.

— Генерал, я прошу вас ходатайствовать перед командованием о переводе меня в передовые части.

— Что?!

— Позвольте курить?

— Да, пожалуйста...

— После всего случившегося в ставке фюрера, после коварства Канариса я чувствую себя морально ответственным за то, что работал в военной разведке и не разглядел врага.

— Вы с ума сошли! Я три года работал с Вицлебеном и год с Паулюсом. Так неужели мне винить себя в этом!

Берг похолодел от радости: он точно сыграл, он рассчитывал на реакцию Нойбута, но не на такую прекрасную, лучше не придумаешь.

А генерал продолжал:

— Нельзя быть бабой. Меня так же, как и вас, гневит предательство этих людей! Но неужели из-за изменников перечеркивать самого себя? Я только сейчас понял причину наших неудач на фронте: это следствие измены! Теперь, когда мы очистились от внутренней хвори, все переменится к лучшему! Смотрите — всколыхнулся тыл, идут народные демонстрации, громадный приток средств в фонд победы, а сколько мальчуганов, истинных солдат, прямо-таки рвутся в армию! Берг, вы — баба! Я не знал этого за вами. Талантливейший военный разведчик — и вдруг этакое интеллигентское слабоволие!

— Генерал, это кризис наступил у меня сравнительно недавно.

— Почему?

— Потому, что мне дали почувствовать недоверие.

— Не порите ерунды! Кто это мог сделать?! Мне прекрасно известно, как относится к вам командование группы армий!

— Мне выразили недоверие в той организации, которая мне представляется совестью нашего государства. Я имею в виду гестапо.

— Скажите, пожалуйста, — после некоторой паузы спросил Нойбут, — кто именно из работников гестапо выразил вам недоверие?

— Шеф восточного управления бригадефюрер Крюгер.

— Это же не центральный аппарат.

— Для меня нет разницы — периферия или центр.

— Как на духу: вы не чувствуете своей вины? Какой-нибудь, самой мелкой? Невольной?

— Я готов завтра же предстать перед судом — я чист перед родиной и фюрером. Поэтому я и прошу отправить меня на передовую. Я готов своей кровью искупить главную мою вину — я столько лет работал в аппарате у этого негодяя и не смог его понять.

— Вот что... Я переговорю в двух аспектах: с командованием группы армий — по официальной линии, а неофициально я свяжусь с Кальтенбруннером. Я высоко ценю вас, Берг. Я готов сражаться за вас. В такой же мере решительно, как и прикажу вас расстрелять, если мне сообщат любые, самые незначительные данные, хоть в какой-то мере обличающие вас в контактах с заговорщиками.

— Генерал, вы не можете себе представить всю степень моей благодарности. И тем не менее позвольте мне оставить вам мой письменный рапорт. Он мотивирован. Это — документ. И поверьте, если он записан химическими чернилами, то продиктован кровью.

— Хорошо, хорошо. Важные дела надо утрамбовывать пищей. Вы не оценили искусства моего повара.

— Борщ изумителен.

— Немного водки?

— Теперь да. Я сейчас словно в детстве после исповеди.

— Прозит!

— Прозит!

— И сегодня же, не медля, приступайте к работе. Это не пожелание, это — приказ.

— Слушаюсь, генерал. Хотя это сопряжено с некоторыми трудностями: операция, поверьте слову, необыкновенно перспективна. Речь идет о перевербовке русской разведчицы и о моем дезинформационном контакте с представителями Генштаба Красной Армии. Эта операция не может развиваться успешно до тех пор, пока гестапо Кракова — к слову сказать, это наша совместная операция, и я не могу присваивать все лавры армей-

ской разведке, — пока гестапо Кракова не выделит своих людей, необходимых в этой решающей фазе.

— Приступайте к работе незамедлительно! Встряхнитесь! Ну, ну! Вот так!

— Генерал, я очень, очень признателен вам.

— Э, перестаньте, — поморщился Нойбут. — Я ненавижу оказывать благодеяния, но считаю для себя непреложным законом выполнять воинский долг. Я его выполнил. И по-моему, вы запомнили: я буду сражаться за вас до той поры, пока убежден в вашей преданности родине. Если я буду поколеблен в моей вере — я с такой же убежденностью отдам вас в руки правосудия.

Назавтра вечером в кабинет к Бергу пришел Гуго Швальб — из краковского гестапо. Примерно через полчаса после его прихода зазвонил телефон. Берг снял трубку.

— Хайль Гитлер! — услышал он раскатистый, полный дружелюбия голос шефа гестапо Крюгера.

— Хайль Гитлер! — ответил Берг.

— Мой парень уже у вас? — спросил шеф.

— Да.

— Ну и хорошо. Как настроение? Возьмем в оборот русскую?

— Теперь наши усилия удвоились.

— Не осторожничайте, полковник! До чего же вы хитрый и осторожный человечина, Берг! Желаю вам успеха.

— Спасибо.

— Держите меня в курсе.

— Обязательно.

— Швальб — толковый парень.

— Да, мне кажется.

— Если он станет зарываться, напомните ему, что он под вами, а не вы под ним.

— Благодарю за доверие.

— Перестаньте вы чинопочитательствовать! С каких пор мы стали чинушами, Берг? Крепко жму руку!

— Жму руку. Большое спасибо.

— За что?

— Просто так. Спасибо — и все тут.

— Ну, пока. Звоните из радиоцентра. Если меня не застенете, ищите ночью в отеле. Хайль Гитлер!

— Хайль Гитлер!

В тот же день Аня в сопровождении Берга и Швальба была перевезена в Шкотув — маленький городок, расположенный в предгорьях Карпат.

ГРОМАДНОЕ НЕЗРИМОЕ

Как и всякая тирания, ослепленная жаждой мирового владычества, основанного на пресловутых принципах расового превосходства, подтверждаемого цветом кожи, формой черепа, особым разрезом глаз либо еще каким бредом — частности в данном случае не суть важны, — гитлеровский рейх ежедневно, ежечасно и ежеминутно рождал поначалу стихийное, а потом организованное и осознанное сопротивление как идеям, так и практике этого громадного аппарата подавления народов.

Гитлеровская военная, партийная и государственная машина своим тупым злодейством и наивной хитростью рождала героев Сопротивления, которые не хотели, а вернее сказать, не могли жить в условиях произвола, государственного кретинизма и полного пренебрежения к человеческому достоинству.

В гитлеровских концлагерях вместе с русскими коммунистами сидели французские священники; социал-демократы томились в одних бараках с монархистами; лауреаты Нобелевских премий спали на одних нарах с неграмотными крестьянами; пятилетних еврейских детей сжигали в одних печах вместе с русскими профессорами; бельгийских министров истязали в одних камерах с норвежскими рыбаками.

Гитлеровцы считали, что своей практикой уничтожения всех, даже в малой степени, инакомыслящих они укрепляют стержень веры арийцев. Эта практика массового подавления распространялась в такой же мере и на тех немцев, которые молились иным богам. Чем дальше, тем сильней оформлялось массовое сопротивление гитлеризму как в самой Германии, так и во всех странах мира, оккупированных фашистами. Гитлеровцы игнорировали законы развития, они считали, что если фюрер сказал так — т а к и будет. Но они забыли, что всякое действие рождает и не может не рождать противодействия.

Командир партизанского отряда «Соколы» Януш Пшиманский был член ППС — польской партии социалистов. До войны он часто схватывался с коммунистами. После побега из концлагеря в сорок первом году, в ав-

густе, он по-прежнему считал себя не во всем согласным с коммунистами. В осенние дни сорок первого года Пшиманский ушел с тремя своими товарищами в лес. Зимой сорок второго года его отряд состоял из ста человек. Из них сорок были коммунисты. В сорок четвертом году в его отряде было уже семьсот бойцов. Начальником штаба стал коммунист.

«Сначала надо разбить нацистов, — говорил Пшиманский, — потом разберемся с делами в нашем доме. Ребята из компартии отменно дерутся за Польшу — этого у них не отнимешь».

Когда в отряд пришел крестьянин из Яблунивец, он встретил первым начальника штаба и рассказал ему, что неподалеку от его дома грохнулась какая-то странная штука, похожая на самолет, но с маленькими крыльями, длинным острым носом и без пилота.

Начальник штаба отвел крестьянина к Пшиманскому и сказал:

— У деда интересная новость. Послушай — дашь команду, что делать.

И ушел.

Через час группа разведчиков ринулась на лошадях с тремя повозками вместе с дедом к тому месту, где грохнулся этот диковинный самолет с короткими крыльями. Пшиманский слушал Лондон, он знал о ракетных снарядах фау.

Ночью эту рыбообразную махину привезли в партизанский лагерь. Пшиманский вызвал начальника штаба и сказал:

— Слушай, Янек, поступим так: мы свяжемся и с Лондоном и с красными. Если мы начнем темнить с одними во имя других, тогда выиграют только коричневые. Кто первый придет за этой штукой — тому ее и передадим. Ты не станешь меня обвинять в национализме? — улыбнулся Пшиманский. — По-моему, я поступаю верно.

— По-моему, тоже, — ответил начальник штаба.

Пшиманский связался с Лондоном и со штабом фронта Красной Армии, дал свои координаты и назначил следующий сеанс для связи, чтобы получить согласованный ответ от союзников.

Но, когда эти шифровки передавались Пшиманским, эсэсовцы из охраны заводов Вернера фон Брауна уже оцепили район, где предположительно могла оказаться ракета, и начали скрупулезные поиски. А когда они обна-

ружили в песке следы от ракеты и увидели отпечатки конских подков и людских сапог, войска СС были подняты по боевой тревоге.

Сторожевое охранение Пшиманского обнаружило колонны фашистов. Пшиманский поднял свой лагерь — он понял, что здесь его захлопнут, как в мышеловке, и дал приказ уходить в горы: там есть где отсидеться.

Штирлиц получил из Москвы задание — узнать в Кракове все, относящееся к похищенному фау, — снаряд имел стратегическое значение. Командование Красной Армии рассчитывало подключить к дальнейшим практическим действиям группу польских подпольщиков, связанных с Вихрем, в случае если Штирлицу удастся обнаружить предположительную передислокацию отряда Пшиманского по данным гестапо. Это был риск, но это был необходимый риск. А обдуманный, необходимый риск, как правило, рождает удачу. Только на этот раз удача пришла не от Штирлица, — гестапо потеряло отряд Пшиманского, — «Соколы» оставили больше половины бойцов, сдерживая и прикрывая отступление, но основное ядро отряда от преследования оторвалось, и партизаны затаились в Карпатах.

Посланный Пшиманским в Краков на связь с подпольем, его начальник штаба пришел к Седому наутро после экспроприации. Они вместе сидели в тюрьме в тридцать третьем и с тех пор крепко дружили. От Седого новость ушла к Вихрю. Тот подключил к этому делу Колю. Коля сказал отцу. Отец начал работу незамедлительно.

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

Аню поселили в маленькой комнате без окон, в полуподвальном помещении. Когда ее везли в машине по залитому солнцем городу, а после по шоссе, а потом через бурый, синий, коричневый, белый осенний лес, она жадно смотрела в окна машины и думала, что сейчас, нет, не сейчас, а вон за тем поворотом, нет, не за тем, а за следующим, нет, вон в той низине на шоссе выскочат Вихрь, Седой и Коля с автоматами и гранатами, а у Берга нет автомата, и у этого второго тоже ничего нет; наши полоснут по шинам, машина ткнется носом в асфальт, и она бросится к Вихрю, сначала к Вихрю, а потом к Седому и Коле, но сначала она будет долго стоять возле Вихря, а он, наверное, поцелует ее, и она тогда тоже

сможет поцеловать его, и ничего в этом такого не будет, и тогда она сможет обнять его за шею и потереться лбом о его колючую щеку.

Но так никто и не вышел из леса с автоматами наперевес и никто не освободил ее. Машина въехала в открытые зеленые ворота. Аню высадили и через тихий, усаженный цветами двор провели в аккуратный коттедж, в полуподвал, и там заперли.

Аня сняла курточку, положила на столик, прошлась несколько раз по маленькой аккуратной комнатке взад и вперед, измеряя ее, — это она сделала помимо разума, просто по какой-то изнутри ей подсказанной тюремной привычке, легла на кровать, ожидая, что сейчас кто-нибудь невидимый крикнет из коридора: «Встать!»

Но никто не крикнул. Она лежала спокойно и думала:

«Ну-ка, давай еще раз все взвесим. Скажи сейчас честно самой себе: хоть на тысячную долю процента ты веришь этому немцу? Нет ли в этом твоем молчаливом согласии сначала поработать на них, а потом сбежать, подспудного желания спасти свою жизнь, уцепившись за ту соломинку, которую он протянул своим согласием работать на нас? Что, не можешь сразу ответить? Ладно, я подожду. Я могу погодить. Только честно ответь, чтобы там, в самой глубине, не осталось сомнения».

Берг долго сидел вместе со Швальбом над уточнением и перепроверкой первой дезинформационной шифровки. Он заново оценивал каждый факт, сверял с большой оперативной картой дислокацию воинских частей, перепроверял написание фамилий, допуская необходимые в русском языке искажения. При всем этом он старался запомнить неопровержимые доказательства, которые впоследствии помогут ему объяснить представителям большевиков, каким образом строилась эта дезинформация и каково же на самом деле положение на фронте.

— Она, кстати, дала вам подписку о согласии работать? — спросил Швальб.

— Зачем же ее сразу унижать подпиской? Пусть она передаст цикл радиограмм, а уж потом мы попросим ее подписаться под обязательством. Торопливость может оттолкнуть ее. И потом, не забудьте — я ее союзник, я собираюсь изменить родине.

Швальб засмеялся.

— Я бы не смог так, — сказал он, — меня бы выдали глаза.

— Не говорите об этом никому, — посоветовал

Берг, — это звучит как утверждение о профессиональной непригодности для работы в разведке.

Перед поездкой в радиоцентр Берг зашел в гестапо, к Крюгеру, и сказал:

— Мне не хотелось говорить в присутствии вашего сотрудника о сугубо личном. Давайте-ка я оторву у вас несколько минут, а?

— Отрывайте.

— У меня есть предложение.

— Так?

— Что, если я выйду из игры с русской девицей?

— Не понял...

— Допустим, Швальб вызывает ее в мой кабинет и говорит, что я арестован и что он теперь должен как можно скорее с ее помощью поработать несколько дней на радиоцентре, а потом вместе с ней уйти к большевикам. Может быть, даже намекнуть ей про недавние события в ставке фюрера, дать прочесть газеты...

— Мне кажется неумным. У нее или создастся впечатление, что наша армия сплошь состоит из предателей, которые только и ждут, как изменить родине, или она сразу поймет игру. Разве можно?! Что вы, полковник?!

— Я должен сказать вам, — глухим голосом, со скорбными нотками сказал Берг, — что недавно я был у одного из своих воинских начальников и просил отправить меня в действующую армию, на передовые рубежи борьбы с большевизмом. Я еще не получил ответа от моих руководителей.

Шеф гестапо чуть усмехнулся: он вчера снова прослушал беседу полковника с Нойбутом, делая для себя выписки, которые тут же приобщил к досье.

— Ну что ж... — сказал он. — Это серьезно, это очень серьезно. Я понимаю ваше желание. Это желание истинного немца. Только... простите за прямоту вопроса: что вас побудило обратиться с таким рапортом к вашему начальству?

«Болван, — сразу отметил для себя Берг, — я же в разговоре с ним не употребил слова «рапорт». О рапорте я говорил только Нойбуту. Как он дешифрует себя...»

— Видите ли... — медленно ответил Берг все тем же глуховатым, скорбным голосом, — мне показалось, что после свинского предательства этих негодяев, поднявших руку на фюрера, вы в некотором роде выразили мне недоверие. Я могу понять вас, не думайте, я не обижен на вас. Я поступал бы так же...

— Мне приятно, что вы все верно поняли, полковник. Впрочем, мои действия не носили характера, оскорбляющего ваше достоинство офицера.

— Если бы это было так, я не сидел бы сейчас в этом кабинете.

— Значит, наша с вами беседа ночью, после покушения, расстроила вас?

— Да.

— Забудьте об этом.

— Это ваше личное расположение ко мне или директива центра?

— Что для вас представляется более важным?

— И то и другое — в одинаковой степени.

— Ну, в таком случае, считайте, что вам оказано двойное доверие: и центром и мной.

— Значит, вы отвергаете мое предложение?

— Какое?

— О моем самоотстранении от работы с русской разведчицей?

Шеф гестапо поднялся и сказал:

— Полковник, я не слышал этого предложения.

После того как дезинформация была уточнена и утверждена Бергом по согласованию с шефом гестапо и генералом Нойбутом, полковник и Швальб вышли погулять по двору. Они неторопливо прохаживались по песчаным дорожкам, переговариваясь отрывистыми, ничего не значащими фразами.

«Как ее отсюда надежнее вывести? — думал Берг. — У ворот солдат. У калитки, которая ведет в лес, автоматчик. Через забор она не перелезет, да потом ее сразу же подстрелят».

— К грозе, — сказал Швальб. — Очень парит.

— Небо чистое, — ответил Берг. — Может протянуть мимо.

— Люблю грозы. Это — как очищение души, — сказал Швальб.

«К тому же и лирик, — подумал про себя Берг. — А что это за зеленая будка? Сортир?»

— Все-таки горы — очень красиво, — сказал Швальб, — никогда не устаю любоваться горами.

«В коттедже только один туалет, как же я забыл об этом? Все гениальное — просто и очевидно. Она уйдет через сортир. Он пристроен вплотную к забору. Надо будет клещами выдрать там несколько гвоздей. А как ее

отправить туда? Он ведь для охраны... Так... От меня этот приказ исходить не может».

«Наверное, все-таки, — ответила себе Аня и почувствовала, как у нее заледенели пальцы ног, — наверное, все-таки в моем согласии было нечто от желания спасти себя. Я не верю ему даже на тысячную долю процента. Значит? Что же дальше-то? Я откажусь — пусть стреляют. А если он действительно хочет установить с нами контакт? Тогда мне этого не простят. Но и я не прощу себе, если ошибусь и если он окажется обыкновенным немцем — как все, а я стану работать на него, а потом они посмеются надо мной и вышвырнут, как собачонку, которая больше не нужна. Нет. Нет. Пусть стреляют. И все. Не буду я ничего делать для них».

Берг спросил:

— Послушайте, Швальб, где тут комната, оборудованная для прослушивания разговоров?

— Любую можно оборудовать.

— Нет, я спрашиваю о той, что уже готова для прослушивания. Я бы поговорил с русской, а вы бы послушали. Это не от моей гордыни, поверьте: просто вам надо послушать манеру нашего разговора, чтобы вы были моим антиподом в те дни, когда я буду уезжать и вы станете работать с ней один.

— Я сейчас позвоню в Краков, они пришлют из управления нашего мастера.

— Хорошо.

— К вечеру мы все оборудуем.

— Наверное, целесообразней это сделать у нее в комнате.

— По-моему, там не получится: голые стены, причем довольно толстые, подвальные. Под кровать не воткнешь — заметит, сволочь. Надо где-нибудь наверху, а?

— Ну, договорились. Подыщите комнату — я полагаюсь на вас.

Швальб пошел соединяться с Краковым, а Берг спустился к Ане. Он плотно закрыл за собой дверь, медленно запер ее, присел на краешек стула, оглядел потолок и стены — нет ли где отдушины, там всегда можно установить звукозаписывающую аппаратуру, и сказал:

— Слушайте меня внимательно.

— Я не хочу вас слушать.

— То есть?

— Я раздумала.

— Что вы раздумали?

— Я не стану ничего передавать нашим.

Берг устало вздохнул: именно этого он и ждал.

«А может, махнуть на все рукой? Будь что будет? Нельзя... Мне ясно, что будет. Конец неминуем. Зачем гнить в русском лагере, когда можно выскочить из всей этой передряги? Зачем отдаваться течению, если можно выбраться на берег, — думал он, — и путь этот берег мне неприятен, все-таки это берег, а не илистое дно».

Берг достал из кармана сложенную вчетверо власовскую газету, в которой было сообщение о попытке покушения на Гитлера.

— Посмотрите внимательно, — и он указал ей мизинцем на фотографию разрушенного бункера в Растенбурге: выбитые окна, обвалившийся потолок, перевернутые столы, а за разбитыми стеклами — нежная, молодая березовая роща.

Аня была готова к борьбе, она все успела продумать про себя: как она будет отказывать, как она будет терпеть боль и муку, как она примет смерть. Она только по молодости лет и по неопытности своей не подумала о том, как себя будет вести Берг. Она ждала крика, ругани, побоев. Всего, но только не этого короткого сообщения о покушении на Гитлера, которое совершили генералы вермахта, изменники родины.

«Когда он сказал мне, что хочет работать на нас? — вспоминала Аня. — До этого покушения? До двадцатого? Неужели он действительно хочет помогать нам? А может, это они нарочно для меня напечатали? Нет. Этого не может быть. Я для них мелкая сошка. И потом, они бы не посмели — даже для Вихря, если бы он попал к ним, — печатать фальшивку про покушение на Гитлера. Они могли бы напечатать все, что угодно, только не это. Значит, все совсем не так просто, как мне казалось. Значит, я обязана снова принимать решение».

И снова Аня, как тогда, после первой беседы с Бергом, показалась себе маленькой, жалкой, глупой и ничего не понимающей.

— А с тех пор прошло время, — сказал Берг. — И время работает на нас.

Он взял у нее из рук газету, свернул ее, спрятал в карман, тихо, на цыпочках подошел к двери, неслышно повернул ключ и, быстро распахнув ее, вышел из комнаты.

Вечером Швальб сказал Бергу:

— Господин полковник, я покажу вам оборудованную комнату.

— Спасибо. Я думаю, беседу с ней стоит провести сразу же после первого сеанса радиосвязи. Все покажет сегодняшний вечер. Я, знаете ли, боюсь женщин. Вообще — всех, а разведчиц, да еще русских, — особенно.

— Думаете, может запсиховать?

Берг усмехнулся и спросил:

— Вы сами-то женаты?

— Свободен.

— Тогда я прощаю вам этот вопрос, чистый в своей наивности.

— Сколько времени?

— У нас еще есть время. И, пожалуйста, не надевайте при ней черную форму — она боится гестапо.

— Меня это радует.

— Да, да, конечно, приятно, когда тебя боятся враги, но оперативная надобность диктует иные законы.

Швальб поглядел в окно: Аня ходила вокруг клумбы и нагибалась, разглядывая последние, тронутые ночными холодами цветы.

— У нее дивная фигурка, — сказал Швальб, — и очаровательная морда.

— Вы что, с ума сошли? Она же славянка. Я ими брезгую... Я не могу войти в туалет, если там был славянин...

— Между прочим, у нас только один туалет, — заметил Швальб.

— Значит, вы счастливчик, лишенный брезгливости, — сказал Берг, глянув на часы. — Пора. Я пойду за ней. Через полчаса ее Центр выйдет на связь. Займитесь радистами — пусть они все как следует отладят. Благословите меня.

— Я атеист, полковник, и горжусь этим. Пусть идиоты в сутанах дурят головы славянам и волосатым итальяшкам.

— Каким, каким? — засмеялся Берг. — Занятное определение для союзников! Они бы обиделись...

Он зашел к Ане и сказал ей на ухо, одними губами:

— Сегодня ночью в туалете на улице, куда вас поведет солдат, будут вытащены все гвозди: раздвиньте доски — и убегайте. Идите в горы. До Рыбны тридцать километров. Я буду ждать весточек от вас каждую

субботу и воскресенье на скамейке возле ворот Старого города, с девяти до десяти. Пусть ваш человек скажет: «Привет от вашей девочки». Запомнили?

— Да.

— Пошли.

ПОДАРОК ШТИРЛИЦА

Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру

Строго секретно. Экземпляр № 2
Напечатано в четырех экземплярах.
Краков, управление гестапо.

Хайль Гитлер!

Рейхсфюрер!

Почтительно докладываю: работа по выявлению, отбору и утверждению кандидатов на пост дежурных офицеров СС в форте Пастерник, ответственных за уничтожение Кракова, закончена.

Нами были просмотрены личные дела двадцати офицеров. Было запрошено центральное управление кадров в Берлине, на месте мы провели ряд оперативных мероприятий, которые позволяют нам со всей ответственностью рекомендовать для выполнения этого почетного и ответственного задания двух офицеров СС.

Ганс Либенштейн, 1918 года рождения, сын функционера партии Рихарда Либенштейна, известного Вам по великой баварской революции, когда он вместе с фюрером первый раз заявил миру о непреклонном стремлении германской нации к великим идеям национал-социализма.

Ганс Либенштейн прошел все ступени развития, которые позволяют судить о нем как о глубоко принципиальном офицере. Он никогда и ни при каких условиях не пытался прятаться за спину отца, но всегда рвался в первую шеренгу борцов, на самые опасные участки великой битвы. Он три раза был ранен, руководил акциями уничтожения в Киеве и Львове. Награжден двумя рыцарскими крестами и солдатским крестом, а также медалью за московский поход.

В быту производит впечатление человека,

воспитанного в лучших традициях национал-социализма, — скромен, честен, с друзьями общителен, не чурается компании, но не пьет, не курит, физически абсолютно подготовлен, в отношениях с женщинами сдержан.

Густав Либо, 1922 года рождения, офицер СС, родился в семье коммунистов в Гамбурге. Отец погиб во время гамбургского мятежа, мать была заключена в концентрационный лагерь и там расстреляна в 1934 году при попытке к бегству.

Юноша воспитывался в приюте для сирот, затем в организации гитлерюгенд, впоследствии получил блестящие характеристики в молодежной организации «Работа принадлежит народу», окончил офицерскую школу СС и два года воевал на фронте с большевизмом. Награжден рыцарским крестом, двумя солдатскими крестами, медалью за кавказский поход и за победу в Крыму.

Либо не знает своей истории. Он предан идеям великого фюрера, справедливо полагая, что сирота в любой другой стране мира, где господствует еврейская плутократия, большевизм или империализм, обречен на уничтожение и только в рейхе он стал офицером СС, защитником нации, героем, о котором знает народ.

Более убежденного борца за идеалы национал-социализма, чем Густав Либо, не только мы, сотрудники краковского управления, но и коллеги из управления кадров центра не могли бы назвать из плеяды молодых людей, предложенных армейскими инстанциями в качестве кандидатов на выполнение Вашего специального задания по уничтожению очагов славянской культуры.

Прилагая характеристики НСДАП и фотографические карточки Либенштейна и Либо, сообщаю их адреса:

1. Либенштейн — Краков, улица Святого Яна, дом 26, частная квартира Гуго Штрассена.

2. Либо — Краков, улица Альфреда Розенберга, дом 42, квартира 4.

Начальник Восточного управления гестапо (Краков) бригадефюрер СС *И. Крюгер.*

С этим документом в кармане фон Штирлиц шел по вечернему городу на встречу с сыном. Он был в липком поту. Он так никогда не волновался — никогда, с той минуты, когда уходил с белыми пароходами из Владивостока.

Вечер был багряный, во всем была тишина и спокойствие. Встречные патрули — он был в форме — вытягивались перед ним по стойке «смирно» и проходили мимо гусиным, длинным шагом.

Увидев Колю, он чуть не побежал ему навстречу. Но сдержал себя, заложил руки за спину и, повернувшись, медленно пошел назад, к отелю, где стоял большой «майбах», который он взял у шефа краковского гестапо, чтобы посмотреть окрестности города.

СЕАНС

— Слушайте, — сказал Берг Швальбу перед началом первого сеанса, — я волнуюсь, ей-богу, у вас нет водки?

— Сейчас я пошлю.

— Да, да, пошлите, — попросил Берг, — напиться надо в обоих случаях: если она сделает то, что мы для нее зашифровали, и в том даже случае, если она начнет истерику. Давайте быстренько, да?

Швальб спустился в дежурку и сказал унтер-офицеру, который сидел возле телефонов:

— Отправьте кого-нибудь в офицерский клуб: пусть принесут водки и хороший ужин.

— Слушаюсь.

— И обязательно чего-нибудь солененького.

— Обязательно.

— И пусть достанут пива.

— Я постараюсь.

— Да, если русская попросится в туалет, отведите ее на улицу, в зеленый сортир: я брезгую славянами.

— Ясно.

— Будьте с ней вежливы.

— Конечно.

— Чем вы ее кормили сегодня?

— Солдатским ужином.

— Хорошо.

Берг стоял наверху и тихо ликовал: Швальб угробил себя. Если побег русской удастся, тогда при опросе всех здешних солдат-радистов, унтер-офицеров и офицеров этот дежурный унтер даст показания, что Швальб,

именно Швальб, и никто другой, дал указание принести водки, пива и чего-нибудь солененького. И что именно Швальб велел водить русскую в солдатскую уборную на улицу.

«Гвозди из досок я вытащу, когда она будет заканчивать сеанс. Хотя нет, видимо, рано. А может быть, как раз? Потому что, если она сразу попросится в туалет и там все будет забито, она может решить, что я с ней играл, и устроит истерику. Да, сейчас я должен это сделать. Уже темнеет, никто не заметит, что гвозди вытащены. Ночью вообще трудно отличить на дереве черную дырочку от заржавевшей головки гвоздя. Клещи у меня. Да, пожалуй, сейчас. А когда я поведу ее после сеанса к ней в комнату, я предупрежу, чтобы она уходила ночью, уже после ужина, но главное — после того, как уеду я. А может быть, вообще сегодня не надо? Может быть, дня через три? Опасно. Они ж могут обнаглеть после первого сеанса. Они решат, что она уже целиком в их руках. Да. Сейчас. Только сейчас», — решил Берг и сказал Швальбу:

— Через пять минут начало. Идите за ней.

Он дождался, пока Швальб скрылся в комнате, и быстро вышел из коттеджа. Было темно и сыро. В горах урчал гром. Берг легко и быстро пошел в маленькую зеленую уборную, сжимая в кармане клещи.

Аня оцепенела у передатчика, услышав далекие позывные Бородина. Перед ней на столе лежала радиограмма, которую она сейчас, на глазах у трех немцев, должна передать Бородину. Она должна передать длинные колонки лжи: о передвижении несуществующих дивизий, о строительстве мифических аэродромов, смене танковых полков, расположенных в прифронтовой полосе, о том, что сюда направляется танковая дивизия СС и что их группа ждет людей из Центра.

Не нужно быть большим военачальником — достаточно быть простым разведчиком, чтобы оценить всю важность этих сообщений. Наверняка сегодня же ночью эта дезинформационная шифровка, составленная фашистами, уйдет в Генштаб: если в прифронтовой полосе советскими разведчиками собраны такие важные данные, то, видимо, здесь, на этом фронте, Гитлер замышляет что-то важное. Если полным ходом в лесах строятся по ночам аэродромы, если подтягиваются новые части

танковых дивизий СС, если на передовые позиции двигаются свежие части из резерва ставки Гитлера, то на этом участке тысячекилометрового фронта следует ждать возможных контрнаступлений. Значит, если эта шифровка будет подтверждена — а черт их, немцев, знает, какие они еще хитрости могут придумать, чтобы подтвердить свою дезу, — тогда, возможно, наши части будут переброшены с другого участка фронта именно сюда, а там-то, на ослабленном участке, фашисты и сконцентрируют свой вероятный удар.

Аня думала обо всем этом, искренне полагая, что сразу после этой ее шифровки Бородин доложит начальнику штаба фронта, тот разбудит бритоголового, громадного командующего, маршал в свою очередь немедленно позвонит Сталину и назавтра же сюда, против несуществующих танковых дивизий СС, будут переброшены наши подкрепления и, таким образом, оголен тот участок фронта, который фашисты нацелили для удара.

Видимо, если бы не было этого искреннего убеждения у нашего человека, что его, и только его, поступок, помысел и даже внутреннее желание принесет неисчислимые беды фронту, всей стране, тогда победа далась бы куда как бóльшими жертвами.

...В комнату к радистам Берг вошел с опозданием, внимательно поглядел на Аню, и — странное дело — ей захотелось, чтобы он посмотрел на нее не так холодно и пренебрежительно, но ободряюще: мол, ничего, ничего. Ты уйдешь и передашь своим, что это все — фальшивка, а потом я встречусь с твоими друзьями и стану помогать им, а за одну ночь ничего не случится, не думай.

— Ну, давайте, — сказал Берг, — они там ждут.

Аня сразу же увидела Бородина, который, верно, пришел к радистам, потому что волнуется: сколько дней Вихрь молчит, что стряслось? Аня представила себе, как он обрадуется, услыхав ее в эфире, как он поглядит на капитана Высоковского, как тот цыкнет зубом — когда капитан восторгался чем-то, он обязательно цыкал зубом и опускал уголки рта вниз, словно обиженный ребенок. Она представила себе, как Бородин упрется локтем в колено, закурит и будет внимательно слушать, что ему расшифровывают радисты.

— Ну, ну, — сказал Берг, — мы пропустим время.

Он чуть кивнул Ане, выбрав тот миг, когда Швальб отошел за пепельницей. Он кивнул Ане и на мгновение прикрыл глаза.

И Аня начала отстукивать цифры: «*12, 67, 42, 79, 11, 55...*»

И чем дальше — с отчаянной яростью — она отстукивала эти цифры предательства, тем большая в ней поднималась волна удушающей гадливости к себе самой.

В маленькой каминной стол был сервирован на две персоны. Берг сидел спиной к пылающему камину — ночи были холодны тем особым сентябрьским холодом, который сопутствует жарким дням в отрогах гор. По лицу Швальба метались белые блики — то острые, то длинные. Они уже много выпили. Берг от водки бледнел, под глазами у него залегали сиреневые пятна, а Швальб, наоборот, раскраснелся, движения его сделались несуразно быстрыми, и свою берлинскую речь с опущенным звуком «г» он перемежал русскими фразами.

— Я, как никогда раньше, верю в нашу победу, — говорил он. — Как никогда раньше! Япония, Испания, Португалия, вся Европа стиснута нашими союзниками, которые еще не вступили в борьбу, но которые вот-вот вступят. Вы думаете, почему до сих пор не поднялась Ирландия? Не потому, что там ничего не готово! Нет! Рано! Еще рано! А Турция? Я понимаю фюрера: пусть они зарвутся, пусть они понюхают успех. Они не могут пока еще даже представить себе, что у них в тылу. Это не монолит, как у нас, а весенний лед, разъеденный водой. Фюрер приурочит массированный удар, когда в подземельях рейха будет закончена работа над новым сверхсекретным оружием. Этот массированный удар опрокинет Запад, поставит его на колени, а тогда нам ясно, что делать дальше. Нам ясно, что дальше делать.

— Я радуюсь, глядя на вас, — сказал Берг, — меня восторгает ваш великолепный оптимизм. Если бы мне сейчас не ехать к шефу, я бы выпил еще водки.

— Поезжайте завтра. Все равно вы приедете со щитом.

— Со щитом приедем мы. Я никогда не отделяю себя от тех коллег, вместе с которыми провожу операции, а кроме того...

Швальб захохотал:

— Значит, вы не отделяете себя и от вашего друга Канариса?!

— Вы, по-видимому, перепили, — сказал Берг и поднялся из-за стола, почувствовав, что сама судьба помогает ему немедленно уехать. — Вам лучше проспаться, Швальб.

— Я пошутил, полковник...
— Так шутят болваны.
— Что, что?!
Берг поднялся из-за стола и сказал:
— Честь имею.
Швальб что-то кричал ему вслед, но Берг не обернулся: он зашел к радистам, взял папку с шифрованной радиограммой, спустился во двор, сел в автомобиль и уехал.
Все дальнейшее подтвердило его незаурядный ум и настоящий талант разведчика: Швальб действительно вызвал дежурного унтера, после того как дососал бутылку, и сказал:
— Я вернусь часа через два.
И пошел в городок. Ему понадобилась женщина.
Аня постучала в дверь. Когда унтер отпер дверь, она сказала:
— Я должна поговорить с оберстом Бергом.
— Ду-ду, — унтер посигналил голосом, изображая автомобильный гудок. — Нет. Уехал.
Аня походила по своей комнате, а потом снова постучала в дверь и сказала:
— Туалет. В туалет хочу, ферштейст?
Унтер кивнул головой и повел Аню в зеленую дощатую будку. Она закрылась там, а унтер, как ему было приказано Швальбом, остался стеречь ее.
«Почему женщины все это делают значительно дольше, чем мы? — думал он, расхаживая по песчаной дорожке. — Моя Лотта всегда запирается в ванной на полчаса. Они мне велели обходиться с этой девкой заботливо. Не кричать же ей, чтобы она скорее все там заканчивала? Какую же мне посылку отправить отсюда Лотте? Здесь хорошие толстые вязаные чулки. Горцы вообще умеют делать теплые вещи, без них в горах пропадешь. У всех горцев худые ноги, как палки. А у горянок, наоборот, прекрасные жирные ноги. Черт, как же это важно, чтобы у женщины были жирные, сильные, стройные ноги. Французы любят худых. Несчастная, вырождающаяся нация. Почему здесь такие холодные ночи? Роса падает, как поздней осенью. Хотя в Веймаре тоже холодно по ночам в сентябре. Интересно, а о чем я думаю в промежутках, когда ни о чем не думаю? Нет, сейчас тоже думаю про то, что бывает, когда ни о чем не думаю. Давно я не ходил за грибами. Гешке на прошлой неделе собрал два ведра прекрасных

грибов. Их можно засушить и отправить домой. Грибной супик зимой — что может быть прекраснее. Черт, а ведь надо поужинать. Сейчас я отведу ее в комнату, а сам поужинаю. Надо будет взять то, что осталось в каминной. Там у них наверняка остались вкусные вещи. Им принесли жареную баранину, кровяную колбасу с чесноком и сыр. Почему эти горцы кладут в колбасу столько чесноку? От них воняет так, что невозможно быть в одной комнате. Попробуй разреши им ездить в одних вагонах с нами, что тогда получится?»

— Пани! — крикнул унтер. — Поскорей, пани!

И пошел по дорожке в обратную сторону.

Шеф гестапо Крюгер сказал:

— Мой дорогой Берг, не обращайте на него внимания. Это не стоит выеденного яйца. Я со своей стороны заставлю его принести вам публичное извинение. Все это ерунда в сравнении с той победой, которую мы с вами одержали. Я немедля отправляю донесение в Берлин.

— Надеюсь, вы понимаете, почему я так щепетилен к этой пьяной шутке, — сказал Берг.

— Почему пьяной?

— Он был пьян.

— Погодите, погодите, он был пьян?

— Да. Мы с ним ужинали, и он так много пил, что немудрено было наговорить бог знает что.

— Хорошо. Он будет наказан, не омрачайте нашу общую радость глупостью пьяницы, который не умеет себя вести. Что делать, если кое-кто из моих сотрудников забывает свой партийный долг и начинает пить, как презренный еврейский плутократ?!

В это время зазвонил телефон. Шеф гестапо сказал:

— Простите, полковник.

Снял трубку. По тому, как он слушал то, что ему говорили, Берг понял: русская ушла. Он не ошибся. Шеф гестапо сказал:

— Где Швальб?! Что?! Немедленно найти его! Объявите тревогу! Поднимите войска! Прочешите все окрест! Перепились, паршивые болваны! Тупицы!

И пока шеф гестапо орал по телефону, Берг думал: «Конечно, самое страшное, если ее схватят сегодня или завтра, пока она не нашла своих. Они — а она тогда непременно попадет в гестапо — выпотрошат ее. И что тогда? Ничего. Они сами санкционировали мою к ней

вербовку. Только одно — она может показать, что гвозди были выдернуты. Почему это должен был делать именно я? У кого шевельнется такая мысль? Покажет русская? Нельзя начинать дело, заранее решив, что оно проиграно. Больше юмора. И так и эдак — все плохо. А пока хорошо. Сейчас уеду к себе и по-настоящему выпью, а потом лягу спать и буду спать до девяти часов».

Крюгер положил трубку и сказал:

— Вы все поняли?

— Пропал Швальб?

— Плевать я на него хотел мильон раз! Ушла ваша девка!

Берг вскочил со стула.

— Это невозможно, — сказал он. — Это какая-то путаница.

— Ах, перестаньте вы болтать про путаницу! Ушла! Из туалета! Ясно вам?!

— Нет, — твердо сказал Берг. — Я не верю. Швальб сам проверял этот туалет перед тем, как велел водить ее туда, а не в офицерский ватерклозет. Пусть они срочно проверят: девка могла пойти на зверское самоубийство.

— Что? — спросил Крюгер.

— Да, да. Пусть посмотрят!

— Полковник! Полковник, вы что — смеетесь?! Там доски, оказывается, были без гвоздей! Она ушла в горы!

Берг полез за сигаретами.

Шеф гестапо включил селектор:

— Дежурная группа! Быстро отправить на радиоцентр проводников с собаками. Девку потом немедленно ко мне. — Обернулся к Бергу: — Вся эта история делается занятной, а?

— Более чем занятной, — ответил Берг. — Я думал ехать отдыхать, но теперь мне ясно, что я буду с вами до окончательного исхода поисков.

— Спасибо, — сказал шеф гестапо, — это очень любезно с вашей стороны.

Продираясь сквозь кустарник, Аня думала: «Не пойду я в горы. Я здесь ничего не знаю. С собаками возьмут, ручьи пересохли. Надо идти на дорогу. Была не была! Ведь я в Польше — так что либо пан, либо пропал!»

Бегала она хорошо, поэтому еще до того, как охранники в радиоцентре врубили прожектора и подняли пальбу — немцы до патронов нежадные, а эффекты

любят, — Аня уже была возле шоссе. Она решила бежать вдоль по шоссе к Рыбны и, если получится, остановить машину, причем желательно военную; те проходят мимо патрулей без остановки.

И первая же проходившая с синими подслеповатыми фарами рычащая немецкая грузовая машина тормознула, когда Аня подняла руку. Дверца распахнулась, и девушка забралась в теплую кабину.

— А, паненка, — сказал шофер, — во геест ду?

— Дорт, — сказала Аня, махнув перед собой рукой, — нах Краков.

Шофер обрадовался, решив, что она понимает немецкий, и быстро заговорил, поглядывая искоса на Аню.

— Их не фарштее, — сказала Аня, — нур вених.

Шофер засмеялся ее нарочито неграмотному произношению, достал из-под черного солнцезащитного козырька сигарету, ловко бросил ее себе в рот, так же ловко одной рукой прикурил, выбросил спичку в окно, потом перехватил руль левой рукой, а правую положил Ане на ногу.

«Ну вот, — подумала Аня. — Начинается. Сейчас полезет. Сколько мы отъехали? Километров пять. Собаки меня теперь не возьмут. Если будет лезть — надо бежать».

Она оглядела шофера.

«Пожилой, — подумала Аня, — а все равно кобель. С этим справлюсь».

Немец, что-то бормоча, придвинул к себе Аню и начал притормаживать. Навстречу им по шоссе пронеслись три машины. Резануло глаза острым синим цветом — у машин, верно, были открытые синие фары, а не щелки, как у военных грузовиков, которые боялись бомбежки.

«Наверное, за мной, — подумала Аня. — Хотя еще рано. А может быть, у них где-нибудь поблизости гарнизон, они оттуда подняли караул, чтобы прочесать лес».

Шофер выключил свет, повернул к себе Аню и начал быстрыми, холодными пальцами расстегивать пуговицы на ее кофточке. Аня прижалась к немцу, обняла его голову и шепнула:

— Айн момент, битте.

— Гут, — ответил немец, — абер шнеллер. — И начал расстегивать ремень: кабина у него была довольно большая, и он, видно, хотел расположиться с Аней прямо здесь, в тепле.

«Куртку брать нельзя, — быстро решила Аня, — сразу заподозрит. Черт с ней, с курткой».

Она подвинула немцу свою курточку и показала глазами, чтобы он повесил ее на крючок рядом со своим кителем. Немец перестал расстегивать ремень, кивнул головой и обернулся, чтобы повесить ее куртку. В это время Аня открыла дверь и выскочила из кабины. Перемахнув через кювет, она оказалась в лесу. Немец что-то кричал ей вслед. Чем дальше она бежала, тем тише становился его голос. А потом и вовсе пропал.

Под утро шефу гестапо доложили, что лес и горы вокруг были прочесаны со всей тщательностью, собаки взяли след русской разведчицы, но возле шоссе след оборвался и все дальнейшие поиски ничего не дали.

Патрули на шоссе, предупрежденные гестапо еще с ночи, проверяли каждую машину, включая военные. Но русской ни в одной машине не было.

Вечером следующего дня Аня была у Палека. Через час за ней пришел Седой. В тот же день ее отвели к Вихрю. Она бросилась к нему, повисла у него на шее, и он гладил ее голову и целовал лицо, а она никак не могла сдержаться и плакала навзрыд — так, что лопатки ходуном ходили, и эти маленькие, словно крылышки, лопатки заставляли сжиматься сердце Вихря мучительной жалостью.

Рейхсфюрер СС.
№ 56/37/63.
Экз. № 9.

Полевой командный пункт,
7 сентября 1944 г.
Совершенно секретно.

Высшему руководителю СС и гестапо на Востоке СС бригадефюреру Крюгеру (Краков)

Обстановка такова, что лишь трезвая и серьезная оценка всех компонентов, определяющих специфику момента, переживаемого империей, может помочь выработать верный курс на будущее.

Возрождение из пепла есть высшая форма возрождения. Я пишу это Вам не столько для того, чтобы успокаивать преамбулой, сколько для того, чтобы лишний раз подчеркнуть всю серьезность настоящего положения.

Хотя общее направление событий развивается — и это совершенно очевидно для всякого

человека, обладающего даром видеть, — в нашу пользу, хотя я никогда еще так глубоко не был уверен в окончательной победе нашего великого дела, тем не менее в свете совместных большевистско-западных акций нам следует продумать все возможные исходы, как бы горьки они ни казались с первого взгляда.

Поэтому Вам надлежит в соответствии с прилагаемым планом провести всю работу, предписанную Вам, но таким образом, чтобы эта работа ни в коей мере не сказалась на духе и патриотической устремленности офицеров и солдат СС.

Все детальные рекомендации и предписания Вы сможете соответствующим образом прокомментировать, исходя из той конкретной обстановки, в которой Вам приходится исполнять свой долг.

Приказ сводится к следующему: все кадры СС должны быть преобразованы таким образом, чтобы, в случае временного отступления с новых территорий рейха, СС тем не менее осталась жизнедеятельной организацией, способной в будущем возродить из пепла непобедимые идеи национал-социализма.

Первая стадия задуманного мероприятия заключается в том, чтобы уже сейчас разделить всю территорию рейха на округа и районы военного значения. Офицерский состав Восточного управления СС и гестапо после моей директивы должны получить от Вас указание, в какой округ или район надлежит отправиться. Там офицер СС обязан внедриться, занять легальное положение, отличающееся лояльностью по отношению к новому режиму; причем желательно, чтобы это внедрение проходило в промышленных центрах — то есть там, где особо сильна прослойка организованных рабочих, преданных идеалам национал-социализма. Офицеры СС обязаны потом через добровольную и случайную агентуру обеспечить постепенный учет всех командиров СС, а затем после проведенной подготовительной работы весь офицерский состав данного округа или района объединяется в нейтральное землячество или товарищество.

Вторая стадия работы, которая должна быть проведена по прошествии четырех-пяти лет, заключается в том, чтобы офицеры СС провели учет всех унтер-офицеров и солдат СС. После этого начинается третья стадия, которая отмечается прощупыванием контактов с политическими организациями, а затем при посредстве такого рода контактов следует впрямую приступить к решению проблемы проблем — к созданию новых воинских формирований.

Если учесть, что в процентном отношении состав войск СС распределяется таким образом, что более трех четвертей кадровых бойцов являются людьми восемнадцати-, тридцатипятилетнего возраста, то через десять — двадцать лет мы будем иметь формирования СС, вошедшие в пору партийной и организационной зрелости.

По понятным соображениям, этот документ является документом государственной важности и подлежит немедленному уничтожению сразу же после того, как Вами будет проведена первая организационная фаза работы.

Хайль Гитлер!
Начальник IV отдела РСХА
Группенфюрер *Мюллер.*

(Не будь Штирлица в Кракове, не контактируй он в своей работе как доверенное лицо шефа разведки СС Шелленберга с руководителем гестапо на Востоке, ему бы, конечно, не удалось ознакомиться с этим документом, потому что план этот составлялся секретариатом Мюллера и через аппарат политической разведки не проходил.)

ОТЕЦ И СЫН

Чтобы задержаться в Кракове, Штирлиц разыграл сердечный приступ. Он остался еще на три дня и каждое утро и вечер вызывал к себе в номер отеля парикмахера Гришанчикова, который обслуживал офицерский корпус. Этому предшествовала определенная комбинация: он зашел в ту офицерскую парикмахерскую, где работал Коля; офицеры поднялись, он знаком позволил им сидеть, сам опустился в кресло возле окна и углубился в чтение газеты.

— Прошу, — сказал Коля, — прошу вас.

Штирлиц сел в кресло и закрыл глаза. Он ощущал на своем лице руки сына, и было ему в сердце тревожно, сладостно и больно.

— Где вы так хорошо выучились своему ремеслу?

— В Минске.

— Судя по выговору, вы берлинец?

Коля долго молчал, понимая, что к их разговору прислушиваются офицеры.

— Я русский.

Штирлиц открыл глаза и внимательно посмотрел на сына. Хмыкнул и сказал:

— Занятно. Мне приходилось допрашивать русских, но стричься у них — ни разу.

— Я лояльный русский.

— Похвально.

— Мне приятно, что вы оказываете мне доверие.

— Массаж, пожалуйста.

Штирлиц снова закрыл глаза, потому что руки сына гладили лицо, трогали веки, осторожно прикасались к носу, приглаживали морщинистые виски, скользили по гладкому, выпуклому, сильному лбу.

— Немного одеколона?

— Нет. Спасибо, — ответил Штирлиц, по-прежнему не открывая глаз. — Если бы не мои коллеги, ожидающие своей очереди к такому великолепному мастеру, я бы попросил сделать массаж еще раз.

— О, пожалуйста, — сказал танкист офицер.

— Господин оберштурмбанфюрер, прошу вас, — сказал офицер люфтваффе.

— Спасибо, друзья, — ответил Штирлиц, — я не смею злоупотреблять вашей добротой. А вы... Как вас?

— Гришанчиков. Андрей Гришанчиков...

— Так вот, Андрэ, прошу вас приходить ко мне в двадцать седьмой номер «Французского» отеля каждый день к семи на утренний массаж и к девяти — на массаж вечерний.

Он снова обернулся к офицерам:

— Во время нудной служебной командировки следует совмещать приятное с полезным.

Те угодливо посмеялись, а может быть, им это действительно показалось смешным: истеризм чинопочитания порой становится второй душой, и тогда все, сказанное высшим чином СС просто с улыбкой, кажется поразительно смешным.

Когда на следующий день Коля пришел к отцу, тот запер дверь и сразу же увеличил громкость приемника, настроенного на джаз. Поставил будильник — через десять минут массаж должен быть окончен. Сначала они говорили тихо, очень быстро, перебивая друг друга; они толком не отвечали друг другу; потом Штирлиц замолчал, взял руки сына в свои, гладил их, подносил к своему лицу, как тогда, в двадцать втором, он терся лбом, носом, губами о прекрасные Сашенькины руки.

Берг на встречу пришел один, без хвоста — это установили Коля, Степан, группа Седого и Вихрь. Аня, загримированная до неузнаваемости, передала Бергу задание. Она попросила его передать ей эти сведения завтра. Она попросила его об этом, потому что Штирлиц торопился в Берлин, а без перепроверки данных, которые должен был передать полковник, дальнейшая его разработка и вербовка оказались бы невозможными и слишком рискованными.

Берг принес данные. Во время вечернего массажа Коля передал их Штирлицу. Тот проверил их. Данные были абсолютно точные. Это было должностным преступлением полковника Берга, за это он был бы немедленно расстрелян — узнай об этом гестапо.

Штирлиц рассуждал таким образом: если бы Берг вел двойную игру, стремясь внедриться в ряды русских разведчиков, связанных с польским подпольем, то и в этом случае он не мог бы передать им, даже в порядке «первоначального взноса», столь исчерпывающе правдивые сведения о штабе группы армий «А».

В разговоре с шефом гестапо Штирлиц — между прочим, очень легко, без всякого нажима, — спросил о контактах с фронтовой военной разведкой группы армий «А».

— Э, — махнул рукой шеф гестапо, — они держатся только старыми связями со ставкой. Я бессилен в этом сражении бюрократических группировок. Если бы Кейтель не был почетным членом партии, право, мне было бы легче. А так меня держат за фалды. Личные связи, личные связи — как они вредят нашему делу!

— Я не могу быть вам ни в чем полезным?

— Благодарю вас, нет. Нас губит либерализм. Фюрер излишне мягок по отношению к тем, кто посмел поднять руку на его жизнь.

— А что нам делать? Армия есть армия. Из-за

сотни подлецов нельзя терять веру в массу офицеров и генералов, преданных идеалам фюрера. Подозрительность — это в конечном счете ржавчина, разъедающая государство изнутри. Поверили же мы русскому Власову, и он оправдывает наше доверие.

— Порой враг лучше своего: он осмотрен со всех сторон. А со своими мы церемонимся. Я чувствую измену, но ничего не могу поделать. Надо мной еще десяток инстанций.

Шеф не называл фамилий. Штирлиц не имел права настаивать, он должен был ежеминутно и ежесекундно отдавать себе отчет: провались он — и тогда следом за его провалом потянется громадная цепочка, под колпак возьмут всех, чьи имена он произносил в беседах, телефонных разговорах, личных письмах и деловых бумагах.

Но тем не менее, основываясь на скептицизме, с которым гестаповец отозвался обо всех представителях военной разведки, Штирлиц сделал для себя определенные выводы: скорее всего, Берг действительно ищет контактов с нами, поняв неизбежность краха, либо, на крайний случай, затевает операцию на свой страх и риск. Если правильно это последнее предположение, тогда можно будет таким образом прижать полковника, что он станет работать на нас воистину; как это сделать, Штирлиц знал великолепно, и он рассказал о методах такого «прижима» сыну.

Однако, после того как Берг передал данные о штабе группы армий, которые попросила Аня, Штирлиц понял, что полковник играет ва-банк.

И он сказал сыну:

— Саня, берегите этого Берга. Если он станет вашим настоящим агентом — это большая удача.

Штирлиц дал сыну адрес радиоцентра танковой дивизии на окраине Кракова, который стоял почти без охраны.

— Возьмите два аппарата, — сказал он, — с одним уйдете к партизанам, свяжетесь с Центром моим шифром, ты запомнил? Оттуда пришлют самолет, чтобы забрать фау, который не взорвался. Это — огромнейшей важности задача. Второй передатчик оставьте у себя и не торчите в эфире по часу — запеленгуют.

Он улетал в Берлин ранним утром. Коля пришел к отцу делать последний массаж. А в номере сидел шеф гестапо: он приехал проводить человека из Берлина.

Шеф долго наблюдал, как русский парень массировал лицо Штирлица, а потом сказал:

— Черт возьми, я сейчас понял, как это, верно, приятно. Где вы нашли этого типа?

— Он говорит по-немецки, — ответил Штирлиц.

— Парень, — сказал шеф гестапо, — было бы неплохо, если бы ты помял и меня.

— С радостью, господин генерал.

— Относитесь к нему хорошо, — сказал Штирлиц, — я его, возможно, заберу в Берлин: такого массажиста я встречаю впервые. Он — само чудо.

Штирлиц бросил на стол деньги, Коля услужливо спрятал их в карман и, кланяясь, вышел из номера.

Спускаясь к машине, Штирлиц увидел сына в последний раз: тот стоял в толпе стариков возле костела и неотрывно смотрел на него — белый от волнения.

Назавтра боевая группа во главе со Степаном Богдановым совершила налет на радиоцентр танковой дивизии. В перестрелке погибло трое партизан и пять немцев из охраны. Радиоаппаратура была доставлена на конспиративную квартиру к Седому. Отсюда Степан и еще трое ушли вместе с начальником штаба партизан в отроги Татр, где «Соколы» прятали фау Вернера фон Брауна.

Второй аппарат был спрятан в машине Аппеля. Под вечер Аппель повел свою машину с ночным пропуском по шоссе, что вело к Закопане. Аня передавала шифровку Бородину: об аресте, о Берге, о своей дезинформационной радиограмме и о гестаповцах, выделенных для уничтожения города. Она передала все это запасным шифром, торопясь, кусая от волнения губы, вся захолодев.

А потом она передала трехзначные, непонятные ей цифры, которые вписал Коля: это было сообщение Штирлица по поводу фау. Аня откинулась на спинку сиденья и стала ждать ответа. Но Бородин сразу отвечать не стал: он перенес ответный сеанс на завтра.

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ

1. Адмиралтейство просило меня обратиться к Вам за помощью по небольшому, но важному делу. Советский Военно-Морской Флот информи-

ровал Адмиралтейство о том, что в захваченной в Таллинне подводной лодке были обнаружены две германские акустические торпеды Т-5. Это единственный известный тип торпед, управляемых на основе принципов акустики, и он является весьма эффективным не только против торговых судов, но и против эскортных кораблей. Хотя эта торпеда еще не применяется в широком масштабе, при помощи нее было потоплено или повреждено 24 британских эскортных судна, в том числе 5 судов из состава конвоев, направляемых в Северную Россию.

2. Наши специалисты изобрели особый прибор, который обеспечивает некоторую защиту от этой торпеды и который установлен на британских эсминцах, используемых в настоящее время Советским Военно-Морским Флотом. Однако изучение образца торпеды Т-5 было бы крайне ценным для изыскания контрмер. Адмирал Арчер просил советские военно-морские власти, чтобы одна из двух торпед была немедленно предоставлена для изучения и практического испытания в Соединенном Королевстве. Мне сообщают, что советские военно-морские власти не исключают этой возможности, но что вопрос все еще находится на рассмотрении.

3. Я уверен, что Вы признаете ту большую помощь, которую Советский Военно-Морской Флот может оказать Королевскому Военно-Морскому Флоту, содействуя немедленной отправке одной торпеды в Соединенное Королевство, если я напомню Вам о том, что в течение многих истекших месяцев противник готовился начать новую кампанию подводной войны в большом масштабе при помощи новых подводных лодок, обладающих особенно большой скоростью под водой. Это привело бы к увеличению всякого рода трудностей в деле переброски войск Соединенных Штатов и снабжения через океан на оба театра войны. Мы считаем получение одной торпеды Т-5 настолько срочным делом, что мы были бы готовы направить за торпедой британский самолет в любое удобное место, назначенное Вами.

4. Поэтому я прошу Вас обратить Ваше

благосклонное внимание на это дело, которое становится еще более важным ввиду того, что немцы, возможно, передали чертежи этой торпеды японскому военно-морскому флоту. Адмиралтейство будет радо предоставить Советскому Военно-Морскому Флоту все результаты своих исследований и экспериментов с этой торпедой, а также любую новую защитную аппаратуру, сконструированную впоследствии.

ГРАДИЕНТА ВЕРЫ

Сообщения, переданные Аней, ошеломили Бородина. Он несколько раз перечитал шифровку, потом взял чистый листок бумаги и написал, пронумеровав полученные данные по степени их важности:

1. Аня была арестована.
2. Полковник Берг, арестовавший ее, предложил свои услуги в работе против гитлеровцев.
3. Аня передала дезинформацию (эта деза ушла в Центр, как особо важная).
4. Группа Вихря вступила в контакт с Бергом.
5. Берг вручил данные о личном составе штаба группы армий «А» (если это не деза, значит, это очень важные данные).
6. Вихрь передал сверхсекретные данные о плане Гиммлера по переводу в подполье частей СС — офицерский корпус и солдаты. (В силу своей стилевой правдоподобности это похоже на сверхтонкую дезу. Я не верю. Хотя, с другой стороны, кого этим им дезинформировать? Или в запасе иной план ухода в подполье? Возможно.)
7. Вихрь передал фамилии офицеров СС, ответственных за уничтожение Кракова. (Как возможно получить такие материалы?)
8. Вихрь передал данные о полковнике инженерных войск СС Краухе, авторе плана уничтожения Кракова, маршруты его поездок.
9. Вихрь передал данные о линии оборонительного вала по Одеру, являющиеся также совершенно секретными.
10. Вихрь передал данные о передвижениях партизанских объединений.
11. Передал данные о семи диверсиях на железнодорожной ветке, обслуживающей оборонительный вал, совершенных боевой группой Степана Богданова.

12. Вихрь передал шифровку в Центр по шифру, не известному штабу фронта. Генштаб шифровку принял, сообщений оттуда не поступило.

Бородин совершенно ясно отдавал себе отчет в том, что сразу же после того, как он доложит об аресте Ани и о том, что она установила контакт с Бергом, да еще контрразведчиком такого класса, как полковник, — вся деятельность группы Вихря будет поставлена под серьезнейшее — и вполне справедливое — подозрение.

«Кобцов мыслит прямолинейно: сидела у фашистов? Сидела. Другие патриоты честно смерть принимают, а ты пошла на сделку с фашистами? Пошла. Передала в Центр дезу? Передала. Предательство? Предательство. Вызвать сюда и — к чертовой матери в фильтрационный лагерь. Война, времени нет чикаться, нюансики анализировать. Победим — разберемся». — «А если она все делала для нас?» — «Ну, это еще доказывать надо...»

Бородин отчеркнул красным карандашом все остальные пункты, вынесенные им на бумагу. Последний пункт — шифровку в Центр, переданную неизвестным шифром, — он подчеркнул еще и синим карандашом.

«Видимо, спасти девчушку может ответ из Москвы, — думал Бородин. — Если они оттуда позвонят по ВЧ и скажут, что группа Вихря помогла в операции, на которую Москва пошла в связи с тем немцем, что прилетал в Краков из Берлина, тогда картина изменится. Если сейчас говорить Кобцову — поставлю под удар не только ее одну, но всех их...»

В кабинет заглянул капитан Высоковский и, присев к столу, начал тщательно причесываться, помогая себе рукой, — он приглаживал ладонью свои блестящие, чуть вьющиеся волосы.

— Это некрасиво, Леня, — сказал Бородин, — мужчина должен причесываться в туалете. Вы охорашиваетесь, словно барышня в фойе театра.

— Вы на меня сердитесь из-за этой шифровки? — спросил Высоковский. — Ей-богу, я ни в чем не виноват. Она — крепкая девка, я не понимаю, в чем дело...

— А может, никакого дела и нет вовсе? Больно мы до очевидных дел зоркие. Не верю я, знаете ли, очевидностям всякого рода.

— Вы уже передали ее донесение Кобцову?

— Спать хочется до смерти, — словно не слыхав

вопроса, ответил Бородин. — Погода, верно, будет меняться.

— Осень... Будь она неладна.

— Не любите осень?

— Ненавижу.

— Отчего так?

— Купаться нельзя.

— Люблю осень. Для меня, знаете ли, поздней осенью начинается весна. Именно поздней осенью. И наоборот, осень, зима, новый год с его грустью у меня начинаются в марте, ранней весной, когда в лесу по ночам ручьи журчат, снег тает.

— Что-то не понимаю.

— Это, верно, старость. В старости уже все известно, предвидения мучат, наперед знаешь — что, откуда, почем и кому.

— Москва еще не отвечала?

— Дикость положения в том, что она не обязана нам отвечать. И на запрос, боюсь, не ответят. Еще цыкнут: не суйте нос не в свои дела.

— С Кобцовым вы уже посоветовались? — снова спросил Высоковский.

— Самое паршивое дело, — задумчиво продолжал Бородин, — так это совать нос в чужие дела. Как считаете, а? Кстати, пирамидона у вас нету?

— Аспирин есть.

Бородин пощупал лоб.

— Да нет, аспирин мне, знаете ли, ни к чему.

— Может, грипп?

— А бог его знает. Между прочим, раньше грипп назывался инфлюэнцей. Куда как изящней. Все к простоте стремимся. Грипп. Почему грипп? А не земляника? Или клюква? «Вы больны?» — «Да, у меня, знаете ли, клюква».

Высоковский понял — старик бесится. Поэтому он сдержанно посмеялся и стал думать, как бы ему поизящней уйти.

— Да, вы Кобцову передали данные на пленных — Степана Богданова, Николаева и Новикова?

— Передал.

— Что он ответил? У него есть на них материалы?

— Компрометирующих нет. Кобцов сказал: посидят на проверке, там решим, что с ними делать.

— Посидят, сказал?

— Сказал, посидят, товарищ полковник...

— Слушайте, — спросил Богданов, — а у вас нет желания слетать к ним, а? По радио ни хрена не разберешься... Если они действительно там эдакое заворачивают — это ведь не шутки. В Москву передали сообщение с фамилиями начальства из штаба группы армий «А»?

— Конечно.

— Как думаете, завтра ответят?

— Трудно сказать.

— Поэтому и спрашиваю, что трудно сказать, — хмыкнул Бородин, — иначе б молчал. Когда у вас неприятности, вы любите излиться или предпочитаете таить в себе?

— В себе не могу.

— Я тоже.

Высоковский заметил:

— Я про себя философствовать люблю. А если вслух, то сразу теряю нить.

«Осторожный парень, — подумал Бородин, — ишь выкозюливает. А понимает все, глаз у него цепкий».

— Ну, это ясно, — сказал Бородин, — бывает.

— Товарищ полковник, а когда лететь?

— Я спросил, нет ли у вас желания. Что касается полета, то это вопрос будущего. Погодим, пооглядимся, а? Как считаете?

— Лететь, видимо, придется, — ответил Высоковский. — Иначе всю операцию можем профукать. Обидно. Да и голову после снимут.

— Это вы четко сформулировали, — сказал Бородин. — Обидно. И голову снять могут. Четко — ничего не добавишь...

«Нет, он не побежит к Кобцову, — решил Бородин, — он умный парень и не трус. Мелко страхуются только трусы. А этот сначала сказал «обидно», а потом уж вспомнил про голову».

— А про ту ее шифровку, которая ушла в Москву, сообщили, что это — липа?

— Не столь резко. Я сообщил, что этот материал, по новым данным, переданным тем же Вихрем и Аней, оказался насквозь фальшивым, составленным врагом в целях дезинформации. Теперь спросите меня в третий раз про Кобцова...

— Больше не буду.

— Зря. Просто я еще тогда не решил для себя, как следует поступить.

— Теперь?

— Теперь я решил подумать о том, когда посылать вас к Вихрю...

Высоковский тонко улыбнулся:

— Интересы дела требуют, чтобы рядом с вами не оставалось свидетеля? О радиограмме ведь знаем только мы с вами...

Бородин поиграл бровями и ответил:

— Это вы — ничего. В точку. Меня, знаете ли, до войны больше всего обижало, когда хорошее дело приходилось прикрывать обманом. Видимо, бюрократизм прилипает в первую голову к тем, кто с ним борется. К сожалению, Кобцов почти совсем не берет во внимание градиенту веры. Я — ее исповедую.

— Я готов уйти к Вихрю хоть завтра, — сказал Высоковский. — Думаю, на месте все будет видней.

— Срок мы с вами установим. Торопиться не надо. Разведчик должен торопиться только один раз...

— Когда именно?

— Вот когда полетите, на аэродроме шепну, — сказал Бородин. — Ладно. Давайте-ка составлять радиограмму Вихрю.

Высоковский вынул ручку и посмотрел на Бородина. Тот пожевал старческими фиолетовыми губами, вздохнул прерывисто, недоуменно пожал плечами и начал диктовать:

— «Выясните все данные о полковнике: год и место рождения, родственники, бывал ли в СССР, должность, места работ. Сообщите немедленно. Сразу после этого буду докладывать командованию. Бородин».

Высоковский отметил для себя, как хитро старик сформулировал радиограмму — он не давал никаких авансов и в то же время санкционировал продолжение работы группы, в которой радист-шифровальщик был скомпрометирован, согласно официально действующим установкам.

«Спросить его, — подумал Высоковский, — понимает ли он, как с ним поступят, случись что страшное в Кракове? Хотя, конечно, понимает. Оттого так и диктует. Но понимает ли он, что со мной будет то же, что и с ним? Видимо, понимает. Оттого и говорил про градиенту веры. Я был бы последней собакой, посчитай хоть на минуту, что Аня действительно могла стать фашистской потаскухой. Ей-ей, нельзя созидать общество, построен-

ное на вере в человека, основываясь при этом на полном в него неверии».

— Когда приезжает полковник Мельников? — спросил Бородин.

Мельников был начальник военной контрразведки, «СМЕРША» фронта. Он пять лет просидел нелегалом в Германии, два года дрался в Испании, а после лагеря на Колыме был реабилитирован и в первые дни войны снова вернулся на фронт — чекистом.

Бородин два года был помощником Мельникова по военной разведке в Мадриде и Барселоне. Сейчас Мельников лежал в госпитале — его поедал туберкулез. Тем не менее кто-то сказал, что на следующей неделе он вернется в штаб. С ним Бородин мог говорить, как с самим собой.

— Говорят, ему стало хуже, — ответил Высоковский. — Чекисты были у него позавчера, он кровью харкает.

— Вот что... Вызывайте машину. Едем к нему. По-моему, это решение.

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА
И. В. СТАЛИНА
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну ЧЕРЧИЛЛЮ

Получил Ваше послание о немецкой торпеде Т-5. Советскими моряками действительно были захвачены две немецкие акустические торпеды, которые сейчас изучаются нашими специалистами. К сожалению, мы лишены возможности уже сейчас послать в Англию одну из указанных торпед, так как обе торпеды имеют повреждения от взрыва, вследствие чего для изучения и испытания торпеды пришлось бы поврежденные части одной торпеды заменять частями другой, иначе ее изучение и испытание невозможно. Отсюда две возможности: либо получаемые по мере изучения торпеды чертежи и описания будут немедленно передаваться Британской Военной Миссии, а по окончании изучения и испытаний торпеда будет передана в распоряжение Британского Адмиралтейства, либо немедля выехать в Советский Союз британским специалистам и на месте изучить в деталях торпеду и снять с нее чертежи. Мы готовы предоставить любую из двух возможностей.

НОЧНОЙ ПОЛЕТ

Шифровка Штирлица о фау, посланная Аней в Москву, была немедленно доложена заместителю начальника Генерального штаба РККА генералу Антонову. Тот в свою очередь, в силу чрезвычайной важности полученного сообщения, передал ее секретарю Сталина — Поскребышеву.

Видимо, Поскребышев что-то рассказал Сталину, потому что утром, когда Антонов прибыл в Ставку, Верховный Главнокомандующий сказал ему, по обычаю помогая фразе емким движением левой руки:

— Если это не блеф, тогда это серьезно по двум причинам: во-первых, с точки зрения перспектив — как военного, так и политического порядка — не только сейчас, но, главное, в будущем. И, во-вторых, это, несомненно, тема для разговора с Черчиллем.

Сталин оглядел Антонова из-под тяжелых, чуть припухлых век — он любил рослых военачальников, — чуть улыбнулся своей странной, несколько осторожной улыбкой и добавил:

— Если артиллерия — бог войны, тогда ракетостроение — Христос мира. Но, видимо, эту формулировку не пропустит наш Агитпроп: она несет в себе оттенок богоуважительности. Атеисты мне этого не простят.

В тот же день разведка Генштаба связалась с авиацией — необходимо было в течение ближайших же дней установить контакт с польскими партизанами отряда «Соколы» и разведчиками, откомандированными туда краковской группой «Вихрь». После этого четверым разведчикам Генштаба надлежало вылететь с львовского аэродрома на «дугласе» в тыл к немцам, на заранее приготовленную партизанами площадку, взять на борт ракету Вернера фон Брауна и незамедлительно следовать в Москву.

От командира партизанского отряда Пшиманского и Богданова: «В квадрате 44 на выложенных полукругом кострах оборудована посадочная площадка. Восемь костров составляют полукруг, посредине треугольник».

Львов, спецгруппа Генштаба РККА — Пшиманскому и Богданову: «Самолет прилетит в пятницу от 23 до 23.30».

От Пшиманского и Богданова: «Просим перенести вылет с пятницы. Осенняя распутица испортила посадочную площадку. Прилетайте после воскресенья. Готовим запасную площадку с песчаным покрытием».

Львов — Москве: «Пшиманский и Богданов сообщают, что из-за осенних дождей испортилась посадочная площадка. Готовят запасную с песчаным покрытием. Просят перенести вылет на следующую неделю. Ждем указаний».

Так как дежурный по Генеральному штабу знал, что вопрос о немецкой ракете докладывался руководству в Кремле, а генерал Антонов был у Сталина, из Генштаба в Ставку Верховного Главнокомандующего раздался звонок.

Дежурный. Товарищ Горбачев, докладывает подполковник Савин из Генштаба. К нам пришла срочная радиограмма из Львова.

Горбачев. Давайте.

Дежурный. Группа «Ракета» просит указаний: посадочная полоса у партизан разъехалась из-за дождей. Считают, что сейчас рискованно садиться. Просят перенести полет на следующую неделю.

Горбачев. Я сейчас доложу товарищу Поскребышеву.

Через десять минут полковник Горбачев, дежурный в приемной Сталина, позвонил в Генеральный штаб и сказал:

— Есть мнение, что откладывать полет нецелесообразно.

— Значит, лететь?

— Я повторяю вам: есть мнение, что откладывать полет нецелесообразно...

— Ясно, товарищ Горбачев. До свидания.

Москва — Львову: «Необходимо немедленно осуществить операцию «Ракета», не откладывая на воскресенье».

Львов — Пшиманскому и Богданову: «Просим сообщить, есть ли хоть какая-то возможность приземления».

От Пшиманского и Богданова: «Площадка есть, но никакой гарантии дать не можем».

Львов: «Вылет сегодня в условленное время».

Пшиманский и Богданов лежали в хворосте. От земли тянуло холодом — все шло к тому, что вот-вот ударят морозы. Небо не по-ночному светлое, но звезды в нем были очень ярки — не голубые даже, а рельефно-зеленые, видимо, от студеного инея.

— Можно потерять все из-за двух дней, — сказал Пшиманский.

— Им там виднее.

— Почему? Виднее нам.

— Нам — с нашей колокольни, — ответил Богданов. — Им — с ихней.

— Все равно — глупо.

— У вас спичек нет?

— Пожалуйста.

— У немцев хорошие спички.

— У них дрянные спички. Бумажные. Пальцы жгут... Когда ж они подлетят?

— Должны сейчас.

— Через три часа будете у своих, — улыбнулся в темноте Пшиманский и в темноте даже не увидел, но ясно почувствовал, как улыбается русский.

— Не верится, — сказал Богданов.

— Тихо...

— Они?

— По-моему. Ну-ка, осветите часы.

— Сейчас.

— Они. Тютелька в тютельку. Это они.

Пшиманский поднялся с кучи хвороста, ударил себя прутиком по голенищу и сказал:

— Зажигайте!

Костры ушли в небо острыми языками белого пламени. Степан Богданов почувствовал, как внутри у него все затряслось: сейчас он погрузит эту акулу с маленькими крылышками и полетит со своими ребятами домой, а потом поедет к старику — хоть бы на день, а после

вернется на фронт и будет говорить по-русски, и не будет шептать про себя: «За Родину!» — а будет кричать это во всю силу своих легких, и не будет красться по ночным улицам, как вор, и не будет говорить с ребятами, то и дело оглядываясь по сторонам, и снова научится смеяться, и снова сможет мечтать о том, что будет, и не есть себя поедом за то, что было.

К Пшиманскому, нелепо размахивая руками, поднесся Юрек из разведки на взмыленном мерине без седла. Лицо его плясало. Сначала Богданов подумал, что это так играет на его лице пламя костров. Но потом он увидел, как трясутся острые колени парня, упершиеся в ребристые бока коня, и понял: что-то случилось.

— Слышите?! — шепотом выхрипел Юрек. — По шоссе танковая колонна идет. А два танка остановились.

Богданов услыхал глухое урчание: шоссе проходило в трех километрах отсюда, по укатанному проселку — полчаса ходу, танкам — десять минут от силы.

Пшиманский замахал руками:

— Туши костры!

Но в это время над головой с ревом пронесся самолет — он шел на посадку.

— Нельзя! Нельзя же! — крикнул Богданов. — Они влепятся в землю!

— Туши костры! — снова крикнул Пшиманский, но уже тише. — Туши!

Но костры потушить не успели: откуда-то из темноты, протыкая ночь зеленым рылом, к кострам выруливал «дуглас». Отворился люк, и на землю спрыгнул высоченный парень в комбинезоне.

— Привет, братцы, — сказал он в темноту, — еле плюхнулись...

— Тише... — сказал Пшиманский, хотя летчика едва было слышно из-за работающих моторов. — Тише. Немцы.

Разобранную ракету грузили в каком-то странном оцепенении, и все боялись прислушиваться, потому что самое страшное было бы сейчас услыхать рев танков и увидеть их здесь, на этой узенькой размытой дождем посадочной площадке.

— Сколько отсюда? — спросил Богданова летчик.

— Километра три.

— Облава, что ль?

— Сами не знаем.

— Осторожней заносите, люк разорвет, братцы, — сказал летчик и что-то объяснил жестами тем пилотам, что прижались лицами к стеклу кабины.

— Сколько вас? — спросил Степан.

— Шестеро. Ты — Богданов?

— Да.

— Сколько с тобой людей из краковской группы?

— Четверо.

— Это ничего. Я думал, больше — тогда не уместились бы.

Фау затолкали в фюзеляж, укрепили там проволокой, и летчик сказал:

— Ну, быстро, братцы. Прощайтесь — и айда.

Но прощаться никто ни с кем не успел. Из лощины высветили фары: это шли танки, а за ними — солдаты. Богданов поглядел на Пшиманского. Тот сказал:

— Запомни: Маршалковская, девять, квартира восемь. Маму зовут пани Мария. — И, передвинув автомат на грудь, добавил: — Лети.

А сам, пригнувшись, побежал вместе с остальными партизанами навстречу все нараставшему реву танковых моторов.

Самолет развернулся и, стеклянно взревев моторами, начал разбег, поднимая черные комья мокрой грязи. Но чем дальше и натужней он разбегался, чем отчаянней все звенело и дзинькало в фюзеляже, тем очевиднее становилось и пилотам, замершим в кабине, и Богданову, уцепившемуся за металлическую лавку, и его ребятам, которые катались по полу, что самолет не может оторваться — он шел в гору, колеса вязли в грязи, сил для взлета не было. Оставалось только одно — сбавить обороты, развернуть машину и пытаться взлететь в обратную сторону — под гору.

Но именно туда, под гору, шли танки.

Летчики развернули самолет, но он с места не двигался, потому что засело левое колесо, а моторы ревели обидчиво и зло, и все вокруг звенело отчаянием; пробежал летчик, распахнул люк, поглядел на колеса, выругался свирепым матом и, грохоча сапогами, вернулся в кабину.

Степан поднялся, пошел следом за ним и, распахнув дверь, спросил:

— Противотанковые есть?

Один из пилотов обернулся, оглядел его внимательно и ответил:

— Три штуки. В ящике. Вот здесь.

Степан взял длинные гранаты, вернулся к своим людям и сказал:

— Откапывайте их, что ли... Я постараюсь тех придержать.

Он выскочил на мокрую, холодную землю и, виляя, побежал навстречу реву танковых моторов. Он бежал и кричал в темноту, пронизанную выстрелами:

— Давай назад, товарищи! К самолету! Толкнуть надо! Колеса откопать! Колеса!

Он все время кричал это слово, как заклинание, он кричал это тем, кто лежал в траве за пулеметом, тем, кто перебегал от дерева к дереву, и люди поворачивали назад, к самолету, а он бежал навстречу все приближающемуся реву моторов, он видел черные силуэты, которые, переваливаясь на ямах, упрямо перли к посадочной полосе. Богданов опустился на колени и пополз навстречу танкам. Он очень боялся, что какая-нибудь шальная пуля возьмет его сейчас, пока он с гранатами, и тогда танки вылезут на посадочную полосу, и все будет кончено. Поэтому он полз, прижавшись к земле, а потом поднялся и швырнул гранату под танк. Рвануло, высверкнуло тугим черно-красным пламенем. Фонарики заметались, трескотня автоматов сделалась острой и беспрерывной. Второй танк продолжал ползти вперед. Степан оглянулся, но в темноте самолет ему не был виден, и он не знал, что самолет уже начал разбегаться, и он не слышал натужного рева моторов, потому что прямо перед ним был танк, и вот еще минута, и он вылезет на полосу. Степан швырнул вторую гранату, но танк продолжал ползти вперед. Тогда Богданов закричал что-то жалобное, отчаянное и, прижав к себе длинное тело гранаты, ринулся наперерез к танку. И в самый последний миг он услышал за спиной вызвизг моторов и понял, что самолет оторвался от земли, хотел отшвырнуть от себя гранату, но поскользнулся, упал, сжался, ощутил острый запах керосина, почувствовал рядом, близко, в метре, горячее тепло металла, а потом что-то громадное сделалось белым, легким, большим, маленьким, красным, огненным. И — все.

Летчик вошел в кабину к своим товарищам и, сняв шлем, сказал:

— Нога у нас сломалась. Будем на брюхо садиться,

передай во Львов. Как бы только эта штуковина не взорвалась. Дома взрываться обидно...

Центр. В кругах, близких к Шелленбергу, высказывается убеждение, что Красная Армия не в состоянии нанести удар по немецким позициям возле Кракова до середины марта, когда с дорог сойдет снег. Разговоры такого рода идут в связи с возможными наступательными операциями немцев на Западе. Где их предполагают осуществить и какими силами — выяснить не удалось; все окружено особой секретностью. Как сын? *Юстас.*

Юстасу. Кто из высших военных планирует операцию на Западе? *Центр.*

Центр. Один раз упоминалась фамилия фон Рунштедта, однако подтверждений не имею. В последнее время рейхсфюрер часто бывает у Гитлера в Баварии. Несколько раз Гиммлер проводил совещания с министром вооружений Шпеером по поводу увеличения выпуска реактивных «мессершмиттов» и танков. Шелленберг встречался с представителями ведущих концернов «И. Г. Фарбениндустри» и «Крупп», выясняя, какую помощь им надо оказать стратегическими материалами через Швецию, чтобы убыстрить выпуск необходимого наступательного оружия. Прошу сообщить, как сын? *Юстас.*

Юстасу. Выясните, какими видами наступательного оружия (количество, типы) интересуется Гиммлер. Какие виды стратегических материалов интересуют Шпеера в первую очередь? При получении связи передайте все имеющиеся в вашем распоряжении материалы о преступной деятельности СС и связанных с ними концернов. Нас интересует все о преступлениях против человечества, ибо на освобожденных территориях гитлеровцы уничтожают архивы и свидетелей. *Центр.*

НАИВНОСТЬ ОТЧАЯНИЯ

Диктатор считает себя, как правило, единственным прозорливцем, в то время как он, пожалуй, самый слепой человек, особенно в момент ослабления режима его власти. Демократия предусматривает честность в оценке обстановки, режим личной диктатуры не предусматривает ничего, кроме пророчеств диктатора, и подчинает объективный характер происходящего его субъективным умозаключениям.

Осенью 1944 года гитлеровская диктатура была зажата с двух сторон железными тисками союзников. Катастрофа третьего рейха представлялась всем объективным наблюдателям неизбежной. Гитлер, наоборот, считал, что осень и зима сорок четвертого года положат начало новой эры — грядет неминуемая победа над сталинским большевизмом и американской плутократией.

Когда в ставке Гитлера собрались Гудериан, Кейтель, Йодль, фон Рундштедт, Модель и Гиммлер, дежурный офицер связи передавал сообщение с Западного фронта: союзные войска генерала Ходжеса, прорвав немецкую оборону, вошли на окраины Аахена.

Гитлер быстро ходил по огромному своему кабинету, потом, зябко потирая руки, замер над оперативной картой и вдруг, неожиданно для всех, рассмеялся.

Г и т л е р. Ну что же, господа. Видимо, парадоксальность только тогда оказывается гнилым интеллигентствованием, если в подоплеке нет цели, заранее выверенной, увиденной и непререкаемо устремленной. Парадокс, который вы сейчас услышите, несет в себе заряд того оптимизма, который неизбежно будет сопутствовать нам в предстоящие месяцы победоносных сражений. В тот час, когда американцы и англичане вторглись в немецкий Аахен, они сами обрекли себя на окончательное поражение. Именно в этот день — я прошу всех запомнить день двенадцатого октября — я хочу познакомить вас с планом победы. Я ждал этого дня, я ждал, когда последний немецкий солдат уйдет с вражеской территории, я ждал, когда соединятся фронт и тыл. Этот день пришел. Только теперь, не опасаясь утечки информации через французов, бельгийцев, голландцев и прочей расово неполноценной швали, только теперь, когда каждое дерево — наш союзник, а каждый дом — это бастион, мы можем ударить по западным, разложившимся демократиям всей мощью, на которую способна Германия.

Я прошу вас вспомнить, где и когда пала Франция в сороковом году? Не называйте мне дату падения Парижа — это наивно. Я утверждаю, что Франция пала в тот день и час, когда мы пошли через Арденны, когда мы оставили французские крепости линии Мажино по обеим сторонам нашего мощного прорыва беспомощными средневековыми страшилищами, опасными только для детей с горячечным воображением.

И сейчас, когда нас отделяют четыре года от той победы, мы повторим арденнский вариант. Здесь, в арденнских лесах, мы разрежем англо-американские соединения, мы разорвем их и уничтожим поодиночке.

Фон Рундштедт. Мой фюрер, вы думаете предложить наступление на Аахен, с тем чтобы восстановить линию Зигфрида и, таким образом, воссоздать западный вал?

Гитлер. Я призываю вас смотреть вперед, я призываю вас видеть победу! Аахен? Мне совестно вас слушать! Антверпен! Да, да! Антверпен! Главная база американцев и англичан, порт, овладев которым мы перережем их коммуникации. Мы отрезаем четыре армии севернее Арденн и громим их в котле! Мой прошлогодний призыв: превратить каждый город, каждую деревню, каждый дом на востоке в крепость, хотя и вызывал молчаливую пассивность у некоторых военных, тем не менее оправдал себя, и оправдал блестяще! Восточный фронт сейчас стабилен. У нас есть пауза: пока большевики готовят свое зимнее наступление, мы громим западных союзников. И они бегут! И тогда я им предлагаю условия мира, а не они мне, как кричат их безмозглые, слепые пропагандисты! Разбитой армии надо по крайней мере три-четыре месяца, чтобы прийти в себя. Помножьте это время на зиму. И приплюсуйте сюда нравы западных армий: там солдат не будет сражаться до тех пор, пока его не застрахуют на десять тысяч долларов, пока ему не построят теплого сортира и не привезут бразильского кофе. Их героизм — это застрахованный героизм! Героизм немецкого солдата — это героизм идеи, веры и устремленности. Итак, Модель, вы назначены руководителем контрнаступления в Арденнах как командующий группой армий «Б». А вы, Рундштедт, как мой противник в этом вопросе, назначаетесь ответственным за успех этого наступления и принимаете на себя общее оперативное руководство. Я даю вам тридцать шесть отборных дивизий, с ними вы принесете победу нации. Всю

подготовку следует провести, дождавшись нелетной погоды, когда будет парализована вражеская авиация. Все командиры, которые по роду службы узнают о плане наступления, обязаны дать специальную подписку о хранении государственной тайны. Письменную связь с командирами поддерживать только через курьеров. Войска должны быть подтянуты к исходным местам только в ночь перед атакой. Все, господа. Прошу представить мне детально разработанный план в ближайшее же время.

И, ни на кого не глядя, Гитлер вышел из громадного кабинета. Фон Рундштедт посмотрел на Гиммлера. Тот стоял, склонившись над картой, простуженно покашливал, потирал свои маленькие красивые руки, словно озяб.

Гиммлер. Разгромив Запад, мы получим паузу, пригодную для того, чтобы обрушить сокрушительный удар на Восток. И если разгромить Восток — это значит отбросить большевиков к их границам, то разгромить Запад — это значит поставить их на колени.

Рундштедт. У англичан в гимне зафиксирована иная точка зрения: «Нет, нет, никогда англичанин не будет рабом...»

Гиммлер. Гимны пишутся, чтобы их пели. Сражения проводятся с иными целями, одной из которых я могу назвать смену слов в гимнах.

ЗАЯЧЬЯ ОХОТА

Вихрь и Коля сидели на опушке леса. Рассвет был осторожный; черные, уже без листьев, сучья осин разрезали красную полоску над лесом. Купол неба был серым, еще ночным. В лесу было тихо — так бывает после первых заморозков, когда земля уже схвачена ночными морозами, а снега еще нет.

Вихрь потрогал замерзшими пальцами серебряную инкрустацию на своем ружье и сказал:

— Твое хоть и без этой мишуры, а все равно лучше.

— Почему?

— Двенадцатый калибр. Я шестнадцатый не люблю. Дамское это оружие. Несолидно.

— А мне мама в день шестнадцатилетия подарила как раз шестнадцатый. Я к нему привык. Это тоже неплохая мешалка.

— Что? — не понял Вихрь.

— Так мамины друзья всегда называли ружье — мешалка.

— Смешно.

— Смешно.

— Прикладистое?

— Ничего.

— Ну-ка, дай я попробую.

Вихрь взял Колино ружье, несколько раз споро и легко взбросил его к плечу.

— Ложе для меня коротковато.

— У тебя руки загребущие... Как Аня?

— Плохо.

— Отходит?

— Пока — нет.

— Бородин молчит?

— Почему молчит? Ждет.

— У меня для Крауха все готово.

— Ты говорил.

— И квартиру я для него присмотрел.

— Понимаешь, он ведь эсэсовский офицер, — задумчиво сказал Вихрь. — Я боюсь, когда эсэсовцы, ей-богу.

— Мне объяснял... Штирлиц, — запнувшись, сказал Коля. — Если просто кадровый эсэсовец или военный — надо бояться. А если у него есть хорошая гражданская специальность — тогда остается шанс. Понимаешь, просто СС — это партийная охрана, они ничего не могут, кроме как охранять, стрелять и жечь. Туда брали лбов-фанатиков. Их у Гиммлера в двадцать девятом году было всего две с половиной сотни. А во время войны они стали призывать в СС инженеров, учителей, рабочих. Эти умеют работать, а не только убивать. Этих еще можно прижать. Эти еще хоть как-то умеют думать.

— Не он? — спросил Вихрь, кивнув головой на человека в шляпе с пером. Он поднимался по тропинке от дороги, заряжая на ходу ружье.

— Он, — ответил Коля. — Не узнал?

— Теперь узнал.

Берг подошел к ним:

— Вы назначили встречу здесь. Вот я пришел. Здравствуйте.

— Здравствуйте.

Вихрь поднялся и протянул Бергу руку. Они поздоровались. Потом Берг поздоровался с Колей. Несколько мгновений они разглядывали друг друга, потом Берг спросил:

— Что, сдать оружие?

— Это успеется, — ответил Вихрь, — пошли пока в лес — по зайцу.

— Еще не чернотроп, — усмехнулся Берг, — охоты не будет. Тем более без собаки. Но если вы настаиваете...

И они пошли в лес: Вихрь и Берг впереди, а замыкающим — Коля. Он постоял минут пять на опушке, спрятавшись за дерево: нет ли слежки. Зеленя на поле, чуть припорошенные снегом, казались голубыми. Небо стало теперь прозрачным; за оставшейся после ночи серой хмарью угадывалась осторожная осенняя синева.

«Если он пришел со своими, тогда они должны сейчас выйти, — думал Коля, посматривая на часы. — Они должны понимать, что в лесу нас упустят. Разве только надеются на собак. Собаки — ерунда. Мы потому и назначили ему это место, что здесь ручьи, а дальше — массив на сотни километров, окружить нас они не смогут. Видимо, он один».

Коля быстро пошел следом за Вихрем — они условились, куда тот двинет: по распадку, через березовую рощу, а там начинаются холмы, поросшие желтой длинной травой, прибитой сейчас ночными холодами.

— Я несколько раз охотился в России на зайцев. У нас эта охота богаче, — сказал Берг.

— Вы здорово говорите по-русски, — заметил Вихрь.

— Я окончил Московский университет, так что неудивительно. Можете передать в Центр, что я работал с тридцать четвертого по тридцать восьмой год в Москве, в военном атташате, под фамилией Шмальшлегер. Запишите, это трудная фамилия.

— Ничего. Запомню.

— Повторите, пожалуйста.

— Шмальшлегер.

— У вас завидная память. Обычно русские плохо произносят немецкие имена.

Они остановились, услыхав позади треск сучьев: из чащи выходил Коля.

Берг спросил:

— Смотрели, не привел ли я за собой хвост?

— Нет, — ответил Коля, — я отстал помочиться.

— Не надо обманывать агента, — сказал Берг, вздохнув. — В задуманной вами игре вы можете готовить для него любую роль, но никогда не обманывайте. Я надеюсь,

что глупых агентов вы не вербуете, а умный сразу поймет и станет относиться к вам с подозрением. Разведка — это такая игра, в которой бывший враг может оказаться первым другом.

— Вам заяц для алиби нужен? — спросил Вихрь.

— Заяц — довольно относительное алиби, потому что мертв, а если б даже был жив — все равно смолчит.

Вихрь полез за сигаретами:

— Значит, можно, как говорится, брать быка за рога?

— Но сначала давайте оговорим условия для быка, — сказал Берг, и Коля заметил, как побледнело его лицо и лоб собрался морщинами.

— Выдвигайте, — сказал Вихрь, — мы готовы вас слушать.

— Как вы сами понимаете, денег мне не нужно. Нужно одно: веская гарантия, что после окончания войны я останусь жить в своем доме. Больше мне ничего не надо.

— Значит, вас интересует только сохранение вашей жизни?

— Можно подумать, что ваша жизнь вас не интересует.

— Это сложный вопрос, — ответил Вихрь.

— Как бы сложен этот вопрос ни был, не стоит себя обманывать.

— Мы гарантируем вам жизнь и свободу, — пообещал Вихрь.

— Стоп. Это не разговор. Я не знаю, кто вы, мне неизвестны ваши полномочия, я не знаю, к кому мне апеллировать в тот час, когда большевики примут нашу капитуляцию.

— Геббельс обещает нас расколотить уже в этом году, — заметил Вихрь.

— Разговор принимает несерьезный характер. Идеология не имеет никакого отношения к разведке.

— Ну, это как посмотреть, — сказал Коля.

— Ладно, — сказал Вихрь и медленно пошел дальше, через тихую, торжественную, черно-белую березовую рощу. — Ладно. Видимо, вы по-своему правы. Нужно, чтобы вы передали нам план оборонительных сооружений одерско-вислинского плацдарма. Если вы не можете достать этот план, помогите нам получить кого-нибудь из крупных эсэсовских офицеров, которые занимаются инженерным делом.

— Крауха, например, — сказал Коля, срывая длин-

ную желтую травинку. — Говорят, он много ездит по линии обороны.

Вихрь и Коля хорошо разыграли этот разговор. Они ждали реакции Берга.

Услышав фамилию Краух, Берг сразу же вспомнил, что этот эсэсовский полковник выполняет задания ставки, к возведению оборонительного вала не относящиеся. Каковы именно задачи Крауха в деталях, Берг не знал. Он знал только одно: у эсэсовского инженер-полковника специальные полномочия от ставки фюрера.

Следовательно, продолжал Берг анализировать слова русских, либо они назвали случайно известную им фамилию, либо они ходят вокруг чего-то неизвестного им, но для них крайне важного.

«Пусть они назовут эту фамилию еще раз, — решил Берг, — я пока промолчу, хотя, очевидно, это зондажный вопрос».

— Ну, бог с ним, с Краухом. Нас интересует оборонительный вал, — заключил Коля.

— Оборонительным валом интересуется, как правило, тактическая разведка, не так ли?

— Да как сказать, — ответил Вихрь.

— Ясно. Вы по профессии не разведчики. Вернее, вы стали разведчиками только на войне. Вам раньше не приходилось работать с иностранными разведчиками. Знаете, это как если простой смертный попал в мир кино: ему кажется, что модная кинозвезда — не человек, и живет она, ему кажется, в ином мире. В этом главный просчет. Модная кинозвезда по ночам плачет, потому что ей изменил любимый мужчина, или потому, что не может забеременеть, или потому, что на нее накричал во время съемок продюсер и прогнал прочь, как нашкодившую кошку, — так тоже бывает. Мне приходилось работать с актрисами, я подкладывал их французам в тридцать восьмом году. Словом, вам нужно еще одно доказательство моей преданности. Этим доказательством может служить план оборонительного вала. Потом вы, после соответствующей проверки, свяжете меня с Центром. Пока, видимо, вам не верят.

Коля заметил, как Вихрь чуть ухмыльнулся.

— Знаете, полковник, — сказал Вихрь, — я сейчас испытываю такую радость, какой давно не испытывал. Вы все верно говорили. Я б так ни за что не смог раскусить своего собеседника. Вы на сто голов выше меня в разведке. Какое, к черту, на сто! На тысячу!

Но вы ко мне пришли. Вы!

Он достал из заплечного мешка бутылку самогону, открыл пробку, выпил несколько глотков, потом протянул Бергу и предложил:

— Валяйте.

Берг выпил чуть больше Вихря и передал бутылку Коле. Тот допил ее и зашвырнул в чащобу.

— Я не обиделся на вас, — сказал Берг, закуривая, — потому что вы не оскорбили меня, вы говорили правду. Всего лишь. А на правду обижаются дураки или маньяки. Ладно. Давайте перейдем к нашим делам. Видимо, самым надежным будет такой план: я внедряю вашего человека к себе — в агентуру армейской разведки группы армий «А». Более того, я готов взять этого вашего человека в свой автомобиль и провезти его по всему оборонительному валу. Цель поездки я продумаю в деталях, чтобы не вызывать ненужного интереса у гестапо. Такое решение проблемы вас устроит?

Вихрь подумал: «Бородин молчит. Никаких указаний из Центра до сих пор не поступило. А промедление смерти подобно. Трус в карты не играет. Какие карты? При чем здесь карты? Это пословица. Народная пословица. А карты — пережиток прошлого, не так ли? Кроме, конечно, «дурака» и «пьяницы». В эти карточные игры можно играть больным детям. Чертовина какая в голову лезет».

— Это интересное предложение, — медленно ответил Вихрь. — Перспективное предложение. У вас есть с собой карточки матери или детей?

— Мы ведь сентиментальная нация... Конечно, есть.

— Покажите.

Берг достал из кармана пачку писем, перевязанных синей тесемочкой.

— Дайте все, — попросил Вихрь.

Берг сказал:

— Я понимаю. Возьмите одно — с обратным адресом. И одно фото. Там мать и дети. Остальные все-таки оставьте мне.

Вихрь взял письмо с обратным адресом и штемпелем на марке, отобрал фотографию, спрятал все это в карман и сказал:

— Вот так. А на внедрение к вам пойдет мой друг.

Берг посмотрел на Колю, кивнул, потом перевел глаза на Вихря, и — толчком — из точных, цепких глубин его памяти всплыл портрет того русского разведчика, кото-

рого ждал Муха и который потом был взят гестапо и сбежал от них — с рынка.

Полковник вдруг как-то устало и отрешенно подумал:

«Если я отдам его шефу гестапо, меня сделают героем нации. Во всяком случае, за такой подарок я получу отпуск».

— Назначайте место новой встречи, — предложил Берг, и Коля почувствовал, как в голосе полковника что-то сломалось.

Вихрь посмотрел на Колю, потом на Берга и сказал:

— Этот парень, — и он положил руку на Колино плечо, — мне как брат. Вроде как вам — сыновья. Понятно?

— Понятно.

— Если с его головы упадет хоть один волос, я обещаю вам много несчастий.

— Ладно, — сказал Берг все тем же усталым, надломленным голосом, — не стоит нам друг друга пугать, и так довольно страшно жить в этом мире. Завтра утром я жду. Надеюсь, мой адрес вам говорить не стоит?

— Не стоит, — сказал Коля.

— До свидания, — сказал Берг.

— До встречи.

— Мне держать налево? — спросил Берг, отойдя шагов десять. — Я плохо ориентируюсь на местности.

— Да. Все время по распадку. Выйдете на проселок, и — направо. Он выведет вас к шоссе.

— Спасибо.

Берг пошел было дальше, но его снова остановил Коля.

— Послушайте, полковник, — сказал он, — постарайтесь все же узнать, чем занимается Краух, а?

Берг покачал головой:

— Нет. Этим будете заниматься вы. Сами.

Он уходил сгорбившись и ноги переставлял трудно, как старик.

«Если я предупрежу старшего, чтобы он не появлялся в городе, он, видимо, испугается, — размышлял Берг, — он боится меня и ничему не верит. Конечно, это не тот класс разведчика, который нужен мне. Он не понимает, что я значу для их командования. С другой стороны, в гестапо распечатан его портрет, и, если его схватят, как он ни силен, они могут его замучить до такой степени, что он скажет обо мне. Хотя нет. Этот будет молчать».

Берг обернулся: русские все еще стояли на том же месте.

«Нет, рано, — решил он. — Его побег из гестапо —

мой козырь. Еще рано. Это надо суметь продать. А торгуют умные люди с глазу на глаз».

ПОПЫТКА-ПЫТКА

Седой и Юзеф Тромпчинский ждали Вихря в машине на выезде из города. Вихрь опаздывал; Седой, волнуясь, то и дело поглядывал на часы. Тромпчинский неторопливо раскуривал сигарету — этот человек сплавил в себе юмор и спокойствие.

«Мы все — в паутине случаев, — говаривал он. — И потом, мы — вне логики, как, собственно, и вся эта Солнечная система. Где логика? Природа дарит нам жизнь, впускает нас сюда, в мир, но какого же черта она с каждой секундой отбирает у человека то, что ему сама же подарила? Первый вопль новорожденного — это крик о грядущей смерти. Бояться смерти — наивно, потому что ее нет. Мы живем в самопридуманном мире. Нас в детстве пугали загробьем, а пугать надо только одним — предгробьем, то есть жизнью».

Вихрь вынырнул из переулка: он был в очках, в модном реглане — ни дать ни взять служащий бургомистрата; в толстом портфеле две гранаты и парабеллум под деловыми бумагами, уголки губ опущены книзу, левая бровь чуть изломлена.

— Простите, — сказал он, садясь в машину, — в центре была облава, я отсиживался. Едем, есть разговор.

Тромпчинский нажал на акселератор, и машина медленно тронулась с места.

— Вот какая штука, — начал Вихрь, — у меня в кармане два адреса. По этим адресам живут фрицы, которые будут взрывать Краков.

— Прелюдия довольно симпатична, — сказал Тромпчинский. — Когда им надо проламывать черепа: сегодня вечером или ночью?

— Это кустарщина, — ответил Вихрь. — Тут завязывается интересная комбинация. Это, конечно, параллельная комбинация, на нее ставку делать нельзя, но, чтобы спасти город, мы должны использовать все пути. Дело заключается в том, что один из этих двух эсэсманов — сын убитого в Гамбурге коммуниста и расстрелянной в лагере коммунистки. Но он об этом не знает. Сказать ему об этом может только один человек — Трауб.

Трауб спросил Тромпчинского:

— Послушайте, Юзеф, вы понимаете, с чем вы ко мне пришли?

— Понимаю.

— Включите радио, я боюсь микрофонов, хотя знаю, что их здесь нет — телефон выключен, а все отдушины я сегодня утром облазил с палкой.

По радио передавали отрывки из оперетт. Видимо, это было запись из Вены — голоса поразительные, оркестр звучал единым целым, а хор словно выталкивал солистов, а потом мягко и слаженно поглощал их.

— Откуда к вам поступили эти данные?

— Это несерьезно, пан Трауб. Лучше сразу вызывайте гестапо.

— Я обещал помогать вам — в безопасных для меня пределах... Объясните мне, чем я заслужил это ваше проклятое, полное, ненужное мне доверие?

— Вы писатель.

— А мало ли писателей в Германии?! Какого черта вы пришли ко мне?!

— В Германии мало писателей. Один из них — это вы. Те, остальные — не писатели.

— Милый Тромп, — улыбнулся Трауб, — я не смогу выполнить вашей просьбы. Я был полезен вам в той мере, в которой ощущал свою возможность помогать вам. Дальше начинается полицейский роман, а я писал психологические драмы, настоянные на сексуальных проблемах. А с тех пор как фюрер решил, что сексуальные проблемы разлагают будущее нации — ее молодежь, я стал писать нудные газетные корреспонденции.

— Будет очень плохо, если вы откажетесь. Краков превратится в пепел. Один раз вы помогли нам, крепко помогли, неужели откажетесь во второй?

— Надеюсь, вы не станете меня пугать тем, что однажды я вам уже помогал?

— Если б я был уверен, что поможет, — пугал бы.

— Слава богу, не врете. Пугать можно кого угодно, но нельзя пугать художника, потому что он сам столько раз пугал себя своим воображением, что больше ему, вообще-то говоря, бояться нечего. Писатель как женщина: захочет отдаться — вы ее получите, не захочет — ничего у вас не выйдет.

— Писатель, я не верю, что вы нам откажете.

— Давайте рассуждать логично: ну приду я к этому сыну. Что я ему скажу? Меня тут знает каждая собака, он позвонит в гестапо, и завтра же я окажусь у них.

— Зачем так пессимистично? Не надо. Мы предлагаем иной план...

— Кто это «мы»?

— Мы — это мы.

— Ну, давайте. Послушаем. Для записных книжек.

— План прост. Вы, я помню, говорили отцу, что работали в Гамбурге во время восстания двадцать второго года.

— Да. Только я тогда выступал против папаши этого самого эсэсовца. Я был за Веймарскую республику. Я очень не любил коммунистов.

— Не отвлекайтесь в прошлое. Давайте о будущем. Вы приходите к этому пареньку, а лучше ненароком встречаете его у подъезда дома — мы вам в этом поможем — и останавливаете его, задав ему только один вопрос: не Либо ли он. Вы, конечно, будете в форме. От того, что он вам ответит, будет зависеть все дальнейшее.

— Он мне ответит, чтобы я убирался к чертовой матери.

— Вы майор, а он лейтенант. Он никогда так не ответит.

— Ну, допустим. Дальше?

— Следовательно, он не пошлет вас к черту. Он спросит, кто вы. Вы представитесь ему. Вас, фронтового корреспондента, героя Испании, Абиссинии и Египта, знают в армии. Он начнет говорить с вами. Обязательно начнет говорить. А вы его спросите только об одном — не помнит ли он своего, безмерно на него похожего отца, одного из руководителей гамбургского восстания, кандидата в члены ЦК Компартии Германии. Вы сами увидите его реакцию на ваши слова. Все дальнейшее мы берем на себя. Понимаете? Оправдание для вас — хотели дать в газету материал о том, как сын врага стал героем войны, — мальчик ходит с орденами, ему это импонирует. Вы не обязаны знать их тайн, вы — пишущий человек, вы не вызовете никаких подозрений. Пусть корреспонденцию снимает военная цензура.

(Все дальнейшее у Вихря было продумано до мелочей: за домом Либо устанавливается слежка. Телефона у него в квартире нет — он живет в пяти минутах от казармы. Куда он пойдет и пойдет ли вообще после разговора с Траубом — это первое, что обязано дать наблюдение. Если Либо целый день никуда не выйдет, тогда следует приступать ко второй стадии операции, которую Вихрь брал на себя. Если же он пойдет в гестапо —

Тромпчинский предупреждает Трауба. А сам меняет квартиру. Если он пойдет к себе в штаб, тогда вопрос останется открытым. Тогда потребуется еще одна встреча писателя с Либо, тогда потребуется, чтобы Трауб срочно написал о нем восторженный материал и постарался напечатать в своей газете.)

— По-моему, из этой затеи ничего не выйдет, — сказал Трауб. — Хотя то, что вы мне рассказали, довольно занятно. На будущее это может пригодиться. Ну-ка, еще раз — с карандашиком — изложите ваш план. И подробней остановитесь на том, что мне может грозить. Последнее не от страха, а из любопытства и разумной предосторожности — надо спрятать дневники.

— Ну, это рано...

— Я не знаю, что такое рано, я знаю, что такое поздно. И потом, в вашей программе слабый пункт: с этим самым папашей Либо. Какой он? Его фото у вас есть? Я ведь его не видал ни разу в жизни.

— Фото у нас нет.

— А вдруг они мне покажут с десяток фото и спросят: «Ну, какой из них папа Либо?» Что я отвечу?

— Вы убеждены, что у них остались эти фото?

— А почему не допустить такую возможность?

— Вообще-то, эта тема для раздумья.

— В том-то и дело.

— Здесь только одно «за» — они не успеют затребовать из картотеки гестапо эти карточки, если они даже есть.

— То есть?

— Прихлопнут. По всему — очень скоро наступит конец.

— Очень вы оптимистично говорите с немцем. Осторожней надо, сердце-то у меня немецкое и мозг — тоже.

— Чем скорее наступит конец теперешним вашим хозяевам, тем будет лучше для Германии.

— Это слова, Тромп, слова... Гнев против наших вождей обратится в глумление над нацией.

— Я думаю, вы не правы.

— Ладно, милый мой представитель низшей расы, давайте попробуем спасти Краков вместе. Хоть подыхать будет не совестно. Вы, кстати, никогда не видели тот циркуль, которым наши идиоты промеряют черепа у неполноценных народов?

— Видел.

— Где?

— Меня промеряли.

— Простите.

— Завтра я заеду за вами, да?

— Видимо, заезжать за мной не стоит. Давайте мне адрес, и я там поброжу.

— Бродить не надо. Либо — человек аккуратный, он возвращается из казармы вечером между семью и семью пятнадцатью.

— А как я его узнаю?

Тромпчинский достал из кармана фотографию и положил ее на стол.

— Вот, — сказал он, — запоминайте.

— Ладно, — сказал Трауб, — попробую.

— Спасибо, писатель.

— Э, бросьте. За это не благодарят. Я это делаю для себя. Не тешьте себя надеждой, что вы меня к этому подвели. К этому меня подвел фюрер, моя фантазия и деревянные циркули, которыми промеряют полноценность.

«ВОЛЧЬЕ ЛОГОВО» ГОТОВИТ УДАР

Ф ю р е р. С военной точки зрения решает то обстоятельство, что на Западе мы теперь переходим от бесплодных оборонительных действий к наступательным. Только наступление способно снова придать этой войне на Западе желательное нам направление. Оборона поставила бы нас за короткое время в безнадежное положение: все зависело бы лишь от того, в какой мере противнику удастся наращивать силу воздействия его прибывающей техники. Причем наступление потребует не так уж много жертв в живой силе, как это себе представляют. По крайней мере, в будущем их потребуется меньше, чем ныне. Мнение, будто бы наступление при любых обстоятельствах сопровождается бóльшими потерями, чем оборона, не соответствует действительности. Именно в оборонительных боях мы всегда проливали больше всего крови, несли больше всего потерь. Наступательные же бои, в сущности, всегда были для нас сравнительно благоприятными, если сопоставить потери противника и наших войск, включая и пленных. И в нынешнем наступлении уже вырисовывается аналогичная картина. Когда

я представляю себе, сколько дивизий противник бросил в Арденны, сколько он потерял одними только пленными (а это ведь то же, что и убитыми, это ведь потери безвозвратные), когда я добавляю к этому остальные потери его в живой силе, суммирую с потерями в технике и другом имуществе, когда я сравниваю все это с нашими потерями, то вывод становится несомненным: даже короткое наступление, проведенное нами на этих днях, обеспечило сразу же немедленную разрядку напряженной обстановки по всему фронту.

...Мобилизация сил для этого наступления и для последующих ударов потребовала величайшей смелости, а эта смелость, с другой стороны, связана с огромным риском. Поэтому, если вы услышите, что на южном участке Восточного фронта, в Венгрии, дела не очень хороши, то вам должно быть ясно: мы, разумеется, не можем быть одинаково сильны повсюду. Мы потеряли очень многих союзников. И вот, в связи с изменой наших милых соратников, нам, к сожалению, приходится постепенно отступать в пределы все более узкого кольца окружения. Но, несмотря на все это, оказалось возможным удержать в общем и целом фронт на Востоке. Мы остановим продвижение противника и на южном крыле. Мы встанем стеной на его пути. Нам удалось, несмотря ни на что, создать много новых дивизий, обеспечить их оружием, восстановить боеспособность старых дивизий, в том числе и пополнить их вооружение, привести в порядок танковые дивизии, скопить горючее. Удалось также, что очень важно, восстановить боеспособность авиации. Наши самолеты новых моделей уже поступают на вооружение, и авиация может наконец в дневное время атаковать тылы противника. И еще одно: нам удалось найти столько артиллерии, летательных аппаратов, танков, а также пехотных дивизий, что оказалось возможным восстановить равновесие сил на Западе. Это уже само по себе чудо. Оно потребовало непрерывных усилий, многомесячного труда и постоянной настойчивости даже в мелочах. Я еще далеко не удовлетворен. Каждый день обязательно выявляются какие-то недоделки и неполадки. Не далее

как сегодня я получил очередное послание: необходимые фронту 210-мм минометы, за которыми я месяцами гоняюсь, как черт за грешной душой, видимо, еще не могут поступить в производство. Но я надеюсь, что мы их все же получим. Идет непрерывная борьба за вооружение и за людей, за технику и горючее и еще черт знает за что. Конечно, такое положение не может быть вечным. Наше наступление должно определенно привести к успеху...

Навести порядок здесь, на Западе, наступательными действиями — такова наша абсолютная цель. Эту цель мы должны преследовать фанатически. Конечно, втайне кто-нибудь со мною, наверное, не согласен. Некоторые думают: да-да, все правильно, только выгорит ли это дело? Милостивые государи, в 1939 году тоже были такие настроения! Тогда мне заявляли и на бумаге, и в устной форме: этого делать нельзя, это невозможно. Еще и зимой 1940 года мне говорили: этого делать нельзя, почему бы нам не остаться на рубеже Западного вала; мы, мол, соорудили Западный вал, так пусть же противник на нас нападает, а мы потом, может быть, нанесем ответный удар; пусть он только сначала нападет сам, а затем уж, возможно, будем наступать и мы; у нас, мол, отличный оборонительный рубеж, так зачем же рисковать! Теперь скажите, что бы с нами было, если бы мы тогда не нанесли удар? Вот и сейчас положение аналогичное. Соотношение сил ныне не хуже, чем в 1939 или 1940 году. Наоборот: если нам удастся двумя ударами уничтожить американские группировки, то это будет означать изменение соотношения сил однозначно и абсолютно в нашу пользу. При этом я учитываю, что немецкий солдат знает, за что борется...

В дни нашего наступления с облегчением вздохнул весь немецкий народ. Нельзя допустить того, чтобы вздох облегчения сменился новой летаргией, — впрочем, не летаргией, это неверно, скорее следует сказать унынием. Народ вздохнул. Уже сама мысль о том, что мы можем вести наступление, вдохнула в народ счастливое сознание силы. У нас еще будут успехи, наше тепе-

решнее положение ничем не хуже положения русских в 1941—1942 годах, когда они на фронте большой протяженности начали медленно оттеснять назад наши перешедшие к обороне войска. Итак, когда мы продолжим наступление, когда выявятся первые крупные успехи, когда немецкий народ их увидит, то можете быть уверены, что народ принесет все жертвы, на которые вообще способен человек. Каждое наше воззвание будет доходить до самого сердца народа. Нация ни перед чем не остановится, будь то новый сбор шерстяного трикотажа или какое-то другое мероприятие, будь то призыв новых людей в армию или что-то еще. Молодежь с восторгом пойдет нам навстречу. Но и весь остальной немецкий народ будет реагировать на наши призывы в абсолютно положительном смысле...

Поэтому я хотел бы в заключение призвать вас к тому, чтобы вы со всей страстностью, всей энергией, всей своей силой взялись за предстоящую операцию. Она — одна из тех, которые имеют решающее значение. Ее успех автоматически приведет к успеху следующего удара. А успех следующей, второй операции автоматически повлечет за собой ликвидацию всякой угрозы левому флангу нашей наступающей группировки. В случае успеха мы, по существу, полностью взломаем на Западе добрую половину фронта противника. А потом посмотрим. Я думаю, что противник не сможет оказать длительного сопротивления тем 45 немецким дивизиям, которые к тому времени смогут принять участие в наступлении. Тогда мы еще поспорим с судьбой.

За то, что нам удалось назначить начало операции на новогоднюю ночь, я особенно благодарен всем штабам, участвовавшим в ее разработке. Они проделали огромную подготовительную работу и взяли на себя великую смелость нести за нее ответственность. В том, что это оказалось возможным, я вижу хорошее предзнаменование. Новогодняя ночь в истории Германии всегда сулила немцам военные успехи. А для противника новогодняя ночь — неприятный сюрприз, потому что он празднует не рождество, а Новый год. Для нас же не может быть лучшего начала нового

года, чем нанести еще один удар. И если в первый день нового года в Германию придет известие, что началось новое немецкое наступление на другом участке фронта и что это наступление обязательно поведет к успеху, то немецкий народ заключит, что все неудачи кончились вместе с прошедшим годом, а новый год начался счастливо.

Фон Рундштедт. Мой фюрер! От имени собравшихся здесь командиров я хотел бы выразить твердую уверенность, что и командование и войска сделают все — решительно все! — чтобы обеспечить успех этого наступления.

ЭХ, АНЮТА, АНЮТА

В охотничьем домике, скрытом от случайных глаз молодым, частым ельником, в лесу под кручей жила Аня. Через день к ней приходил Вихрь, приносил еду, и, пока она варила картошку и свеклу на печке, сделанной из железной бочки, он сидел возле маленького оконца над материалами, переданными ему Колей, Седым и Тромпчинским. Материалы были серьезные, подчас разноречивые: приток информации к Коле, Седому и Тромпчинскому шел от десятков разных людей, поэтому Вихрю приходилось сначала рассортировывать все данные по степени возможной достоверности. Прежде всего он откладывал в сторону документы из немецких штабов и кропотливо анализировал их, сопоставляя с другими материалами. Если он находил тому или иному факту подтверждение, а еще лучше — двойное, перекрестное подтверждение, тогда он переносил все это на лист бумаги и подчеркивал красным карандашом. Некоторые данные, не получившие перекрестного подтверждения, но представлявшиеся ему с точки зрения сегодняшней конъюнктуры важными и правдоподобными, он также переписывал, но отчеркивал это синим карандашом — все, как у Бородина, одна школа.

Ему приходилось обрабатывать за ночь целую кипу материалов: здесь были копии приказов из штабов; зарисованные людьми из разведки Седого вновь появившиеся эмблемы на солдатских формах, танках, автомашинах; надо было сверить с картами — где, когда появились новые части, где роют кабели, соотнести это с расположением укрепленных точек оборонительного вала,

предположить, а потом либо опровергнуть, либо утвердить вариант возможных замыслов врага, все это ужать до самой возможной малости, чтобы не торчать долго в эфире, а после передать эти сведения Бородину.

А Бородин молчал, будто отрезало его после той радиограммы, в которой Аня рассказала о своем аресте, и о предложении Берга работать с нами, и про ту дезу, которую она передала в Центр перед самым побегом. Причем Бородин, затребовав все данные на Берга, приказал впредь на связь не выходить до его особого на то разрешения. Аня считала, что Бородин таким образом выразил ей свое политическое недоверие.

Аня варила картошку, слушала, как гудит пламя и булькает в котелке потемневшая вода, и неотрывно смотрела на Вихря, на его большую, взлохмаченную голову, и думала, что и он, Вихрь, тоже сторонится ее, не смотрит в глаза, головы от стола не поднимает. Разве он не чувствует, что ей очень надо сейчас, чтобы он был возле? Неужели они все такие дубокожие? Конечно, он понимает, как она относится к нему, этого слепой и глухой только понять не мог бы. Он сторонится ее, потому что не верит ей, он считает, что раз она побывала у немцев, то, значит, не может быть чистой. Не зря Вихрь ничего не рассказывает ей про Берга, не зря молчит Бородин, не зря тут ни разу не был Коля. Все это терзало ее, под глазами залегли коричневые круги, она почти не спала, а у Вихря сердце разрывало, когда он слышал сухой треск ее пальцев — раньше этого у Ани никогда не было.

— Картошка готова, — сказала Аня тихо, — я ее накрою и оставлю возле печки. Ладно?

— Спасибо, — ответил он, не оборачиваясь. — Сама поела?

— Да, — ответила девушка.

Она ушла за перегородку, разделась и легла на топчан, натянув до подбородка громадный овчинный тулуп.

«Пусть у меня жизнь заберут, только пусть верят, — горестно думала девушка. — Нет ничего страшней, если тебе не верят и ты никак не можешь доказать свою правоту. Нас учили, что обстоятельства подчиняются логике. Ничему они не подчиняются. Мы подчиняемся обстоятельствам, ходим под ними, зависим от них и ничего с ними поделать не можем».

Аня лежала, вслушиваясь в тишину. Она вся была так напряжена, что даже за мгновение перед тем, как

Вихрь чиркнет спичкой, чувствовала это, ясно представляла себе, как он достает из коробки сигарету, как щупает пальцами стол (потому что глаза — в документах), как пальцы находят коробок, как он вытаскивает спичку, ставит коробок набок и ловко зажигает спичку — огонек поначалу белый, а потом с красно-черной копотью; она чувствовала, как долго он не подносит огонек к сигарете, и только когда пламя начинает жечь его чуть приплюснутые пальцы, быстро прикуривает и долго, медленными движениями, словно маятник, тушит огонек и бросает спичку в пепельницу, сделанную из гильзы противотанкового снаряда.

Вихрь поднялся из-за стола за полночь, на цыпочках подошел к загасшей печке, подбросил березняка, снял старый ватник с котелка и начал есть картошку со свеклой.

Ане нравилось наблюдать за тем, как кто ест. Некоторые ели, чтобы насытиться: быстро, рвуще, откусывая большие куски от ломтя хлеба, так, что на мякоти оставались следы длинных, жадных зубов. Другие наслаждались, много говорили за едой, подолгу разглядывали суп и закуску: грибы в большой тарелке, капусту в миске, огурчики в деревянном бочонке — в Сибири они особенно красивы на деревянном струганом столе; третьи ели просто так, для порядка: надо — вот и едят. Эти нравились Ане больше всего.

«А может, я все это сочиняю, — подумала Аня, — оттого, что Вихрь ест, как дышит. Он раз сказал, что жена, еще до того как ушла от него, однажды вместо супа поставила ему воду от вымытой посуды, а он ее все равно съел. Он смеялся, а мне плакать хотелось — как же она так с ним могла поступать, и почему он над этим смеется?»

Аня услыхала, как Вихрь укрыл кастрюлю с картошкой и придвинул ее к печке. Потом он отошел к узенькой железной кровати, стоявшей возле двери, и снял сапоги.

— Вихрь, — тихонько позвала Аня. — Вихрь...

Она не думала за мгновение перед этим, что окликнет его. Это в ней случилось помимо нее самой.

— Что?

— Ничего.

— Почему не спишь?

— Я сплю.

Вихрь усмехнулся.

— Спи.

Он сбросил пиджак, повесил его на стул, вытащил из кармана пистолет и положил его рядом.

— Вихрь, — сказала Аня еще тише.

Он долго не отвечал ей и сидел замерев, только глаза откроет, закроет, откроет, закроет...

— Вихрь, — снова позвала его Аня, — ну пожалуйста...

А после стало так тихо, будто все окрест было небом, и не было ни тверди, ни хляби, ни говора леса, ни шуршания поземки, ни потрескивания березовых, мелких, сухих поленцев в раскаленной добела печке, ни зыбкого пламени свечи.

И были рядом двое, и было им тревожно и счастливо, и боялись эти двое только одного — окончания ночи.

...Поэт — это радарная установка высочайшей чувствительности:

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.
Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы,
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья...

Считается, что эти стихи написаны после войны. Может быть. Но услышаны они были поэтом, увидены им и приняты радаром его обостренных, трагических чувствований ранним зимним утром последнего года войны.

— Что ж ты плачешь, маленькая, — шептал Вихрь, — я верю тебе. Я люблю тебя, разве я могу не верить тебе?

— Я сейчас не от этого плачу.

— А отчего?

— Оттого, что мне так хорошо рядом с вами.

— Тогда улыбнись.
— Я не могу.
— Я прошу тебя.
— Тогда мне надо вас обманывать
— Обмани.
— Не хочу.
— Ты упрямая?
— Очень.
— Знаешь, я не люблю, когда плачут.
— Сейчас я перестану. Это у нас бывает.
— У кого?
— У женщин.
— Почему?
— Мы ж неполноценные. Из вашего ребра сделаны.
— Ты сейчас улыбнулась?
— Да.
— Покажись.
— Нет.
— Покажись.
— Я зареванная. У меня нос распух. Вы меня такую любить не будете.
— Буду.
— Не будете, я знаю.
— Анюта, Анюта...
— Я, когда вы в городе, даже двигаться не могу — так за вас боюсь.
— Со мной ничего не будет.
— Откуда вы знаете?
— Знаю.
— Я молюсь, когда вы в городе.
— Богу?
— Печке, лесу, небу, себе. Всему вокруг.
— Помогает?
— Разве вы не чувствовали?
— Нет.
— Это потому, что вы не знали. Если в тайге человек пошел через сопки один, за него обязательно охотники молятся. У нас там все друг за друга молятся. Я за моего дядю молилась ночью, думала: «Лес, пожалуйста, сделай так, чтобы ему было хорошо идти, не путай дядю Васю, не прячь тропу, не делай так, чтобы у него ночью загас костер, приведи его на ночлег к хорошему ручью. Небо, пожалуйста, не пускай дождь, не разрешай облакам закрывать звезды, а то дядя Вася может заблудиться, а у него нога больная, а он все равно ходит

на промысел, потому что я у него осталась, он мне хочет денег собрать на техникум...»

— Ну и что?

Аня повернула к Вихрю нежное, светящееся лицо и сказала тихо:

— Я запомнила: это было в половине третьего ночи — ходики на стене тикали. А он, когда вернулся, смеялся все, рассказывал, как в ту ночь на него медведица-шатунья вышла, а он спал. И будто его кто толкнул — успел ружье схватить. А я-то знала, кто его толкнул.

— Ты?

— Нет... Земля. Какое дерево заскрипело, костер искрами выстрелил, бок напекло — вот он и проснулся. Я ж за него у леса просила и у неба.

— Колдунья ты.

— Для других — колдунья. А для себя ничего не смогла.

— А за меня ты когда стала землю и небо просить? С самого начала?

— Нет.

— А когда?

— В тюрьме.

— Почему?

— Не знаю... Я там вас часто вспоминала. Никого так часто не вспоминала — ни маму-покойницу, ни папу, ни дядю Васю.

Аня снова заплакала.

— Что ты?

— Я теперь на всю жизнь обгаженная — в гестапо сидела, их шифровку передала.

— Перестань, — сказал Вихрь. — Чтоб ты не терзала себя, запомни и выкинь из памяти: я тоже сидел в гестапо.

— Когда?

— Меня арестовали в первый день. Помнишь, я пришел на явку только через неделю?

— Помню.

— Я был в гестапо все это время.

— А как же...

— Я бежал с рынка. Это долгая история. Словом, я бежал от них...

— А почему...

— Что?

— Почему вы ничего не сказали?

— Потому, что мне надо было выполнить операцию. Выполню — скажу.

— Вы никому не сказали?

— Никому.

— И Коле?

— Даже Коле.

— Значит, вы нам не верили?

— Я вам всем верю, как себе.

— Тогда... почему же вы... молчали?

— Ты в себя не можешь прийти? Тебе ведь кажется, что перестали верить в Центре? А каково было бы мне — руководителю группы? Тебе ведь казалось, что и я тебе не верю, да?

— Да.

— Нам пришлось бы уйти. А новую группу сколько надо готовить? Месяц. А передавать связи? Месяц. Налаживать связи? Месяц. Входить в обстановку? Месяц. А что может случиться с городом? Для меня — сначала дело, после — сам. Понимаешь?

Аня не ответила.

— Спишь, девочка?

Аня снова ничего не ответила.

Вихрь гладил ее по голове осторожными, ласковыми движениями.

Аня не спала. Она до ужаса ясно вспоминала слова Берга о том, что гестапо устроило побег русскому разведчику с рынка после того, как он перевербовался к ним. Он сказал даже день, когда это случилось. Аня сейчас вспомнила: в тот день Вихрь пришел на явку.

Утром Вихрь ушел в город. Аня еще раз сопоставила слова Берга с ночными словами Вихря, когда он говорил ей, что в городе с ним ничего не случится, и, приняв это его мужское желание сильного успокоить ее совсем за иное, она самовольно вышла на связь с Центром и передала Бородину все об аресте Вихря гестапо и о его побеге. А потом она достала свой парабеллум и загнала патрон в ствол. И — замерла у стола, словно изваянная...

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ

На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного Командования могут потребоваться большие решения. Вы сами знаете по

Вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы. Генералу Эйзенхауэру очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что Вы предполагаете делать, так как это, конечно, отразится на всех его и наших важнейших решениях. ...я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января и в любые другие моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете упомянуть. Я никому не буду передавать этой весьма секретной информации, за исключением фельдмаршала Брука и генерала Эйзенхауэра, причем лишь при условии сохранения ее в строжайшей тайне. Я считаю дело срочным.

ЛИБО

— Прошу вас, господин Трауб, прошу.

— Благодарю, господин Либо.

— Что вас привело ко мне?

— Любопытство.

— То есть? — Либо пропустил Трауба перед собой, включил свет в квартире, быстро оглядел окна — опущены ли синие светомаскировочные шторы, и жестом предложил Траубу садиться.

— Сейчас я все вас объясню.

— Мне льстит, что вы, такой известный фронту журналист, заинтересовались моей скромной персоной. Я в свое время читал ваши книги.

— О!

— Я отдавал должное мастерству, с которым они были написаны, но меня поражало, где вы находили таких слабых, развинченных, мятущихся людей? Простите, конечно, за столь откровенное признание, но ваши фронтовые корреспонденции нравятся мне значительно больше.

— И на том спасибо.

— Один предварительный вопрос: откуда вам известна моя фамилия? Кофе или пива?

— Кофе, если можно.

— Сейчас я заварю.

— Что касается вашей фамилии, — глядя в спину эсэсовцу, медленно сказал Трауб, — то, поверьте, я не знал ее. Вернее, я не был уверен, что вы — Либо.

Лейтенант обернулся и с улыбкой спросил Трауба:

— Вы мистик?

— В некотором роде. Видите ли, я действительно не знал, что вы — Либо. Меня поразило ваше сходство с другим Либо. Видимо, то был ваш отец — один из руководителей гамбургского коммунистического восстания.

Либо продолжал заваривать кофе. Он равномерно помешивал ложкой в большой белой чашке. Потом аккуратно, изящным и точным движением вытащил ложку, подержал ее несколько секунд над чашкой, чтобы капли кофе не измазали белую скатерть, и положил ее на соломенную салфетку.

Обернулся, взял в одну руку обе чашки, поставил одну перед Траубом, а вторую перед собой, опустился в кресло и спросил:

— Откуда вам это известно?

— Я помню вашего отца. Я брал у него интервью.

— Мы похожи?

Трауб секунду помедлил и ответил:

— В чем-то — поразительно.

— В чем именно?

— Это неуловимо.

— Мне кажется, вы что-то путаете, господин майор.

— Если б вы не откликнулись на Либо — я бы действительно путал. Сейчас, я убежден, не путаю.

— Чем же конкретно я похож на отца?

— Походкой, манерой держать голову, овалом лица, той массой неуловимых деталей, которые позволяют запомнить сходство. Меня он в свое время поразил: он был личностью — враг, серьезный враг, но громадной воли человек.

— Он был блондин?

— Не то чтобы блондин... Не то чтобы ярко выраженный блондин. Во всяком случае, он был светлый, как вы, если мне не изменяет память. Но главное — я запомнил его глаза, разрез глаз, рот, манеру держать себя. Это поразительно! Но интересует меня не ваш отец — он враг нации...

— Господин майор, я просил бы вас находить более точные выражения...

— Вы не согласны с тем, что главарь, точнее, один

из главарей коммунистического мятежа может быть определен как враг нации?

— Сначала вы обязаны доказать мне то, что я сын того врага, а после мы станем говорить об оценках его деятельности.

— Лейтенант, меня, право, мало интересует ваша генеалогия. Меня интересуете вы, ваш генезис — один из прославленных воинов СС, сын... того Либо, — улыбнулся Трауб, — скажем так, а? Вы не против?

— Я не против.

«Или это подчеркнутое спокойствие — проявление смятения, — думал Трауб, размешивая сахар в кофе, — или он — кусок льда, мертвый человек, самое страшное, что может быть».

— Давайте, дружище, давайте, — улыбнувшись, попросил Трауб, достав из кармана блокнот и ручку, — признавайтесь во всем. Я восславлю солдата. Единственно честные люди земли — солдаты.

— Мне приятно слышать это от офицера и журналиста.

— Итак...

— Где моя мать?

— Этого я не знаю.

— Сколько я себя помню — я был сиротой.

— И ничего не знали о ваших родителях?!

— Ничего.

— И вам ничего об этом не говорили?

— Кто?!

— Командование.

— Нет.

— Вы член партии?

— А вы?

— Я всегда сочувствовал движению.

— Ну а я всегда сражался за него.

— Браво! Это красивый ответ.

— Это не ответ, это правда.

— Еще раз браво! Но что-то, я вижу, вы не из разговорчивых. Расскажите-ка мне историю вашей борьбы: фронт, где и за что получены ваши боевые награды, друзья, эпизоды сражений. Солдат обязан быть сдержанным, но он при этом должен уважать прессу.

— Окончив школу офицеров СС, я был отправлен на Восточный фронт для выполнения специальных заданий командования войск СС. За выполнение этих заданий солдаты, которые находились в моем подчинении, а так-

же и я были награждены волей родины и фюрера. Еще кофе?

— Нет. Спасибо. Больше не надо.

— Это натуральный кофе.

— Я чувствую.

— Чем я еще могу быть вам полезен?

— Больше ничем. Простите мою назойливость, лейтенант, — сухо ответил Трауб. — Желаю вам счастья. Всего хорошего.

— Господин майор, в силу того, что я нахожусь при выполнении особого задания, положение обязывает меня настоятельно попросить вас зайти к моему начальству.

— Не понял...

— Мне следует сейчас же вместе с вами зайти к моему руководству. Всякий, кто вступает со мной в контакт, обязан быть представлен руководству. Это указание полевого штаба рейхсфюрера СС.

— Лейтенант, вы в своем уме? Доложите руководству, что к вам приходил военный писатель Трауб. Если надо будет, меня пригласят для объяснений.

— Я все понимаю, но тем не менее, господин майор, я вынужден подчиняться приказу.

«Неужели это конец? — подумал Трауб. — Какая глупость! Боже, какой страшный этот парень. Это же не человек. В нем вытравлено все человеческое. Это животное. Нет. Это даже не животное. Это механизм, заведенный однажды. А может быть, даже хорошо, что это настало, — я устал ждать».

— Господин Либо, я ценю шутки, пока они не переходят границ уважительности друг к другу.

— Господин Трауб, — сказал Либо, поднявшись, — не заставляйте меня применять силу.

— Вы забываетесь.

— Господин Трауб, я больше не стану повторяться.

«Что я сделаю с этим верзилой? — подумал Трауб. — Видимо, надо идти».

— Ну что ж, — заставил он себя улыбнуться, — пожалуйста. Если вы настаиваете — не драться же мне с вами.

— Благодарю вас, господин майор. Я глубоко признателен вам за то, что вы верно поняли мой долг.

Телефона у Либо не было. Была кнопка — зуммер тревоги и сигнал вызова машины из гестапо. Он нажал сигнал вызова машины.

Шеф гестапо Крюгер разложил перед Траубом несколько фотографий и сказал:

— Это дьявольски интересно, майор. Ну-ка, покажите, кто из этих людей отец Либо?

Трауб внимательно посмотрел фотографии:

— Вообще-то в этом их сходстве было что-то неуловимое...

— Это поразительно. Писатели, писатели, я не устаю восхищаться вами. Нам бы, разведчикам, вашу память. Ну, какой из них? Напрягитесь. Мне это интересно с чисто профессиональной точки зрения.

«Нет, здесь его нет, — думал Трауб, — это все фотографии тридцатых годов, судя по костюмам. Что он хочет? Зачем эта игра? Здесь нет Либо. Здесь нет никакого сходства с тем парнем. Пожалуй, я бы заметил хоть какое-нибудь сходство, если б оно было».

— Здесь нет Либо.

— Какого Либо.

— Старшего.

— Того, которого вы интервьюировали на баррикадах в Гамбурге?

— Да. Именно того.

— Как его звали, не помните?

— Не помню, право. Просто Либо. Так его звали все.

Шеф гестапо сделал ошибку — он не сумел сдержать себя. Сдержись он — и кто знает, как пошли бы дальнейшие события. Отпусти он с извинениями Трауба, поставь он за ним наблюдение, протяни от него связи к Тромпчинскому, Седому, Вихрю — никто не знает, как сложилась бы дальнейшая судьба Кракова. Но он не сдержался. Он ударил Трауба кулаком в губы и закричал:

— Сволочь продажная! Сволочь! Не было никакого Либо! Был Боль! А Либо есть только один! Ему была дана фамилия в интернате, понял?! Встать! Отвечай немедленно, сволочь! Откуда к тебе пришла история этого Либо?! Откуда?! Ее знаю здесь один я! Ну?!

Когда Трауба унесли в камеру, Либо обратился к шефу с вопросом:

— Бригадефюрер, есть ли хоть капля правды в словах Трауба?

Шеф гестапо тяжело дышал и вытирал лицо большим платком.

— Да, мальчик, — ответил он, — есть. Более того, в его словах — все правда. Но это никак не бросает на тебя тень. Ты — верный сын нации. Ты — не сын врага, ты — сын народа. Вспомни, ты говорил о своем задании кому-нибудь?

— Никому, бригадефюрер.

— Я верю тебе, сынок. Спасибо тебе, мальчик. Ты очень помог нам. Спасибо.

— Моя мать — тоже враг нации?

— Я никогда не врал тебе... Я не могу соврать тебе и сейчас — моему брату и товарищу по партии: твоя мать была таким же врагом, как и отец.

— Она жива?

— Нет, — шеф гестапо посмотрел в стальные, спокойные глаза Либо и повторил: — Нет. После того как ее попытка покушения на жизнь твоего истинного отца, нашего фюрера, сорвалась, она была заключена в концентрационный лагерь. Она имела все возможности быть матерью немца, она могла воспитывать тебя, мальчик. Она бросила тебя и ушла к врагам. Она обрекла тебя на то, что ты был лишен ласки, лишен материнской руки. При попытке к бегству она была убита. Тебя приняли руки фюрера, сынок, и ты всегда чувствовал тепло его рук.

— Да, бригадефюрер.

— Рейхсфюрер СС знает твою историю, верит тебе и гордится тобой. Мы не можем врать друг другу. Прости меня за эту правду.

— Я понимаю.

— В твоем сердце шевельнулась жалость?

— Жалость? К кому?

— Хорошо сказал, сынок, очень хорошо сказал. Если ты захочешь поговорить со мной, приходи в любое время дня и ночи. Мой дом открыт для тебя, мальчик. А сейчас иди, у меня будет много всяческой возни.

— Хайль Гитлер!

— Хайль Гитлер, сынок, хайль Гитлер!

Либо вернулся домой тем же размеренным шагом, каким шел из казармы СС, когда его окликнул Трауб. Он так же спокойно вошел к себе в квартиру, так же зажег свет, поглядев при этом на шторы светомаскировки, убрал со стола две чашки, вымыл их, спрятал в шкаф, потом вымыл ложку, убрал ее, а потом пошел в ванную комнату и там застрелился.

Через три дня дело Трауба было отправлено в Берлин, председателю «Имперского народного суда» Фрейслеру.

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ

Получил вечером Ваше послание.

Очень важно использовать наше превосходство против немцев в артиллерии и авиации. В этих видах требуется ясная погода для авиации и отсутствие низких туманов, мешающих артиллерии вести прицельный огонь. Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всем центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам.

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ

Я весьма благодарен Вам за Ваше волнующее послание. Я переслал его генералу Эйзенхауэру только для его личного сведения. Да сопутствует Вашему благородному предприятию полная удача!

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ

Когда пишется история войны, то необходимо, анализируя все и всяческие аспекты этой громадной трагедии, строго следовать не за эмоциями, симпатиями или вновь открывшимися мнениями, но за фактами, которые хранятся в документах, газетах, архивах. История может с большой осторожностью принимать как достоверное воспоминания участников эпопеи. С еще большей осторожностью история должна относиться к безапелляционным утверждениям тех людей, которые — волею су-

деб — были знакомы либо с совокупностью проблем, либо с какими-то, пусть даже значительными, частностями; сплошь и рядом такие люди страдают аберрацией памяти. История обязана называть все имена, перечислять все поражения и победы, не оправдывая одни и не приукрашивая другие.

Пимен только потому и остался в веках, что летопись свою вел отрешенно, как бы ни была горька правда. Любая история — это история факта, а если это не так, то начинается своеволие и подтасовка, которая — даже будучи рождена лучшими побуждениями — все равно отомстит неуважительностью современников и презрительной усмешкой потомков.

Как только историк становится пристрастным, как только он хочет поярче выписать зло и посильнее воспеть правду, как только историк начинает расставлять свои акценты в исследовании — так сразу же такое писание делается сомнительным упражнением в безответственности. Правда, только правда, вся правда — это великолепная присяга для историка, ибо от его свидетельств зависит не только жизнь одного человека, но воззрение поколений. А воззрение будущих поколений — это такая материализованная сила, которая может или сохранить планету, или разнести ее в тихие, стремительные груды известняковой или гранитной породы, и в подоплеке первого шага к этой трагедии будет усталая мысль того, кто вправе решать: «А ну вас всех к чертовой матери с вашей наивной ложью. Надоело...»

Мельников тогда, в госпитале, харкая черными брызгами крови, сказал:

— Бородин, ты ж не дитя. Нас можно ругать за жестокость предъявляемых нами требований, но я хотел бы посмотреть, как сложилась бы обстановка без «СМЕРШа» в сорок первом и сорок втором, когда отходили, и в сорок третьем, когда было тоже не сладко, и в сорок четвертом, когда бандеровцы, и в сорок пятом, когда придется заниматься гестаповцами и СС уже в самой Германии. Кому ими придется заниматься? То-то и оно — нам, «СМЕРШу». Для того чтобы политотдел мог верить, мне приходится не верить.

— Но здесь ведь совсем другое дело... Это мои люди, я их знаю. И если Вихрь доверяет Ане, значит, у него основания доверять ей.

— «Другое дело, другое дело...» Ты ж не дитя, Бородин: деза, составленная гестапо, от нее была? Была. Это раз.

— А где два? Два у меня в кармане. Она ушла, она предлагает комбинацию с полковником разведки Бергом. Это тоже не семечки. Так что не загибай пальцы, два — в мою пользу.

— Люблю я тебя за нежность характера, Бородин.

— Я тебя тоже люблю за нежность характера, не в этом суть вопроса.

— И в этом. Я в сорок третьем отпустил одного хитрого типа, «перевербовавшись» к нему. Вернее, как отпустил? Не отпустил, устроил спектакль с побегом. А потом всю его цепь получил и верную связь с его центром. Я их полгода дурил, полгода от них принимал оружие и связных. Может, у тебя таких комбинаций не было? Так я тебе напомню твоего троцкиста из Валенсии, если забыл.

— То хитрый тип, то троцкист, а здесь Аня.

— Аня, Аня... Что ты заклинания произносишь? Аня Аней, а полковник разведки Берг остается Бергом.

— Так что ж ты предлагаешь?

— Генштаб о той шифровке, что передали их кодом, молчит?

— Молчит.

— Это твой единственный козырь. До тех пор, пока ты ничего не получил из Москвы, считай, что ты со мной советовался, а если и дальше будут молчать, в официальном порядке связывайся с Кобцовым, пусть подключается.

— Ты же знаешь его...

— Ну...

— Ты представляешь, что он сразу предложит?

— Представляю. А ты диалектику чтишь?

— Попробуй не почти. Он сразу дело накрутит.

— И правильно сделает, — усмехнулся Мельников. — А что касаемо диалектики — она есть единство противоположностей. Борись. За кем правда, тот и возьмет.

— Пока я с ним буду бороться, дело станет.

— А что у тебя Вихрь — дитя? Он же серьезный парень. В конце концов, победителей не судят.

— Ты что, Кобцова боишься?

Мельников пожевал белыми губами, сдержал приступ кашля, от этого лицо его посинело, потом он закрыл гла-

за, долго приходил в себя, осторожно выдыхая носом и сказал:

— Я боюсь только одного: как бы этот самый Берг не переиграл всех наших, и тогда Краков взлетит на воздух, а это будет небывалое свинство, что мы город спасти не смогли. Вот чего я боюсь. Ты же не дитя, ты ж понимаешь.

— Я попробую сегодня запросить Генштаб.

— Ты их не поставил в известность?

— Я сразу приехал к тебе.

— А еще говорят, что разведчики и особисты плохо живут.

— Мельников с Бородиным живут хорошо.

Мельников посмотрел на Бородина воспаленными, блестящими глазами, поманил его пальцем, тот нагнулся; Мельников, зажав рот платком, прошептал:

— Разведка, узнай у врачей: скоро мне в ящик, а?

— Ты что?

— Борода, ты меня только не вздумай успокаивать. Я старый-престарый, битый-перебитый чекист. Ну... Валяй... Попробуй. Я б сбежал, да ведь заразить страшно: они молчат, не говорят мне — открытая форма или безопасный я для окружающих.

...Бородин вернулся через полчаса, сел возле своего друга и долго расправлял халат на галифе, чтоб складок не было.

Мельников сказал:

— Если б ты пришел резвый и стал меня по руке хлопать, вроде нашего парткома, я б сразу понял — адью!

— Они говорят, что выцарапаться можно, — ответил Бородин, — можно, хотя все это зависит от тебя больше, чем от них.

— Дурачье. А они все темнили. А мне, если темнят, лучше не жить. Спасибо, Борода. Тогда выцарапаюсь. Одолею проклятую, мать ее так...

— Я к тебе завтра приеду.

— Если сможешь...

— Смогу. И послезавтра приеду.

— Слушай, а где твой капитан?

— Высоковский?

— Да.

— В штабе.

— Ты его к ним забрось. Со всеми полномочиями.

— Не дожидаясь новостей из Москвы?

— Ну, погоди день, от силы два.

Когда Бородин вернулся к себе, его ждали три новости: первая — приказ Верховного Главнокомандующего о наступлении по всему фронту для помощи западным союзникам в Арденнах; вторая — Ставка наградила всех участников группы «Вихрь» орденом Ленина за операцию «Ракета». А третья новость лежала перед Высоковским: шифровка от Ани, в которой та сообщала, как был арестован Вихрь, как он бежал и что ей об этом побеге говорил полковник Берг.

— Ну что ж... — протянул Бородин и начал растирать лоб, — давайте, милый, отправляйтесь к ним. Просто-таки в самое ближайшее время надо лететь. А как поступать — ей-богу, рецептов здесь дать не могу. Станьте дублером Вихря, что ли... Все его связи возьмите на себя. У них там один чистый человек остался — Коля, на него и ориентируйтесь. У меня такое мнение, что там какая-то липовая, но трагическая путаница. А гадов там нет. Хоть голову мне руби — я в это верю, несмотря на то что объективно там все более чем хреново.

Высоковский на связь к Вихрю не вышел. В том месте, где он выбросился с парашютом, была перестрелка, и какой-то человек, видимо раненный, бросился в реку — за ним гнались с собаками. Люди из разведки Седого опросили свидетелей: судя по описанию внешности, этим человеком был капитан Высоковский.

Юстасу. Благодарим за информацию о Рундштедте. С сыном все в порядке. Справедливы ли слухи о назначении Гиммлера главкомом группы армий «Висла»? *Центр.*

Центр. Благодарю за сообщение о сыне. Прошу информировать впредь. Никаких данных о назначении Гиммлера главкомом группы армий «Висла» не имею. *Юстас.*

Юстасу. Кто в рейхе занимается проблемой охраны тайны производства торпед для ВМФ новейших образцов? *Центр.*

Центр. В связи с введением режима «особой секретности» перед началом наступления на За-

падном фронте выяснение такого рода вопроса связано с особой сложностью. *Юстас.*

Юстасу. Мы понимаем все сложности, связанные с выполнением этого задания. *Центр.*

Центр. После разгрома абвера адмирала Канариса, который занимался вопросами военного контршпионажа, охрану тайны производства торпед для ВМФ курирует разведка люфтваффе (Геринг) и местные отделы IV отдела РСХА (гестапо, Мюллер). По непроверенным данным, завод торпед расположен в районе Бремена. Шеф бременского отделения гестапо — СС бригадефюрер Шлегель. Часть материалов, которыми вы интересовались — о преступлениях нацистов, — достал, готов передать надежному связнику. Как сын? *Юстас.*

Юстасу. Связь получите 15 января 1945 года в обычном месте в 23.45. Пароль и отзыв — прежние. *Центр.*

ЧЕЛОВЕК СО СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ

Неделю Берг выжидал, что даст арденнское наступление. Если бы продвижение Моделя и фон Рундштедта было стремительным и успешным, если бы он, грамотный военный разведчик, понял, что наступил действительно тот самый перелом в войне, о котором трубил Геббельс, тогда, решил он для себя, Коля и Вихрь будут переданы им гестапо. Берг понимал, что это, конечно же, рискованно со всех точек зрения. Но он устал, смертельно устал в своей игре и поэтому временами стал поддаваться не разуму, но чувству.

Все определилось окончательно, когда после победных кинохроник, в которых были показаны пленные янки и смеющиеся немецкие «панцергренадирен», после ликующих речей Геббельса и Штрайхера Бергу попалось обращение Моделя к своим войскам, где он писал: «Нам удалось расстроить запланированное противником наступление на нашу родину». Этого для Берга оказалось достаточным, чтобы разум подсказал ему: последняя по-

пытка сорвалась. Это было наступление отчаяния, но не силы. Этого еще не поняли солдаты, полковник Берг это понял. И сразу вызвал своего агента, которому была присвоена кличка Отто. Этим агентом был Коля.

— Вот что, — сказал Берг, когда они вышли на улицу, — передайте своему шефу, чтобы он не появлялся в городе. Его фотография есть в гестапо, его очень ищут, равно как и вашу радистку.

— Откуда у гестапо может быть фотография моего шефа? — удивился Коля.

Берг быстро глянул на него и понял — все понял: он достаточно долго работал в контрразведке против русских, чтобы уяснить то положение, в котором очутился шеф русской группы.

— Устройте мне встречу с вашим шефом, — сказал он.

Берг решил, что, побеседовав с глазу на глаз, он укрепит свои позиции на будущее — разведчики понимают великое умение продавать и покупать тайны друг друга.

— Хорошо, — сказал Коля. — Устрою.

— Теперь дальше... Мы получили кое-какие данные о том, что ваши готовят наступление. Вы не в курсе?

— Нет.

— Вы передали своим данные о защитном вале по Висле — Одеру?

— А что?

— Ничего. Интересуюсь. Как вышли снимки?

— Снимки получились хорошие.

— Не сердитесь на меня, но в данном случае положитесь на мой опыт: эти снимки надо переправить вашим. По радио такие сведения выглядят иначе.

— Вы что, хотите предложить свою кандидатуру для перехода линии фронта?

— Скажите, подозрительность — национальная черта русского характера или благоприобретенная? — хмуро спросил Берг.

— Вы имеете в виду бдительность, по-видимому, — улыбнулся Коля.

— Нет, я имею в виду подозрительность, именно подозрительность.

Коля остановился и сказал:

— Полковник, вы не замечали, как приятно скрипит снег под ногами?

— Что, что?!

— Ничего, — ответил Коля, — просто я впервые за

всю войну заметил, как это прекрасно, когда снег скрипит под ногами.

— У вас плохо с обувью? Я могу выдать сапоги.

Коля снова улыбнулся.

— Нет, — ответил он, — сапоги у меня хорошие. Спасибо.

— Чему смеетесь?

— Просто так... Это у меня иногда бывает.

— Сколько вам лет?

— У нас год войны засчитывают за три.

— Мало.

— Сколько бы вы предложили?

— Год за столетие.

— Полковник, мне нужен Краух, — сказал Коля внезапно.

Полквартала они прошли молча. Город, словно чувствуя нечто приближающееся, был затаенным, бело-черным, как в трауре.

— Это сложно.

— Я понимаю.

— Когда он вам нужен?

— Он мне нужен сейчас.

— Это сложно...

— Откуда у вас данные о том, что мы готовим наступление?

— То есть?

— Что это: авиаразведка, тактическая разведка или это данные из центра?

— Данным из центра я приучил себя не очень-то верить.

— Почему?

— Фантазеров много. И потом, они все переворачивают с ног на голову: как решит фюрер, как он оценит объективные данные, так и будет считаться всеми остальными.

— Это хорошо...

— Да?

— Конечно.

— Очень хорошо... Из-за этого «хорошо» вы сейчас в Кракове и я работаю на вас.

— Даже если б фюрер не ставил данные с ног на голову, все равно мы были б здесь...

— Вы — тактичный человек.

— Потому что не сказал о вас?

— Конечно.

— Все равно подумал, — сказал Коля. — Если по правде...

— Знаете, высшая тактичность заключается в том, чтобы говорить не все, о чем думаешь.

— Это — тактичность современности. Мы хотим, чтобы в будущем высшая тактичность человека заключалась как раз в ином: что думаешь, то и говоришь.

— Этого же хотел Христос.

— У Христа не было государства и армии — такой, как у нас.

— Занятно... Государство и армия во имя того, чтобы все люди говорили друг другу только то, что думают...

— У вас есть братья?

— Нет.

— А сестры?

— Нет.

— У меня тоже. Поэтому я особенно точно представляю себе, какими должны быть отношения между братьями.

— Боже мой, какие же вы все мечтатели...

— Нам об этом уже говорили.

— Кто?

— Был такой английский писатель Герберт Уэллс.

— Когда я увижу вашего шефа?

— Завтра утром.

Первый вопрос, который Вихрь задал Бергу, был о Траубе.

— Это для меня новость, — ответил полковник. — Я ничего об этом не знал.

— Как узнать подробности?

— Это невозможно. Гестапо нас к себе не пускает.

— Что можно сделать?

— Ничего.

— Как ему помочь?

— Вам хочется достать с неба луну? Я не берусь выполнить это желание. Оставим Трауба, хотя мне его жаль — талантливый журналист. Вернемся к нашим делам. Я просил Отто передать вам, чтобы вы не появлялись в городе, товарищ Попко...

Вихрь медленно потушил сигарету и сказал:

— А вы говорите, что вас до гестапо не допускают.

— Первый раз вы со мной откровенны.

— Третий. Не в этом дело.

— А в чем же?

— Сейчас — в Траубе и Краухе.

— Нет. В вас.

— Да?

— Да. Вы понимаете, что будет с вами, если папка из гестапо попадет к вашим? Вас дезавуируют. Разве нет? Тем более что вы скрывали это от своих сотрудников — даже Отто об этом не знает.

— Мое командование узнает об этом, полковник. Не будьте моим опекуном, пожалуйста. У вас не вышло с Мухой, не выйдет и со мной. Я ж знаю вас по Мухе: я его расстрелял — теперь нет смысла скрывать. Но это прошлое, так что не удивляйтесь: у вас свои козыри, у меня свои. Мои — сильнее. Помогите с Краухом.

— Вы связывались с Центром?

— Нет.

— Очень хорошо, что вы ответили мне правду, — от вас был только один короткий перехват. Так что меняйте точку, она засечена.

— Где?

— Точно сказать не могу, но где-то к северо-западу от Кракова, километрах в тридцати.

«Верно, — отметил для себя Вихрь, — охотничий домик как раз там. Но ведь Аня не могла выходить на связь сама. В чем дело?»

— Это не наши люди, — сказал Вихрь, — тем не менее спасибо, учтем. Видимо, это партизаны или накладки вашей системы.

— Последнее исключите.

«А может, какое несчастье с Аней?! — вдруг мелькнуло у Вихря. — Девочка там одна! Короткая связь! Может, ее взяли там случайно?»

— Вы убеждены? — спросил Вихрь, закуривая. — Ваш аппарат в этом смысле безгрешен? Был сеанс?

— Был.

— С Центром я свяжусь сегодня же. Завтра я или мои люди передадут все относящееся к вам.

— Хорошо.

— Когда вы продумаете операцию с Краухом?

— К завтрашнему дню я что-нибудь надумаю. Отто будет знать. Он вам скажет... С Краухом надо сделать все так, чтобы было просто, без мудрствований... Видимо, на мудрствование у вас нет времени... Я попробую что-нибудь подсказать...

— Хорошо.

— До завтра.

«Может быть, Трауб показал на Тромпчинского? — ужаснулся Вихрь. — А тот привел их на явку в лес? Нет. Этого не могло быть. Тромпчинский никогда не сделает этого. Тромпчинский — железный человек, его не сломить. В городе его нет — надо срочно ехать за город, предупредить, чтобы он скрывался, и забирать Анюту. У Седого есть запасные квартиры».

Когда Вихрь рывком отворил дверь охотничьего домика, Аня поднялась и сказала Тромпчинскому, который стоял за спиной Вихря:

— Подожди.

— Нет времени, Аня, — сказал Вихрь, — обо всем — после.

— Пусть он выйдет, — снова сказала Аня, и Вихрь увидел в ее руке парабеллум. — Выйди, Юзеф.

Бородину. То, что передала Аня, — правда. я был в гестапо. Для того чтобы бежать, дал согласие на перевербовку. Завтра даю очную ставку Ане и Бергу. Прошу санкционировать продолжение работы, которая вступила в решающую фазу. Спасение Кракова — гарантирую. Был, есть и останусь большевиком. Прошу принять данные на Берга, сообщенные им Коле...

И в самом конце: Штаб гитлеровцев получил данные о передвижениях на нашем фронте, которые расцениваются Бергом как подготовка к возможному наступлению. Примите меры. Связь прерываю. Выйду сегодня ночью. *Вихрь.*

Кобцов вернул шифровку, покрутил головой, хмыкнул и сказал:

— Ссучились — очевидное дело... В этом случае мой хозяин не колебался бы в оценке всей этой катавасии.

— А ты? — спросил Бородин. — Как ты?

— Я себя от хозяина не отделяю.

— Знаешь, — медленно ответил Бородин, — я старался себя никогда не отделять от нашего дела, а в открытом афишировании своей персональной преданности руководителям есть доля определенной нескромности. Не находишь?

— Не нахожу.
— Ну, это твое дело, — сказал Бородин.
— Именно.
— Давай будем связываться по начальству.
— Это верно. Что им говорить?
— Как предлагаешь?
— А ты?
— Мы ж с тобой не в прятки играем.
— Хорошая игра, между прочим. Иногда — не грех.
— Тоже справедливо. Только там, — Бородин кивнул головой на шифровку, — люди. Им не до пряток — с нами. Они в прятки с теми играют.
— Слова, слова, — поморщился Кобцов, — до чего ж я не люблю эти самые ваши высокие слова... Люди! Люди, понимаешь, порождение крокодилов.
— Это хорошо, что ты классику чтишь. Только за людьми Вихря — дело. Спасение Кракова. И мы с тобой за это дело отвечаем в равной степени. Или нет? Я готов немедля отправить им радиограмму: пусть идут через фронт к тебе на проверку.
— Не лишено резона.
— Вот так, да?
— Именно.
— Хорошо. Сейчас я составлю две радиограммы. Первая: немедленно переходите линию фронта в таком-то квадрате — детали мы с тобой согласуем, где их пропустить. А вторую я составлю иначе. Я ее составлю так: обеспечьте выполнение поставленной перед вами задачи по спасению Кракова. Какую ты завизируешь, ту я и отправлю. Только подошьем к делу обе. Ладно? Чтобы, когда Краков взлетит на воздух, мы с тобой давали объяснение вдвоем. Ну как?

Кобцов достал пачку «Герцеговины Флор», открыл ее, предложил Бородину, и они оба закурили, не сводя глаз друг с друга.

«Ничего, ничего, пусть повертится, — думал Бородин, глубоко затягиваясь. — Иначе нельзя. А то он в сторонке, он бдит, а я доверчивый агнец».

Кобцов размышлял иначе: «Вот сволочь, а? Переиграл. Если я приму его предложение — любое из двух, тогда он меня с собой повяжет напрочь. Конечно, если немец Краков дернет, мне головы не сносить. Правда, нюансик один есть: если я Вихря вызову сюда на проверку, выходит, я оголил тыл. А если он перевербован

гестапо и там всю операцию гробанет, тогда будет отвечать Бородин».

— Слушай, товарищ полковник, — сказал Кобцов, глубоко затягиваясь, — а какого черта, собственно, мы с тобой всю эту ерундистику с бюрократией разводим? Руководство учит нас доверять человеку. Неужто ты думаешь, что я могу тебе хоть в самой малости не доверять? Принимай решение, и все.

— Уходишь, значит...

— Я?

— Нет, зайчик.

— Вот странный ты какой человек. Ты ко мне пришел посоветоваться, так?

— Точно.

— Ну, я тебе и советую: поступай, как тебе подсказывает твоя революционная сознательность.

— А тебе что подсказывает твоя революционная сознательность?

— Она мне подсказывает верить тебе. Персонально тебе. Ты за своих людей в ответе, правда? Тебе и вера.

Бородин поехал к Мельникову. Тот выслушал его, прочитал обе радиограммы и написал на уголке той, что предлагала Вихрю продолжать работу: «Я — за. Начальник «СМЕРШа» фронта полковник Мельников».

— Только Кобцову покажи, а то он уж, наверное, на тебя строчит телегу. И передай ему: полковника Берга, если он действительно под той фамилией работал в Москве, что передал Вихрь, я знал. Я с ним даже пил на приемах в Леонтьевском переулке, у них в посольстве. По внешнему описанию твоего Вихря — это он. Это очень серьезно, очень перспективно. Тут есть куда нити протягивать, тут можно в Берлин нити протянуть или куда подальше. Война-то к концу идет, вперед надо думать...

Вернувшись в штаб, Бородин сел писать рапорт маршалу о том, что в Кракове действует группа разведки Генерального штаба, которой дано задание сохранить город от полного уничтожения. Бородин в своем рапорте докладывал, что, видимо, тот риск, на который пошел командующий, решивший не замыкать кольцо окружения, с тем чтобы не вести уличные бои, и запретивший артиллерийский обстрел Кракова, полностью оправдан и что он, Бородин, принимает на себя всю меру ответственности за работу группы «Вихрь», поклявшейся взрыва города не допустить...

Краух отворил дверцу, тяжело сел в автомобиль, поздоровался с Аппелем и сказал:

— В гестапо.

— Слушаюсь, господин полковник.

— Что у вас сзади за мешки?

— Это не мешки, господин полковник.

— А что это?

— Там канистры, они прикрыты сверху мешковиной.

— А багажник для чего?

— В багажнике масло и баллоны. Я люблю запасаться всем впрок, господин полковник.

— Это хорошая черта, но важно, чтобы в машине не воняло.

— О нет, нет, господин полковник. — Аппель посмотрел на счетчик и сказал: — Вы не позволите мне заехать на заправочный пункт?

— Раньше не могли?

— Прошу простить, господин полковник, не мог.

— Это далеко?

— Нет, нет, пять минут, господин полковник.

— Ну, поезжайте же, — поморщился Краух. — А где мой личный шофер?

— Текущий ремонт, господин полковник.

Аппель нажал на акселератор сразу, как только машина миновала контрольный пункт. Эсэсовцы на КПП вытянулись, откозыряв Крауху. Тот ответил им, чуть приподняв левую руку. Опустив руку, Краух почувствовал, как что-то уперлось ему в затылок. Он чуть обернулся. Сзади сидел человек в немецкой военной форме без погон, упершись дулом пистолета ему в затылок.

— Что это за фокусы? — спросил Краух.

— Это не фокусы, — ответил Коля, стягивая с колен мешковину, — благодарите Бога, для вас война кончилась, Краух.

Берг точно сообщил Вихрю расположение контрольных постов вокруг города. Коля точно рассчитал время и место. Аппель вывез Крауха точно через тот КПП, который вел к Седому — на конспиративную явку в Кышлицах...

Краух ползал по полу темного погреба, куда его привезли, и кричал:

— Я инженер, я инженер, а не военный! Не убивайте меня, я молю вас, не убивайте меня!

Коля сказал:

— Тише, пожалуйста. Вас никто не собирается убивать.

— Вы немец, да? Скажите мне, что вы немец. Я ведь слышу — вы немец! Зачем все это?! Молю вас!

— Я русский, — ответил Коля, — не кричите же, честное слово... Ну, успокойтесь, право, успокойтесь. Вы мне нужны живым. Вы будете жить, если передадите мне схему минирования Кракова, способы уничтожения города, время и возможность предотвращения взрыва.

— Хорошо, хорошо, я все сделаю, я привезу вам схемы, все схемы...

— Нет. Вы нарисуете эти схемы сейчас.

— Но вы не убьете меня потом? Имейте в виду, я знаю схемы уничтожения Праги — это я делал, я один знаю все! Больше не знает никто. Я инженер, мне приказывали, я ненавижу Гитлера! Я инженер!

Коля усмехнулся и спросил:

— Словом, человек со специальностью, да?

— Да, да! Вы правы, я человек со специальностью! С гражданской специальностью! Я умею строить, я — созидатель... Эти проклятые фашисты заставляли меня разрушать... Это они, они! Я мечтал строить, только строить...

— Ну, договорились: рисуйте схемы Кракова и Праги. Вы нам нужны живым. Перестаньте только, прошу вас, так трястись. Вы же офицер, господин Краух.

Как и посоветовал Берг, группа прикрытия из разведки Седого отогнала машину Аппеля на проселок и там имитировала взрыв противотанковой мины. А поскольку в багажнике у Аппеля было пять канистр с бензином, машина вспыхнула, словно сухой хворост. А в ней — трупы двух предателей из полиции, расстрелянных за день до этого по решению подполья. Следовательно, гестапо не переполошится и не станет лихорадочно менять схему приводов для взрыва Кракова — оснований для такой подстраховки маскарад со взорванной машиной Крауха не давал.

Так, во всяком случае, считал Вихрь.

ЖИВИ, НО ПОМНИ!

Штирлиц посмотрел на часы: 23.30. Пятнадцать минут еще оставалось в запасе. Он приехал в Ванзее загодя, погулял, осмотрелся, вышел из машины и нето-

ропливо пошел к маленькой пивной, где через пятнадцать минут его встретит связник. Он передаст ему документы, за хранение которых полагается гильотина, но, прежде чем ласкающее острие стали обрушится на шею, предстоят сутки страшных, нечеловеческих пыток, оттого что на бумагах стоит гриф: «Документ государственной важности. Строго секретно».

Штирлиц шел на встречу, и его молотил озноб, но не из-за того, что он явственно и как бы отстраненно представлял себе тот ужас, который ждет его в случае провала, а потому, что сегодня, проснувшись еще затемно, он подумал: «А что, если мне сделают подарок? Что, если сюда пришлют сына?» Он понимал, что это невозможно, он отдавал себе отчет в том, что краковская случайность была немыслимой, единственной, неповторимой; он все понимал, но желание увидеть Санечку, Колю, Андрюшу Гришанчикова жило в нем помимо логики.

«Я устал, — сказал себе Штирлиц, — шок с Саней был слишком сильным. Я никогда не знал отцовства, я жил один, и мне было легко, потому что я отвечал за себя. Это совсем не страшно — отвечать за себя одного. Нет ничего тяжелее ответственности за дитя. Тяжелее, потому что я знаю, что сейчас грозит моему сыну и миллионам наших детей. Ответственность будет прекрасной и доброй, когда не станет Гитлера. Тогда будут свои трудности, и они будут казаться родителям неразрешимыми, но это неверно, они сами, и никто другой, будут виноваты в той неразрешимости; придут иные времена, и напишут слова других песен, только б не было гитлеров, только б не было ужаса, в котором я жил... И живу... Если я передам через связника, чтобы Санечку отправили домой, его смогут вывезти из Кракова — у них же надежная связь с партизанами. Он войдет в квартиру, и обнимет мать, и будет стоять подле нее неподвижно в темной прихожей, долго-долго будет стоять он подле нее, и глаза его будут закрыты, и он, наверное, будет видеть меня, а может быть, он не сможет меня видеть: это немыслимо — представить себе отца в черном мундире с крестами... А потом он узнает, что это по моей просьбе его отвезли в тыл, что по моей просьбе его принудили бросить друзей, что по моей просьбе его лишили права убивать гитлеров... Разве он простит мне это? Он не простит этого мне. А я прощу себе, если он будет...: Нет, я не имею права разрешать себе думать

об этом. С ним ничего, ничего, ничего не случится. Ему сейчас почти столько же лет, сколько было мне, когда я уходил из Владивостока, а ведь это было совсем недавно, и я тогда был совсем молодым, а сейчас мне сорок пять и я устал, как самый последний старик, и поэтому в голову мне лезет ерунда, бабья, истеричная ерунда... А может, это не ерунда? Может быть, об этом думают все отцы, а ты никогда раньше не был отцом, ты был Исаевым, а когда-то раньше, когда был жив папа, ты был Владимировым, а потом ты стал Штирлицем, будь трижды неладно это проклятое имя... О Господи, скорее бы он пришел... А что, если не «он»? Придет «она». А я так боюсь за «них» после гибели Ингрид... Ведь ее отец тоже мог бы запретить ей бороться с Гитлером, и она была бы жива, и была бы графиней Боден Граузе, и затаилась бы где-нибудь в Баварии, и миновала бы ее чаша ужаса. А старик и сам погиб, и не запретил ей с т а т ь тем, кем она стала, погибнув... Нельзя мне об этом думать. Сил не хватит, и я сорвусь. А если я сорвусь, они станут отрабатывать все мои связи, и выйдут на Санечку, и устроят нам очную ставку, а они умеют делать это...»

Через десять минут Штирлиц встретит связника.

Через тридцать два часа документы, переданные им, будут отправлены для исследования — они это заслуживали, ибо обращены были к п а м я т и поколений.

Рейхсфюрер СС.

Полевая ставка
№ 1397/42.
3 экземпляра.
2-й экземпляр.

Д-ру Зигмунду
Рашеру,
Мюнхен,
Трогерштрассе, 56.
Секретный документ государственной важности.

Дорогой Рашер!

Ваш доклад об опытах по переохлаждению людей я прочел с большим интересом. Оберштурмбанфюрер СС Зиверс должен представить Вам возможность осуществить Ваши идеи в близких нам институтах.

Людей, которые все еще отвергают эти опы-

ты над пленными, предпочитая, чтобы из-за этого доблестные германские солдаты умирали от последствий переохлаждения, я рассматриваю как предателей и государственных изменников, и я не остановлюсь перед тем, чтобы назвать имена этих господ в соответствующих инстанциях. Я уполномочиваю Вас сообщить о моем мнении на этот счет соответствующим органам.

Держите меня впредь в курсе дела по поводу опытов.

Хайль Гитлер!

Ваш *Г. Гиммлер.*

Рейхсюрер!

Мы имеем обширную коллекцию черепов почти всех рас и народов. Лишь черепов евреев наука имеет в своем распоряжении очень немного, и поэтому их исследование не может дать надежных результатов. Война на Востоке дает нам теперь возможность устранить этот недостаток.

Практическое проведение беспрепятственного получения и отбора черепного материала наиболее целесообразно осуществить в форме указания вермахту о немедленной передаче всех еврейско-большевистских комиссаров живьем полевой полиции. Полевая полиция в свою очередь получает специальное указание непрерывно сообщать определенному учреждению о наличии и местопребывании этих пленных евреев и как следует охранять их до прибытия специального уполномоченного. Уполномоченный по обеспечению материала (молодой врач из вермахта или даже полевой полиции или студент-медик, снабженный легковым автомобилем с шофером) должен произвести заранее установленную серию фотографических снимков и антропологических измерений и по возможности установить происхождение, дату рождения и другие личные данные.

После произведенного затем умерщвления еврея, голова которого повреждаться не должна, он отделяет голову от туловища и посылает ее к месту назначения в специально для этой цели изготовленной и хорошо закрывающейся жестяной банке, наполненной консервирующей

жидкостью. На основании изучения фотографий, размеров и прочих данных головы и, наконец, черепа там могут затем начаться сравнительные анатомические исследования, исследования расовой принадлежности, патологических явлений формы черепа, формы и объема мозга и многого другого.

Наиболее подходящим местом для сохранения и изучения приобретенного таким образом черепного материала мог бы быть в соответствии со своим назначением и задачами новый Страсбургский имперский университет.

Хайль Гитлер!
Ваш *Август Хирт*

Д-р Гросс.
Управление расовой политики.

Секретный документ государственной важности.

Некоторые соображения об обращении с лицами ненемецкой национальности на Востоке

При обращении с лицами ненемецкой национальности на Востоке мы должны проводить политику, заключающуюся в том, чтобы как можно больше выделять отдельные народности, т. е. наряду с поляками и евреями выделять украинцев, белорусов, гуралов, лемков и кашубов.

Я надеюсь, что понятие о евреях целиком изгладится из памяти людей. В несколько более отдаленные сроки на нашей территории должно стать возможным исчезновение украинцев, гуралов и лемков как народов. То, что сказано в отношении этих национальных групп, относится в соответственно больших масштабах также и к полякам.

Принципиальным вопросом при разрешении всех этих проблем является вопрос об обучении и тем самым вопрос отбора и фильтрации молодежи. Для ненемецкого населения на Востоке не должно быть никаких других школ, кроме четырехклассной начальной школы. Начальная школа должна ставить своей целью обучение учащихся

только счету максимум до 500 и умению расписаться, а также распространение учения о том, что подчинение немцам, честность, прилежание и послушание являются божьей заповедью. Умение читать я считаю необязательным.

Кроме начальной школы, на Востоке вообще не должно быть никаких школ.

После осуществления этих мероприятий в течение ближайших десяти лет население генерал-губернаторства будет состоять из оставшихся местных жителей, признанных неполноценными.

Это население будет служить источником рабочей силы, поставлять Германии ежегодно сезонных рабочих и рабочих для производства особых работ (строительство дорог, каменоломни). При отсутствии собственной культуры это население будет призвано под строгим последовательным и справедливым руководством германского народа работать над созданием вечных памятников культуры и архитектуры Германии и, может быть, благодаря этому окажется возможным выполнить эти работы, поскольку дело касается работ огромных масштабов.

Прокуратура при народной судебной палате.
Дело № 3 I 301/44

Фрау Нейбауэр, Кельн, Бетховенштрассе, 7.

Счет
по делу Густава Нейбауэра, обвиняемого в разложении вооруженных сил

№ п/п	Наименование расхода и его основание	Стоимость в марках	Подлежит оплате	
			марок	пфеннигов
	Пошлина с приговора о смертной казни		300	—
	Почтовые сборы, согласно § 72 закона о судебных издержках		2	70
	Плата адвокату Альсдорфу, прож. Берлин-Лихтерфельде/Ост., Гертнерштрассе, 10а		81	60
	Расходы на содержание под стражей, согласно			

Продолжение

№ п/п	Наименование расхода и его основание	Стоимость в марках	Подлежит оплате	
			марок	пфеннигов
	§ 72 закона о судебных издержках:			
	за время предварительного заключения с 24.12.43 по 28.3.44, всего за 96 дней по 1 марке 50 пфеннигов		144	
	за время после вынесения приговора до его исполнения с 29.3.44 по 8.5.44, всего за 40 дней по 1 марке 50 пфеннигов		60	
	Стоимость приведения приговора в исполнение: а) Приведение приговора в исполнение		158	18
	Плюс почтовые расходы по пересылке счета			12
	Итого		766	80.

Юстасу. Информация получена. Мы понимаем, как вам тяжело. Берегите себя. *Центр.*

Штирлиц заплакал. Он отчего-то вспомнил весну двадцать первого года, свою первую командировку за кордон по делу похищенных из Гохрана бриллиантов диктатуры пролетариата; вспомнил тихий, красивый Таллинн, лицо Лиды Боссе и ее вопрос: «А вы мне на прощание скажете — «Товарищ, береги себя»?» И он услышал свой ответ ей: «Обязательно». Он тогда ответил усмешливо, он ведь молодой был тогда, моложе своего сына — на семь месяцев и три дня.

КАЖДОМУ — СВОЕ

После того как Аппель и Крыся вместе с Краухом и тремя разведчиками Седого были переправлены в горы, к партизанам, — на встречу с передовыми частями Крас-

ной Армии, — на запасной явке Седого в погребе собрались Коля, Вихрь, Аня, Тромпчинский и Берг.

В и х р ь. Аня, хочешь спросить полковника обо мне?

А н я. Не надо. Я получила все от Бородина. Это важнее.

В и х р ь. Спроси.

Б е р г. Девочка, я иначе не мог.

В и х р ь. Почему?

Б е р г. Потому, что тогда я играл всерьез.

К о л я. Ложная вербовка?

Б е р г. Да.

В и х р ь. Когда вы от нее отказались?

Б е р г. Когда понял неизбежность конца. Врать про мою оппозиционность режиму с самого начала не буду, это недостойно. Я был за режим до тех пор, пока не понял его обреченности.

А н я. Вы знаете, что такое ненавидеть?

Б е р г. Я никогда не знал ненависти. Я всегда выполнял свой долг.

В и х р ь. Аня, полковник помогает нам честно. Это проверено.

Б е р г. Что ж... Я могу ее понять.

К о л я. Только понять?

Б е р г. Понять — значит оправдать.

В и х р ь. Время! Берг, вы уходите со своими. Вас найдет человек, который даст вам половинку вот этой вашей фотографии. Возвращаю вам половинку вашего семейства. Дети остаются у вас, а сами вы — у меня.

Б е р г. Вы сохраняете юмор. Это великолепно.

В и х р ь. До свидания, Берг.

Б е р г. Господа, как разведчик, я должен сказать, что восхищен вашей работой. Вам помогал Бог. До свидания. — Он обернулся к Коле: — Отто, мне подождать вас здесь или выйти?

К о л я. Подождите здесь.

В и х р ь. Коля, ну-ка отойдем...

К о л я. Иду.

В и х р ь. Коленька, он тебе уже выдал документы?

К о л я. Да. Я откомандирован командованием группы армий «А» в штаб РОА, к Власову, в Прагу.

В и х р ь. Коленька, держись, братишка. Слова банальные, но иначе не скажешь...

К о л я. Спасибо тебе, Вихрь.

В и х р ь. Это за что?

К о л я. Просто так.

В и х р ь. И тебе спасибо. Все помнишь?

К о л я. Каждую субботу с девяти до десяти возле входа в отель «Адлон» меня будет ждать связь.

В и х р ь. Человек с двумя кульками хрустящей картошки. Пароль...

К о л я. Я все помню.

В и х р ь. Если что — уходи через фронт...

К о л я. Если что — скажи маме про... отца...

В и х р ь. Все будет, как надо. Ты сам скажешь ей.

К о л я. Ну, давай.

В и х р ь. Счастливо, Коленька. До встречи...

К о л я. Счастливо, Ветерок... До встречи...

— Аня...

— Да?

— Девочка, ты уйдешь на конспиративную квартиру Палека.

— Нет.

— Что?

— Никуда я от вас не уйду.

— Родная, давай не будем устраивать кино с приказами. Я не стану вращать глазами и шептать: «Я тебе приказываю». Анечка, я просто тебя прошу.

— А я вас прошу.

— Ты почему меня называешь на «вы»?

— Потому, что я вас люблю.

— Неловко, они нас ждут...

— Ну и пусть...

— Анечка, курносый мой человечек... Ты уйдешь...

— Знаете, я вот часто думаю: мы такие красивые слова научились говорить, а все равно обижаем друг друга. Обидеть очень легко. В мыслях, усмешкой, взглядом. А особенно легко мужчине обидеть женщину.

— О чем ты?

— О том, что мне просто не для кого жить, если я останусь одна.

— Я вернусь. Мы все вернемся, о чем ты? Мы встретим наши танки и вернемся.

— Война — это ж не расписание поездов.

— Ну вот что...

— Я никуда от вас не уйду. Я, как собака, пойду за вами. Хотите — можете пристрелить.

— Как мне доказать тебе, что это нелепо?

— Очень просто.

— Ну?

— Взять меня с собой.

Вихрь отошел к Седому и сказал:

– Товарищи, прошу всех сверить часы. Завтра мы увидим наших. В два часа ночи... Нам поставлена задача нарушить кабель взрыва Кракова.

В одиннадцать часов вечера, когда по шоссе от Кракова отступали войска немцев, в трестах метрах от них на снежном поле, в маскировочных халатах, работали Вихрь, Аня, Тромпчинский, Седой и его люди. Они долбили мерзлую землю и оттаскивали ее в белых мешках в лес. Они продирались сквозь окровавленную, ледяную, коричневую, острую землю к тому кабелю, в котором была смерть Кракова. Шурф становился с каждым часом все шире и глубже, и вот руки Вихря тронули бронированный кабель. Вихрь лег на спину и увидел небо, а в небе, среди звезд, совсем рядом с собой бледное лицо Ани.

— Все в порядке, девочка, — сказал он, — здесь. Давайте шашку, братцы, будем рвать. Вот он — кабель.

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ

...После четырех дней наступательных операций на советско-германском фронте я имею теперь возможность сообщить Вам, что, несмотря на неблагоприятную погоду, наступление советских войск развертывается удовлетворительно. Весь центральный фронт, от Карпат до Балтийского моря, находится в движении на запад. Хотя немцы сопротивляются отчаянно, они все же вынуждены отступать. Не сомневаюсь, что немцам придется разбросать свои резервы между двумя фронтами, в результате чего они будут вынуждены отказаться от наступления на западном фронте. Я рад, что это обстоятельство облегчит положение союзных войск и ускорит подготовку намеченного генералом Эйзенхауэром наступления.

Что касается советских войск, то можете не сомневаться, что они, несмотря на имеющиеся трудности, сделают все возможное для того, чтобы пред-

принятый ими удар по немцам оказался максимально эффективным.

В форте Пастерник раздался телефонный звонок из полевого штаба, покинувшего Краков еще вчера.

— Либенштейн, — прокричал Крюгер, — рвите к черту этот вшивый город, войска уже прошли!

Либенштейн приказал эсэсовцам из охраны:

— Заводите машины, уезжаем!

Он подошел к большим черно-красным кнопкам и, глубоко вздохнув, нажал их. Чуть присел, ожидая взрыва. Взрыва не было. Либенштейн открыл глаза и медленно выдохнул воздух. Он снова нажал на кнопки, и снова взрыва не последовало.

Зазвонил телефон.

— Ну?! — орал шеф гестапо. — Что вы там тянете?!

— Я нажимал на кнопки. Взрыва нет.

— Что?! Вы с ума сошли!

— Бригадефюрер...

— Берите охрану, у вас там сто человек СС, и пройдите по всему кабелю! По всему! Ясно вам?!

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА

...Подвиги, совершенные Вашими героическими воинами раньше, и эффективность, которую они уже продемонстрировали в этом наступлении, дают все основания надеяться на скорые успехи наших войск на обоих фронтах. Время, необходимое для того, чтобы заставить капитулировать наших варварских противников, будет резко сокращено умелой координацией наших совместных усилий...

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ

...От имени Правительства Его Величества и от всей души я хочу выразить Вам нашу благодарность и принести поздравления по случаю того гигантского наступления, которое Вы начали на восточном фронте.

Реакция Гитлера на сообщение о стремительном прорыве русских войск маршалов Жукова и Конева была неожиданной. Это сообщение фюреру передали во время обеда: если дела этого требовали, Гитлер прерывал обед.

По прежним временам Гитлер наверняка выскочил бы из-за стола и отправился в соседнюю комнату — к военным. Но — и это было главное, что поразило Бормана, — Гитлер только чуть согнулся над тарелкой, мгновение сидел, как бы замерев, а потом отодвинул вареную свеклу с луком и попросил:

— Очень хочется кофе... Занятная деталь — мой пес Блонди тоже вегетарианец, я наблюдаю за ним довольно долго. Видимо, это разумно, раз животные своим инстинктом дошли до этого.

Когда подали кофе, Гитлер отпил маленький глоток и чуть улыбнулся:

— Помню, как-то я поехал в лагерь молодежи «Арбайтсдинст». Меня окружили бронзоволицые, развитые, прекрасно сложенные молодые люди. И я подумал: какая же глупость происходит в нашем кино! Продюсеры подбирают себе на главные роли кретинов — сморщенных, горбатых, некрасивых мужчин. Неужели Германия бедна героями? Разве молодые люди из этого лагеря не могут стать звездами экрана? Специфика работы с актером? Я не знаю большего абсурда, чем эта отговорка! Конечно, это будет смелый эксперимент, если в кино пойдут сами герои из жизни: с фронта, из трудовых лагерей, от машин. Бояться критики?! Дайте десяти критикам написать в десяти газетах об одной и той же вещи, и вы решите, что каждый из них писал о чем-то другом. Критика — самовыражение неудачников. Как они травили Вебера! Или «Кармен» великого Бизе? Критики сдохли и забыты, а Бизе жив! Именно всяческие критики и толкователи придумали бредовую идею о том, что Иисус — еврей. Иисус — сын римского легионера! Мать его могла еще, да и то с большой натяжкой, быть еврейкой. Какой же Иисус еврей, когда он всю жизнь боролся против материализма?! А материализм — это евреи, и только евреи. Они все сотканы из эгоизма! И этот эгоизм, въевшийся в их плоть и кровь, не позволяет им рисковать в борьбе за жизнь, они дают убивать себя, как кролики. Конец этой войны будет финалом всей еврейской нации. Между прочим, я заметил: ни в одной стране так плохо не играют Шекспира, как в Англии. Вам нравится кофе?

— Кофе прекрасен, — ответил Борман.

— Да, кстати, я совершенно не могу читать «Фёлькишер беобахтер». Розенберг калечит язык. Скоро придется писать: «Фёлькишер беобахтер балтийского издания». Нельзя так засорять язык грязными словами весьма сомнительного происхождения. Розенберг воспитывался в Латвии, а латыши — это свинская нация, которую использовали большевики как хотели и когда хотели.

— Я передам Розенбергу, мой фюрер...

— Не надо. Он очень обидчив. Зачем обижать его? Надо найти какой-то иной способ тактично помочь ему. Но помочь надо, хотя Бог помогает только тем, кто сам помогает себе.

Гитлер долго смотрел в коричневую гущу, оставшуюся на дне чашки, вздохнул, плечи его опустились, кожу возле виска свело тиком. Он притронулся к виску указательным пальцем, испуганно отдернул руку, быстро посмотрел на Бормана — понял ли тот его испуг, снова вздохнул, потом вымученно улыбнулся и сказал:

— Пусть подберут какой-нибудь хороший фильм. Очень хочется посмотреть хороший веселый фильм.

Он поднялся, и у Бормана сжалось сердце. Гитлер был сгорбленный, нога волочилась, правая рука тряслась, а на лице замерла виноватая, добрая улыбка.

— Между прочим, — сказал Гитлер. — Заукель както рассказывал мне, что большинство русских девиц, которых привозили в Германию на работу, при медицинском осмотре оказывались невинными. Одна из форм варварства — хранить невинность... Ну, хорошо... Хорошо... Итак, фильм...

Вихрь держал оборону два часа. Он бы не удержался — он был ранен в грудь, в живот и в обе ноги. Аня лежала рядом с ним без сознания, лицо белое-белое, спокойное, без единой морщинки, очень спокойное и красивое. Седой катался по снегу, и вокруг него было красно: осколком мины ему оторвало руку у самого плеча. Тромчинскому пуля выбила глаз. Остальные были убиты, а эсэсовцы наседали со всех сторон. Вихрь не удержался бы, потому что снег уже казался ему розовым, нет, не розовым, а черным, нет, не черным, он казался ему песчаной отмелью на Днепре; нет, он казался ему снегом, белым, колючим снегом, и он снова стрелял и стрелял короткими,

точными очередями. А потом толчок в шею — он перестал видеть и чувствовать. И перестал стрелять.

Но в это время эсэсовцы побежали — по шоссе неслись русские танки.

Председатель имперского суда Фрейслер вошел в зал со свитой: все были в черных мантиях, черных четырехугольных шапочках, на груди имперская эмблема. Все поднялись. Трауб встать не мог: его подняли под руки двое полицейских.

— Хайль Гитлер! — крикнул Фрейслер.

Голос его был гулок, изо рта вылетело облачко белого пара: в народном суде третьего рейха перестали топить.

— За измену родине, за передачу врагу секретных планов командования Трауб приговаривается к смертной казни.

16 марта 1945 года Трауб был гильотинирован.

НЕ ЭПИЛОГ

В Праге моросил дождь. Влтава возле Карлова моста пенилась, зло кричали чайки, метались над водой, присаживались на мгновение и снова взмывали в низкое, серое, взлохмаченное небо.

Коля сидел в номере у Берга и слушал радио. Говорила Москва. Коля то и дело отбегал к двери, слушал — не идет ли кто по коридору. Берг жил в гостинице вместе с офицерами СД и гестапо — здесь Москву никто не слушал, считая это непатриотичным.

Возвращаясь от двери к приемнику, Коля замер, потому что явственно услышал Левитана:

— За выполнение заданий командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками майор Бурлаков Андрей Федорович и младший лейтенант Лебедева Евгения Сергеевна награждены орденом Ленина посмертно...

Коля шел по вечерней Праге. В лицо ему бил ветер с дождем. Дождь был теплый, весенний и казался Коле соленым, как морские брызги. По городу ползли танки. Через большие тарелки репродукторов, укрепленных на фонарных столбах, передавали нацистские марши. Бравурная музыка грохотала в пустом городе: наступил комендантский час, на улицы выходить запрещалось.

Возле гостиницы «Адлон» Коля остановился и начал сосредоточенно рассматривать объявления командования, наклеенные на шершавую серую стену. Он сейчас не видел ни стены, ни приказов, он сейчас вообще ничего не видел и не слышал, кроме последнего левитанского слова «посмертно». Он еще как-то не мог до конца понять это слово, он не смел представить Вихря и Анюту убитыми; он был весь зажат и поэтому не сразу увидел офицера СД, который прохаживался возле входа в офицерский отель, зажав в руке два кулечка с жареной, хрустящей картошкой. Офицер СД остановился возле Коли и спросил:

— У вас нет с собой зажигалки? В моей бензин кончился...

Коля обернулся, козырнул офицеру и протянул ему зажигалку. Тот прикурил, глубоко затянулся и сказал:

— В Праге все дождь, дождь... Когда же солнце?

Коля медленно ответил словами своего отзыва:

— Рано или поздно погода улучшится... Я верю, что скоро будет солнце...

Офицер СД чуть улыбнулся и протянул Коле зажигалку:

— Спасибо, — сказал он, — вы меня выручили... Я только-только прилетел сюда, совсем не знаю города. Может быть, вы согласитесь стать моим гидом на сегодняшний вечер?

— Почту за честь, — ответил Коля, и они медленно пошли по ночной Праге.

По-прежнему лил дождь. Танковая колонна прошла. Было тихо. Шаги гулко ударялись в напряженные и настороженные спины домов.

— Завтра в это же время, — тихо сказал офицер в форме СД, — возле Карлова моста вас будут ждать три человека из подполья. Пароль наш. Отзыв тот же...

Прага — Берлин — Краков

СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ
(1945)

«КТО ЕСТЬ КТО?»

Сначала Штирлиц не поверил себе: в саду пел соловей. Воздух был студеным, голубоватым, и, хотя тона кругом были весенние, февральские, осторожные, снег еще лежал плотный и без той внутренней, робкой синевы, которая всегда предшествует ночному таянию.

Соловей пел в орешнике, который спускался к реке, возле дубовой рощи. Могучие стволы старых деревьев были черные; пахло в парке свежезамороженной рыбой. Сопутствующего весне сильного запаха прошлогодней березовой и дубовой прели еще не было, а соловей заливался вовсю — щелкал, рассыпался трелью, ломкой и беззащитной в этом черном, тихом парке.

Штирлиц вспомнил сухонького, улыбчивого отца Николая Ивановича, — Бухарин-старший умел разговаривать с птицами. Он садился под деревом, подманивал синицу и подолгу смотрел на пичугу, и глаза у него делались тоже птичьими — быстрыми, черными бусинками, и птицы совсем не боялись его.

«Пинь-пинь-тарарах!» — высвистывал старик.

И синицы отвечали ему — доверительно и весело.

Солнце ушло, и черные стволы деревьев опрокинулись на белый снег фиолетовыми ровными тенями.

«Замерзнет, бедный, — подумал Штирлиц и, запахнув шинель, вернулся в дом. — И помочь никак нельзя: только одна птица не верит людям — соловей».

«Клаус сейчас придет, — подумал Штирлиц. — Он всегда точен. Я сам просил его идти от станции через лес, чтобы ни с кем не встречаться. Ничего. Я подожду. Здесь такая красота...»

Этого агента Штирлиц всегда принимал здесь, в маленьком особнячке на берегу озера — своей самой удобной конспиративной квартире. Он три месяца уговаривал обергруппенфюрера СС Поля выделить ему деньги для приобретения виллы у детей погибших при бомбежке танцоров «Оперы». Детки просили много, и Поль, отвечавший за хозяйственную политику СС и СД, кате-

горически отказывал Штирлицу. «Вы сошли с ума, — говорил он, — снимите что-нибудь поскромнее. Откуда эта тяга к роскоши? Мы не можем швырять деньги направо и налево! Это бесчестно по отношению к нации, несущей бремя войны».

Штирлицу пришлось привезти сюда своего шефа — начальника политической разведки службы безопасности. Тридцатичетырехлетний бригадефюрер СС Вальтер Шелленберг сразу понял, что лучшего места для бесед с серьезными агентами найти невозможно. Через подставных лиц была произведена купчая, и некий Бользен, главный инженер «химического народного предприятия имени Роберта Лея», получил право пользования виллой. Он же нанял сторожа за высокую плату и хороший паек. Бользеном был штандартенфюрер СС фон Штирлиц.

...Кончив сервировать стол, Штирлиц включил приемник. Лондон передавал веселую музыку. Оркестр американца Глэна Миллера играл композицию из «Серенады Солнечной долины». Этот фильм понравился Гиммлеру, и в Швеции была закуплена одна копия. С тех пор ленту довольно часто смотрели в подвале на Принц-Альбрехтштрассе, особенно во время ночных бомбежек, когда нельзя было допрашивать арестованных.

Штирлиц позвонил сторожу и, когда тот пришел, сказал:

— Сегодня можете поехать в город, к детям. Завтра возвращайтесь к шести утра и, если я еще не уеду, заварите мне крепкий кофе, самый крепкий, какой только сможете...

12.2.1945 (18 часов 38 минут)

«— Как вы думаете, пастор, чего больше в человеке: человека или животного?

— Я думаю, что того и другого в человеке поровну.

— Так не может быть.

— Может быть только так.

— Нет. В противном случае что-нибудь одно давно бы уже победило.

— Вы упрекаете нас в том, что мы апеллируем к низменному, считая духовное вторичным. Духовное действительно вторично. Духовное вырастает как грибок на основной закваске.

— И эта закваска?

— Честолюбие. Это то, что вы называете похотью, а я

называю здоровым желанием спать с женщиной и любить ее. Это здоровое стремление быть первым в своем деле. Без этих устремлений все развитие человечества прекратилось бы. Церковь немало приложила сил к тому, чтобы затормозить развитие человечества. Вы понимаете, о каком периоде истории церкви я говорю?

— Да, да, конечно, я знаю этот период. Я прекрасно знаю этот период, но я знаю и другое. Я перестаю видеть разницу между вашим отношением к человеку и тем, которое проповедует фюрер.

— Да?

— Да. Он видит в человеке честолюбивую бестию. Здоровую, сильную, желающую отвоевать себе жизненное пространство.

— Вы не представляете себе, как вы не правы, ибо фюрер видит в каждом немце не просто бестию, но белокурую бестию.

— А вы видите в каждом человеке бестию вообще.

— А я вижу в каждом человеке то, из чего он вышел. А человек вышел из обезьяны. А обезьяна суть животное.

— Тут мы с вами расходимся. Вы верите в то, что человек произошел от обезьяны; вы не видели той обезьяны, от которой он произошел, и эта обезьяна ничего вам не сказала на ухо на эту тему. Вы этого не пощупали, вы этого не можете пощупать. И верите в это, потому что эта вера соответствует вашей духовной организации.

— А вам Бог сказал на ухо, что он создал человека?

— Разумеется, мне никто ничего не говорил, и я не могу доказать существование Божье, это недоказуемо, в это можно только верить. Вы верите в обезьяну, а я верю в Бога. Вы верите в обезьяну, потому что это соответствует вашей духовной организации; я верю в Бога, потому что это соответствует моей духовной организации.

— Здесь вы несколько подтасовываете. Я не верю в обезьяну. Я верю в человека.

— Который произошел от обезьяны. Вы верите в обезьяну в человеке. А я верю в Бога в человеке.

— А Бог, он что — в каждом человеке?

— Разумеется.

— Где же он в фюрере? В Геринге? Где он в Гиммлере?

— Вы задаете трудный вопрос. Мы же говорим с вами о природе человеческой. Разумеется, в каждом из этих негодяев можно найти следы падшего ангела. Но, к сожалению, вся их природа настолько подчинилась законам жестокости, необходимости, лжи, подлости, на-

силия, что практически там уже ничего и не осталось человеческого. Но я в принципе не верю, что человек, рождающийся на свет, обязательно несет в себе проклятие обезьяньего происхождения.

— Почему проклятие обезьяньего происхождения?

— Я говорю на своем языке.

— Значит, надо принять Божеский закон по уничтожению обезьян?

— Скорее всего, нет.

— Вы все время очень нравственно уходите от ответа на вопросы, которые меня мучают. Вы не даете ответа «да» или «нет», а каждый человек, ищущий веры, любит конкретность, и он любит одно «да» и одно «нет». У вас же есть «да нет», «нет же», «скорее всего, нет» и прочие фразеологические оттенки «да». Вот именно это меня глубоко, если хотите, отталкивает не столько от вашего метода, сколько от вашей практики.

— Вы неприязненно относитесь к моей практике. Ясно... И тем не менее вы прибежали из концлагеря ко мне. Как это увязать?

— Это лишний раз свидетельствует о том, что в каждом человеке, как вы говорите, наличествует и божественное и обезьянье. Если бы во мне наличествовало только божественное, я бы к вам не обратился. Не стал бы убегать, я принял бы смерть от эсэсовских палачей, подставил бы им вторую щеку, чтобы пробудить в них человека. Вот если бы вам пришлось попасть к ним, интересно, вы бы подставили свою вторую щеку или постарались избежать удара?

— Что значит — подставить вторую щеку? Вы опять проецируете символическую притчу на реальную машину нацистского государства. Одно дело — подставить щеку в притче. Как я вам уже говорил, эта притча совести человеческой. Другое дело — попасть в машину, которая не спрашивает у тебя, подставляешь ты вторую щеку или нет. Попасть в машину, которая в принципе, в идее своей лишена совести... Разумеется, с машиной, или с камнем на дороге, или со стеной, на которую ты натыкаешься, нечего общаться так, как ты общаешься с другим существом.

— Пастор, мне неловко: может быть, я прикасаюсь к вашей тайне, но... Вы что, были в свое время в гестапо?

— Ну что же я могу вам сказать? Я был там...

— Понятно. Вы не хотите касаться этого вопроса, ибо для вас это очень болезненный вопрос. А не думаете ли

вы, пастор, что после окончания войны паства не будет верить вам?

— Мало ли кто сидел в гестапо.

— А если пастве шепнут, что пастора в качестве провокатора подсаживали в камеры к другим заключенным, которые не вернулись? А таких-то — вернувшихся, как вы, — единицы из миллионов... Не очень-то паства поверит вам... Кому вы тогда будете проповедовать свою правду?

— Разумеется, если действовать на человека подобными методами, можно уничтожить кого угодно. В этом случае вряд ли я смогу что бы то ни было исправить в моем положении.

— И что тогда?

— Тогда? Опровергать это. Опровергать, сколько смогу, опровергать до тех пор, пока меня будут слушать. Когда не будут слушать — умереть внутренне.

— Внутренне. Значит, живым, плотским человеком вы останетесь?

— Господь судит. Останусь так останусь.

— Ваша религия против самоубийства?

— Потому-то я и не покончу с собой.

— Что вы будете делать, лишенный возможности проповедовать?

— Я буду верить, не проповедуя.

— А почему вы не видите для себя другого выхода — трудиться вместе со всеми?

— Что значит «трудиться»?

— Таскать камни для того, чтобы строить храмы науки — хотя бы.

— Если человек, кончивший богословский факультет, нужен обществу только затем, чтобы таскать камни, то мне не о чем говорить с вами. Тогда действительно мне лучше сейчас вернуться в концлагерь и сгореть там в крематории...

— Я лишь ставлю вопрос: а если? Мне интересно послушать ваше предположительное мнение — так сказать, фокусировку вашей мысли вперед.

— Вы считаете, что человек, который обращается к пастве с духовной проповедью, — бездельник и шарлатан? Вы не считаете это работой? У вас работа — это таскание камней, а я считаю, что труд духовный есть мало сказать равноправный с любым другим труд — труд духовный есть особо важный.

— Я сам по профессии журналист, и мои корреспон-

денции подвергались остракизму как со стороны нацистов, так и со стороны ортодоксальной церкви.

— Они подвергались осуждению со стороны ортодоксальной церкви по той элементарной причине, что вы неправильно толковали самого человека.

— Я не толковал человека. Я показывал мир воров и проституток. Гитлеровское государство назвало это гнусной клеветой на высшую расу, а церковь назвала клеветой на человека.

— Мы не боимся правды жизни.

— Боитесь! Я показывал, как эти люди пытались приходить в церковь и как церковь их отталкивала; именно паства отталкивала их, и пастор не мог идти против паствы.

— Разумеется, не мог. Я не осуждаю вас за правду. Я осуждаю вас за то, что вы показывали правду. Я расхожусь с вами в прогнозах на будущего человека.

— Вам не кажется, что в своих ответах вы не пастырь, а политик?

— Просто вы видите во мне только то, что укладывается в вас. Вы видите во мне политический контур, который составляет лишь одну плоскость. Точно так же, как можно увидеть в логарифмической линейке предмет для забивания гвоздей. Логарифмической линейкой можно забить гвоздь: в ней есть протяженность и известная масса. Но это тот самый вариант, при котором видишь десятую, двадцатую функцию предмета, между тем как с помощью линейки можно считать, а не только забивать гвозди.

— Пастор, я ставлю вопрос, а вы, не отвечая, забиваете в меня гвозди. Вы как-то очень ловко превращаете меня из спрашивающего в ответчика. Вы как-то сразу превращаете меня из ищущего в еретика. Почему же вы говорите, что вы — над схваткой, когда вы тоже в схватке?

— Это верно: я в схватке, и я действительно в войне, но я воюю с самой войной.

— Вы очень материалистически спорите.

— Я спорю с материалистом.

— Значит, вы можете воевать со мной моим оружием?

— Я вынужден это делать.

— Послушайте... Во имя блага вашей паствы — мне нужно, чтобы вы связались с моими друзьями. Адрес я

вам дам. Я доверю вам адрес моих товарищей... Пастор, вы не предадите невинных...»

Штирлиц кончил прослушивать эту магнитофонную запись, быстро поднялся и отошел к окну, чтобы не встречаться взглядом с тем, кто вчера просил пастора о помощи, а сейчас ухмылялся, слушая свой голос, пил коньяк и жадно курил.

— С куревом у пастора было плохо? — спросил Штирлиц не оборачиваясь.

Он стоял у окна — громадного, во всю стену — и смотрел, как вороны дрались на снегу из-за хлеба: здешний сторож получал двойной паек и очень любил птиц. Сторож не знал, что Штирлиц — из СД, и был твердо уверен, что коттедж принадлежит либо гомосексуалистам, либо торговым воротилам: сюда ни разу не приезжала ни одна женщина, а когда собирались мужчины, разговоры у них были тихие, еда — изысканная и первоклассное, чаще всего французское, вино.

— Да, я там замучился без курева... Старичок говорун, а мне хотелось повеситься без табака...

Агента звали Клаус. Его завербовали два года назад. Он сам шел на вербовку: бывшему корректору хотелось острых ощущений. Работал он артистично, обезоруживая собеседников искренностью и резкостью суждений. Ему позволяли говорить все: лишь бы работа была результативной и быстрой. Присматриваясь к Клаусу, Штирлиц с каждым днем их знакомства испытывал всевозрастающее чувство страха.

«А может быть, он болен? — подумал однажды Штирлиц. — Жажда предательства тоже своеобразная болезнь. Занятно: Клаус полностью бьет Ломброзо[1] — он страшнее всех преступников, которых я видел, а как благообразен и мил...»

Штирлиц вернулся к столику, сел напротив Клауса, улыбнулся ему.

— Ну? — спросил он. — Значит, вы убеждены, что старик наладит вам связь?

— Да, это вопрос решенный. Я больше всего люблю работать с интеллигентами и священниками. Знаете, это поразительно — наблюдать, как человек идет на гибель. Иногда мне даже хотелось сказать иному: «Стой! Глупец! Куда?!»

---

[1] Ломброзо Чезаре (1835—1909) — итальянский психиатр и криминалист, родоначальник антропологического направления в буржуазном уголовном праве.

— Ну, это уж не стоит, — сказал Штирлиц, — это было бы неразумно.

— У вас нет рыбных консервов? Я схожу с ума без рыбы. Фосфор, знаете ли. Требуют нервные клетки...

— Я приготовлю вам хорошие рыбные консервы. Какие вы хотите?

— Я люблю в масле...

— Это я понимаю... Какого производства? Нашего или...

— «Или», — засмеялся Клаус. — Пусть это не патриотично, но я очень люблю и продукты и питье, сделанные в Америке или во Франции...

— Я приготовлю для вас ящик настоящих французских сардин. Они в оливковом масле, очень пряные... Масса фосфора... Знаете, я вчера посмотрел ваше досье...

— Дорого бы я дал за то, чтобы взглянуть на него хоть одним глазом...

— Это не так интересно, как кажется... Когда вы говорите, смеетесь, жалуетесь на боль в печени — это впечатляет, если учесть, что перед этим вы провели головоломную операцию... А в вашем досье — скучно: рапорты, донесения. Все смешалось: ваши доносы, доносы на вас... Нет, это неинтересно... Занятно другое: я подсчитал, что по вашим рапортам, благодаря вашей инициативе, было арестовано девяносто семь человек... Причем все они молчали о вас. Все без исключения. А их в гестапо довольно лихо обрабатывали...

— Зачем вы говорите мне об этом?

— Не знаю... Пытаюсь анализировать, что ли... Вам бывало больно, когда людей, дававших вам приют, потом забирали?

— А как вы думаете?

— Я не знаю.

— Черт его поймет... Я, видимо, чувствовал себя сильным, когда вступал с ними в единоборство. Меня интересовала схватка... То, что будет с ними потом, — не знаю... Что будет потом с нами? Со всеми?

— Тоже верно, — согласился Штирлиц.

— После нас — хоть потоп. И потом, наши люди: трусость, низость, жадность, доносы. В каждом, просто-напросто в каждом. Среди рабов нельзя быть свободным... Это верно. Так не лучше ли быть самым свободным среди рабов? Я-то все эти годы пользовался полной духовной свободой...

Штирлиц спросил:

— Слушайте, а кто приходил позавчера вечером к пастору?

— Никто...

— Около девяти...

— Вы ошибаетесь, — ответил Клаус, — во всяком случае, от вас никто не приходил, я был там совсем один.

— Может быть, это был прихожанин? Мои люди не разглядели лица.

— Вы наблюдали за его домом?

— Конечно. Все время... Значит, вы убеждены, что старик будет работать на вас?

— Будет. Вообще, я чувствую в себе призвание оппозиционера, трибуна, вождя. Люди покоряются моему напору, логике мышления...

— Ладно. Молодчина, Клаус. Только не хвастайтесь сверх меры. Теперь о деле... Несколько дней вы проживете на одной нашей квартире... Потому что после вам предстоит серьезная работа, и причем не по моей части...

Штирлиц говорил правду. Коллеги из гестапо сегодня попросили дать им на недельку Клауса: в Кельне были схвачены два русских «пианиста». Их взяли за работой, прямо у радиоаппарата. Они молчали, к ним нужно было подсадить хорошего человека. Лучше, чем Клаус, не сыщешь. Штирлиц обещал найти Клауса.

— Возьмите в серой папке лист бумаги, — сказал Штирлиц, — и пишите следующее: «Штандартенфюрер! Я смертельно устал. Мои силы на исходе. Я честно работал, но больше я не могу. Я хочу отдыха...»

— Зачем это? — спросил Клаус, подписывая письмо.

— Я думаю, вам не помешает съездить на недельку в Инсбрук, — ответил Штирлиц, протягивая ему пачку денег. — Там казино работают, и юные лыжницы по-прежнему катаются с гор. Без этого письма я не смогу отбить для вас неделю счастья.

— Спасибо, — сказал Клаус, — только денег ведь у меня много...

— Больше не помешает, а? Или помешает?

— Да в общем-то — не помешает, — согласился Клаус, пряча деньги в задний карман брюк. — Сейчас гонорею, говорят, довольно дорого лечить...

— Вспомните еще раз: вас никто не видел у пастора?

— Нечего вспоминать — никто...

— Я имею в виду и наших людей.

— Вообще-то меня могли видеть ваши, если они наблюдали за домом этого старика. И то — вряд ли...

Штирлиц вспомнил, как неделю назад он сам одевал его в одежду каторжника перед тем, как устроить спектакль с прогоном заключенных через ту деревню, в которой теперь жил пастор Шлаг. Он вспомнил лицо Клауса тогда, неделю назад: его глаза лучились добротой и мужеством — он уже вошел в роль, которую ему предстояло сыграть. Тогда Штирлиц говорил с ним иначе, потому что в машине рядом сидел святой — так прекрасно было его лицо, скорбен голос и так точны были слова, которые он произносил.

— Это письмо мы опустим по пути на вашу новую квартиру, — сказал Штирлиц. — И набросайте еще одно — пастору, чтобы не было подозрений. Это попробуйте написать сами. Я не стану вам мешать, заварю еще кофе.

Когда он вернулся, Клаус держал в руках листок бумаги.

— «Честность подразумевает действие, — посмеиваясь, начал читать он, — вера зиждется на борьбе. Проповедь честности при полном бездействии — предательство: и паствы, и самого себя. Человек может себе простить нечестность, потомство — никогда. Поэтому я не могу простить себе бездействия. Бездействие — это хуже, чем предательство. Я ухожу. Оправдайте себя: Бог вам в помощь». Ну, как? Ничего?

— Лихо. Скажите, вы не пробовали писать прозу? Или стихи?

— Нет. Если бы я мог писать — разве бы я стал... — Клаус вдруг оборвал себя и украдкой глянул на Штирлица.

— Продолжайте, чудак. Мы же с вами говорим в открытую. Вы хотели сказать: умей вы писать, разве бы вы стали работать на нас?

— Что-то в этом роде.

— Не в этом роде, — поправил его Штирлиц, — а именно это вы хотели сказать. Нет?

— Да.

— Молодец. Какой вам резон мне-то врать? Выпейте виски, и тронем, уже стемнело, скоро, видимо, янки прилетят.

— Квартира далеко?

— В лесу, километров десять. Там тихо, отоспитесь до завтра...

Уже в машине Штирлиц спросил:

— О бывшем канцлере Брюнинге он молчал?

— Я же говорил вам об этом — сразу замыкался в себе. Я боялся на него жать...

— Правильно делали... И о Швейцарии он тоже молчал?

— Наглухо.

— Ладно. Подберемся с другого края. Важно, что он согласился помогать коммунисту. Ай да пастор!

Штирлиц убил Клауса выстрелом в висок. Они стояли на берегу озера. Здесь была запретная зона, но пост охраны — это Штирлиц знал точно — находился в двух километрах, уже начался налет, а во время налета пистолетный выстрел не слышен. Он рассчитал, что Клаус упадет с бетонной площадки — раньше отсюда ловили рыбу — прямо в воду.

Клаус упал в воду молча, кулем. Штирлиц бросил в то место, куда он упал, пистолет (версия самоубийства на почве нервного истощения выстроилась точно, письма были отправлены самим Клаусом), снял перчатки и пошел через лес к своей машине. До деревушки, где жил пастор Шлаг, было сорок километров. Штирлиц высчитал, что он будет у него через час, — он предусмотрел все, даже возможность предъявления алиби по времени...

12.2.1945 (19 часов 56 минут)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1930 года группенфюрера СС Крюгера: «Истинный ариец, преданный фюреру. Характер — нордический, твердый. С друзьями — ровен и общителен; беспощаден к врагам рейха. Отличный семьянин; связей, порочащих его, не имел. В работе зарекомендовал себя незаменимым мастером своего дела...»)

После того как в январе 1945 года русские ворвались в Краков и город, столь тщательно заминированный, остался целехоньким, начальник имперского управления безопасности Кальтенбруннер приказал доставить к себе шефа восточного управления гестапо Крюгера.

Кальтенбруннер долго молчал, приглядываясь к тяжелому, массивному лицу генерала, а потом очень тихо спросил:

— У вас есть какое-либо оправдание — достаточно объективное, чтобы вам мог поверить фюрер?

Мужиковатый, внешне простодушный Крюгер ждал этого вопроса. Он был готов к ответу. Но он обязан был сыграть целую гамму чувств: за пятнадцать лет пре-

бывания в СС и в партии он научился актерству. Он знал, что сразу отвечать нельзя, как нельзя и полностью оспаривать свою вину. Даже дома он ловил себя на том, что стал совершенно другим человеком. Сначала он еще изредка говорил с женой, да и то шепотом, по ночам, но с развитием специальной техники, а он, как никто другой, знал ее успехи, он перестал вообще говорить вслух то, что временами позволял себе думать. Даже в лесу, гуляя с женой, он молчал или говорил о пустяках, потому что в центре в любой момент могли изобрести аппарат, способный записывать голос на расстоянии в километр или того больше.

Так постепенно прежний Крюгер исчез; вместо него в оболочке знакомого всем и внешне ничуть не изменившегося человека существовал другой, созданный прежним, совершенно не знакомый никому генерал, боявшийся не то что говорить правду, нет, боявшийся разрешать себе думать правду.

— Нет, — ответил Крюгер, нахмурившись, подавляя вздох, очень прочувствованно и тяжело, — достаточного оправдания у меня нет... И не может быть. Я — солдат, война есть война, и никаких поблажек себе я не жду.

Он играл наверняка. Он знал, что чем суровее по отношению к самому себе он будет, тем меньше оружия он оставит в руках Кальтенбруннера.

— Не будьте бабой, — сказал Кальтенбруннер, закуривая, и Крюгер понял, что выбрал абсолютно точную линию поведения. — Надо проанализировать провал, чтобы не повторять его.

Крюгер сказал:

— Обергруппенфюрер, я понимаю, что моя вина безмерна. Но я хотел бы, чтобы вы выслушали штандартенфюрера Штирлица. Он был полностью в курсе нашей операции, и он может подтвердить: все было подготовлено в высшей мере тщательно и добросовестно.

— Какое отношение к операции имел Штирлиц? — пожал плечами Кальтенбруннер. — Он из разведки, он занимался в Кракове иными вопросами.

— Я знаю, что он занимался в Кракове пропавшим ФАУ, но я считал своим долгом посвятить его во все подробности нашей операции, полагая, что, вернувшись, он доложит или рейхсфюреру, или вам о том, как мы организовали дело. Я ждал каких-то дополнительных указаний от вас, но так ничего и не получил.

Кальтенбруннер вызвал секретаря и попросил его:

— Пожалуйста, узнайте, был ли внесен Штирлиц из шестого управления в список лиц, допущенных к проведению операции «Шварцфайер». Узнайте, был ли на приеме у руководства Штирлиц после возвращения из Кракова, и если был, то у кого. Поинтересуйтесь также, какие вопросы он затрагивал в беседе.

Крюгер понял, что он слишком рано начал подставлять под удар Штирлица.

— Всю вину несу один я, — снова заговорил он, опустив голову, выдавливая из себя глухие, тяжелые слова, — мне будет очень больно, если вы накажете Штирлица. Я глубоко уважаю его как преданного борца. Мне нет оправдания, и я смогу искупить свою вину только кровью на поле битвы.

— А кто будет бороться с врагами здесь?! Я?! Один?! Это слишком просто — умереть за родину и фюрера на фронте! И куда сложнее жить здесь, под бомбами, и выжигать каленым железом скверну! Здесь нужна не только храбрость, но и ум! Большой ум, Крюгер!

Крюгер понял: отправки на фронт не будет.

Секретарь, неслышно отворив дверь, положил на стол Кальтенбруннера несколько папок. Кальтенбруннер перелистал папки и ожидающе посмотрел на секретаря.

— Нет, — сказал секретарь, — по возвращении из Кракова Штирлиц сразу же переключился на выявление стратегического передатчика, работающего на Москву...

Крюгер решил продолжить свою игру, он подумал, что Кальтенбруннер, как все жестокие люди, предельно сентиментален.

— Обергруппенфюрер, тем не менее я прошу вас позволить мне уйти на передовую.

— Сядьте, — сказал Кальтенбруннер, — вы генерал, а не баба. Сегодня можете отдохнуть, а завтра подробно, в деталях, напишите мне все об операции. Там подумаем, куда вас направить на работу... Людей мало, а дел много, Крюгер. Очень много дел.

Когда Крюгер ушел, Кальтенбруннер вызвал секретаря и попросил его:

— Подберите мне все дела Штирлица за последние год-два, но так, чтобы об этом не узнал Шелленберг: Штирлиц ценный работник и смелый человек, не стоит бросать на него тень. Просто-напросто обычная товарищеская взаимная проверка... И заготовьте приказ на Крюгера: мы отправим его заместителем начальника пражского гестапо — там горячее место...-

15.2.1945. (20 часов 30 минут)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1938 года Холтоффа, оберштурмбанфюрера СС (IV отдел РСХА): «Истинный ариец. Характер — приближающийся к нордическому, стойкий. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Имеет отличные показатели в работе. Спортсмен. Беспощаден к врагам рейха. Холост. Связей, порочащих его, не имел. Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера СС...»)'

Штирлиц решил для себя, что сегодня он освободится пораньше и уедет с Принц-Альбрехтштрассе в Науэн: там в лесу, на развилке дорог, стоял маленький ресторанчик Пауля, и, как год и как пять лет тому назад, сын Пауля, безногий Курт, каким-то чудом доставал свинину и угощал своих постоянных клиентов настоящим айсбайном с капустой.

Когда не было бомбежек, казалось, что войны вообще нет: так же, как и раньше, играла радиола, и низкий голос Бруно Варнке напевал: «О, как прекрасно было там, на Могельзее...»

Но освободиться пораньше Штирлицу так и не удалось. К нему зашел Холтофф из гестапо и сказал:

— Я совсем запутался. То ли мой арестованный психически неполноценен, то ли его следует передать вам, в разведку, поскольку он повторяет то, что говорят по радио эти английские свиньи.

Штирлиц пошел в кабинет к Холтоффу и просидел там до девяти часов, слушая истерику астронома, арестованного местным гестапо в Ванзее.

— Неужели у вас нет глаз?! — кричал астроном. — Неужели вы не понимаете, что все кончено?! Мы пропали! Неужели вы не понимаете, что каждая новая жертва сейчас — это вандализм! Вы все время твердили, что живете во имя нации! Так уйдите! Помогите остаткам нации! Вы обрекаете на гибель несчастных детей! Вы фанатики, жадные фанатики, дорвавшиеся до власти! Вы сыты, вы курите сигареты и пьете кофе! Дайте нам жить как людям! — Астроном вдруг замер, вытер пот с висков и тихо закончил: — Или убейте меня поскорее здесь...

— Погодите, — сказал Штирлиц. — Крик — не довод. У вас есть какие-либо конкретные предложения?

— Что? — испуганно спросил астроном.

Спокойный голос Штирлица, его манера неторопливо говорить, чуть при этом улыбаясь, ошеломили астронома:

он уже привык в тюрьме к крику и зуботычинам; к ним привыкают быстро, отвыкают — медленно.

— Я спрашиваю: каковы ваши конкретные предложения? Как нам спасти детей, женщин, стариков? Что вы предлагаете для этого сделать? Критиковать и злобствовать всегда легче. Выдвинуть разумную программу действий — значительно труднее.

— Я преклоняюсь перед астрологией, — ответил ученый, — и за это меня лишили кафедры в Бонне...

— Так ты поэтому так злобствуешь, собака?! — закричал Холтофф.

— Подождите, — сказал Штирлиц, досадливо поморщившись, — не надо кричать, право... Продолжайте, пожалуйста...

— Мы живем в год неспокойного солнца. Взрывы протуберанцев, передача огромной дополнительной массы солнечной энергии влияют на светила, на планеты и звезды, влияют на наше маленькое человечество...

— Вы, вероятно, — спросил Штирлиц, — вывели какой-либо гороскоп?

— Гороскоп — это интуитивная, может быть даже гениальная, недоказанность. Нет, я иду от обычной, отнюдь не гениальной гипотезы, которую я пытался выдвигать: о взаимосвязанности каждого живущего на Земле с небом и солнцем... И эта взаимосвязь помогает мне точнее и трезвее оценивать происходящее на земле моей родины...

— Мне будет интересно поговорить с вами на эту тему подробнее, — сказал Штирлиц. — Вероятно, мой товарищ позволит сейчас вам пойти в камеру и дня два отдохнуть, а после мы вернемся к этому разговору.

Когда астронома увели, Штирлиц сказал:

— Он в определенной степени невменяем, разве ты не видишь? Все ученые, писатели, артисты по-своему невменяемы. К ним нужен особый подход, потому что они живут своей, придуманной ими жизнью. Отправь этого чудака в нашу больницу на экспертизу. У нас сейчас слишком много серьезной работы, чтобы тратить время на безответственных, хотя, может быть, и талантливых болтунов.

— Но он говорит как настоящий англичанин из лондонского радио... Или как проклятый социал-демократ, снюхавшийся с Москвой.

— Люди изобрели радио для того, чтобы его слушать.

Вот он и наслушался. Нет, это несерьезно. Будет целесообразно встретиться с ним через несколько дней. Если он серьезный ученый, мы войдем к Мюллеру или Кальтенбруннеру с просьбой: дать ему хороший паек и эвакуировать в горы, где сейчас цвет нашей науки, — пусть работает, он сразу перестанет болтать, когда будет много хлеба с маслом, удобный домик в горах, в сосновом лесу, и никаких бомбежек... Нет?

Холтофф усмехнулся:

— Тогда бы никто не болтал, если бы у каждого был домик в горах, много хлеба с маслом и никаких бомбежек...

Штирлиц внимательно посмотрел на Холтоффа, дождался, пока тот, не выдержав его взгляда, начал суетливо перекладывать бумажки на столе с места на место, и только после этого широко и дружелюбно улыбнулся своему младшему товарищу по работе...

15.2.1945 (20 часов 44 минуты)

Стенограмма совещания у фюрера.

Присутствовали Кейтель, Йодль, посланник Хавель — от министерства иностранных дел, рейхсляйтер Борман, обергруппенфюрер СС Фегеляйн — посланник ставки рейхсфюрера СС, рейхсминистр промышленности Шпеер, а также адмирал Фосс, капитан третьего ранга Людде-Нейрат, адмирал фон Путкамер, адъютанты, стенографистки.

Борман. Кто там все время расхаживает? Это мешает!

Путкамер. Я попросил полковника фон Белова дать мне последнюю справку о положении люфтваффе в Италии.

Борман. Я не о полковнике. Все говорят, и это создает надоедливый, постоянный шум.

Гитлер. Мне это не мешает. Господин генерал, на карту не нанесены изменения на сегодняшний день в Курляндии.

Йодль. Мой фюрер, вы не обратили внимания: вот коррективы сегодняшнего утра.

Гитлер. Очень мелкий шрифт на карте. Спасибо, теперь я увидел.

Кейтель. Генерал Гудериан снова настаивает на вывозе наших дивизий из Курляндии.

Гитлер. Это неразумный план. Сейчас войска генерала Рендулича, оставшиеся в глубоком тылу русских, в четырехстах километрах от Ленинграда, притягивают к себе от сорока до семидесяти русских дивизий. Если мы уведем оттуда наши войска, соотношение сил под Берлином сразу же изменится — и отнюдь не в нашу пользу, как это кажется Гудериану. В случае, если мы уберем войска из Курляндии, тогда на каждую немецкую дивизию под Берлином будет приходиться по крайней мере три русских.

Борман. Надо быть трезвым политиком, господин фельдмаршал...

Кейтель. Я военный, а не политик.

Борман. Это неразделимые понятия в век тотальной войны.

Гитлер. Для того чтобы нам эвакуировать войска, стоящие сейчас в Курляндии, потребуется — учитывая опыт Либавской операции — по крайней мере полгода. Это смехотворно. Нам отпущены часы, именно часы — для того, чтобы завоевать победу. Каждый, кто может смотреть, анализировать, делать выводы, обязан ответить себе на один лишь вопрос: возможна ли близкая победа? Причем я не прошу, чтобы ответ был слепым в своей категоричности. Меня не устраивает слепая вера, я ищу веры осмысленной. Никогда еще мир не знал такого парадоксального в своей противоречивости союза, каким является коалиция союзников. В то время как цели России, Англии и Америки являются диаметрально противоположными, наша цель ясна всем нам. В то время как они движутся, направляемые разностью своих идеологических устремлений, мы движимы одним устремлением; ему подчинена наша жизнь. В то время как противоречия между ними растут и будут расти, наше единство теперь, как никогда раньше, обрело ту монолитность, которой я добивался многие годы этой тяжелой великой кампании. Помогать разрушению коалиции наших врагов дипломатическими

или иными путями — утопия. В лучшем случае утопия, если не проявление паники и утрата всяческой перспективы. Лишь нанося им военные удары, лишь демонстрируя несгибаемость нашего духа и неистощимость нашей мощи, мы ускорим конец этой коалиции, которая развалится при грохоте наших победных орудий. Ничто так не действует на западные демократии, как демонстрация силы. Ничто так не отрезвляет Сталина, как растерянность Запада, с одной стороны, и наши удары — с другой. Учтите, Сталину приходится сейчас вести войну не в лесах Брянска и не на полях Украины. Он держит свои войска на территории Польши, Румынии, Венгрии. Русские, войдя в прямое соприкосновение с «не родиной», уже ослаблены и — в определенной мере — деморализованы. Но не на русских и не на американцев я сейчас обращаю максимум внимания. Я обращаю свой взор на немцев! Только наша нация может одержать и обязана одержать победу! В настоящее время вся страна стала военным лагерем. Вся страна — я имею в виду Германию, Австрию, Норвегию, часть Венгрии и Италии, значительную территорию Чешского и Богемского протекторатов, Данию и часть Голландии. Это — сердце европейской цивилизации. Это концентрация мощи — материальной и духовной. В наши руки попал материал победы. От нас, от военных, сейчас зависит, в какой мере быстро мы используем этот материал во имя нашего триумфа. Поверьте мне, после первых же сокрушительных ударов наших армий коалиция союзников рассыплется. Эгоистические интересы каждого из них возобладают над стратегическим видением проблемы. Я предлагаю во имя приближения часа нашей победы следующее: 6-я танковая армия СС начинает контрнаступление под Будапештом, обеспечивая, таким образом, надежность южного бастиона национал-социализма в Австрии и Венгрии, с одной стороны, и подготавливая выход во фланг русским — с другой. Учтите, что именно там, на юге, в Надьканиже, мы имеем семьдесят тысяч тонн нефти. Нефть — это кровь, пульсирующая в артериях войны. Я скорее пойду на сдачу Берлина, чем на

потерю этой нефти, которая гарантирует мне неприступность Австрии, ее общность с итальянской миллионной группировкой Кессельринга. Далее: группа армий «Весла», собрав резервы, проведет решительное контрнаступление во фланги русских, использовав для этого померанский плацдарм. Войска рейхсфюрера СС, прорвав оборону русских, выходят к ним в тыл и овладевают инициативой; поддерживаемые штеттинской группировкой, они разрезают фронт русских. Вопрос подвоза резервов для Сталина — это вопрос вопросов. Расстояния против него. Расстояния, наоборот, за нас. Семь оборонительных линий, укрывающих Берлин и — практически — делающих его неприступным, позволят нам нарушить каноны военного искусства и перебросить на запад значительную группу войск с юга и с севера. У нас будет время: Сталину потребуется два-три месяца для перегруппировки резервов, нам же для переброски людей — пять дней; расстояния Германии позволяют сделать это, бросив вызов традициям стратегии.

Йодль. Желательно было бы все же увязать этот вопрос с традициями стратегии...

Гитлер. Речь идет не о деталях, а о целом. В конце концов, частности всегда могут быть решены в штабах группами узких специалистов. Военные имеют более четырех миллионов людей, организованных в мощный кулак сопротивления. Задача состоит в том, чтобы организовать этот мощный кулак сопротивления в сокрушающий удар победы. Мы сейчас стоим на границах августа 1938 года. Мы слиты воедино. Мы, нация немцев. Наша военная промышленность вырабатывает вооружения в четыре раза больше, чем в 1939 году. Наша армия в два раза больше, чем в том году. Наша ненависть страшна, а воля к победе неизмерима. Так я спрашиваю вас: неужели мы не выиграем мир путем войны? Неужели колоссальный военный успех не родит успех политический?

Кейтель. Как сказал рейхсляйтер Борман, военный сейчас одновременно и политик.

Борман. Вы не согласны?

Кейтель. Я согласен.

Гитлер. Я прошу к завтрашнему дню подготовить мне конкретные предложения, господин фельдмаршал.

Кейтель. Да, мой фюрер. Мы приготовим общую наметку, и, если вы одобрите ее, мы начнем отработку всех деталей.

Когда совещание кончилось и все приглашенные разошлись, Борман вызвал двух стенографисток.

— Пожалуйста, срочно расшифруйте то, что я вам сейчас продиктую, и разошлите от имени ставки всем высшим офицерам вермахта... Итак: «В своей исторической речи 15 февраля в ставке наш фюрер, осветив положение на фронтах, в частности, сказал: «Никогда еще мир не знал такого парадоксального в своей противоречивости блока, каким является коалиция союзников».

«КЕМ ОНИ МЕНЯ ТАМ СЧИТАЮТ?» (ЗАДАНИЕ)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1933 года фон Штирлица, штандартенфюрера СС (VI отдел РСХА): «Истинный ариец. Характер — нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам рейха. Отличный спортсмен: чемпион Берлина по теннису. Холост; в связях, порочащих его, замечен не был. Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера СС...»)

Штирлиц приехал к себе, когда только-только начинало темнеть. Он любил февраль: снега почти не было, по утрам высокие верхушки сосен освещались солнцем, и казалось, что уже лето и можно уехать на Могельзее и там ловить рыбу или спать в шезлонге.

Здесь, в маленьком своем коттедже в Бабельсберге, совсем неподалеку от Потсдама, он теперь жил один: его экономка неделю назад уехала в Тюрингию к племяннице — сдали нервы от бесконечных налетов.

Теперь у него убирала молоденькая дочка хозяина кабачка «К охотнику».

«Наверное, саксонка, — думал Штирлиц, наблюдая за тем, как девушка управлялась с большим пылесосом в гостиной, — черненькая, а глаза голубые. Правда, акцент у нее берлинский, но все равно она, наверное, из Саксонии».

— Который час? — спросил Штирлиц.

— Около семи...

Штирлиц усмехнулся: «Счастливая девочка... Она может себе позволить это «около семи». Самые счастливые люди на земле те, кто может вольно обращаться с временем, ничуть не опасаясь за последствия... Но говорит она на берлинском, это точно. Даже с примесью мекленбургского диалекта...»

Услыхав шум подъезжающего автомобиля, он крикнул:

— Девочка, посмотри, кого там принесло?

Девушка, заглянув к нему в маленький кабинет, где он сидел в кресле возле камина, сказала:

— К вам господин из полиции.

Штирлиц поднялся, потянулся с хрустом и пошел в прихожую. Там стоял унтершарфюрер СС с большой корзинкой в руке.

— Штандартенфюрер, ваш шофер заболел, я привез паек вместо него...

— Спасибо, — ответил Штирлиц, — положите в холодильник. Девочка вам поможет.

Он не вышел проводить унтершарфюрера, когда тот уходил из дома. Он открыл глаза, только когда в кабинет неслышно вошла девушка и, остановившись у двери, тихо сказала:

— Если герр Штирлиц хочет, я могу оставаться и на ночь.

«Девочка впервые увидала столько продуктов, — понял он. — Бедная девочка».

Он открыл глаза, снова потянулся и ответил:

— Девочка... половину колбасы и сыр можешь взять себе без этого...

— Что вы, герр Штирлиц, — ответила она, — я не из-за продуктов...

— Ты влюблена в меня, да? Ты от меня без ума? Тебе снятся мои седины, нет?

— Седые мужчины мне нравятся больше всего.

— Ладно, девочка, к сединам мы еще вернемся. После твоего замужества... Как тебя зовут?

— Мари... Я ж говорила... Мари.

— Да, да, прости меня, Мари. Возьми колбасу и не кокетничай. Сколько тебе лет?

— Девятнадцать.

— О, совсем уже взрослая девушка. Ты давно из Саксонии?

— Давно. С тех пор, как сюда переехали мои родители.

— Ну иди, Мари, иди отдыхать. А то я боюсь, не начали бы они бомбить, тебе будет страшно идти, когда бомбят.

Когда девушка ушла, Штирлиц закрыл окна тяжелыми светомаскировочными шторами и включил настольную лампу. Нагнулся к камину и только тут заметил, что поленца сложены именно так, как он любил: ровным колодцем, и даже береста лежала на голубом грубом блюдце.

«Я ей об этом не говорил. Или нет... Сказал. Мимоходом... Девочка умеет запоминать, — думал он, зажигая бересту, — мы все думаем о молодых, как старые учителя, и со стороны это, верно, выглядит очень смешно. А я уже привык думать о себе как о старике: сорок пять лет...»

Штирлиц дождался, пока разгорелся огонь в камине, подошел к приемнику и включил его. Он услышал Москву: передавали старинные романсы. Штирлиц вспомнил, как однажды Геринг сказал своим штабистам: «Это непатриотично — слушать вражеское радио, но временами меня так и подмывает послушать, какую ахинею они о нас несут». Сигналы о том, что Геринг слушает вражеское радио, поступали и от его прислуги, и от шофера. Если «наци № 2» таким образом пытается выстроить свое алиби, это свидетельствует о его трусости и полнейшей неуверенности в завтрашнем дне. Наоборот, думал Штирлиц, ему не стоило бы скрывать того, что он слушает вражеское радио. Стоило бы просто комментировать вражеские передачи, грубо их вышучивать. Это наверняка подействовало бы на Гиммлера, не отличавшегося особым изыском в мышлении.

Романс окончился тихим фортепианным проигрышем. Далекий голос московского диктора, видимо немца, начал передавать частоты, на которых следовало слушать передачи по пятницам и средам. Штирлиц записывал цифры: это было донесение, предназначенное для него, он ждал его уже шесть дней. Он записывал цифры в стройную колонку: цифр было много, и, видимо опасаясь, что он не успеет все записать, диктор прочитал их во второй раз.

А потом снова зазвучали прекрасные русские романсы.

Штирлиц достал из книжного шкафа томик Монтеня, перевел цифры в слова и соотнес эти слова с кодом, скрытым среди мудрых истин великого и спокойного французского мыслителя.

«Кем они считают меня? — подумал он. — Гением или всемогущим? Это же немыслимо...»

Думать так у Штирлица были все основания, потому что задание, переданное ему через московское радио, гласило:

> *Юстасу.* По нашим сведениям, в Швеции и Швейцарии появлялись высшие офицеры службы безопасности СД и СС, которые искали выход на резидентуру союзников. В частности, в Берне люди СД пытались установить контакт с работниками Аллена Даллеса. Вам необходимо выяснить, являются ли эти попытки контактов: 1) дезинформацией, 2) личной инициативой высших офицеров СД, 3) выполнением задания центра.
>
> В случае, если эти сотрудники СД и СС выполняют задание Берлина, необходимо выяснить, кто послал их с этим заданием. Конкретно: кто из высших руководителей рейха ищет контактов с Западом. *Алекс.*

...За шесть дней перед тем, как эта телеграмма попала в руки Юстаса, Сталин, ознакомившись с последними донесениями советской секретной службы за кордоном, вызвал на «Ближнюю дачу» начальника разведки и сказал ему:

— Только подготовишки от политики могут считать Германию окончательно обессиленной, а потому неопасной... Германия — это сжатая до предела пружина, которую должно и можно сломить, прилагая равно мощные усилия с обеих сторон. В противном случае, если давление с одной стороны превратится в подпирание, пружина может, распрямившись, ударить в противоположном направлении. И это будет сильный удар, во-первых, потому, что фанатизм гитлеровцев по-прежнему силен, а во-вторых, потому, что военный потенциал Германии отнюдь не до конца истощен. Поэтому всякие попытки соглашения фашистов с антисоветчиками Запада должны рассматриваться вами как реальная возможность. Естественно, — продолжал Сталин, — вы должны отдать себе отчет в том, что главными фигурами в этих возможных сепарат-

ных переговорах будут скорее всего ближайшие соратники Гитлера, имеющие авторитет и среди партийного аппарата, и среди народа. Они, его ближайшие соратники, должны стать объектом вашего пристального наблюдения. Бесспорно, ближайшие соратники тирана, который на грани падения, будут предавать его, чтобы спасти себе жизнь. Это аксиома в любой политической игре. Если вы проморгаете эти возможные процессы — пеняйте на себя. ЧК беспощадна, — неторопливо закурив, добавил Сталин, — не только к врагам, но и к тем, кто дает врагам шанс на победу — вольно или невольно...

Где-то далеко завыли сирены воздушной тревоги, и сразу же залаяли зенитки. Электростанция выключила свет, и Штирлиц долго сидел возле камина, наблюдая за тем, как по черно-красным головешкам змеились голубые огоньки.

«Если закрыть вытяжку, — лениво подумал Штирлиц,— через три часа я усну. Так сказать, почил в бозе... Мы так чуть не угорели с бабушкой на Якиманке, когда она прежде времени закрыла печку, а в ней еще были такие же дрова — черно-красные, с такими же голубыми огоньками. А газ, которым мы отравились, был бесцветным. И совсем без запаха... По-моему...»

Дождавшись, когда головешки сделались совсем черными и уже не было змеистых голубых огоньков, Штирлиц закрыл вытяжку, зажег большую свечу, вставленную в горлышко бутылки из-под шампанского, и подивился тому диковинному, что составил стеарин, обтекая бутылку. Он сжег много свечей, и бутылка почти не была видна: какой-то странный пупырчатый сосуд, вроде древних амфор, только бело-красный. Штирлиц специально просил своих друзей, выезжающих в Испанию, привозить ему цветные свечи: после эти диковинные стеариновые бутылки он раздаривал знакомым.

Неподалеку тяжело рвануло подряд два раза.

«Фугаски, — определил он. — Здоровые фугаски. Бомбят ребята славно. Просто великолепно бомбят. Обидно, конечно, если пристукнут в последние дни. Наши и следов не найдут. Вообще-то противно погибнуть безвестно. Сашенька, — вдруг увидел он лицо жены. — Сашенька маленькая и Сашенька большой... Теперь умирать совсем не с руки. Теперь надо во чтобы то ни стало выкарабкаться. Одному жить легче, потому что не так страшно погибать. А повидав сына — погибать страшно.

Идиоты пишут в романах: он умер тихо, на руках у любящих родственников. Нет ничего страшнее, чем умирать на руках своих детей, видеть их в последний раз, чувствовать их близость и понимать, что это навсегда, что это конец, и тьма, и горе им...»

Однажды на приеме в советском посольстве на Унтерден-Линден Штирлиц, беседуя вместе с Шелленбергом с молодым советским дипломатом, хмуро — по своей обычной манере — слушал дискуссию русского и шефа политической разведки о праве человека на веру в амулеты, заговоры, приметы и прочую, по выражению секретаря посольства, «дикарскую требуху». В веселом споре этом Шелленберг был, как всегда, тактичен, доказателен и уступчив. Штирлиц злился, глядя, как он затаскивает русского парня в спор.

«Светит фарами, — подумал он, — присматривается к противнику: характер человека лучше всего узнается в споре. Это Шелленберг умеет делать, как никто другой».

— Если вам все ясно в этом мире, — продолжал Шелленберг, — тогда вы, естественно, имеете право отвергать веру человека в силу амулета. Но все ли вам так уж ясно? Я имею в виду не идеологию, но физику, химию, математику...

— Кто из физиков или математиков, — горячился секретарь посольства, — приступает к решению задачи, надев на шею амулет? Это нонсенс.

«Ему надо было остановиться на вопросе, — отметил для себя Штирлиц, — а он не выдержал — сам себе ответил. В споре важно задавать вопросы: тогда виден контрагент, да и потом, отвечать всегда сложнее, чем спрашивать...»

— Может быть, физик или математик надевает амулет, но не афиширует этого? — спросил Шелленберг. — Или вы отвергаете такую возможность?

— Наивно отвергать возможность. Категория возможности — парафраз понятия перспективы.

«Хорошо ответил, — снова отметил для себя Штирлиц. — Надо было отыграть... Спросить, например: «Вы не согласны с этим?» А он не спросил и снова подставился под удар».

— Так, может быть, и амулет нам подверстать к категории непонятой возможности? Или вы против?

Штирлиц пришел на помощь.

— Немецкая сторона победила в споре, — констатировал он, — однако истины ради стоит отметить, что на

блестящие вопросы Германии Россия давала не менее великолепные ответы. Мы исчерпали тему, но я не знаю, каково бы нам пришлось, возьми на себя русская сторона инициативу в атаке — вопросами...

«Понял, братишечка?» — спрашивали глаза Штирлица, и по тому, как замер враз взбухшими желваками русский дипломат, Штирлицу стало ясно, что его урок понят...

«Не сердись, милый, — думал он, глядя на отошедшего парня, — лучше это сделать мне, чем кому-то другому... Только не прав ты про амулет... Когда мне очень плохо и я с открытыми глазами иду на риск, а у меня он всегда смертельный, я надеваю на грудь амулет — медальон, в котором лежит прядь Сашенькиных волос... Мне пришлось выбросить ее медальон — он был слишком русским, и я купил немецкий, тяжелый, нарочито богатый, а прядь волос — золотисто-белых, ее, Сашенькиных, — со мной, и это мой амулет...»

Двадцать три года назад, во Владивостоке, он видел Сашеньку в последний раз, отправляясь по заданию Дзержинского с белой эмиграцией — в Шанхай. Но с того ветреного, страшного, далекого дня образ ее жил в нем; она стала его частью, она растворилась в нем, превратившись в часть его собственного «я»...

Он вспомнил свою случайную встречу с сыном в Кракове в конце 1944-го. Он вспомнил, как «Гришанчиков» приходил к нему в гостиницу и как они шептались, включив радио, и как мучительно ему было уезжать от сына, который волею судьбы избрал его путь. Штирлиц знал, что сын сейчас в Праге, что он должен спасти этот город от взрыва — так же, как он с майором Вихрем спас Краков. Он знал, как сейчас сложно ему вести свое дело, но он также понимал, что всякая его попытка увидаться с сыном — из Берлина до Праги всего шесть часов езды — может поставить его под удар...

В сорок втором году во время бомбежки под Великими Луками убило шофера Штирлица — тихого, вечно улыбавшегося Фрица Рошке. Парень был честный; Штирлиц знал, что он отказался стать осведомителем гестапо и не написал на него ни одного рапорта, хотя его об этом просили из IV отдела РСХА весьма настойчиво.

Штирлиц, оправившись после контузии, заехал в дом под Карлсхорстом, где жила вдова Рошке. Женщина лежала в нетопленом доме и бредила. Полуторагодовалый

сын Рошке Генрих ползал по полу и тихонько плакал: кричать мальчик не мог, он сорвал голос. Штирлиц вызвал врача. Женщину увезли в госпиталь: крупозное воспаление легких. Мальчика Штирлиц забрал к себе: его экономка, старая добрая женщина, выкупала малыша и, напоив его молоком, хотела было положить у себя.

— Постелите ему в спальне, — сказал Штирлиц, — пусть он будет со мной.

— Дети очень кричат по ночам.

— А может быть, я именно этого и хочу, — тихо ответил Штирлиц, — может быть, мне очень хочется слышать, как по ночам плачут маленькие дети.

Старушка посмеялась: «Что может быть в этом приятного? Одно мучение».

Но спорить с хозяином не стала. Она проснулась часа в два. В спальне надрывался, заходился в плаче мальчик. Старушка надела теплый стеганый халат, наскоро причесалась и спустилась вниз. Она увидела свет в спальне. Штирлиц ходил по комнате, прижав к груди мальчика, завернутого в плед, и что-то тихо напевал ему. Старушка никогда не видела такого лица у Штирлица — оно до неузнаваемости изменилось, и старушка даже поначалу подумала: «Да он ли это?» Лицо Штирлица — обычно жесткое, моложавое, сейчас было очень старым и даже, пожалуй, женственным.

Наутро экономка подошла к двери спальни и долго не решалась постучать. Обычно Штирлиц в семь часов садился к столу. Он любил, чтобы тосты были горячими, поэтому она готовила их с половины седьмого, точно зная, что в раз и навсегда заведенное время он выпьет чашку кофе — без молока и сахара, потом намажет тостик мармеладом и выпьет вторую чашку кофе — теперь с молоком. За те четыре года, что экономка прожила в доме Штирлица, он ни разу не опаздывал к столу. Сейчас было уже восемь, а в спальне царила тишина. Она чуть приоткрыла дверь и увидела, что Штирлиц и малыш спят на широкой кровати. Мальчуган лежал поперек кровати, упираясь пятками в спину Штирлицу, а тот умещался каким-то чудом на самом краю. Видимо, он услыхал, как экономка отворила дверь, потому что сразу же открыл глаза и, улыбнувшись, приложил палец к губам. Он говорил шепотом даже на кухне, когда зашел узнать, чем она собирается кормить мальчика.

— Мне говорил племянник, — улыбнулась экономка, — что только русские кладут детей к себе в кровать...

— Да? — удивился Штирлиц. — Почему?

— От свинства...

— Значит, вы считаете своего хозяина свиньей? — хохотнул Штирлиц.

Экономка смешалась, покрылась красными пятнами.

— О господин Штирлиц, как можно... Вы положили дитя в кровать, чтобы заменить ему родителей. Это от благородства и доброты...

Штирлиц позвонил в госпиталь. Ему сказали, что Анна Рошке умерла час назад. Штирлиц навел справки, где живут родственники погибшего шофера и Анны. Мать Фрица ответила, что она живет одна, очень больна и не имеет возможности содержать внука. Родственники Анны погибли в Эссене во время налета британской авиации. Штирлиц, дивясь самому себе, испытал затаенную радость: теперь он мог усыновить мальчика. Он бы сделал это, если бы не страх за будущее Генриха. Он знал участь детей тех, кто становился врагом рейха: детский дом, потом концлагерь, а после — печь...

Штирлиц отправил малыша в горы, в Тюрингию, в семью экономки.

— Вы правы, — посмеиваясь, сказал он женщине за завтраком, — маленькие дети весьма обременительны для одиноких мужчин...

Экономка ничего не ответила, только заученно улыбнулась. А ей хотелось ему сказать, что это жестоко и безнравственно — приучить за эти три недели к себе малыша, а потом отправить его в горы, к новым людям, — значит, снова ему надо будет привыкать, снова обретать веру в того, кто ночью спит рядом и, укачивая, поет тихие, добрые песни.

— Я понимаю, — закончил Штирлиц, — вам это кажется жестокостью. Но что же делать людям моей профессии? Разве лучше будет, если он станет сиротой второй раз?

Экономку всегда поражало умение Штирлица угадывать ее мысли.

— О нет, — сказала она, — я отнюдь не считаю ваш поступок жестоким. Он разумен, ваш поступок, господин Штирлиц, в высшей мере разумен.

Она даже и не поняла: сказала сейчас правду или солгала ему, испугавшись того, что он понял ее мысли.

...Штирлиц поднялся и, взяв свечу, подошел к столу. Он достал несколько листков бумаги и разложил их перед собой, словно карты во время пасьянса. На одном листе

бумаги он нарисовал толстого, высокого человека. Он хотел подписать внизу — Геринг, но делать этого не стал. На втором листке он нарисовал лицо Геббельса, на третьем — сильное, со шрамом лицо: Борман. Подумав немного, он написал на четвертом листке: «рейхсфюрер СС». Это был титул его шефа, Генриха Гиммлера.

...Разведчик, если он оказывается в средоточии важнейших событий, должен быть человеком бесконечно эмоциональным, даже чувственным — сродни актеру; но при этом эмоции обязаны быть в конечном счете подчинены логике, жестокой и четкой.

Штирлиц, когда ночью, да и то изредка, позволял себе чувствовать себя Исаевым, рассуждал так: что значит быть настоящим разведчиком? Собрать информацию, обработать объективные данные и передать их в Центр — для политического обобщения и принятия решения? Или сделать с в о и, сугубо индивидуальные выводы, наметить с в о ю перспективу, предложить с в о и выкладки? Исаев считал, что если разведке заниматься планированием политики, тогда может оказаться, что рекомендаций будет много, а сведений — мало. Очень плохо, считал он, когда разведка полностью подчинена политической, заранее выверенной линии: так было с Гитлером, когда он, уверовав в слабость Советского Союза, не прислушался к осторожным мнениям военных: Россия не так слаба, как кажется. Также плохо, думал Исаев, когда разведка тщится подчинить себе политику. Идеально, когда разведчик понимает перспективу развития событий и предоставляет политикам ряд возможных, наиболее, с его точки зрения, целесообразных решений.

Разведчик, считал Исаев, может сомневаться в непогрешимости своих предсказаний, он не имеет права на одно только: он не имеет права сомневаться в их полной объективности.

Приступая сейчас к последнему обзору материала, который он смог собрать за все эти годы, Штирлиц поэтому обязан был взвесить все «за» и «против»: речь шла о судьбах Европы и ошибиться в анализе никак нельзя.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ (ГЕРИНГ)

Боевой летчик первой мировой войны, герой кайзеровской Германии, Геринг после первого нацистского выступления сбежал в Швецию. Начал работать там летчиком

гражданской авиации и однажды, в страшный шторм, он чудом усадил свой одномоторный аэроплан в замке Роклштадт, там познакомился с дочерью полковника фон Фока, Кариной фон Катцов, отбил ее у мужа, уехал в Германию, встретился с фюрером, вышел на демонстрацию национал-социалистов в ноябре 1923 года, был ранен, чудом избежал ареста и эмигрировал в Инсбрук, где его уже ждала Карина. У них не было денег, но владелец отеля кормил их бесплатно: он был так же, как Геринг, национал-социалистом. Потом Герингов пригласил в Венецию хозяин отеля «Британия», и там они жили до 1927 года, до того дня, как в Германии была объявлена амнистия. Менее чем через полгода Геринг стал депутатом вместе с другими одиннадцатью нацистами. Гитлер баллотироваться не мог: он был австрийским гражданином.

Карина писала своей матери в Швецию: «В рейхстаге Герман сидит вместе с генералом фон Энн из Баварии. Рядом много уголовных типов из Красной гвардии — со звездами Давида и с красными звездами, впрочем, это одно и то же. Кронпринц прислал Герману телеграмму: «Только вы с вашей выправкой можете представлять германцев».

Надо было готовиться к новым выборам. По решению фюрера Геринг ушел с партийной работы, он оставался только членом рейхстага. Его тогдашняя задача: наладить связи с сильными мира сего — партия, намеревающаяся взять власть, должна иметь широкий круг связей. По решению партии он снял шикарный особняк на Баденштрассе: там принимал принца Гогенцоллерна, принца Кобурга, магнатов. Душой дома была Карина: обаятельная женщина, аристократка, она импонировала всем — дочь одного из высших сановников Швеции, ставшая женой героя войны, изгнанника, борца против разложившейся западной демократии, которая не в силах противостоять большевистскому вандализму.

Каждый раз перед приемом рано утром приезжал партайляйтер берлинской нацистской организации Геббельс. Он был связным между партией и Герингом. Геббельс садился к роялю, а Геринг, Карина и Томас, ее сын от первого брака, пели народные песни: в доме лидера нацистов не переносили разнузданных ритмов американского или французского джаза.

Именно сюда, в особняк, снятый на деньги партии, 5 января 1931 года приехали Гитлер, Шахт и Тиссен. Именно

этот шикарный особняк услышал слова сговора финансовых и промышленных воротил с фюрером национал-социалистов Гитлером, призывавшим рабочих Германии «сбросить иго коминтерновского большевизма и растленного империализма и сделать Германию государством народа».

После рэмовского путча, когда в оппозицию к фюреру стали многие ветераны, пошли разговоры:

— Геринг перестал быть Германом, он стал президентом... Он не принимает товарищей по партии, их унизительно ставят на очередь в его канцелярии... Он погряз в роскоши...

Сначала об этом говорили вполголоса только рядовые члены партии. Но когда Геринг в 1935 году построил под Берлином замок Каринхале, Гитлеру пожаловались на него уже не рядовые национал-социалисты, а главари — Лей и Заукель. Геббельс считал, что Геринг начал портиться еще в своем особняке.

— Роскошь засасывает, — говорил он, — Герингу надо помочь, он слишком дорог всем нам.

Гитлер поехал в Каринхале, осмотрел этот замок и сказал:

— Оставьте Геринга в покое. В конце концов, он один знает, как надо представляться дипломатам. Пусть Каринхале будет резиденцией для приема иностранных гостей. Пусть! Герман этого заслужил. Будем считать, что Каринхале принадлежит народу, а Геринг только живет здесь...

Здесь Геринг проводил все время, перечитывая Жюля Верна и Карла Мэя, — это были два его самых любимых писателя. Здесь он охотился на ручных оленей, а по вечерам просиживал долгие часы в кинозале: он мог смотреть по пять приключенческих фильмов подряд. Во время сеанса он успокаивал своих гостей.

— Не волнуйтесь, — говорил он, — конец будет хороший...

Отсюда, из Каринхале, после просмотра приключенческих фильмов, он вылетал в Мюнхен — принимать капитуляцию Чемберлена, в Варшаву — наблюдать расстрелы в гетто, в Житомир — планировать уничтожение славян...

В апреле 1942 года, после налета американских бомбардировщиков на Киль, когда город был сожжен и разрушен, Геринг сообщил фюреру, что в налете участвовало триста вражеских самолетов. Гауляйтер Киля Грохе, по-

седевший за эти сутки, измученный, документально опроверг Геринга: в налете принимало участие восемьсот бомбардировщиков, а люфтваффе была бессильна и ничего не смогла сделать для того, чтобы спасти город.

Гитлер молча смотрел на Геринга, и только брезгливая гримаса пробегала по его лицу. Потом он взорвался:

— «Ни одна вражеская бомба не упадет на города Германии?!» — нервно, с болью заговорил он, не глядя на Геринга. — Кто объявил об этом нации? Кто уверял в этом нашу партию?! Я читал в книгах об азартных карточных играх — мне знакомо понятие блефа! Германия не зеленое сукно ломберного стола, на котором можно играть в азартные игры. Вы погрязли в довольстве и роскоши, Геринг! Вы живете в дни войны, словно император или еврейский плутократ! Вы стреляете из лука оленей, а мою нацию расстреливают из пушек самолеты врага! Признание вождя — это величие нации! Удел вождя — скромность! Профессия вождя — точное соотнесение обещаний с их выполнением!

Из заключения врачей, прикрепленных к рейхсмаршалу, стало известно, что Геринг, выслушав эти слова Гитлера, вернулся к себе и слег с температурой в сильнейшем нервном припадке.

Итак, в 1942 году впервые Геринг, «наци № 2», официальный преемник Гитлера, был подвергнут такой унизительной критике, да еще в присутствии аппарата фюрера. Это событие немедленно легло в досье Гиммлера, и на следующий день, не испрашивая разрешения Гитлера, рейхсфюрер СС отдал директиву начать прослушивание всех телефонных разговоров ближайшего соратника фюрера.

Впрочем, впервые Гиммлер в течение недели прослушивал разговоры рейхсмаршала уже после скандала с его братом Альбертом, руководителем экспорта заводов «Шкода». Альберт, слывший защитником обиженных, написал на бланке брата письмо коменданту лагеря Маутхаузен: «Немедленно освободите профессора Киша, против которого нет серьезных улик». И подписался: Геринг. Без инициалов. Перепуганный комендант концлагеря отпустил сразу двух Кишей: один из них был профессором, а второй — подпольщиком. Герингу стоило большого труда выручить брата: он вывел его из-под удара, рассказав об этом фюреру как о занятном анекдоте.

Однако Гитлер по-прежнему повторял Борману:

— Никто иной не может быть моим преемником,

кроме Геринга. Во-первых, он никогда не лез в самостоятельную политику, во-вторых, он популярен в народе, и, в-третьих, он — главный объект для карикатур во вражеской печати.

Это было мнение Гитлера о человеке, который вел всю практическую работу по захвату власти, о человеке, который совершенно искренне сказал — и не кому-нибудь, а жене, и не для диктофонов — он тогда не верил, что его когда-либо смогут прослушивать братья по борьбе, — а ночью, в постели:

— Не я живу, но фюрер живет во мне...

15.2.1945 (22 часа 32 минуты)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1939 года обергруппенфюрера СС, начальника IV отдела РСХА (гестапо) Мюллера: «Истинный ариец. Характер — нордический, выдержанный. Общителен и ровен с друзьями и коллегами по работе. Беспощаден к врагам рейха. Отличный семьянин; связей, порочащих его, не имел. В работе проявил себя выдающимся организатором...»)

Шеф службы имперской безопасности СД Эрнст Кальтенбруннер говорил с сильным венским акцентом. Он знал, что это сердило фюрера и Гиммлера, и поэтому одно время занимался с фонетологом, чтобы научиться истинному «хохдойчу». Но из этой затеи ничего путного не вышло: он любил Вену, жил Веной и не мог заставить себя даже час в день говорить на «хохдойче» вместо своего веселого, хотя и вульгарного, венского диалекта. Поэтому в последнее время Кальтенбруннер перестал подделываться под немцев и говорил со всеми так, как ему и следовало говорить, — по-венски. С подчиненными он говорил даже на акценте Инсбрука; в горах австрийцы говорят совершенно особенно, и Кальтенбруннеру порой нравилось ставить людей своего аппарата в тупик: сотрудники боялись переспросить непонятное слово и испытывали острое чувство растерянности и замешательства.

Он посмотрел на шефа гестапо обергруппенфюрера СС Мюллера и сказал:

— Я не хочу будить в вас злобную химеру подозрительности по отношению к товарищам по партии и по совместной борьбе, но факты говорят о следующем. Первое: Штирлиц косвенно, правда, но все-таки причастен к провалу краковской операции. Он был там, но город, по странному стечению обстоятельств, остался невредим, хо-

тя он должен был взлететь на воздух. Второе: он занимался исчезнувшим ФАУ, но он не нашел его, ФАУ исчез, и я молю бога, чтобы он утонул в привисленских болотах. Третье: он и сейчас курирует круг вопросов, связанных с оружием возмездия, и хотя явных провалов нет, но и успехов, рывков, очевидных побед мы тоже не наблюдаем. А курировать — это не значит только сажать инакомыслящих. Это также означает помощь тем, кто думает точно и перспективно... Четвертое: блуждающий передатчик, работающий на стратегическую, судя по коду, разведку большевиков, которым он занимался, попрежнему работает в окрестностях Берлина. Я был бы рад, Мюллер, если бы вы сразу опровергли мои подозрения. Я симпатизирую Штирлицу, и мне хотелось бы получить у вас документальные опровержения моих внезапно появившихся подозрений.

Мюллер работал сегодня всю ночь, не выспался, в висках шумело, поэтому он ответил без обычных своих грубоватых шуток:

— У меня на него никогда сигналов не было. А от ошибок и неудач в нашем деле никто не гарантирован.

— То есть вам кажется, что я здорово ошибаюсь?

В вопросе Кальтенбруннера были жесткие нотки, и Мюллер, несмотря на усталость, понял их.

— Почему же... — ответил он. — Появившееся подозрение нужно проанализировать со всех сторон, иначе зачем держать мой аппарат? Больше у вас нет никаких фактов? — спросил Мюллер.

Кальтенбруннеру табак попал в дыхательное горло, и он долго кашлял, лицо его посинело, жилы на шее сделались громадными, взбухшими, багровыми.

— Как вам сказать, — ответил он, вытирая слезы. — Я попросил несколько дней пописать его разговоры с нашими людьми. Те, кому я беспрекословно верю, открыто говорят друг с другом о трагизме положения, о тупости наших военных, о кретинизме Риббентропа, о болване Геринге, о том страшном, что ждет нас всех, если русские ворвутся в Берлин... А Штирлиц отвечает: «Ерунда, все хорошо, дела развиваются нормально». Любовь к родине и к фюреру заключается не в том, чтобы слепо врать друзьям по работе... Я спросил себя: «А не болван ли он?» У нас ведь много тупиц, которые бездумно повторяют абракадабру Геббельса. Нет, он не болван. Почему же он тогда неискренен? Или он никому не верит, либо он чего-то боится, либо он что-то зате-

вает и хочет быть кристально чистым. А что он затевает, в таком случае? Все его операции должны иметь выход за границу, к нейтралам. И я спросил себя: «А вернется ли он оттуда? И если вернется, то не повяжется ли он там с инакомыслящими негодяями?» Я не смог себе ответить точно — ни в положительном, ни в отрицательном аспекте.

Мюллер спросил:

— Сначала вы посмóтрите его досье, или сразу взять мне?

— Возьмите сразу вы, — схитрил Кальтенбруннер, успевший изучить все материалы.

Мюллер вопросительно посмотрел на Кальтенбруннера. Он ждал, что тот расскажет какие-нибудь свежие новости из бункера, но Кальтенбруннер ничего рассказывать не стал. Он выдвинул нижний ящик стола, достал бутылку «Наполеона», придвинул рюмку Мюллеру и спросил:

— Вы сильно пили?

— Совсем не пил.

— А что глаза красные?

— Я не спал, было много работы по Праге: наши люди там повисли на хвосте у подпольных групп.

— Крюгер будет хорошим подспорьем. Он службист отличный, хотя фантазии маловато. Выпейте коньяку, это взбодрит вас.

— От коньяка я, наоборот, совею. Я люблю водку.

— От этого не осовеете, — улыбнулся Кальтенбруннер и поднял свою рюмку. — Прозит!

Он выпил залпом, и кадык у него стремительно, как у алкоголика, рванулся снизу вверх.

«Он здорово пьет, — отметил Мюллер, выцеживая свой коньяк, — сейчас наверняка нальет себе вторую рюмку».

Кальтенбруннер закурил самые дешевые, крепкие сигареты «Каро» и спросил:

— Ну, хотите повторить?

— Спасибо, — ответил Мюллер, — с удовольствием.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ (ГЕББЕЛЬС)

Штирлиц отложил бумагу с рисунком толстой фигуры Геринга и придвинул к себе листок с профилем Геббельса. За похождения в Бабельсберге, где была рас-

положена киностудия рейха и где жили актрисы, его прозвали бабельсбергским бычком. В досье на него хранилась запись беседы фрау Геббельс с Герингом, когда рейхсминистр пропаганды был увлечен чешской актрисой Лидой Бааровой. Геринг тогда сказал его жене:

— Он разобьет себе лоб из-за баб. Человек, отвечающий за нашу идеологию, сам позорит себя случайными связями с грязными славянками!

Фюрер рекомендовал фрау Геббельс развестись.

— Я поддержу вас, — сказал он, — а вашему мужу до тех пор, пока он не научится вести себя, как подобает истинному национал-социалисту — человеку высокой морали и святого соблюдения долга перед семьей, я отказываю в личных встречах...

Сейчас все ушло на задний план. В январе этого года Гитлер приехал в дом Геббельса на день рождения. Он привез фрау Геббельс букетик цветов и сказал:

— Я прошу простить меня за опоздание, но я объехал весь Берлин, пока смог достать цветы: гауляйтер Берлина партайгеноссе Геббельс закрыл все цветочные магазины — тотальной войне не нужны цветы...

Когда через сорок минут Гитлер уехал, счастливая Магда Геббельс сказала:

— К Герингам фюрер никогда бы не поехал...

Берлин лежал в развалинах, фронт проходил в ста сорока километрах от столицы тысячелетнего рейха, а Магда Геббельс торжествовала свою победу, и ее муж стоял рядом, и лицо его было бледно от счастья: после шестилетнего перерыва фюрер приехал в его дом...

Штирлиц нарисовал большой круг и стал неторопливо заштриховывать его четкими и очень ровными линиями. Он вспоминал сейчас все относящееся к дневникам Геббельса. Он знал, что дневниками Геббельса интересовался рейхсфюрер, и прилагал в свое время максимум усилий для того, чтобы как-то познакомиться с ними. Штирлицу удалось посмотреть фотокопию только нескольких страниц. Память у него была феноменальная: он зрительно фотографировал текст, запоминая его почти механически, без всяких усилий.

«...В Англии эпидемия гриппа, — записывал Геббельс. — Даже король болен. Хорошо бы, чтобы эта эпидемия стала фатальной для Англии, но это слишком замечательно, чтобы быть правдой.

2 марта 1943 года. Я не смогу отдыхать до тех пор, пока все евреи не будут убраны из Берлина. После бе-

седы со Шпеером в Оберзальцберге поехал к Герингу. У него в подвале 25 000 бутылок шампанского, у этого национал-социалиста! Он был одет в тунику, и от ее цвета у меня началась идиосинкразия. Но что делать, надо его принимать таким, каков он есть».

Штирлиц вспомнил, как Гиммлер то же самое, слово в слово, сказал о Геббельсе. Это было в сорок втором году. Геббельс жил тогда на даче, но не с семьей, в большом доме, а в маленьком скромном коттеджике, построенном «для работы». Коттедж стоял возле озера, и ограду можно было обойти по камышам — воды там было по щиколотку и пост охраны СС находился в стороне. Туда к нему приезжали актрисы: они ехали на электричке и шли пешком через лес. Геббельс считал чрезмерной роскошью, недостойной национал-социалиста, возить к себе женщин на машине. Он сам проводил их через камыши, а после, под утро, пока СС спало, выводил их. Гиммлер, конечно же, узнал об этом. Вот тогда-то он и сказал: «Придется принимать его таким, каков он есть...»

(В этом же коттедже Геббельс завизировал указ, присланный ему из канцелярии Геринга, обязывавший берлинское гестапо уничтожить в трехдневный срок шестьдесят тысяч евреев, работавших в промышленности; именно здесь он написал письмо Адольфу Розенбергу, предлагая уничтожить три миллиона поляков — вместо полутора миллионов, как было запланировано; именно здесь он подготовил план пропагандистской кампании по поводу уничтожения Ленинграда...)

«Геринг говорил мне, — продолжал Геббельс в своих дневниках, — о том, что Африка нам не нужна. «Нам надо думать о силе англо-американцев. Мы потеряем Африку так или иначе». Он направил туда своего заместителя по люфтваффе фельдмаршала Альберта Кессельринга. Снова и снова он спрашивал меня, где большевики берут резервы солдат и оружия. Недоумевал, как британская плутократия может сотрудничать с большевиками, особенно отмечая приветствие Черчилля по поводу двадцатипятилетия Красной Армии. Очень хорошо говорил об антибольшевистской пропаганде. Его впечатляли мои дальнейшие планы в этой области. Он, правда, апатичен. Надо его взбодрить. Руководство без него невозможно.

Геринг говорит: «Наши поражения на востоке эти сволочи генералы объясняют условиями русской зимы, а это ложь! Паулюс — герой?! Да он же скоро будет вы-

ступать по московскому радио! Зачем мы врем народу, что он погиб героем? Фюрер не отдыхал три года. Он ведет жизнь спартанца, сидя в бункере, он не видит воздуха. Три года войны страшнее для него, чем пятьдесят обычных лет. Но он не хочет меня слушать. Фюрера надо освободить от командования армией. Как всегда во время кризисов в партии, его ближайшие соратники должны сплотиться вокруг него и спасти!»

Геринг не тешит себя иллюзиями, что будет с нами, проиграй мы войну: один еврейский вопрос чего стоит!

— Война кончится политическим крахом, — согласился я с ним.

Тут я ему и предложил вместо «комитета трех» создать совет по делам обороны рейха во главе с человеком, помогавшим фюреру в революции. Геринг был потрясен, долго колебался, но после дал принципиальное согласие. Геринг хочет победить Гиммлера. Функ и Лей побеждены мной. Шпеер вообще мой человек. Геринг решил ехать в Берлин сразу после полета в Италию. Там он встретится с нами. Шпеер перед этим побеседует с фюрером. Я тоже. Вопрос назначений решим позже.

9 марта 1943 года. Прилетел в Винницу. Встретил Шпеера. Тот сказал, что фюрер чувствует себя хорошо, но очень зол на Геринга из-за бомбежек Германии. Я был принят фюрером и был счастлив, что провел с ним весь день. Подробно доложил ему о налетах на Берлин. Он слушал меня внимательно и очень ругал Геринга. В связи с Герингом говорил и о генералах. Сказал, что не верит ни одному из них, только поэтому командует армией.

12 марта 1943 года. Я приказал напечатать в нашей прессе английские требования репараций к германскому народу в случае нашего поражения. Это потрясет немцев. Два часа ругался с Риббентропом, который требует считать Францию суверенной страной и не распространять на нее пропаганду партии. Слава богу, Геринг стал чаще появляться на людях. Его авторитет надо укреплять.

12 апреля 1943 года. Выехал на конференцию, созванную Герингом по вопросу о кризисе руководства. Мы с Функом приехали в Фрейлассинг, и здесь у меня начался приступ. Я вызвал профессора Морелла, и он запретил мне ехать дальше. На конференции Заукель дрался против Шпеера.

20 апреля 1943 года. Демонстрация в честь 54-летия фюрера. Меня посетил Лей и рассказал о конференции

в Оберзальцберге. Ему не понравилась атмосфера. Он не верит, что Геринг может быть руководителем дел рейха, так как он скомпрометирован авиацией и бомбежками. Фюрер рад, что у меня с Герингом наладились отношения. Он считает, что когда партийные авторитеты объединены на благо родины, от этого выигрывает только он и партия. Пришел Шпеер. Считает, что Геринг устал, а Заукель болен паранойей. Ширах, как сказал фюрер, попал под влияние реакционеров из Вены и поэтому торпедирует идею тотальной войны...»

Штирлиц скомкал листки с изображениями Геринга и Геббельса, поджег их над пламенем свечи и бросил листки в камин. Поворошил чугунной кочергой, снова вернулся к столу и закурил.

«Геббельс явно провоцировал Геринга. А в дневнике писал для себя и для потомства — слишком хитро. И вылезло все наружу. Но он истерик, он это не очень-то ловко делал. Видимо, лишний раз проявлял свою любовь к фюреру. Не было ли у него беседы с Гиммлером, когда он так дипломатично заболел и не приехал в Оберзальцберг на конференцию, идею которой сам подбросил Герингу?»

Штирлиц придвинул к себе два оставшихся листка: Гиммлер и Борман.

«Геринга и Геббельса я исключаю. Геринг, видимо, на переговоры мог бы пойти, но он в опале, он никому не верит, он лишен политической силы. Геббельс? Нет. Этот не пойдет. Этот фанатичен, этот будет стоять до конца. Один из двух: Гиммлер или Борман. На кого же из них ставить? На Гиммлера? Видимо, он никогда не сможет пойти на переговоры: он знает, какой ненавистью окружено его имя... Да, на Гиммлера...»

Именно в это время Геринг, осунувшийся, бледный, с разламывающей голову болью, возвращался к себе в Каринхале из бункера фюрера. Сегодня утром он выехал на машине к фронту, к тому месту, где прорвались русские танки. Оттуда он сразу же ринулся к Гитлеру.

— На фронте нет никакой организации, — говорил он, — полный развал. Глаза солдат бессмысленны. Я видел пьяных офицеров. Наступление большевиков вселяет в армии ужас, животный ужас... Я считаю...

Гитлер слушал его полузакрыв глаза, придерживая правой рукой локоть левой, которая все время тряслась.

— Я считаю... — повторил Геринг.

Но Гитлер не дал ему продолжать. Он тяжело поднялся, покрасневшие глаза его широко раскрылись, усы дернулись в презрении.

— Я запрещаю вам впредь выезжать на фронт! — сказал он своим прежним, сильным голосом. — Я запрещаю вам распространять панику!

— Это не паника, а правда, — впервые в своей жизни возразил фюреру Геринг и сразу же почувствовал, как у него захолодели пальцы ног и рук. — Это правда, мой фюрер, и мой долг сказать вам эту правду!

— Замолчите! Занимайтесь лучше авиацией, Геринг. И не лезьте туда, где нужно иметь спокойную голову, провидение и силу. Это, как выяснилось, не для вас. Я запрещаю вам выезжать на фронт — отныне и навсегда.

Геринг был раздавлен и уничтожен, он чувствовал спиной, как вслед ему улыбались эти ничтожества — адъютанты фюрера.

В Каринхале его уже ждали штабисты люфтваффе: он приказал собрать своих людей, выходя из бункера. Но совещание начать не удалось: адъютант доложил, что прибыл рейхсфюрер СС Гиммлер.

— Он просил разговора наедине, — сказал адъютант с той долей многозначительности, которая делает его работу столь загадочной для окружающих.

Геринг принял рейхсфюрера у себя в библиотеке. Гиммлер был, как всегда, улыбчив и спокоен. Он сел в кресло, снял очки, долго протирал стекла замшей, а потом без всякого перехода сказал:

— Фюрер больше не может быть вождем нации.

— А что же делать? — машинально спросил Геринг, не успев даже толком испугаться слов, произнесенных лидером СС.

— Вообще-то в бункере войска СС, — так же спокойно, ровным своим голосом продолжал Гиммлер, — но не в этом в конечном счете дело. У фюрера парализована воля. Он не может принимать решений. Мы обязаны обратиться к народу.

Геринг посмотрел на толстую черную папку, лежавшую на коленях Гиммлера. Он вспомнил, как в сорок четвертом его жена, разговаривая по телефону с подругой, сказала: «Лучше приезжай к нам, говорить по телефону рискованно, нас подслушивают». Геринг вспомнил, как он тогда постучал пальцами по столу и сделал жене знак: «Не говори так, это безумие». И сейчас он

смотрел на черную папку и думал, что там может быть диктофон и что этот разговор через два часа будет проигран фюреру. И тогда — конец.

«Он может говорить все, что угодно, — думал Геринг о Гиммлере, — отец провокаторов не может быть честным человеком. Он уже знает про мой сегодняшний позор у фюрера. Он пришел довести до конца свою партию».

Гиммлер, в свою очередь, понимал, что думает «наци № 2». Поэтому он, вздохнув, решил помочь ему.

— Вы — преемник, следовательно, вы — президент. Таким образом, я — рейхсканцлер.

Он понимал, что нация не пойдет за ним как за вождем СС. Нужна фигура прикрытия.

Геринг ответил — тоже автоматически:

— Это невозможно... — Он помедлил мгновение и добавил, очень тихо, рассчитывая, что шепот не будет записан диктофоном, если он спрятан в черной папке: — Это невозможно. Один человек должен быть и президентом и канцлером.

Гиммлер чуть улыбнулся, посидел несколько мгновений молча, а потом пружинисто поднялся, обменялся с Герингом партийным приветствием и неслышно вышел из библиотеки...

15.2.1945 (23 часа 54 минуты)

Штирлиц спустился из кабинета в гараж. По-прежнему бомбили, но теперь где-то в районе Цоссена — так ему, во всяком случае, казалось. Штирлиц открыл ворота, сел за руль и включил зажигание. Усиленный мотор его «хорька» заурчал ровно и мощно.

«Поехали, машинка», — подумал он по-русски и включил радио. Передавали легкую музыку. Во время налетов обычно передавали веселые песенки. Это вошло в обычай: когда здорово били на фронте или сильно долбали с воздуха, радио передавало веселые, смешные программы. «Ну, едем, машинка. Быстро поедем, чтобы не попасть под бомбу. Бомбы чаще всего попадают в неподвижные цели. Поедем со скоростью семьдесят километров: значит, вероятность попадания уменьшится именно в семьдесят раз...»

Его радисты — Эрвин и Кэт — жили в Кепенике, на берегу Шпрее. Они уже спали, и Эрвин и Кэт. Они в последнее время ложились спать очень рано, потому что Кэт ждала ребенка.

— Ты славно выглядишь, — сказал Штирлиц, — ты относишься к тем редким женщинам, которых беременность делает неотразимыми.

— Беременность делает красивой любую женщину, — ответила Кэт, — просто ты не имел возможности это замечать...

— Не имел возможности, — усмехнулся Штирлиц, — это ты верно сказала.

— Тебе кофе с молоком? — спросила Кэт.

— Откуда молоко? Я забыл привезти вам молока... Черт...

— Я выменял на костюм, — ответил Эрвин. — Ей надо обязательно хоть немного молока.

Штирлиц погладил Кэт по щеке и спросил:

— Ты поиграешь нам что-нибудь?

Кэт села к роялю и, перебрав ноты, открыла Баха. Штирлиц отошел к окну и тихо спросил Эрвина:

— Ты проверял, они тебе не всадили какую-нибудь штуку в отдушину?

— Я проверял, ничего нет. А что? Твои братья в СД уже изобрели новую гадость?

— А черт их знает.

— Ну? — спросил Эрвин. — Что?

Штирлиц хмыкнул и покачал головой.

— Понимаешь, — медленно заговорил он, — я получил задание... — он снова хмыкнул. — Мне следует наблюдать за тем, кто из высших бонз собирается выйти на сепаратные переговоры с Западом. Они имеют в виду гитлеровское руководство, не ниже. Как тебе задача, а? Веселая? Там, видимо, считают, что, если я не провалился за эти двадцать лет, значит, я всесилен. Неплохо бы мне стать заместителем Гитлера. Или вообще пробиться в фюреры, а? Я становлюсь брюзгой.

— Тебе это идет, — ответил Эрвин.

— Как ты думаешь рожать, девочка? — спросил Штирлиц, когда Кэт перестала играть.

— По-моему, нового способа еще не изобрели, — улыбнулась женщина.

— Я говорил позавчера с одним врачом-акушером... Я не хочу вас пугать, ребята... — Он подошел поближе к Кэт и попросил: — Играй, малыш, играй. Я не хочу вас пугать, хотя сам здорово испугался. Этот старый доктор сказал мне, что во время родов он может определить происхождение любой женщины.

— Я не понимаю, — сказал Эрвин.

Кэт оборвала музыку.

— Не пугайся. Сначала выслушай, а после станем думать, как вылезать из каши. Понимаешь, женщины-то кричат во время родов.

— Спасибо, — ответила Кэт, — а я думала, они поют песенки.

Штирлиц покачал головой, вздохнул:

— Понимаешь, они кричат на родном языке. На диалекте той местности, где родились. Значит, тебе предстоит кричать «мамочка» по-рязански...

Кэт продолжала играть, но Штирлиц увидел, как глаза ее — вдруг сразу — набухли слезами.

— Что станем делать? — спросил Эрвин.

— А если отправить вас в Швецию? Я, пожалуй, смогу это устроить.

— И останешься без последней связи? — спросила Кэт.

— Здесь буду я, — сказал Эрвин.

Штирлиц отрицательно покачал головой:

— Одну тебя не выпустят. Только если вместе с ним: он, как инвалид войны, нуждается в лечении в санатории, есть приглашение от немецких родственников из Стокгольма... Одну тебя не пустят. Ведь его дядя у нас числится шведским нацистом, а не твой...

— Мы останемся здесь, — сказала Кэт, — ничего. Я стану кричать по-немецки.

— Можешь добавлять немного русской брани, но обязательно с берлинским акцентом, — пошутил Штирлиц. — Решим это завтра: подумаем не спеша и без героических эмоций. Поехали, Эрвин, надо выходить на связь. В зависимости от того, что мне завтра ответят, мы и примем решение.

Через пять минут они вышли из дома. Эрвин в руке держал чемодан, в чемодане была рация. Они отъехали километров пятнадцать, к Рансдорфу, и там, в лесу, Штирлиц выключил мотор. По-прежнему продолжалась бомбежка. Эрвин посмотрел на часы и сказал:

— Начали?

— Начали.

Алексу. По-прежнему убежден, что ни один из серьезных политиков Запада не пойдет на переговоры с СС. Однако, поскольку задание получено, приступаю к его реализации.

Считаю, что оно может быть выполнено, если я сообщу часть полученных от вас данных Гиммлеру. Опираясь на его поддержку, я смогу выйти в дальнейшем на прямое наблюдение за теми, кто, по-вашему, нащупывает каналы возможных переговоров. Мой «донос» Гиммлеру — частности я организую здесь, на месте, без консультаций с вами — поможет мне информировать вас обо всех новостях, как в плане подтверждения вашей гипотезы, так и в плане опровержения ее. Иного пути в настоящее время не вижу. В случае одобрения прошу передать «добро» по каналу Эрвина.

Юстас.

Это донесение произвело в Москве впечатление разорвавшейся бомбы.

— Он на грани провала, — сказал руководитель Центра. — Если он пойдет напрямую к Гиммлеру, провалится сразу же, ничто его не спасет. Даже если предположить, что Гиммлер решит поиграть им... Хотя вряд ли, не та он фигура для игр рейхсфюрера СС. Передайте ему завтра утром категорический запрет.

То, что знал Центр, Штирлиц знать не мог, потому что сведения, подобранные Центром за несколько последних месяцев, давали совершенно неожиданное представление о Гиммлере.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ (ГИММЛЕР)

Он проснулся сразу — словно ощутив толчок в плечо. Он сел на кровати и быстро огляделся. Было очень тихо. Светящиеся стрелки маленького будильника показывали пять часов.

«Рано, — подумал Гиммлер, — надо еще поспать хоть часок».

Он зевнул и повернулся к стене. В открытую форточку доносился шум леса. С вечера шел снег, и Гиммлер представил себе, какая сейчас красота в этом тихом, пустом, зимнем лесу. Он вдруг подумал: ему было бы страшно одному уйти в лес — так страшно, как в детстве.

Гиммлер поднялся с кровати, накинул халат и пошел к столу. Не зажигая света, сел на краешек деревянного кресла и опустил руку на трубку черного телефона.

«Надо позвонить дочери, — подумал он. — Девочка обрадуется. У нее так мало радостей».

Под стеклом большого письменного стола лежало большое фото: двое мальчишек улыбались озорно и беззаботно.

Гиммлер неожиданно ясно увидел Бормана и подумал, что этот негодяй виноват в том, что он не может сейчас позвонить дочери и сказать: «Здравствуй, крыска, это папа. Какие сны ты видела сейчас, солнце мое?» Он не может позвонить и мальчикам из-за того, что они родились не от законного брака. Гиммлер помнил, как Борман молчал, когда в сорок третьем году он попросил в долг из партийной кассы восемьдесят тысяч марок, чтобы построить Марте, матери двух своих мальчиков, небольшую виллу в Баварии, подальше от бомбежек. Он помнил, как фюрер, узнав об этом от Бормана, несколько раз недоуменно разглядывал его во время обедов в ставке. Он из-за этого не смог развестись с женой, хотя не жил в семье уже несколько лет.

«Борман здесь ни при чем, — продолжал думать Гиммлер, — я не прав. В этом моем горе толстая скотина ни при чем. Я бы пошел на все унижения, связанные с разводом. Я бы пошел на развод, хотя устав СС относится отрицательно к разрушению семьи. Но я никогда не смог бы травмировать девочку».

Гиммлер улыбнулся, вспомнив самое начало, когда было голодно и когда он жил с женой в маленькой, темной и холодной комнате в Нюрнберге. Всего восемнадцать лет тому назад. Он тогда был секретарем у Грегора Штрассера, «брата» фюрера. Он мотался по Германии, спал на вокзалах, питался хлебом и бурдой, именовавшейся кофе, налаживая связи между партийными организациями. Тогда, в 1927 году, он еще не понимал, что идея Штрассера — создать охранные отряды СС — была рождена начинавшейся борьбой против Рэма, вождя СА. Гиммлер тогда верил, что создание СС необходимо для охраны вождей партии от красных. Он тогда всерьез верил, что главная задача красных — уничтожить великого вождя, единственного друга трудящихся немцев Адольфа Гитлера. Он повесил над своим столом огромный портрет Гитлера. Когда однажды Гитлер заехал к Штрассеру и увидел под своим громадным портретом худенького молодого человека, он сказал:

— Стоит ли одного из лидеров партии так высоко поднимать над остальными национал-социалистами?

Гиммлер ответил:

— Я состою в рядах партии, у которой не лидер, а вождь!

Гитлер запомнил это.

Предлагая фюреру назначить Гиммлера рейхсфюрером вновь организовавшихся отрядов СС, Штрассер рассчитывал, что СС будут служить в первую голову ему, Штрассеру, в его борьбе против Рэма — за влияние на партию и на фюрера. Двести первых эсэсовцев объединились под его началом, всего двести. Но без СС не было бы победы фюрера в 1933 году — Гиммлер отдавал себе в этом отчет. Однако после победы фюрер назначил его всего лишь главой криминальной полиции Мюнхена. К Гиммлеру приехал Грегор Штрассер, человек, принимавший его в партию, выдвинувший идею создания отрядов СС, теоретик и идеолог партии. К тому времени Штрассер находился в оппозиции к фюреру, прямо заявляя ветеранам партии, что Гитлер продался денежным тузам тяжелой индустрии, этим кровавым капиталистам Круппу и Тиссену. «Народ пошел за нами только потому, что мы объявили священную войну денежным тузам — и еврейского, и немецкого происхождения. Гитлер вошел с ними в контакт. Он плохо кончит, Генрих, — говорил тогда Штрассер, — СС могут стать еще большей силой, и в вашей власти вернуть движение к его честному и благородному началу».

Но Гиммлер тогда оборвал Штрассера, сказав ему, что верность фюреру — долг каждого члена НСДАП.

— Вы можете вынести свои сомнения на съезд, но вы не имеете права использовать ваш авторитет в оппозиционной борьбе — это наносит ущерб священному единству партии.

Гиммлер тщательно наблюдал за тем, что происходит в центре. Он видел, что упоение победой отодвинуло — в определенной мере — практическую работу на задний план, что вожди партии в Берлине выступают на митингах, проводят ночи на дипломатических приемах, словом, пожинают сладкие плоды национальной победы. Гиммлер считал, что это все преждевременно. И он за какой-то месяц организовал в Дахау первый показательный концентрационный лагерь.

— Это хорошая школа трудового воспитания истинной германской гражданственности у тех восьми миллионов, которые голосовали за коммунистов, — говорил Гиммлер. — Нелепо сажать все эти восемь миллионов

в концлагеря. Надо сначала создать атмосферу террора в одном лагере и постепенно выпускать оттуда сломавшихся. Эти отпущенники будут лучшими агитаторами практики национал-социализма. Они смогут внушить и друзьям, и детям религиозное послушание нашему режиму.

Личный представитель Геринга много часов провел в Дахау, а после спросил Гиммлера:

— Не кажется ли вам, что концлагерь вызовет резкое осуждение в Европе и Америке — хотя бы в силу того, что эта мера антиконституционна?

— Почему вы считаете арест врагов режима неконституционным?

— Потому что большинство людей, арестованных вами, не были даже в здании суда. Никакого обвинительного заключения, никакого намека на законность...

Гиммлер обещал подумать над этим вопросом. Представитель Геринга уехал, а Гиммлер написал личное письмо Гитлеру, в котором он обосновал необходимость арестов и заключения в концлагеря без суда и следствия.

«Это, — писал он фюреру, — всего лишь гуманное средство спасти врагов национал-социализма от народного гнева. Не посади мы врагов нации в концлагеря, мы не могли бы отвечать за их жизнь: народ устроил бы самосуд над ними».

В тот же день Гиммлер собрал грандиозный митинг и сказал все это там, слово в слово, и назавтра его речь была напечатана во всех газетах.

А когда в конце 1933 года в берлинской полиции, подчиненной непосредственно Герингу, разразился скандал со взяточниками, Гиммлер ночью выехал из Мюнхена и утром получил аудиенцию у фюрера. Он просил отдать «продажную, старорежимную полицию» под контроль «лучших сыновей народа» — СС.

Гитлер не хотел обижать Геринга. Он просто крепко пожал Гиммлеру руку и, проводив его до дверей кабинета, близко, изучающе заглянул в глаза и вдруг, весело улыбнувшись, заметил:

— В будущем все-таки присылайте ваши умные предложения на день пораньше: я имею в виду вашу записку мне и идентичное выступление на митинге в Мюнхене.

Гиммлер уехал расстроенным. Но спустя месяц без вызова в Берлин он был назначен шефом политической полиции Мекленбурга и Любека; еще через месяц, 20

декабря, шефом политической полиции Бадена, 21 декабря — Гессена, 24 декабря — Бремена, 25-го — Саксонии и Тюрингии, 27-го — Гамбурга. За одну неделю он стал шефом полиции Германии, исключая Пруссию, по-прежнему подчиняющуюся Герингу.

Гитлер однажды предложил Герингу компромисс: назначить Гиммлера шефом секретной полиции всего рейха, но с подчинением его Герингу. Рейхсмаршал принял это компромиссное предложение фюрера. Он дал указание своему секретариату провести через канцелярию фюрера решение о присвоении Гиммлеру титула заместителя министра внутренних дел и шефа секретной полиции с правом участия в заседаниях кабинета, когда обсуждались вопросы полиции. Фразу «и безопасности рейха» он вычеркнул собственноручно. Это было бы слишком много для Гиммлера.

Как только Гиммлер увидал это напечатанным в газетах, он попросил сотрудников, ведавших прессой, прокомментировать свое назначение иным образом. Геринг допустил главную ошибку, пойдя на компромисс: он забыл, что никто еще не отменил главный титул Гиммлера — рейхсфюрер СС. И вот назавтра все центральные газеты вышли с комментарием: «Важная победа национал-социалистской юриспруденции — объединение в руках рейхсфюрера СС Гиммлера криминальной, политической полиции, гестапо и жандармерии. Это предупреждение всем врагам рейха: карающая рука национал-социализма занесена над каждым оппозиционером, над каждым противником — внутренним и внешним».

Он перебрался в Берлин, на шикарную виллу «Ам Донненстаг», рядом с Риббентропом. И пока продолжалось ликование по случаю победы над коммунистами, Гиммлер вместе со своим помощником Гейдрихом начал собирать досье. Досье на своего бывшего шефа Грегора Штрассера Гиммлер вел лично. Он понял, что победить в полной мере он сможет, только пролив кровь Штрассера — своего учителя и первого наставника. Поэтому он с особой тщательностью собирал по крупицам все, что могло подвести Штрассера под расстрел.

В июне 1934 года Гитлер вызвал Гиммлера для беседы по поводу предстоящих антирэмовских акций. Гиммлер ждал этого. Он понимал, что акция против Рэма только повод к уничтожению всех тех, с кем начинал Гитлер. Для тех, с кем он начинал, Адольф Гитлер был человеком, братом по партии, теперь же Адольф Гит-

лер должен стать для немцев вождем и богом. Ветераны партии стали для него обузой.

Гиммлер ясно понимал это, слушая, как Гитлер метал громы и молнии по адресу той «абсолютно незначительной части ветеранов», которые попали под влияние вражеской агитации. Гитлер не мог говорить всю правду никому, даже ближайшим друзьям. Гиммлер понимал и это, он помог фюреру: положил на стол досье на четыре тысячи ветеранов, практически на всех тех, с кем Гитлер начинал строить национал-социалистскую партию. Он психологически точно рассчитал, что Гитлер не забудет этой услуги: ничто так не ценится, как помощь в самооправдании злодейства.

Но Гиммлер пошел еще дальше: поняв замысел фюрера, он решил стать в такой мере ему необходимым, чтобы будущие акции подобного рода проходили только по его инициативе.

Поэтому по дороге на дачу Геринга Гиммлер разыграл спектакль: подставной агент в форме рэмовского СА выстрелил в открытую машину фюрера, и Гиммлер, закрыв вождя своим телом, закричал — первым в партии:

— Мой фюрер, как я счастлив, что могу отдать свою кровь за вашу жизнь!

До этого никто не говорил «мой фюрер». Гиммлер стал автором обращения к «богу», к «немецкому богу».

— Вы с этой минуты мой кровный брат, Генрих, — сказал Гитлер, и эти его слова услышали люди, стоявшие вокруг.

А после того как Гиммлер провел операцию по уничтожению Рэма, после того как был расстрелян его учитель Штрассер и еще четыре тысячи ветеранов партии, борзописцы немедленно сочинили миф о том, что именно Гиммлер стоял рядом с фюрером с самого начала движения.

Впоследствии, дружески пожимая руки Герингу, Гессу и Геббельсу на «тафельрунде» у фюрера, куда допускались только самые близкие, Гиммлер ни на минуту не прекращал собирать досье на «своих боевых друзей».

16.2.1945 (03 часа 12 минут)

Подбросив Эрвина домой, Штирлиц ехал очень медленно, потому что он уставал после каждого сеанса связи с Центром.

Дорога шла через лес. Ветер стих. Небо было чистое.

«Хотя, — продолжал рассуждать Штирлиц, — Москва права, допуская возможность переговоров. Даже если у них нет никаких конкретных данных — такой допуск возможен, поскольку он логичен. В Москве знают о той грызне, которая идет тут вокруг фюрера. Раньше эта грызня была целенаправлена: стать ближе к фюреру. Теперь возможен обратный процесс. Все они: и Геринг, и Борман, и Гиммлер, и Риббентроп — заинтересованы в том, чтобы сохранить рейх. Сепаратный мир для каждого из них — если кто-либо из них сможет его добиться — будет означать личное спасение. Каждый из них думает о себе, но никак не о судьбах Германии и немцев. В данном случае пятьдесят миллионов немцев — лишь карты в их игре за себя. Пока они держат в своих руках армию, полицию, СС, они могут повернуть рейх куда угодно, лишь бы получить гарантии личной неприкосновенности...»

Острый луч света резанул по глазам Штирлица. Он зажмурился и автоматически нажал на педаль тормоза. Из кустов выехали два мотоцикла СС. Они стали поперек дороги, и один из мотоциклистов направил на машину Штирлица автомат.

— Документы, — сказал мотоциклист.

Штирлиц протянул ему удостоверение и спросил:

— А в чем дело?

Мотоциклист посмотрел его удостоверение и, козырнув, ответил:

— Нас подняли по тревоге. Ищем радистов.

— Ну и как? — спросил Штирлиц, пряча удостоверение в карман. — Пока ничего?

— Ваша машина — первая.

— Хотите заглянуть в багажник? — улыбнулся Штирлиц.

Мотоциклисты засмеялись:

— Впереди две воронки, осторожнее, штандартенфюрер.

— Спасибо, — ответил Штирлиц. — Я всегда осторожен...

«Это после Эрвина, — понял он, — они перекрывают дороги на восток и на юг. В общем, довольно наивно, хотя в принципе правильно, если иметь дело с дилетантом, не знающим Германии».

Он объехал воронки — они были свежие: в ветровик пахнуло тонким запахом гари.

«Вернемся к нашим баранам, — продолжал думать Штирлиц. — Впрочем, не такие уж они бараны, как их рисуют Кукрыниксы и Ефимов. Значит, отмычка, которую я для себя утверждаю: личная заинтересованность в мире для Риббентропа, Геринга или Бормана. После того как я отработаю высшие сферы рейха, следует самым внимательным образом присмотреться к Шпееру: человек, ведающий промышленностью Германии, не просто талантливый инженер; наверняка он серьезный политик, а этой фигурой, которая может выйти к лидерам делового мира Запада, я еще толком-то и не занимался».

Штирлиц остановил машину возле озера. Он не видел в темноте озера, но знал, что оно начинается за этими соснами. Он любил приезжать сюда летом, когда густой смоляной воздух был расчерчен желтыми стволами деревьев и белыми солнечными лучами, пробившимися сквозь игольчатые могучие кроны. Он тогда уходил в чащу, ложился в высокую траву и лежал недвижно — часами. Поначалу ему казалось, что его тянет сюда оттого, что здесь тихо и безлюдно, и нет рядом шумных пляжей, и высокие желто-голубые сосны, и белый песок вокруг черного озера. Но потом Штирлиц нашел еще несколько таких же тихих, безлюдных мест вокруг Берлина — и дубовые перелески возле Науэна, и громадные леса возле Заксенхаузена, казавшиеся синими, особенно весной, в пору таяния снега, когда обнажалась бурая земля. Потом Штирлиц понял, что́ его тянуло именно к этому маленькому озеру: одно лето он прожил на Волге, возле Гороховца, где были точно такие же желто-голубые сосны, и белый песок, и черные озерца в чащобе, прораставшие к середине лета зеленью. Это желание приехать к озерцу было в нем каким-то автоматическим, и порой Штирлиц боялся своего постоянного желания, ибо — чем дальше, тем больше — он уезжал отсюда расслабленным, размягченным, и его тянуло выпить... Когда в двадцать втором году он ушел по заданию Дзержинского из Владивостока с остатками белой армии и поначалу работал в Китае, ему не было так трудно, потому что в Шанхае ничто не напоминало ему дом: природа там изящней, миниатюрней, она аккуратна и чересчур красива. Когда же он получил задание Центра переключиться на борьбу с нацистами, когда ему пришлось отправиться в Австралию, чтобы там в германском консульстве в Сиднее заявить о себе, о фон Штирлице, обворованном в Шанхае, он впервые испытал приступ но-

стальгии — в поездке на попутной машине из Сиднея в Канберру. Он ехал через громадные леса, и ему казалось, что он перенесся куда-то на Тамбовщину, но когда машина остановилась на семьдесят восьмой миле, возле бара, и он пошел побродить, пока его спутники ожидали сандвичей и кофе, он понял, что рощи эти совсем не те, что в России, — они эвкалиптовые, с пряным, особым, очень приятным, но совсем не родным запахом. Получив новый паспорт и проработав год в Сиднее в отеле у хозяина-немца, который деньгами поддерживал нацистов, Штирлиц переехал по его просьбе в Нью-Йорк, там устроился на работу в германское консульство, вступил в члены НСДАП, там выполнил первые поручения секретной службы рейха. В Португалию его перевели уже официально — как офицера СД. Он там работал в торговой миссии до тех пор, пока не вспыхнул мятеж Франко в Испании. Тогда он появился в Бургосе в форме СД — впервые в жизни. И с тех пор жил бóльшую часть времени в Берлине, выезжая в краткосрочные командировки: то в Загреб, то в Токио (там перед войной он в последний раз видел Зорге), то в Берн. И единственное место, куда его тянуло, где бы он ни путешествовал, было это маленькое озерцо в сосновом лесу. Это место в Германии было его Россией, здесь он чувствовал себя дома, здесь он мог лежать на траве часами и смотреть на облака. Привыкший анализировать и события, и людей, и мельчайшие душевные повороты в себе самом, он вывел, что тяга именно в этот сосновый лес изначально логична и в этой тяге нет ничего мистического, необъяснимого. Он понял это, когда однажды уехал сюда на целый день, взяв приготовленный экономкой завтрак: несколько бутербродов с колбасой и сыром, флягу с молоком и термос с кофе. Он в тот день взял спиннинг — была пора щучьего жора — и две удочки. Штирлиц купил полкруга черного хлеба, чтобы прикормить карпа, — в таких озерцах было много карпов, он знал это. Штирлиц раскрошил немного черного хлеба возле камышей, потом вернулся в лес, разложил на пледе свой завтрак — аккуратный, в целлофановых мешочках, похожий на бутафорию в витрине магазина. И вдруг, когда он налил в раздвижной синий стакан молока, ему стало скучно от этих витринных бутербродов, и он стал ломать черный хлеб и есть его большими кусками и запивать молоком, и ему стало сладостно-горько, но в то же время весело и беспокойно. Он вспомнил такую же траву, и такой же синий лес, и руки

няни — он помнил только ее пальцы, длинные и ласковые, и такой же черный хлеб, и молоко в глиняной кружке, и осу, которая ужалила его в шею, и белый песок, и воду, к которой он с ревом кинулся, и смех няни, и тонкий писк мошки в предзакатном белом небе...

Именно сюда он приезжал в страшные тридцатые, когда Дома начался ужас, когда немецкими шпионами Сталин объявлял его, Штирлица, учителей, тех, кто ввел его в революцию; и — самое страшное — они, учителя его, соглашались с этими обвинениями, хотя Штирлиц знал, как, впрочем, и все РСХА, что ни один из «паршивых большевистских евреев» не мог быть — по «закону о крови» — сотрудником Гитлера.

Он понимал, что в стране происходит нечто страшное, неподвластное логике — так вульгарно были состряпаны московские процессы, и, самое ужасное, судя по сводкам, приходившим в СД, народ России истово приветствовал убийства тех, кто окружал Ленина еще задолго до Октября.

Он отметил для себя и то, что Гитлер запросил в СД все данные на Сталина, которые можно было собрать в берлинских архивах: в начале девятисотых русский лидер жил в германской столице — после известной экспроприации в Тифлисе, участником которой он был.

Три объемистые папки о Сталине были отправлены непосредственно Гитлеру, минуя канцелярии Гесса и Гиммлера; никто этих документов больше не видел, но — что более всего насторожило Штирлица — именно после этого начался активный диалог между личным представителем фюрера при министерстве иностранных дел рейха с молодым блестяще эрудированным грузином, сидевшим в торгпредстве Союза.

Именно здесь он провел весь день, когда Сталин подписал договор о дружбе с Гитлером, — смятый, раздавленный, лишенный силы думать, ибо некая врожденная константа запрета на однозначный ответ опускалась на него гранитной, холодной плитой...

«Зачем я остановился? — подумал Штирлиц, медленно прохаживаясь по темному шоссе. — А, я хотел отдохнуть... Вот я и отдохнул. Не забыть бы завтра, когда поеду к Эрвину за ответом от Алекса, взять консервированное молоко. Наверняка я забуду. Надо сегодня же положить молоко в машину, и обязательно на переднее сиденье».

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ (ГИММЛЕР)

Гиммлер поднялся с кресла, отошел к окну: зимний лес был поразительно красив — снежные лапы искрились под лунным светом, тишина лежала над миром.

Гиммлер вдруг вспомнил, как он начал операцию против самого близкого фюреру человека — против Гесса. Правда, какую-то минуту Гиммлер тогда был на волоске от гибели: Гитлер был человек парадоксальных решений. Гиммлер получил от своих людей кинопленку, на которой был заснят Гесс в туалете — он занимался онанизмом. Гиммлер немедленно поехал с этой пленкой к Гитлеру и прокрутил ее на экране. Фюрер рассвирепел. Была ночь, но он приказал вызвать к себе Геринга и Геббельса, а Гесса пригласить в приемную. Геринг приехал первым — очень бледный. Гиммлер знал, почему так испуган рейхсмаршал: у него проходил бурный роман с венской балеринкой. Гитлер попросил своих друзей посмотреть «эту гнусность Гесса». Геринг хохотал. Гитлер накричал на него:

— Нельзя же быть бессердечным человеком!

Он пригласил Гесса в кабинет, подбежал к нему и закричал:

— Ты грязный, вонючий негодяй! Ты грешишь ононом!

И Гиммлер, и Геринг, и Геббельс понимали, что они присутствуют при крушении второго человека партии.

— Да, — ответил Гесс неожиданно для всех очень спокойно. — Да, мой фюрер! Я не стану скрывать этого! Почему я делаю это? Почему я не сплю с актрисами? — Он не взглянул на Геббельса, но тот вжался в кресло (назревал скандал с его любовницей — чешской актрисой Бааровой). — Почему я не езжу на ночь в Вену, на представления балета? Потому что я живу только одним: партией! А партия и ты, Адольф, для меня одно и то же! У меня нет времени на личную жизнь! Я живу один!

Гитлер обмяк, подошел к Гессу, неловко обнял его, потрепал по затылку. Гесс выиграл бой. Гиммлер затаился: он знал, что Гесс умеет мстить. Когда Гесс ушел, Гитлер сказал:

— Гиммлер, подберите ему жену. Я понимаю этого прелестного и верного движению человека. Покажите мне фотографии кандидаток: он примет мою рекомендацию.

Гиммлер понял: сейчас все может решить мгновение. Дождавшись, когда Геринг и Геббельс разъехались по домам, Гиммлер сказал:

— Мой фюрер, вы спасли национал-социализму его верного борца. Мы все ценим подвижничество Гесса. Никто не смог бы так мудро решить его судьбу. Поэтому позвольте мне сейчас, не медля, привезти вам еще некоторые материалы! Вашим солдатам надо помочь так же, как вы помогли Гессу.

И он привез Гитлеру досье на вождя трудового фронта Лея. Тот был алкоголиком, его пьяные скандалы не были секретом ни для кого, кроме Гитлера. Гиммлер выложил досье на «бабельсбергского бычка» — Геббельса; его шальные связи с женщинами отнюдь не чистых кровей шокировали истинных национал-социалистов. Лег на стол Гитлеру в ту ночь и компрометирующий материал на Бормана — подозрение в гомосексуализме.

— Нет, нет, — заступился Гитлер за Бормана, — у него много детей. Это сплетня.

Гиммлер не стал разубеждать Гитлера, но он заметил, с каким обостренным любопытством фюрер листал материалы, как он по нескольку раз прочитывал донесения агентов, и Гиммлер понял, что он выиграл фюрера — окончательно.

Десятилетний юбилей Гиммлера как вождя СС Гитлер приказал отметить по всей Германии. С этого дня все гауляйтеры — партийные вожди провинций — поняли, что Гиммлер — единственный человек после Гитлера, обладающий полнотой власти. Все местные организации партии начали посылать основную информацию в два адреса: и в штаб партии, к Гессу, и в канцелярию Гиммлера. Материалы, поступавшие Гиммлеру от особо доверенной группы агентов, не проходили через отделы, а сразу оседали в его личных бронированных архивах: это были компрометирующие данные на вождей партии. А в 1942 году Гиммлер положил в свой сейф первые компрометирующие документы на фюрера.

В сорок третьем году, после Сталинграда, он решился показать эти документы одному из своих ближайших друзей — доктору Керстену, лучшему врачу и массажисту рейха. Он тогда запер дверь и достал из сейфа копию истории болезни фюрера. Керстен от неожиданности опустился на диван — из врачебного дела можно было сделать вывод: фюрер перенес сифилис.

— У него прогрессивный паралич в первой стадии... Он уже ненормален психически...

— Может быть, вы согласитесь лечить его? — спросил Гиммлер.

— Фюрер слишком опасно болен, чтобы менять врачей. Кто захочет его гибели — тот сменит его врачей...

Вот именно тогда Гиммлер дал молчаливое согласие начальнику своей политической разведки бригадефюреру СС Вальтеру Шелленбергу прощупать западных союзников — в какой мере они готовы заключить почетный мир с Германией. Он следил за тем, как патриоты из генеральской оппозиции вели свою игру с Алленом Даллесом, представителем американской разведки в Берне. Он особенно долго сидел над сообщением: «Представители ОСС[1] с охотой склонялись к переговорам и к миру с рейхом из-за страха перед большевизмом, но имели опасения в отношении неустойчивого гения фюрера, которого они считали не заслуживающим доверия партнером по переговорам. Они ищут маленькую группу интеллигентных, трезвых и достойных доверия лиц, таких, как рейхсфюрер СС...»

«Я был жалким трусом, — продолжал думать Гиммлер, по-прежнему прислушиваясь к тишине соснового леса. — 20 июля 1944 года, через пять часов после покушения на Гитлера, я мог бы стать фюрером Германии. У меня была возможность взять все в свои руки в Берлине, пока царили паника и хаос. У меня была возможность не бросать Гердлера в тюрьму, а послать его в Берн к Даллесу с предложением мира. Фюрера, Геббельса и Бормана расстрелять — как тогда, в тридцать четвертом, Штрассера. Пусть бы они тоже метались по комнате, и падали на пол, и молили о пощаде... Хотя нет... Гитлер бы никогда не молил. Впрочем, и Геббельс тоже. Молил бы о пощаде Борман. Он очень любит жизнь и в высшей мере трезво смотрит на мир... А я проявил малодушие, я вспоминал свои лучшие дни, проведенные возле фюрера, я оказался тряпкой... Во мне победили сантименты...»

Гиммлер тогда постарался выжать максимум выгод для себя лично из этого июльского проигрыша. Подавил путч в Берлине Геббельс, но Гиммлер вырвал у него победу. Он знал, на что бить. Фанатик Геббельс мог отдать свою победу, лишь оглушенный партийной фразеологией, им же рожденной, а потому с такой обостренной чувствительностью им же и воспринимаемой. Он объяснил Геббельсу необходимость немедленного возвеличения роли СС и гестапо в подавлении мятежа. «Мы должны объяснить народу, — говорил он Геббельсу, — что ни одно

[1] Американская разведка.

другое государство не могло бы столь решительно обезвредить банду наемных убийц, кроме нашего, имеющего героев СС».

В печати и по радио началась кампания, посвященная «подвигу СС». Фюрер тогда был особенно добр к Гиммлеру. И какое-то время Гиммлеру казалось, что генеральный проигрыш оборачивается выигрышем: особенно в день 9 ноября, когда фюрер, впервые в истории рейха, поручил ему, именно ему, рейхсфюреру СС, произнести вместо себя праздничную речь в Мюнхене.

Он и сейчас помнил — обостренно, жутковато — то сладостное ощущение, когда он поднялся на трибуну фюрера, а рядом с ним, но — ниже, там, где при фюрере всегда стоял он, толпились Геббельс, Геринг, Риббентроп, Лей. И они аплодировали ему, и по его знаку вскидывали руку в партийном приветствии, и, угадывая паузы, начинали овацию, которую немедленно подхватывал весь зал. Пускай они ненавидели его, считали недостойным этой великой роли, пускай, но этика национал-социализма обязывала их перед лицом двух тысяч съехавшихся сюда гауляйтеров оказывать высшие почести партии ему, именно ему — Гиммлеру.

Борман... Ах как он ненавидел Бормана! Именно Борман, обеспокоенный таким взлетом Гиммлера, сумел победить его. Он знал фюрера, как никто другой, знал, что если Гитлер любит человека и верит ему, то нельзя говорить об этом человеке ничего плохого. Поэтому Борман посоветовал фюреру:

— Надежды на армию сугубо сомнительны. Великое счастье нации, что у нас есть дивизия СС — надежда партии и национал-социализма. Только вождь СС, мой друг Гиммлер, может взять на себя командование Восточным фронтом, группой армий «Висла». Только под его командованием СС и армии, подчиненные ему, отбросят русских и сокрушат их.

Гиммлер прилетел в ставку фюрера на следующий день. Он привез указ о том, что все гауляйтеры Германии, ранее подчинявшиеся Борману, теперь должны перейти в параллельное подчинение и к нему, рейхсфюреру СС. Он приготовил смертельный удар Борману. И даже несколько удивился той легкости, с какой фюрер утвердил это решение. Он все понял спустя минуту после того, как фюрер подписал бумагу.

— Я поздравляю вас, Гиммлер. Вы назначены главнокомандующим группой армий «Висла». Никто, кроме

вас, не сможет разгромить большевистские полчища. Никто, кроме вас, не сможет наступить на горло Сталину и продиктовать ему мои условия мира!

Это был крах. Шел январь 1945 года, никаких надежд на победу не было. К черту эти сентиментальные иллюзии! Ставка одна: немедленный мир с Западом и совместная борьба против большевистских полчищ.

Гиммлер поблагодарил фюрера за столь высокое и почетное назначение и уехал к себе в ставку. Потом он был у Геринга: разговор не получился.

Гиммлер мог предположить из агентурных сводок, что главнокомандующий группой войск в Италии фельдмаршал Кессельринг не будет возражать против переговоров с Западом. Об этом знали только Шелленберг и Гиммлер. Два агента, сообщившие об этом, были уничтожены: им устроили авиационную катастрофу, когда они возвращались к Кессельрингу. Из Италии — прямой путь в Швейцарию. А в Швейцарии сидит глава американской разведслужбы в Европе Аллен Даллес. Это уже серьезно. Это прямой контакт серьезных людей, тем более что друг Кессельринга — вождь СС в Италии генерал Карл Вольф — верный Гиммлеру человек.

Гиммлер снял трубку телефона и сказал:

— Пожалуйста, срочно вызовите генерала Карла Вольфа.

Карл Вольф был начальником его личного штаба. Он верил ему. Вольф начнет переговоры с Западом — от его, Гиммлера, имени.

РАССТАНОВКА СИЛ

Штирлиц и не думал завязывать никакой комбинации со Шлагом, когда пастора привели на первый допрос: он выполнял приказ Шелленберга. Побеседовав с ним три дня, он проникся интересом к этому старому человеку, державшемуся с удивительным достоинством и детской наивностью.

Беседуя с пастором, знакомясь с досье, собранным на него, он все чаще задумывался над тем, как мог бы пастор быть в будущем полезен для его дела.

Убедившись в том, что пастор не только ненавидит нацизм, не только готов оказать помощь существующему подполью — а в этом он уверился, прослушав разговор с провокатором Клаусом, — Штирлиц отводил в своей будущей работе роль и для Шлага. Он только

не решил еще для себя, как целесообразнее его использовать.

Штирлиц никогда не гадал наперед, как будут развиваться события — в деталях. Часто он вспоминал эпизод — он вычитал это в поезде, когда пересекал Европу, отправляясь в Анкару, — эпизод врезался в память на всю жизнь. Однажды, писал дошлый литературовед, Пушкина спросили, что будет с прелестной Татьяной. «Спросите об этом у нее, я не знаю», — раздраженно ответил Пушкин. Штирлиц беседовал с математиками и физиками, особенно после того, как гестапо арестовало физика Рунге, занимавшегося атомной проблемой. Штирлиц интересовался, в какой мере теоретики науки заранее планируют открытие. «Это невозможно, — отвечали ему. — Мы лишь определяем направление поиска, все остальное — в процессе эксперимента».

В разведке все обстоит точно так же. Когда операция замышляется в слишком точных рамках, можно ожидать провала: нарушение хотя бы одной заранее обусловленной связи может повлечь за собой крушение главного. Увидеть возможности, нацелить себя на ту или иную узловую задачу, особенно когда работать приходится в одиночку, — так, считал Штирлиц, можно добиться успеха с большим вероятием.

«Итак, пастор, — сказал себе Штирлиц. — Займемся пастором. Он теперь, после того как Клаус уничтожен, практически попал в мое бесконтрольное подчинение. Я докладывал Шелленбергу о том, что связей пастора с экс-канцлером Брюнингом и Виртом установить не удалось, и он, судя по всему, потерял к старику интерес. Зато мой интерес к нему вырос — после приказа Центра».

16.2.1945 (04 часа 45 минут)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1939 года Айсмана, оберштурмбанфюрера СС (IV отдел РСХА): «Истинный ариец. Характер — приближающийся к нордическому, стойкий. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам рейха. Спортсмен, отмеченный призами на соревнованиях стрелков. Отменный семьянин. Связей, порочащих его, не имел. Отмечен наградами рейхсфюрера СС...»)

Мюллер вызвал оберштурмбанфюрера Айсмана поздно ночью: он поспал после коньяка Кальтенбруннера и чувствовал себя отдохнувшим.

«Действительно, этот коньяк какой-то особый, — ду-

мал он, массируя затылок большим и указательным пальцами правой руки. — От нашего трещит голова, а этот здорово облегчает. Затылок потрескивает — от давления, не иначе, это в порядке вещей...»

Айсман посмотрел на Мюллера воспаленными глазами и улыбнулся своей обезоруживающей, детской улыбкой.

— У меня тоже раскалывается череп, — сказал он, — мечтаю о семи часах сна как о манне небесной. Никогда не думал, что пытка бессонницей — самая страшная пытка.

— Мне один наш русский агент, в прошлом свирепый бандюга, рассказывал, что они в лагерях варили себе какой-то хитрый напиток из чая — «чефир». Он и пьянит и бодрит. Не попробовать ли нам? — Мюллер неожиданно засмеялся: — Все равно придется пить этот напиток у них в лагерях, так не пора ли заранее освоить технологию?

Мюллер верил Айсману, поэтому с ним он шутил зло и честно и так же разговаривал.

— Слушайте, — продолжал он, — тут какая-то непонятная каша заваривается. Меня сегодня вызвал шеф. Они все фантазеры, наши шефы... Им можно фантазировать — у них нет конкретной работы, а давать руководящие указания умеют даже шимпанзе в цирке... Понимаете, у него вырос огромный зуб на Штирлица...

— На кого?!

— Да, да, на Штирлица. Единственный человек в разведке Шелленберга, к которому я относился с симпатией. Не лизоблюд, спокойный мужик, без истерик и без показного рвения. Не очень-то я верю тем, кто вертится вокруг начальства и выступает без нужды на партийных собраниях... А он молчун. Я люблю молчунов... Если друг — молчун — это друг. Ну а уж если враг — так это враг. Я таких врагов уважаю. У них есть чему поучиться...

— Я знаю Штирлица восемь лет, — сказал Айсман, — я был с ним под Белградом и видел его под бомбами: он высечен из кремня и стали.

Мюллер поморщился:

— Что это вас на метафоры потянуло? С усталости? Оставьте метафоры нашим партийным бонзам. Мы, сыщики, должны мыслить существительными и глаголами: «он встретился», «она сказала», «он передал»... Вы что, не допускаете мысли...

— Нет, — ответил Айсман. — Я не могу поверить в нечестность Штирлица.

— Я тоже.

— Вероятно, надо будет тактично убедить в этом Кальтенбруннера.

— Зачем? — после паузы спросил Мюллер. — А если он хочет, чтобы Штирлиц был нечестным? Зачем его разубеждать? В конце концов, Штирлиц ведь не из нашей конторы. Он из шестого управления. Пусть Шелленберг попляшет...

— Шелленберг потребует доказательств. И вы знаете, что его в этом поддержит рейхсфюрер.

— Почему вы, кстати, не полетели с ним в Краков прошлой осенью?

— Я не летаю, группенфюрер. Я боюсь летать... Простите эту мою слабость... Я считаю нечестным скрывать это.

— А я плавать не умею, воды боюсь, — усмехнулся Мюллер.

Он снова начал массировать затылок большим и указательным пальцами правой руки.

— Ну а что нам делать со Штирлицем?

Айсман пожал плечами:

— Лично я считаю, что следует быть до конца честным перед самим собой — это определит все последующие действия и поступки.

— Действия и поступки — одно и то же, — заметил Мюллер. — Как же я завидую тем, кто выполняет приказ, и только! Как бы я хотел только выполнять приказы! «Быть честным»! Можно подумать, что я то и дело думаю, как бы мне быть нечестным. Пожалуйста, я предоставляю вам полную возможность быть честным: берите эти материалы. — Мюллер подвинул Айсману несколько папок с машинописным текстом. — И сделайте свое заключение. До конца честное. Я обопрусь на него, когда буду докладывать шефу о результатах инспекции.

— Почему именно я должен делать это, обергруппенфюрер? — спросил Айсман.

Мюллер засмеялся:

— А где же ваша честность, друг мой?! Где она? Всегда легко советовать другим — будь честным. А каждый поодиночке думает, как бы свою нечестность вывернуть честностью... Как бы оправдать себя и свои действия. Разве я не прав?

— Я готов написать рапорт.

— Какой?

— Я напишу в рапорте, что знаю Штирлица много лет и могу дать за него любые ручательства.

Мюллер помолчал, поерзал в кресле, а потом подвинул Айсману листок бумаги.

— Пишите, — сказал он.

Айсман достал ручку, долго обдумывал первую фразу, а потом написал своим каллиграфическим почерком: «Начальнику IV управления обергруппенфюреру СС Мюллеру. Считая штандартенфюрера СС фон Штирлица истинным арийцем, преданным идеям фюрера и НСДАП, прошу разрешить мне не заниматься инспекцией по его делам. Оберштурмбанфюрер СС Айсман».

Мюллер промокнул бумагу, дважды перечитал ее и сказал негромко:

— Ну что ж... Молодец... Я всегда относился к вам с уважением и полным доверием. Сейчас я имел возможность убедиться еще раз в вашей высокой порядочности, Айсман.

— Благодарю вас.

— Меня вам нечего благодарить. Это я благодарю вас. Ладно. Вот вам эти три папки: составьте по ним благоприятный отзыв о работе Штирлица — не мне вас учить: искусство разведчика, тонкость исследователя, мужество истинного национал-социалиста. Сколько вам на это потребуется времени?

Айсман пролистал дела и ответил:

— Чтобы все это было красиво оформлено и документально подтверждено, я просил бы вас дать мне неделю.

— Пять дней — от силы.

— Хорошо.

— И постарайтесь особо красиво показать Штирлица в его работе с этим пастором, — Мюллер ткнул пальцем в одну из папок. — Кальтенбруннер считает, что через священников сейчас кое-кто пытается установить связи с Западом: Ватикан и так далее...

— Хорошо.

— Ну, счастливо вам. Валяйте-ка домой и спите.

Когда Айсман ушел, Мюллер положил его письмо в отдельную папку и долго сидел задумавшись. А потом он вызвал другого своего сотрудника, оберштурмбанфюрера Холтоффа.

— Послушайте, — сказал он, не предложив ему даже сесть: Холтофф был из молодых. — Я поручаю вам задание чрезвычайной секретности и важности.

— Слушаю, обергруппенфюрер...

«Этот будет рыть землю, — подумал Мюллер. — Этому наши игры еще нравятся, он еще пока в них купается. Этот нагородит черт те что... И хорошо... Будет чем торговаться с Шелленбергом».

— Вот что, — продолжал Мюллер. — Вам надлежит изучить эти дела: здесь работа штандартенфюрера *Штирлица за последний год. Это дело, относящееся к оружию возмездия... то есть к атомному оружию...* К физику Рунге... В общем, дело тухлое, но постарайтесь его покопать... Приходите ко мне, когда возникнут любые вопросы.

Когда Холтофф, несколько обескураженный, но старавшийся эту свою обескураженность скрыть, уходил из кабинета шефа гестапо, Мюллер остановил его и добавил:

— Поднимите еще несколько его ранних дел, на фронте, и посмотрите, не пересекались ли пути у Штирлица и Айсмана.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ (ДАЛЛЕС)

И гестапо, и абвер, и контрразведка Виши знали, что через Францию в тревожные дни лета 1942 года должен будет проехать какой-то таинственный американец. Служба контрразведки Франции, гестапо и ведомство адмирала Канариса начали охоту за этим человеком.

На вокзалах и в стеклянных зданиях аэродромов дежурили секретные агенты, впиваясь глазами в каждого, кто как-то мог походить на американца.

Они не смогли поймать этого человека. Он умел исчезать в ресторанах и неожиданно появляться в самолетах. Умный, расчетливый, спокойный и храбрый, он обыграл немецкую службу безопасности, контрразведку Виши и чудом пробрался в конце 1942 года в нейтральную Швейцарию.

Человек был высок ростом. Глаза его, спрятанные за блестящими стеклами пенсне, смотрели на этот мир снисходительно, добро и в то же время сурово. Человек неизменно держал во рту прямую английскую трубку, был немногословен, часто улыбался и покорял своих собеседников доброжелательной манерой внимательно выслушать, остро пошутить и, если он был не прав, признать свою неправоту сразу же и открыто.

Вероятно, служба Гиммлера, Канариса и Петена, узнай, кто был этот человек, приложила бы в десять раз

больше стараний, чтобы заполучить его в свои руки там же, во Франции, куда немецкая армия вторглась в конце 1942 года, положив конец «суверенной» Франции со столицей в Виши. Этот человек был Аллен Даллес, направленный в Берн генералом Донованом.

В Швейцарии о нем скоро стали говорить как о личном представителе президента Рузвельта.

Даллес опубликовал опровержение в прессе. Оно было странным и таинственным. Он понял, что эта двойная реклама — слух и странное опровержение — в данном случае пойдет ему на пользу. И не ошибся: с первых же месяцев пребывания в Берне к нему со всех сторон потянулись разные люди из разных стран — банкиры, спортсмены, дипломаты, журналисты, принцы крови, актеры, то есть все те люди, из которых разведки мира черпают свою агентуру, причем наиболее серьезную.

Перед тем как развернуть свой филиал управления стратегических служб в Швейцарии, Даллес самым тщательным образом изучил материалы, собранные на его сотрудников.

— Здесь, в синей папке, — пояснил ему человек из ФБР, занимавшийся проверкой и систематизацией досье на его сотрудников, — все те, у кого есть родственники и близкие друзья в странах оси и в нейтральных странах. В этой папке — лица, рожденные в Германии и Европе, а также те, у кого родители — немцы. Здесь — фамилии тех, с кем переписываются ваши сотрудники... А вот тут...

Даллес перебил его недоуменным вопросом:

— Какое все это имеет отношение к делу?

— Простите...

— Меня интересует следующее: являлся ли кто-нибудь из людей, сотрудничающих со мной, активистом германо-американского института или нет? Является ли он членом компартии? Не гомосексуалист ли он? И не лесбиянка ли она? Как семья? Устойчив ли брак, или жена истеричка, а муж в силу этого тяготеет к алкоголизму и мечтает послать к чертовой матери скандальный семейный очаг? А что касается родственников в Германии или Италии, то кто-то из моих дальних родичей осел в Германии еще в прошлом веке.

К сожалению, в справочниках «Who is who» было мало сказано о том, кем был этот человек в прошлом. Его история заслуживает того, чтобы службы контрразведки Германии знали ее заранее. Они узнали ее значительно позже.

Когда ведомство Гиммлера смогло внедрить в дом Даллеса своего агента (милая, исполнительная кухарка, работавшая у Аллена Даллеса, была сотрудником VI управления службы имперской безопасности), и Шелленберг, и Гиммлер, и Мюллер из гестапо, и впоследствии Кальтенбруннер узнали от своего агента много важного и интересного, того выпуклого и объемного, что складывается обычно из, казалось бы, незначительных мелочей.

Этот агент, например, сообщал, что настольной и, по-видимому, самой любимой книгой Аллена Даллеса является книга китайца Сун Цзы «Искусство войны». В этой книге китайский теоретик излагал основы шпионажа. Он излагал те основы шпионажа, которые практиковались в Китае в 400 году до Рождества Христова.

Особенно часто Аллен Даллес возвращался к той части сочинения китайского автора, где тот писал, какие агенты наиболее ценны в разведке.

Сун Цзы выделял пять видов агентов: туземные, внутренние, двойные, невозвратимые и живые.

Туземные и внутренние агенты (Даллес это выписывал на маленькие листочки бумаги, и эти листочки бумаги также попали в ведомство Шелленберга) соответствуют, писал Даллес, тому, что мы сейчас называем агентами на местах.

Двойной агент — это вражеский разведчик, захваченный в плен, впоследствии перевербованный и посланный обратно к своим, но уже в качестве агента той страны, которая его захватила.

Аллен Даллес подчеркнул красным карандашом термин «невозвратимый агент». Ему очень понравилась эта китайская изысканность. Сун Цзы невозвратимыми агентами называл таких, через которых противнику поставлялась дезинформация. Сун Цзы называл их невозвратимыми потому, что противник, по всей видимости, должен убить их, когда обнаружит, что информация, представлявшаяся ими, была ложной.

Живые агенты, по выражению Сун Цзы, подчеркивал Даллес в своих заметках, стали называться в наши дни проникающими агентами. Они идут в страну врага, работают там и потом возвращаются обратно живыми.

Сун Цзы утверждал, что настоящий разведчик обязан иметь все пять видов этих агентов одновременно. Он говорил, что тот разведчик, который имеет пять таких агентов, обладает «божественной паутиной», некоей ры-

боловной сетью, состоящей из множества тонких, невидимых, но очень крепких нитей, скрепленных одной общей веревкой.

Сун Цзы мыслил интересно, и многое из Сун Цзы Даллес выписывал на отдельные листочки бумаги — о контрразведке, о дезинформации, о психологической войне, о тактике безопасности для агентов.

Шпионаж Сун Цзы был вызовом шпионажу Древней Греции и Древнего Рима. Там во многом полагались на указания духов и богов. В разведке же, считал Сун Цзы, нельзя полагаться на духа и бога. В разведке нужно полагаться только на человека: на врага и друга.

Агент гестапо смогла сфотографировать Библию с громадным количеством пометок на полях, сделанных американским разведчиком. В ней было отмечено то место, когда Иисус Навин послал двух человек в Иерихон, чтобы они там тайно все высмотрели. И пришли они в дом блудницы Рааб. Это, как казалось Даллесу и как он говорил об этом друзьям, был первый пример, записанный в исторических летописях, того, что сейчас называется у профессиональных разведчиков явкой укрытия. Рааб скрыла шпионов у себя в доме, а потом вывела их из города, и израильтяне, захватив Иерихон, истребили мечом всех, оставив в живых одну только Рааб и ее семью. Именно тогда установлена была традиция вознаграждать тех, кто помогал разведке.

Одной из любимых книг Аллена Даллеса, как доносила в свой центр агент из его дома, была книга Даниеля Дефо «Робинзон Крузо». Также очень часто он возвращался к «Молль Флендерс» и к «Дневнику чумного года». Эти книги писал Даниель Дефо, один из великолепнейших разведчиков. Он был не только самостоятельным организатором крупной разведывательной сети, но он стал первым шефом английской разведки, о чем мир узнал спустя много лет после его смерти.

Даллес искал на страницах его книг хоть какого-нибудь самого отдаленного упоминания о том, что это писал шеф разведки Британской империи. Он не нашел ни одного намека на это.

Также, доносила агент Шелленберга, Аллен Даллес в свободное время внимательно изучал практику и методы крупнейших шпионских организаций XIX века в Европе.

Много и других данных об Аллене Даллесе скопилось в бронированных архивах ведомства Гиммлера. Од-

нако стройной и точной биографии этого талантливейшего разведчика середины XX века руководителям третьего рейха выстроить так и не удалось.

Биография Даллеса была не очень приметной. Получив в двадцать три года диплом магистра искусств, он работал миссионером в Индии и Китае, а в мае 1916 года занял свой первый дипломатический пост в Вене. Работал в Париже в делегации, возглавлявшейся Вудро Вильсоном. Потом он получил специальное задание и работал в Швейцарии и в Австрии, пытаясь сохранить Австро-Венгерскую империю. Там в 1918 году он подготовил свой первый заговор, который мог быть грандиозным, если бы Даллес довел его до конца. Однако ноябрьская революция в Германии, возглавлявшаяся коммунистами, встала на пути претворения заговора в жизнь. Будущая монархия Габсбургов, которая должна была стать санитарным кордоном, мощным бронированным щитом Запада на пути распространения большевизма в Европе, потерпела крах.

Через год, в 1910-м, Даллес получил назначение первым секретарем посольства Соединенных Штатов в Германии. Здесь, работая на Вильгельмплац, 7, Аллен Даллес лицом к лицу столкнулся с теми людьми, которые ставили своей главной задачей противостоять большевизму в Европе. Именно здесь Аллен Даллес свел временного поверенного в делах Соединенных Штатов в Германии мистера Дрессела с генералом Гофманом, тем человеком, который разработал первый план немецкого наступления на Кремль.

Гофман говорил им тогда: «За всю свою жизнь я сожалею лишь об одном. Я сожалею, что во времена Брест-Литовска я не сорвал переговоры и не двинулся на Москву. Я легко мог бы сделать это в то время».

Именно тогда и именно Гофман в разговоре с Даллесом элегантно и доказательно оправдывал ту доктрину, которая впоследствии была сформулирована как доктрина «дранг нах остен».

После Берлина Аллен Даллес два года служил в Константинополе, в столице страны, непосредственно граничившей с Советской Россией, в столице страны, которая являла собой, с одной стороны, ключ к Черному и Средиземному морям, а с другой — была предмостным укреплением на пути к мировым запасам нефти.

Оттуда Аллен Даллес возвратился в Вашингтон. Он стал шефом отдела, занимавшегося делами Ближнего

Востока в государственном департаменте. Ближний Восток был тогда одной из самых горячих точек земного шара. Ближний Восток — это нефть, это питание войны. Магнаты американской промышленности, занимавшиеся нефтью, в те годы были обеспокоены громадными успехами английских конкурентов на мировых рынках.

Именно тогда мистер Бетфорд, председатель правления компании «Стандард ойл оф Нью-Джерси», заявил: «Для Соединенных Штатов сейчас важно проводить агрессивную политику».

И Даллес работал не покладая рук. Первая победа над Великобританией была одержана под его руководством. Это было в 1927 году, когда компания Рокфеллера получила 25 процентов акций нефтяной компании «Ирак петролеум компани».

В том же году нефтяная корпорация «Галф ойл» из группы Меллона приобрела преимущественные права на концессию Бахрейнских островов.

Подготовив эти победы, Даллес решил уйти в отставку. Изучение службы разведки в банкирском доме Ротшильдов натолкнуло его на мысль о том, что служба в государственном департаменте — лишь первая ступень в его будущей серьезной карьере.

Аллен Даллес получил место в юридической фирме «Салливен энд Кромвел». Фирма, одна из крупнейших на Уолл-стрит. Фирма, тесно связанная с домом Рокфеллеров и Морганов. Именно фирма «Салливен энд Кромвел» работала с правительством Панамы во время строительства канала. Именно здесь, в этой юридической фирме, Аллен Даллес провел грандиозную операцию по захвату Соединенными Штатами нефтяных концессий в Республике Колумбия.

Именно тогда фирма «Салливен энд Кромвел» завязала самые тесные отношения с Германией, куда после Версальского договора американские промышленники перекачивали доллары.

Именно тогда Аллен и его брат Джон Фостер Даллес завязали тесные контакты с трестом Тиссена «И. Г. Фарбениндустри» и с концерном «Роберт Бош». Аллен и Джон Даллесы стали американскими агентами этих немецких корпораций.

В дальнейшем Аллен Даллес стал не только совладельцем фирмы «Салливен энд Кромвел», он занял пост директора «Шредер трест компани» и одновременно директора «Дж. Генри Шредер бэнкинг корпорейшн».

Кем же был Шредер?

Он был немецким гражданином в Германии, американским — в Соединенных Штатах, английским — в Великобритании. В тридцатых годах этот концерн возглавлял барон Курт фон Шредер. 7 января 1933 года на вилле Шредера в Кельне Гитлер встретился с фон Папеном. Там он разрабатывал план захвата власти нацистами. За это Курт фон Шредер получил звание группенфюрера СС. Он же стал председателем тайной организации «Круг друзей». Эта организация собирала среди магнатов Рура средства для отрядов СС рейхсфюрера Генриха Гиммлера.

Английский филиал концерна Шредера финансировал в Лондоне «англо-германское общество», то самое общество, которое выполняло функции пропаганды идей фюрера в Великобритании. Можно догадываться, чем занималась фирма «Дж. Генри Шредер бэнкинг корпорейшн» в Соединенных Штатах. Директором этой фирмы был Аллен Даллес...

Именно этот человек, как никто другой знавший Европу, Германию, нацизм, бизнес, нефть, стал резидентом управления стратегических служб Соединенных Штатов в Европе.

Даллес конечно же не был личным представителем Рузвельта в Берне. История его перехода в разведку была связана, в частности, с беседой, которая состоялась между ним и одним из представителей большого бизнеса через неделю после того, как японцы напали на Пирл-Харбор.

— Вы спрашиваете о перспективе, — задумчиво говорил Даллес, попыхивая, по обыкновению, неизменной английской трубкой. — Я не готов к исчерпывающему ответу. Чтобы наметить свою перспективу, надо изучать финансы и анекдоты, бытующие в стране, новые постановки в театрах и отчеты о партайтагах в Нюрнберге. Одно для меня очевидно: Германия не будет безмолвствовать — я имею в виду Германию серьезных финансистов типа уволенного в отставку Шахта, и литераторов, вынужденных заниматься переводами с латыни.

— Шахт — это серьезно, а литераторы...

— Это тоже серьезно, — возразил Даллес, — даже серьезнее, чем вы думаете. Гиммлер еще в тридцать четвертом году совершил первую крупную ошибку: он бросил в концлагерь лауреата Нобелевской премии фон

Осецкого[1]. Он создал образ мученика. А этого самого мученика, вместо того чтобы сажать в концлагерь, надо было купить: славой, деньгами, женщинами... Никто так не продажен, как актер, писатель, художник. Их надо умело покупать, ибо покупка — это лучший вид компрометации.

— Ну, это нас не интересует, это — частности...

— Это не частности, — упрямо возразил Даллес, — это отнюдь не частности. Гитлер воспитал пятьдесят миллионов в полном повиновении. Его театр, кино и живопись воспитывают слепых автоматов. А это нас не может устроить: автомату чуждо желание торговать, общаться, задумывать выгодную операцию в сфере бизнеса. Слепым автоматам не нужен Шахт. Но Шахт нужен нам. Так что, — закончил Даллес, — здесь все очень и очень взаимосвязано... И эта взаимосвязанность неминуемо приведет к интеллигентам в армии... А интеллигенты в армии — это люди в чине от майора и до фельдмаршала, не ниже. Ниже — автоматы, исполняющие любой приказ слепо и бездумно...

— А вот эта версия уже интересна, — сказал собеседник Аллена Даллеса. — Она интересна, ибо перспективна. А вы говорили, что не можете ответить на мой вопрос...

17.2.1945 (10 часов 03 минуты)

Когда обергруппенфюрер СС Вольф вышел из кабинета Гиммлера, рейхсфюрер долго сидел неподвижно. Не страх владел им сейчас, нет. Так, во всяком случае, ему казалось. Просто в первый раз в жизни он стал отступником. Он знал отступников, он даже не мешал им, наблюдая за тем, кто выйдет победителем в июле сорок четвертого, но сейчас он сам вершил акт государственного предательства: за переговоры с врагом полагалось только одно наказание — смерть.

Карл Вольф возвращался в Италию для того, чтобы вступить в прямой контакт с Даллесом — высший офицер СС с высшим разведчиком союзников.

Гиммлер по обычной своей манере снял очки — сегодня он был в очках без оправы, такие носят учителя в школе — и медленно начал протирать стекла замшевой тряпочкой. Он почувствовал, как в нем что-то изменилось. Он сразу и не понял, что в нем изменилось,

[1] Осецкий Карл (1889—1938) — немецкий прогрессивный журналист и публицист.

а после улыбнулся. «Я начал двигаться, — понял он. — Самое страшное — это мучительная оцепенелость, это сродни ночному кошмару».

Он вызвал Шелленберга. Шеф политической разведки пришел к Гиммлеру через минуту — казалось, он сидел в приемной, а не у себя, на третьем этаже.

— Вольф улетает для контакта с Даллесом, — сказал Гиммлер и хрустнул пальцами.

— Это мудро...

— Это безумие, Шелленберг, это безумие и авантюризм.

— Вы имеете в виду возможный провал?

— Я имею в виду целый комплекс проблем! Это вы, это все ваша работа! Вы меня подводили к этому шагу!

— Если Вольф провалится, то все материалы придут к нам.

— Они могут попасть сначала к вéнцу...

Шелленберг вопросительно посмотрел на Гиммлера. Тот хмуро пояснил:

— К Кальтенбруннеру. И я не знаю, куда эти материалы отправятся потом: к Борману или ко мне. А вы знаете, что сделает Борман, как только получит материал подобного рода. И вы можете представить, как прореагирует фюрер, когда он все увидит, да еще с пояснениями Бормана.

— Я анализировал и эту возможность.

Гиммлер досадливо поморщился. Ему сейчас хотелось одного — вернуть Вольфа и начисто забыть разговор с ним.

— Я анализировал эту возможность, — повторил Шелленберг. — Во-первых, Вольф обязан разговаривать с Даллесом не от своего имени и тем более не от вашего, но от имени фельдмаршала Кессельринга, которому он подчинен в Италии. Он заместитель командующего в Италии, он вне вашего прямого подчинения...

Фельдмаршал Кессельринг был в свое время помощником Геринга по люфтваффе. Его все считали человеком Геринга.

— Это хорошо, — сказал Гиммлер. — Вы это придумали заранее или вам сейчас пришло в голову?

— Это мне пришло в голову, как только я узнал о поездке Вольфа, — ответил Шелленберг. — Вы позволите мне закурить?

— Да, пожалуйста, — ответил Гиммлер.

Шелленберг закурил: с тридцать шестого года он курил только «Кэмэл» и никаких других сигарет не признавал. Однажды в сорок втором, после того как Америка вступила в войну, его спросили: «Откуда у вас вражеские сигареты?» Шелленберг ответил: «Воистину, куришь американские сигареты — скажут, что продал родину...»

— Я продумал все возможности, — продолжал он, — даже самые неприятные.

— То есть? — насторожился Гиммлер. Он успокоился, он пришел в себя, появилась разумная перспектива, что ж еще может быть неприятного, если все так складно выстраивается?

— А что, если Кессельринг, а еще хуже — его покровитель Геринг смогут доказать свое алиби?

— Мы не допустим этого. Озаботьтесь этим заранее.

— Мы — да, но Кальтенбруннер и Мюллер?

— Хорошо, хорошо, — устало сказал Гиммлер, — ну а что вы предлагаете?

— Я предлагаю бить одним патроном двух вальдшнепов.

— Так не бывает, — ответил Гиммлер еще более усталым, потухшим голосом, — впрочем, я не охотник...

— Фюрер говорит, что союзники находятся на грани разрыва, не так ли? Следовательно, разрыв между ними — одна из наших главных задач? Как поступит Сталин, узнай он о сепаратных переговорах, которые ведет генерал СС Вольф с западными союзниками? Я не берусь судить, как именно он поступит, но в том, что это подтолкнет его к действиям, не сомневаюсь ни на минуту. Следовательно, поездка Вольфа, которую мы закодируем как большую дезинформацию Сталина, — это на благо фюрера. Наша легенда: переговоры — это блеф для Сталина! Так мы объясним фюреру операцию в случае ее провала.

Гиммлер поднялся со стула — он не любил кресел и всегда сидел на канцелярском старом стуле, — отошел к окну и долго смотрел на развалины Берлина. Из школы шли ребята и весело смеялись. Две женщины катили перед собой коляски с малышами. Гиммлер вдруг подумал: «Я бы с радостью уехал в лес и там переночевал у костра. Какой же Вальтер умница, боже мой...»

— Я подумаю над тем, что вы сказали, — не оборачиваясь, заметил Гиммлер. Он хотел взять себе его победу. Шелленберг ее с радостью отдал бы рейхсфюре-

ру — он всегда отдавал ему и Гейдриху свои победы.

— Вас будут интересовать детали, или мелочи додумать мне самому? — спросил Шелленберг.

— Додумайте сами, — ответил Гиммлер, но, когда Шелленберг пошел к двери, он обернулся: — Собственно, в этом деле не должно быть мелочей. Что вы имеете в виду?

— Во-первых, операция прикрытия... То есть надо будет подставить чью-то фигуру, чужую, не нашу, для переговоров с Западом... А потом мы передадим материал об этом человеке фюреру. В случае надобности... Это будет победа нашей службы разведки: сорвали коварные замыслы врагов — так, по-моему, вещает Геббельс. Во-вторых, за Вольфом будут смотреть в Швейцарии десятки глаз. Я хочу, чтобы за десятками пар глаз западных союзников наблюдали еще пять-шесть моих людей. Вольф не будет знать о наших людях — они будут гнать информацию непосредственно мне. Это, в довершение ко всему, третье алиби. В случае провала придется пожертвовать Вольфом, но материалы наблюдений за ним лягут в наше досье.

— В ваше, — поправил его Гиммлер, — в ваше досье.

«Я снова испугал его, — подумал Шелленберг, — эти детали его пугают. У него надо брать только согласие, а дальше все делать самому».

— Кого вы хотите туда отправить?

— У меня есть хорошие кандидатуры, — ответил Шелленберг, — но это уже детали, которые я смогу решить, не отрывая вас от более важных дел.

В списке кандидатов для решения первой задачи у Шелленберга значился фон Штирлиц с его «подопечным» пастором.

17.2.1945 (10 часов 05 минут)

Утром, когда Эрвин должен был принять ответ из Центра, Штирлиц медленно ехал по улицам к его дому. На заднем сиденье лежал громоздкий проигрыватель: Эрвин по легенде был владельцем маленькой фирмы проигрывателей, это давало ему возможность много ездить по стране, обслуживая клиентов.

На улице был затор: впереди расчищали завал. Во время ночной бомбежки обрушилась стена шестиэтажного дома, и рабочие дорожных отрядов вместе с поли-

цейскими быстро и споро организовали проезд транспорту.

Штирлиц обернулся: за его «хорьхом» уже стояло машин тридцать, не меньше. Молоденький паренек, шофер грузовика, крикнул Штирлицу:

— Если сейчас прилетят, вот катавасия начнется — и спрятаться некуда.

— Не налетят, — ответил Штирлиц, глянув на небо. Облака были низкие, судя по серо-черным закраинам — снеговые.

«Ночью было тепло, — подумал Штирлиц, — а сейчас похолодало — явно это к снегу».

Он отчего-то вспомнил давешнего астронома. «...Год неспокойного солнца. Все взаимосвязано на шарике. Мы все взаимосвязаны, шарик связан со светилом, светило — с галактикой. — Штирлиц вдруг усмехнулся. — Похоже на агентурную сеть гестапо...»

Шуцман, стоявший впереди, резко взмахнул рукой и гортанно крикнул:

— Проезжать!

«Нигде в мире, — отметил для себя Штирлиц, — полицейские не любят так командовать и делать руководящие жесты дубинкой, как у нас». Он вдруг поймал себя на том, что подумал о немцах и о Германии как о своей нации и о своей стране. «А иначе мне нельзя. Если бы я отделял себя, то наверняка уже давным-давно провалился. Парадокс, видимо: я люблю этот народ и люблю эту страну.

Дальше дорога была открытой, и Штирлиц дал полный газ. Он знал, что крутые повороты сильно «едят» резину, он знал, что покрышки сейчас стали дефицитом, но все равно он очень любил крутые виражи, так, чтобы резина пищала и пела, а машина резко при этом кренилась, словно лодка во время шторма.

В Кепенике у поворота к дому Эрвина и Кэт стояло второе полицейское оцепление.

— Что там? — спросил Штирлиц.

— Разбита улица, — ответил молоденький бледный шуцман, — они бросили какую-то мощную торпеду.

Штирлиц почувствовал, как на лбу у него выступил пот.

«Точно, — вдруг понял он, — их дом тоже».

— Дом девять? — спросил он. — Тоже?

— Да, разбили совершенно.

Штирлиц отогнал машину к тротуару и пошел по пе-

реулку направо. Дорогу ему преградил все тот же болезненный шуцман:

— Запрещено.

Штирлиц отвернул лацкан пиджака: там был жетон СД. Шуцман козырнул ему и сказал:

— Саперы опасаются, нет ли здесь бомб замедленного действия...

— Значит, взлетим вместе, — ответил Штирлиц и пошел к руинам дома номер девять.

Он ощущал огромную, нечеловеческую усталость, но он знал, что идти он обязан своим обычным пружинистым шагом, и он так и шел — пружинисто, и на лице его была его обязательная, скептическая ухмылка. А перед глазами стояла Кэт. Живот у нее был очень большой, округлый. «К девочке, — сказала она ему както. — Когда живот торчит огурцом — это к мальчику, а я обязательно рожу девицу».

— Все погибли? — спросил Штирлиц полицейского, который по-прежнему наблюдал за тем, как работали пожарные.

— Трудно сказать. Попало под утро, было много санитарных машин...

— Много вещей осталось?

— Не очень... Видите, какая каша...

Штирлиц помог плачущей женщине с ребенком оттащить от тротуара коляску и вернулся к машине.

17.2.1945 (10 часов 05 минут)

— Мамочка! — кричала Кэт. — Господи! Мама-а-а-а! Помогите кто-нибудь!

Она лежала на столе. Ее привезли в родильный дом контуженной: в двух местах была пробита голова. Она и кричала-то какие-то бессвязные слова: жалобные, русские.

Доктор, принявший мальчика — горластого, сиплого, большого, сказал акушерке:

— Полька, а какого великана родила...

— Она не полька, — сказала акушерка.

— А кто? Русская? Или чешка?

— Она по паспорту немка, — ответила акушерка, — у нее в пальто был паспорт на имя немки Кэтрин Кин.

— Может быть, чужое пальто?

— Может быть, — согласилась акушерка. — Смотрите, какой роскошный карапуз — не меньше четырех килограммов. Просто красавец... Вы позвоните в гестапо, или попозже позвоню я?

— Позвоните вы, — ответил доктор, — только попозже.

«Все, — устало, как-то со стороны думал Штирлиц, — теперь я совсем один. Теперь я попросту совершенно один...»

Он долго сидел у себя в кабинете запершись и не отвечал на телефонные звонки. Автоматически он подсчитал, что звонков было девять. Два человека звонили к нему подолгу, видимо, было что-то важное, или звонили подчиненные — они всегда звонят подолгу. Остальные были короткими: так звонит либо начальство, либо друзья.

Потом он достал из стола листок бумаги и начал писать:

Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру.
Строго секретно. Лично.

Рейхсфюрер!

Интересы нации заставляют меня обратиться к Вам с этим письмом. Мне стало известно из надежных источников, что за Вашей спиной группа каких-то лиц из СД налаживает контакты с врагом, зондируя почву для сделки с противником. Я не могу строго документально подтвердить эти сведения, но прошу Вас принять меня и выслушать мои предложения по этому вопросу, представляющемуся мне крайне важным и не терпящим отлагательств. Прошу Вас разрешить мне, используя мои связи, информировать Вас более подробно и предложить свой план разработки этой версии, которая кажется мне, увы, слишком близкой к правде.

Хайль Гитлер!
Штандартенфюрер СС фон *Штирлиц.*

Он знал, на кого ссылаться в разговоре: три дня назад во время налета погиб кинохроникер из Португалии Луиш Вассерман, тесно связанный со шведами.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ (ШЕЛЛЕНБЕРГ)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1934 года бригадефюрера СС, начальника VI отдела РСХА Вальтера Шелленберга: «Истинный ариец. Характер — нордический, отважный, твердый. С друзьями и коллегами по работе открыт, общителен, дружелюбен. Беспощаден к врагам рейха. Отличный семьянин. Кандидатура жены утверждена рейхсфюрером СС. Связей, порочащих его, не имел. Великолепный спортсмен. В работе проявил себя выдающимся организатором...»)

Пожалуй, после своего массажиста доктора Керстена Гиммлер верил, как себе, лишь одному Шелленбергу. Он следил за ним с начала тридцатых годов, когда Шелленберг еще учился. Он знал, что этот двадцатитрехлетний красавец после иезуитского колледжа закончил университет, стал бакалавром искусствоведения. Он знал также, что его любимым профессором в университете был человек еврейской национальности. Он знал, что Шелленберг поначалу вышучивал высокие идеи национал-социализма и не всегда лестно отзывался о фюрере.

Когда Шелленберга пригласили работать в разведке, он, к тому времени начавший уже разочаровываться в позиции германской интеллигенции, которая лишь скорбно комментировала злодейства Гитлера и опасливо издевалась над его истеризмом, принял предложение Гейдриха.

Его первым крещением был салон Китти. Шеф криминальной полиции Небе через свою картотеку выделил в этот светский салон самых элегантных проституток Берлина, Мюнхена и Гамбурга. Потом по заданию Гейдриха он нашел красивых, молодых жен дипломатов и высших военных, женщин, которые были утомлены одиночеством (их мужья проводили дни и ночи в совещаниях, разъезжали по Германии, вылетали за границу). Женам было скучно, женам хотелось развлечений. Они находили эти развлечения в салоне Китти, где собирались дипломаты из Азии, Америки и Европы.

Эксперты технического ведомства безопасности СД организовали в этом салоне двойные стены и всадили туда аппаратуру подслушивания и фотографирования. Идею Гейдриха проводил в жизнь Шелленберг: он был хозяином этого салона, исполняя роль светского сводника.

Вербовка шла в двух направлениях: скомпрометиро-

ванные дипломаты начинали работать в разведке у Шелленберга, а скомпрометированные жены военных, партийных и государственных деятелей третьего рейха переходили в ведомство шефа гестапо Мюллера.

Мюллера к работе в салоне не подпускали: его крестьянская внешность и грубые шутки могли распугать посетителей. Тогда-то он впервые почувствовал себя зависимым от мальчишки.

— Он думает, что я стану хватать за ляжки его фиолетовых потаскух, — сказал Мюллер своему помощнику, — много чести. В нашей деревне таких баб называли навозными червями.

И когда фрау Гейдрих во время отъезда мужа позвонила Шелленбергу и пожаловалась на скуку и он предложил ей поехать за город, к воде, Мюллер немедленно узнал об этом и решил, что сейчас самое время свернуть голову этому красивенькому мальчику. Он не относился к числу тех «стариков» в гестапо, которые считали Шелленберга несерьезной фигурой — красавчик, выписывает из библиотеки книги на латыни и на испанском, одевается как прощелыга, не скрываясь, крутит романы, ходит на Принц-Альбрехтштрассе пешком, отказываясь от машины, — разве это серьезный разведчик? Болтает, смеется, пьет...

Крестьянский, неповоротливый, но быстро реагирующий на новое ум Мюллера подсказал ему, что Шелленберг — первый среди нового поколения. Любимчик притащит за собой подобных себе.

Шелленберг повез фрау Гейдрих на озеро Плойнер. Это была единственная женщина, которую он уважал, — он мог говорить с ней о высокой трагедии Эллады и о грубой чувственности Рима. Они бродили по берегу озера и говорили, перебивая друг друга. Двое мордастых парнишек из ведомства Мюллера купались в холодной воде. Шелленберг не мог предположить, что два эти идиота, единственные, кто купался в ледяной воде, могут быть агентами гестапо. Он считал, что агент не имеет права так открыто привлекать к себе внимание. Крестьянская хитрость Мюллера оказалась выше стройной логики Шелленберга. Агенты должны были сфотографировать «объекты», если они решат «полежать под кустами», по словам Мюллера. «Объекты» под кусты не ложились. Выпив кофе на открытой террасе, они вернулись в город. Однако Мюллер решил, что слепая ревность всегда страшнее зрячей. Поэтому он положил на стол

Гейдриха донесение о том, что его жена и Шелленберг гуляли вдвоем в лесу и провели полдня на берегу озера Плойнер.

Прочитав это донесение, Гейдрих ничего не сказал Мюллеру. Весь день прошел в неведении. А вечером, позвонив предварительно Мюллеру, Гейдрих зашел в кабинет к Шелленбергу и хлопнул его по плечу:

— Сегодня дурное настроение, будем пить.

И они втроем до четырех часов утра мотались по маленьким грязным кабакам, садились за столики к истеричным проституткам и спекулянтам валютой, смеялись, шутили, пели вместе со всеми народные песни, а уже под утро, став белым, Гейдрих, придвинувшись близко к Шелленбергу, предложил ему выпить на брудершафт. И они выпили, и Гейдрих, накрыв ладонью рюмку Шелленберга, сказал:

— Ну вот что, я дал вам яд в вине. Если вы мне не откроете всю правду о том, как вы проводили время с фрау Гейдрих, вы умрете. Если вы скажете правду — какой бы страшной она для меня ни была, — я дам вам противоядие.

Шелленберг понял все. Он умел понимать все сразу. Он вспомнил двух молодчиков с квадратными лицами, которые купались в озере, он увидел бегающие глаза Мюллера, его чуресчур улыбающийся рот и сказал:

— Ну что же, фрау Гейдрих позвонила мне. Ей было скучно, и я поехал с ней на озеро Плойнер. Я могу представить вам свидетелей, которые знают, как мы проводили время. Мы гуляли и говорили о величии Греции, которую погубили доносчики, предав ее Риму. Впрочем, ее погубило не только это. Да, я был с фрау Гейдрих, я боготворю эту женщину, жену человека, которого я считаю поистине великим. Где противоядие? — спросил он. — Где оно?

Гейдрих усмехнулся, налил в рюмку немного мартини и протянул ее Шелленбергу.

Через полгода после этого Шелленберг зашел к Гейдриху и попросил его санкции.

— Я хочу жениться, — сказал он, — но моя теща — полька.

Это было предметом для разбирательства у рейхсфюрера СС Гиммлера. Гиммлер лично рассматривал фотографии его будущей жены и тещи. Пришли специалисты из ведомства Розенберга. Проверялись микроциркулем

строение черепа, величина лба, форма ушей. Гиммлер дал разрешение Шелленбергу вступить в брак.

Когда брак состоялся, Гейдрих, крепко выпив, взял Шелленберга под руку, отвел его к окну и сказал:

— Вы думаете, мне неизвестно, что сестра вашей жены вышла замуж за еврейского банкира?

Шелленберг почувствовал пустоту в себе, и руки у него захолодели.

— Полно, — сказал Гейдрих и вдруг вздохнул.

Шелленберг тогда не понял, почему вздохнул Гейдрих. Он это понял значительно позже, узнав, что дед шефа имперской безопасности был еврей и играл на скрипке в венской оперетте.

...Первые попытки контактов с Западом Шелленберг предпринял в 1939 году. Он начал вести сложную игру с двумя английскими разведчиками — Бестом и Стефенсом.

Наладив связь с этими людьми, он хотел не только предстать перед ними в качестве руководителя антигитлеровского заговора генералов, но и полететь в Лондон, войти в контакт с высшими чинами английской разведки, министерства иностранных дел и правительства. Официально выстраивая провокацию против Великобритании, он тем не менее хотел прощупать возможность серьезных контактов с Даунинг-стрит.

Но накануне вылета в Лондон Шелленбергу позвонил Гиммлер. Срывающимся голосом Гиммлер сказал, что на фюрера только что совершено покушение в Мюнхене. Наверняка, считает фюрер, это дело рук английской разведки, и поэтому необходимо англичан, и Беста и Стефенса, выкрасть и привезти в Берлин.

Шелленберг устроил громадный спектакль в Венло, в Голландии. Рискуя жизнью, он выкрал Беста и Стефенса. Их допрашивали всю ночь, и, так как стенографист потом перепечатывал протоколы допросов англнйских разведчиков на специальной пишущей машинке, где буквы были в три раза больше обычных, Шелленберг понял, что все эти материалы немедленно уходят к фюреру: он не мог читать мелкий шрифт, он мог читать только большие, жирно пропечатанные буквы.

Фюрер считал, что покушение на него было организовано «Черной капеллой» его бывшего друга и нынешнего врага Штрассера-младшего вкупе с англичанами Бестом и Стефенсом.

Но в те дни случайно, при попытке перехода швей-

царской границы, был арестован плотник Эслер. Под пытками он признался, что покушение на фюрера подготовил он один.

Потом, когда пытки стали невыносимыми, Эслер сказал, что к нему перед самым покушением подключились еще два человека.

Шелленберг был убежден, что эти двое были из «Черной капеллы» Штрассера и никакой связи с англичанами тут нет.

Гитлер назавтра выступил в прессе, обвинив англичан в том, что они руководят работой безумных террористов. Он начал вмешиваться в следствие. Шелленберг, хотя ему это мешало, поделать ничего не мог.

Через три дня, когда следствие еще только разворачивалось, Гитлер пригласил к себе на обед Гесса, Гиммлера, Гейдриха, Бормана, Кейтеля и Шелленберга. Сам он пил слабый чай, а гостей угощал шампанским и шоколадом.

— Гейдрих, — сказал он, — вы должны применить все новости медицины и гипноза. Вы обязаны узнать у Эслера, кто с ним был в контакте. Я убежден, что бомба была приготовлена за границей.

Потом, не дожидаясь ответа Гейдриха, Гитлер обернулся к Шелленбергу и спросил:

— Ну а каково ваше впечатление об англичанах? Вы ведь были с ними лицом к лицу во время переговоров в Голландии.

Шелленберг ответил:

— Они будут сражаться до конца, мой фюрер. Если мы оккупируем Англию, они переберутся в Канаду. А Сталин будет посмеиваться, глядя, как дерутся братья — англосаксы и германцы.

За столом все замерли. Гиммлер, вжавшись в стул, стал делать Шелленбергу знаки, но тот не видел Гиммлера и продолжал свое.

— Конечно, нет ничего хуже домашней ссоры, — задумчиво, не рассердившись, ответил Гитлер. — Нет ничего хуже ссоры между своими, но ведь Черчилль мешает мне. До тех пор, пока они в Англии не станут реалистами, я буду, я обязан, я не имею права не воевать с ними.

Когда все ушли от фюрера, Гейдрих сказал Шелленбергу:

— Счастье, что у Гитлера было хорошее настроение, иначе он обвинил бы вас в том, что вы сделались про-

англичанином после контактов с Интеллидженс сервис. И как бы мне это ни было больно, но я посадил бы вас в камеру; и как бы мне это ни было больно, я расстрелял бы вас, — естественно, по его приказу.

...В тридцать лет Шелленберг стал шефом политической разведки третьего рейха.

Когда в сорок третьем агентура Гиммлера донесла, что Риббентроп вынашивает план убийства Сталина — он хотел поехать к Сталину лично, якобы для переговоров, и убить его из специальной авторучки, — рейхсфюрер перехватил эту идею, вошел с ней первым к Гитлеру и приказал Шелленбергу подготовить двух агентов. Один из этих агентов, как он утверждал, знал родственников механика в гараже Сталина.

С коротковолновыми приемниками, сделанными в форме коробки папирос «Казбек», два агента были заброшены через линию фронта в Россию.

(Фон Штирлиц знал, когда эти люди должны были вылететь за линию фронта. Москва была предупреждена, агенты схвачены.)

Провалы в работе Шелленберга компенсировались его умением перспективно мыслить и четко анализировать ситуацию. Именно Шелленберг еще в середине 1944 года сказал Гиммлеру, что самой опасной для него фигурой на ближайший год будет не Герман Геринг, не Геббельс и даже не Борман.

— Шпеер, — сказал он. — Шпеер будет нашим самым главным противником. Шпеер — это внутренняя информация об индустрии и обороне. Шпеер — обергруппенфюрер СС. Шпеер — это министерство вооружения, это тыл и фронт, это в первую голову концерн ИГ, следовательно, прямая традиционная связь с Америкой. Шпеер связан со Шверин фон Крозиком. Это — финансы. Шверин фон Крозик редко когда скрывает свою оппозицию практике фюрера. Не идее фюрера, а именно его практике. Шпеер — это молчаливое могущество. Та группа индустрии, которая сейчас создана и которая занимается планами послевоенного возрождения Германии, — это мозг, сердце и руки будущего. Я знаю, чем сейчас заняты наши промышленники, сплотившиеся вокруг Шпеера. Они заняты двумя проблемами: как выжать максимум прибыли и как эти прибыли перевести в западные банки.

Выслушав эти доводы Шелленберга, Гиммлер впервые задумался о том, что ключ к тайне, которую нес в себе

Шпеер, он сможет найти, завладев архивом Бормана, ибо если связи промышленников с нейтралами и с Америкой использует не он, Гиммлер, то наверняка их мог использовать Борман.

18.2.1945 (11 часов 46 минут)

Шелленберг увидел Штирлица в приемной рейхсфюрера.

— Вы — следующий, — сказал Штирлицу дежурный адъютант, пропуская к Гиммлеру начальника хозяйственного управления СС генерала Поля, — я думаю, обергруппенфюрер ненадолго: у него локальные вопросы.

— Здравствуйте, Штирлиц, — сказал Шелленберг. — Я ищу вас.

— Добрый день, — ответил Штирлиц, — что вы такой серый? Устали?

— Заметно?

— Очень.

— Пойдемте ко мне, вы нужны мне сейчас.

— Я вчера просил приема у рейхсфюрера.

— Что за вопрос?

— Личный.

— Вы придете через час-полтора, — сказал Шелленберг, — попросите перенести прием, рейхсфюрер будет здесь до конца дня.

— Хорошо, — проворчал Штирлиц, — только боюсь, это неудобно.

— Я забираю фон Штирлица, — сказал дежурному адъютанту Шелленберг, — перенесите, пожалуйста, прием на вечер.

— Есть, бригадефюрер!

Шелленберг взял Штирлица под руку и, выходя из кабинета, весело шепнул:

— Каков голос, а? Он рапортует, словно актер оперетты, голосом из живота и с явным желанием понравиться.

— Я всегда жалею адъютантов, — сказал Штирлиц, — им постоянно нужно сохранять многозначительность: иначе люди поймут их ненужность.

— Вы не правы. Адъютант очень нужен. Он вроде красивой охотничьей собаки: и поговорить можно между делом, и, если хорош экстерьер, другие охотники будут завидовать.

— Я, правда, знал одного адъютанта, — продолжал

Штирлиц, пока они шли по коридорам, — который выполнял роль импрессарио: он всем рассказывал о гениальности своего хозяина. В конце концов ему устроили автомобильную катастрофу: слишком уж был певуч, раздражало...

Шелленберг засмеялся:

— Выдумали или правда?

— Конечно, выдумал...

Около выхода на центральную лестницу им повстречался Мюллер.

— Хайль Гитлер, друзья! — сказал он.

— Хайль Гитлер, дружище, — ответил Шелленберг.

— Хайль, — ответил Штирлиц, не поднимая руки.

— Рад видеть вас, чертей, — сказал Мюллер, — снова затеваете какое-нибудь очередное коварство?

— Затеваем, — ответил Шелленберг, — почему ж нет?

— С вашим коварством никакое наше не сравнится, — сказал Штирлиц, — мы агнцы божьи в сравнении с вами.

— Это со мной-то? — удивился Мюллер. — А впрочем, это даже приятно, когда тебя считают дьяволом. Люди умирают, память о них остается.

Мюллер дружески похлопал по плечу Шелленберга и Штирлица и зашел в кабинет одного из своих сотрудников: он любил заходить к ним в кабинеты без предупреждения и особенно во время скучных допросов.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ (ЧЕРЧИЛЛЬ)

Когда Гитлер в последние месяцы войны повторял как заклинание, что вопрос крушения англо-советско-американского союза есть вопрос недель, когда он уверял всех, что Запад еще обратится за помощью к немцам после решающего поражения, многим казалось это проявлением характера фюрера — до конца верить в то, что создало его воображение. Однако в данном случае Гитлер опирался на факты: разведка Бормана еще в середине 1944 года добыла в Лондоне документ особой секретности. В этом документе, в частности, были следующие строки, принадлежавшие Уинстону Черчиллю: «Произошла бы страшная катастрофа, если бы русское варварство уничтожило культуру и независимость древнейших европейских государств». Он писал это в своем секретном меморандуме в октябре 1942 года, когда рус-

ские были не в Польше, а под Сталинградом, не в Румынии, а возле Смоленска, не в Югославии, а под Харьковом.

Вероятно, Гитлер не издавал бы приказов, карающих всякие попытки переговоров немедленной смертью, узнай он о том яростном борении мнений, которое существовало в 1943—1944 годах между англичанами и американцами по поводу направления главного удара союзных армий. Черчилль настаивал на высадке войск на Балканах. Он мотивировал эту необходимость следующим: «Вопрос стоит так: готовы ли мы примириться с коммунизацией Балкан и, возможно, Италии? Надо точно отдавать себе отчет о тех преимуществах, которые получат западные демократии, если их армии оккупируют Будапешт и Вену и освободят Прагу и Варшаву...»

Трезводумающие американцы понимали, что попытки Черчилля навязать основной удар по Гитлеру не во Франции, а на Балканах сугубо эгоистичны. Они отдавали себе отчет в том, что победа точки зрения Черчилля сделает Великобританию гегемоном на Средиземном море. Следовательно, именно Великобритания оказалась бы хозяином Африки, арабского Востока, Италии, Югославии и Греции. Баланс сил, таким образом, сложился бы явно не в пользу Соединенных Штатов — и высадка была намечена во Франции.

Политик осторожный и смелый, Черчилль мог бы, при определенных критических обстоятельствах, вступить в контакты с теми, кто стоял в оппозиции к фюреру, для создания единого фронта, способного противостоять рывку русских к берегам Атлантики, чего Черчилль более всего опасался. Однако таких сил после уничтожения заговорщиков летом 1944 года в Германии не оставалось. Но, считал Черчилль, всякий осторожный «роман» с теми из руководства рейха, кто пытался бы осуществить капитуляцию армий вермахта на западе, был хотя и мало реален — в силу твердой позиции Рузвельта и прорусских настроений во всем мире, — однако этот «роман» позволял бы ему проводить более жесткую политику по отношению к Сталину, особенно в польском и греческом вопросах.

И когда военная разведка доложила Черчиллю о том, что немцы ищут контактов с союзниками, он ответил:

— Британию могут обвинить в медлительности, дерзости, в юмористической аналитичности... Однако Британию никто не может обвинить в коварстве, и я молю

бога, чтобы нас никогда не смогли обвинить в этом. Однако, — добавил он, и глаза его сделались стальными, и только где-то в самой их глубине метались искорки смеха, — я всегда просил проводить точную грань между дипломатической игрой, обращенной на укрепление содружества наций, и — прямым, неразумным коварством. Только азиаты могут считать тонкую и сложную дипломатическую игру — коварством...

— Но в случае целесообразности игра может оказаться не игрой, а более серьезной акцией? — спросил помощник шефа разведки.

— По-вашему, игра — это несерьезно? Игра — это самое серьезное, что есть в мире. Игра и живопись. Все остальное суетно и мелко, — ответил Черчилль. Он лежал в постели, он еще не поднялся после своего традиционного дневного сна, и поэтому настроение у него было благодушное и веселое. — Политика в таком виде, в каком мы привыкли воспринимать ее, умерла. На смену локальной политике элегантных операций в том или ином районе мира пришла глобальная политика. Это уже не своеволие личности, это уже не эгоистическая устремленность той или иной группы людей, это наука точная, как математика, и опасная, как экспериментальная радиация в медицине. Глобальная политика принесет неисчислимые трагедии малым странам; это политика поломанных интеллектов и погибших талантов. Глобальной политике будут подчинены живописцы и астрономы, лифтеры и математики, короли и гении. — Черчилль поправил плед и добавил: — Соединение в одном периоде короля и гения отнюдь не обращено против короля; противопоставление, заключенное в этом периоде, случайно, а не целенаправленно. Глобальная политика будет предполагать такие неожиданные альянсы, такие парадоксальные повороты в стратегии, что мое обращение к Сталину 22 июня 1941 года будет казаться верхом логики и последовательности. Впрочем, мое обращение было логичным, вопрос последовательности вторичен. Главное — интересы Британской империи, все остальное будет прощено историей...

18.2.1945 (12 часов 09 минут)

— Здравствуйте, фрау Кин, — сказал человек, склонившись к изголовью кровати.

— Здравствуйте, — ответила Кэт чуть слышно. Ей

еще было трудно говорить, в голове все время шумело, каждое движение вызывало тошноту. Она успокаивалась только после кормления. Мальчик засыпал, и она забывалась вместе с ним. А когда она открывала глаза, перед тем как все снова начинало вертеться в голове и менять цвета, душная тошнота подступала к горлу. Каждый раз, увидев своего мальчика, она испытывала незнакомое ей доныне чувство. Это чувство было странным, и она не могла объяснить себе, что это такое. Все в ней смешалось — и страх, и ощущение полета, и какая-то неосознанная хвастливая гордость, и высокое, недоступное ей раньше спокойствие.

— Я хотел бы задать вам несколько вопросов, фрау Кин, — продолжал человек, — вы меня слышите?

— Да.

— Я не стану вас долго тревожить...

— Откуда вы?

— Я из страховой компании...

— Моего мужа... больше нет?

— Я попросил бы вас вспомнить: когда упала бомба, где он находился?

— Он был в ванной комнате.

— У вас еще оставались брикеты? Это ведь такой дефицит? Мы у себя в компании так мерзнем...

— Он купил... несколько штук... по случаю...

— Вы не устали?

— Его... нет?

— Я принес вам печальную новость, фрау Кин. Его больше нет... Мы помогаем всем, кто пострадал во время этих варварских налетов. Какую помощь вы хотели бы получить, пока находитесь в больнице? Питанием, вероятно, вас обеспечивают, одежду мы приготовим ко времени вашего выхода: и вам и младенцу... Какой очаровательный карапуз... Девочка?

— Мальчик.

— Крикун?

— Нет... Я даже не слышала его голоса.

Она вдруг забеспокоилась из-за того, что ни разу не слышала голоса сына.

— Они должны часто кричать? — спросила она. — Вы не знаете?

— Мои орали ужасно, — ответил мужчина, — у меня лопались перепонки от их воплей. Но мои рождались худенькими, а ваш — богатырь. А богатыри все молчуны... Фрау Кин, простите, если вы еще не очень устали,

я бы хотел спросить вас: на какую сумму было застраховано ваше имущество?

— Я не знаю... Этим занимался муж...

— И в каком отделении вы застрахованы — тоже, видимо, не помните?

— Кажется, на Кудам.

— Ага, это двадцать седьмое отделение. Уже значительно проще навести справки...

Человек записал все это в свою потрепанную книжечку; снова откашлявшись, склонился к лицу Кэт и совсем тихо сказал:

— А вот плакать и волноваться молодой маме нельзя никак. Поверьте отцу троих детей. Это все немедленно скажется на животике маленького, и вы услышите его бас. Вы не имеете права думать только о себе, это время теперь для вас кончилось раз и навсегда. Сейчас вы должны прежде всего думать о вашем карапузике...

— Я не буду, — шепнула Кэт и притронулась ледяными пальцами к его теплой, влажной руке, — спасибо вам...

— Где ваши родные? Наша компания поможет им приехать к вам. Мы оплачиваем проезд и предоставляем жилье. Конечно, вы понимаете, что гостиницы частью разбиты, а частью отданы военным. Но у нас есть частные комнаты. Ваши родные не будут на нас в обиде. Куда следует написать?

— Мои родные остались в Кенигсберге, — ответила Кэт, — я не знаю, что с ними.

— А родственники мужа? Кому сообщить о несчастье?

— Его родственники живут в Швеции. Но им писать неудобно: дядя мужа — большой друг Германии, и нас просили не писать ему... Мы посылали письма с оказией или через посольство.

— Вы не помните адрес?

В это время заплакал мальчик.

— Простите, — сказала Кэт, — я покормлю его, а после скажу вам адрес.

— Не смею мешать, — сказал человек и вышел из палаты.

Кэт посмотрела ему вслед и медленно сглотнула тяжелый комок в горле. Голова по-прежнему болела, но тошноты она не чувствовала. Она не успела по-настоящему продумать вопросы, которые ей только что задавали, потому что малыш начал сосать, и все тревожное,

но чаще всего далекое-далекое, чужое — ушло. Остался только мальчик, который жадно сосал грудь и быстро шевелил ручками: она распеленала его и смотрела, какой он большой, красный, весь словно перевязанный ниточками.

Потом она вдруг вспомнила, что еще вчера лежала в большой палате, где было много женщин, и им всем приносили детей в одно и то же время, и в палате стоял писк, который она воспринимала откуда-то издалека.

«Почему я одна здесь? — вдруг подумала Кэт. — Где я?»

Человек пришел через полчаса. Он долго любовался спящим мальчиком, а потом достал из папки фотографии, разложил их на коленях и спросил:

— Пока я буду записывать адрес вашего дяди, пожалуйста, взгляните, нет ли здесь ваших вещей. После бомбежки часть вещей из вашего дома удалось найти: знаете, в вашем горе даже один чемодан уже подспорье. Что-то можно будет продать, купите для малыша самое необходимое. Мы, конечно, постараемся все приготовить к вашему выходу, но все-таки...

— Франц Паакенен, Густав Георгплац, 25. Стокгольм.

— Спасибо. Вы не утомились?

— Немного утомилась, — ответила Кэт, потому что среди аккуратно расставленных чемоданов и ящиков на улице, возле развалин их дома, стоял большой чемодан — его нельзя было спутать с другими. В этом чемодане у Эрвина хранилась радиостанция...

— Посмотрите внимательно, и я откланяюсь, — сказал человек, протягивая ей фотографию.

— По-моему, нет, — ответила Кэт, — здесь наших чемоданов нет.

— Ну, спасибо, тогда этот вопрос будем считать решенным, — сказал человек, осторожно спрятал фотографию в портфель и, поклонившись, поднялся. — Через день-другой я загляну к вам и сообщу результаты моих хлопот. Комиссионные, которые я беру — что поделаешь, такое время! — крайне незначительны...

— Я буду вам очень признательна, — ответила Кэт.

Следователь районного отделения гестапо сразу же отправил на экспертизу отпечатки пальцев Кэт: фотографию, на которой были чемоданы, заранее покрыли в лаборатории специальным составом. Отпечатки пальцев на радиопередатчике, вмонтированном в чемодан, были

уже готовы. Выяснилось, что на чемодане с радиостанцией были отпечатки пальцев, принадлежавшие трем разным людям. Вторую справку следователь направил в VI управление имперской безопасности: он запрашивал все относящееся к жизни и деятельности шведского подданного Франца Паакенена.

18.2.1945 (12 часов 17 минут)

Айсман долго расхаживал по своему кабинету. Он ходил быстро, заложив руки за спину, все время чувствуя, что ему недостает чего-то очень привычного и существенного. Это мешало ему сосредоточиться; он отвлекался от главного, он не мог до конца проанализировать то, что его мучило, — почему Штирлиц попал под «колпак»?

Наконец, когда натужно, выматывающе завыли сирены воздушной тревоги, Айсман понял: ему недоставало бомбежки. Война стала бытом, тишина казалась опасной и несла в себе больше затаенного страха, чем бомбежка.

«Слава богу, — подумал Айсман, когда сирена, проплакав, смолкла и наступила тишина. — Теперь можно сесть и работать. Сейчас все уйдут, и я смогу сидеть и думать, и никто не будет входить ко мне с дурацкими вопросами и дикими предположениями...»

Айсман сел к столу и начал листать дело протестантского священника Фрица Шлага, арестованного летом 1944 года по подозрению в антигосударственной деятельности. Постановлению на арест предшествовали два доноса: Барбары Крайн и Роберта Ниче. Оба они были прихожанами его кирхи, и в их доносах говорилось о том, что в проповедях пастор Шлаг призывает к миру и к братству со всеми народами, осуждает варварство войны и неразумность кровопролития. Объективная проверка установила, что пастор несколько раз встречался с бывшим канцлером Брюнингом, который сейчас жил в эмиграции, с министром Виртом. У них еще в двадцатых годах наладились добрые отношения, однако никаких данных, указывающих на связь пастора с эмигрировавшим канцлером, в деле не имелось, несмотря на самую тщательную проверку — как здесь, в Германии, так и в Швейцарии.

Айсман недоумевал — отчего пастор Шлаг попал в разведку? Почему он не был отправлен в гестапо? Отчего им заинтересовались люди Шелленберга? Он нашел для себя ответ в короткой справке, приобщенной к делу:

пастор дважды в 1933 году выезжал в Великобританию и Швейцарию для участия в конгрессах пацифистов.

«Они заинтересовались его связями, — понял Айсман, — им было интересно, с кем он там контактовался. Поэтому его взяли к себе люди из разведки, поэтому его и передали Штирлицу. При чем здесь Штирлиц? Ему поручили — он выполнил...»

Айсман пролистал дело: допросы были коротки и лаконичны. Он хотел объективности ради сделать какие-то выписки, с тем чтобы его заключение было мотивированным и документальным, но выписывать было практически нечего. Допрос был проведен в манере, не похожей на обычную манеру Штирлица: никакого блеска, сплошная казенщина и прямолинейность.

Айсман позвонил в специальную картотеку и попросил техническую запись допроса пастора Шлага штандартенфюрером Штирлицем 29 сентября 1944 года.

«— Хочу вас предупредить: вы арестованы, а для того, кто попал в руки правосудия национал-социализма, призванного карать виновных и защищать народ от скверны, выход отсюда к нормальной жизни и деятельности практически невозможен. Невозможна также нормальная жизнь ваших родных. Оговариваюсь: все это возможно при том условии, если, во-первых, вы, признав свою вину, выступите с разоблачением остальных деятелей церкви, которые не лояльны по отношению к нашему государству, и, во-вторых, в дальнейшем будете помогать нашей работе. Вы принимаете эти предложения?

— Я должен подумать.

— Сколько времени вам нужно на раздумье?

— Сколько времени нужно человеку, чтобы приготовиться к смерти? Ваше предложение неприемлемо.

— Я предлагаю вам еще раз вернуться к моему предложению. Вы говорите, что вы в том и другом случае конченый человек, но разве вы не являетесь патриотом Германии?

— Являюсь. Но что понимать под «патриотом Германии»?

— Верность нашей идеологии.

— Идеология — это еще не страна.

— Во всяком случае, наша страна живет идеологией

фюрера. Разве не есть ваш долг, долг духовного пастыря, быть с народом, который исповедует нашу идеологию?

— Если бы я вел с вами равный спор, я бы знал, что ответить на это.

— А я приглашаю вас к равному спору.

— Быть с народом — это одно, а чувствовать себя в том положении, когда ты поступаешь по справедливости и по вере, — другое. Эти вещи могут совпадать и могут не совпадать. В данном случае вы мне предлагаете выход не тот, который соответствует моему убеждению. Вы собираетесь меня использовать как момент приложения каких-то сил, с тем чтобы я вам подписал какое-то заявление. Облекаете же вы это предложение в такую форму, как будто видите во мне личность. Зачем же вы говорите со мной как с личностью, когда вы предлагаете мне быть рычагом? Так и скажите: или мы тебя убьем, или подпиши эту бумагу. А куда идет немецкий народ, на каком языке он говорит, мне не важно, ибо, по существу, я уже мертвец.

— Это неправильно. Неправильно по следующим причинам. Я не прошу вас подписывать никакой бумаги. Допустим, я снимаю свой первый вопрос, свое первое предложение о вашем открытом выступлении в прессе и по радио, в котором вы выскажетесь против своих собратьев по религии, оппозиционных нашему режиму. Я просил бы вас сначала прийти к моей правде национал-социализма, а потом, если вы найдете для себя возможность согласиться с этой правдой, помогать нам в той мере, в какой вы поверите в нашу истину.

— Если вопрос стоит так — попробуйте меня убедить в том, что национал-социализм дает человеку больше, чем что бы то ни было другое.

— Я готов. Но ведь национал-социализм — это наше государство, государство, ведомое великими идеями фюрера, в то время как альтернативой этому государству вы, люди веры, ничего не предлагаете. Вы предлагаете только моральное совершенство.

— Совершенно точно.

— Но ведь не только моральным совершенством жив человек, хотя он жив и не только хлебом единым. Значит, мы хотим блага нашему народу. Давайте будем считать это первым шагом на том пути, который потом приведет к дальнейшему моральному совершенствованию нашей нации.

— Хорошо, в таком случае я спрошу вас об одном:

концлагеря или допросы, подобные тому, какой вы ведете в отношении меня, духовного лица, есть неизбежное следствие вашей государственности?

— Бесспорно, ибо мы оберегаем вас от гнева нашей нации, которая, узнав, что вы являетесь противником фюрера, противником нашей идеологии, подвергнет вас физическому уничтожению.

— Но где же начало, а где следствие? Откуда появляется гнев нации, и является ли гнев нации необходимой чертой того режима, который вы проповедуете? Если — да, то с каких пор гнев стал самостоятельным положительным фактором? Это не гнев, это реакция на зло. Если гнев у вас лежит в основании, если гнев у вас есть причина, а все остальное следствие, одним словом, если вы зло вводите в причину, то почему вы хотите меня убедить, что зло — это благо?

— Нет, «зло» — это сказали вы, а я сказал — «ненависть народа». Ненависть народа, который впервые за много лет унизительного Версальского договора, после засилия еврейских банкиров и лавочников получил возможность спокойной жизни. Народ гневается, когда кто-то, пускай даже духовное лицо, пытается подвергнуть сомнению те великие завоевания, которые принесла наша партия, ведомая великим фюрером.

— Очень хорошо... Спокойно жить и воевать — это одно и то же?

— Мы воюем только для того, чтобы обеспечить себе жизненное пространство.

— А держать четверть населения в концлагерях — это благо или это та самая гармоническая жизнь, за которую я должен положить живот свой?

— Вы ошибаетесь. В наших концлагерях, которые, кстати говоря, не являются орудием уничтожения, — это вы пользуетесь, очевидно, сведениями, почерпнутыми из вражеских источников, — содержится отнюдь не четверть страны. И потом, на воротах каждого нашего концлагеря написано: «Работа делает свободным». Мы в концлагерях перевоспитываем заблудших, но, естественно, те, которые не заблуждались, но были нашими врагами, те подлежат уничтожению.

— Значит, вы решаете, кто перед вами виноват, кто — нет?

— Бесспорно.

— Значит, вы заранее знаете, чего хочет данный человек, где он ошибается, а где нет?

— Мы знаем, чего хочет народ.

— Народ. Из кого состоит народ?

— Из людей.

— Как же вы знаете, чего хочет народ, не зная, чего хочет каждый человек? Вернее, зная заранее, чего он хочет, диктуя ему, предписывая? Это уже химера.

— Вы не правы. Народ хочет хорошей пищи...

— И войны за нее?

— Подождите. Хорошей пищи, хорошего дома, автомобиля, радости в семье и — войны за это свое счастье! Да, войны!

— И еще он хочет, чтобы инакомыслящие сидели в лагерях? Если одно вытекает из другого с неизбежностью, значит, что-то неправильно в нашем счастье, ибо счастье, которое добывается таким способом, уже не может быть, с моей точки зрения, чистым. Я, может быть, смотрю на вещи иначе, чем вы. Наверное, с вашей точки зрения, цель оправдывает средство?

— Вы, как пастырь, видимо, не подвергаете ревизии все развитие христианства? Или вы все же позволяете себе подвергать остракизму отдельные периоды в развитии христианского учения? В частности, инквизицию?

— Я знаю, что вам ответить. Разумеется, инквизиция была в истории христианства. Между прочим, с моей точки зрения, падение испанцев как нации было связано с тем, что они подменили цель средством. Инквизиция, которая первоначально была утверждена как средство очищения веры, постепенно превратилась в самоцель. То есть само очищение, само аутодафе, сама эта жестокость, само это преследование инакомыслящих, которое первоначально задумывалось как очищение верой, постепенно стало ставить зло перед собой как самоцель.

— Понятно. Скажите, а как часто в истории христианства инакомыслящие уничтожались церковью во имя того, естественно, чтобы остальной пастве лучше жилось?

— Я вас понял. Уничтожались, как правило, еретики. А все ереси в истории христианства — суть бунты, которые основывались на материальном интересе. Все ереси в христианстве проповедуют идею неравенства, в то время как Христос проповедовал идею равенства. Подавляющее большинство ересей в истории христианства строилось на том основании, что богатый не равен бедному, что бедный должен уничтожить богатого либо стать

богатым и сесть на его место, между тем как идея Христа состояла в том, что нет разницы в принципе между человеком и человеком и что богатство так же преходяще, как бедность. В то время как Христос пытался умиротворить людей, все ереси взывали к крови. Между прочим, идея зла — это, как правило, принадлежность еретических учений, и церковь выступала против ересей во имя того, чтобы насилие не вводилось в нравственный кодекс христианства.

— Правильно. Но, выступая против ереси, которая предполагала насилие, церковь допускала насилие?

— Допускала, но не делала его целью и не оправдывала его в принципе.

— Насилие против ереси допускалось в течение, по-моему, восьми-девяти веков, не так ли? Значит, восемьсот — девятьсот лет насиловали ради того, чтобы искоренить насилие. Мы пришли к власти в 1933 году. Чего же вы хотите от нас? За одиннадцать лет мы ликвидировали безработицу, за одиннадцать лет мы накормили всех немцев, да — насилуя инакомыслящих! А вы мешаете нам — словесно! Но если вы такой убежденный противник нашего режима, не было бы для вас более целесообразным опираться на материальное, а не духовное? В частности, попробовать организовать какую-то антигосударственную группу среди своих прихожан и работать против нас? Листовками, саботажем, диверсиями, вооруженными выступлениями против определенных представителей власти?

— Нет, я никогда не пошел бы на этот путь по той простой причине... не потому, что я боюсь чего бы то ни было... Просто этот путь кажется мне в принципе неприемлемым, потому что, если я начну против вас применять ваши методы, я невольно стану похожим на вас.

— Значит, если к вам придет молодой человек из вашей паствы и скажет: «Святой отец, я не согласен с режимом и хочу бороться против него...»

— Я не буду ему мешать.

— Он скажет: «Я хочу убить гауляйтера». А у гауляйтера трое детей, девочки: два года, пять лет и девять лет. И жена, у которой парализованы ноги. Как вы поступите?

— Я не знаю.

— И если я спрошу вас об этом человеке, вы не скажете мне ничего? Вы не спасете жизнь трех маленьких девочек и больной женщины? Или вы поможете мне?

— Нет, я ничего вам не буду говорить, ибо, спасая жизнь одним, можно неизбежно погубить жизнь других. Когда идет такая бесчеловечная борьба, всякий активный шаг может привести лишь к новой крови. Единственный путь поведения духовного лица в данном случае — устраниться от жестокости, не становиться на сторону палача. К сожалению, это путь пассивный, но всякий активный путь в данном случае ведет к нарастанию крови.

— Я убежден, если в гестапо к вам применят третью степень допроса — это будет мучительно и больно, — вы все-таки назовете фамилию того человека.

— Вы хотите сказать, что, если превратите меня в животное, обезумевшее от боли, я сделаю то, что вам нужно? Возможно, что я это и сделаю. Но это буду уже не я. В таком случае, зачем вам понадобилось вести этот разговор? Применяйте ко мне то, что вам нужно, используйте меня как животное или как машину...

— Скажите, а если бы к вам обратились люди — злые враги, безумцы — с просьбой поехать за рубеж, в Великобританию, Швецию или Швейцарию, и стать посредником, передать какое-либо письмо, эта просьба оказалась бы для вас осуществимой?

— Быть посредником — естественное для меня состояние.

— Почему так?

— Потому что посредничество между людьми в их отношениях к Богу — мой долг. А отношение человека к Богу нужно только для того, чтобы он чувствовал себя человеком в полном смысле слова. Поэтому я не отделяю отношение человека к Богу от отношения человека к другому человеку. В принципе это одно и то же отношение — отношение единства. Поэтому всякое посредничество между людьми в принципе является для меня естественным. Единственное условие, которое я для себя при этом ставлю, чтобы это посредничество вело к добру и осуществлялось добрыми средствами.

— Даже если посредничество было бы злом для нашего государства?

— Вы вынуждаете меня давать общие оценки. Вы прекрасно понимаете, что, если государство строится на насилии, я, как духовное лицо, не могу одобрять его в принципе. Конечно, я хотел бы, чтобы люди жили иначе, чем они живут. Но если бы я знал, как этого добиться! В принципе я хотел бы, чтобы те люди, которые сейчас

составляют национал-социалистское государство, остались живы и все составляли бы какое-то иное единство. Мне не хотелось бы никого убивать.

— По-моему, предательство страшно, но еще страшнее равнодушное и пассивное наблюдение за тем, как происходит и предательство и убийство.

— В таком случае, может быть только одно участие в этом: прекращение убийства.

— Сие от вас не зависит.

— Не зависит. А что вы называете предательством?

— Предательство — это пассивность.

— Нет, пассивность — это еще не предательство.

— Это страшнее предательства...»

Шелленберг сказал:

— Это были тонные бомбы, не меньше.

— Видимо, — согласился Штирлиц. Он сейчас испытывал острое желание выйти из кабинета и немедленно сжечь ту бумагу, которая лежала у него в папке — рапорт Гиммлеру о переговорах «изменников СД» с Западом. «Эта хитрость Шелленберга, — думал Штирлиц, — не так проста, как кажется. Пастор, видимо, интересовал его с самого начала. Как фигура прикрытия в будущем. То, что пастор понадобился именно сейчас,— симптоматично. И без ведома Гиммлера он бы на это не пошел!» Но Штирлиц понимал, что он должен не спеша, пошучивая, обговаривать с Шелленбергом все детали предстоящей операции.

— По-моему, улетают, — сказал Шелленберг, прислушиваясь. — Или нет?

— Улетают, чтобы взять новый запас бомб...

— Нет, эти сейчас будут развлекаться на базах. У них хватает самолетов, чтобы бомбить нас беспрерывно... Так, значит, вы считаете, что пастор, если мы возьмем его сестру с детьми как заложников, обязательно вернется?

— Обязательно...

— И будет по возвращении молчать на допросе у Мюллера о том, что именно вы просили его поехать туда в поиске контактов?

— Не убежден. Смотря кто его будет допрашивать.

— Лучше, чтобы у вас остались магнитофонные ленты с его беседами, а он... так сказать, сыграл в ящик при бомбежке?

— Подумаю.

— Долго хотите думать?

— Я бы просил разрешить повертеть эту идею как следует.

— Сколько времени вы собираетесь «вертеть идею»?

— Постараюсь к вечеру кое-что предложить.

— Хорошо, — сказал Шелленберг. — Улетели все-таки... Хотите кофе?

— Очень хочу, но только когда кончу дело.

— Хорошо. Я рад, что вы так точно все поняли, Штирлиц. Это будет хороший урок Мюллеру. Он стал хамить. Даже рейхсфюреру. Мы сделаем его работу и утрем ему нос. Мы очень поможем рейхсфюреру.

— А рейхсфюрер не знает об этом?

— Нет... Скажем так — нет. Ясно? А вообще мне очень приятно работать с вами.

— Мне тоже.

Шелленберг проводил штандартенфюрера до двери и, пожав ему руку, сказал:

— Если все будет хорошо, сможете поехать дней на пять в горы: там сейчас прекрасный отдых — снег голубой, загар коричневый... Боже, прелесть какая, а? Как же много мы забыли с вами во время войны!

— Прежде всего, мы забыли самих себя, — ответил Штирлиц, — как пальто в гардеробе после крепкой попойки на Пасху.

— Да, да, — вздохнул Шелленберг, — как пальто в гардеробе... Стихи давно перестали писать?

— И не начинал вовсе.

Шелленберг погрозил ему пальцем:

— Маленькая ложь рождает большое недоверие, Штирлиц.

— Могу поклясться, — улыбнулся Штирлиц, — все писал, кроме стихов: у меня идиосинкразия к рифме.

18.2.1945 (13 часов 53 минуты)

Уничтожив свое письмо к Гиммлеру и доложив адъютанту рейхсфюрера, что все вопросы решены у Шелленберга, Штирлиц вышел из дома на Принц-Альбрехтштрассе и медленно пошел к Шпрее. Тротуар был подметен, хотя еще ночью здесь был завал битого кирпича: бомбили теперь каждой ночью по два, а то и по три раза.

«Я был на грани провала, — думал Штирлиц. — Когда Шелленберг поручил мне заняться пастором Шлагом,

его интересовал бывший канцлер Брюнинг, который сейчас живет в эмиграции в Швейцарии. Его волновали связи, которые могли быть у пастора. Поэтому Шелленберг так легко пошел на освобождение старика, когда я сказал, что он станет сотрудничать с нами. Он смотрел дальше, чем я. Он рассчитывал, что пастор станет подставной фигурой в их серьезной игре. Как пастор может войти в операцию Вольфа? Что это за операция? Почему Шелленберг сказал о поездке Вольфа в Швейцарию, включив радио? Если он боится произнести это громко, то, значит, обергруппенфюрер Карл Вольф наделен всеми полномочиями: у него ранг в СС, как у Риббентропа или Фегеляйна. Шелленберг не мог не сказать про Вольфа — иначе я бы задал ему вопрос: «Как можно готовить операцию, играя втемную?» Неужели Запад хочет сесть за стол с Гиммлером? В общем-то, за Гиммлером — сила, это они понимают. Это немыслимо, если они сядут за один стол! Ладно... Пастор будет приманкой, прикрытием, так они все задумали. Но они, верно, не учли, что Шлаг имеет там сильные связи. Значит, я должен так сориентировать старика, чтобы он использовал свое влияние против тех, кто — моими руками — отправит его туда. Я-то думал использовать его в качестве запасного канала связи, но ему, вероятно, предстоит сыграть более ответственную роль. Если я снабжу его своей легендой, а не текстом Шелленберга, к нему придут и из Ватикана, и от англо-американцев. Ясно. Я должен подготовить ему такую легенду, которая вызовет к нему серьезный интерес, контринтерес по отношению ко всем другим немцам, прибывшим или собирающимся прибыть туда. Значит, сейчас мне важна легенда для него — во-первых, и имена тех, кого он представляет здесь — как оппозицию Гитлеру и Гиммлеру, — во-вторых».

Штирлиц долго сидел за рюмкой коньяку, спустившись в «Вайнштюбе». Здесь было тихо, и никто не отвлекал его от раздумий.

«Один Шлаг — это и много и мало. Мне нужна страховка. Кто? — думал Штирлиц. — Кто же?»

Он закурил, положил сигарету в пепельницу и сжал пальцами стакан с горячим грогом. «Откуда у них столько вина? Единственное, что продается без карточек, — вино и коньяк. Впрочем, от немцев можно ожидать чего угодно, только одно им не грозит — спиваться они не умеют. Да, мне нужен человек, который ненавидит эту

банду. И который может быть не просто связным. Мне нужна личность...»

Такой человек у Штирлица был. Главный врач госпиталя имени Коха Плейшнер помогал Штирлицу с сорок первого года. Антифашист, ненавидевший гитлеровцев, он был поразительно смел и хладнокровен. Штирлиц порой не мог понять, откуда у этого блистательного врача, ученого, интеллектуала столько яростной, молчаливой ненависти к нацистскому режиму. Когда он говорил о фюрере, лицо его делалось похожим на маску. Гуго Плейшнер несколько раз проводил вместе со Штирлицем великолепные операции: они спасли от провала группу советской разведки в сорок втором году, они достали особо секретные материалы о готовящемся наступлении вермахта в Крыму, и Плейшнер переправил их в Москву, получив разрешение гестапо на выезд в Швецию с лекциями в университете.

Он умер внезапно полгода назад от паралича сердца. Его старший брат, профессор Плейшнер, в прошлом проректор Кильского университета, после превентивного заключения в концлагере Дахау вернулся домой тихим, молчаливым, с замершей на губах послушной улыбкой. Жена ушла от него вскоре после ареста — родственники настояли на этом: младший ее брат получил назначение советником по экономическим вопросам в посольство рейха в Испании. Молодого человека считали перспективным, к нему благоволили и в МИДе, и в аппарате НСДАП, поэтому семейный совет поставил перед фрау Плейшнер дилемму: либо отмежеваться от врага государства, ее мужа, либо, если ей дороже ее эгоистические интересы, она будет подвергнута семейному суду, и все родственники через прессу объявят о полном с ней разрыве, как с женой «врага нации».

Фрау Плейшнер была моложе профессора на десять лет: ей было сорок два. Она любила мужа — они вместе путешествовали по Африке и Азии, там профессор занимался раскопками, уезжая на лето в экспедиции с археологами из берлинского музея «Пергамон». Она поначалу отказалась отмежеваться от мужа, и многие в ее семейном клане — это были люди, связанные на протяжении последних ста лет с текстильной торговлей, — потребовали открытого с ней разрыва. Однако Франц фон Энс, младший брат фрау Плейшнер, отговорил родственников от этого публичного скандала. «Все равно, — объяснил он, — этим воспользуются наши вра-

ги. Зависть безмерна, и мне еще этот скандал аукнется. Нет, лучше все сделать тихо и аккуратно».

Он привел к фрау Плейшнер своего приятеля из клуба яхтсменов. Тридцатилетнего красавца звали Гетц. Над ним подшучивали: «Гетц на Берлихинген». Он был красив в такой же мере, как и глуп. Франц знал: он живет на содержании у стареющих женщин. Втроем они посидели в маленьком ресторане, и, наблюдая за тем, как вел себя Гетц, Франц фон Энс успокоился. Дурак-то он дурак, но партию свою отрабатывал точно, по установившимся штампам, а коль скоро штампы создались, надо было доводить их до совершенства. Гетц был молчалив, хмур и могуч. Раза два он рассказал смешные анекдоты. Потом сдержанно пригласил фрау Плейшнер потанцевать. Наблюдая за ними, Франц презрительно и самодовольно щурился: сестра тихо смеялась, а Гетц, прижимая ее к себе все теснее и теснее, что-то шептал ей на ухо.

Через два дня Гетц переехал в квартиру профессора. Он пожил там неделю — до первой полицейской проверки. Фрау Плейшнер пришла к брату со слезами: «Верни мне его, это ужасно, что мы не вместе». Назавтра она подала прошение о разводе с мужем. Это сломило профессора: он полагал, что жена — его первый единомышленник. Мучаясь в лагере, он считал, что спасает этим ее честность и ее свободу мыслить так, как ей хочется.

Как-то ночью Гетц спросил ее: «Тебе было с ним лучше?» Она в ответ тихо засмеялась и, обняв его, сказала: «Что ты, любимый... Он умел только хорошо говорить...»

После освобождения Плейшнер, не заезжая в Киль, отправился в Берлин. Брат, связанный со Штирлицем, помог ему устроиться в музей «Пергамон». Здесь он работал в отделе Древней Греции. Именно здесь Штирлиц, как правило, назначал встречи своим агентам, поэтому довольно часто, освободившись, он заходил к Плейшнеру и они бродили по громадным пустым залам величественных «Пергамона» и «Бодо». Плейшнер уже знал, что Штирлиц обязательно будет долго любоваться скульптурой «Мальчик, вынимающий занозу»; он знал, что Штирлиц несколько раз обойдет скульптурный портрет Цезаря — из черного камня, с белыми остановившимися неистовыми глазами, сделанными из странного прозрачного минерала. Профессор таким образом орга-

низовывал маршрут их прогулок по залам, чтобы Штирлиц имел возможность задержаться возле античных масок: трагизма, смеха, разума. Профессор не мог, правда, знать, что Штирлиц, возвращаясь домой, подолгу простаивал возле зеркала в ванной, тренируя лицо, словно актер. Разведчику, считал Штирлиц, надо учиться управлять лицом. Древние владели этим искусством в совершенстве...

Однажды Штирлиц попросил у профессора ключ от стеклянного ящика, в котором хранились бронзовые статуэтки с острова Самос.

— Мне кажется, — сказал он тогда, — что, прикоснись я к этой святыне, сразу же совершится какое-то чудо, и я стану другим, в меня войдет часть спокойной мудрости древних.

Профессор принес Штирлицу ключ, и Штирлиц сделал для себя слепок. Здесь, под статуэткой женщины, он организовал тайник.

Он любил беседовать с профессором. Штирлиц говорил:

— Искусство греков при всей своей талантливости чересчур пластично и в какой-то мере женственно. Римляне значительно жестче. Вероятно, поэтому они ближе к немцам. Греков волнует общий абрис, а римляне — дети логической завершенности, отсюда страсть к отработке деталей. Посмотрите, например, портрет Марка Аврелия. Он герой, он объект для подражания, в него должны играть дети.

— Детали одежды, точность решения торса действительно прекрасны, — осторожно возражал Плейшнер. После лагеря он разучился спорить, в нем жило постоянное, осторожное несогласие — всего лишь. Раньше он ярился и уничтожал оппонента. Теперь он только выдвигал осторожные контрдоводы. — Однако посмотрите внимательно на его лицо. Какую мысль несет в себе Аврелий? Он вне мысли, он памятник собственному величию. Если вы внимательно посмотрите искусство Франции конца восемнадцатого века, вы сможете убедиться в том, что Греция перекочевала в Париж, великая Эллада пришла к вольнодумцам...

Как-то Плейшнер задержал Штирлица возле фресок «человекозверей»: голова человека, а торс яростного вепря.

— Как вам это? — спросил Плейшнер.

Штирлиц подумал: «Похоже на сегодняшних немцев,

превращенных в тупое, послушное, дикое стадо». Он ничего не ответил Плейшнеру и отделался некими «социальными» звуками — так он называл «м-да», «действительно», «ай-яй-яй», когда молчание нежелательно, но и всякий прямой ответ невозможен.

Проходя через пустые залы «Пергамона», Штирлиц часто задавал себе вопрос: «Отчего же люди, творцы этого великого искусства, так варварски относились к своим гениям? Почему они разрушали, и жгли, и бросали на землю скульптуры? Отчего они были так бездушны к талантам своих ваятелей и художников? Почему нам приходится собирать оставшиеся крохи и по этим крохам учить наше потомство прекрасному? Почему древние так неразумно отдавали своих живых богов на заклание варварам?»

Штирлиц допил свой грог и раскурил потухшую сигарету. «Почему я так долго вспоминал Плейшнера? Только потому, что мне недостает его брата? Или я выдвигаю новую версию связи? — Он усмехнулся: — По-моему, я начал хитрить даже с самим собой. «С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой...» Так, кажется, у Пастернака?»

— Герр обер! — окликнул он кельнера. — Я ухожу, счет, пожалуйста...

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ (БОРМАН)

Об этом человеке никто ничего не знал. Он редко появлялся в кадрах кинохроники и еще реже на фотографиях возле фюрера. Небольшого роста, крутоголовый, со шрамом на щеке, он старался прятаться за спины соседей, когда фотографы щелкали затворами своих камер.

Говорили, что в 1924 году он просидел четырнадцать месяцев в тюрьме за политическое убийство. Никто толком не знал его до того дня, когда Гесс улетел в Англию. Гиммлер получил приказ фюрера навести порядок в «этом паршивом бардаке». Так фюрер отозвался о партийной канцелярии, шефом которой был Гесс — единственный из членов партии, называвший фюрера по имени и на «ты». За ночь люди Гиммлера провели более семисот арестов. Были арестованы близкие сотрудники Гесса, но аресты обошли ближайшего помощника шефа партийной канцелярии — его первого заместителя Мартина Бормана. Более того он в определенной мере

направлял руку Гиммлера: он спасал нужных ему людей от ареста, а ненужных, наоборот, отправлял в лагеря.

Став преемником Гесса, он ничуть не изменился: был по-прежнему молчалив, так же ходил с блокнотиком в кармане, куда записывал все, что говорил Гитлер; жил по-прежнему очень скромно. Он держался подчеркнуто почтительно с Герингом, Гиммлером и Геббельсом, но постепенно, в течение года-двух, смог сделаться столь необходимым фюреру, что тот шутя называл его своей тенью. Он умел так организовать дело, что если Гитлер интересовался чем-нибудь, садясь за обед, то к кофе у Бормана уже был готовый ответ. Когда однажды в Берхтесгадене фюреру устроили овацию и получилась неожиданная, но тем не менее грандиозная демонстрация, Борман заметил, что Гитлер стоит на солнцепеке. Назавтра на том самом месте Гитлер увидел дуб: за ночь Борман организовал пересадку громадного дерева...

Он знал, что Гитлер никогда заранее не готовит речей: фюрер всегда полагался на экспромт, и экспромт ему обычно удавался. Но Борман, особенно во время встреч с государственными деятелями из-за рубежа, не забывал набросать для фюрера ряд тезисов, на которых стоило — с его точки зрения — сконцентрировать наибольшее внимание. Он делал эту незаметную, но очень важную работу в высшей мере тактично, и у Гитлера ни разу не шевельнулось и мысли, что программные речи за него пишет другой человек, — он воспринимал работу Бормана как секретарскую, но необходимую и своевременную. И когда однажды Борман захворал, Гитлер почувствовал, что у него все валится из рук.

Когда военные или министр промышленности Шпеер готовили доклад, в котором фюреру преподносилась препарированная правда, Борман либо находил возможность доклад этот положить под сукно, либо в дружеской и доверительной беседе с Йодлем или со Шпеером уговаривал их смягчить те или иные факты.

— Давайте побережем его нервы, — говорил он, — этот суррогат горечи можем и должны знать мы, но зачем же травмировать фюрера?

Он был косноязычен, но зато умел прекрасно составлять деловые бумаги; он был умен, но скрывал это под личиной грубоватого, прямолинейного простодушия; он был всемогущ, но умел вести себя как простой смертный, который «должен посоветоваться», прежде чем принять мало-мальски ответственное решение...

Именно к этому человеку, к Мартину Борману, с секретной почтой из СД под грифом «Сов. секретно, вскрыть лично» попало письмо следующего содержания:

> Партайгеноссе Борман! За спиной фюрера известные мне люди начинают вести игру с представителями прогнивших западных демократий в Швеции и Швейцарии. Это делается во время тотальной войны, это делается в дни, когда на полях сражений решается будущее мира. Являясь офицером СД, я смог бы информировать Вас о некоторых подробностях этих предательских переговоров. Мне нужны гарантии, поскольку, попади это мое письмо в аппарат СД, я буду немедленно уничтожен. Именно поэтому я не подписываюсь. Я прошу Вас, если мое сообщение Вам представляется важным, приехать завтра к отелю «Нойе Тор» к 13.00. Преданный фюреру член СС и НСДАП.

Борман долго сидел с этим письмом в руках. Он думал позвонить к шефу гестапо Мюллеру. Он знал, как Мюллер ему обязан. Мюллер, старый сыщик, два раза в начале тридцатых годов громил баварскую организацию национал-социалистской партии. Потом он перешел на службу этой партии, когда она стала государственной партией Германии. До 1939 года шеф гестапо был беспартийным: коллеги в службе безопасности не могли ему простить усердия во время Веймарской республики. Борман помог ему вступить в ряды партии, дав за него гарантии лично фюреру. Но Борман никогда не подпускал к себе Мюллера слишком близко, присматривался к Мюллеру, взвешивая шансы: если уж приближать его — то до конца, посвящая в святая святых. Иначе игра не стоит свеч.

«Что это? — думал Борман, в десятый раз рассматривая письмо. — Провокация? Вряд ли. Писал больной человек? Тоже нет — это похоже на правду... А если он из гестапо и если Мюллер тоже в этой игре? Крысы бегут с тонущего корабля — все возможно... Во всяком случае, это может оказаться неубиенной картой против Гиммлера. Тогда я смогу спокойно, без оглядки на этого негодяя, перевести все партийные деньги в нейтральные банки на имена моих, а не его людей...»

Борман долго размышлял над этим письмом, но к определенному решению так и не пришел.

Айсман включил магнитофон. Он неторопливо курил, внимательно вслушиваясь в чуть глуховатый голос Штирлица.

«— Скажите, вам было страшно эти два месяца, проведенные в нашей тюрьме?

— Мне было страшно все эти одиннадцать лет вашего пребывания у власти.

— Демагогия. Я спрашиваю: вам было страшно то время, которое вы провели у нас в камере, в тюрьме?

— Разумеется.

— Разумеется. Вам бы не хотелось попасть сюда еще раз, если предположить чудо? Если мы вас выпустим?

— Нет. Мне вообще не хотелось бы иметь с вами дела.

— Прекрасно. Но если я поставлю условием вашего освобождения сохранение со мной добрых отношений, чисто человеческих?

— Чисто человеческие добрые отношения с вами для меня будут просто естественным проявлением моего отношения к людям. В той степени, в какой вы будете приходить ко мне как человек, а не как функционер национал-социалистской партии, вы и будете для меня человеком.

— Но я буду приходить к вам как человек, который спас вам жизнь.

— Вы хотите помочь мне по внутреннему свободному влечению или строите какой-то расчет?

— Я строю на вас расчет.

— В таком случае, я должен убедиться, что цель, которую вы преследуете, добрая.

— Считайте, что мои цели избыточно честны.

— Что вы будете просить меня сделать?

— У меня есть приятели — люди науки, партийные функционеры, военные, журналисты — словом, личности. Мне было бы занятно, если бы вы, если мне удастся, конечно, уговорить начальство освободить вас, побеседовали с этими людьми. Я не буду у вас просить отчета об этих беседах. Я, правда, не отвечаю за то, что не будут поставлены диктофоны в соседней комнате, но вы можете пойти в лес, поговорить там. Мне просто будет интересно потом спросить ваше мнение о той степени

зла или той мере добра, которые определяют этих людей. Такую дружескую услугу вы смогли бы оказать?

— Допустим... Но у меня уже возникает масса вопросов о том, почему я слышу такого рода предложение.

— А вы спрашивайте.

— Либо вы чересчур доверяетесь мне и просите у меня поддержки в том, в чем не можете просить поддержки ни у кого, либо вы меня провоцируете. Если вы меня провоцируете, то наш разговор пойдет по кругу.

— То есть?

— То есть мы опять не найдем общего языка. Вы останетесь функционером, а я — человеком, который выбирает посильный путь, чтобы не стать функционером.

— Что вас убедит в том, что я вас не провоцирую?

— Только взгляд в глаза.

— Будем считать, что мы с вами обменялись верительными грамотами».

— Поднимите мне справку о поведении пастора в тюрьме, — попросил Айсман, кончив прослушивать пленку. — Все о его манере поведения, о контактах, разговоры с другими заключенными... Словом, максимум подробностей.

...Ответ, который ему приготовили через час, оказался в высшей мере неожиданным. Оказывается, в январе 1945 года пастор Шлаг был из тюрьмы освобожден. Из дела нельзя было понять, дал ли он согласие работать на СД или его освобождение явилось следствием каких-то иных, непонятных причин. Была только директива Шелленберга выпустить Шлага под наблюдением Штирлица. И все.

Еще через полчаса ему принесли последний документ: со Шлагом после освобождения работал специальный агент VI управления Клаус.

— Где его материалы? — спросил Айсман.

— Он был на прямой связи со штандартенфюрером Штирлицем.

— Что, записей не осталось?

— Нет, — ответили ему из картотеки, — записи в интересах операции не велись...

— Найдите мне этого агента, — попросил Айсман. — Но так, чтобы об этом знали только три человека: вы, я и он...

27.2.1945 (12 часов 01 минута)

На встречу с Борманом — а Штирлиц очень надеялся, что эта встреча состоится: насадка на крючок была вкусной, — он ехал медленно, кружа по улицам, перепроверяя на всякий случай, нет ли за ним хвоста. Эту проверку он устроил машинально; ничто за последние дни не казалось ему тревожным, и ни разу он не просыпался среди ночи, как бывало раньше, когда он всем существом своим чувствовал тревогу. Он тогда подолгу лежал с открытыми глазами, не включая света, и тщательно анализировал каждую свою минуту, каждое слово, произнесенное в беседе с любым человеком, даже с молочником, даже со случайным попутчиком в вагоне метро. Штирлиц старался ездить только на машине — избегал случайных контактов. Но он считал, что вообще изолировать себя от мира тоже глупо, мало ли какое задание могло прийти. Вот тогда резкая смена поведения могла насторожить тех, кто наблюдал за ним, а уж то, что в рейхе за каждым наблюдали, — это Штирлиц знал наверняка.

Он тщательно продумывал все мелочи: люди его профессии обычно сгорали на пустяках. Именно отработка мелочей дважды спасала его от провала.

...Штирлиц машинально посмотрел в зеркальце и удивленно присвистнул: тот «вандерер», что пристроился за ним на Фридрихштрассе, продолжал неотступно идти следом. Штирлиц резко нажал на педаль акселератора — «хорьх» сильно взял с места. Штирлиц понесся к Александерплац, потом повернул к Бергштрассе, мимо кладбища вывернул на Ветераненштрассе, оглянулся и понял, что хвост — если это был хвост — отстал. Штирлиц сделал еще один контрольный круг, проехал мимо своего любимого ресторанчика «Грубый Готлиб» и здесь — время у него еще было — остановился.

«Если они снова прицепятся, — подумал он, — значит, что-то случилось. А что могло случиться? Сейчас сядем, выпьем коньяку и подумаем, что могло случиться...»

Он очень любил этот старинный кабачок. Он назывался «Грубый Готлиб» потому, что хозяин, встречая гостей, говорил всем — вне зависимости от рангов, чинов и положения в обществе:

— Чего приперся, жирный боров? И бабу с собой привел — ничего себе... Пивная бочка, туша старой коровы, вымя больной жирафы, а не баба! Сразу видно,

жена! Небось вчера с хорошенькой тварью приходил! Буду я тебя покрывать, — пояснял он жене гостя, — так я тебя и стану покрывать, собака паршивая...

Постепенно Штирлиц стал замечать, что наиболее уважаемых клиентов Грубый Готлиб ругал особенно отборными ругательствами: в этом, вероятно, тоже сказывалось уважение — уважение наоборот.

Готлиб встретил Штирлица рассеянно:

— Иди, жри пиво, дубина...

Штирлиц пожал ему руку, сунул две марки и сел к крайнему дубовому столику, за колонной, на которой были написаны ругательства мекленбургских рыбаков — соленые и неуемно-циничные. Это особенно нравилось стареющим женам промышленников.

«Что могло случиться? — продолжал думать он, попивая свой коньяк. — Связи я не жду — отсюда провала быть не может. Старые дела? Они не успевают управляться с новыми — саботаж растет, такого саботажа в Германии не бывало. Эрвин... Стоп. А что, если они нашли передатчик?»

Штирлиц достал сигареты, но именно потому, что ему очень хотелось крепко затянуться, он не стал курить вовсе.

Ему захотелось сейчас же поехать к развалинам дома Эрвина и Кэт.

«Я сделал главную ошибку, — понял он. — Я должен был сам обшарить все больницы: вдруг они ранены? Телефонам я зря поверил. Этим я займусь сразу после того, как поговорю с Борманом... Он должен прийти ко мне: когда их жмут, они делаются демократичными. Они бывают недоступными, когда им хорошо, а если они чувствуют конец, они становятся трусливыми, добрыми и демократичными. Сейчас я должен отложить все остальное, даже Эрвина и Кэт. Сначала я должен договориться с этим палачом».

Он вышел, сел за руль и не спеша поехал на Инвалиденштрассе, к музею природоведения. Туда, к отелю «Нойе Тор», скоро должен приехать Борман.

Штирлиц сегодня был в штатском, он надел к тому же свои дымчатые очки в большой роговой оправе и низко на лоб напялил берет — так что издали его трудно было узнать. При входе в музей, в вестибюле, был установлен огромный малахит с Урала и аметист из Бразилии. Штирлиц всегда подолгу стоял возле аметиста, но любовался он уральским самоцветом.

Потом он неторопливо прошел через громадный зал с выбитыми стеклами: там был макет диковинного динозавра. Отсюда он мог наблюдать за площадью перед музеем и за отелем. Нет, все было спокойно и тихо, даже слишком спокойно и тихо. Штирлиц был в музее один — сейчас это играло против него.

Он остановился возле занятного экспоната: тринадцать стадий развития черепа. Череп № 8 — павиан, № 9 — гиббон, № 10 — орангутанг, № 11 — горилла, № 12 — шимпанзе, № 13 — человек.

«Почему тринадцатый — человек? Все против человека, даже цифры, — хмыкнул он про себя. — Хоть бы двенадцатый был или четырнадцатый. А нет, на́ тебе — именно тринадцатый... Кругом обезьяны, — продолжал думать он, задержавшись возле чучела гориллы Бобби. — Почему обезьяны окружены такой заботой, а?»

На планочке была надпись: «Горилла Бобби привезена в Берлин 29 марта 1928 года в возрасте трех лет. Умерла 1 августа 1935 года, 1,72 метра высоты и 266 килограммов веса».

«А незаметно, — думал Штирлиц, в который раз уже разглядывая чучело, — вроде и не жирная. Я выше ее, а вешу семьдесят два».

Штирлиц услышал шум многих голосов и шаги — много гулких шагов. «Облава!» Но потом он услышал детские голоса и обернулся: учительница в старых, стоптанных, начищенных до блеска мужских ботинках привела учеников — видимо, шестого класса — проводить здесь урок ботаники. Ребята смотрели на экспонаты очарованно и не шумели, и быстрый шепот их был из-за этого тревожен.

Штирлиц смотрел на детей. Глаза их были лишены детского, прекрасного озорства. Они слушали учительницу сосредоточенно, очень взросло.

«Какое же проклятие висит над этим народом? — подумал Штирлиц. — Как могло статься, что бредовые идеи обрекли детей на этот голодный, стариковский ужас? Почему нацистам, спрятавшимся в бункеры, где запасы шоколада, сардин и сыра, удалось выставить своим заслоном хрупкие тела этих мальчуганов? И — самое страшное, — как воспитали в этих детях слепую уверенность, что высший смысл жизни — это смерть за идеалы фюрера?»

Он вышел через запасный выход пять минут второго. Никого возле отеля не было. Задами Штирлиц про-

брался к Шпрее, сделал круг, сел в машину и поехал к себе — в СД. Хвоста за собой он не увидел и на обратном пути.

«Тут что-то не так, — сказал он себе. — Что-то вышло странное. Если бы ждал Борман, я бы не мог не заметить».

...А Борман не мог уйти из бункера: фюрер произносил речь, и в зале было много людей, а он стоял сзади, чуть левее фюрера. Он не мог уйти во время речи фюрера. Это было бы безумием. Он хотел уйти, он решил увидеть того человека, который писал ему. Но он вышел из бункера только в три часа.

«Как же мне найти его? — думал Борман. — Я ничем не рискую, встретившись с ним, но я рискую, отказываясь от встречи».

Д-8 — Мюллеру.

Совершенно секретно. Напечатано в одном экземпляре.

Автомобиль марки «хорьх», номерной знак ВКР-821, оторвался от наблюдения в районе Ветераненштрассе. Судя по всему, водитель заметил машину наблюдения. Памятуя ваши указания, мы не стали преследовать его, хотя форсированный мотор позволял нам это сделать. Передав службе Н-2 сообщение о направлении, в котором поехал «хорьх» ВКР-821, мы вернулись на базу.

В-192 — Мюллеру.

Совершенно секретно. Напечатано в одном экземпляре.

Приняв наблюдение за машиной марки «хорьх», номерной знак ВКР-821, мои сотрудники установили, что владелец этого автомобиля в 12.27 вошел в здание музея природоведения. Поскольку мы предупреждены о высокой профессиональной подготовленности объекта наблюдения, я принял решение не «вести» его по музею одним или двумя «посетителями». Мой агент Ильзе получила задание привести своих учеников из средней школы для проведения урока в залах музея. Данные наблюдения Ильзе позволяют с полной убежденностью сообщить, что

объект ни с кем из посторонних в контакт не входил. Графический план экспонатов, возле которых объект задерживался дольше, чем у других, прилагаю. Объект покинул помещение через запасный выход, которым пользуются работники музея, в 13.05.

27.2.1945 (15 часов 00 минут)

Мюллер спрятал донесения в папку и поднял трубку телефона.

— Мюллер слушает.

— «Товарища» Мюллера приветствует «товарищ» Шелленберг, — пошутил начальник политической разведки. — Или вас больше устраивает обращение «мистер»?

— Меня больше всего устраивает обращение «Мюллер», — сказал шеф гестапо. — Категорично, скромно и со вкусом. Я слушаю вас, дружище.

Шелленберг прикрыл трубку телефона ладонью и посмотрел на Штирлица. Тот сказал:

— Да. И сразу в лоб. А то он уйдет, он как лис...

— Дружище, — сказал Шелленберг, — ко мне пришел Штирлиц, вы, может быть, помните его... Да? Тем более. Он в определенной растерянности: либо за ним следят преступники, а он живет в лесу один; либо ему на хвост сели ваши люди. Вы не помогли бы разобраться в этом деле?

— Какой марки его автомобиль?

— Какой марки ваш автомобиль? — снова закрыв трубку ладонью, спросил Шелленберг.

— «Хорьх».

— Не закрывайте вы ладонью трубку, — сказал Мюллер, — пусть возьмет трубку Штирлиц.

— Вы что, всевидящий? — спросил Шелленберг.

Штирлиц взял трубку и сказал:

— Хайль Гитлер!

— Добрый день, дружище, — ответил Мюллер. — Номерной знак вашей машины случаем не ВКР-821?

— Именно так, обергруппенфюрер...

— Где они сели к вам на хвост? На Курфюрстендам?

— Нет. На Фридрихштрассе.

— Оторвались вы от них на Ветераненштрассе?

— Так точно.

Мюллер засмеялся:

— Я им головы посворачиваю — тоже мне, работа!

Не волнуйтесь, Штирлиц, за вами шли не преступники. Живите спокойно в своем лесу. Это были наши люди. Они водят «хорьх», похожий на ваш... Одного южноамериканца. Продолжайте жить, как жили, но если мне, паче чаяния, спутав вас снова с южноамериканцем, донесут, что вы посещаете «Цыгойнакеллер» на Кудам, я покрывать вас не стану...

«Цыгойнакеллер» — «Цыганский подвал» — маленький кабак, куда было запрещено ходить военным и членам партии.

— А если мне надо там бывать по делам работы? — спросил Штирлиц.

— Все равно, — усмехнулся Мюллер, — если хотите назначать встречи своим людям в клоаках, лучше ходите в «Мехико».

Это был «хитрый» кабак Мюллера, в нем работала контрразведка. Штирлиц знал это от Шелленберга. Тот, конечно, не имел права говорить об этом: был издан специальный циркуляр, запрещавший посещать «Мехико-бар» членам партии и военным, поэтому наивные говоруны считали там себя в полнейшей безопасности, не предполагая, что столик прослушивается гестапо.

— Тогда — спасибо, — ответил Штирлиц. — Если вы мне даете санкцию, я буду назначать встречи моим людям именно в «Мехико». Но если меня возьмут за жабры — я приду к вам за помощью.

— Приходите. Всегда буду рад видеть вас. Хайль Гитлер!

Штирлиц вернулся к себе со смешанным чувством: он в общем-то поверил Мюллеру, потому что тот играл в открытую. Но не слишком ли в открытую? Чувство меры — вопрос вопросов любой работы. В разведке — особенно. Порой даже чрезмерная подозрительность казалась Штирлицу менее безопасной, чем избыточная откровенность.

Мюллеру.

Совершенно секретно. Напечатано в одном экземпляре.

Сегодня в 19.42 объект вызвал служебную машину ВКН-441. Объект попросил шофера отвезти его к остановке метро «Миттльплац». Здесь он вышел из машины. Попытка обнаружить объект на других станциях оказалась безуспешной.

Вернер.

Мюллер спрятал это донесение в свою потрепанную папку, где лежали наиболее секретные и важные дела, и снова вернулся к изучению материалов по Штирлицу. Он отметил красным карандашом то место, где сообщалось, что все свободное время объект любит проводить в музеях, назначая там свидания своим агентам.

МЕРА ДОВЕРИЯ

Обергруппенфюрер СС Карл Вольф передал письмо личному пилоту Гиммлера.

— Если вас собьют, — сказал он своим мягким голосом, — на войне как на войне, все может быть, вы обязаны это письмо сжечь еще до того, как отстегнете лямки парашюта.

— Я не смогу сжечь письмо до того, как отстегну лямки парашюта, — ответил педантичный пилот, — оттого, что меня будет тащить по земле. Но первое, что я сделаю, отстегнув лямки, так это сожгу письмо.

— Хорошо, — улыбнулся Вольф, — давайте согласимся на этот вариант. Причем вы обязаны сжечь это письмо, даже если вас подобьют над рейхом.

У Карла Вольфа были все основания опасаться: попади его письмо в руки любого другого человека, кроме Гиммлера, — и судьба его была бы решена.

Через семь часов письмо было распечатано Гиммлером.

Рейхсфюрер!

Сразу по возвращении в Италию я начал разрабатывать план выхода на Даллеса. Данные, которыми я здесь располагал, позволили мне сделать главный вывод: союзников так же, как и нас, тревожит реальная перспектива создания в Северной Италии коммунистического правительства. Даже если такое правительство будет создано чисто символически, Москва получит прямой путь к Ла-Маншу — через коммунистов Тито, с помощью итальянских коммунистических вождей и Мориса Тореза. Таким образом, возникает близкая угроза создания «по-

яса большевизма» от Белграда, через Геную — в Канны и Париж.

Моим помощником в операции стал Эуген Дольман: его мать, кстати говоря итальянка, имеет самые широкие связи среди высшей аристократии, настроенной прогермански, но антинацистски. Однако для меня понятия «Германия» и «национал-социализм» неразделимы и, поскольку германофильские настроения фрау Дольман превалируют над остальными, я считал целесообразным привлечь Эугена для разработки деталей операции, считая, что связи его матери могут нам пригодиться в плане соответствующей обработки союзников.

Я решил, и Дольман взялся, через итальянские каналы, проинформировать Даллеса, что смысл возможных переговоров заключается в том, чтобы Запад смог взять под контроль всю Северную Италию до того, как хозяевами положения окажутся коммунисты. Причем мы считали, что инициатива должна исходить не от нас: мне казалось более целесообразным, чтобы союзники смогли «узнать» об этих моих настроениях через свои агентурные возможности. Поэтому я дал санкцию Дольману на проведение следующей операции: по сводкам гестапо, младший офицер танковых войск СС Гидо Циммер был замечен в неоднократных беседах с итальянцами о том, что война проиграна и положение безнадежно. На дружеской вечеринке, куда «случайно» попал Дольман, он, уже под утро, когда было много выпито, сказал Циммеру, что утомлен этой проклятой, бесцельной войной. Агентурная разработка позволила мне установить, что уже на следующий день Циммер в беседе с бароном Луиджи Парилли сказал, что если Дольман говорит о проклятии войны, то, значит, так же думает и Карл Вольф, а в руках Вольфа судьба всей Северной Италии и всех немецких войск, расквартированных здесь. Луиджи Парилли в прошлом являлся представителем американской компании «Кэлвилэйшн корпорейшн», и его контракты с Америкой здесь широко известны, хотя он всегда поддерживал режим дуче. При этом его тесть — крупный ливанский банкир, свя-

занный как с британским, так и с французским капиталом. Беседа Циммера с Парилли оказалась достаточным поводом для того, чтобы Дольман, пригласив Гидо Циммера на конспиративную квартиру, выложил ему все собранные на него компрометирующие данные. «Этого хватит, чтобы сейчас же отправить вас на виселицу, — сказал он Циммеру, — спасти вас может только одно — честная борьба за Германию. А в этой борьбе важны и дипломатические, невидимые сражения». Словом, Циммер дал согласие работать на нас.

Назавтра Циммер, встретившись с бароном Парилли, сказал ему, что только вождь СС в Италии Вольф может спасти Северную Италию от коммунистической угрозы, которую несут с собой партизаны, орудующие в горах и городах всей страны, но, естественно, если бы он действовал вместе с союзниками, это можно было бы сделать стремительно и наверняка. Барон Парилли, имеющий крупные финансовые интересы в Турине, Генуе и Милане, выслушал Циммера с большим интересом и взялся помочь нам в налаживании подобного рода контактов с западными союзниками. Естественно, Циммер написал рапорт об этой беседе на мое имя, и, таким образом, вся операция была с того момента подстрахована, ей был придан вид игры с союзниками, проводимой под контролем СС в интересах фюрера и рейха.

21 февраля барон Парилли выехал в Цюрих. Там он связался со своим знакомым Максом Гюсманом. Он помог установить контакт с майором Вайбелем, кадровым офицером швейцарской разведки. Вайбель мотивировал свое согласие помочь в установлении контактов между СС и американцами исходя из эгоистических интересов подданного Швейцарии: дело заключается в том, что Генуя — это порт, используемый главным образом швейцарскими фирмами. Попади Италия под коммунистическое иго — пострадают и швейцарские фирмы. При этом я смог установить, что майор Вайбель получил образование в Германии, окончив университеты Базеля и Франкфурта.

В беседе с бароном Парилли Вайбель сказал, что следует соблюдать максимальную осторожность, поскольку он рискует, помогая налаживанию контактов. Это, сказал он, нарушает нейтралитет Швейцарии, а сейчас позиция русских так сильна, что нарушение тайны заставит его правительство отмежеваться от него и сосредоточить весь возможный удар персонально на нем. Парилли заверил майора Вайбеля, что в разглашении тайны не заинтересован никто, кроме русских или коммунистов. «А поскольку, — продолжал он, — среди нас, я надеюсь, нет ни одного коммуниста, а тем более русского, можно не опасаться за утечку информации».

Как сообщил Вайбель, назавтра после беседы с Парилли он пригласил на обед Аллена Даллеса и его помощника Геверница. «У меня есть два приятеля, которые выдвигают интересную идею, — сказал он, — если вы хотите, я могу вас познакомить». Даллес ответил, что он хотел бы встретиться с товарищами Вайбеля позже — после того, как с ними побеседует его помощник.

Состоялась беседа между Парилли и Геверницем. Я Вам сообщал уже, что этот Геверниц является сыном не Эгона Геверница, но Герхарда фон Шуль-Геверница, профессора экономики Берлинского университета. Поехав в Америку после защиты докторской диссертации во Франкфурте (я, кстати, задумался, не был ли установлен первый контакт между Вайбелем и Геверницем еще в Германии, оба они закончили один и тот же университет), он начал работать в международных банковских концернах в Нью-Йорке, где тогда же подвизался Аллен Даллес.

Во время беседы Парилли задал вопрос: «Готовы ли вы встретиться со штандартенфюрером СС Дольманом для более конкретного обсуждения этой и ряда других проблем?» Геверниц ответил согласием на это предложение, хотя, по мнению Парилли, он отнесся к высказанному им предложению с определенной недоверчивостью и подозрительностью, свойственной интеллигентам, пришедшим в разведку.

Я дал санкцию на поездку Дольмана в Швей-

царию. Там, на озере Чиасо, он был встречен Гюсманом и Парилли. Когда они прибыли в Лугано, в маленький ресторан «Бьянки», Дольман, как и было обговорено, заявил: «Мы хотим переговоров с западными союзниками для того, чтобы сорвать план Москвы по созданию коммунистического правительства Северной Италии. Эта задача заставляет нас отбросить прежние обиды и думать о завтрашнем дне, зачеркнув всю взаимную боль дня вчерашнего. Мир должен быть справедливым и достойным».

Гюсман ответил, что единственно возможные переговоры — это переговоры о безоговорочной капитуляции.

«Я не пойду на предательство, — сказал Дольман, — да и никто в Германии не пойдет на это».

Гюсман, однако, настаивал на концепции «безоговорочной капитуляции», но разговора не прекращал, несмотря на твердо отрицательную позицию, занятую Дольманом согласно той партитуре, которую мы с ним предварительно расписали.

Далее, перебив Гюсмана, в беседу включился помощник А. Даллеса Поль Блюм. Именно Блюм передал Дольману фамилии двух руководителей итальянского Сопротивления: Ферручи Парри и Усмияни. Эти люди находятся в нашей тюрьме. Они не являются коммунистами, и это дало нам возможность сделать вывод: американцы так же, как и мы, озабочены коммунистической угрозой Италии. Им нужны герои Сопротивления некоммунисты, которые смогли бы в нужный момент возглавить правительство, верное идеалам Запада.

«Если эти люди будут освобождены и привезены в Швейцарию, — сказал представитель Даллеса, — мы могли бы продолжить наши встречи».

Когда Дольман вернулся ко мне, я понял, что переговоры начались, ибо никак иначе нельзя истолковать просьбу об освобождении двух итальянцев. Дольман высказал предположение, что Даллес ждет моего прибытия в Швейцарию. Я отправился к фельдмаршалу Кессельрингу. В результате пятичасовой беседы я сделал вывод, что фельдмаршал согласится на почетную капи-

туляцию, хотя никаких прямых заверений Кессельринг не давал, вероятно, в силу традиционного опасения говорить откровенно с представителем службы безопасности.

Назавтра Парилли посетил меня на конспиративной квартире возле озера Гарда и передал мне от имени Даллеса приглашение на совещание в Цюрих. Таким образом, послезавтра я отправляюсь в Швейцарию. В случае, если это ловушка, я выдвину официальную версию о похищении. Если же это начало переговоров — я буду информировать вас следующим письмом, которое отправлю сразу же по возвращении в свою ставку.

Ваш *Карл Вольф.*

* * *

«Пергамон» разбомбили англичане, но профессор Плейшнер не стал эвакуироваться со всеми научными сотрудниками. Он испросил себе разрешение остаться в Берлине и быть хранителем хотя бы той части здания, которая уцелела.

Именно к нему сейчас и поехал Штирлиц.

Плейшнер ему очень обрадовался, утащил в свой подвал и поставил на электроплитку кофейник.

— Вы тут не мерзнете?

— Мерзну до полнейшего окоченения. А что прикажете делать? Кто сейчас не мерзнет, хотел бы я знать? — ответил Плейшнер.

— В бункере у фюрера очень жарко топят...

— Ну, это понятно... Вождь должен жить в тепле. Разве можно сравнить наши заботы с его тревогами и заботами? Мы есть мы, каждый о себе, а он думает обо всех немцах.

Штирлиц обвел внимательным взглядом подвал: ни одной отдушины здесь не было, аппаратуру подслушивания сюда не всадишь. Поэтому, затянувшись, крепкой сигаретой, он сказал:

— Будет вам, профессор... Взбесившийся маньяк подставил головы миллионов под бомбы, а сам сидит, как сволочь, в безопасном месте и смотрит кинокартины вместе со своей бандой...

Лицо Плейшнера сделалось мучнисто-белым, и Штирлиц пожалел, что сказал все это, и пожалел, что он

вообще пришел к несчастному старику со своим делом.

«Хотя почему это мое дело? — подумал он. — Больше всего это их, немцев, дело и, следовательно, его дело».

— Ну, — сказал Штирлиц, — отвечайте же... Вы не согласны со мной?

Профессор по-прежнему молчал.

— Так вот, — сказал Штирлиц, — ваш брат и мой друг помогал мне. Вы никогда не интересовались моей профессией: я штандартенфюрер СС и работаю в разведке.

Профессор всплеснул руками, словно закрывая лицо от удара.

— Нет! — сказал он. — Нет и еще раз нет! Мой брат никогда не был и не мог быть провокатором! Нет! — повторил он уже громче. — Нет! Я вам не верю!

— Он не был провокатором, — ответил Штирлиц, — а я действительно работаю в разведке. В советской разведке...

И он протянул Плейшнеру письмо. Это было предсмертное письмо его брата:

«Друг. Спасибо тебе за все. Я многому научился у тебя. Я научился тому, как надо любить и во имя этой любви ненавидеть тех, кто несет народу Германии рабство. Плейшнер».

— Он написал так, опасаясь гестапо, — пояснил Штирлиц, забирая письмо. — Рабство немецкому народу, как вы сами понимаете, несут орды большевиков и армады американцев. Их-то, большевиков и американцев, мы и обязаны, как учит ваш брат, ненавидеть... Не так ли?

Плейшнер долго молчал, забившись в громадное кресло.

— Я аплодирую вам, — сказал он наконец, — я понимаю... Вы можете положиться на меня во всем. Но я должен сказать вам сразу: как только меня ударят плетью по ребрам, я скажу все.

— Я знаю, — ответил Штирлиц. — Что вы предпочитаете: моментальную смерть от яда или пытки в гестапо?

— Если не дано третьего, — улыбнулся Плейшнер своей неожиданно беззащитной улыбкой, — естественно, я предпочитаю яд.

— Тогда мы сварим кашу, — улыбнулся Штирлиц, — хорошую кашу...

— Что я должен сделать?

— А ничего. Жить. И быть готовым в любую минуту к тому, чтобы сделать необходимое.

7.3.1945 (22 часа 03 минуты)

— Добрый вечер, пастор, — сказал Штирлиц, быстро затворяя за собой дверь. — Простите, что я так поздно. Вы уже спали?

— Добрый вечер. Я уже спал, но пусть это не тревожит вас; входите, пожалуйста, сейчас я зажгу свечи. Присаживайтесь.

— Спасибо. Куда позволите?

— Куда угодно. Здесь теплее, у кафеля. Может быть, сюда?

— Я сразу простужаюсь, если выхожу из тепла в холод. Всегда лучше одна, постоянная температура. Пастор, кто у вас жил месяц тому назад?

— У меня жил человек.

— Кто он?

— Я не знаю.

— Вы не интересовались, кто он?

— Нет. Он просил убежища, ему было плохо, и я не мог ему отказать.

— Это хорошо, что вы мне так убежденно лжете. Он говорил вам, что он марксист. Вы спорили с ним как с коммунистом. Он не коммунист, пастор. Он им никогда не был. Он мой агент, он провокатор гестапо.

— Ах, вот оно что... Я говорил с ним как с человеком. Не важно, кто он: коммунист или ваш агент. Он просил спасения. Я не мог отказать ему.

— Вы не могли ему отказать, — повторил Штирлиц, — и вам не важно, кто он: коммунист или агент гестапо... А если из-за того, что вам важен «просто человек», абстрактный человек, конкретные люди попадут на виселицу — это для вас важно?!

— Да, это важно для меня...

— А если — еще более конкретно — на виселицу первыми попадут ваша сестра и ее дети — это для вас важно?

— Это же злодейство!

— Говорить, что вам не важно, кто перед вами — антифашист или агент гестапо, — еще большее злодейство, — ответил Штирлиц, садясь. — Причем ваше злодейство догматично, а поэтому особенно страшно. Сядьте. И слушайте меня. Ваш разговор с моим агентом записан на пленку. Нет, это не я делал, это все делал

он. Я не знаю, что с ним: он прислал мне странное письмо. И потом, без пленки, которую я уничтожил, ему не поверят. С ним вообще не станут говорить, ибо он мой агент. Что касается вашей сестры, то она должна быть арестована, как только вы пересечете границу Швейцарии.

— Но я не собираюсь пересекать границу Швейцарии.

— Вы пересечете ее, а я позабочусь о том, чтобы ваша сестра была в безопасности.

— Вы словно оборотень... Как я могу верить вам, если у вас столько лиц?

— Вам ничего другого не остается, пастор. И вы поедете в Швейцарию хотя бы для того, чтобы спасти жизнь своих близких. Или нет?

— Да. Я поеду. Чтобы спасти им жизнь.

— Отчего вы не спрашиваете, что вам придется делать в Швейцарии? Вы откажетесь ехать туда, если я поручу вам взорвать кирху, не так ли?

— Вы умный человек. Вы, вероятно, точно рассчитали, что в моих силах и что выше моих сил...

— Правильно. Вам жаль Германию?

— Мне жаль немцев.

— Хорошо. Кажется ли вам, что мир — не медля ни минуты — это выход для немцев?

— Это выход для Германии...

— Софистика, пастор, софистика. Это выход для немцев, для Германии, для человечества. Нам погибать не страшно — мы отжили свое, и потом, мы одинокие стареющие мужчины. А дети?

— Я слушаю вас.

— Кого вы сможете найти в Швейцарии из ваших коллег по движению пацифистов?

— Диктатуре понадобились пацифисты?

— Нет, диктатуре не нужны пацифисты. Они нужны тем, кто трезво оценивает момент, понимая, что каждый новый день войны — это новые жертвы.

— Гитлер пойдет на переговоры?

— Гитлер на переговоры не пойдет. На переговоры пойдут иные люди. Но это преждевременный разговор. Сначала мне нужно иметь гарантии, что вы свяжетесь там с людьми, которые обладают достаточным весом. Нужны люди, которые смогут помочь вам вступить в переговоры с представителями западных держав. Кто может помочь вам в этом?

Пастор пожал плечами:

— Фигура президента Швейцарской республики вас устроит?

— Нет. Это официальные каналы. Я имею в виду деятелей церкви, которые имеют вес в мире.

— Все деятели церкви имеют вес в этом мире, — сказал пастор, но, увидев, как снова дрогнуло лицо Штирлица, быстро добавил: — У меня там много друзей. Было бы наивностью с моей стороны обещать что-либо, но я думаю, мне удастся обсудить этот вопрос с серьезными людьми. Брюнинг, например... Его уважают... Однако меня будут спрашивать, кого я представляю.

— Немцев, — коротко ответил Штирлиц. — Если вас спросят, кто конкретно намерен вести переговоры, вы спросите: «А кто конкретно поведет их со стороны Запада?» Но это через связь, которую я вам дам...

— Через что? — не понял пастор.

Штирлиц улыбнулся и пояснил:

— Все детали мы еще оговорим. Пока нам важна принципиальная договоренность.

— А где гарантия, что сестра и ее дети не попадут на виселицу?

— Я освободил вас из тюрьмы?

— Да.

— Как вы думаете, это было легко?

— Думаю, что нет.

— Как вы думаете, имея на руках запись вашего разговора с провокатором, мог бы я послать вас в печь?

— Бесспорно.

— Вот я вам и ответил. Ваша сестра будет в безопасности. До тех пор, естественно, пока вы будете делать то, что вам предписывает долг человека, скорбящего о немцах.

— Вы угрожаете мне?

— Я предупреждаю вас. Если вы поведете себя иначе, я ничего не смогу сделать для того, чтобы спасти вас и вашу сестру.

— Когда все это должно произойти?

— Скоро. И последнее: кто бы ни спросил вас о нашем разговоре...

— Я стану молчать.

— Даже если вас будут спрашивать об этом под пыткой?

— Я буду молчать.

— Хочу вам верить...

— Кто из нас двоих сейчас больше рискует?

— Как вам кажется?

— Мне кажется, что больше рискуете вы.

— Правильно.

— Вы искренни в желании найти мир для немцев?

— Да.

— Вы недавно пришли к этой мысли: дать мир людям?

— Да как вам сказать, — ответил Штирлиц, — трудно ответить до конца честно, пастор. И чем честнее я отвечу, тем большим лжецом, право слово, могу вам показаться.

— В чем будет состоять моя миссия более конкретно? Я ведь не умею воровать документы и стрелять из-за угла...

— Во-первых, — усмехнулся Штирлиц, — этому недолго научиться. А во-вторых, я не требую от вас умения стрелять из-за угла. Вы скажете своим друзьям, что Гиммлер через такого-то или такого-то своего представителя — имя я вам назову позже — провоцирует Запад. Вы объясните, что люди Гиммлера не могут хотеть мира, вы докажете своим друзьям, что эти люди — провокаторы, лишенные веса и уважения, даже в СС. Вы скажете, что вести переговоры с такими людьми — не только глупо, но и смешно. Вы еще раз повторите им, что это безумие — идти на переговоры с СС, с Гиммлером, что переговоры надо вести с иными людьми, и назовете им серьезные имена сильных и умных людей. Но это — после.

Перед тем как уйти, он спросил:

— Кроме вашей прислуги, в доме никого нет?

— Прислуги тоже нет дома, она уехала к родным в деревню.

— Можно осмотреть дом?

— Пожалуйста...

Штирлиц поднялся на второй этаж и посмотрел из-за занавески на улицу: центральная аллея маленького городка просматривалась отсюда вся. На аллее никого не было.

Через час Штирлиц приехал в бар «Мехико»: там он назначил встречу своему агенту, работавшему по вопросам сохранения тайны «оружия возмездия». Штирлиц хотел порадовать шефа гестапо — пусть завтра послушает разговор. Это будет хороший разговор умного

нацистского разведчика с умным нацистским ученым: после ареста гестаповцами специалиста по атомной физике Рунге Штирлиц не забывал время от времени подстраховывать себя — и не как-нибудь, а обстоятельно и всесторонне.

8.3.1945 (09 часов 32 минуты)

— Доброе утро, фрау Кин. Как наши дела? Что маленький?

— Спасибо, мой господин. Теперь он начал покрикивать, и я успокоилась. Я боялась, что из-за моей контузии у него что-то с голосом. Врачи осмотрели его: вроде бы все в порядке.

— Ну и слава богу! Бедные дети... Такие страдания для малюток, только-только вступающих в мир! В этот грозный мир... А у меня для вас новости.

— Хорошие?

— В наше время все новости дурные, но для вас они скорее хорошие.

— Спасибо, — откликнулась Кэт. — Я никогда не забуду вашей доброты.

— Скажите, пожалуйста, как ваша головная боль?

— Уже лучше. Во всяком случае, головокружение проходит, и нет этих изнуряющих приступов обморочной дурноты.

— Это симптомы сотрясения мозга.

— Да. Если бы не моя грива — мальчика не было б вовсе. Грива приняла на себя первый удар этой стальной балки.

— У вас не грива. У вас роскошные волосы. Я любовался ими в первое свое посещение. Вы пользовались какими-нибудь особыми шампунями?

— Да. Дядя присылал нам из Швеции иранскую хну и хорошие американские шампуни.

Кэт все поняла. Она перебрала в памяти вопросы, которые задавал ей «господин из страховой компании». Версия дяди из Стокгольма была надежной и проверенной. Она придумала несколько версий по поводу чемодана. Она знала, что это — самый трудный вопрос, которого она постарается сегодня избежать, сказавшись совсем больной. Она решила посмотреть «страхового агента» в деле. Шведский дядя — самое легкое. Пусть это будет обоюдным экзаменом. Главное — начать первой, посмотреть, как он поведет себя.

— Кстати, о вашем дядюшке. У него есть телефон в Стокгольме?

— Муж никогда не звонил туда.

Она еще не верила в то, что Эрвина больше нет. Она попросту не могла поверить в это. После первой истерики, когда она молча билась в рыданиях, старая санитарка сказала:

— Не надо, миленькая. У меня так было с сыном. Тоже думали, что погиб, а он лежал в госпитале. А сейчас прыгает без ноги, но — дома, в армию его не взяли, значит, будет жить.

Кэт захотелось сразу же, немедля переслать записку Штирлицу с просьбой узнать, что с Эрвином, но она понимала, что делать этого никак нельзя, хотя без связи со Штирлицем ей не обойтись. Поэтому она приказывала себе думать о том, как умно связаться со Штирлицем, который найдет Эрвина в госпитале, и все будет хорошо, и маленький будет гулять с Эрвином по Москве, когда все это кончится, и настанет теплое бабье лето с золотыми паутинками в воздухе, и березы будут желтые-желтые, высокие, чистые...

— Фирма, — продолжал человек, — поможет получить телефонный разговор с дядей, как только врачи позволят вам встать. Знаете, эти шведы — нейтралы, они богаты, и долг дяди — помочь вам. Вы дадите ему послушать в трубку, как кричит маленький, и его сердце дрогнет. Теперь вот что... Я договорился с руководством нашей компании, что мы выдадим вам первое пособие на этих днях, не дожидаясь общей перепроверки суммы вашей страховки. Но нам необходимы имена двух гарантов.

— Кого?

— Двух людей, которые бы гарантировали... простите меня, но я всего-навсего чиновник, не сердитесь, — которые бы подтвердили вашу честность. Еще раз прошу понять меня верно...

— Ну, кто же станет давать такую гарантию?

— Неужели у вас нет друзей?

— Таких? Нет, таких нет.

— Ну, хорошо. Знакомые-то у вас есть? Просто знакомые, которые подтвердили бы нам, что знали вашего мужа.

— Знают, — поправила Кэт.

— Он жив?!

— Да.

— Где он? Он был здесь?

Кэт отрицательно покачала головой:

— Нет. Он в каком-нибудь госпитале. Я верю, что он жив.

— Я искал.

— Во всех госпиталях?

— Да.

— И в военных тоже?

— Почему вы думаете, что он мог попасть в военный госпиталь?

— Он инвалид войны... Офицер... Он был без сознания, его могли отвезти в военный госпиталь...

— Теперь я за вас спокоен, — улыбнулся человек. — У вас светлая голова, и дело явно идет на поправку. Назовите мне, пожалуйста, кого-либо из знакомых вашего супруга, я к завтрашнему дню уговорю этих людей дать гарантию.

Кэт чувствовала, как у нее шумело в висках. С каждым новым вопросом в висках шумело все больше и больше. Даже не шумело, а молотило каким-то тупым металлическим и громким молотом. Но она понимала, что молчать и не отвечать сейчас, после того как она все эти дни уходила от конкретных вопросов, было бы проигрышем. Она вспоминала дома на своей улице, особенно разрушенные. У Эрвина чинил радиолу генерал в отставке Нуш. Так. Он жил в Рансдорфе, это точно. Возле озера. Пусть спрашивают его.

— Попробуйте поговорить с генералом в отставке Фрицем Нушем. Он живет в Рансдорфе, возле озера. Он давний знакомый мужа. Я молю Бога, чтобы он оказался добр к нам и сейчас.

— Фриц Нуш, — повторил человек, записывая это имя в свою книжечку, — в Рансдорфе. А улицу не помните?

— Не помню...

— В справочном столе могут не дать адреса генерала...

— Но он такой старенький. Он уже не воюет. Ему за восемьдесят.

— Голова-то у него варит?

— Что?

— Нет, нет. Просто я боюсь, у него склероз. Будь моя воля, я бы всех людей старше семидесяти насильно отстранял от работы и отправлял в специальные зоны для престарелых. От стариков все зло в этом мире.

— Ну что вы. Генерал так добр...

— Хорошо. Кто еще?

«Назвать фрау Корн? — подумала Кэт. — Наверное, опасно. Хотя мы ездили к ней отдыхать, но с нами был чемодан. Она может вспомнить, если ей покажут фото. А она была бы хорошей кандидатурой: муж майор СС...»

— Попробуйте связаться с фрау Айхельбреннер. Она живет в Потсдаме. Собственный дом возле ратуши.

— Спасибо. Это уже кое-что. Я постараюсь сделать этих людей вашими гарантами, фрау Кин. Да, теперь вот еще что. Ваш консьерж опознал среди найденных чемоданов два ваших. Завтра утром я приду вместе с ним, и мы при нем и при враче вскроем эти чемоданы: может быть, вы сразу же распорядитесь ненужными вещами, и я поменяю их на белье для нашего карапузика.

«Ясно, — подумала Кэт. — Он хочет, чтобы я сегодня же попыталась наладить связь с кем-то из друзей».

— Большое спасибо, — сказала она, — Бог отплатит вам за доброту. Бог никогда не забывает добра...

— Ну что ж... Желаю вам скорейшего выздоровления, и поцелуйте от меня вашего великана.

Вызвав санитарку, человек сказал ей:

— Если она попросит вас позвонить куда-либо или передаст записку, немедленно звоните ко мне — домой или на работу, не важно. И в любое время. В любое, — повторил он. — А если кто-нибудь придет к ней — сообщите вот сюда, — он дал ей телефон, — эти люди в трех минутах от вас. Вы задержите посетителя под любым предлогом.

Выходя из своего кабинета, Штирлиц увидел, как по коридору несли чемодан Эрвина. Он узнал бы этот чемодан из тысячи: в нем хранился передатчик.

Штирлиц рассеянно и не спеша пошел следом за двумя людьми, которые, весело о чем-то переговариваясь, занесли этот чемодан в кабинет штурмбанфюрера Рольфа.

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1940 года Рольфа, штурмбанфюрера СС (IV отдела РСХА): «Истинный ариец. Характер — нордический, отважный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам рейха. Отличный спортсмен. Отличный семьянин. Связей, порочивших его, не имел. Отмечен наградами рейхсфюрера СС...»)

Штирлиц какое-то мгновение прикидывал: зайти в кабинет к штурмбанфюреру сразу же или попозже. Все в нем напряглось, он коротко стукнул в дверь кабинета и, не дожидаясь ответа, вошел к Рольфу.

— Ты что, готовишься к эвакуации? — спросил он со смехом. Он не готовил эту фразу, она родилась в голове сама и, видимо, в данной ситуации была точной.

— Нет, — ответил Рольф, — это передатчик.

— Коллекционируешь? А где хозяин?

— Хозяйка. По-моему, хозяину каюк. А хозяйка с новорожденным лежит в изоляторе госпиталя «Шарите».

— С новорожденным?

— Да. И голова у стервы помята.

— Худо. Как ее допрашивать в таком состоянии?

— По-моему, именно в таком состоянии и допрашивать. А то мы канителимся, канителимся, ждем чего-то. Главное, наш болван из отделения показал ей фото чемоданов — вкупе с этим. Спрашивал, не видит ли она здесь своих вещей. Слава богу, сбежать она не может: у нее там ребенок, а в детское отделение никого не пускают. Я не думаю, чтобы она ушла, бросив ребенка... В общем-то, черт его знает. Я решил сегодня привезти ее сюда.

— Разумно, — согласился Штирлиц. — Пост там поставили? Надо же смотреть за возможными контактами.

— Да, мы там посадили свою санитарку и заменили сторожа нашим работником.

— Тогда стоит ли ее брать сюда? Поломаешь всю игру. А вдруг она решит искать связь?

— Я и сам на распутье. Боюсь, она очухается. Знаешь этих русских — их надо брать тепленькими и слабыми...

— Почему ты решил, что она русская?

— С этого и заварилась вся каша. Она орала по-русски, когда рожала.

Штирлиц усмехнулся и сказал, направляясь к двери:

— Бери ее поскорей. Хотя... Может получиться красивая игра, если она начнет искать контакты. Думаешь, ее сейчас не разыскивают по всем больницам их люди?

— Эту версию мы до конца не отрабатывали...

— Дарю... Не поздно этим заняться сегодня. Будь здоров, и желаю удачи. — Около двери Штирлиц обер-

нулся: — Это интересное дело. Главное здесь не переторопить. И советую: не докладывай большому начальству — они тебя заставят гнать работу.

Уже открыв дверь, Штирлиц хлопнул себя по лбу и засмеялся:

— Я стал склеротическим идиотом... Я ведь шел к тебе за снотворным. Все знают, что у тебя хорошее шведское снотворное.

Запоминается последняя фраза. Важно войти в нужный разговор, но еще важнее искусство выхода из разговора. Теперь, думал Штирлиц, если Рольфа спросят, кто к нему заходил и зачем, он наверняка ответит, что заходил к нему Штирлиц и просил хорошее шведское снотворное. Рольф снабжал половину управления снотворным — его дядя был аптекарь.

...А сейчас, после разговора с Рольфом, Штирлицу предстояло сыграть ярость. Он поднялся к Шелленбергу и сказал:

— Бригадефюрер, мне лучше сказаться больным, а я действительно болен, и попроситься на десять дней в санаторий — иначе я сдам...

Говоря это шефу разведки, он был бледен, до синевы бледен. И не потому только, что решалась судьба Кэт, а следовательно, и его судьба. Он понимал, что ей предстоит здесь: новорожденному на пятом часу допроса приставляют пистолет к затылку и обещают застрелить на глазах матери, если она не заговорит. Обычная провокация папаши Мюллера: никогда еще никому из детей они не стреляли в затылок. Жалость здесь ни при чем — люди Мюллера могли вытворять вещи похуже. Просто они понимали, что после этого мать сойдет с ума и вся операция провалится. Но действовал этот метод устрашения безотказно.

Лицо Штирлица сейчас стало сине-бледным не потому, что он понимал, какие ждут его муки, скажи Кэт о нем. Все проще: он играл ярость. Настоящий разведчик сродни актеру или писателю. Только если фальш в игре грозит актеру тухлыми помидорами, а неправда и отсутствие логики отомстят писателю презрительными усмешками читателей, то разведчику это обернется смертью.

— В чем дело? — удивился Шелленберг. — Что с вами?

— По-моему, мы все под колпаком у Мюллера. То этот идиотизм с хвостом на Фридрихштрассе, а сегодня еще почище: они находят русскую с передатчиком,

видимо, работавшую очень активно. Я за этим передатчиком охочусь восемь месяцев, но отчего-то это дело попадает к Рольфу, который столько же понимает в радиоиграх, сколько кошка в алгебре.

Шелленберг сразу потянулся к телефонной трубке.

— Не надо, — сказал Штирлиц. — Ни к чему. Начнется склока, обычная склока между разведкой и контрразведкой. Не надо. Дайте мне санкцию: я поеду сейчас к этой бабе, возьму ее к нам и хотя бы проведу первый допрос. Может быть, я самообольщаюсь, но я проведу его лучше Рольфа. Потом пусть этой женщиной занимается Рольф — для меня важнее всего дело, а не честолюбие.

— Поезжайте, — сказал Шелленберг, — а я все-таки позвоню рейхсфюреру.

— Лучше зайти к нему, — ответил Штирлиц. — Мне не очень-то нравится вся эта возня.

— Поезжайте, — повторил Шелленберг, — и делайте свое дело. А потом поговорим о пасторе. Он нам понадобится завтра-послезавтра.

— Я не могу разрываться между двумя делами.

— Можете. Разведчик или сдается сразу, или не сдается вовсе. За редким исключением он разваливается после применения специальных мер головорезами Мюллера. Вам все станет ясно в первые часы. Если эта дама будет молчать — передайте ее Мюллеру, пусть они разобьют себе лоб. Если она заговорит — запишем себе в актив и утрем нос баварцу.

Так в минуты раздражения Шелленберг называл одного из самых ненавистных ему людей — шефа гестапо Мюллера.

В приемном покое Штирлиц предъявил жетон СД и прошел в палату, где лежала Кэт. Когда она увидела его, глаза ее широко раскрылись, в них сразу появились слезы, и она потянулась к Штирлицу, но он, опасаясь диктофонов, торопливо сказал:

— Фрау Кин, собирайтесь. Вы проиграли, а разведчику надо уметь достойно проигрывать. Я знаю, вы станете отпираться, но это глупо. Нами перехвачено сорок ваших шифровок. Сейчас вам принесут одежду, и вы поедете со мной. Я гарантирую жизнь вам и вашему ребенку, если вы станете сотрудничать с нами. Я ничего не могу вам гарантировать, если вы будете упорствовать.

Штирлиц дождался, пока санитарка принесла ее костюм, пальто и туфли. Кэт сказала, принимая условия его игры:

— Может быть, вы выйдете, пока я буду одеваться?

— Нет, я не выйду, — ответил Штирлиц. — Я отвернусь и буду продолжать говорить, а вы будете думать, что мне ответить.

— Я ничего не буду вам отвечать, — сказала Кэт, — мне нечего отвечать вам. Я не понимаю, что произошло, я еще очень слаба, и я думаю, это недоразумение разъяснится. Мой муж — офицер, инвалид войны.

Странную радость испытывала сейчас Кэт. Она видела своего, она верила, что теперь, как бы ни были сложны испытания, самое страшное — одиночество — позади.

— Бросьте, — перебил ее Штирлиц, — ваш передатчик у нас, радиограммы тоже у нас, они расшифрованы, это — доказательства, которые невозможно опровергнуть. От вас потребуется только одно: ваше согласие на совместную с нами работу. И я вам советую, — сказал он, обернувшись, всячески показывая ей глазами и лицом своим, что он говорит ей нечто очень важное, к чему надо прислушаться, — согласиться с моим предложением и, во-первых, рассказать все, что вам известно, пусть даже вам известно очень немногое, а во-вторых, принять мое предложение и начать — незамедлительно, в течение этих двух-трех дней, — начать работать на нас.

Он понимал, что о самом главном он мог говорить только в коридоре. Но понять это самое главное Кэт могла, выслушав его здесь. У него оставалось минуты две на проход по коридору, он подсчитал для себя время, поднимаясь в палату.

Санитарка принесла ребенка и сказала:

— Дитя готово...

Штирлиц внутренне сжался: и не столько потому, что маленький человечек сейчас должен будет ехать в гестапо, в тюрьму, в неизвестность, но оттого, что женщина, живой человек, тоже, вероятно, мать, сказала спокойным, ровным голосом: «Дитя готово...»

— Вам тяжело нести ребенка, — сказала санитарка, — я отнесу его в машину.

— Не надо, — ответил Штирлиц, — ступайте. Фрау Кин понесет ребенка сама. И последите, чтобы в коридорах не было больных.

Санитарка вышла, и Штирлиц, открыв дверь, про-

пустил Кэт вперед. Он пошел, взяв ее под руку, помогая ей нести ребенка, и потом, заметив, как дрожат ее руки, взял ребенка сам.

— Слушай меня, девочка, — заговорил он негромко, зажав во рту сигарету, — им все известно... Слушай внимательно. Они станут давать тебе информацию для наших. Торгуйся, требуй гарантий, требуй, чтобы ребенок был с тобой. Сломайся на ребенке: они могут нас записать, поэтому сыграй все точно у меня в кабинете. Шифра ты не знаешь, и наши радиограммы не расшифрованы. Шифровальщиком был Эрвин, ты — только радист. Все остальное я возьму на себя. Скажешь, что Эрвин ходил на встречу с резидентом в районы Кантштрассе и в Рансдорф. Скажешь, что к Эрвину приходил господин из МИДа. В машине я покажу его фото.

Человеком из МИДа был советник восточного управления Хайнц Корнер. Он погиб неделю назад в автомобильной катастрофе. Это был ложный след. Отрабатывая этот след, гестапо неминуемо потеряет десять — пятнадцать дней. А сейчас и день решал многое...

Через пять часов Рольф докладывал Мюллеру, что русская радистка исчезла из клиники «Шарите». Мюллер неистовствовал. А еще через два часа к нему позвонил Шелленберг и сказал:

— Добрый вечер, дружище! Штирлиц приготовил нам подарок: он привез русскую радистку, которая дала согласие работать на нас. Рейхсфюрер уже поздравил его с этой удачей.

Сидя у Шелленберга, слушая его веселую болтовню с Мюллером, Штирлиц в сотый раз спрашивал себя: вправе ли был он привозить сюда, в тюрьму, своего боевого товарища Катеньку Козлову, Кэт Кин, Ингу, Анабель. Да, он мог бы, конечно, посадить ее в машину, показав свой жетон, и увезти в Бабельсберг, а после найти ей квартиру и снабдить новыми документами. Это значило бы, что, спасая жизнь Кэт, он заранее шел на провал операции — той, которая была запланирована Центром, той, которая была так важна для сотен тысяч русских солдат, той, которая могла в ту или иную сторону повлиять на будущее Европы. Он понимал, что после похищения Кэт из госпиталя все гестапо будет поднято на ноги. Он понимал также, что, если побег удастся, след непременно поведет к нему: значок секретной полиции, машина, внешние приметы. Значит, ему тоже

пришлось бы уйти на нелегальное положение. Это было равнозначно провалу. Штирлиц понимал, что дело идет к концу, и поэтому палачи Мюллера будут зверствовать и уничтожать всех, кто был у них в застенках. Поэтому он сказал Кэт, чтобы она сначала поставила условие: ее ничто больше не связывает с Россией, муж погиб, и она теперь ни при каких обстоятельствах не должна попасть в руки своего бывшего «шефа». Это был запасной вариант, на случай, если Кэт все равно передали бы гестапо. Если бы Кэт осталась у него, он бы так не тревожился, поселил бы ее на конспиративной «радиоквартире» под охраной СС, а в нужный момент устроил бы так, чтобы Кэт с мальчиком исчезла и никто не смог бы ее найти. Хотя это чертовски сложно. Сейчас, при всем трагизме положения на фронтах, при том огромном количестве беженцев, которые заполнили центр страны, гестапо продолжало работать четко и слаженно: каждый второй человек давал информацию на соседа, а этот сосед, в свою очередь, давал информацию на своего информатора. Считать, что в этой мутной воде можно беспрепятственно уйти, мог только человек наивный, незнакомый со структурой тоталитарного государства.

Мюллер три часа работал над первым допросом русской. Он сличал запись, которую представил Штирлиц, с лентой магнитофона, вмонтированного в штепсель возле стола штандартенфюрера СС фон Штирлица.

Ответы русской сходились полностью. Вопросы штандартенфюрера были записаны скорописью и разнились от того, что он говорил русской радистке.

— Он лихо работает все-таки, этот Штирлиц, — сказал Мюллер Рольфу. — Вот послушайте-ка...

И, отмотав пленку, Мюллер включил голос Штирлица:

«— Я не стану повторять той азбучной истины, что в Москве этот арест будет для вас приговором. Человек, попавший в гестапо, обязан погибнуть. Вышедший из гестапо — предатель, и только предатель. Не так ли? Это первое. Я не стану просить у вас имен оставшихся на свободе агентов — это не суть важно: стараясь отыскать вас, они неминуемо придут ко мне. Это — второе. Третье: вы понимаете, что, как человек и как офицер рейха, я не могу относиться к вашему положению без сострадания — я понимаю, сколь велики будут муки матери, если мы будем вынуждены отдать ваше дитя

в приют. Ребенок навсегда лишится матери. Поймите меня верно: я вам не угрожаю, просто, даже если бы я и не хотел этого делать, надо мной есть руководство, а приказы всегда значительно легче отдавать тем, кто не видел ваше дитя у вас на руках. А я не могу не выполнить приказ: я солдат, и моя родина воюет с вашей страной. И наконец, четвертое. Мы в свое время получили копии ваших кинофильмов, снятых в Алма-Ате московской киностудией. Вы изображаете немцев дураками, а нашу организацию — сумасшедшим домом. Смешно, это ведь мы стояли у ворот Кремля...

Мюллер, естественно, не мог видеть, как именно в этом месте Штирлиц подмигнул Кэт, и она, сразу же поняв его, ответила:

— Да, но сейчас части Красной Армии стоят у ворот Берлина.

— Верно. Когда наши войска стояли у ворот Кремля, вы верили, что дойдете до Берлина. Так и мы убеждены сейчас, что скоро мы вернемся к Кремлю. Но — в сторону дискуссию. Я начал говорить вам об этом, потому что наши дешифровальщики отнюдь не глупые люди, и они уже многое открыли в вашем шифре, и вашу работу, работу радиста, может выполнить наш человек...

Штирлиц снова подмигнул Кэт. Она ответила:

— Ваш радист не знает моего почерка. Зато мой почерк очень хорошо знают в Центре.

— Верно. Но у нас есть записанные на пленку ваши донесения, мы можем легко обучить вашему почерку нашего человека. И он будет работать вместо вас. Это будет вашей окончательной компрометацией. Вам не будет прощения на родине — вы это знаете так же точно, как я, а может быть, еще точнее. Если вы проявите благоразумие, я обещаю вам полное алиби перед вашим руководством, — продолжал он.

— Это невозможно, — ответила Кэт.

— Вы ошибаетесь. Это возможно. Ваш арест не будет зафиксирован ни в одном из наших документов. Вы поселитесь с моими добрыми друзьями на квартире, где будет удобно девочке...

— У меня мальчик.

— Простите. Вас, скажете вы потом, если увидите своих, нашел после смерти мужа человек, который назвал вам пароль.

— Я не знаю пароля.

— Вы знаете пароль, — настойчиво повторил Штир-

лиц, — пароль вы знаете, но я не прошу его у вас, это мелочи и игра в романтику. Так вот, человек, назвавший вам пароль, скажете вы, привел вас на эту квартиру, и он передавал вам зашифрованные телеграммы, которые вы гнали в Центр. Это — алиби. В спектаклях и лентах о разведчиках принято давать время на раздумье. Я вам времени не даю, я спрашиваю сразу: да или нет?»

Молчание...

...Мюллер посмотрел на Рольфа и заметил:

— Только один прокол: он спутал пол ребенка. Он назвал дитя девочкой, а в остальном — виртуозная работа.

«— ...Да, — тихо ответила Кэт, скорее даже прошептала.

— Не слышу, — сказал Штирлиц.

— Да, — повторила Кэт. — Да! Да! Да!

— Вот теперь хорошо, — сказал Штирлиц. — И не надо истерики. Вы знали, на что шли, когда давали согласие работать против нас.

— Но у меня есть одно условие, — сказала Кэт.

— Да, я слушаю.

— С родиной у меня оборвалась вся связь после гибели мужа и моего ареста. Я буду работать на вас, если только вы гарантируете мне, что в будущем я никогда не попаду в руки моих бывших руководителей...»

Сейчас, когда жизнь Кэт висела на волоске, а атака на Бормана по каким-то непонятным причинам сорвалась, Штирлицу был совершенно необходим контакт с Москвой. Он рассчитывал получить помощь: одно-два имени, адреса нескольких людей, пусть ни прямо, ни косвенно не связанных с Борманом, но связанных каким-то образом с племянницей двоюродного брата, женатого на сестре деверя его повара...

Штирлиц улыбнулся: это родство показалось ему занятным.

Ждать, когда из Центра пришлют радиста, придется не меньше недели-двух. А сейчас нельзя ждать: судя по всему, дело решают дни, в крайнем случае недели.

Штирлиц рассуждал: отчего Борман не пришел на встречу? Во-первых, он мог не получить письма. Письмо успели перехватить люди Гиммлера, хотя вряд ли. Штирлиц сумел отправить письмо с корреспонденцией, предназначенной лично Борману, и похитить оттуда письмо — дело чересчур рискованное, поскольку он вложил письмо уже после проверки всей почты сотрудником секретного

отдела секретариата рейхсфюрера. Во-вторых, анализируя отправленное письмо, Штирлиц отметил для себя несколько существенных своих ошибок. Ему нередко помогала профессиональная привычка — наново анализировать поступок, беседу, письмо и, не досадуя на возможные ошибки, искать — сразу же, не пряча голову под крыло — «авось повезет», — выход из положения. Лично ему отправленное письмо ничем не грозило: он напечатал его на машинке в экспедиции во время налета. Просто, думал он, для человека масштаба Бормана в письме было слишком много верноподданнических эмоций и мало фактов и конструктивных предложений, вытекающих отсюда. Громадная ответственность за принимаемые решения, практически бесконтрольные, обязывает государственного человека типа Бормана лишь тогда идти на беседу с подчиненным, когда факты, сообщенные им, были ранее никому не известны и перспективны с государственной точки зрения. Но, с другой стороны, продолжал рассуждать Штирлиц, Борману были важны даже мельчайшие крупицы материалов, которые могли бы скомпрометировать Гиммлера. (Штирлиц понимал, отчего *началась* эта борьба между Гиммлером и Борманом. Он не мог найти ответа, отчего она *продолжается* сейчас с такой все нарастающей яростью.) И наконец, в-третьих, Штирлиц отдавал себе отчет в том, что Борман был просто-напросто занят и поэтому не смог прийти на встречу. Впрочем, Штирлиц знал, что Борман только два или три раза откликался на подобного рода просьбы о встрече. А с просьбами о приеме к нему ежедневно обращалось по меньшей мере два или три десятка человек из высшей иерархической группы партийного и военного аппарата.

«Это было наивно от начала до конца, — решил Штирлиц. — Я играл не только вслепую. Я играл не по его правилам».

Завыла сирена тревоги. Штирлиц посмотрел на часы: десять часов вечера. Закат был сегодня кроваво-красным, с синевой. Значит, ночью будет мороз. «И побьет мои розы, — подумал Штирлиц, поднимаясь, — верно, я рановато их высадил. Но кто мог подумать, что морозы продержатся так долго».

Бомбили совсем рядом. Штирлиц вышел из кабинета и пошел по пустому коридору к той лестнице, которая вела в бункер. Возле двери в дублирующий пункт прямой

связи — основной теперь был в бункере — он задержался. В двери торчал ключ.

Штирлиц нахмурился, неторопливо огляделся: коридор был пуст — все ушли в бункер. Он толкнул дверь плечом. Дверь не открылась. Он отпер дверь. Два больших белых телефона выделялись среди всех остальных: это была прямая связь с бункером фюрера и с кабинетами Бормана, Геббельса, Шпеера и Кейтеля.

Штирлиц выглянул в коридор: там по-прежнему никого не было. Стекла дрожали — бомбили теперь совсем рядом. Мгновение он думал, стоит запереть дверь или нет. Потом подошел к аппаратуре и набрал номер 12-00-54.

— Борман, — услышал он в трубке низкий, сильный голос.

— Вы получили мое письмо? — спросил Штирлиц, изменив голос.

— Кто это?

— Вы должны были получить письмо — лично для вас. От преданного члена партии.

— Да. Здравствуйте. Где вы? Ах да. Ясно. Номер моей машины...

— Я знаю, — перебил его Штирлиц. — Кто будет за рулем?

— Это имеет значение?

— Да. Один из ваших шоферов...

— Я знаю, — перебил его Борман.

Они понимали друг друга: Борман — что Штирлиц знает о том, как прослушиваются его разговоры (это свидетельствовало о том, что человек, говоривший с ним, знал высшие секреты рейха); Штирлиц, в свою очередь, сделал вывод, что Борман понимает то, что он ему недоговаривал (один из его шоферов был секретным сотрудником гестапо), и поэтому он почувствовал удачу.

— Там, где мы должны были с вами увидеться, вас будут ждать. Во время, указанное вами, — завтра.

— Сейчас, — сказал Штирлиц. — Через полчаса.

8.3.1945 (22 часа 32 минуты)

Через полчаса возле музея природоведения Штирлиц увидел бронированный «майбах». Он прошел мимо машины, убедившись, что за ним нет хвоста. На заднем

сиденье он увидел Бормана. Штирлиц вернулся и, открыв дверцу, сказал:

— Партайгеноссе Борман, я благодарен вам за то доверие, которое вы мне оказали...

Борман молча пожал ему руку.

— Поехали, — сказал он шоферу, — к Ванзее.

Потом он отделил стеклом салон от шофера.

— Где я вас видел? — спросил он, присматриваясь к Штирлицу. — Ну-ка, снимите ваш камуфляж...

Штирлиц положил очки на колени и приподнял шляпу.

— Я где-то определенно вас видел, — повторил Борман.

— Верно, — ответил Штирлиц. — Когда мне вручали крест, вы сказали, что у меня лицо профессора математики, а не шпиона...

— Сейчас у вас как раз лицо шпиона, а не профессора, — пошутил Борман. — Ну, что случилось, рассказывайте.

...Аппарат, связывавший Бормана с имперским управлением безопасности, молчал всю ночь. Поэтому, когда наутро данные прослушивания легли на стол Гиммлера, он, рассвирепев поначалу, а после, когда гнев остыл, испугавшись, вызвал Мюллера и приказал ему выяснить — только осторожно: кто разговаривал из спецкомнаты правительственной связи сегодня ночью со штабквартирой НСДАП, с Борманом.

Никаких определенных данных Мюллеру в течение дня получить не удалось. Под вечер ему на стол положили отпечатки пальцев, оставленные на трубке телефона незнакомцем, звонившим Борману. Поразило его то, что, по данным картотеки, такие же отпечатки пальцев уже появились несколько дней тому назад в гестапо и были они обнаружены на передатчике, принадлежавшем русской радистке.

Гиммлер, получив сообщение Мюллера о проводимом расследовании, одобрил его предложение негласно взять отпечатки пальцев у всех работников аппарата.

Мюллер также предложил организовать ликвидацию шофера Бормана таким образом, чтобы создалось впечатление случайной гибели в результате наезда автомобиля на улице, возле его дома. Поначалу Гиммлер хотел было санкционировать это мероприятие, очевидно необходимое, но потом остановил себя. Он переставал верить всем — Мюллеру в том числе.

— Это вы сами продумайте, — сказал он. — Может быть, следовало бы его отпустить вовсе? — отыграл он в сторону, понимая, что́ ему ответит Мюллер.

— Это невозможно, с ним много работали.

Именно такого ответа и ждал рейхсфюрер.

— Ну, я не знаю, — поморщился он. — Шофер — честный человек, а мы не наказываем честных людей... Придумайте что-нибудь сами...

Мюллер вышел от Гиммлера в гневе: он понял, что рейхсфюрер боится Бормана и подставляет под удар его, Мюллера. Нет, решил он, тогда я тоже поиграю. Пусть шофер живет. Это будет мой козырь.

После беседы с Мюллером Гиммлер вызвал Отто Скорцени.

Он понял, что схватка с Борманом вступает в последнюю, решающую стадию. И если с помощью какого-то неизвестного изменника из СС Борман получил компрометирующие материалы на него, Гиммлера, то противопоставить этому частному факту он обязан сокрушающий удар. В политике ничто так не уравнивает шансы противников, как осведомленность и сила. И нигде не собрано такое количество информации, как в бронированных сейфах партийных архивов. Пусть Борман оперирует человеком. Он, Гиммлер, будет оперировать бумагами: они и надежнее людей, и — по прошествии времени — страшнее их...

— Мне нужен архив Бормана, — сказал он. — Вы понимаете, Скорцени, что мне нужно?

— Я понимаю.

— Это труднее, чем выкрасть дуче.

— Я думаю.

— Но это возможно?

— Не знаю.

— Скорцени, такой ответ меня не удовлетворяет. Борман на этих днях начинает эвакуацию архива: куда и под чьей охраной — это вам предстоит выяснить. Шелленберг поможет вам — негласно, в порядке общей консультации.

10.3.1945 (19 часов 58 минут)

Штирлиц выехал ночным экспрессом на швейцарскую границу для того, чтобы «подготовить окно». Он, как и Шелленберг, считал, что открытая переброска пастора через границу может придать делу нежелательную огласку — вся эта операция осуществлялась в обход гестапо.

А «разоблачение» Шлага после того, как он сделает свое дело, должно быть осуществлено, по замыслу Шелленберга, именно Штирлицем.

Все эти дни Штирлиц с санкции Шелленберга готовил для пастора «кандидатов» в заговорщики: людей из министерства иностранных дел и из штаба люфтваффе. Там, в этих учреждениях, Штирлиц нашел людей, особо ревностно служивших нацизму. Шелленбергу особенно понравилось, что все эти люди были в свое время завербованы гестапо как осведомители.

— Это хорошо, — сказал он, — это очень элегантно.

Штирлиц вопросительно посмотрел на него.

— В том смысле, — пояснил Шелленберг, — что мы таким образом скомпрометируем на Западе всех тех, кто будет искать мирных контактов помимо нас. Там ведь четко отграничивают гестапо от нашего департамента.

В этом ночном экспрессе, который отличался от всех остальных поездов довоенным комфортом: в маленьких купе поскрипывали настоящие кожаные ремни, тускло блестели медные пепельницы, проводники разносили крепкий кофе, — в этом поезде по коридору Скандинавия — Швейцария ездили теперь лишь одни дипломаты.

Штирлиц занимал место № 74. Место № 56 в следующем вагоне занимал синюшно-бледный профессор из Швеции с длинной, неуклюжей скандинавской фамилией. Они да еще один генерал, возвращавшийся после ранения на итальянский фронт, были единственными пассажирами в двух международных вагонах.

Генерал заглянул в купе Штирлица и спросил его:

— Вы немец?

— Увы, — ответил Штирлиц.

Он имел возможность шутить, ему это было разрешено руководством. Провокация предполагает возможность зло шутить. В случае, если собеседник не пойдет в гестапо с доносом, можно думать о перспективе в работе с этим человеком. В свое время этот вопрос дискутировался в гестапо: пресекать недостойные разговоры на месте или давать им выход? Считая, что даже малый вред рейху — существенная польза для его родины, Штирлиц всячески поддерживал тех, кто стоял на точке зрения поощрения провокаций.

— Почему «увы»? — поинтересовался генерал.

— Потому, что мне не приносят второй порции кофе. Настоящий кофе они дают по первому требованию только тем, у кого чужой паспорт.

— Да? А мне дали второй раз. У меня есть коньяк. Хотите выпить?

— Спасибо. У меня тоже есть коньяк.

— Зато, вероятно, у вас нет сала.

— У меня есть сало.

— Значит, мы с вами хлебаем из одной тарелки, — сказал генерал, наблюдая за тем, что доставал Штирлиц из портфеля. — В каком вы звании?

— Я дипломат. Советник третьего управления МИДа.

— Будьте вы прокляты! — сказал генерал, присаживаясь на кресло, вмонтированное за выступом маленького умывальника. — Во всем виноваты именно вы.

— Почему?

— Потому, что вы определяете внешнюю политику, потому, что вы довели дело до войны на два фронта. Прозт!

— Прозит! Вы мекленбуржец?

— Да. Как вы узнали?

— По «прозт». Все северяне экономят на гласных.

— Это верно, — сказал он. — Слушайте, а я не мог вас видеть вчера в министерстве авиации?

Штирлиц поджался: он вчера подвозил к министерству авиации пастора Шлага — «налаживать» связи с людьми, близкими к окружению Геринга. В случае успеха всей операции, когда к делу подключат гестапо — но уже по просьбе Шелленберга, для выяснения деталей «заговора», — надо было, чтобы пастор «оставил следы»: и в министерстве авиации, и в люфтваффе, и в министерстве иностранных дел.

«Нет, — подумал Штирлиц, наливая коньяк, — этот генерал меня не мог видеть; мимо меня, когда я сидел в машине, никто не проходил. И вряд ли Мюллер станет подставлять под меня генерала — это не в его привычках, он работает проще».

— Я там не был, — ответил он. — Странное свойство моей физиономии: всем кажется, что меня где-то только что видели.

— А вы стереотипны, — ответил генерал. — Похожи на многих других.

— Это хорошо или плохо?

— Для шпиков, наверное, хорошо, а для дипломата, видимо, плохо. Вам нужны запоминающиеся лица.

— А военным?

— Военным сейчас надо иметь сильные ноги. Чтобы вовремя сбежать.

— Вы не боитесь так говорить с незнакомым человеком?

— Так вы не знаете моего имени...

— Это очень легко установить, поскольку у вас запоминающееся лицо.

— Да? Черт, мне всегда оно казалось самым стандартным. Все равно, пока вы напишете на меня донос, пока они найдут второго свидетеля, пройдет время — все будет кончено. На скамью подсудимых нас будут сажать те, а не эти. И в первую голову вас, дипломатов.

— Вы жгли, вы убивали, а судить — нас?

— Мы выполняли приказ. Жгли СС. Мы — воевали.

— А что изобрели особый способ: воевать — не сжигая и без жертв?

— Война так или иначе необходима. Не такая глупая, конечно. Это война дилетанта. Он решил, что воевать можно по наитию. Он один знает, что нам всем надо. Он один любит великую Германию, а мы все только и думаем, как бы ее предать большевикам и американцам.

— Прозит...

— Прозт! Государства — как люди. Им претит статика. Их душат границы. Им нужно движение — это аксиома. Движение — это война. Но если вы, проклятые дипломаты, снова напутаете, тогда вас уничтожат — всех до единого.

— Мы выполняли приказ. Мы — такие же солдаты, как вы... Солдаты фюрера.

— Бросьте вы притворяться. «Солдаты фюрера», — передразнил он Штирлица. — Младший чин, выкравший генеральские сапоги...

— Мне страшно говорить с вами, генерал...

— Не лгите. Сейчас вся Германия говорит, как я... Или думает, во всяком случае.

— А мальчики из гитлерюгенда? Когда они идут на русские танки, они думают так же? Они умирают со словами: «Хайль Гитлер...»

— Фанатизм никогда не даст окончательной победы. Фанатики могут победить — на первых порах. Они никогда не удержат победы, потому что они устанут от самих себя. Прозт!

— Прозит... Тогда отчего же вы не поднимете свою дивизию?..

— Корпус...

— Тем более. Почему же тогда вы не сдадитесь в плен вместе со своим корпусом?

— А семья? А фанатики в штабе? А трусы, которым легче драться, веря в мифическую победу, чем сесть в лагерь союзников?!

— Вы можете приказать.

— Приказывают умирать. Нет еще таких приказов — жить, сдаваясь врагу. Не научились писать.

— А если вы получите такой приказ?

— От кого? От этого неврастеника? Он тянет всех нас за собой в могилу.

— А если приказ придет от Кейтеля?

— У него вместо головы задница. Он не военный.

— Ну хорошо... Ваш главнокомандующий в Италии...

— Кессельринг?

— Да.

— Он такого приказа не издаст.

— Почему?

— Он воспитывался в штабе у Геринга. А тот, кто работает под началом какого-нибудь вождя, обязательно теряет инициативу. И ловкость приобретает, и аналитиком становится, но теряет способность принимать самостоятельные решения. Прежде чем решиться на такой шаг, он обязательно полетит к борову.

— К кому?

— К борову, — повторил генерал упрямо. — К Герингу.

— Вы убеждены, что Кессельринга нельзя уговорить пойти на такой шаг без санкции Геринга?

— Если б не был убежден, не говорил бы.

— Вы не верите в перспективу?

— Я верю в перспективу. В перспективу скорой гибели. Всех нас, скопом... Это не страшно, поверьте, когда все вместе. И гибель наша окажется такой сокрушительной, что память о ней будет ранить сердца многих поколений несчастных немцев...

На пограничной станции Штирлиц вышел из вагона. Генерал, проходя мимо него, опустил глаза и вскинул руку в партийном приветствии.

— Хайль Гитлер! — сказал он громко.

— Хайль Гитлер, — ответил Штирлиц. — Желаю вам счастливо разбить своих врагов.

Генерал посмотрел на Штирлица испуганно: видимо, он вчера был сильно пьян.

— Спасибо, — ответил он так же громко, вероятно, рассчитывая, что его слышит проводник. — Мы им сломим голову.

— Я не сомневаюсь, — ответил Штирлиц и медленно пошел по перрону.

В двух вагонах остался один только профессор-швед, ехавший за границу, в тишину и спокойствие свободной нейтральной Швейцарии. Штирлиц прогуливался по перрону до тех пор, пока не кончилась пограничная и таможенная проверка. А потом поезд медленно тронулся, и Штирлиц проводил долгим взглядом шведского профессора, прилепившегося к окну...

Этим шведом был профессор Плейшнер. Он ехал в Берн с зашифрованным донесением для Москвы: о проделанной работе, о задании Шелленберга, о контакте с Борманом и о провале Кэт. В этом донесении Штирлиц просил прислать связь и оговаривал, когда, где и как он на эту связь сможет выйти. Штирлиц попросил также Плейшнера выучить наизусть дублирующую телеграмму в Стокгольм. Текст был безобиден, но люди, которым это сообщение было адресовано, должны были немедленно передать его в Москву. Получив текст, в Центре могли прочесть:

> Гиммлер через Вольфа начал в Берне переговоры с Даллесом. *Юстас.*

Штирлиц вздохнул облегченно, когда поезд ушел, и отправился в местное отделение погранслужбы — за машиной, чтобы ехать на дальнюю горную заставу: вскоре там должен будет нелегально проникнуть в Швейцарию пастор Шлаг.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ (ДАЛЛЕС)

Агент Шелленберга, работавшая у Даллеса, сообщала: к ее «хозяину-подопечному» пришел кюре Норелли из представительства Ватикана в Швейцарии. Между двумя этими умными людьми состоялась беседа, которую удалось записать почти дословно.

— Мир проклянет Гитлера, — говорил Даллес, попыхивая трубкой, — не столько за печи Майданека и Освенцима и не столько за негибкую политику антисемитизма... Никогда за всю историю, даже в великолепный и демократичный пореформенный период, Россия не делала такого рывка вперед, как за эти годы войны. Силами узников концлагерей они освоили огромные мощности на Урале и в Сибири. Гитлер бросил Россию и Америку

в объятия друг другу. Русские восстановят на средства немецких репараций — Сталин рассчитывает получить с Германии двадцать миллиардов долларов — разрушенную промышленность западных районов и таким образом удвоят мощь своего индустриального потенциала. Россия выйдет на первое место в Европе по мощи и наступательной силе.

— Значит, — спросил кюре, — выхода нет? Значит, через пять-шесть лет большевики заставят меня служить мессу в честь его святейшества Сталина?

— Как вам сказать... В общем-то, могут, конечно. Если мы будем вести себя как агнцы, заставят. Нам нужно делать ставку на развитие национализма в России, тогда, может быть, они рассыплются... Здесь только нельзя глупить. Если раньше Сталин имел металлургию на Украине и совсем немного — на востоке, если раньше Украина кормила пшеницей страну, то теперь все изменилось. В подоплеке национализма всегда лежат интересы тех или иных групп населения, связанных с делом, или, используя марксистскую фразеологию, — с производством. Когда я сам произвожу что-то, я чувствую себя по-одному. Но, когда появляется конкурент, я себя чувствую по-иному. В условиях нашей системы конкуренция живительна. В условиях системы Сталина конкуренция лишь травмирует людей. Посылать в будущую Россию диверсантов, которые бы взрывали заводы, — смешная затея. А вот если наша пропаганда точно и аргументированно докажет национальностям России, что каждая из них может существовать, разговаривая только на своем языке, — это будет наша победа, и противопоставить этой победе русские не смогут ничего.

— Мои друзья в Ватикане считают, что русские за годы войны научились маневренности — и в действиях и в мышлении.

— Видите ли, — ответил Даллес, набив трубку, — я сейчас перечитываю русских писателей: Пушкина, Салтыкова, Достоевского... Я проклинаю себя за то, что не знаю их языка, — русская литература, пожалуй, самая поразительная: я имею в виду их литературу девятнадцатого века. Я вывел для себя, что русскому характеру свойственно чаще оглядываться на идеальные примеры прошлого, чем рисковать, в построении модели будущего. Я допускаю, что они решат сделать ставку на аграрный класс России, уповая на то, что земля «все исцеляет» и все единит. Тогда они войдут в кон-

фликт со временем, а выхода из этого конфликта нет. Уровень развития техники не позволит этого.

— Это интересно, — сказал кюре. — Но я опасаюсь, что вы ставите себя в ваших умопостроениях над ними, а не рядом с ними...

— Вы призываете меня вступить в ряды ВКП(б)? — улыбнулся Даллес. — Они меня не примут из-за плохой анкеты и родственников, которые живут за границей...

11.3.1945 (16 часов 03 минуты)

На пограничной заставе Штирлиц быстро решил все вопросы: обер-лейтенант оказался покладистым, славным парнем. Сначала Штирлиц даже подивился такой покладистости: пограничники славились чрезмерным гонором, словно бурши прошлого века. Но, поразмыслив, Штирлиц понял, в чем тут дело: жизнь в горах, на границе с нейтральной Швейцарией, в каком-то особом лунно-снежном мире, вдали от бомбежек, разрухи и голода, заставляла и обер-лейтенанта, командовавшего зоной, и всех остальных местных начальников угождать каждому, приехавшему из центра. Манера поведения пограничников, их угодливость и непомерная суетливость привели Штирлица к важному выводу: граница перестала быть непроходимой.

Было бы идеально, думал он, связаться прямо отсюда с Шелленбергом и попросить его дать указание кому-то из верных сотрудников разведки доставить пастора прямо сюда, на заставу. Но он понимал, что любой звонок в Берлин будет зафиксирован ведомством Мюллера, а провал Шелленберга и той миссии, которую он возлагал на пастора, должны были стать козырной картой именно его, Штирлица, когда он будет докладывать об этом Борману — с фотографиями, данными магнитофонных записей, с адресами, явками и рапортом пастора, чтобы скомпрометировать те переговоры, не фиктивные, а настоящие, которые должен был вести в Швейцарии генерал Карл Вольф.

Договорившись о месте, в котором он переведет через границу пастора, — это было ущелье, поросшее хвойным молодым лесом, — Штирлиц еще раз расспросил о том, как называется маленький отель в Швейцарии, видный отсюда, с границы; он узнал, как зовут хозяина отеля и сколько времени придется ждать такси из города; он выяснил, где находится ближайший отель на равнине, —

по легенде пастор шел на лыжах с равнины в горы и заблудился в ущельях. В Берне и Цюрихе у пастора были друзья. Открытка, которую пастор должен отправить, с видом набережной Лозанны, значила бы, что предварительные разговоры закончены, связь налажена, можно приезжать для серьезных бесед. Поначалу Шелленберг возражал против этого плана Штирлица.

— Слишком просто, — говорил он, — слишком все облегченно.

— Он не сможет вести себя иначе, — ответил Штирлиц. — Для него лучшая ложь — это абсолютная правда. Иначе он запутается, и им займется полиция.

К себе в Бабельсберг Штирлиц вернулся поздно. Он отпер дверь, потянулся к выключателю, но услыхал голос, очень знакомый и тихий.

— Не надо включать свет.

«Холтофф, — понял Штирлиц. — Как он попал сюда? Что-то случилось, и, видимо, очень важное...»

Отправив телеграмму в Стокгольм, профессор Плейшнер снял номер в маленьком отеле в Берне, принял ванну, потом спустился в ресторан и долго недоумевающе рассматривал меню. Он переводил взгляд со слова «ветчина» — на цену, с «омары» — на цену, он изучал эту вощеную, отдающую синевой бумагу, а после, неожиданно для самого себя засмеявшись, сказал:

— Гитлер — сволочь!

Он был в ресторане один, на кухне повар гремел кастрюлями, пахло топленым молоком и свежим хлебом.

Плейшнер повторил — теперь уже громче:

— Гитлер — дерьмо!

Видимо, кто-то услышал его: появился молодой розовощекий официант. Он подплыл к профессору, сияя улыбкой:

— Добрый день, месье.

— Гитлер — собака! — закричал Плейшнер. — Собака! Сволочь! Скотина!

Он ничего не мог с собой поделать — началась истерика.

Поначалу официант пытался улыбаться, считая это шуткой, а потом побежал на кухню, и оттуда выглянул повар.

— Позвонить в больницу? — спросил официант.

— Ты сошел с ума, — ответил повар, — к нам в ресторан приедет карета «скорой помощи»! Сразу же распустят слух, что у нас отравили человека.

Через час Плейшнер выписался из этого отеля и переехал в частный пансион на берегу озера. Он понял, что оставаться там после этой дурацкой истерики глупо.

Истерика сначала очень испугала его. А потом он почувствовал облегчение. Он ходил по улицам, то и дело оглядываясь: боялся, что сейчас у него за спиной заскрипят тормоза, его схватят под руки молчаливые молодчики, увезут в подвал и там станут бить за то, что он посмел оскорбить великого фюрера. Но он шел по улице, и никому до него не было дела. В киоске он накупил английских и французских газет, на первых полосах были карикатуры на Гитлера и Геринга. Он тихонько засмеялся и сразу же испугался, что снова начнется истерика.

— Бог мой, — вдруг сказал он. — Неужели все позади?

Он шел на конспиративную квартиру, адрес которой ему дал Штирлиц, по пустынной улице. Оглянувшись несколько раз, профессор вдруг — и снова неожиданно для себя — стал кружиться в вальсе. Он напевал себе под нос какой-то старинный вальс и упоенно кружился, по-старомодному пришаркивая мыском туфель и делая такие пробеги, которые — он это помнил — делали эстрадные танцоры в начале века.

Дверь ему открыл высокий плотный мужчина.

— Отто просил передать, — сказал профессор слова пароля, — что вчера вечером он ждал вашего звонка.

— Заходите, — сказал мужчина, и Плейшнер зашел в квартиру, хотя он не имел права этого делать, не дождавшись отзыва: «Странно, я был дома, но, видимо, он перепутал номер».

Пьяный воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером злую шутку: явочная квартира советского разведчика была провалена, и сейчас здесь ждали «гостей». Первым гостем оказался связник Штирлица — профессор Плейшнер.

— Ну? — спросил высокий мужчина, когда они вошли в комнату. — Как он там?

— Вот, — сказал Плейшнер, протягивая ему крохотную ампулу, — тут все сказано.

Это его спасло: немцы не знали ни пароля, ни тех

возможных людей, которые должны были бы прийти на связь. Поэтому было принято решение: если связник не войдет без отзыва, его надо схватить и, усыпив, вывезти в Германию. Если же он войдет в контакт, установить за ним наблюдение и, таким образом, выйти на главного резидента.

Высокий человек ушел в соседнюю комнату. Там он вскрыл ампулу и разложил на столе листочек папиросной бумаги. Цифры слагались в донесение. Такие же цифры находились сейчас в центре дешифровки в Берлине: именно этим шифром передавались донесения русской радисткой, которая дала согласие работать на Гиммлера.

Высокий мужчина протянул донесение своему помощнику и сказал:

— Срочно в посольство. Передай нашим, чтобы организовали наблюдение за этим типом. Я задержу его и постараюсь с ним поговорить: он дилетант, его, видимо, используют, я его расшевелю...

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1944 года Барбары Беккер, унтершарфюрера СС (IV отдел РСХА): «Истинная арийка. Характер — нордический, стойкий. Безукоризненно выполняет служебный долг. С товарищами по работе ровна и дружелюбна. Спортсменка. Беспощадна к врагам рейха. Незамужняя. В порочащих связях не замечена...»)

Кэт ходила по комнате, укачивая сына. В отсутствие Штирлица, как он и говорил, ее перевели на конспиративную квартиру гестапо, где оборудовали небольшую, но мощную радиостанцию. Кэт смотрела на лицо спящего мальчика и думала: «Всему в жизни надо учиться: и как готовить яичницу, и где искать книгу в каталоге, математике надо учиться тем более. А вот материнству учиться не надо...»

— Мы зовем людей к естественности, — сказала ей как-то охранница, фройляйн Барбара. Она была совсем еще молода и любила поболтать перед ужином. Солдат СС Гельмут, живший в соседней комнате, сервировал стол на троих, чтобы отпраздновать двадцатилетие воспитанницы гитлерюгенда. Во время этого торжественного ужина, с картофелем и гуляшом, Барбара сказала, что, после того как Германия выиграет войну, женщины наконец смогут заняться своим делом — уйти из армии и с производства и начать строить большие германские семьи.

— Рожать и кормить — вот задача женщины, — говорила Барбара, — все остальное — химера. Люди должны стать здоровыми и сильными. Нет ничего чище животных инстинктов. Я не боюсь говорить об этом открыто.

— Это как? — хмуро поинтересовался Гельмут, только-только откомандированный с фронта после сильнейшей контузии. — Сегодня со мной, завтра с другим, а послезавтра с третьим?

— Это гнусность, — ответила Барбара, брезгливо поморщившись. — Семья свята и незыблема. Но разве в постели с мужем, с главой дома, я не могу так же наслаждаться силой любви, как если бы он был и вторым, и третьим, и четвертым? Надо освободить себя от стыдливости — это тоже химера... Вы, вероятно, не согласны со мной? — спросила она, обернувшись к Кэт.

— Не согласна.

— Желание произвести лучшее впечатление — тоже уловка женщины, древняя, как мир. Уж не кажется ли вам, что наш добрый Гельмут предпочтет вас — мне? — засмеялась Барбара. — Он боится славян, и потом, я — моложе...

— Я ненавижу женщин, — глухо сказал Гельмут. — «Исчадие ада» — это про вас.

— Почему? — спросила Барбара и озорно подмигнула Кэт. — За что вы нас ненавидите?

— Вот за то самое, что вы тут проповедовали. Женщина хуже злодея. Тот хоть не обманывает: злодей, он сразу злодей. А тут сначала такую патоку разольют, что глаза слипаются, а после заберут в кулак и вертят как хотят, а при этом еще спят с твоим ближайшим другом.

— Вам жена наставила рога! — Барбара даже захлопала в ладоши. Кэт отметила для себя, что у нее очень красивые руки: мягкие, нежные, с детскими ямочками и аккуратно отполированными розовыми ногтями.

Эсэсовец тяжело посмотрел на Барбару и ничего не ответил: он подчинялся ей, он был рядовым солдатом, а она унтершарфюрером.

— Простите, — сказала Кэт, поднимаясь из-за стола, — я могу уйти к себе?

— А что случилось? — спросила Барбара. — Сегодня не бомбят, работать вы еще не начали, можно и посидеть чуть дольше обычного.

— Я боюсь, проснется маленький. Может быть, вы позволите мне спать с ним? — спросила Кэт. — Мне

жаль господина, — она кивнула головой на Гельмута, — он, наверное, не высыпается с маленьким.

— Он тихий, — сказал Гельмут, — спокойный парень. И совсем не плачет.

— Это запрещено, — сказала Барбара. — Вам полагается жить в разных помещениях с ребенком.

— Я не убегу, — попробовала улыбнуться Кэт. — Обещаю вам.

— Отсюда невозможно убежать, — ответила Барбара. — Нас двое, да и запоры надежные. Нет, я очень сожалею, но есть приказ командования. Попробуйте поговорить с вашим шефом.

— А кто мой шеф?

— Штандартенфюрер Штирлиц. Он может нарушить указание начальства — в случае, если вы преуспеете в работе. У одних стимул — деньги, у других — мужчины, у вас самый верный стимул к хорошей работе — ваше дитя. Не так ли?

— Да, — ответила Кэт. — Вы правы.

— Между прочим, вы до сих пор не дали ребенку имя, — сказала Барбара, отрезая от картофелины маленький ломтик. Кэт заметила, что девушка ест словно на дипломатическом приеме — ее движения были полны изящества, и картофель, испорченный червоточинами, казался каким-то диковинным экзотическим фруктом.

— Я назову его Владимиром...

— В честь кого? Ваш отец был Владимиром? Или его отец? Как его, кстати, звали?

— Кого?

— Вашего мужа.

— Эрвин.

— Я знаю, что Эрвин. Нет, я спрашиваю его настоящее имя, русское...

— Я знала его как Эрвина.

— Он даже вам не называл своего имени?

— По-моему, — улыбнулась Кэт, — ваши разведчики так же, как и все разведчики мира, знают друг друга по псевдонимам. То, что я Катя, а не Кэт, знал мой шеф в Москве и, вероятно, знали те люди, которые были связаны с Эрвином, его здешние руководители.

— Владимиром, мне кажется, звали Ленина, — помолчав, сказала Барбара. — И благодарите Бога, что вами занимается Штирлиц: он у нас славится либерализмом и логикой...

Рейхсфюреру СС Генриху
Гиммлеру.
Строго секретно.
Только для личной передачи.
В одном экземпляре.

Рейхсфюрер!

Вчера ночью я приступил к практическому осуществлению операции «Истина». Этому предшествовало предварительное ознакомление с ландшафтом, дорогами, с рельефом местности. Я считал, что неосмотрительно наводить более подробные справки о шоферах, которые будут перевозить архив рейхсляйтера Бормана, или о предполагаемом маршруте. Это может вызвать известную настороженность охраны.

Я задумал проведение акции по возможности бесшумно, однако события вчерашней ночи не позволили мне осуществить «бесшумный» вариант. После того как мои люди, одетые в штатское, развернули посредине шоссе грузовик, колонна, перевозившая архив рейхсляйтера, не останавливаясь, открыла стрельбу по грузовику и по трем моим людям. Не спрашивая, что это за люди, не проверяя документов, первая машина охраны партийного архива наскочила на наш грузовик и опрокинула его в кювет. Дорога оказалась свободной. Пять человек из первой машины прикрытия перескочили в следующий автомобиль, и колонна двинулась дальше. Я понял, что в каждом грузовике следуют по крайней мере пять или шесть человек, вооруженных автоматами. Это, как выяснилось впоследствии, не солдаты и не офицеры. Это функционеры из канцелярии НСДАП, мобилизованные в ночь перед эвакуацией архива. Им был дан личный приказ Бормана: стрелять в каждого, независимо от звания, кто приблизится к машинам ближе чем на двадцать метров.

Я понял, что следует изменить тактику, и отдал приказ расчленить колонну. Одной части своих людей я приказал следовать по параллельной дороге до пересечения шоссе с железнодорожной линией: дежурный там был изолирован, его место занял мой доверенный человек, который

должен был преградить путь, опустив шлагбаум. Я же с остальными людьми, разбив колонну надвое (для этого пришлось поджечь фаустпатроном грузовик, следовавший шестым по счету от головной машины), остался на месте К сожалению, нам пришлось пустить в ход оружие: каждый грузовик отстреливался до последнего патрона, невзирая на то, что мы предложили вступить в переговоры. Первые грузовики подошли к переезду в одно время с нашими машинами, но там уже стояло десять танков из резерва 24-го корпуса, которые взяли на себя охрану грузовиков рейхсляйтера. Наши люди были вынуждены отступить. Те грузовики, которые мы отбили, были сожжены, а все мешки и цинковые ящики, захваченные нами, перегружены в бронетранспортеры и отвезены на аэродром. Шоферы, доводившие бронетранспортеры до аэродрома, были ликвидированы нашей ударной группой.

Хайль Гитлер!
Ваш *Скорцени.*

На конспиративную квартиру пришел Рольф с двумя своими помощниками. Он был слегка навеселе и поэтому все время пересыпал свою речь французскими словами. Мюллер сказал ему, что Кальтенбруннер дал согласие на то, чтобы именно он, Рольф, работал с русской в то время, когда Штирлиц отсутствует.

— Шелленберг отправил Штирлица на задание. Рольф в это время будет работать на контрасте: после злого следователя арестованные особенно тянутся к доброму. Штирлиц — добрый, а? — И Кальтенбруннер, засмеявшись, предложил Мюллеру сигарету.

Мюллер закурил и какое-то мгновение раздумывал. Мюллера устраивало, что разговор Бормана с кем-то из работников РСХА был известен Гиммлеру и прошел мимо Кальтенбруннера: эта «вилка» создавала для него возможность маневрировать между двумя силами. Поэтому он, естественно, никак не посвящал Гиммлера в суть подозрений Кальтенбруннера по поводу Штирлица; в свою очередь, Кальтенбруннер ничего не знал о таинственном разговоре с Борманом, который Гиммлер оценил как предательство и донос.

— Вы хотите, чтобы я посмотрел, как Штирлиц будет работать с радисткой? — спросил Мюллер.

— Зачем? — удивился Кальтенбруннер. — Зачем вам смотреть? По-моему, он достаточно ловкий человек именно в вопросах радиоигры.

«Неужели он забыл свои слова? — удивился Мюллер. — Или он что-то готовит под меня? Стоит ли напоминать ему? Или это делать нецелесообразно? Проклятая контора, в которой надо хитрить! Вместо того чтобы обманывать чужих, приходится дурачить своего!»

— Рольфу дать самостоятельную «партитуру» в работе с русской «пианисткой»?

— С «пианисткой»... Нет, пусть Рольф контактирует со Штирлицем. Цель должна быть одна, а способы достижения могут быть разными...

— Тоже верно.

— Как успехи у дешифровальщиков?

— Там очень мудреный шифр.

— Потрясите русскую. Я не верю, что она не знает шифра резидента.

— Штирлиц ведет с ней работу своими методами.

— Штирлица пока нет, пусть пока ее потрясет Рольф.

— Своим способом?

Кальтенбруннер хотел что-то ответить, но на столе зазвонил телефон из бункера фюрера: Гитлер приглашал Кальтенбруннера на совещание.

При самом первом осмотре захваченных архивов Бормана не было найдено ни одного документа, проливавшего свет на пути, по которым партия переводила свои деньги в иностранные банки. Видимо, эти бумаги либо уже были эвакуированы, либо Борман хранил в своей феноменальной памяти банковские шифры и фамилии своих финансовых агентов, которые могли ему понадобиться в первый день мира, либо, наконец, — и это было самое обидное — документы остались в первых машинах, которым удалось прорваться сквозь кордон Скорцени и соединиться с танками армии.

Однако в тех архивах, которые были захвачены людьми Скорцени, содержались документы, в высшей мере любопытные. В частности, там находилось письмо Штирлица Борману — хотя и не подписанное, но свидетельствовавшее о том, что в недрах СД зреет измена.

Гиммлер показал эту бумагу Шелленбергу и попросил его провести расследование. Шелленберг обещал выполнить поручение рейхсфюрера, прекрасно отдавая себе отчет в том, что поручение это невыполнимо. Однако

наличие этого документа натолкнуло его на мысль, что в архиве Бормана есть более серьезные материалы, которые позволят заново перепроверить своих сотрудников, выяснив, не работали ли они одновременно на Бормана, а если и работали — то начиная с какого времени, над какими вопросами, против кого конкретно. Шелленберг не боялся узнать, что его сотрудники работали на двух хозяев. Ему было важно составить себе картину того, что Борман знал о его святая святых — о его поисках мира.

Несколько сотрудников Шелленберга были посажены за эту работу. Почти каждый час он осведомлялся о новостях. Ему неизменно отвечали: «Пока ничего интересного».

ВСЕ ЛИ ГОТОВО В БЕРНЕ?

— Как себя чувствует ваш шеф? — спросил высокий. — Здоров?

— Да, — улыбнулся Плейшнер. — Все в порядке.

— Хотите кофе?

— Спасибо. С удовольствием.

Мужчина ушел на кухню и спросил оттуда:

— У вас надежная крыша?

— А я живу на втором этаже, — не поняв жаргона, ответил Плейшнер.

Гестаповец усмехнулся, выключая кофейную мельницу. Он был прав: к нему пришел дилетант, добровольный помощник, — «крыша» на сленге разведчиков всего мира означает «прикрытие».

«Только не надо торопиться, — сказал он себе, — старик у меня в кармане. Он все выложит, только надо с ним быть поосторожнее...»

— Такого в Германии нет, — сказал он, подвигая Плейшнеру чашку кофе. — Эти сволочи поят народ бурдой, а здесь продают настоящий бразильский.

— Забытый вкус, — отхлебнув маленький глоток, согласился Плейшнер. — Я не пил такого кофе лет десять.

— Греки научили меня запивать крепкий кофе водой.

Плейшнера сейчас все веселило, он ходил легко, и думал легко, и дышал легко. Он рассмеялся:

— Я ни разу не пил кофе с водой.

— Это занятно: контраст температуры и вкуса создает особое ощущение.

— Да, — сказал Плейшнер, отхлебнув глоток воды, — очень интересно.

— Что он просил мне передать на словах?

— Ничего. Только эту ампулу.

— Странно.

— Почему?

— Я думал, он скажет мне, когда его ждать.

— Он об этом ничего не говорил.

— Между прочим, я не спросил вас: как с деньгами?

— У меня есть на первое время.

— Если вам понадобятся деньги — заходите ко мне, и я вас ссужу. Много, конечно, я не смогу дать, но для того, чтобы как-то продержаться... Вы, кстати, смотрели — хвоста не было?

— Хвоста? Это что — слежка?

— Да.

— Знаете, я как-то не обращал внимания.

— А вот это неразумно. Он не проинструктировал вас на этот счет?

— Конечно, инструктировал, но я почувствовал себя здесь за многие годы, особенно после концлагеря, на свободе и опьянел. Спасибо, что вы напомнили мне.

— Об этом никогда нельзя забывать. Особенно в этой нейтральной стране. Здесь хитрая полиция... Очень хитрая полиция. У вас ко мне больше ничего?

— У меня? Нет, ничего...

— Давайте ваш паспорт.

— Он сказал мне, чтобы я паспорт всегда держал при себе...

— Он говорил вам, что теперь вы поступите в мое распоряжение?

— Нет.

— Хотя правильно, это — в шифровке, которую вы передали. Мы подумаем, как правильнее построить дело. Вы сейчас...

— Вернусь в отель, лягу в кровать и стану отсыпаться.

— Нет... Я имею в виду... Ваша работа...

— Сначала выспаться, — ответил Плейшнер. — Я мечтаю спать день, и два, и три, а потом стану думать о работе. Все рукописи я оставил в Берлине. Впрочем, я помню свои работы почти наизусть...

Гестаповец взял шведский паспорт Плейшнера и небрежно бросил его на стол.

— Послезавтра в два часа придете за ним, мы сами

сделаем регистрацию в шведском консульстве. Точнее сказать, постараемся сделать: шведы ведут себя омерзительно — чем дальше, тем наглее.

— Кто? — не понял Плейшнер.

Гестаповец закашлялся: он сбился с роли и, чтобы точнее отыграть свой прокол, закурил сигарету и долго пускал дым, прежде чем ответить.

— Шведы в каждом проехавшем через Германию видят агента нацистов. Для этих сволочей не важно, какой ты немец — патриот, сражающийся с Гитлером, или ищейка из гестапо.

— Он не говорил мне, чтобы я регистрировался в консульстве...

— Это все в шифровке.

«Его хозяин в Берлине, — думал гестаповец, — это ясно, он ведь сказал, что там остались его рукописи. Значит, мы получаем человека в Берлине... Это удача. Только не торопиться, — повторил он себе, — только не торопиться».

— Ну, я благодарен вам, — сказал Плейшнер, поднимаясь. — Кофе действительно прекрасен, а с холодной водой — тем более.

— Вы уже сообщили ему о том, что благополучно устроились, или хотите, чтобы это сделал я?

— Вы можете сделать это через своих товарищей?

«Коммунист, — отметил для себя гестаповец. — Это интересно, черт возьми!»

— Да, я сделаю это через товарищей. А вы со своей стороны проинформируйте его. И не откладывайте.

— Я хотел это сделать сегодня же, но нигде не было той почтовой марки, которую я должен наклеить на открытку.

— Послезавтра я приготовлю для вас нужную марку, если ее нет в продаже. Что там должно быть изображено?

— Покорение Монблана... Синего цвета. Обязательно синего цвета.

— Хорошо. Открытка у вас с собой?

— Нет. В отеле.

— Это плохо. Нельзя ничего оставлять в отеле.

— Что вы, — улыбнулся Плейшнер, — это обычная открытка, я купил в Берлине десяток таких открыток. А текст я запомнил, так что никакой оплошности я не допустил...

Пожимая в прихожей руку Плейшнера, человек сказал:

— Осторожность и еще раз осторожность, товарищ. Имейте в виду: здесь только кажущееся спокойствие.

— Он предупреждал меня. Я знаю.

— *На всякий случай оставьте свой адрес.*

— «Вирджиния». Пансионат «Вирджиния».

— Там живут американцы?

— Почему? — удивился Плейшнер.

— Английское слово. Они, как правило, останавливаются в отелях со своими названиями.

— Нет. По-моему, там нет иностранцев.

— Это мы проверим. Если увидите меня в вашем пансионате, пожалуйста, не подходите ко мне и не здоровайтесь — мы не знакомы.

— Хорошо.

— Теперь так... Если с вами произойдет что-то экстраординарное, позвоните по моему номеру. Запомните? — И он два раза произнес цифры.

— Да, — ответил Плейшнер, — у меня хорошая память. Латынь тренирует память лучше любой гимнастики.

Выйдя из парадного, он медленно перешел улицу. Старик в меховом жилете закрывал ставни своего зоомагазина. В клетках прыгали птицы. Плейшнер долго стоял возле витрины, рассматривая птиц.

— Хотите что-нибудь купить? — спросил старик.

— Нет, просто я любуюсь вашими птицами.

— Самые интересные у меня в магазине. Я поступаю наоборот. — Старик был словоохотлив. — Все выставляют на витрине самый броский товар, а я считаю, что птицы — это не товар. Птицы есть птицы. Ко мне приходят многие писатели: они сидят и слушают птиц. А один из них сказал: «Прежде чем я опущусь в ад новой книги, как Орфей, я должен наслушаться самой великой музыки — птичьей. Иначе я не смогу спеть миру ту песню, которая найдет свою Эвридику...»

Плейшнер вытер слезы, внезапно появившиеся у него на глазах, и сказал, отходя от витрины:

— Спасибо вам.

12.3.1945 (02 часа 41 минута)

— Почему нельзя включить свет? Кого вы испугались? — спросил Штирлиц.

— Не вас, — ответил Холтофф.

— Ну, пошли на ощупь.

— Я уже освоился в вашем доме. Тут уютно и тихо.

— Особенно когда бомбят, — хмыкнул Штирлиц. — Поясница болит смертельно — где-то меня здорово просквозило. Сейчас я схожу в ванную за аспирином. Садитесь. Дайте руку — здесь кресло.

Штирлиц зашел в ванную и открыл аптечку.

— Я вместо аспирина выпью в темноте слабительное, — сказал он, вернувшись в комнату, — давайте опустим шторы, они у меня очень плотные, и зажжем камин.

— Я пробовал опустить шторы, но они у вас с секретом.

— Да нет, просто там кольца цепляются за дерево. Сейчас я все сделаю. А что случилось, старина? Кого вы так боитесь?

— Мюллера.

Штирлиц занавесил окна и попытался включить свет. Услыхав, как щелкнул выключатель, Холтофф сказал:

— Я вывернул пробки. Очень может статься, у вас установлена аппаратура.

— Кем?

— Нами.

— Смысл?

— Вот за этим я к вам и пришел. Разводите свой камин и садитесь: у нас мало времени, а обсудить надо много важных вопросов.

Штирлиц зажег сухие дрова. В камине загудело; это был какой-то странный камин: сначала он начинал гудеть и, только нагревшись как следует, затихал.

— Ну? — сев в кресло, ближе к огню, спросил Штирлиц. — Что у вас, дружище?

— У меня? У меня ничего. А вот что будете делать вы?

— В принципе?

— И в принципе...

— В принципе я рассчитывал принять ванну и завалиться спать. Я продрог и смертельно устал.

— Я пришел к вам как друг, Штирлиц.

— Ну хватит, — поморщился Штирлиц. — Что вы, словно мальчик, напускаете туман? Выпить хотите?

— Хочу.

Штирлиц принес коньяк, налил Холтоффу и себе. Они молча выпили.

— Хороший коньяк.

— Еще? — спросил Штирлиц.

— С удовольствием.

Они выпили еще раз, и Холтофф сказал, хрустнув пальцами:

— Штирлиц, я в течение этой недели занимался вашим делом.

— Не понял.

— Мюллер поручил мне негласно проверить ваше дело с физиками.

— Слушайте, вы говорите со мной загадками, Холтофф! Какое отношение ко мне имеет арестованный физик? Отчего вы негласно проверяли мои дела и зачем Мюллер ищет на меня улики?

— Я не могу вам этого объяснить, сам ни черта толком не понимаю. Я знаю только, что вы под колпаком.

— Я? — поразился Штирлиц. — Это ж идиотизм! Или наши шефы потеряли голову в этой суматохе!

— Штирлиц, вы сами учили меня аналитичности и спокойствию.

— Это вы меня призываете к спокойствию? После того, что сказали мне? Да, я неспокоен. Я возмущен. Я сейчас поеду к Мюллеру...

— Он спит. И не торопитесь ехать к нему. Сначала выслушайте меня. Я расскажу вам, что мне удалось обнаружить в связи с делом физиков. Этого я пока что не рассказывал Мюллеру, я ждал вас.

Штирлицу нужно было мгновение, чтобы собраться с мыслями и перепроверить себя: не оставил ли он хоть каких-либо, самых на первый взгляд незначительных, компрометирующих данных — в вопросах, в форме записей ответов, в излишней заинтересованности деталями.

Штирлиц поворошил разгоравшиеся поленца и сказал:

— Ну, валяйте.

— Это все очень серьезно.

— А что в этом мире несерьезно?

— Я вызвал трех экспертов из ведомства Шумана.

Шуман был советником вермахта по делам нового оружия, его люди занимались проблемами расщепления атома.

— Я тоже вызывал экспертов оттуда, когда вы посадили Рунге.

— Да. Рунге посадили мы, гестапо, но отчего им занимались вы, в разведке?

— А вам непонятно?

— Нет. Непонятно.

— Рунге учился во Франции и в Штатах. Разве трудно догадаться, как важны его связи там? Нас всех губит отсутствие дерзости и смелости в видении проблемы. Мы боимся позволить себе фантазировать. «От» и «до», и ни шагу в сторону. Вот наша главная ошибка.

— Это верно, — согласился Холтофф. — Вы правы. Что касается смелости, то спорить я не стану. А вот по частностям готов поспорить. Рунге утверждал, что надо продолжать заниматься изучением возможностей получения плутония из высокорадиоактивных веществ, а именно это вменялось ему в вину его научными оппонентами. Именно они и написали на него донос, я заставил их в этом признаться.

— Я в этом не сомневался.

— А вот теперь наши люди сообщили из Лондона, что Рунге был прав! Американцы и англичане пошли по его пути! А он сидел у нас в гестапо!

— У вас в гестапо, — поправил его Штирлиц. — У вас, Холтофф. Не мы его брали, а вы. Не мы утверждали дело, а вы: Мюллер и Кальтенбруннер. И не у меня, и не у вас, и не у Шумана бабка — еврейка, а у него, и он это скрывал...

— Да пусть бы у него и дед был трижды евреем! — взорвался Холтофф. — Не важно, кто был его дед, если он служил нам, и служил фанатично! А вы поверили негодяям!

— Негодяям?! Старым членам движения? Проверенным арийцам? Физикам, которых лично награждал фюрер?

— Хорошо, хорошо. Ладно... Все верно. Вы правы. Дайте еще коньяку.

— Пробки вы не выбросили?

— Пробка у вас в левой руке, Штирлиц.

— Я вас спрашиваю о пробках электрических.

— Нет. Они там, в столике, возле зеркала.

Холтофф выпил коньяк залпом, резко запрокинув голову.

— Я стал много пить, — сказал он.

— Хотел бы я знать, кто сейчас пьет мало?

— Те, у кого нет денег, — пошутил Холтофф. — Несчастные люди.

— Кто-то сказал, что деньги — это отчеканенная свобода.

— Это верно, — согласился Холтофф. — Ну а как вы

думаете, что решит Кальтенбруннер, если я доложу ему результаты проверки?

— Сначала вы обязаны доложить о результатах своей проверки Мюллеру. Он давал приказ на арест Рунге.

— А вы его вели, этого самого Рунге.

— Я его вел, это точно — по указанию руководства, выполняя приказ.

— А если бы вы отпустили его, тогда мы уже полгода назад продвинулись бы далеко вперед в создании «оружия возмездия».

— Вы это можете доказать?

— Я это уже доказал.

— И с вами согласны все физики?

— Большинство. Большинство из тех, кого я вызвал для бесед. Так что же может быть с вами?

— Ничего, — ответил Штирлиц. — Ровным счетом ничего. Результат научного исследования подтверждается практикой. Где эти подтверждения?

— Они у меня. В кармане.

— Даже так?

— Именно так. Я кое-что получил из Лондона. Самые свежие новости. Это — смертный приговор вам.

— Чего вы добиваетесь, Холтофф? Вы куда-то клоните, а куда?..

— Я готов повторить еще раз: вольно или невольно, но вы, именно вы, сорвали работу по созданию «оружия возмездия». Вольно или невольно, но вы, именно вы, вместо того чтобы опросить сто физиков, ограничились десятком и, основываясь на их показаниях, — а они были заинтересованы в изоляции Рунге — способствовали тому, чтобы путь Рунге был признан вредным и неперспективным!

— Значит, вы призываете меня не верить истинным солдатам фюрера, тем людям, которым верят Кейтель и Геринг, а стать на защиту человека, выступавшего за американский путь в изучении атома?! Вы меня к этому призываете? Вы призываете меня верить Рунге, которого арестовало гестапо, — а гестапо зря никого не арестовывает — и не верить тем, кто помогал его разоблачению?!

— Все выглядит логично, Штирлиц. Я всегда завидовал вашему умению выстраивать точную логическую направленность: вы бьете и Мюллера, который приказал арестовать Рунге, и меня, который защищает еврея в

третьем колене, и становитесь монументом веры на наших костях. Ладно. Я вам аплодирую, Штирлиц. Я не за этим пришел. Рунге — вы позаботились об этом достаточно дальновидно — хотя и сидит в концлагере, но живет там в отдельном коттедже городка СС и имеет возможность заниматься теоретической физикой. Штирлиц, сейчас я вам скажу главное: я попал в дикий переплет... Если я доложу результаты проверки Мюллеру, он поймет, что у вас есть оружие против него. Да, вы правы, именно он дал приказ взять Рунге. Если я скажу ему, что результаты проверки против вас, это и его поставит под косвенный удар. А на меня, как это ни смешно, обрушатся удары с двух сторон. Меня ударит и Мюллер, и вы. Он — оттого что мои доводы надо еще проверять и перепроверять, а вы... Ну, вы уже рассказали, как примерно вы станете меня бить. Что мне, офицеру гестапо, делать? Скажите вы, офицер разведки.

«Вот он куда ведет, — понял Штирлиц. — Провокация или нет? Если он меня провоцирует, тогда ясно, как следует поступить. А если это приглашение к танцу? Вот-вот они побегут с корабля. Как крысы. Он не зря сказал про гестапо и про разведку. Так. Ясно. Еще рано отвечать. Еще рано».

— Какая разница, — пожал плечами Штирлиц, — гестапо или разведка? Мы в общем-то, несмотря на трения, делаем одно и то же дело.

— Одно, — согласился Холтофф. — Только мы славимся в мире как палачи и громилы, мы — люди из гестапо, а вы — ювелиры, парфюмеры, вы политическая разведка. Вы нужны любому строю и любому государству, а мы принадлежим только рейху: с ним мы или поднимемся, или исчезнем...

— Вы спрашиваете меня, как поступить?

— Да.

— Ваши предложения?

— Сначала я хочу выслушать вас.

— Судя по тому, как вы выворачивали пробки и как вы просили меня опустить шторы...

— Шторы предложили опустить вы.

— Да? Черт возьми, мне казалось, что это ваше предложение... Ладно, не в этом суть. Вы хотите выйти из игры?

— У вас есть «окно» на границе?

— Допустим.

— Если мы уйдем втроем к нейтралам?

— Втроем?

— Да. Именно втроем: Рунге, вы и я. Мы спасем миру великого физика. Здесь его спас я, а организовали бегство — вы. А? И учтите: под колпаком вы, а не я. А вы знаете, что значит быть под колпаком у Мюллера. Ну? Я жду ответа.

— Хотите еще коньяку?

— Хочу.

Штирлиц поднялся, не спеша подошел к Холтоффу, тот протянул рюмку, и в этот миг Штирлиц со всего размаха ударил Холтоффа по голове тяжелой граненой бутылкой. Бутылка разлетелась, темный коньяк полился по лицу Холтоффа.

«Я поступил правильно, — рассуждал Штирлиц, выжимая акселератор «хорьха». — Я не мог поступить иначе. Даже если он пришел ко мне искренне — все равно я поступил верно. Проиграв в частном, я выиграл нечто большее: полное доверие Мюллера».

Рядом, привалившись к дверце, обтянутой красной кожей, полулежал Холтофф. Он был без сознания.

Холтофф, когда говорил, что Мюллер сейчас спит, был не прав. Мюллер не спал. Он только что получил сообщение из центра дешифровки: шифр русской радистки совпал с шифром, который пришел в Берн. Таким образом, предположил Мюллер, русский резидент начал искать новую связь — либо решив, что его радисты погибли во время бомбежки, либо почувствовав, что с ними что-то случилось. При этом Мюллер старался все время выводить за скобки эти злосчастные отпечатки пальцев на русском передатчике и на трубке телефона специальной связи с Борманом. Но чем настойчивее он выводил это за скобки, тем больше злосчастные отпечатки мешали ему думать. За двадцать лет работы в полиции у него выработалось особое качество: он поначалу прислушивался к чувству, к своей интуиции, а уже после перепроверял это свое ощущение аналитической разработкой факта. Он редко ошибался: и когда служил Веймарской республике, избивая демонстрации нацистов, и когда перешел к нацистам и начал сажать в концлагеря лидеров Веймарской республики, и когда выполнял все поручения Гиммлера, и позже, когда он начал тяготеть к Кальтенбруннеру, — чутье не подводило его. Он понимал, что Кальтенбруннер вряд ли забыл поручение, связанное со Штирлицем. Значит, что-то случилось, и, видимо, на высоком уровне. Но что случилось и когда, Мюллер не

знал. Поэтому-то он и поручил Холтоффу поехать к Штирлицу и провести спектакль: если Штирлиц назавтра пришел бы к нему и рассказал о поведении Холтоффа, он мог бы спокойно положить дело в сейф, считая его законченным. Если бы Штирлиц согласился на предложение Холтоффа, тогда он мог с открытыми картами идти к Кальтенбруннеру и докладывать ему дело, опираясь на данные своего сотрудника.

«Так... — продолжал думать он. — Ладно. Дождемся Холтоффа, там будет видно».

Он не успел додумать: дверь отворилась и вошел Штирлиц. Он держал под руку окровавленного Холтоффа — его запястья были стянуты за спиной маленькими хромированными наручниками.

В дверях Мюллер заметил растерянное лицо своего помощника Шольца и сказал:

— Вы с ума сошли, Штирлиц!

— Я в своем уме, — ответил Штирлиц, брезгливо бросая в кресло Холтоффа. — А вот он либо сошел с ума, либо стал предателем.

— Воды, — разлепил губы Холтофф. — Дайте воды!

— Дайте ему воды, — сказал Мюллер. — Что случилось, объясните мне толком?

— Пусть сначала он все объяснит толком, — сказал Штирлиц. — А я лучше все толком напишу.

Он дал Холтоффу выпить воды и поставил стакан на поднос, рядом с графином.

— Идите к себе и напишите, что вы считаете нужным, — сказал Мюллер. — Когда вы сможете это сделать?

— Коротко — через десять минут. Подробно — завтра.

— Почему завтра?

— Потому что сегодня у меня есть срочные дела, которые я обязан доделать. Да и потом, он раньше не очухается. Разрешите идти?

— Да. Пожалуйста, — ответил Мюллер.

И Штирлиц вышел. Мюллер освободил запястья Холтоффа от наручников и задумчиво подошел к столику, на котором стоял стакан. Осторожно взяв двумя пальцами стакан, Мюллер посмотрел на свет. Явственно виднелись отпечатки пальцев Штирлица. Он был в числе тех, у кого еще не успели взять отпечатки пальцев. Скорее повинуясь привычке доводить все дела до конца, чем подозревая именно Штирлица, Мюллер вызвал Шольца и сказал:

— Пусть срисуют пальцы с этого стакана. Если буду спать — будить не надо. По-моему, это не очень срочно...

Данные экспертизы ошеломили Мюллера. Отпечатки пальцев, оставленные на стакане Штирлицем, совпадали с отпечатками пальцев на телефонной трубке и — что самое страшное — с отпечатками пальцев, обнаруженными на русском радиопередатчике...

Мой дорогой рейхсфюрер!

Только что я вернулся к себе в ставку из Швейцарии.

Вчера я и Дольман, взяв с собой итальянских повстанцев-националистов Парри и Усмияни, выехали в Швейцарию. Переход границы был подготовлен самым тщательным образом. В Цюрихе Парри и Усмияни был помещены в Гирсланденклиник, один из фешенебельных госпиталей в пригороде. Оказывается, Даллеса и Парри связывает давняя дружба: видимо, американцы готовят свой состав будущего итальянского кабинета, осиянного славой партизан — не коммунистов, а скорее монархистов, яростных националистов, разошедшихся с дуче лишь в последнее время, когда наши войска были вынуждены войти в Италию.

Гюсман приехал за нами и отвез к Даллесу, на его конспиративную квартиру. Даллес уже ждал нас. Он был сдержан, но доброжелателен; сидел возле окна, против света и долго хранил молчание. Первым заговорил Геверниц.

Он спросил меня: «Не вы ли помогли освободить по просьбе Матильды Гедевильс итальянца Романо Гуардини?» Я ничего не ответил определенно, потому что эта фамилия не удержалась в памяти. Быть может, подумал я, это одна из форм проверки. «Видный католический философ, — продолжал Геверниц, — он очень дорог каждому думающему европейцу». Я загадочно улыбнулся, памятуя уроки нашего великого актера Шелленберга.

— Генерал, — спросил меня Гюсман, — отдаете ли вы себе отчет в том, что война проиграна Германией?

Я понимал, что эти люди заставят меня пройти через аутодафе — унизительное и для меня

лично. Я поступал в свое время так же, когда хотел сделать своим человеком того или иного политического деятеля, стоявшего в оппозиции к режиму.

— Да, — ответил я.

— Понятно ли вам, что деловой базой возможных переговоров может быть только одно: безоговорочная капитуляция?

— Да, — ответил я, понимая, что сам факт переговоров важнее, чем тема переговоров.

— Если же вы тем не менее, — продолжал Гюсман, — захотите говорить от имени рейхсфюрера Гиммлера, то переговоры на этом оборвутся: мистер Даллес будет вынужден откланяться.

Я понял, что они ждут ответа. И я ответил:

— Я считаю преступлением против великой германской государственности, являющейся форпостом цивилизации в Европе, продолжение борьбы сейчас, особенно когда мы смогли сесть за общий стол переговоров. Я готов предоставить всю мою организацию, а это самая мощная организация в Италии — СС и полиция, в распоряжение союзников ради того, чтобы добиться окончания войны и не допустить создания марионеточного коммунистического правительства.

— Означает ли это, — спросил Геверниц, — что ваши СС вступят в борьбу против вермахта Кессельринга?

Я понял, что этот человек хочет серьезности во всем. А это — залог реального разговора о будущем.

— Мне нужно заручиться вашими гарантиями для того, — ответил я, — чтобы говорить с фельдмаршалом Кессельрингом предметно и доказательно.

— Естественно, — согласился со мною Геверниц.

Я продолжал:

— Вы должны понять, что, как только Кессельринг даст приказ о капитуляции здесь, в Италии, где ему подчинено более полутора миллионов солдат, пойдет цепная реакция и на остальных фронтах: я имею в виду западный и скандинавский — в Норвегии и Дании.

Я понимал также, что в этом важном первом разговоре мне надо выложить свой козырь.

— Если я получу ваши гарантии на продолжение переговоров, я принимаю на себя обязательство не допустить разрушения Италии, как то запланировано по приказу фюрера. Мы получили приказ уничтожить все картинные галереи и памятники старины, словом, сровнять с землей все то, что принадлежит истории человечества. Несмотря на личную опасность, я уже спас и спрятал в свои тайники картины из галереи Уффици и Патти, а также коллекцию монет короля Виктора-Эммануила.

И я положил на стол список спрятанных мною картин. Там были имена Тициана, Боттичелли, Рубенса. Американцы прервали переговоры, изучая этот список.

— Сколько могут стоить эти картины? — спросили меня.

— У них нет цены, — ответил я, но добавил: — По-моему, более ста миллионов долларов.

Минут десять Геверниц говорил о картинах эпохи Возрождения и о влиянии этой эпохи на техническое и философское развитие Европы. Потом в разговор вступил Даллес. Он вступил в разговор неожиданно, без каких-либо переходов. Он сказал:

— Я готов иметь дело с вами, генерал Вольф. Но вы должны дать мне гарантию, что не вступите ни в какие иные контакты с союзниками. Это — первое условие. Надеюсь также, вы понимаете, что факт наших переговоров должен быть известен только тем, кто здесь присутствует.

— Тогда мы не сможем заключить мир, — сказал я, — ибо вы не президент, а я не канцлер.

Мы обменялись молчаливыми улыбками, и я понял, что таким образом получил их согласие проинформировать Вас о переговорах и просить Ваших дальнейших указаний. Я посылаю это письмо с адъютантом фельдмаршала Кессельринга, который сопровождает своего шефа в полете в Берлин. Этот человек проверен мною самым тщательным образом. Вы вспомните его, поскольку именно Вы утвердили его кандидатуру, когда он был отправлен к Кессельрингу, чтобы информиро-

вать нас о связях фельдмаршала с рейхсмаршалом Герингом.

Наша следующая встреча с американцами состоится в ближайшие дни.

Хайль Гитлер!

Ваш *Карл Вольф.*

Вольф написал правду. Переговоры проходили именно в таком или почти в таком ключе. Он лишь умолчал о том, что по пути домой, в Италию, он имел длительную беседу с глазу на глаз в купе поезда с Гюсманом и Вайбелем. Обсуждался состав будущего кабинета Германии. Было оговорено, что канцлером будет Кессельринг, министром иностранных дел — группенфюрер СС фон Нейрат, бывший наместник Чехии и Моравии, министром финансов — почетный член НСДАП Ялмар Шахт, а министром внутренних дел — обергруппенфюрер СС Карл Вольф. Гиммлеру в этом кабинете портфель не предназначался.

12.3.1945 (08 часов 02 минуты)

А Штирлиц гнал свой «хорьх» к швейцарской границе. Рядом с ним, притихший, бледный, сидел пастор, Штирлиц настроил приемник на Францию — Париж передавал концерт молоденькой певички Эдит Пиаф. Голос у нее был низкий, сильный, а слова песен простые и бесхитростные.

— Полное падение нравов, — сказал пастор, — я не порицаю, нет, просто я слушаю ее и все время вспоминаю Генделя и Баха. Раньше, видимо, люди искусства были требовательнее к себе: они шли рядом с верой и ставили перед собой сверхзадачи. А это? Так говорят на рынках...

— Эта певица переживет себя... Но спорить мы с вами будем после войны. Сейчас еще раз повторите мне все, что вы должны будете сделать в Берне.

Пастор начал рассказывать Штирлицу то, что тот втолковывал ему последние три часа. Слушая пастора, Штирлиц продолжал размышлять: «Да, Кэт осталась у них. Но если бы я увез Кэт, они бы хватились пастора, — видимо, им тоже занимается кто-то из гестапо. И тогда вся операция неминуемо должна была провалиться, и Гиммлер может снюхаться с теми, в Берне... Кэт, если случится нечто непредвиденное, — а это непредвиденное может случиться, хотя и не должно, — может сказать про

меня, если будут мучить ребенка. Но пастор начнет свое дело, и Плейшнер должен был выполнить мои поручения. Телеграмма уже должна быть дома. Ни пастор, ни Плейшнер не знают, чему они дали ход в моей операции. Все будет в порядке. Я не дам Гиммлеру «сесть за стол переговоров» в Берне. Теперь не выйдет. Про мое «окно» Мюллер ничего не знает, и пограничники ничего не скажут его людям, потому что я действую по указанию рейхсфюрера. Следовательно, пастор сегодня будет в Швейцарии. А завтра он начнет мое дело. Наше дело, так сказать точнее».

— Нет, — сказал Штирлиц, оторвавшись от своих раздумий. — Вы должны назначать встречи не в голубом зале отеля, а в розовом.

— Мне казалось, что вы совсем не слушаете меня.

— Я слушаю вас очень внимательно. Продолжайте, пожалуйста.

«Если пастор уйдет и все будет в порядке, я выдерну оттуда Кэт. Тогда можно будет играть ва-банк. Они сжимают кольцо, тут мне не поможет даже Борман... Черт их там всех знает! Я уйду с ней через мое «окно», если пойму, что игра приходит к концу. А если можно будет продолжать — улик у них нет и не может быть, — тогда придется уводить Кэт с пальбой, обеспечив себе алиби через Шелленберга. Поехать к нему на доклад домой или в Хохенлихен, он там все время возле Гиммлера, рассчитать время, убрать охрану на конспиративной квартире, разломать передатчик и увезти Кэт. Главное, рассчитать время и скорость. Пускай ищут. Им осталось недолго искать. Судя по тому, как Мюллер ужаснулся, увидев Холтоффа с проломанным черепом, тот работал по его заданию. Он не мог бы сработать так точно, не играй он самого себя, не наложись заданная роль на его искренние мысли. И еще неизвестно, как бы он отрабатывал дальше, согласись я уходить с ним и Рунге. Может быть, он пошел бы вместе. Очень может быть. Я ведь помню, как он смотрел на меня во время допроса астронома и как он говорил тогда... Я сыграл с ним верно. Внезапный отъезд я прикрою, с одной стороны, Шелленбергом, с другой — Борманом. Теперь главное — Кэт. Завтра днем я не стану заезжать к себе: я сразу поеду к ней. Хотя нет, нельзя. Никогда нельзя играть втемную. Я обязан буду прийти к Мюллеру».

— Правильно — сказал Штирлиц, — очень хорошо, что вы на это обратили внимание: садитесь во второе

такси, пропуская первое, и ни в коем случае не садитесь в случайные попутные машины. В общем-то, я рассчитываю, что ваши друзья из монастыря, который я вам назвал, станут опекать вас. И хочу повторить еще раз: все может статься с вами. Все. Если вы проявите малейшую неосторожность, вы не успеете даже понять, как окажетесь здесь, в подвале Мюллера. Но если случится это — знайте: мое имя, хоть раз вами произнесенное, хоть в бреду и под пыткой, означает мою смерть, а вместе со мной — неминуемую смерть вашей сестры и племянников. Ничто не сможет спасти ваших родных, назови вы мое имя. Это не угроза, поймите меня, это реальность, а ее надо знать и всегда о ней помнить.

Штирлиц бросил свою машину, не доезжая ста метров до вокзальной площади. Машина погранзаставы ждала его в условленном месте. Ключ был вставлен в замок зажигания. Окна специально забрызганы грязью, чтобы нельзя было видеть лиц тех, кто будет ехать в машине.

В горах, как было условлено, в снег были воткнуты лыжи, возле них стояли ботинки.

— Переодевайтесь, — сказал Штирлиц.

— Сейчас, — шепотом ответил пастор, — у меня дрожат руки, я должен немного прийти в себя.

— Говорите нормально, нас тут никто не слышит.

Снег в долине был серебристый, а в ущельях — черный. Тишина была глубокая, гулкая. Где-то вдали шумел движок электростанции, его слышно было временами, с порывами ветра.

— Ну, — сказал Штирлиц, — счастливо вам, пастор.

— Благослови вас Бог, — ответил пастор и неумело пошел на лыжах в том направлении, куда указал ему Штирлиц. Два раза он упал — точно на линии границы. Штирлиц стоял возле машины до тех пор, пока пастор не прокричал из леса, черневшего на швейцарской стороне ущелья. Там — рукой подать до отеля. Теперь все в порядке. Теперь надо вывести из-под удара Кэт.

Штирлиц вернулся на привокзальную площадь, пересел в свою машину, отъехал километров двадцать и почувствовал, что сейчас заснет. Он взглянул на часы: кончились вторые сутки, как он был на ногах.

«Я посплю полчаса, — сказал он себе. — Иначе я не вернусь в Берлин вовсе».

Он спал ровно двадцать минут. Потом глотнул из

плоской фляги коньяку и, улегшись грудью на руль, дал полный газ. Усиленный мотор «хорьха» урчал ровно и мощно. Стрелка спидометра подобралась к отметке «120». Трасса была пустынной. Занимался осторожный рассвет. Чтобы отогнать сон, Штирлиц громко пел озорные французские песни.

Когда сон снова одолевал его, Штирлиц останавливал машину и растирал лицо снегом. По обочинам дороги снега осталось совсем немного, он был голубой, ноздреватый. И поселки, которые Штирлиц проезжал, тоже были голубоватые, мирные: эту часть Германии не очень-то бомбили союзники, и поэтому в тихий пейзаж маленькие красноверхие коттеджи вписывались точно и гармонично, как и синие сосновые леса, и стеклянные, стремительные реки, мчавшиеся с гор, и бритвенная гладь озер, уже освободившихся ото льда.

Однажды Штирлиц, больше всего любивший раннюю весну, сказал Плейшнеру:

— Скоро литература будет пользоваться понятиями, но отнюдь не словесными длительными периодами. Чем больше информации — с помощью радио и кинематографа — будет поглощаться людьми, а особенно подрастающими поколениями, тем трагичней окажется роль литературы. Если раньше писателю следовало уделить три страницы в романе на описание весенней просыпающейся природы, то теперь кинематографист это делает с помощью полуминутной заставки на экране. Ремесленник показывает лопающиеся почки и ледоход на реках, а мастер — гамму цвета и точно найденные шумы. Но заметьте: они тратят на это минимум времени. Они просто доносят информацию. И скоро литератор сможет написать роман, состоящий всего из трех слов: «Эти мартовские закаты...» Разве вы не увидите за этими тремя словами и капель, и легкий заморозок, и сосульки возле водосточных труб, и далекий гудок паровоза — вдали, за лесом, и тихий смех гимназистки, которую юноша провожает домой, сквозь леденящую чистоту вечера?

Плейшнер тогда засмеялся:

— Я никогда не думал, что вы столь поэтичны. Не спорьте: вы обязательно должны тайком от всех сочинять стихи.

Штирлиц ответил ему, что он никогда не сочинял стихов, ибо достаточно серьезно относится к профессии поэта, но живописью он действительно пробовал заниматься. В Испании его потрясли два цвета: красный и

желтый. Ему казалось, что пропорциональное соблюдение этих двух цветов может дать точное выражение Испании на холсте. Он долго пробовал писать, но потом понял, что ему все время мешает понять суть предмета желание соблюсти абсолютную похожесть. «Для меня бык — это бык, а для Пикассо — предмет, необходимый для самовыражения. Я иду за предметом, за формой, а талант подчиняет и предмет и форму своей мысли, и его не волнует скрупулезность в передаче детали. И смешно мне защищать свою попытку рисовать ссылкой на точно выписанную пятку в «Возвращении блудного сына». Религии простительно догматически ссылаться на авторитет, но это не простительно художнику», — думал тогда Штирлиц. Он бросил свои «живописные упражнения» (так позже он определял это свое увлечение), когда его сослуживцы стали просить у него картины. «Это похоже и прекрасно, — говорили они ему, — а мазню испанцев, где ничего не понятно, противно смотреть». Это ему сказали о живописи Гойи — он на развалах в Париже купил два великолепно изданных альбома и подолгу любовался полотнами великого мастера. После этого он роздал все свои картины, а кисти и краски подарил сыну портье в том доме в Бургосе, где содержал конспиративную квартиру для встреч с агентурой...

Рольф приехал в дом, где жила Кэт, когда солнце еще казалось дымным, морозным. Небо было бесцветное, высокое — таким оно бывает и в последние дни ноября, перед первыми заморозками. Единственное, в чем угадывалась весна, так это в неистовом веселом воробьином гомоне и в утробном воркованье голубей...

— Хайль Гитлер! — приветствовала его Барбара, поднявшись со своего места. — Только что мы имели...

Не дослушав ее, Рольф сказал:

— Оставьте нас вдвоем.

Лицо Барбары, до этого улыбчивое, сразу сделалось твердым, служебным, и она вышла в другую комнату. Когда она отворяла дверь, Кэт услышала голос сына — он, видимо, только что проснулся и просил есть.

— Позвольте, я покормлю мальчика, — сказала Кэт, — а то он не даст нам работать.

— Мальчик подождет.

— Но это невозможно. Его надо кормить в определенное время.

— Хорошо. Вы покормите его после того, как ответите на мой вопрос.

В дверь постучали.

— Мы заняты! — крикнул Рольф.

Дверь открылась: на пороге стоял Гельмут с ребенком на руках.

— Пора кормить, — сказал он, — мальчик очень просит кушать.

— Подождет! — крикнул Рольф. — Закройте дверь!

— Да, но... — начал было Гельмут, но Рольф, поднявшись, быстро подошел к двери и закрыл ее прямо перед носом седого контуженного эсэсовца.

— Так вот. Нам стало известно, что вы знаете резидента.

— Я уже объясняла...

— Я знаю ваши объяснения. Я читал их и слушал в магнитофонной записи. Они меня устраивали до сегодняшнего утра. А вот с сегодняшнего утра эти ваши объяснения меня устраивать перестали.

— Что случилось сегодня утром?

— Кое-что случилось. Мы ждали, когда это случится, мы все знали с самого начала — нам нужны были доказательства. И мы их получили. Мы ведь не можем арестовать человека, если у нас нет доказательств: улик, фактов или хотя бы свидетельства двух людей. Так вот, мы получили улику.

— По-моему, я не отказывалась с самого начала...

— Не играйте, не играйте! Не о вас идет речь! И вы прекрасно знаете, о ком идет речь.

— Я не знаю, о ком идет речь. И очень прошу вас: позвольте мне покормить мальчика.

— Сначала вы скажете мне, где и когда у вас были встречи с резидентом, а после пойдете кормить мальчика.

— Я уже объясняла тому господину, который арестовывал меня, что ни имени резидента, ни его адреса, ни, наконец, его самого я не знаю.

— Послушайте, — сказал Рольф, — не валяйте вы дурака.

Он очень устал, потому что все близкие сотрудники Мюллера не спали всю ночь, организуя наблюдение по секторам за машиной Штирлица. Засада была оставлена и возле его дома, и рядом с этой конспиративной радиоквартирой, но Штирлиц как в воду канул. Причем Мюллер запретил сообщать о том, что Штирлица ищут,

Кальтенбруннеру, тем более Шелленбергу. Мюллер решил сыграть эту партию сам: он понимал, что это очень сложная партия. Он знал, что именно Борман является полноправным хозяином громадных денежных сумм, размещенных в банках Швеции, Швейцарии, Бразилии и — через подставных лиц — даже в США. Борман не забывает услуг. Борман не забывает зла. Он записывает все, так или иначе связанное с Гитлером, — даже на носовых платках. Но он ничего не записывает, когда дело касается его самого: он это запоминает навечно. Поэтому партию со Штирлицем, который звонил к Борману и виделся с ним, шеф гестапо разыгрывал самостоятельно. Круг замкнулся: Штирлиц — шифр в Берне — русская радистка. И этот круг покоился на мощном фундаменте — Бормане. Поэтому шеф гестапо и его ближайшие сотрудники не спали всю ночь и вымотались до последнего предела, расставляя капканы, готовясь к решительному поединку.

— Я не стану говорить больше, — сказала Кэт. — Я буду молчать до тех пор, пока вы не позволите мне покормить мальчика.

Логика матери противна логике палача. Если бы Кэт молчала о ребенке, ей бы пришлось самой испить горькую чашу пытки. Но она, движимая своим естеством, подталкивала Рольфа к тому решению, которого у него не было, когда он ехал сюда.

Рольфа осенило.

— Вот что, — сказал он, — не будем попусту тратить время. Мы скоро устроим вам очную ставку с вашим резидентом: почувствовав провал, он решил бежать за границу, но у него это не вышло. Он рассчитывал на свою машину, — Рольф резанул взглядом побелевшее лицо Кэт, — у него хорошая машина, не так ли? Но он ошибся: наши машины не хуже, а лучше, чем его. Вы нас во всей этой кутерьме не интересуете. Нас интересует он. И вы нам скажете о нем все. Все, — повторил он. — До конца.

— Мне нечего говорить.

Тогда Рольф поднялся, отошел к окну и, распахнув его, поежился.

— Снова мороз, — сказал он. — Когда же весна придет? Мы все так устали без весны.

Он закрыл окно, подошел к Кэт и попросил ее:

— Пожалуйста, руки.

Кэт вытянула руки, и на ее запястьях захлопнулись наручники.

— И ноги, пожалуйста, — сказал Рольф.

— Что вы хотите делать? — спросила Кэт.

Он защелкнул замки кандалов у нее на лодыжках и крикнул:

— Гельмут! Барбара!

Никто ему не ответил. Он распахнул дверь и крикнул:

— Барбара! Гельмут!

Те вбежали в комнату, потому что они успели привыкнуть к спокойному голосу Рольфа, а сейчас он был истеричным, высоким, срывающимся. У Рольфа были все основания кричать так: Мюллер поручил ему сегодня, именно сегодня, заставить русскую говорить. Когда Штирлиц попадется, главный козырь должен быть в кармане Мюллера.

— Принесите младенца, — сказал Рольф.

Гельмут пошел за мальчиком, а Рольф подвинул к окну маленький стол, на котором стояла ваза с искусственными цветами. Потом он распахнул окно и сказал:

— Я не зря напомнил вам о морозе. Достаточно подержать ваше дитя три или пять минут вот на этом столе — голенького, без пеленок, — и он умрет. Или — или. Решайте.

— Вы не сделаете этого! — закричала Кэт и забилась на стуле. — Вы не сделаете этого! Убейте меня! Убейте! Убейте меня! Вы не можете этого сделать!

— Да, мне это будет очень страшно делать! — ответил Рольф. — Но именем всех матерей рейха я сделаю это! Именем детей рейха, которые гибнут под бомбами, я сделаю это!

Кэт упала со стула, покатилась по полу, умоляя:

— У вас ведь есть сердце?! Что вы делаете?! Я не верю вам!

— Где ребенок?! — закричал Рольф. — Несите его сюда, черт возьми!

— Вы же мать! — сказала Барбара. — Будьте благоразумны...

Она говорила, и ее била мелкая дрожь, потому что такого ей еще видеть не приходилось.

Гельмут вошел с ребенком на руках. Рольф взял у него мальчика, положил на стол и начал распеленывать. Кэт закричала — страшно, по-звериному.

— Ну! — заорал Рольф. — Вы не мать! Вы тупая убийца! Ну!

Мальчик плакал, и ротик у него был квадратным от обиды.

— Ну! — продолжал кричать Рольф. — Я не буду считать до трех. Я просто отворю окно и сниму с твоего ребенка одеяло. Ясно? Ты выполняешь свой долг перед своим народом, я — перед своим!

Кэт вдруг почувствовала какую-то легкость, все кругом наполнилось звоном, и она потеряла сознание.

Рольф присел на краешек стола и сказал:

— Гельмут, возьми мальчика...

Солдат взял ребенка и хотел уйти, но Рольф остановил его:

— Не уходи. Она сейчас очнется, и я буду продолжать... Барбара, пожалуйста, принесите воды. Ей и мне. И сердечные капли.

— Сколько ей надо капать?

— Не ей, а мне!

— Хорошо. Сколько?

— Откуда я знаю?! Десять. Или тридцать...

Он опустился на корточки перед Кэт и пошлепал ее по щекам.

— Долго это у них продолжается? — спросил Рольф Гельмута.

— Сколько бы времени это продолжалось с вашей матерью?

— Да... С моей матерью... Эти сволочи хотят быть чистенькими, а мне поручают гнусность... Дайте спичку, пожалуйста.

— Я не курю.

— Барбара! — крикнул Рольф. — Захватите спички!

Барбара принесла два стакана воды. Рольф выпил тот стакан, где вода была мутная, чуть голубоватая. Он поморщился и сказал:

— Фу, какая гадость.

Закурив, он опустился на корточки перед Кэт и приподнял ее веко. На него глянул широко раскрытый зрачок.

— А она не умерла? — спросил он. — Ну-ка, Барбара, посмотрите...

Барбара повернула голову Кэт.

— Нет. Она дышит.

— Сделайте с ней что-нибудь. Времени мало. Там ждут.

Барбара начала бить Кэт по щекам — осторожно, массируя, очень ласково. Сделав большой глоток из ста-

кана, она плеснула в лицо Кэт холодной водой. Кэт глубоко вздохнула, и лицо ее несколько раз свела судорога. Мальчик по-прежнему надрывно кричал.

— Да сделайте вы с ним что-нибудь! — попросил Рольф. — Невозможно слушать.

— Он хочет есть.

— Что вы заладили, как попугай?! Думаете, у вас одного есть сердце!

Мальчик кричал, заходясь, — крик его был пронзителен. Личико сделалось синим, веки набухли, и губы обметало белым.

— Уйдите! — махнул рукой Рольф, и Гельмут вышел.

Кэт очнулась, когда Гельмут унес мальчика. Мальчик кричал где-то неподалеку, но в комнате было тепло, значит, Рольф еще не открывал окно.

«Лучше бы мне умереть, — жалобно подумала Кэт. — Это было бы спасением. Для всех. Для маленького, для Юстаса и для меня. Это самый прекрасный, самый добрый выход для меня...»

Рольф сказал:

— По-моему, она пришла в себя.

Барбара снова опустилась на колени перед Кэт и открыла двумя пальцами ее глаза. Кэт смотрела на Барбару, и веко ее дергалось.

— Да, — сказала Барбара.

Кэт попробовала играть продолжение беспамятства, но лицо выдавало ее: оно снова ожило, неподвластное ее воле, потому что в соседней комнате кричал мальчик.

— Хватит, хватит, — сказал Рольф. — Где была правда — там была правда, а сейчас вы начинаете бабьи игры. Не выйдет. Вы сунулись в мужское дело, и фокусы тут не проходят. Барбара, помогите ей сесть. Ну! Откройте глаза!

Кэт не двигалась и глаз не открывала.

— Ладно, — сказал Рольф. — Оставьте ее, Барбара. Я ведь вижу — она слышит меня. Сейчас я позову Гельмута и отворю окно, и тогда она откроет глаза, но будет уже поздно.

Кэт заплакала.

— Ну? — спросил Рольф. — Надумали?

Он сам поднял ее и посадил на стул.

— Будете говорить?

— Я должна подумать.

— Я помогу вам, — сказал Рольф. — Чтобы вы не чувствовали себя отступницей.

Он достал из кармана фотографию Штирлица и показал ее Кэт так, чтобы лицо штандартенфюрера не было видно Барбаре.

— Ну? Ясно? Какой смысл вам молчать? Будем говорить?

Кэт молчала.

— Будешь говорить?! — вдруг страшно, пронзительно закричал Рольф и стукнул кулаком по краю стола так, что подпрыгнула ваза с искусственными цветами. — Или будешь молчать?! Гельмут!

Вошел Гельмут с мальчиком, и Кэт потянулась к нему, но Рольф выхватил ребенка у Гельмута и открыл окно. Кэт хотела броситься на Рольфа, но упала, она страшно кричала, и Рольф тоже кричал что-то — и вдруг сухо прозвучали два выстрела.

Монсиньору Дадичелли, Ватикан.

Дорогой друг!

Мне понятно и глубоко дорого то внимание, с каким Папский Двор, проявивший глубокое мужество в дни сопротивления нацистам, изучает сейчас все возможности оказать содействие человечеству в получении столь нужного всем на этой земле мира...

Мне понятны мотивы, по которым Вы столь скептически отнеслись к тем осторожным предложениям, которые внес на Ваше рассмотрение генерал Карл Вольф. Вы пережили нацистскую оккупацию, Вы своими глазами видели вопиющие беззакония, творимые людьми СС, подчиненными непосредственно тому, кто ищет теперь мира, — генералу Вольфу. Поэтому я оценил Вашу позицию не столько как выжидательную, но, скорее, как явно отрицательную: нельзя верить человеку, одна рука которого творит зло, а вторая ищет добра. Половинчатость и раздвоенность, понятная в человеке, сыне Божьем, никак не может быть оправдана в том, кто определяет политику, в облеченном властью деятеле армии или государства.

Однако, получив отказ в Ватикане, генерал Вольф преуспел в своей деятельности, встретившись здесь, в Берне, с мистером Даллесом. Те

сведения, которые поступают к нам, позволяют сделать вывод: переговоры Вольфа и Даллеса продвигаются весьма успешно.

Следует понять мою позицию: если я повторно стану предостерегать господина Даллеса от дальнейших контактов с генералом Вольфом, у наших американских друзей может создаться неверное представление о тех мотивах, которые нами движут: люди государственной политики далеко не всегда понимают политику слуг Божьих.

Рассказывать господину Даллесу о коварстве генерала Вольфа и о тех злодеяниях, которые творили нацисты по его приказам на земле нашей прекрасной Италии, видимо, не имеет смысла. Во-первых, имеющий глаза да увидит, а во-вторых, не пристало нам, служителям Божьим, выставлять наши страдания напоказ. Мы знали, на что шли, выбирая свой путь.

Положение казалось мне тяжким и безвыходным до тех пор, пока сюда, в Берн, не прибыл пастор Шлаг. Вы должны помнить этого благородного человека, который всегда ратовал за мир, посещая неоднократно Швейцарию, Ватикан и Великобританию до 1933 года, когда выезд из Германии не был сопряжен с теми полицейскими трудностями, которые начались после прихода к власти Гитлера.

Пастор Шлаг прибыл сюда, по его словам, для того, чтобы изучить все реальные возможности заключения мира, скорого и справедливого. Его, как он говорит, переправили сюда люди, обеспокоенные наметившимся сближением точек зрения на будущий мир двух столь противоположных фигур, как Вольф и Даллес.

Пастор Шлаг видит свою миссию в том, чтобы предотвратить возможность дальнейших переговоров между Вольфом и Даллесом, поскольку он глубоко убежден в том, что Вольф отнюдь не занят поисками мира, но лишь зондирует почву для сохранения режима нацистов, получая взамен определенные уступки от тех, кто сейчас обладает единственной реальной властью в Германии, — СС.

Он видит свою миссию также и в том, чтобы наладить контакты между теми людьми, кото-

рые, рискуя жизнью, вывезли его из Германии, и представителями союзников. Люди, которых он, по его словам, представляет, считают своим непреложным долгом обусловить ликвидацию всего того, что было связано — и может быть в будущем связано — с СС и НСДАП.

Я бы просил Вашего согласия на более откровенные беседы с пастором Шлагом. Вероятно, стоило бы более широко проинформировать его о происходящем сейчас в Берне.

До тех пор пока я не смогу предложить пастору Шлагу реальных доказательств нашей искренности, трудно ожидать от него откровенной беседы, в которой он сообщил бы полные данные о тех своих единомышленниках, которые ждут его сигнала в Германии.

Я допускаю мысль, что его единомышленники в Германии совсем не так могущественны, как нам бы того хотелось. Шлаг никогда не был политиком, он всегда был честным пастырем. Однако, обращая свой взор в будущее, я вижу громадную выгоду от того, что пастор, именно пастор, служитель Бога, оказался тем чистым и высоким человеком, который искал мира, рискуя своей жизнью, но при этом не шел на компромисс с нацизмом.

Видимо, этот высокий пример гражданского мужества сына Божьего и его слуги поможет нам в спасении немцев от большевизма, когда измученный народ Германии должен будет выбирать свое будущее. Отринутый Гитлером от Ватикана, народ Германии так или иначе вернется в лоно Святой Христовой Веры, и пастор Шлаг — либо светлый образ его — поможет нашим пастырям в будущем нести свой свет туда, где было царство нацистской тьмы.

Я ожидаю Вашего ответа в самое ближайшее время.

Ваш *Норелли.*

Даллес получил указание от начальника управления стратегических служб Донована впредь обозначать переговоры с Вольфом кодовым словом «Кроссворд». Для того чтобы форсировать переговоры, два генерала — Эйри, начальник разведки британского фельдмаршала

Александера, и американец Лемницер — были направлены для участия в них.

В Швейцарии, на тихой улице, в небольшой квартире, снятой через подставных лиц, их ждал Аллен Даллес. Именно здесь они два дня совещались, вырабатывая общую платформу для продолжения переговоров с генералом СС Карлом Вольфом.

— У нас мало времени, — сказал Даллес, — а сделать нам предстоит немало. Позиция союзников должна быть точна и продуманна.

— Англо-американских союзников, — то ли в форме вопроса, то ли в утвердительной форме сказал генерал Эйри.

— Англо-американских или американо-английских — в данном случае формальный термин, не меняющий существа дела, — ответил Даллес.

Так впервые за все время войны из понятия «союзники» выпало одно лишь слово — «советский». И вместо «англо-советско-американские союзники» в Берне появился новый термин — «англо-американские союзники»...

13.3.1945 (10 часов 31 минута)

Айсман пришел к Мюллеру не переодевшись, а он был грязен: сапоги заляпаны глиной, френч промок — он долго бродил под дождем по Нойштадту, отыскивая сестру пастора Шлага. По тому адресу, что был указан в деле, ее не оказалось. Он обратился в местное отделение гестапо, но и там ничего не знали о родственниках Шлага.

Соседи, правда, сказали ему, что на этих днях, поздней ночью, они слышали шум автомобильного мотора. Но кто приезжал, на какой машине и что после этого сталось с фрау Анной и ее детьми, никто ничего не знал.

Мюллер принял Айсмана с улыбкой. Выслушав оберштурмбанфюрера, он ничего не сказал. Он достал из сейфа папочку и вытащил оттуда листок бумаги.

— А как быть с этим? — спросил он, передавая листок Айсману.

Это был рапорт Айсмана, в котором он расписывался в своем полном доверии штандартенфюреру Штирлицу.

Айсман долго молчал, а потом тяжело вздохнул:

— Будь мы все трижды прокляты!

— Вот так-то будет вернее, — согласился Мюллер и положил рапорт в папочку. — Это вам хороший урок, дружище.

— Что же мне, писать новый рапорт на ваше имя?

— Зачем? Не надо...

— Но я считаю своим долгом отказаться от прежнего мнения.

— А хорошо ли это? — спросил Мюллер. — Отказ от своего мнения всегда дурно пахнет.

— Что же мне делать?

— Верить, что я не дам хода вашему прежнему рапорту. Всего лишь. И продолжать работать. И знать, что скоро вам придется поехать в Прагу: оттуда, может статься, вы вернетесь и к пастору, и к вашему верному другу, с которым вы вместе лежали под бомбами в Смоленске. А теперь идите. И не горюйте. Контрразведчик должен знать, как никто другой, что верить в наше время нельзя никому — порой даже самому себе. Мне, правда, верить можно...

Плейшнер, отправляясь на явку в назначенное ему время, был в таком же приподнятом расположении духа, как и накануне. Ему работалось, он выходил из номера только перекусить, и все в нем жило радостью и надеждой на скорый конец Гитлера: он покупал теперь все газеты, и ему, аналитику, знатоку истории, было нетрудно представить себе будущее. В нем боролись два чувства: он понимал, какие испытания выпадут на долю его соплеменников, когда все будет кончено, но он понимал также, что лучше это трагическое очищение, чем победа Гитлера.

...Плейшнер посмотрел на часы: у него еще было время. В маленьком кафе, за стеклами, которые слезились дождевыми потеками, сидели дети и ели мороженое. Видимо, их привела сюда учительница.

«Я думаю категориями рейха, — улыбнулся про себя Плейшнер, заметив мужчину, сидевшего во главе стола; он был молод и смеялся вместе с детьми. — Это только у нас учителями работают женщины, поскольку все мужчины, годные к несению строевой службы, сражаются на фронте. Вообще, в школах должны работать мужчины. Как в Спарте. Женщина может быть утешителем, но не воспитателем. Готовить к будущему обязан мужчина: это исключит ненужные иллюзии у детей, а нет

ничего безжалостнее столкновения детских иллюзий с взрослой реальностью...»

Он зашел в кафе, сел в угол и заказал себе порцию фруктового мороженого. Дети смеялись шуткам своего преподавателя. Он говорил с ними как с равными, нисколько не подстраиваясь к ним, а, наоборот, ненавязчиво и тактично «подтягивал» их к себе.

Плейшнер неторопливо доедал мороженое и, улыбаясь, слушал голоса детей. Учитель спросил:

— Поблагодарим хозяина этого прекрасного уголка, который дал нам горячий приют и холодное мороженое? Споем ему нашу песню?

— Да! — ответили дети.

— Ставлю на голосование! Кто против?

— Я, — сказала девочка, рыжеволосая, веснушчатая, с огромными голубыми глазами. — Я против.

— Почему?

В это время дверь кафе отворилась, и, отряхивая дождевые капли с плаща, вошел высокий голубоглазый великан — хозяин конспиративной явки. Вместе с ним был худой, подвижный, смуглый крепыш с выразительным, очень сильным скуластым лицом. Плейшнер чуть было не сорвался с места, но вспомнил указание высокого: «Я сам вас узнаю». Плейшнер снова уткнулся в газету, прислушиваясь к разговорам детей.

— Объясни, отчего ты против? — спросил учитель девочку. — Надо уметь отстаивать свою точку зрения. Может быть, ты права, а мы не правы. Помоги нам.

— Мама говорит, что после мороженого нельзя петь,— сказала девочка, — можно испортить горло.

— Мама во многом права. Конечно, если мы будем громко петь или кричать на улице, можно испортить горло. Но здесь... Нет, я думаю, здесь ничего страшного с горлом не случится. Впрочем, ты можешь не петь — мы на тебя не будем в обиде.

И учитель первым запел веселую тирольскую песенку. Хозяин кафе вышел из-за стойки и поаплодировал ребятам. Они шумно вышли из кафе, и Плейшнер задумчиво посмотрел им вслед.

«Где-то я видел этого смуглого, — вдруг вспомнил он. — Может быть, я сидел с ним в лагере? Нет... Там я его не видел. Но я его помню. Я его очень хорошо помню».

Видимо, он слишком внимательно рассматривал лицо смуглого человека, потому что человек, заметив это,

улыбнулся, и по этой улыбке Плейшнер вспомнил его — как будто увидел кадр из кинофильма. Он даже услышал его голос: «И пусть он подпишет обязательство — во всем быть с фюрером! Во всем! Чтобы он потом не имел возможности кивать на нас и говорить: «Это они виноваты, я был в стороне!» Сейчас никто не может быть в стороне! Верность или смерть — такова дилемма для немца, который вышел из концлагеря». Это было на второй год войны: его вызвали в гестапо для очередной беседы — профессора вызывали раз в год, как правило весной. И этот маленький смуглый человек зашел в кабинет, послушал его разговор с гестаповцем в форме, который обычно проводил беседу, и сказал зло, истерично эти запомнившиеся Плейшнеру слова. Он пошел тогда к брату — тот еще работал главным врачом, и никто не думал, что через год он умрет. «Их обычная манера, — сказал брат. — Они истеричные слепцы, и, заставляя тебя подписывать декларацию верности, они считают, причем искренне, что оказывают тебе этим огромную честь...»

«Стоп! — вдруг ударило Плейшнера. — А что было в окне, когда я шел туда в первый раз? Там ведь стоял цветок, о котором мне говорил Штирлиц. Или нет? Нет, не может быть, тогда почему же сейчас этот товарищ... Нет, это начинается истерика! Стоп! Сначала взять себя в руки. Стоп».

Высокий, так и не взглянув на Плейшнера, вышел вместе с маленьким смуглым спутником. Плейшнер протянул хозяину купюру — свою последнюю купюру, но у хозяина не было сдачи, и он выбежал в магазин напротив, а когда он, отдав деньги Плейшнеру, проводил его до выхода, улица была пуста: ни высокого хозяина явки, ни маленького черного человека уже не было видно.

«А может быть, он вроде Штирлица? — подумал Плейшнер. — Может быть, он так же, как и тот, играл свою роль, сражаясь с наци изнутри?»

И эта мысль немного успокоила его.

Плейшнер подошел к дому, где помещалась явка, и, взглянув в окно, увидел высокого хозяина явки и черноволосого. Они стояли, беседуя о чем-то, между ними торчал большой цветок — сигнал провала. Русский разведчик, почувствовав за собой слежку, успел выставить этот сигнал тревоги, а гестаповцы так и не смогли узнать, что́ этот цветок означает: «все в порядке» или «явка прова-

лена». Но, поскольку они были убеждены, что русский не знает об охоте за ним, они оставили все как было, а так как Плейшнер по рассеянности зашел сюда первый раз, не обратив внимания на цветок, гестаповцы решили, что на явке все в порядке.

Люди в окне увидели Плейшнера, и высокий, улыбнувшись, кивнул ему. Плейшнер первый раз видел улыбку на его лице, и она ему помогла все понять. Он тоже улыбнулся и начал переходить улицу: он решил, что так его не увидят сверху и он уйдет от них. Но, оглянувшись, он заметил двух мужчин, которые шли, разглядывая витрины, метрах в ста за ним.

Плейшнер почувствовал, как у него ослабли ноги.

«Кричать? Звать на помощь? Эти подоспеют первыми. Я знаю, что они со мной сделают. Штирлиц рассказал, как человека можно усыпить или выдать за невменяемого».

В минуту наибольшей опасности, если только человек не потерял способности драться, внимание становится особо отточенным, мозг работает с наибольшим напряжением.

Плейшнер увидел в том парадном, куда он входил позавчера, кусочек синего, снежного, низкого неба.

«Там проходной двор, — понял он. — Я должен войти в парадное».

Он вошел в парадное на негнущихся, дрожащих в коленях ногах, с замершей улыбкой на сером лице.

Плейшнер прикрыл за собой дверь и бросился к противоположной двери, которая вела во двор. Он толкнул дверь рукой и понял, что она заперта. Он навалился плечом — дверь не поддавалась.

Плейшнер еще раз навалился на дверь, но она была заперта, а вылезти в маленькое оконце — то самое, сквозь которое он увидел небо, — было невозможно.

«Самое страшное, когда они раздевают, осматривают рот — тогда чувствуешь себя насекомым. В Риме просто убивали — прекрасное время честной антики! А эти хотят либо перевоспитать, либо истоптать, перед тем как вздернуть на виселице. Конечно, я не выдержу их пыток. Тогда, в первый раз, мне нечего было скрывать, и все равно я не выдержал и сказал то, что они хотели, и написал все то, что они требовали. А тогда я был моложе. И сейчас, когда они станут пытать меня, я не выдержу и предам память брата. А предать память брата — это уже смерть. Так лучше уйти без предательства».

Он остановился около двери. На табличке было написано: «Доктор права Франц Ульм».

«Сейчас я позвоню к этому Ульму, — вдруг понял Плейшнер. — И скажу ему, что у меня плохо с сердцем. У меня ледяные пальцы, лицо, наверное, белое. Пусть он вызовет врача. Пусть они стреляют в меня при людях, я тогда успею что-нибудь крикнуть».

Плейшнер нажал кнопку звонка. Он услышал, как за дверью протяжно зазвенел гонг.

«А Ульм спросит, где я живу? — думал он. — Ну и что? Пусть я окажусь в руках этой полиции. Скоро конец Гитлеру, и тогда я смогу сказать, кто я и откуда».

Он нажал кнопку еще раз, но ему никто не ответил.

«Этот Ульм сейчас сидит в кафе и ест мороженое. Вкусное, с земляникой и сухими вафлями, — снова както издалека подумал Плейшнер. — И читает газету, и нет ему до меня дела».

Плейшнер побежал вверх. Он промахнул полпролета, рассчитывая позвонить в ту дверь, что была напротив явки. Но дверь конспиративной квартиры открылась, и высокий блондин, выйдя на площадку, сказал:

— Вы ошиблись номером, товарищ. В этом подъезде живем только мы и Ульм, которому вы звонили, а все остальные в разъездах.

Плейшнер стоял возле окна в парадном — большого, немытого.

«А на столе осталась рукопись. Я оборвал ее на половине страницы, а мне так хорошо писалось. Если бы я не поехал сюда, я бы сидел и писал в Берлине, а потом когда все это кончилось, я бы собрал все написанное в книгу. А сейчас? Никто даже не поймет моего почерка».

Он выпрыгнул из окна — ногами вперед. Он хотел закричать, но не смог, потому что сердце его разорвалось, как только тело ощутило под собой стремительную пустоту.

СВОЙ СО СВОИМ?

Когда Мюллеру доложили, что Штирлиц идет по коридору РСХА к своему кабинету, он на мгновение растерялся. Он был убежден, что Штирлица схватят где-нибудь в другом месте. Он не мог объяснить себе отчего, но его все время не оставляло предчувствие удачи. Он, правда, знал свою ошибку: он вспомнил, как

повел себя, увидав избитого Холтоффа. Штирлиц конечно же все понял, поэтому, считал Мюллер, он и пустился в бега. А то, что Штирлиц появился в имперском управлении безопасности, то, что он неторопливо шел по коридорам, раскланиваясь со знакомыми, вызвало в Мюллере растерянность, и уверенность в удаче поколебалась.

Расчет Штирлица был прост: ошарашить противника — значит одержать половину победы. Он был убежден, что схватка с Мюллером предстоит сложная: Холтофф ходил вокруг самых уязвимых узлов в его операции с физиками. Однако Холтофф был недостаточно подготовлен, чтобы сформулировать обвинение, а каждый пункт, к которому он выходил — скорее интуитивно, чем доказуемо, — мог быть опровергнут или, во всяком случае, имел два толкования. Штирлиц вспомнил свой разговор с Шелленбергом во время праздничного вечера, посвященного дню рождения фюрера. После выступления Гиммлера состоялся концерт, а потом все перешли в большой зал — там были накрыты столы. Рейхсфюрер, по своей обычной манере, пил сельтерскую воду, его подчиненные хлестали коньяк. Вот тогда-то Штирлиц и сказал Шелленбергу о том, как неразумно работают люди Мюллера с физиком, арестованным месяца три назад. «Худо-бедно, а все-таки я посещал физико-математический факультет, — сказал он. — Я не люблю вспоминать, потому что из-за этого я был на грани импотенции, но тем не менее это факт. И потом, от этого Рунге идут связи: он учился и работал за океаном. Выгоднее этим заняться нам, право слово».

Он подбросил эту идею Шелленбергу, а после начал рассказывать смешные истории, и Шелленберг хохотал, а после они отошли к окну и обсуждали ту операцию, которую Шелленберг поручил провести группе своих сотрудников, в числе которых был и Штирлиц. Это была большая дезинформация, рассчитанная на то, чтобы вбить клин между союзниками. Штирлиц еще тогда обратил внимание на то, как Шелленберг тянет свою линию — неназойливо, очень осторожно, всячески подстраховываясь, — на разъединение западных союзников с Кремлем. Причем в этой своей игре он, как правило, обращал главный удар против Кремля. Шелленберг, в частности, организовал снабжение немецких частей, стоявших на Атлантическом валу, английским автоматическим оружием. Это оружие было закуплено немцами

через нейтралов и провозилось через Францию без соблюдения тех мер предосторожности, которые обычно сопутствовали такого рода перевозкам. Правда (это тоже разыграли весьма технично), после того как партизаны-коммунисты похитили несколько английских автоматов с немецких складов, был выпущен приказ, грозивший расстрелом за халатность при охране складов оружия. Приказ этот был выпущен большим тиражом, и агенты Шелленберга, работавшие по выявлению партизан, нашли возможность «снабдить» маки одним экземпляром этого приказа. На основе этих «секретных» данных можно было сделать вывод, что западные союзники и не думают высаживаться во Франции или Голландии: иначе зачем продавать свое оружие врагу? Шелленберг одобрил работу Штирлица — именно он занимался организационной стороной вопроса. Шеф разведки не выходил тогда из кабинета — он ждал взрыва в Кремле, ждал краха коалиции Сталина, Черчилля и Рузвельта. Штирлиц работал не покладая рук, его предложения встречали полное одобрение Шелленберга. Однако ничего не произошло. Штирлиц сообщил Москве все, что знал об этой операции, когда она только начиналась, и предупредил, что Лондон никогда не продавал оружия нацистам и вся эта затея от начала и до конца тонкая и далеко нацеленная дезинформация.

Разговаривая на празднике, посвященном дню рождения фюрера, Штирлиц намеренно ушел от дела физика Рунге, сосредоточившись на обсуждении провала игры с Кремлем. Он знал, что Шелленберг, прирожденный разведчик, профессионал, забывая детали, никогда не упускает главных, узловых моментов любой беседы — даже со своим садовником. Шелленберг был равным противником, и в вопросах стратегии его было обойти очень трудно, скорее всего — невозможно. Но, присматриваясь к нему, Штирлиц отметил любопытную деталь: интересные предложения своих сотрудников Шелленберг поначалу как бы и не замечал, переводя разговор на другую тему. И только по прошествии дней, недель, а то и месяцев, добавив к этому предложению свое понимание проблемы, выдвигал эту же идею, но теперь уже как свою, им предложенную, выстраданную, им замысленную операцию. Причем он придавал даже мельком брошенному предложению такой блеск, он так точно увязывал тему с общим комплексом вопросов, стоящих перед рейхом, что никто и не заподозривал его в плагиате.

Штирлиц рассчитал точно.

— Штандартенфюрер, — сказал ему Шелленберг через две недели, — видимо, вопрос технического превосходства будет определяющим моментом в истории мира, особенно после того, как ученые проникнут в секрет атомного ядра. Я думаю, что это поняли ученые, но до этого не дотащились политики. Мы будем свидетелями деградации профессии политика в том значении, к которому мы привыкли за девятнадцать веков истории. Политике станет диктовать будущее наука. Понять начальные мотивы тех людей науки, которые вышли на передовые рубежи будущего, увидеть, кто вдохновляет этих людей в их поиске, — задача не сегодняшнего дня, вернее, не столь сегодняшнего дня, сколько далекой перспективы. Поэтому вам придется поработать с арестованным физиком. Я запамятовал его имя...

Штирлиц понял, что это проверка. Шелленберг хотел установить, понял ли дока Штирлиц, откуда идет этот его монолог, кто ему подбросил в свое время идею. Штирлиц молчал, хмуро разглядывая свои пальцы. Он выдержал точную паузу и недоумевающе взглянул на бригадефюрера. Так он вышел на дело Рунге. Так он сломал реальную возможность немцев — победи точка зрения Рунге — подойти вплотную к созданию атомной бомбы уже в конце 1944 года.

Впрочем, он убедился после многих дней, проведенных вместе с Рунге, что сама судьба мешала Германии получить новое оружие: Гитлер после Сталинградского сражения отказывался финансировать научные исследования в области обороны, если ученые не обещали ему реальной, практической отдачи через три, максимум через шесть месяцев.

Правда, Гиммлер заинтересовался проблемой атомного оружия и создал «Объединенный фонд военно-научных исследований», однако Геринг, отвечавший за ведение научных изысканий в рейхе, потребовал передачи под свое ведение гиммлеровского детища. Гениальные немецкие физики были, таким образом, вне поля зрения руководства, тем более что ни один из фюреров Германии не имел даже высшего институтского образования, исключая Шпеера и Шахта.

Теперь Штирлицу надо было выиграть следующий этап сражения: он должен был доказать свою правоту в этом деле. Он продумал свою позицию. У него сильного позиция. Он обязан победить Мюллера.

Он не стал заходить в свой кабинет. В приемной Мюллера он сказал Шольцу:

— Дружище, спросите вашего шефа: какие будут указания? Он меня сразу примет, или можно полчаса поспать?

— Я узнаю, — ответил Шольц и скрылся за дверью. Он отсутствовал минуты две. — На ваше усмотрение, — сказал он, возвратившись. — Шеф готов принять вас сейчас, а можно перенести разговор на вечер.

«Усложненный вариант, — понял Штирлиц. — Он хочет выяснить, куда я пойду. Не надо оттягивать: все равно партия будет решена за час, от силы — два. Даже если потребуется вызвать экспертов из института Шумана».

— Как вы мне посоветуете, так я и поступлю, — сказал он. — Я боюсь, вечером он уйдет к руководству и я буду ждать его до утра. Логично?

— Логично, — согласился Шольц.

— Значит, сейчас?

Шольц распахнул двери и сказал:

— Пожалуйста, штандартенфюрер.

В кабинете у Мюллера было темно: обергруппенфюрер сидел в кресле возле маленького столика и слушал Би-би-си. Шла антинемецкая пропагандистская передача. На коленях у Мюллера лежала папка с бумагами, и он внимательно просматривал документы, то и дело настраивая приемник на уходящую волну. Мюллер выглядел усталым, воротник его черного френча был расстегнут, табачный дым висел в кабинете, словно облако в ущелье.

— Доброе утро, — сказал Мюллер. — Я, честно говоря, не ждал вас так рано.

— А я боялся, что получу взбучку за опоздание.

— Все вы боитесь получить от старика Мюллера взбучку... Хоть раз я кому давал взбучку? Я старый добрый человек, про которого распускают слухи. Ваш красавец шеф злее меня в тысячу раз. Только он в своих университетах научился улыбаться и говорить по-французски. А я до сих пор не знаю, полагается резать яблоко или его надо есть, как едят у меня дома, целиком.

Вздохнув, Мюллер поднялся, застегнул воротник френча и сказал:

— Пошли.

Заметив недоумевающий взгляд Штирлица, он усмехнулся:

— Сюрприз приготовил.

Они вышли из кабинета, и Мюллер бросил Шольцу:

— Мы, видимо, вернемся...

— Но я еще не вызвал машину.

— А мы никуда не едем.

Мюллер тяжело спустился по крутым лестницам в подвал. Там было оборудовано несколько камер для особо важных преступников. У входа в этот подвал стояли три эсэсовца.

Мюллер вынул из заднего кармана свой вальтер и протянул охранникам.

Штирлиц вопросительно посмотрел на Мюллера, и тот чуть кивнул головой. Штирлиц протянул свой парабеллум, и охранник сунул его себе в карман. Мюллер взял яблоко, лежавшее на столике охраны, и сказал:

— Неудобно идти без подарка. Даже если мы оба поклонники свободной любви, без всяких обязательств, и тогда к бывшим дружкам надо идти с подарком.

Штирлиц заставил себя рассмеяться: он понял, отчего так сказал Мюллер. Однажды его люди пытались завербовать южноамериканского дипломата; они показали ему несколько фотографий — дипломат был снят в постели с белокурой девицей, которую ему подсунули люди Мюллера. «Либо, — сказали ему, — мы перешлем эти фото вашей жене, либо помогите нам». Дипломат долго рассматривал фотографии, а потом спросил: «А нельзя ли мне с ней полежать еще раз? Мы с женой обожаем порнографию». Это было вскоре после приказа Гиммлера — обращать особое внимание на семейную жизнь немецких разведчиков. Штирлиц тогда ворчал: «Надо исповедовать свободную любовь без всяких обязательств, тогда человека невозможно поймать на глупостях». Когда ему рассказали об этом случае, Штирлиц только присвистнул: «Найдите мне такую жену, которая любит порнографию, я сразу отдам ей руку и сердце. Только, по-моему, перуанец вас переиграл: он испугался своей жены до смерти, но не подал вида и сработал, как актер, а вы ему поверили. Ты бы испугался свой жены? Конечно! А меня не возьмешь — я боюсь только самого себя, ибо у меня нет ни перед кем никаких обязательств. Единственное, что плохо, — некому будет приносить в тюрьму передачи».

Возле камеры № 7 Мюллер остановился. Он долго смотрел в глазок, потом дал знак охраннику, и тот отпер тяжелую дверь. Мюллер вошел в камеру первым. Следом за ним вошел Штирлиц. Охранник остался возле двери. Камера была пуста.

...Гиммлер позвонил Кальтенбруннеру и попросил отправить в Прагу — генералу Крюгеру из гестапо — проект секретного приказа фюрера.

— А то он прохлопает и Прагу, как это было с Краковом. И ознакомьтесь с приказом сами — это образец мужества и гения фюрера.

Содержание: о разрушении объектов на территории Германии.

Борьба за существование нашего народа заставляет также и на территории Германии использовать все средства, которые могут ослабить боеспособность противника и задержать его продвижение. Необходимо использовать все возможности, чтобы непосредственно или косвенно нанести максимальный урон боевой мощи противника. Ошибочно было бы полагать, что после возвращения потерянных территорий можно будет снова использовать не разрушенные перед отступлением или выведенные из строя на незначительный срок пути сообщения, средства связи, промышленные предприятия и предприятия коммунального хозяйства. Противник оставит нам при отступлении лишь выжженную землю и не посчитается с нуждами населения.

Поэтому я приказываю:

1. Все находящиеся на территории Германии пути сообщения, средства связи, промышленные предприятия и предприятия коммунального хозяйства, а также материальные запасы, которыми противник может в какой-либо мере воспользоваться, немедленно или по прошествии незначительного времени подлежат уничтожению.

2. Ответственность за уничтожение возлагается: на военные командные инстанции в отношении всех военных объектов (включая дорожные сооружения и средства связи), на гауляйтеров и государственных комиссаров обороны в отношении всех промышленных предприятий,

предприятий коммунального хозяйства, а также всякого рода материальных запасов. Войска должны оказывать гауляйтерам и государственным комиссарам обороны необходимую помощь в выполнении стоящих перед ними задач.

3. Настоящий приказ немедленно довести до сведения всех командиров. Все распоряжения, противоречащие данному приказу, утрачивают свою силу.

Гитлер.

13.3.1945 (11 часов 09 минут)

— Логично, — сказал Мюллер, выслушав Штирлица. — Ваша позиция с физиком Рунге неколебима. Считайте меня своим союзником.

— Хвост, который вы пускали за черным «хорьхом» шведского дипломата, был связан с этим делом?

— А вы чувствовали за собой хвост? Вы остро ощущаете опасность?

— Любой болван на моем месте почувствовал бы за собой хвост. А что касается опасности — какая же опасность может угрожать дома? Если бы я был за кордоном...

— У вас голова не болит?

— От забот? — улыбнулся Штирлиц.

— От давления, — ответил Мюллер и, взбросив левую руку, начал массировать затылок.

«Ему нужно было посмотреть на часы. Он ждет чего-то, — отметил Штирлиц. — Он не начал бы этого спектакля, не будь в запасе какого-то козыря. Кто это? Пастор? Плейшнер? Кэт?»

— Я бы советовал вам попробовать дыхательную гимнастику йогов.

— Не верю я в это... Хотя покажите.

— Левую руку положите на затылок. Нет, нет, только пальцы. А правая должна лежать вдоль черепа. Вот так. И начинайте одновременно массировать голову. Глаза закройте.

— Я закрою глаза, а вы меня шандарахнете по голове, как Холтоффа.

— Если вы предложите мне изменить родине — я сделаю это. Оперруппенфюрер, вы осторожно глянули на часы: они у вас отстают на семь минут. Я люблю открытые игры — со своими, во всяком случае.

Мюллер хмыкнул:

— Я всегда жалел, что вы работаете не в моем аппарате. Я бы уж давно сделал вас своим заместителем.

— Я бы не согласился.

— Почему?

— А вы ревнивы. Как любящая, преданная жена. Это самая страшная форма ревности. Так сказать, тираническая...

— Верно. Можно, правда, эту тираническую ревность назвать иначе: забота о товарищах.

Мюллер снова посмотрел на часы: теперь он сделал это не таясь. «А профессионал он первоклассный, — отметил Мюллер. — Он понимает все не через слово, а через жест и настрой. Молодец. Если он работает против нас, я не берусь определить ущерб, нанесенный им рейху».

— Ладно, — сказал Мюллер. — Будем в открытую. Сейчас, дружище, одну минуту...

Он поднялся и распахнул тяжелую дверь. Несмотря на свою бронированную массивность, она открывалась легко, одним пальцем. Он попросил одного из охранников, который лениво чистил ногти спичкой:

— Позвоните к Шольцу, спросите, какие новости.

Мюллер рассчитывал, что за два-три часа Рольф заставил русскую говорить. Ее привозят сюда — и очная ставка. Да — да, нет — нет. Проверка факта — долг контрразведчика. Партитуру допроса Штирлица он тоже разыграл достаточно точно: как только Рольф разработает русскую, Мюллер выкладывает свои козыри, наблюдает за поведением Штирлица, а потом сводит его лицом к лицу с «пианисткой».

— Сейчас, — обернулся в камеру Мюллер. — Я тут жду одного сообщения...

Штирлиц пожал плечами:

— Зачем надо было приводить меня сюда?

— Тут спокойнее. Если все кончится так, как хочу я, — мы вернемся вместе, и все будут знать, что мы с вами занимались делом в моем ведомстве.

— И мой шеф будет знать об этом?

— Чьей ревности вы боитесь — его или моей?

— А как вы думаете?

— Мне нравится, что вы идете напролом.

Вошел охранник и сказал:

— Он просил передать, что там никто не отвечает.

Мюллер удивленно поджал губы, а потом подумал: «Вероятно, он выехал сюда без звонка. Мой канал мог быть занят, и он поехал, чтобы сэкономить время. Отлично. Значит, через десять — пятнадцать минут Рольф привезет ее сюда».

— Ладно, — повторил Мюллер. — Как это в Библии: время собирать камни и время кидать их.

— У вас было неважно в школе с законом Божьим, — сказал Штирлиц. — В книге Екклезиаст сказано: время разбрасывать камни и время собирать камни; время обнимать и время уклоняться от объятий.

Мюллер спросил:

— Вы так хорошо изучали Библию с подопечным пастором?

— Я часто перечитывал Библию. Чтобы врага побеждать, надо знать его идеологию, не так ли? Учиться этому во время сражения — заранее обречь себя на проигрыш.

«Неужели они перехватили пастора за границей? Могли. Хотя когда я возвращался на станцию, мне не повстречалась ни одна машина. Но они могли проехать передо мной и сидеть на заставе. А сейчас — по времени это сходится — подъезжают к Берлину. Так. Значит, я сразу требую очной ставки с моим хозяином. Только наступать. Ни в коем случае не обороняться. А если Мюллер спросит меня, где агент Клаус? Дома в столе должно лежать письмо. Слишком явное алиби, но кто мог думать, что события выведут их именно на пастора? Это еще надо доказать — с Клаусом. А время за меня».

Мюллер медленно вытаскивал из нагрудного кармана голубой конверт.

«В конце концов, я сделал свое дело, — продолжал размышлять Штирлиц. — Дурашка, он думает, что своей медлительностью загипнотизирует меня и я начну метаться. Бог с ним. Пастор может заговорить, но это не так страшно. Главное, Плейшнер предупредил наших о провале Кэт и о том, что Вольф начал переговоры. Или начинает их. Наши должны все дальше организовать, если я провалюсь, — они теперь понимают, в каком направлении смотреть. Моего шифра Мюллер не узнает — его не знает никто, кроме меня и шефа. От меня они шифр не получат — в этом я уверен».

— Вот, — сказал Мюллер, достав из кармана три дактилоскопических отпечатка, — смотрите, какая занятная выходит штука. Эти пальчики, — он подвинул Штир-

лицу первый снимок, — мы обнаружили на том стакане, который вы наполняли водой, передавая несчастному, глупому, доверчивому Холтоффу. Эти пальчики, — Мюллер выбросил второй снимок, словно козырную карту из колоды, — мы нашли... где бы вы думали... А?

— Мои пальчики можно найти в Голландии, — сказал Штирлиц, — в Мадриде, Токио, Анкаре.

— А еще где?

— Я могу вспомнить, но на это уйдет часов пятнадцать, не меньше, и мы пропустим не только обед, но и ужин...

— Ничего. Я готов поголодать. Кстати, ваши йоги считают голод одним из самых действенных лекарств... Ну, вспомнили?

— Если я арестован и вы официально уведомите меня об этом, я стану отвечать на ваши вопросы как арестованный. Если я не арестован — я отвечать вам не буду.

— Не буду, — повторил Мюллер слова Штирлица в его же интонации. — Не буду.

Он взглянул на часы: если бы вошел Рольф, он бы начал с передатчика, но Рольф задерживался, поэтому Мюллер сказал:

— Пожалуйста, постарайтесь стенографически точно воспроизвести — желательно по минутам, — что вы делали после телефонного разговора из комнаты спецсвязи, куда доступ категорически запрещен всем?!

«Он не открыл третью карточку с пальцами, — отметил Штирлиц. — Значит, у него есть еще что-то. Значит, бить надо сейчас, чтобы он не был таким уверенным дальше».

— После того как я зашел в комнату спецсвязи — связистов за халатность надо предать суду, они оставили ключ в двери и ринулись, как зайцы, в бомбоубежище, — я встретился с партайгеноссе Борманом. И провел с ним более двух часов. О чем мы с ним говорили, я, естественно, вам отвечать не стану.

— Не зарывайтесь, Штирлиц, не зарывайтесь... Я все-таки старше вас — и по званию, да и по возрасту тоже.

«Он ответил мне так, давая понять, что я не арестован, — быстро отметил для себя Штирлиц. — А если так — у них нет улик, но они их ждут — и от меня тоже. Значит, у меня еще остался шанс».

— Прошу простить, обергруппенфюрер.

— Вот так-то лучше. Итак, о чем вы говорили с Борманом? С партайгеноссе Борманом?

— Я смогу ответить на ваш вопрос только́ в его присутствии — прошу понять меня правильно.

— Если бы вы ответили мне без него, это бы, возможно, избавило вас от необходимости отвечать на третий вопрос...

Мюллер еще раз посмотрел на часы — Рольф должен сейчас спускаться вниз, Мюллер всегда считал, что удивительно точно чувствует время.

— Я готов ответить на ваш третий вопрос, если он касается меня лично, но не интересов рейха и фюрера.

— Он касается лично вас. Эти пальцы мои люди нашли на чемодане русской радистки. И на этот вопрос вам будет ответить труднее всего.

— Почему? На этот вопрос мне как раз нетрудно ответить: чемодан радистки я осматривал в кабинете у Рольфа — он подтвердит.

— А он уже подтвердил это.

— В чем же дело?

— Дело в том, что отпечатки ваших пальцев были зафиксированы в районном отделении гестапо еще до того, как чемодан попал к нам.

— Ошибка исключена?

— Исключена.

— А случайность?

— Возможна. Только доказательная случайность. Почему из двадцати миллионов чемоданов, находящихся в берлинских домах, именно на том, в котором русская радистка хранила свое хозяйство, обнаружены ваши пальцы? Как это объяснить?

— Хм... хм... Объяснить это действительно трудно или почти невозможно. И я бы на вашем месте не поверил ни одному моему объяснению. Я понимаю вас, обергруппенфюрер. Я понимаю вас...

— Мне бы очень хотелось получить от вас доказательный ответ, Штирлиц, даю вам честное слово, я отношусь к вам с симпатией.

— Я верю.

— Сейчас Рольф приведет сюда русскую, и она поможет вам сообразить — я уверен, — где вы могли «наследить» на чемодане.

— Русская? — пожал плечами Штирлиц. — Которую я взял в госпитале? У меня абсолютная зрительная

память. Если бы я встречал ее раньше, я бы помнил лицо. Нет, она нам не поможет...

— Она поможет нам, — возразил Мюллер. — И поможет нам... — он снова начал копаться в нагрудном кармане, — вот это... из Берна.

И он показал его шифровку, отправленную с Плейшнером в Берн.

«А вот это — провал, — понял Штирлиц. — Это — крах. Я оказался идиотом. Плейшнер или трус, или растяпа, или провокатор».

— Так вы подумайте, Штирлиц. — Мюллер тяжело поднялся и неторопливо вышел из камеры.

Штирлиц почувствовал пустоту, когда дверь камеры мягко затворилась. Он испытывал это чувство несколько раз. Ему казалось, что он переставал стоять на ногах, и тело казалось Штирлицу чужим, нереальным, в то время как все окружающие его предметы становились еще более рельефными, угластыми (его после поражало, как много углов он успевал находить в такие минуты, и он потешался над этой своей странной способностью), и еще он точно различал линии соприкосновения разных цветов и даже отличал, в каком месте тот или иной цвет становился пожирающим, главным. Первый раз он испытал это ощущение в 1940 году в Токио, поздней осенью, он тогда шел с резидентом СД в германском посольстве по Мариноути-ку, а возле здания «Токио банка» лицом к лицу столкнулся со своим давнишним знакомым по Владивостоку — офицером контрразведки Воленькой Пимезовым. Тот бросился к нему с объятиями, понесся через дорогу (русский — всюду русский: ко всему приучается, только дорогу переходит всегда, нарушая правила движения; Штирлиц после по этому признаку определял за границей соплеменников), выронил из рук папку и закричал:

— Максимушка, родной!

Во Владивостоке они были на «вы», и смешно было подумать, что Пиземов когда-либо сможет обратиться к нему — «Максимушка» вместо почтительного «Максим Максимович». Это свойство русского человека за границей — считать соплеменника товарищем, а знакомого, пусть даже случайного, — закадычным другом — тоже было точно подмечено Штирлицем, и поэтому он с такой неохотой ездил в Париж, где было много русских, и в Стамбул, а ездить ему в оба эти города приходилось довольно часто. После встречи с Пимезовым — Штирлиц

точно сыграл презрительное недоумение и отстранил тогда от себя Волю брезгливым жестом указательного пальца, и тот, словно побитый, подобострастно улыбаясь, отошел, и Штирлиц заметил, какой у него грязный воротничок (точные цвета — белый, серый и почти черный на его воротничке — он потом в порядке эксперимента воспроизвел на бумаге, вернувшись в отель, и готов был побиться об заклад, что сделал это не хуже, чем фотоаппарат, — жаль только, не с кем было об заклад побиться), — именно после этой встречи в Токио он начал жаловаться врачам, что у него портится зрение. По прошествии полугода стал носить дымчатые очки — по предписанию врачей, считавших, что у него воспалена слизистая оболочка левого глаза из-за постоянного переутомления. Он знал, что очки, особенно дымчатые, изменяют облик человека порой до неузнаваемости, но сразу надевать очки после токийского инцидента было неразумно, этому предшествовала полугодовая подготовка. При этом, естественно, советская секретная служба в Токио самым внимательным образом в течение этого же полугода наблюдала за тем, не будет ли проявлен кем-либо из немцев интерес к Пимезову. Интереса к нему не проявили: видимо, офицер СД посчитал фигуру опустившегося русского эмигранта в стоптанных башмаках и грязной рубашке объектом, не заслуживающим серьезного внимания.

Второй раз такое же ощущение пустоты и собственной нереальности он ощутил в Минске в сорок втором году. Он тогда был в свите Гиммлера и вместе с рейхсфюрером участвовал в инспекционной поездке по концлагерям советских военнопленных. Русские пленные лежали на земле — живые рядом с мертвыми. Это были скелеты, живые скелеты. Гиммлера тогда стошнило, и лицо его сделалось мучнисто-белым. Штирлиц шел рядом с Гиммлером и все время испытывал желание достать свой вальтер и всадить обойму в веснушчатое лицо этого человека в пенсне, и оттого, что это искушение было физически столь выполнимым, Штирлиц тогда весь захолодел и испытал сладостное блаженство. «А что будет потом? — смог спросить себя он. — Вместо этой твари посадят следующую и увеличат личную охрану. И все». Он тогда, перед тем как побороть искушение, ощутил свое тело легким и чужим. И, как дьявольское наваждение, отгонял от себя фотографически точное цветовое восприятие лица Гиммлера. Веснушки у него были раз-

мыто-желтыми на щеках и возле висков и четко-коричневыми около левого уха, а на шее — черными, пупырчатыми. Только по прошествии года он смог впервые засмеяться над этим своим постоянным видением...

Штирлиц заставил тело спружиниться и, ощущая мелкое дрожание мышц, простоял с минуту. Он почувствовал, как кровь прилила к лицу и в глазах забили острые зелененькие молоточки.

«Вот так, — сказал он себе. — Надо чувствовать себя — всего, целиком, как кулак. Несмотря на то что здешние стены крашены тремя красками — серой, синей и белой».

И он засмеялся. Он не заставлял себя смеяться. Просто эти проклятые цвета... Будь они неладны. Слава Богу, что Мюллер вышел. Это он сглупил, дав ему время на раздумье. Никогда нельзя давать время на раздумье, если считаешь собеседника серьезным противником. Значит, Мюллер, у тебя самого не сходятся концы с концами.

...Мюллер выехал на место убийства Рольфа и Барбары вместе с самыми лучшими своими сыщиками — он взял стариков, которые ловили с ним и бандитов, и национал-социалистов Гитлера, и коммунистов Тельмана и Брандлера в двадцатых годах. Он брал этих людей в самых редких случаях. Он не переводил их в гестапо, чтобы они не зазнались: каждый следователь гестапо рассчитывал на помощь экспертов, агентов, диктофонов. А Мюллер был поклонником Чапека — сыщики у этого писателя обходились своей головой и своим опытом.

— Вообще ничего? — спросил Мюллер. — Никаких зацепок?

— Ни черта, — ответил седой, с землистым лицом старик. Мюллер забыл, как его зовут, но тем не менее они были на «ты» с 1926 года. — Это похоже на убийство, которое ты раскручивал в Мюнхене.

— На Эгмонштрассе?

— Да. Дом девять, по-моему...

— Восемь. Он ухлопал их на четной стороне улицы.

— Ну и память у тебя.

— Ты на свою жалуешься?

— Пью йод.

— А я — водку.

— Ты генерал, тебе можно пить водку. Откуда у нас деньги на водку?

— Бери взятки, — хмыкнул Мюллер.

— А потом попадешь к твоим палачам? Нет уж, лучше я буду пить йод.

— Валяй, — согласился Мюллер. — Валяй. Я бы с радостью, говоря откровенно, поменял свою водку на твой йод.

— Работы слишком много?

Мюллер ответил:

— Пока — да. Скоро ее вовсе не будет. Так что же нам делать, а? Неужели совсем ничего нет?

— Пусть в твоей лаборатории посмотрят пули, которыми укокошили эту парочку.

— Посмотреть — посмотрят, — согласился Мюллер. — Обязательно посмотрят, можешь не беспокоиться...

Вошел второй старик и, подвинув стул, присел рядом с Мюллером.

«Старый черт, — подумал Мюллер, глянув на него, — а ведь он красится. Точно, у него крашеные волосы».

— Ну? — спросил Мюллер. — Что у тебя, Гюнтер?

— Кое-что есть.

— Слушай, чем ты красишь волосы?

— Хной. У меня не седые и не черные, а какие-то пегие, а Ильзе умерла. А молоденькие предпочитают юных солдат, а не старых сыщиков... Слушай, тут одна старуха в доме напротив видела час назад женщину и солдата. Женщина шла с ребенком, видно, очень торопилась.

— В чем был солдат?

— Как в чем? В форме.

— Я понимаю, что не в трусах. В черной форме?

— А... Ну, конечно, в черной, вы ж зеленым охрану не поручаете.

— В какую они сели машину?

— Они в автобус сели.

Мюллер от неожиданности даже приподнялся:

— Как в автобус?!

— Так. В семнадцатый номер.

— В какую сторону они поехали?

— Туда, — махнул рукой Гюнтер, — на запад.

Мюллер сорвался со стула, снял трубку телефона и, быстро набрав номер, сказал:

— Шольц! Быстро! Наряды по линии семнадцатого автобуса — раз! «Пианистка» и охранник. Что? Откуда я знаю, как его зовут! Выясните, как его зовут! Второе — немедленно поднимите на него досье: кто он, откуда,

где родные. Весь послужной список — мне, сюда, немедленно. Если выясните, что он хоть раз был в тех же местах, где бывал Штирлиц, сразу сообщите! И отправьте наряд в засаду на квартиру Штирлица

Мюллер сидел на стуле возле двери. Эксперты гестапо и фотограф уже уехали. Он остался со своими стариками, и они говорили о былом, перебивая друг друга.

«Я проиграл, — рассуждал Мюллер, успокоенный разговором старых товарищей, — но у меня в запасе Берн. Конечно, там все сложнее, там чужая полиция и чужие пограничники. Но один козырь, главный, пожалуй, выбит из рук. Они бежали к автобусу, значит, это не спланированная операция. Нет, об операции нелепо и думать. Русские, конечно, стоят за своих, но посылать на смерть несколько человек для того, чтобы попытаться, лишь попытаться, освободить эту «пианистку» — вряд ли. Хотя, с другой стороны, они понимали, что ребенок — ее ахиллесова пята. Может быть, поэтому они пошли на такой риск? Нет, что я несу? Не было никакого запланированного риска: она садилась в автобус, ничего себе риск... Это идиотизм, а никакой не риск...»

Он снова снял трубку телефона:

— Это Мюллер. По всем линиям метро тоже предупредите полицию о женщине с ребенком. Дайте ее описание, скажите, что она воровка и убийца, пусть берут. Если ошибутся и схватят больше, чем надо, — я их извиню. Пусть только не пропустят ту, которую я жду...

Штирлиц постучал в дверь камеры: видимо, за те часы, которые он здесь провел, сменился караул, потому что на пороге теперь стоял не давешний красномордый парень, а Зигфрид Бейкер — Шлирлиц не раз играл с ним в паре на теннисных кортах.

— Привет, Зигги, — сказал он, усмехнувшись, — хорошенькое место для встреч, а?

— Зачем вы требовали меня, номер седьмой? — спросил Бейкер очень спокойно, ровным, чуть глуховатым голосом.

«У него всегда была замедленная реакция, — вспомнил Штирлиц. — Он хорошо бил с левой, он всегда чуть медлил. Из-за этого мы с ним проиграли пресс-атташе из Турции».

— Неужели я так изменился? — спросил Штирлиц и

автоматически пощупал щеки: он не брился второй день и щетина отросла довольно большая, но не такая колючая; колючей щетина была только вечером — он приучил себя бриться дважды в день.

— Зачем вы требовали меня, номер седьмой? — повторил Зигфрид.

— Ты что, сошел с ума?

— Молчать! — гаркнул Бейкер и захлопнул тяжелую дверь.

Штирлиц усмехнулся и сел на металлический ввинченный в бетонный пол табурет. «Когда я подарил ему английскую ракетку, он даже прослезился. Все громилы и подлецы слезливы. Это такая у них форма истерии, — подумал Штирлиц. — Слабые люди обычно кричат или бранятся, а громилы плачут. Слабые — это я неверно подумал. Добрые — так сказать вернее. И только самые сильные люди умеют подчинять себя себе».

Когда они первый раз играли в паре с Зигфридом против обергруппенфюрера Поля (Поль перед войной учился играть в теннис, чтобы похудеть), Бейкер шепнул Штирлицу:

— Будем проигрывать с нулевым счетом или для вида посопротивляемся?

— Не болтай ерунды, — ответил Штирлиц, — спорт есть спорт.

Зигфрид начал немилосердно подыгрывать Полю. Он очень хотел понравиться обергруппенфюреру. А Поль накричал на него:

— Я вам не кукла! Извольте играть со мной как с соперником, а не как с глупым ребенком!

Зигфрид с перепугу начал гонять Поля по площадке так, что тот, рассвирепев, бросил ракетку и ушел с корта. Бейкер тогда побледнел, и Штирлиц заметил, как у него мелко дрожали пальцы.

— Я никогда не думал, что в тюрьмах работают такие нервные ребята, — сказал Штирлиц. — Ничего не случилось, дружище, ничего, ровным счетом. Иди в душ, приди в себя и отправляйся домой, а послезавтра я расскажу тебе, что надо делать.

Зигфрид ушел, а Штирлиц разыскал Поля, и они вместе славно поиграли пять сетов. Поль взмок, но Штирлиц играл с ним ровно, отрабатывая — ненавязчиво и уважительно длинные удары с правой. Поль это отчетливо понял, но манера Штирлица держаться на корте, полная иронического доброжелательства и истинно

спортивного демократизма, была ему симпатична. Поль попросил Штирлица поиграть с ним пару месяцев.

— Это слишком тяжелое наказание, — рассмеялся Штирлиц, и Поль тоже рассмеялся — так это добродушно прозвучало у Штирлица. — Не сердитесь на моего верзилу, он боится генералов и относится к вам с преклонением. Мы будем работать с вами по очереди, чтобы не потерять квалификацию.

После того как Штирлиц во время следующей игры представил Полю Зигфрида, тот проникся к своему напарнику громадным почтением и с тех пор старался при каждом удобном случае оказать Штирлицу какую-нибудь услугу. То он бегал ему за пивом после того, как кончалась партия, то дарил диковинную авторучку (видно, отобранную у арестованного), то приносил букетик первых цветов. Однажды он подвел Штирлица, но опять-таки невольно, по своей врожденной службистской тупости. Штирлиц выступал на соревнованиях против испанца. Парень был славный, либерально настроенный, но Шелленберг задумал с ним какую-то пакость и для этого попросил, через своих людей в спортивном комитете, чтобы испанца вывели на игру со Штирлицем. Естественно, Штирлица ему представили как сотрудника министерства иностранных дел, а после окончания партии к Штирлицу подбежал Зигфрид и брякнул: «Поздравляю с победой, штандартенфюрер! СС всегда побеждает!»

Штирлиц не очень-то горевал о сорванной операции, а Зигфрида хотели посадить на гауптвахту с отчислением из СС. Снова Штирлиц пошел хлопотать за него — на этот раз уже через приручeнного Поля, и спас его. На следующий день после этого отец Зигфрида — высокий, худой старик с детскими голубыми глазами — приехал к нему с подарком: хорошей копией Дюрера.

— Наша семья никогда не забывает добро, — сказал он. — Мы все — ваши слуги, господин Штирлиц, отныне и навсегда. Ни мой сын, ни я — мы никогда не сможем отблагодарить вас, но если вам понадобится помощь — в досадных, раздражающих повседневных мелочах, — мы почтем за высокую честь выполнить любую вашу просьбу.

С тех пор старик каждую весну приезжал к Штирлицу и ухаживал за его садом, и особенно за розами, вывезенными из Японии.

«Несчастное животное, — вдруг подумал Штирлиц о Зигфриде, — его даже винить-то ни в чем нельзя. Все

люди равны перед Богом — так, кажется, утверждал мой друг пастор. Черта с два. Чтобы на земле восторжествовало равенство, надо сначала очень четко договориться: отнюдь не все люди равны перед Богом. Есть люди — люди, а есть — животные. И винить их в этом нельзя. А уповать на моментальное перевоспитание даже не глупо, а преступно».

Дверь камеры распахнулась. На пороге стоял Зигфрид.

— Не сидеть! — крикнул он. — Ходить кругами!

И перед тем как захлопнуть дверь, он незаметно выронил на пол крохотную записку. Штирлиц поднял ее. «Если вы не будете говорить, что мой папа окучивал и подстригал ваши розы, я обещаю бить вас вполсилы, чтобы вы могли дольше держаться. Записку прошу съесть».

Штирлиц вдруг почувствовал облегчение: чужая глупость всегда смешна. И снова взглянул на часы. Мюллер отсутствовал третий час.

«Девочка молчит, — понял Штирлиц. — Или они свели ее с Плейшнером? Это не страшно — они ничего друг о друге не знают. Но что-то у него не связалось. Что-то случилось, у меня есть тайм-аут».

Он неторопливо расхаживал по камере, перебирая в памяти все, что имело отношение к этому чемодану. Да, точно, он подхватил его в лесу, когда Эрвин поскользнулся и чуть было не упал. Это было в ночь перед бомбежкой. Один только раз.

«Минута! — остановил себя Штирлиц. — Перед бомбежкой... А после бомбежки я стоял там с машиной... Там стояло много машин... Был затор из-за того, что работали пожарные. Почему я там оказался? А, был завал на моей дороге на Кудам. Я потребую вызвать полицию из оцепления, которая дежурила в то утро. Значит, я там оказался потому, что меня завернула полиция. В деле была фотография чемоданов, которые сохранились после бомбежки. Я говорил с полицейским, я помню его лицо, а он должен помнить мой жетон. Я помог перенести чемодан — пусть он это опровергнет. Он не станет это опровергать, я потребую очной ставки. Скажу, что я помог плачущей женщине нести детскую коляску: та тоже подтвердит, такое — запоминается».

Штирлиц забарабанил в дверь кулаками, и дверь открылась, но у порога стояли два охранника. Третий — Зигфрид — провел мимо камеры Штирлица человека с

парашей в руках. Лицо человека было изуродовано, но Штирлиц узнал личного шофера Бормана, который не был агентом гестапо и который вел машину, когда он, Штирлиц, говорил с шефом партийной канцелярии.

— Срочно позвоните обергруппенфюреру Мюллеру. Скажите ему — я вспомнил! Я все вспомнил! Попросите немедленно спуститься ко мне!

«Плейшнер еще не привезен! Раз. С Кэт сорвалось. У меня есть только один шанс выбраться — время. Время и Борман. Если я промедлю — он победит».

— Хорошо, — сказал охранник, — сейчас доложу.

...Из приюта для грудных младенцев вышел солдат, пересек улицу и спустился в подвал разрушенного дома. Там, на разбитых ящиках, сидела Кэт и кормила сына.

— Что? — спросила она.

— Плохо, — ответил Гельмут. — Надо полчаса ждать. Сейчас кормят детей и все заняты.

— Мы подождем, — успокоила его Кэт. — Мы подождем... Откуда им знать, где мы?

— Вообще-то да, только надо скорее уходить из города, иначе они нас найдут. Я знаю, как они умеют искать. Может, вы пойдете? А я, если получится, догоню вас? А? Давайте уговоримся, где я вас буду ждать...

— Нет, — покачала головой Кэт, — не надо. Я буду ждать... Все равно мне некуда идти в этом городе...

Шольц позвонил на радиоквартиру к Мюллеру:

— Обергруппенфюрер, Штирлиц просил передать вам, что он все вспомнил.

— Да? — оживился Мюллер и сделал знак рукой сыщикам, чтобы они не так громко смеялись. — Когда?

— Только что.

— Хорошо. Скажите, что я еду. Ничего нового?

— Ничего существенного.

— Об этом охраннике ничего не собрали?

— Нет, всякая ерунда...

— Какая именно? — спросил Мюллер машинально, скорее для порядка, стягивая при этом с соседнего стула свое пальто.

— Сведения о жене, о детях и родных.

— Ничего себе ерунда! — рассердился Мюллер. — Это не ерунда. Это совсем даже не ерунда в таком деле,

дружище Шольц. Сейчас приеду, и разберемся в этой ерунде... К жене послали людей?

— Жена два месяца назад ушла от него. Он лежал в госпитале после контузии, а она ушла. Уехала с каким-то торговцем в Мюнхен.

— А дети?

— Сейчас, — ответил Шольц, пролистывая дело, — сейчас посмотрю, где его дети... Ага, вот... У него один ребенок, трех месяцев. Она его сдала в приют.

«У русской грудной сын! — вдруг высветило Мюллеру. — Ему нужна кормилица! А Рольф, наверное, переусердствовал с ребенком!»

— Как называется приют?

— Там нет названия. Приют в Пáнкове. Моцартштрассе, семь. Так... Теперь о его матушке...

Мюллер не стал слушать данных о его матушке. Он швырнул трубку, медлительность его исчезла, он надел пальто и сказал:

— Ребята, сейчас может быть большая стрельба, так что приготовьте «бульдоги». Кто знает приют в Панкове?

— Моцартштрассе, восемь? — спросил седой.

— Ты снова перепутал, — ответил Мюллер, выходя из квартиры. — Ты всегда путаешь четные и нечетные цифры. Дом семь.

— Улица как улица, — сказал седой, — ничего особенного. Там можно красиво разыграть операцию: очень тихо, никто не мешает. А путаю я всегда. С детства. Я болел, когда в классе проходили четные и нечетные.

И он засмеялся, и все остальные тоже засмеялись, и были они сейчас похожи на охотников, которые обложили оленя.

Нет, Гельмут Кальдер не был связан со Штирлицем. Их пути нигде не пересекались. Он честно воевал с сорокового года. Он знал, что воюет за свою родину, за жизнь матери, трех братьев и сестры. Он верил в то, что воюет за будущее Германии против неполноценных славян, которые захватили огромные земли, не умея их обрабатывать; против англичан и французов, которые продались заокеанской плутократии; против евреев, которые угнетают простой народ, спекулируя на несчастьях людей. Он считал, что гений фюрера будет сиять в веках.

Так было до осени сорок первого года, когда они шли с песнями по миру и пьяный воздух победы делал

его и всех его товарищей по танковым частям СС веселыми, добродушными гуляками. Но после битвы под Москвой, когда начались бои с партизанами и поступил приказ убивать заложников, Гельмут несколько растерялся.

Когда его взводу первый раз приказали расстрелять сорок заложников возле Смоленска — там пустили под откос эшелон, — Гельмут запил: перед ними стояли женщины с детьми и старики. Женщины прижимали детей к груди, закрывали им глаза и просили, чтобы их поскорее убили.

Он тогда по-настоящему запил; многие его товарищи тоже молча тянули водку, и никто не рассказывал смешных анекдотов, и никто не играл на аккордеонах. А потом они снова ушли в бой, и ярость схваток с русскими вытеснила воспоминания о том кошмаре.

Он приехал на побывку, и их соседка пришла в гости с дочкой. Дочку звали Луиза. Она была хорошенькая, ухоженная и чистенькая. Гельмут видел ее во сне — каждую ночь. Он был на десять лет старше. Поэтому он чувствовал к ней нежность. Он мечтал, какой она будет женой и матерью. Гельмут всегда мечтал о том, чтобы в его доме возле вешалки стояло много детских башмачков: он любил детей. Как же ему не любить детей, ведь сражался-то он за их счастье?!

Во время следующего отпуска Луиза стала его женой. Он вернулся на фронт, и Луиза тосковала два месяца. А когда поняла, что забеременела, ей стало скучно и страшно. Она уехала в город. Когда родился ребенок, она отдала его в приют, Гельмут в это время лежал в госпитале после тяжелой контузии. Он вернулся домой, и ему сказали, что Луиза уехала с другим. Он вспомнил русских женщин: однажды его приятель за пять банок консервов провел ночь с тридцатилетней учительницей — у нее была девочка, которую нечем было кормить. Наутро русская повесилась: она оставила соседям девочку, положив в пеленки портрет ее отца и эти самые банки с консервами. А Луиза, член гитлерюгенда, настоящая арийка, а не какая-то дикая славянка, бросила их девочку в приют, как последняя шлюха.

Он ходил в приют раз в неделю, и ему изредка позволяли гулять с дочкой. Он играл с ней, пел ей песни, и любовь к дочке стала главным в его жизни. Он увидел, как русская радистка укачивала своего мальчика, и тогда впервые отчетливо спросил себя: «Что же мы делаем?

Они такие же люди, как мы, и так же любят своих детей, и так же готовы умереть за них».

И когда он увидел, что делает Рольф с младенцем, решение пришло к нему не от разума, а от чувства. В Рольфе и в Барбаре, смотревшей, как собираются убить младенца, он увидел Луизу, которая стала для него символом предательства.

...Вернувшись через полчаса в приют, он стоял возле окна, выкрашенного белой краской, и чувствовал, как в нем что-то надломилось.

— Добрый день, — сказал он женщине, которая выглянула в окошко. — Урсула Кальдер. Моя дочь. Мне позволяют...

— Да. Я знаю. Но сейчас девочка должна спать.

— Я уезжаю на фронт. Я погуляю с ней, и она поспит у меня на руках. А когда придет время менять пеленки, я принесу ее...

— Боюсь, что доктор не разрешит.

— Я ухожу на фронт, — повторил Гельмут.

— Хорошо... Я понимаю... Я постараюсь. Подождите, пожалуйста.

Ждать ему пришлось десять минут, и все тело его била дрожь, а зуб не попадал на зуб.

Окошко открылось, и ему протянули белый конверт. Лицо дочки было закрыто ослепительно белой пеленкой: девочка спала.

— Вы хотите выйти на улицу?

— Что? — не понял Гельмут. Слова сейчас доходили до него издалека, как сквозь плотно затворенную дверь. У него так бывало после контузии, когда он очень волновался.

— Пройдите в наш садик — там тихо, и, если начнется налет, вы сможете быстро спуститься в убежище.

Гельмут вышел на дорогу и услышал скрип тормозов у себя за спиной. Военный шофер остановил грузовик в двух шагах и, высунувшись в окно, закричал:

— Вы что, не видите машины?!

Гельмут прижал дочку к груди и, пробормотав что-то, потрусил к входу в подвал. Кэт ждала его, стоя возле двери. Мальчик лежал на ящике.

— Сейчас, — сказал Гельмут, протягивая Кэт дочку, — подержите ее, я побегу на остановку. Там видно, когда из-за поворота подходит автобус. Я успею прибежать за вами.

Он увидел, как Кэт бережно взяла его девочку, и

снова в глазах у него закипели слезы, и он побежал к пролому в стене.

— Лучше вместе, — сказала Кэт, — давайте лучше вместе!

— Ничего, я сейчас, — ответил он, остановившись в дверях. — Все-таки они могут иметь ваши фотографии, а я до контузии был совсем другим. Сейчас, ждите меня.

Он засеменил по улице к остановке. Улица была пустынной.

«Приют эвакуируют, и я потеряю дочку, — думал он. — Как ее потом найдешь? А если погибать под бомбами, то лучше вместе. И эта женщина сможет ее покормить — кормят ведь близнецов... И потом за это Бог мне все простит. Или хотя бы тот день под Смоленском».

Начался дождик.

«Нам доехать до Зоо, и там мы сядем в поезд. Или пойдем с беженцами. Здесь легко затеряться. И она будет кормить девочку, пока мы не придем в Мюнхен. А там поможет мама. Там можно будет найти кормилицу. Хотя они ведь будут искать меня. К маме нельзя идти. Неважно. Надо просто уйти из этого города. Можно пойти на север, к морю, к Хансу: в конце концов, кто может подумать, что я пошел к товарищу по фронту?»

Гельмут натянул свою шапку на уши. Озноб проходил.

«Хорошо, что пошел дождь, — думал он, — хоть что-то происходит. Когда ждешь и все тихо — это плохо. А если сыплет снег или идет дождь — тогда как-то не так одиноко».

Моросило по-прежнему, но внезапно тучи разошлись, и высоко-высоко открылась далекая голубизна и краешек белого солнца.

«Вот и весна, — подумал Гельмут. — Теперь недолго ждать травы...»

Он увидел, как из-за поворота показался автобус. Гельмут было повернулся, чтобы бежать за Кэт, но заметил, как из-за автобуса выскочили черные машины и наперекор всем правилам движения понеслись к детскому приюту. Гельмут снова почувствовал, как у него ослабели ноги и захолодела левая рука: это были машины гестапо. Первым его желанием было бежать, но он понял, что они заподозрят бегущего и сразу же схватят русскую с его девочкой и увезут к себе. Он боялся, что сейчас с ним снова случится приступ и его возьмут в беспамятстве. «А потом схватят девочку, станут ее разде-

вать и подносить к окну, а ведь еще только-только начинается весна, и когда-то еще будет тепло. А так... она услышит и все поймет, эта русская. Не может быть, чтобы...»

Гельмут вышел на асфальт и, вскинув руку с парабеллумом, выстрелил несколько раз в ветровое стекло первой машины. И последнее, что он подумал, после того как услышал автоматную очередь и еще перед тем, как осознал последнюю в своей жизни боль: «Я же не сказал ей, как зовут девоч...»

И это его мучило еще какое-то мгновение, прежде чем он умер.

— Нет, господин, — говорила Мюллеру сестра милосердия, выносившая девочку Гельмуту, — это было не больше десяти минут назад...

— А где же девочка? — хмуро интересовался седой сыщик, стараясь не глядеть на труп своего товарища с крашеными волосами. Он лежал на полу, возле двери, и было видно, как он стар: видимо, последний раз он красил волосы давно, и шевелюра его была двухцветной — пегой у корешков и ярко-коричневой выше.

— По-моему, они уехали на машине, — сказала вторая женщина, — рядом с ним остановилась машина.

— Что, девочка сама села в машину?

— Нет, — ответила женщина серьезно, — она сама не могла сесть в машину. Она ведь еще грудная...

Мюллер сказал:

— Осмотрите здесь все как следует, мне надо ехать к себе. Третью машину сейчас пришлют, она уже выехала... А как же девочка могла очутиться в машине? — спросил он, обернувшись у двери. — Какая была машина?

— Большая.

— Грузовик?

— Да. Зеленый...

— Тут что-то не так, — сказал Мюллер и отворил дверь. — Поглядите в домах вокруг...

— Кругом развалины.

— И там посмотрите, — сказал он, — а в общем-то все это настолько глупо, что работать практически невозможно. Мы не сможем понять логику непрофессионала.

— А может, он хитрый профессионал? — сказал седой, закуривая.

— Хитрый профессионал не поехал бы в приют, — хмуро ответил Мюллер и вышел: только что, когда он звонил к Шольцу, тот сообщил ему, что на явке в Берне русский связник, привезший шифр, покончил жизнь самоубийством.

13.3.1945 (16 часов 11 минут)

К Шелленбергу позвонили из группы работы с архивом Бормана.

— Кое-что появилось, — сказали ему, — если вы придете, бригадефюрер, мы подготовим для вас несколько документов.

— Сейчас буду, — коротко ответил Шелленберг.

Приехав, он, не раздеваясь, подошел к столу и взял несколько листков бумаги.

Пробежав их, он удивленно поднял брови, потом не спеша разделся, бросив пальто на спинку стула, и сел, подломив под себя левую ногу. Документы были действительно в высшей мере интересные. Первый документ гласил: «В день «Х» подлежат изоляции Кальтенбруннер, Поль, Шелленберг, Мюллер». Фамилия «Мюллер» была вычеркнута красным карандашом, и Шелленберг отметил это большим вопросительным знаком на маленькой глянцевитой картонке: он держал пачку таких глянцевитых картонок в кармане и на своем столе — для пометок. «Следует предположить, — говорилось далее в документе, — что изоляция вышеназванных руководителей гестапо и СД будет своеобразной акцией отвлечения. Поиски изолированных руководителей, отвечавших за конкретные проблемы, будут владеть умами всех тех, кому это будет выгодно: как с точки зрения оперативной, так и в стратегической устремленности».

Далее в документе приводился список на сто семьдесят шесть человек. «Эти офицеры гестапо и СД могут — в той или иной мере — пролить свет не через основные посылы, но через второстепенные детали на узловые вопросы внешней политики рейха. Бесспорно, каждый из них, сам того не зная, является мозаикой — бессмысленной с точки зрения индивидуальной ценности, но бесценной в подборе все остальных мозаик. Следовательно, *эти люди могут оказать помощь врагам рейха*, заинтересованным в компрометации идеалов национал-

социализма практикой его строительства. С этой точки зрения операции каждого из перечисленных выше офицеров, будучи собранными воедино, выведут картину, неблагоприятную для рейха. К сожалению, в данном случае невозможно провести строгий водораздел между установками партии и практикой СС, поскольку все эти офицеры являются ветеранами движения, вступившими в ряды НСДАП в период с 1927 по 1935 год. Следовательно, изоляция этих людей также представляется целесообразной и правомочной».

«Понятно, — вдруг осенило Шелленберга. — Он кокетничает, наш партийный лидер. Мы это называем «ликвидацией». Он это называет «изоляцией». Значит, меня следует изолировать, а Мюллера сохранить. Собственно, этого я и ожидал. Занятно только, что они оставили в списке Кальтенбруннера. Хотя это можно понять: Мюллер всегда был в тени, его знают только специалисты, а Кальтенбруннер теперь широко известен в мире. Его погубит честолюбие. А меня погубило то, что я хотел быть нужным рейху. Вот парадокс: чем больше ты хочешь быть нужным своему государству, тем больше рискуешь; такие, как я, не имеют права просто унести в могилу государственные тайны, ставшие тайнами личными. Таких, как я, нужно выводить из жизни — внезапно и быстро... Как Гейдриха. Я-то убежден, что его уничтожили наши...»

Он внимательно просмотрел фамилии людей, внесенных в списки для «изоляции». Он нашел множество своих сотрудников. Под номером 142 был штандартенфюрер СС Штирлиц.

То, что Мюллер был вычеркнут из списков, а Штирлиц оставлен, свидетельствовало о страшной спешке и неразберихе, царившей в партийном архиве. Указание внести коррективы в списки пришло от Бормана за два дня до эвакуации, однако в спешке фамилию Штирлица пропустили. Это и спасло Штирлица — не от «изоляции» доверенными людьми Бормана, но от «ликвидации» людьми Шелленберга...

13.3.1945 (17 часов 02 минуты)

— Что-нибудь случилось? — спросил Штирлиц, когда Мюллер вернулся в подземелье. — Я отчего-то волновался.

— Правильно делали, — согласился Мюллер. — Я тоже волновался.

— Я вспомнил, — сказал Штирлиц.

— Что именно?

— Откуда на чемодане русской могли быть мои пальцы... Где она, кстати? Я думал, вы устроите нам свидание. Так сказать, очную ставку.

— Она в больнице. Скоро ее привезут.

— А что с ней случилось?

— С ней-то ничего. Просто, чтобы она заговорила, Рольф переусердствовал с ребенком.

«Врет, — понял Штирлиц. — Он бы не стал сажать меня на растяжку, если бы Кэт заговорила. Он рядом с правдой, но он врет».

— Ладно, время пока терпит.

— Почему «пока»? Время просто терпит.

— Время пока терпит, — повторил Штирлиц. — Если вас действительно интересует эта катавасия с чемоданом, то я вспомнил. Это стоило мне еще нескольких седых волос, но правда всегда торжествует — это мое убеждение.

— Радостное совпадение наших убеждений. Валяйте факты.

— Для этого вы должны вызвать всех полицейских, стоявших в зоне оцепления на Кепеникштрассе и Байоретерштрассе, — я там остановился, и мне не разрешили проехать даже после предъявления жетона СД. Тогда я поехал в объезд. Там меня тоже остановили, и я очутился в заторе. Я пошел посмотреть, что случилось, и полицейские — молодой, но, видимо, серьезно больной парень, скорее всего туберкулезник, и его напарник, того я не очень хорошо запомнил, — не позволяли мне пройти к телефону, чтобы позвонить Шелленбергу. Я предъявил им жетон и пошел звонить. Там стояла женщина с детьми, и я вынес ей из развалин коляску. Потом я перенес подальше от огня несколько чемоданов. Вспомните фотографию чемодана, найденного после бомбежки. Раз. Сопоставьте его обнаружение с адресом, по которому жила радистка, — два. Вызовите полицейских из оцепления, которые видели, как я помогал несчастным переносить их чемоданы, — три. Если хоть одно из моих доказательств окажется ложью, дайте мне пистолет с одним патроном: ничем иным свою невиновность я не смогу доказать.

— Хм, — усмехнулся Мюллер. — А что? Давайте поп-

робуем. Сначала послушаем наших немцев, а потом побеседуем с вашей русской.

— С нашей русской! — тоже улыбнулся Штирлиц.

— Хорошо, хорошо, — сказал Мюллер, — не хватайте меня за язык...

Он вышел, чтобы позвонить к начальнику школы фюреров полиции оберштурмбанфюреру СС доктору Хельвигу, а Штирлиц продолжал анализировать ситуацию: «Даже если они сломали девочку — а он специально сказал про ее сына: они могли мучить маленького, и она бы не выдержала этого, но что-то у них все равно сорвалось, иначе они бы привезли Кэт сюда... Если Плейшнер у них — они бы тоже не стали ждать: в таких случаях промедление глупо, упускаешь инициативу».

— Вас кормили? — спросил Мюллер, вернувшись. — Перекусим?

— Пора бы, — согласился Штирлиц.

— Я попросил принести нам чего-нибудь сверху.

— Спасибо. Вызвали людей?

— Вызвал.

— Вы плохо выглядите.

— Э, — махнул рукой Мюллер. — Хорошо еще, что вообще живу. А почему вы так хитро сказали «пока»? «Пока есть время». Давайте высказывайтесь — чего уж там.

— Сразу после очной ставки, — ответил Штирлиц. — Сейчас нет смысла. Если мою правоту не подтвердят — нет смысла говорить.

Открылась дверь, и охранник принес поднос, покрытый белой крахмальной салфеткой. На подносе стояла тарелка с вареным мясом, хлеб, масло и два яйца.

— В такой тюрьме, да еще в подвале, я бы согласился поспать денек-другой. Здесь даже бомбежки не слышно.

— Поспите еще.

— Спасибо, — рассмеялся Штирлиц.

— А что? — усмехнулся Мюллер. — Серьезно говорю... Мне нравится, как вы держитесь. Выпить хотите?

— Нет. Спасибо.

— Вообще не пьете?

— Боюсь, что вам известен даже мой любимый коньяк.

— Не считайте себя фигурой, равной Черчиллю. Только о нем я знаю, что он любит русский коньяк боль-

ше всех остальных. Ладно. Как хотите, а я выпью. Чувствую я себя действительно не лучшим образом.

...Мюллер, Шольц и Штирлиц сидели в пустом кабинете следователя Холтоффа — на стульях, поставленных вдоль стены. Оберштурмбанфюрер Айсман открыл дверь и ввел полицейского в форме.

— Хайль Гитлер! — воскликнул тот, увидав Мюллера в генеральской форме.

Мюллер ничего ему не ответил.

— Вы не знаете никого из этих трех людей? — спросил Айсман полицейского.

— Нет, — ответил полицейский, опасливо покосившись на колодку орденов и рыцарский крест на френче Мюллера.

— Вы никогда не встречались ни с кем из этих людей?

— Как мне помнится — ни разу не встречался.

— Может быть, вы встречались мельком, во время бомбежки, когда вы стояли в оцеплении, возле разрушенных домов?

— В форме-то приезжали, — ответил полицейский, — много в форме приезжало смотреть развалины. А припомнить конкретно не могу...

— Ну, спасибо. Пригласите войти следующего.

Когда полицейский вышел, Штирлиц сказал:

— Ваша форма их сбивает. Они же только вас и видят.

— Ничего, не собьет, — ответил Мюллер. — Что же мне, сидеть голым?

— Тогда напомните им конкретное место, — попросил Штирлиц. — Иначе им трудно вспомнить — они же стоят на улицах по десять часов в день, им все люди кажутся на одно лицо.

— Ладно, — согласился Мюллер, — этого-то вы не помните?

— Нет, этого я не видел. Я вспомню тех, кого видел.

Второй полицейский тоже никого не опознал. Только седьмым по счету вошел тот болезненный молодой шуцман, видимо туберкулезник.

— Вы кого-нибудь видели из этих людей?

— Нет. По-моему, нет...

— Вы стояли в оцеплении на Кепеникштрассе?

— Ах да, да, — обрадовался шуцман, — вот этот господин показывал свой жетон. Я пропустил его к пожарищу.

— Он просил вас пропустить его?

— Нет... Просто он показал свой жетон, он в машине ехал, а я никого не пускал. И он прошел... А что? — вдруг испугался шуцман. — Если он не имел права... Я знаю приказ — пропускать всюду людей из гестапо.

— Он имел право, — сказал Мюллер, поднявшись со стула, — он не враг, не думайте. Мы работаем все вместе. Он там что, искал роженицу на пожарище? Он интересовался судьбой несчастной?

— Нет... Ту роженицу увезли еще ночью, а он ехал утром.

— Он искал вещи этой бедной женщины? Вы помогали ему?

— Нет, — шуцман поморщил лоб, — он там, я помню, перенес коляску какой-то женщине. Детскую коляску. Нет, я не помогал, я был рядом.

— Она стояла возле чемоданов?

— Кто? Коляска?

— Нет. Женщина.

— Вот этого я не помню. По-моему, там лежали какие-то чемоданы, но про чемоданы я точно не помню. Я запомнил коляску, потому что она рассыпалась, и этот господин собрал ее и отнес к противоположному тротуару.

— Зачем? — спросил Мюллер.

— А там было безопаснее, и пожарники стояли на нашей стороне. А у пожарников шланги, они могли погубить эту колясочку, тогда ребенку было б негде спать, а так женщина потом устроила эту коляску в бомбоубежище, и малыш там спал — я видел...

— Спасибо, — сказал Мюллер, — вы нам очень помогли. Вы свободны.

Когда шуцман ушел, Мюллер сказал Айсману:

— Остальных освободить.

— Там должен быть еще пожилой, — сказал Штирлиц, — он тоже подтвердит.

— Ладно, хватит, — поморщился Мюллер. — Достаточно.

— А почему не пригласили тех, кто стоял в первом оцеплении, когда меня завернули?

— Это мы уже выяснили, — сказал Мюллер. — Шольц, вам все точно подтвердили?

— Да, обергруппенфюрер. Показания Хельвига, который в тот день распределял наряды и контактировал со службой уличного движения, уже доставлены.

— Спасибо, — сказал Мюллер, — вы все свободны.

Шольц и Айсман пошли к двери, Штирлиц двинулся следом за ними.

— Штирлиц, я вас задержу еще на минуту, — остановил его Мюллер.

Он дождался, пока Айсман и Шольц ушли, закурил и отошел к столу. Сел на краешек — все сотрудники гестапо взяли у него эту манеру — и спросил:

— Ну ладно, мелочи сходятся, а я верю мелочам. Теперь ответьте мне на один вопрос: где пастор Шлаг, мой дорогой Штирлиц?

Штирлиц сыграл изумление. Он резко обернулся к Мюллеру и сказал:

— С этого и надо было начинать!

— Мне лучше знать, с чего начинать, Штирлиц. Я понимаю, что вы переволновались, но не следует забывать такт...

— Я позволю себе говорить с вами в открытую.

— Позволите себе? А как — я?

— Обергруппенфюрер, я понимаю, что разговоры Бормана по телефону ложатся на стол рейхсфюрера. Я понимаю, что вы не можете не выполнять приказов рейхсфюрера. Даже если они инспирированы вашим другом и моим шефом. Я хочу верить, что шофер Бормана арестован гестапо по прямому приказу сверху. Я убежден, что вам приказано арестовать этого человека.

Мюллер лениво глянул в глаза Штирлицу, и Штирлиц почувствовал, как внутренне шеф гестапо весь напрягся — он ждал всего, но не этого.

— Почему вы считаете... — начал было он, но Штирлиц снова перебил его:

— Я понимаю, вам поручили скомпрометировать меня — любыми путями, для того чтобы я не мог больше встречаться с партайгеноссе Борманом. Я видел, как вы строили наш сегодняшний день, — в вас было все, как обычно, но в вас не было вдохновения, потому что вы понимали, кому выгодно и кому невыгодно положить конец моим встречам с Борманом. Теперь у меня нет времени: у меня сегодня встреча с Борманом. Я не думаю, чтобы вам было выгодно убрать меня.

— Где вы встречаетесь с Борманом?

— Возле музея природоведения.

— Кто будет за рулем? Второй шофер?

— Нет. Мы знаем, что он завербован через гестапо Шелленбергом.

— Кто это «мы»?

— Мы — патриоты Германии и фюрера.

— Вы поедете на встречу в моей машине, — сказал Мюллер, — это в целях вашей же безопасности.

— Спасибо.

— В портфель вы положите диктофон и запишете весь разговор с Борманом. И обговорите с ним судьбу шофера. Вы правы: меня вынудили арестовать шофера и применить к нему третью степень устрашения. Потом вы вернетесь сюда, и мы прослушаем запись беседы вместе. Машина будет ждать вас там же, возле музея.

— Это неразумно, — ответил Штирлиц, быстро прикинув в уме все возможные повороты ситуации. — Я живу в лесу. Вот вам мой ключ. Поезжайте туда. Борман подвозил меня домой в прошлый раз: если бы шофер признался в этом, надеюсь, вы бы не мучили меня все эти семь часов.

— А может быть, мне пришлось бы выполнить приказ, — сказал Мюллер, — и ваши муки прекратились бы семь часов назад.

— Если бы это случилось, обергруппенфюрер, вы бы остались один на один со многими врагами — здесь, в этом здании.

Уже около двери Штирлиц спросил:

— Кстати, в этой комбинации, которую я затеял, мне очень нужна русская. Почему вы не привезли ее? И к чему такой глупый фокус с шифром из Берна?

— Не так все это глупо, между прочим, как вам показалось. Мы обменяемся впечатлениями у вас, когда встретимся после вашей беседы с Борманом.

— Хайль Гитлер! — сказал Штирлиц.

— Да ладно вам, — буркнул Мюллер, — у меня и так в ушах звенит...

— Я не понимаю... — словно натолкнувшись на какую-то невидимую преграду, остановился Штирлиц, не спуская руки с массивной медной ручки, врезанной в черную дверь.

— Бросьте. Всё вы прекрасно понимаете. Фюрер не способен принимать решений, и не следует смешивать интересы Германии с личностью Адольфа Гитлера.

— Вы отдаете себе...

— Да, да! Отдаю себе отчет. Тут нет аппаратуры прослушивания, а вам никто не поверит, передай вы мои

слова, — да вы и не решитесь их никому передавать. Но себе — если вы не играете более тонкой игры, чем та, которую хотите навязать мне, — отдайте отчет: Гитлер привел Германию к катастрофе. И я не вижу выхода из создавшегося положения. Понимаете? Не вижу. Да сядьте вы, сядьте... Вы что, думаете, у Бормана есть свой план спасения? Отличный от планов рейхсфюрера? Люди Гиммлера за границей под колпаком, он от агентов требовал дел, он не берег их. А ни один человек из бормановских германо-американских, германо-английских, германо-бразильских институтов не был арестован. Гиммлер не смог бы исчезнуть в этом мире. Борман может. Вот о чем подумайте. И объясните вы ему — подумайте только, как это сделать тактичнее, — что без профессионалов, когда все кончится крахом, он не обойдется. Большинство денежных вкладов Гиммлера в иностранных банках — под колпаком союзников. А у Бормана вкладов во сто крат больше, и никто о них не знает. Помогая ему сейчас, выговаривайте и себе гарантии на будущее, Штирлиц. Золото Гиммлера — это пустяки. Гитлер прекрасно понимал, что золото Гиммлера служит близким, тактическим целям. А вот золото партии, золото Бормана, — оно не для вшивых агентов и перевербованных министерских шоферов, а для тех, кто по прошествии времени поймет, что нет иного пути к миру, кроме идей национал-социализма. Золото Гиммлера — это плата испуганным мышатам, которые, предав, пьют и развратничают, чтобы погасить в себе страх. Золото партии — это мост в будущее, это обращение к нашим детям, к тем, которым сейчас месяц, год, три года... Тем, кому сейчас десять, мы не нужны: ни мы, ни наши идеи; они не простят нам голода и бомбежек. А вот те, кто сейчас еще ничего не смыслит, будут рассказывать о нас легенды, а легенду надо подкармливать, надо создавать сказочников, которые переложат наши слова на иной лад, доступный людям через двадцать лет. Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «хайль» в чей-то персональный адрес — знайте, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение! Сколько вам лет будет к семидесятому? Под семьдесят? Вы счастливчик, вы доживете. А вот мне будет под восемьдесят... Поэтому меня волнуют предстоящие десять лет, и, если вы хотите делать вашу ставку, не опасаясь меня, а, наоборот, на меня рассчитывая, попомните: Мюллер-гестапо — старый, уставший человек. Он хочет спокойно дожить свои

годы где-нибудь на маленькой ферме с голубым бассейном и для этого готов сейчас поиграть в активность... И еще — этого, конечно, Борману говорить не следует, но сами-то запомните: чтобы из Берлина перебраться на маленькую ферму, в тропики, нельзя торопиться. Многие шавки фюрера побегут отсюда очень скоро и — попадутся... А когда в Берлине будет грохотать русская канонада и солдаты будут сражаться за каждый дом — вот тогда отсюда нужно уйти спокойно. И унести тайну золота партии, которая известна только Борману, потому что фюрер уйдет в небытие... И отдайте себе отчет в том, как я вас перевербовал: за пять минут и без всяких фокусов. О Шелленберге мы поговорим сегодня на досуге. Но Борману вы должны сказать, что без моей прямой помощи у вас ничего в Швейцарии не выйдет.

— В таком случае, — медленно ответил Штирлиц, — ему будете нужны вы, а я стану лишним...

— Борман понимает, что один я ничего не сделаю — без вас. Не так-то много у меня своих людей в ведомстве вашего шефа...

РИТМ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ

Услыхав выстрелы на улице, Кэт сразу поняла: случилось страшное. Она выглянула и увидела две черные машины и Гельмута, который корчился посредине тротуара. Она бросилась обратно: ее сын лежал на ящике и тревожно двигался. Девочка, которую она держала на руках, была спокойнее — почмокивала себе во сне. Кэт положила девочку рядом с сыном. Движения ее стали суетливыми, руки дрожали, и она прикрикнула на себя: «А ну, тихо!» «Почему «тихо»? — успела подумать она, отбегая в глубь подвала, — ведь я не кричала...»

Она шла, вытянув вперед руки, в кромешной тьме, спотыкаясь о камни и балки. Так они играли в войну у себя дома с мальчишками. Сначала она была санитаркой, но потом в нее влюбился Эрвин Берцис из шестого подъезда, а он всегда был командиром у красных, и он сначала произвел ее в сестры милосердия, а потом велел называть Катю военврачом третьего ранга. Их штаб помещался в подвале дома на Спасо-Наливковском. Однажды в подвале погас свет. А подвал был большой, похожий на лабиринт. Начальник штаба заплакал от страха — его звали Игорь, и Эрвин взял его в отряд только потому, что тот был отличником. «Чтобы нас не

называли анархистами, — объяснил свое решение Эрвин, — нам нужен хотя бы один примерный ученик. И потом, начальник штаба — какую роль может он играть в нашей войне? Никакой. Будет сидеть в подвале и писать мои приказы. Штабы имели значение у белых, а у красных важен только один человек — комиссар». Когда Игорь заплакал, в подвале стало очень тихо, и Катя почувствовала, как растерялся Эрвин. Она почувствовала это по тому, как он сопел носом и молчал. А Игорь плакал все жалостнее, и вслед за ним начал всхлипывать кто-то еще из работников штаба. «А ну, тихо! — крикнул тогда Эрвин. — Сейчас я выведу вас. Сидеть на местах и не расходиться!» Он вернулся через десять минут, когда снова включили свет. Он был в пыли, с разбитым носом. «Выключим свет, — сказал он, — надо научиться выходить без света — на будущее, когда начнется настоящая война». — «Когда начнется настоящая война, — сказал начальник штаба Игорь, — тогда мы станет сражаться на земле, а не в подвалах». — «А ты молчи. Ты снят с должности, — ответил Эрвин. — Слезы на войне — это измена! Понял?» Он вывернул лампочку, вывел всех из подвала, и тогда Катя первый раз поцеловала его.

«Он вел нас вдоль по стене, — думала она, — он все время держался руками за стену. Только у него были спички. Нет. У него не было спичек. Откуда у него могли взяться спички? Ему тогда было девять лет, он еще не курил».

Кэт оглянулась: она уже не видела ящика, на котором лежали дети. Она испугалась, что заплутается здесь и не найдет пути назад, а дети там лежат на ящике, и сын вот-вот заплачет, потому что, наверное, у него все пеленки мокрые, и разбудит девочку, и сразу же их голоса услышат на улице. Она заплакала от беспомощности, повернулась и пошла обратно, все время прижимаясь к стене. Она заторопилась и, зацепившись ногой за какую-то трубу, потеряла равновесие. Вытянув вперед руки, зажмурившись, она упала. На какое-то мгновение в глазах у нее зажглись тысячи зеленых огней, а потом она потеряла сознание от острой боли в голове.

...Кэт не помнила, сколько времени она пролежала так: минуту или час. Открыв глаза, она удивилась какому-то странному шуму. Она лежала левым ухом на ребристом ледяном железе, и оно издавало странный звук, который Кэт впервые услыхала в горах, в ущелье, там,

где стеклянно ярился прозрачно-голубой поток. Кэт решила, что у нее звенит в голове от сильного удара. Она подняла лицо, и гул прекратился. Вернее, он стал иным. Кэт хотела подняться на ноги, но вдруг поняла: она упала головой на люк подземной канализации. Она ощупала руками ребристое железо. Эрвин говорил о мощной системе подземных коммуникаций в Берлине. Кэт рванула люк на себя: он не поддавался. Она стала ощупывать ладонями пол вокруг люка и нашла какую-то ржавую железку, поддела ею люк и отбросила его в сторону. Звук, скрытый этим ребристым металлическим люком, такой далекий, сейчас вырвался из глубины.

Они тогда шли по синему ущелью в горах: Гера Сметанкин, Мишаня Великовский, Эрвин и она. Они еще тогда все время пели песню: «Далеко-далеко за морем стоит золотая страна...»

Сначала в ущелье было жарко и остро пахло хвоей: леса там были синие, сплошь хвойные. Очень хотелось пить, оттого что подъем был крутой — по крупной и острой гальке, а воды не было, и все очень удивлялись, ведь по этому ущелью они должны были выйти на краснополянский снежник, значит, по ущелью должен протекать ручей. Но воды не было, и только ветер шумел в верхушках сосен. А потом галька пошла не белая, иссушенная солнцем, а черная, а еще через десять минут они увидели ручеек в камнях и услыхали далекий шум, а после шли вдоль синего потока, и все кругом грохотало. Они увидели снег, и, когда поднялись на снежник, снова стало тихо, потому что поток, вызванный таянием снегов, был под ними, и они поднимались все выше и выше — в снежную тишину...

Седой сыщик включил фонарик, и острый луч обшарил подвал.

— Слушайте, этих самых СС на радиостанции угрохали из одного пистолета? — спросил он сопровождавших его людей.

Кто-то ответил:

— Я звонил к ним в лабораторию. Данные еще не готовы.

— А говорят, в гестапо все делается за минуту. Тоже мне, болтуны. Ну-ка, взгляните кто-нибудь — у меня глаза плохо видят: это следы или нет?

— Мало пыли... Если бы это было летом...

— Если бы это было летом, и если бы у нас был доберман-пинчер, и если бы у доберман-пинчера была перчатка той бабы, которая ушла от СС, и если бы он сразу взял след... Ну-ка, это какой окурок?

— Старый. Видно ведь — словно каменный.

— Вы пощупайте, пощупайте! Видно — это видно: в нашем деле все надо щупать... Слава богу, Гюнтер одинокий, а то как бы вы сообщили моей Марии, что я лежу дохлый и холодный на полу в морге?

Подошел третий сыщик: он осматривал весь подвал — нет ли выходов.

— Ну? — спросил седой.

— Там было два выхода. Но они завалены.

— Чем?

— Кирпичом.

— Пыли много?

— Нет. Там, как здесь, — битый камень, какая на нем пыль?

— Значит, никаких следов?

— Какие же следы на битых камнях.

— Пошли посмотрим еще раз — на всякий случай.

Они пошли все вместе, негромко переговариваясь, то и дело выхватывая лучом фонаря из темноты подвала далекие, пыльные уголки, забитые кирпичами и балками. Седой остановился и достал из кармана сигареты.

— Сейчас, — сказал он, — я только закурю.

Он стоял на металлическом ребристом люке.

Кэт слышала, как у нее над головой стояли полицейские. Она слышала, как они разговаривали. Слов она не разбирала, потому что далеко внизу, под ногами, грохотала вода. Она стояла на двух скобках, а в руках держала детей и все время панически боялась потерять равновесие и полететь с ними вниз, в эту грязную грохочущую воду. А когда она услыхала над головой голоса, она решила: «Если они откроют люк, я шагну вниз. Так будет лучше для всех». Мальчик заплакал. Сначала он завел тоненьким голоском, едва слышно, но Кэт показалось, что он кричит так громко, что все вокруг сразу же его услышат. Она склонилась к нему — так, чтобы не потерять равновесие, и стала тихонько, одними губами, напевать ему колыбельную. Но мальчик, не открывая своих припухлых синеватых век, плакал все громче и громче.

Кэт почувствовала, что у нее немеют ноги. Девочка тоже проснулась, и теперь дети кричали вдвоем. Она уже

поняла, что наверху, в подвале, их не слышно: она вспомнила, что шум потока донесся до нее, лишь когда она упала на этот самый металлический люк. Но страх мешал ей откинуть люк и вылезти. Она представляла себе до мелочей, как она оттолкнет головой люк, как положит детей на камни и как распрямит руки и отдохнет хотя бы минуту, перед тем как вылезти отсюда. Она оттягивала время по минутам, заставляя себя считать до шестидесяти. Чувствуя, что начинает торопиться, Кэт останавливалась и начинала считать заново. На первом курсе в университете у них был спецсеминар — «Осмотр места происшествия». Она помнила, как их учили обращать внимание на каждую мелочь. Поэтому, наверное, она по-звериному хитро насыпала на крышку люка камней, перед тем как, прижав к себе детей правой рукой, левой поставить крышку на место.

«Сколько прошло времени? — думала Кэт. — Час? Нет, больше. Или меньше? Я ничего не соображаю. Я лучше открою люк, и, если они здесь или оставили засаду, я шагну вниз, и все кончится».

Она уперлась головой в люк, но люк не поддавался. Кэт напрягла ноги и снова толкнула головой люк.

«Они стояли на люке, — поняла она, — поэтому так трудно его открыть. Ничего страшного. Старое железо, ржавое, я раскачаю его головой, а потом, если он и тогда не поддастся, я освобожу левую руку, дам ей отдохнуть, подержу детей правой, а левой открою люк. Конечно, открою». Она осторожно передвинула кричащую девочку и хотела было поднять левую руку, но поняла, что сделать этого не может: рука затекла и не слушалась ее.

«Ничего, — сказала себе Кэт. — Это все не страшно. Сейчас руку начнет колоть иголками, а потом она согреется и станет слушаться меня. А правая удержит детей. Они же легенькие. Только бы девочка не очень билась. Она тяжелее моего. Старше и тяжелее...»

Кэт начала осторожно сжимать и разжимать пальцы.

Она вспомнила старика, соседа по даче. Высокий, худой со странно блестевшими голубыми глазами, он приходил к ним на веранду и презрительно смотрел, как они ели хлеб и масло. «Это же безумие, — говорил он, — колбаса — это яд! Сыр — это яд! Это зловредные выбросы организмов! Хлеб? Это замазка! Надо есть сваренное в календуле мясо! Перец! Капусту! Репу! И в вас войдет вечность! Я могу жить миллион лет! Да, да, я знаю, вы думаете, что я шарлатан! Нет, я просто позволяю себе

думать смелее наших консервативных медиков! Нет болезней! Смешно лечить язву или туберкулез! Надо лечить клетку! Фундамент вечной молодости — это диета, дыхание и психотерапия! Вы умно кормите клетку, основу основ живого, вы мудро даете ей кислород, и вы поддерживаете ее тренингом, вы делаете ее своим союзником во время бесед с ней и с остальными миллиардами клеток, определяющих вашу субстанцию. Поймите, каждый из нас — не слабый человек, живущий во власти случаев и обстоятельств, но вождь многомиллионного клеточного, самого разумного из всех существовавших под солнцем государств! Звездных систем! Галактик! Поймите наконец, кто вы есть! Откройте глаза на самих себя. Научитесь уважать себя и ничего не бойтесь. Все страхи этого мира эфемерны и смешны, если только понять призвание человека — быть человеком!»

Кэт попыталась было разговаривать со своими пальцами. Но дети кричали все громче, и она поняла, что времени на беседы с армией клеток у нее не осталось. Она подняла левую руку, которая все еще была чужой, и начала бесчувственными пальцами скрести люк над головой. Люк чуть подался. Кэт помогла себе головой, и крышка сдвинулась. Не посмотрев даже, есть ли кто в подвале или нет, Кэт положила детей на пол, вылезла следом за ними и легла рядом — обессиленная, ничего уже толком не понимающая.

— Господа, любезно пообещавшие мне свою помощь, предупредили, что вы имеете возможность каким-то образом связать меня с теми, от кого зависят судьбы миллионов в Германии, — сказал пастор. — Если мы сможем приблизить благородный мир хотя бы на день — нам многое простится в будущем.

— Сначала я хотел бы задать вам несколько вопросов.

— Пожалуйста. Я готов ответить на все вопросы.

Собеседником пастора был высокий, худощавый итальянец, видимо, очень старый, но державшийся вызывающе молодо.

— На все — не надо. Я перестану вам верить, если вы согласитесь отвечать на все вопросы.

— Я не дипломат. Я приехал по поручению...

— Да, да, я понимаю. Мне уже передавали о вас кое-что. Первый вопрос: кого вы представляете?

— Простите, но сначала я должен услышать ваш ответ: кто вы? Я буду говорить о людях, оставшихся у Гитлера. Им грозит смерть — им и их близким. Вам ничего не грозит, вы в нейтральной стране.

— Вы думаете, в нейтральной стране не работают агенты гестапо? Но это частность, это не имеет отношения к нашей беседе. Я не американец. И не англичанин...

— Я это понял по вашему английскому языку. Вероятно, вы итальянец?

— Да, по рождению. Но я гражданин Соединенных Штатов, и поэтому вы можете говорить со мной вполне откровенно, если верите тем господам, которые помогли нам встретиться.

Пастор вспомнил напутствие Брюнинга. Поэтому он сказал:

— Мои друзья на родине считают — и я разделяю их точку зрения полностью, — что скорейшая капитуляция всех немецких армий и ликвидация всех частей СС спасет миллионы жизней. Мои друзья хотели бы знать, с кем из представителей союзников мы должны вступить в контакт?

— Вы мыслите одновременно капитуляцию всех армий рейха: на западе, востоке, на юге и на севере?

— Вы хотите предложить иной путь?

— У нас разговор протекает в странной манере: в переговорах заинтересованы немцы, а не мы, поэтому условия предстоит выдвигать нам, не правда ли? Для того чтобы мои друзья смогли вести с вами конкретные разговоры, мы должны знать — как этому учили нас древние — кто? когда? сколько? с чьей помощью? во имя какой цели?

— Я не политик. Может быть, вы правы... Но я прошу верить в мою искренность. Я не знаю всех тех, кто стоит за той группой, которая отправила меня сюда, но я знаю, что человек, представляющий эту группу, достаточно влиятелен.

— Это игра в кошки-мышки. В политике все должно быть оговорено с самого начала. Политики торгуются, потому что для них нет тайн. Они взвешивают — что и почем. Когда они неумело торгуются, их, если они представляют тоталитарное государство, свергают или, если они прибыли из парламентских демократий, прокатывают на следующих выборах. Я бы советовал вам передать вашим друзьям: мы не сядем говорить с ними до тех пор, пока не узнаем, кого они представляют, их

программу, в первую голову идеологическую, и те планы, которые они намерены осуществлять в Германии, заручившись нашей помощью.

— Идеологическая программа понятна: она базируется на антинацизме.

— А какой видится будущая Германия вашим друзьям? Куда она будет ориентирована? Какие лозунги вы предложите немцам? Если вы не можете ответить за ваших друзей, мне было бы интересно услышать вашу точку зрения.

— Ни я, ни мои друзья не склонны видеть будущее Германии окрашенным в красный цвет большевизма. Но в такой же мере мне кажется чудовищной мысль о сохранении, хотя бы в видоизмененной форме, того или иного аппарата подавления германского народа, который имеется в Германии сейчас.

— Встречный вопрос: кто сможет удержать германский народ в рамках порядка, в случае если Гитлер уйдет? Люди церкви? Те, кто содержится в концентрационных лагерях? Или командиры полицейских частей, решившие порвать с гитлеризмом?

— Полицейские силы подчинены в Германии рейхсфюреру СС Гиммлеру.

— Я слыхал об этом, — улыбнулся собеседник пастора.

— Значит, речь идет о том, чтобы сохранить власть СС, которая, как вы считаете, имеет возможность удержать народ от анархии, в рамках порядка?

— А кто вносит подобное предложение? По-моему, этот вопрос еще нигде не дискутировался, — ответил итальянец и внимательно, первый раз за весь разговор без улыбки, взглянул на пастора.

Пастор испугался. Он понял, что проговорился: этот дотошный итальянец сейчас уцепится и вытащит из него все, что он знает о стенограмме переговоров американцев с СС, которую ему показал Брюнинг. Пастор знал, что врать он не умеет: его всегда выдает лицо.

А итальянец, один из сотрудников бюро Даллеса, вернувшись к себе, долго размышлял, прежде чем сесть за составление отчета о беседе.

«Либо он полный нуль, — думал итальянец, — не представляющий ничего в Германии, либо он тонкий разведчик. Он не умел торговаться, но он не сказал мне ничего. Но его последние слова свидетельствуют о том, что им известно нечто о переговорах с Вольфом».

У Кэт не было денег на метро. А ей надо было поехать куда-нибудь, где есть печка и где можно раздеть детей и перепеленать их. Если она не сделает этого, они погибнут, потому что уже много часов они провели на холоде.

«Тогда уж лучше было все кончать утром, — по-прежнему как-то издалека думала Кэт. — Или в люке».

Понятие опасности притупилось в ней: она вышла из подвала и, не оглядываясь, пошла к автобусной остановке. Она не знала толком, куда поедет, как возьмет билет, где оставит, хоть на минуту, детей. Она сказала кондуктору, что у нее нет денег — все деньги остались в разбомбленной квартире. Кондуктор, проворчав что-то, посоветовал ей отправиться в пункт для приема беженцев. Кэт села возле окна. Здесь было не так холодно, и ей сразу же захотелось спать. «Я не засну, — сказала она себе. — Я не имею права спать».

И — сразу же уснула.

Она чувствовала, как ее толкают и теребят за плечо, но никак не могла открыть глаза, ей было тепло, блаженно, и плач детей доносился тоже издалека.

Ей виделось что-то странное, цветное, она подсознательно смущалась безвкусной сентиментальности снов: вот она входит с мальчиком в какой-то дом по синему толстому ковру, мальчик уже сам идет — с куклой, их встречают Эрвин, мама, сосед по даче, который обещал жить миллион лет...

— Майне даме! — Кто-то толкнул ее сильно — так, что она прикоснулась виском к холодному стеклу. — Майне даме!

Кэт открыла глаза. Кондуктор и полицейский стояли возле нее в темном автобусе.

— Что? — шепотом, прижимая к себе детей, спросила Кэт. — Что?

— Налет, — также шепотом ответил кондуктор. — Пойдемте...

— Куда?

— В бомбоубежище, — сказал полицейский. — Давайте, мы поможем вам нести детей.

— Нет, — сказала Кэт, прижимая к себе детей. — Они будут со мной.

Кондуктор пожал плечами, но промолчал. Полицейский, поддерживая ее под руку, отвел в бомбоубежище.

Там было тепло и темно. Кэт прошла в уголок — двое мальчиков поднялись со скамейки, уступив ей место.

— Спасибо.

Она положила детей рядом с собой и обратилась к девушке из гитлерюгенда, дежурной по убежищу:

— Мой дом разбит, у меня нет даже пеленок, помогите мне! Я не знаю, что делать: погибла соседка, и я взяла с собой ее девочку. А у меня ничего нет...

Девушка кивнула и вскоре вернулась с пеленками.

— Пожалуйста, — сказала она, — здесь четыре штуки, вам должно хватить на первое время. Утром я советовала бы вам обратиться в ближайшее отделение «помощи пострадавшим» — только надо иметь справку из вашего полицейского комиссариата и аусвайс.

— Да, конечно, спасибо вам, — ответила Кэт и начала перепеленывать детей. — Скажите, а воды здесь нет? Воды и печки? Я бы постирала те пеленки, что есть, и у меня было бы восемь штук — на завтра мне бы хватило...

— Холодная вода есть, а мылом, я думаю, вас снабдят. Потом подойдите ко мне, я организую все это.

Когда дети, наевшись, уснули, Кэт тоже притулилась к стене и решила поспать хотя бы полчаса. «Сейчас я ничего не соображаю, — сказала она себе, — у меня жар, я, наверное, простудилась в люке... Нет, они не могли простудиться, потому что они в одеялах, и ножки у них теплые. А я посплю немного и стану думать, как надо поступать дальше».

И снова какие-то видения, но теперь уже бессвязные, навалились на нее: быстрая смена синего, белого, красного и черного утомляла глаза. Она внимательно наблюдала за этой стремительной сменой красок. «Наверное, у меня двигаются глазные яблоки под веками, — вдруг отчетливо поняла Кэт. — Это очень заметно, так говорил полковник Суздальцев в школе». И она испуганно поднялась со скамейки. Все вокруг дремали: бомбили далеко, лай зениток и уханье бомб слышались как через вату.

«Я должна ехать к Штирлицу, — сказала себе Кэт и удивилась тому, как спокойно она сейчас размышляла — логично и четко. — Нет, — возразил в ней кто-то, — тебе нельзя к нему ехать. Ведь они спрашивали тебя о нем. Ты погубишь и себя и его».

Кэт снова уснула. Она спала полчаса. Открыв глаза, она почувствовала себя лучше. И вдруг, хотя она и забы-

ла, что думала о Штирлице, вспомнилось совершенно отчетливо: 42-75-41.

— Скажите, — она тронула локтем юношу, который дремал, сидя рядом с ней, — скажите, здесь нет где-нибудь поблизости телефона?

— Что?! — спросил тот, испуганно вскочив на ноги.

— Тише, тише, — успокоила его Кэт. — Я спрашиваю: нет ли рядом телефона?

Видимо, девушка из гитлерюгенда услыхала шум. Она подошла к Кэт и спросила:

— Вам чем-нибудь помочь?

— Нет, нет, — ответила Кэт. — Нет, благодарю вас, все в порядке.

И в это время завыла сирена отбоя.

— Она спрашивала, где телефон, — сказал юноша.

— На станции метро, — сказала девушка. — Это рядом, за углом. Вы хотите позвонить к знакомым или родственникам?

— Да.

— Я могу посидеть с вашими малышами, а вы позвоните.

— Но у меня нет даже двадцати пфеннигов, чтобы опустить в автомат...

— Я выручу вас. Пожалуйста.

— Спасибо. Это недалеко?

— Две минуты.

— Если они начнут плакать...

— Я возьму их на руки, — улыбнулась девушка, — не беспокойтесь, пожалуйста.

Кэт выбралась из убежища. Метро было рядом. Лужицы возле открытого телефона-автомата искрились льдом. Луна была полной, голубой, радужной.

— Телефоны не работают, — сказал шуцман. — Взрывной волной испортило.

— А где же есть телефоны?

— На соседней станции... Что, очень надо позвонить?

— Очень.

— Пойдемте.

Шуцман спустился с Кэт в пустое здание метро, открыл дверь полицейской комнаты и, включив свет, кивнул головой на телефонный аппарат, стоявший на столе.

— Звоните, только, пожалуйста, быстро.

Кэт обошла стол, села в высокое кресло и набрала

номер 42-75-41. Это был номер Штирлица. Слушая гудки, она не сразу заметила свою большую фотографию, лежавшую под стеклом, возле типографски напечатанного списка телефонов. Шуцман стоял за ее спиной и курил.

АЛОГИЗМ ЛОГИКИ

Штирлиц сейчас ничего не видел, кроме шеи Мюллера. Сильная, аккуратно подстриженная, она почти без всякого изменения переходила в затылок. Штирлиц видел две поперечные складки, которые словно отчеркивали черепную коробку от тела — такого же, впрочем, сбитого, сильного, аккуратного, а потому бесконечно похожего на все тела и черепа, окружавшие Штирлица эти годы в Германии. Порой Штирлиц уставал от ненависти, которую он испытывал к людям, в чьем окружении ему приходилось работать последние двенадцать лет. Сначала это была ненависть осознанная, четкая: враг есть враг. Чем дальше он втягивался в механическую, повседневную работу аппарата СД, тем больше получал возможность видеть процесс изнутри, из святая святых диктатуры. И его первоначальное видение гитлеризма как единой, устремленной силы постепенно трансформировалось в полное непонимание происходящего: столь алогичны и преступны по отношению к народу были акции руководителей. Об этом говорили между собой не только люди Шелленберга или Канариса — об этом временами осмеливались говорить даже гестаповцы, сотрудники Геббельса и люди из рейхсканцелярии. Стоит ли так восстанавливать против себя весь мир арестами служителей церкви? Так ли необходимы издевательства в концлагерях? Разумны ли массовые казни евреев? Оправдано ли варварское обращение с военнопленными, особенно русскими? Эти вопросы задавали друг другу не только рядовые сотрудники аппарата, но и такие руководители, как Шелленберг, а в последние дни и Мюллер. Но, задавая друг другу подобные вопросы, понимая, сколь пагубна политика Гитлера, они тем не менее этой пагубной политике служили — аккуратно, исполнительно, а некоторые — виртуозно и в высшей мере изобретательно. Они превращали идеи фюрера и его ближайших помощников в реальную политику, в те зримые акции, по которым весь мир судил о рейхе.

Лишь только выверив свое убеждение в том, что политику рейха сплошь и рядом делают люди, критически

относящиеся к изначальным идеям этой политики, Штирлиц понял, что им овладела иная ненависть к этому государству — не та, что была раньше, а яростная, подчас слепая. В подоплеке этой слепой ненависти была любовь к народу, к немцам, среди которых он прожил эти долгие двенадцать лет. «Введение карточной системы? — В этом· виноваты Кремль, Черчилль и евреи. Отступили под Москвой? — В этом виновата русская зима. Разбиты под Сталинградом? — В этом повинны изменники-генералы. Разрушены Эссен, Гамбург и Киль? — В этом виноват вандал Рузвельт, идущий на поводу у американской плутократии». И народ верил этим ответам, которые ему готовили люди, не верившие ни в один из этих ответов. Цинизм был возведен в норму политической жизни, ложь стала необходимым атрибутом повседневности. Появилось некое новое, невиданное раньше понятие правдолжи, когда, глядя друг другу в глаза, люди, знающие правду, говорили один другому ложь, опять-таки точно понимая, что собеседник принимает эту необходимую ложь, соотнося ее с известной ему правдой. Штирлиц возненавидел тогда безжалостную французскую пословицу: «Каждый народ заслуживает своего правительства». Он рассуждал: «Это национализм навыворот. Это оправдание возможного рабства и злодейства. Чем виноват народ, доведенный Версалем до голода, нужды и отчаяния? Голод рождает своих «трибунов» — Гитлера и всю остальную банду».

Штирлиц одно время сам боялся этой своей глухой, тяжелой ненависти к «коллегам». Среди них было немало наблюдательных и острых людей, которые умели смотреть в глаза и понимать молчание.

Он благодарил Бога, что вовремя «замотивировал» болезнь глаз, и поэтому почти все время ходил в дымчатых очках, хотя поначалу ломило в висках и раскалывалась голова — зрение-то у него было отменное.

«Да, верно, — думал Штирлиц. — Гитлеры приходят и уходят, а немцы остаются. Но что с ними будет, когда уйдет Гитлер? Нельзя же надеяться на танки — наши и американские, которые не позволят возродить нацизм в Германии? Ждать, пока вымрет поколение моих «товарищей» — и по работе, и по возрасту? Вымирая, это поколение успеет растлить молодежь, детей своих, бациллами оправданной лжи и вдавленного в сердца и головы страха. Выбить поколение? Кровь рождает новую кровь. Немцам нужно дать гарантии. Они должны на-

учиться пользоваться свободой. А это, видимо, самое сложное: научить народ, целый народ, пользоваться самым дорогим, что отпущено каждому, — свободой, которую надежно гарантирует закон...»

Одно время Штирлицу казалось, что массовое глухое недовольство аппарата при абсолютной слепоте народа, с одной стороны, и фюрера — с другой, вот-вот обернется путчем партийной и военной бюрократии. Этого не случилось, потому что каждая из этих групп бюрократов преследовала свои интересы, свои личностные выгоды, свои маленькие цели. Как и фюрер, Гиммлер, Борман, они клялись рейхом и германской нацией, но интересовали их только они сами, только собственное «я»; чем дальше они отрывались от интересов и нужд простых людей, тем больше эти нужды и интересы становились для них абстрактными понятиями. И чем дольше «народ безмолвствовал», тем чаще Штирлиц слышал от своих «коллег»: «Каждая нация заслуживает своего правительства». Причем говорилось об этом с юмором, спокойно, временами издевательски.

«Временщики — они живут своей минутой, а не днем народа. Нет, — думал Штирлиц, — никакого путча они не устроят. Не люди они, а мыши. И погибнут, как мыши, — каждый в своей норе...»

...Мюллер, сидевший в любимом кресле Штирлица, возле камина, спросил:

— А где разговор о шофере?

— Не уместился. Я же не мог остановить Бормана: «Одну минуту, я перемотаю пленку, партайгеноссе Борман!» Я сказал ему, что мне удалось установить, будто вы, именно вы, приложили максимум усилий для спасения жизни шофера.

— Что он ответил?

— Он сказал, что шофер, вероятно, сломлен после пыток в подвалах и он больше не может ему верить. Этот вопрос его не очень интересовал. Так что у вас развязаны руки, обергруппенфюрер. На всякий случай подержите шофера у себя, и пусть его как следует покормят. А там видно будет.

— Вы думаете, им больше не будут интересоваться?

— Кто?

— Борман.

— Смысл? Шофер — отработанный материал. На всякий случай, я бы подержал его. А вот где русская

«пианистка»? Она бы сейчас очень нам пригодилась. Как там у нее дела? Ее уже привезли из госпиталя?

— Каким образом она могла бы нам пригодиться? То, что ей надлежит делать в радиоигре, она будет делать, но...

— Это верно, — согласился Штирлиц. — Это, бесспорно, очень все верно. Но только представьте себе, если бы удалось каким-то образом связать ее с Вольфом в Швейцарии. Нет?

— Утопия.

— Может быть. Просто я позволяю себе фантазировать.

— Да и потом, вообще...

— Что?

— Ничего, — остановил себя Мюллер, — просто я анализировал ваше предложение. Я перевез ее в другое место, пусть с ней работает Рольф.

— Он перестарался?

— Да... Несколько перестарался...

— И поэтому его убили? — негромко спросил Штирлиц. Он узнал об этом, когда шел по коридорам гестапо, направляясь на встречу с Борманом.

— Это — мое дело, Штирлиц. Давайте уговоримся: то, что вам надо знать, — вы от меня знать будете. Я не люблю, когда подсматривают в замочную скважину.

— С какой стороны? — спросил Штирлиц жестко. — Я не люблю, когда меня держат за болвана в старом польском преферансе. Я игрок, а не болван.

— Всегда? — улыбнулся Мюллер.

— Почти.

— Ладно. Обговорим и это. А сейчас давайте-ка прослушаем еще раз этот кусочек...

Мюллер нажал кнопку «стоп», оборвавшую слова Бормана, и попросил:

— Отмотайте метров двадцать.

— Пожалуйста. Я заварю еще кофе?

— Заварите.

— Коньяку?

— Я его терпеть не могу, честно говоря. Вообще-то я пью водку. Коньяк ведь с дубильными веществами, это для сосудов плохо. А водка просто греет, настоящая крестьянская водка.

— Вы хотите записать текст?

— Не надо. Я запомню. Тут любопытные повороты...

Штирлиц включил диктофон.

«Б о р м а н. Знает ли Даллес, что Вольф представляет Гиммлера?

Ш т и р л и ц. Думаю, что догадывается.

Б о р м а н. «Думаю» — в данном случае не ответ. Если бы я получил точные доказательства, что он расценивает Вольфа как представителя Гиммлера, тогда можно было бы всерьез говорить о близком развале коалиции. Возможно, они согласятся иметь дело с рейхсфюрером, тогда мне необходимо получить запись их беседы. Сможете ли вы добыть такую пленку?

Ш т и р л и ц. Сначала надо получить от Вольфа уверения в том, что он выступает как эмиссар Гиммлера.

Б о р м а н. Почему вы думаете, что он не дал таких заверений Даллесу?

Ш т и р л и ц. Я не знаю. Просто я высказываю предположение. Пропаганда врагов третирует рейхсфюрера, они считают его исчадием ада. Они, скорее всего, постараются обойти вопрос о том, кого представляет Вольф. Главное, что их будет интересовать, — кого он представляет в плане военной силы.

Б о р м а н. Мне надо, чтобы они узнали, кого он представляет, от самого Вольфа. Именно от Вольфа... Или, в крайнем случае, от вас...

Ш т и р л и ц. Смысл?

Б о р м а н. Смысл? Смысл очень большой, Штирлиц. Поверьте мне, очень большой.

Ш т и р л и ц. Чтобы проводить операцию, мне надо понимать ее изначальный замысел. Этого можно было бы избежать, если бы я работал вместе с целой группой, когда каждый приносит шефу что-то свое и из этого обилия материалов складывается точная картина. Тогда мне не следовало бы знать генеральную задачу: я бы выполнял свое задание, отрабатывал свой узел. К сожалению, мы лишены такой возможности.

Б о р м а н. Как вы думаете, обрадуется Сталин, если позволить ему узнать о том, что западные союзники ведут переговоры не с кем-то, а именно с вождем СС Гиммлером? Не с группой генералов, которые хотят капитулировать, не с подонком Риббентропом, который совершенно разложился и полностью деморализован, но с человеком, который сможет из Германии сделать стальной барьер против большевизма?

Ш т и р л и ц. Я думаю, Сталин рассвирепеет, узнав об этом.

Б о р м а н. Сталин не поверит, если об этом ему со-

общу я. А что, если об этом ему сообщит враг национал-социализма? Например, ваш пастор? Или кто-либо еще...

Ш т и р л и ц. Вероятно, кандидатуры следует согласовать с Мюллером. Он может подобрать и устроить побег стóящему человеку.

Б о р м а н. Мюллер то и дело старается сделать мне любезность.

Ш т и р л и ц. Насколько мне известно, его положение крайне сложное: он не может играть ва-банк, как я, — он слишком заметная фигура. И потом, он подчиняется непосредственно Гиммлеру. Если понять эту сложность, я думаю, вы согласитесь, что никто иной, кроме него, не выполнит эту задачу, в том случае, если он почувствует вашу поддержку.

Б о р м а н. Да, да... Об этом — потом. Это — деталь. О главном: ваша задача — не срывать переговоры, а помогать переговорам. Ваша задача — не затушевывать связь бернских заговорщиков с Гиммлером, а выявлять эту связь. Выявлять в такой мере, чтобы скомпрометировать ею Гиммлера в глазах фюрера, Даллеса — в глазах Сталина, Вольфа — в глазах Гиммлера.

Ш т и р л и ц. Если мне понадобится практическая помощь, с кем мне можно контактировать?

Б о р м а н. Выполняйте все приказы Шелленберга, это — залог успеха. Не обходите посольство, это их будет раздражать: советник по партии будет знать о вас.

Ш т и р л и ц. Я понимаю. Но, возможно, мне понадобится помощь против Шелленберга. Эту помощь мне может оказать только один человек — Мюллер. В какой мере я могу опираться на него?

Б о р м а н. Я не очень верю слишком преданным людям. Я люблю молчунов...»

В это время зазвонил телефон. Штирлиц заметил, как Мюллер вздрогнул.

— Простите, обергруппенфюрер, — сказал он и снял трубку: — Штирлиц...

И он услыхал в трубке голос Кэт.

— Это я, — сказал она. — Я...

— Да! — ответил Штирлиц. — Слушаю вас, партайгеноссе. Где вас ждать?

— Это я, — повторила Кэт.

— Как лучше подъехать? — снова помогая ей, сказал Штирлиц, указывая Мюллеру пальцем на диктофон, — мол, Борман.

— Я в метро... Я в полиции...
— Как? Понимаю. Слушаю вас. Куда мне подъехать?
— Я зашла позвонить в метро...
— Где это?

Он выслушал адрес, который назвала Кэт, потом еще раз повторил: «Да, партайгеноссе» — и положил трубку. Времени для раздумья не было. Если его телефон продолжали слушать, то данные Мюллер получит лишь под утро. Хотя, скорее всего, Мюллер снял прослушивание: он достаточно много сказал Штирлицу, чтобы опасаться его. Там видно будет, что предпринять дальше. Главное — вывезти Кэт. Он уже знает многое, остальное можно додумать. Теперь — Кэт.

Она осторожно опустила трубку и взяла свой берет, которым накрыла то место на столе, где под стеклом лежало ее фото. Шуцман по-прежнему не смотрел на нее. Она шла к двери, словно неживая, опасаясь окрика за спиной. Но люди из гестапо уведомили полицию, что хватать следует женщину молодую, двадцати пяти лет, с ребенком на руках. А тут была седая баба лет сорока, и детей у нее на руках не было, а то, что глаза похожи, — так сколько таких похожих глаз в мире?

— Может, вы подождете меня, обергруппенфюрер?
— А Шольц побежит докладывать Гиммлеру, что я отсутствовал неизвестно где больше трех часов? В связи с чем этот звонок? Вы не говорили мне о том, что он должен звонить...
— Вы слышали — он просил срочно приехать...
— Сразу после беседы с ним — ко мне.
— Вы считаете, что Шольц работает против вас?
— Боюсь, что начал. Он глуп, я всегда держал исполнительных и глупых секретарей. Но оказывается, они хороши в дни побед, а на грани краха они начинают метаться, стараясь спасти себя. Дурачок, он думает, что я хочу погибнуть героем... А рейхсфюрер хорош: он так конспирирует свои поиски мира, что даже мой Шольц смог понять это... Шольца не будет: дежурит какой-то фанатичный мальчик — он к тому же пишет стихи...

Через полчаса Штирлиц посадил в машину Кэт. Еще полчаса он мотался по городу, наблюдая, нет ли за ним

хвоста, и слушал Кэт, которая плача рассказывала ему о том, что случилось с ней сегодня. Слушая ее, он старался разгадать, было ли ее поразительное освобождение частью дьявольской игры Мюллера или произошел тот случай, который известен каждому разведчику и который бывает только раз в жизни.

Он мотался по городу, потом поехал по дорогам, окружавшим Берлин. В машине было тепло, Кэт сидела рядом, а дети спали у нее на коленях, и Штирлиц продолжал рассуждать: «Попадись я теперь, если Мюллер все-таки получил данные о разговоре с женщиной, а не с Борманом, я провалю все. И у меня уже не будет возможности сорвать игру Гиммлера в Берне. А это обидно, ибо я теперь возле цели».

Штирлиц затормозил возле дорожного указателя: до Рубинерканала было три километра. Отсюда можно добраться до Бабельсберга через Потсдам.

«Нет, — решил Штирлиц. — Судя по тому, как были перепутаны местами чашки на кухне, днем у меня сидели люди Мюллера. Кто знает, может быть, — для моей же «безопасности» — они вернутся туда по указанию Мюллера, особенно после этого звонка».

— Девочка, — сказал он, резко затормозив, — перебирайся назад.

— А что случилось?

— Ничего не случилось. Все в порядке, маленькая. Теперь все в полном порядке. Теперь мы с тобой победители. Нет? Закрой окна синими шторками и спи. Печку я не буду выключать. Я запру тебя — в моей машине тебя никто не тронет.

— А куда мы едем?

— Недалеко, — ответил Штирлиц. — Не очень далеко. Спи спокойно. Тебе надо отоспаться — завтра будет очень много хлопот и волнений...

— Каких волнений? — спросила Кэт, усаживаясь удобнее на заднем сиденье.

— Приятных, — ответил Штирлиц и подумал: «С ней будет очень трудно. У нее шок, и в этом ее винить нельзя».

Он остановил машину, не доезжая трех домов до особняка Вальтера Шелленберга.

«Только бы он был дома, — повторял, как заклинание, Штирлиц, — только бы он не уехал к Гиммлеру в Науэн или в Хохенлихен к Гебхардту, только бы он был дома».

Шелленберг был дома.

— Бригадефюрер, — сказал Штирлиц, не раздеваясь. Он присел на краешек стула напротив Шелленберга, который был в теплом халате и в шлепанцах, надетых на босу ногу. Штирлиц отметил для себя — совершенно непроизвольно, — какая у него нежная матовая кожа на щиколотках. — Мюллер что-то знает о миссии Вольфа в Швейцарии.

— Вы с ума сошли, — сказал Шелленберг, — этого не может быть...

— Мюллер мне предложил на него работать.

— А почему это Мюллер предложил именно вам?

— Наверное, его люди вышли на пастора; это наше спасение, и я должен ехать в Берн. Я стану вести пастора, а вы должны дезавуировать Вольфа.

— Поезжайте в Берн, немедленно...

— А документы? Или воспользоваться «окном»?

— Это глупо. Вас схватят швейцарские контрразведчики, им надо выслуживаться перед американцами и красными в конце драки. Нет, поезжайте к нам и выберите себе надежные документы. Я позвоню.

— Не надо. Напишите.

— У вас есть перо?

— Лучше, если вы сделаете это своим.

Шелленберг потер лицо ладонями и сказал, заставив себя рассмеяться:

— Я еще не проснулся — вот в чем дело.

14.3.1945 (06 часов 32 минуты)

Штирлиц гнал машину к границе, имея в кармане два паспорта: на себя и на свою жену фрау Ингрид фон Кирштайн.

Когда пограничный шлагбаум Германии остался позади, он обернулся к Кэт и сказал:

— Ну вот, девочка. Считай, что все.

Здесь, в Швейцарии, небо было ослепительное и высокое. В нескольких десятках метров за спиной небо было такое же бездонное, и так же в нем угадывался размытый утренним светом желтый диск луны, и так же в этом желто-голубом небе стыли жаворонки, и так же оно было прекрасно — но это было небо Германии, где каждую минуту могли показаться белые, ослепительно красивые самолеты союзников, и от них каждую секунду могли отделиться бомбы, и бомбы эти, несшие смерть

земле, в первое мгновение — в лучах солнца — казались бы алюминиево-белыми, и казалось бы тем, кто, затаившись на земле, наблюдал за ними, что падают они точно в переносицу и потом лишь исчезают, прежде чем подняться фонтаном черной весенней придорожной хляби, поскольку скорость, сообщенная им смертоносной массой, вырывала их из поля видения человеческого глаза — пока еще живого, но уже беспомощного, обреченного...

Штирлиц гнал машину в Берн. Проезжая маленький городок, он притормозил у светофора: мимо шли дети и жевали бутерброды. Кэт заплакала.

— Что ты? — спросил Штирлиц.

— Ничего, — ответила она, — просто я увидела мир, а он его никогда не увидит...

— Зато для маленького все страшное теперь кончилось, — повторил Штирлиц, — и для девочки тоже...

Ему хотелось сказать Кэт что-то очень нежное и тихое, он не знал, как это, переполнявшее его, выразить словами. Сколько раз он произносил такие нежные, тихие, трепетные слова про себя — Сашеньке... Непроизнесенное слово, повторяемое многократно, обязано либо стать стихом, либо умереть, превратившись в невзрываемый, внутренний, постоянно ощущаемый груз.

— Надо думать только о будущем, — сказал Штирлиц и сразу же понял, какую неуклюжую и совсем ненужную фразу сказал он.

— Без прошлого нет будущего, — ответила Кэт и вытерла глаза, — прости меня... Я знаю, как это тяжело — утешать плачущую женщину...

— Ничего... Плачь... Главное, теперь все для нас кончено, все — позади...

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ

Он ошибся. Встретившись в Берне с пастором Шлагом, он понял, что ничего еще не кончилось. Наоборот, он понял: все еще только начинается. Он понял это, познакомившись с записью беседы, состоявшейся между Даллесом и агентом СС принцем фон Гогенлоэ еще в сорок третьем году. Эту запись пастор получил через людей бывшего канцлера Брюнинга. Враги говорили как друзья, и внимание их было сосредоточено, в частности, на «русской опасности».

Алексу. В дополнение к отправленным материалам о переговорах Даллес — Вольф.

Препровождая при сем копию беседы Даллеса с полковником СС князем Гогенлоэ, считаю необходимым высказать следующие соображения:

1. Как мне кажется, Даллес не информирует полностью свое правительство о контактах с СС. Видимо, он информирует свое правительство о контактах с «противниками» Гитлера. К таким ни Гогенлоэ, ни Вольф не относятся.

2. Рузвельт неоднократно заявлял о том, что цель Америки, как и всех участников антигитлеровской коалиции, — безоговорочная капитуляция Германии. Однако Даллес, как это явствует из записи беседы, говорил о компромиссе, даже о сохранении определенных институтов гитлеризма.

3. Всякая коалиция предполагает честность участников союза по отношению друг к другу. Допуская на минуту мысль, что Даллес прощупывал немцев, ведя подобного рода беседу, я вынужден опровергнуть себя, поскольку всякому разведчику будет очевидна выгода немцев и проигрыш Даллеса: то есть немцы узнали больше о позиции Америки, чем Даллес о позициях и намерениях Гитлера.

4. Я допустил также мысль, что разведчик Даллес начал «провокацию» с немцами. Но в прессе Швейцарии его открыто называют личным представителем президента. Может ли это быть, чтобы «провокацию» организовывал человек, являющийся личным представителем Рузвельта?

Вывод: либо определенные круги Запада начали вести двойную игру, либо Даллес близок к предательству интересов США как одного из членов антигитлеровской коалиции.

Рекомендация: необходимо дать знать союзникам, что наша сторона информирована о переговорах, происходящих в Швейцарии. Рассчитываю в ближайшее же время передать через налаженную связь новые подробности бесед, которые имеют здесь место между Вольфом и Даллесом. Впрочем, я бы не считал это беседами — в том плане, какой известен дипломатии. Я бы называл это сепаратными переговорами. Ситуация сложилась критическая и необходимы

срочные меры, которые позволят спасти антигитлеровскую коалицию от провокаций, возможно в конечном счете двусторонних. *Юстас.*

После того как это экстренное донесение было отправлено в Центр, Штирлиц уехал к озеру — в тишину и одиночество. Ему было сейчас, как никогда, плохо; он чувствовал себя опустошенным, обобранным.

Он-то помнил, какое страшное ощущение пережил в сорок первом году 22 июня — весь тот день, пока молчал Лондон. И он помнил, какое громадное облегчение испытал он, услышав речь Черчилля. Несмотря на самые тяжелые испытания, выпавшие на долю Родины летом сорок первого года, Штирлиц был убежден, причем отнюдь не фанатично, но логически выверенно, в том, что победа — как бы ни был труден путь к ней — неминуема. Ни одна держава не выдерживала войны на два фронта.

Последовательность целей — удел гения, действия которого подчинены логике. А бесконтрольная маниакальность фюрера, жившего в мире созданных им иллюзий, обрекла германскую нацию на трагедию.

Вернувшись из Кракова, Штирлиц был на приеме в румынском посольстве. Обстановка торжественная; лица гостей светились весельем, тускло мерцали тяжелые ордена генералов, искрилось сладковатое румынское вино, сделанное по рецептам Шампани, произносились торжественные речи, в которых утверждалась непобедимость германо-румынского военного содружества, а Штирлиц чувствовал себя здесь словно в дешевом балагане, где люди, дорвавшиеся до власти, разыгрывают феерию жизни, не чувствуя, что сами-то они уже нереальны и обречены. Штирлиц считал, что Германия, зажатая между Советским Союзом и Великобританией, а в недалеком будущем и Штатами — Штирлиц верил в это, — подписала себе смертный приговор.

Для Штирлица было едино горе Минска, Бабьего Яра или Ковентри: те, кто сражался против гитлеризма, были для него братьями по оружию. Дважды — на свой страх и риск — он спасал английских разведчиков в Голландии и Бельгии без всяких на то указаний или просьб. Он спасал своих товарищей по борьбе, он просто-напросто выполнял свой солдатский долг.

Он испытывал гордость за ребят Эйзенхауэра и

Монтгомери, когда они пересекли Ла-Манш и спасли Париж; он был счастлив, когда Москва пришла на помощь союзникам во время гитлеровского наступления в Арденнах. Он верил, что теперь этот наш громадный и крохотный мир, уставший от войн, предательств, смертей и вражды, наконец обретет долгий и спокойный мир и дети забудут картонное шуршание светомаскировок, а взрослые — маленькие гробики.

Штирлиц не хотел верить в возможность сепаратного сговора гитлеровцев с союзниками, в каком бы виде он ни выражался, до тех пор, пока сам лицом к лицу не столкнулся с этим заговором.

Штирлиц мог понять, что толкало к этому сговору Шелленберга и всех, кто был за ним: спасение жизней, страх перед ответственностью — и все эти чисто личные мотивы маскировались высокими словами о спасении западной цивилизации и противостоянии большевистским ордам. Все это Штирлиц понимал и считал действия Шелленберга разумными и единственно для нацистов возможными. Но он не мог понять, сколько ни старался быть объективным, позицию Даллеса, который самим фактом переговоров заносил руку на единство союзников.

«А если Даллес не политик и даже не политикан? — продолжал рассуждать Штирлиц. Он сидел на скамейке возле озера, сгорбившись, надвинув на глаза кепи, острее, чем обычно, ощущая свое одиночество. — А что, если он попросту рисковый игрок? Можно, конечно, не любить Россию и бояться большевиков, но ведь он обязан понимать, что сталкивать Америку с нами — это значит обрекать мир на такую страшную войну, какой еще не было в истории человечества. Неужели зоологизм ненависти так силен в людях того поколения, что они смотрят на мир глазами застаревших представлений? Неужели дряхлые политиканы и старые разведчики смогут столкнуть лбами нас с американцами?»

Штирлиц поднялся — ветер с озера был пронизывающий; он почувствовал озноб и вернулся в машину.

Он поехал в пансионат «Вирджиния», где остановился профессор Плейшнер; тот написал об этом в открытке: «Вирджинский табак здесь отменно хорош». В «Вирджинии» было пусто: почти все постояльцы уехали в горы. Кончался лыжный сезон, загар был в эти недели каким-то особенным, красно-бронзовым, и долго держался, поэтому все имевшие мало-мальскую возможность отправлялись в горы: там еще лежал снег.

— Могу я передать профессору из Швеции, я запамятовал его имя, несколько книг? — спросил он портье.

— Профессор из Швеции сиганул из окна и умер.

— Когда?

— Третьего дня, кажется, утром. Пошел такой, знаете ли, веселый и — не вернулся.

— Какая жалость!.. А мой друг, тоже ученый, просил передать ему книги. И забрать те, которые были у профессора.

— Позвоните в полицию. Там все его вещи. Они отдадут ваши книги.

— Спасибо, — ответил Штирлиц, — я так и сделаю.

Он проехал по улице, где находилась явка. На окне стоял цветок — сигнал тревоги. Штирлиц все понял. «А я считал его трусом», — вспомнил он. Он вдруг представил себе, как профессор выбросился из окна — маленький, тщедушный и тихий человек. Он подумал: какой же ужас испытал он в свои последние секунды, если решился покончить с собой здесь, на свободе, вырвавшись из Германии. Конечно, за ним шло гестапо. Или они устроили ему самоубийство, поняв, что он будет молчать?..

15.3.1945 (18 часов 19 минут)

Как только Кэт с детьми уснула в номере отеля, Штирлиц, приняв две таблетки кофеина, — он почти совсем не спал эти дни — поехал, предварительно созвонившись, на встречу с пастором Шлагом.

Пастор спросил:

— Утром я не смел говорить о своих. А теперь я не могу не говорить о них: что с сестрой?

— Вы помните ее почерк?

— Конечно.

Он протянул пастору конверт. Шлаг прочитал маленькую записку: «Дорогой брат, спасибо за ту великодушную заботу, которую ты о нас проявил. Мы теперь живем в горах и не знаем, что такое ужас бомбежек. Мы живем в крестьянской семье, дети помогают ухаживать за коровами; мы сыты и чувствуем себя в полной безопасности. Молим Бога, чтобы несчастья, обрушившиеся на твою голову, скорее кончились. Твоя Анна».

— Какие несчастья? — спросил пастор. — О чем она?

— Мне пришлось сказать ей, что вы арестованы... Я был у нее не как Штирлиц, но как ваш прихожанин. Здесь адрес: когда все кончится, вы их найдете. Вот

фотография — это вас должно убедить окончательно.

Штирлиц протянул пастору маленькое контактное фото: он сделал несколько кадров в горах, но было пасмурно, поэтому качество снимка было довольно посредственным. Пастор долго рассматривал фото, а после сказал:

— В общем-то я верю вам даже и без этой фотографии. Что вы так осунулись?

— Бог его знает. Устал несколько. Ну? Какие еще новости?

— Новости есть, а вот дать им оценку я не в силах. Либо надо перестать верить всему миру, либо надо сделаться циником. Американцы начали переговоры с СС. Они поверили Гиммлеру.

— Какими вы располагаете данными? От кого вы их получили? Какие у вас есть документы? В противном случае, если вы пользуетесь лишь одними слухами, мы можем оказаться жертвами умело подстроенной лжи.

— Увы, — ответил пастор, — я бы очень хотел верить, что американцы не ведут переговоров с людьми Гиммлера. Но вы читали то, что я уже передал вам. А теперь это... — и он протянул Штирлицу несколько листков бумаги, исписанных убористым, округлым почерком.

«Вольф. Здравствуйте, господа.

Голоса. Здравствуйте, добрый день.

Даллес. Мои коллеги прибыли сюда для того, чтобы возглавить переговоры.

Вольф. Очень рад, что наши переговоры пойдут в столь представительном варианте.

Геверниц. Это сложно перевести на английский — «представительный вариант»...

Вольф *(смеясь)*. Я смог установить хотя бы, что господин Геверниц на этой встрече исполняет роль переводчика...

Даллес. Я думаю, пока что нет нужды называть подлинные имена моих коллег. Однако могу сказать, что и на меня, и на моих друзей произвело самое благоприятное впечатление то обстоятельство, что высший чин СС, начав переговоры с противником, не выдвигает никаких личных требований.

Вольф. Мои личные требования — мир для немцев.

Незнакомый голос. Это ответ солдата!

Даллес. Что нового произошло у вас за это время?

Вольф. Кессельринг вызван в ставку фюрера. Это самая неприятная новость.

Даллес. Вы предполагаете...

Вольф. Я не жду ничего хорошего от срочных вызовов в ставку фюрера.

Даллес. А по нашим данным, Кессельринг отозван в Берлин для того, чтобы получить новое назначение: командующим западным фронтом.

Вольф. Я слышал об этом, но данные пока что не подтвердились.

Даллес. Подтвердятся. В самое ближайшее время.

Вольф. В таком случае, может быть, вы назовете мне преемника Кессельринга?

Даллес. Да. Я могу назвать его преемника. Это генерал-полковник Виттинхоф.

Вольф. Я знаю этого человека.

Даллес. Ваше мнение о нем?

Вольф. Исполнительный служака.

Даллес. По-моему, ныне такую характеристику можно дать подавляющему большинству генералов вермахта.

Вольф. Даже Беку и Роммелю?

Даллес. Это были истинные патриоты Германии.

Вольф. Во всяком случае, у меня прямых контактов с генералом Виттинхофом не было.

Даллес. А у Кессельринга?

Вольф. Как заместитель Геринга по люфтваффе, фельдмаршал имел прямой контакт почти со всеми военачальниками ранга Виттинхофа.

Даллес. А как бы вы отнеслись к нашему предложению отправиться к Кессельрингу и попросить его капитулировать на западном фронте, предварительно получив согласие Виттинхофа на одновременную капитуляцию в Италии?

Вольф. Это рискованный шаг.

Даллес. Разве мы все не рискуем?

Незнакомый голос. Во всяком случае, ваш контакт с Кессельрингом на западном фронте помог бы составить ясную и конкретную картину: пойдет он на капитуляцию или нет.

Вольф. Он согласился на это в Италии, почему он изменит свое решение там?

Даллес. Когда вы сможете посетить его на западном фронте?

Вольф. Меня вызывали в Берлин, но я отложил поездку, поскольку мы условились о встрече...

Даллес. Следовательно, вы можете вылететь в Берлин сразу же по возвращении в Италию?

Вольф. Да. В принципе это возможно... Но...

Даллес. Я понимаю вас. Действительно, вы очень рискуете, вероятно, значительно больше всех нас. Однако иного выхода в создавшейся ситуации я не вижу.

Незнакомый голос. Выход есть.

Геверниц. Вы инициатор переговоров, но вы, вероятно, пользуетесь определенной поддержкой в Берлине. Это позволит вам найти повод для визита к Кессельрингу.

Даллес. Если прежде всего вас волнует судьба Германии, то в данном случае она, в определенной мере, находится в наших руках.

Вольф. Конечно, этот довод не может оставить меня равнодушным.

Даллес. Можно считать, что вы отправитесь на западный фронт к Кессельрингу?

Вольф. Да.

Даллес. И вам кажется возможным склонить Кессельринга к капитуляции?

Вольф. Я убежден в этом.

Даллес. Следовательно, генерал Виттинхоф последует его примеру?

Вольф. После того, как я вернусь в Италию.

Геверниц. И в случае каких-либо колебаний Виттинхофа вы сможете повлиять на события здесь?

Вольф. Да. Естественно, в случае надобности вам будет необходимо встретиться с генералом Виттинхофом: здесь или в Италии.

Даллес. Если вам покажется это целесообразным, мы пойдем на такой контакт с Виттинхофом. Когда можно ждать вашего возвращения от Кессельринга?

Вольф. Я стучу по дереву.

Даллес. Я стучу по дереву.

Незнакомый голос. Мы стучим по дереву.

Вольф. Если все будет хорошо, я вернусь через неделю и привезу вам и Виттинхофу точную дату капитуляции войск рейха на западе. К этому часу капитулирует наша группа в Италии.

Геверниц. Скажите, сколько заключенных томятся в ваших концлагерях?

В о л ь ф. В концлагерях рейха в Италии находятся несколько десятков тысяч человек.

Д а л л е с. Что с ними должно произойти в ближайшем будущем?

В о л ь ф. Поступил приказ уничтожить их.

Г е в е р н и ц. Этот приказ может быть приведен в исполнение за время вашего отсутствия?

В о л ь ф. Да.

Д а л л е с. Можно предпринять какие-то шаги, чтобы не допустить исполнения этого приказа?

В о л ь ф. Полковник Дольман останется вместо меня. Я верю ему, как себе. Даю вам слово джентльмена, что этот приказ исполнен не будет.

Г е в е р н и ц. Господа, пойдемте на террасу, я вижу, готов стол. Там будет приятнее продолжать беседу, здесь слишком душно...»

16.3.1945 (23 часа 28 минут)

Ночью Кэт с детьми уезжала в Париж. Вокзал был пустынный, тихий. Лил дождь. Сонно попыхивал паровоз. В мокром асфальте расплывчато змеились отражения фонарей. Кэт все время плакала, потому что только сейчас, когда спало страшное напряжение этих дней, в глазах ее, не исчезая ни на минуту, стоял Эрвин. Он виделся ей все время одним и тем же: в углу за радиолами, которые он так любил чинить в те дни, когда у него не было сеансов радиосвязи с Москвой...

Штирлиц сидел в маленьком вокзальном кафе возле большого стеклянного окна: отсюда ему был виден весь состав.

— Месье? — спросила толстая улыбчивая официантка.

— Сметаны, пожалуйста, и чашку кофе.

— С молоком?

— Нет, я бы выпил черный кофе.

Официантка принесла ему кофе и взбитую сметану.

— Знаете, — сказал Штирлиц, виновато улыбнувшись, — я не ем взбитую сметану. Это у меня с детства. Я просил обыкновенную сметану, просто полстакана сметаны.

Официантка сказала:

— О, простите, месье...

Она открыла прейскурант и быстро полистала его.

— У нас сметана восьми сортов, есть и взбитая, и

с вареньем, и с сыром, а вот простой сметаны у нас нет. Пожалуйста, простите меня. Я пойду к повару и попрошу его придумать что-нибудь для вас. У нас не едят простую сметану, но я постараюсь что-нибудь сделать...

«У них не едят простую сметану, — подумал Штирлиц. — А у нас мечтают о простой корке хлеба. А здесь нейтралитет: восемь сортов сметаны, предпочитают взбитую. Как, наверно, хорошо, когда нейтралитет. И для человека, и для государства... Только когда пройдут годы, вдруг до тебя дойдет, что, пока ты хранил нейтралитет и ел взбитую сметану, главное-то прошло мимо. Нет, это страшно: всегда хранить нейтралитет. Какой, к черту, нейтралитет? Если бы мы не сломили Гитлера под Сталинградом, он бы оккупировал эту Швейцарию — и тю-тю нейтралитет вместе со взбитой сметаной».

— Месье, вот простая сметана. Она будет стоить несколько дороже, потому что такой нет в прейскуранте.

Штирлиц вдруг засмеялся.

— Хорошо, — сказал он. — Это не важно. Спасибо вам.

Поезд медленно тронулся. Он смотрел во все окна, но лица Кэт так и не увидел: наверное, она забилась в купе, как мышка, со своими малышами.

Он проводил глазами ушедший состав и поднялся из-за стола. Сметану он так и не съел, а кофе выпил.

Молотов вызвал посла Великобритании сэра Арчибальда Кэрра в Кремль к восьми часам вечера. Молотов не стал приглашать посла США Гарримана, зная, что Кэрр — опытный кадровый разведчик и вести с ним разговор можно будет без той доли излишней эмоциональности, которую обычно вносил Гарриман.

Трижды сдавив большим и указательным пальцами картонный мундштук «Казбека», Молотов закурил: он слыл заядлым курильщиком, хотя никогда не затягивался. Он был подчеркнуто сух с Кэрром, и острые темные глаза его поблескивали из-под стекол пенсне хмуро и настороженно. Беседа была короткой: Кэрр, просмотрев ноту, переданную ему переводчиком наркома Павловым, сказал, что он незамедлительно доведет ее текст до сведения правительства его величества.

Подтверждая получение Вашего письма... по поводу переговоров в Берне между германским генералом Вольфом и офицерами из штаба

фельдмаршала Александера, я должен сказать, что Советское правительство в данном деле видит не недоразумение, а нечто худшее.

Из Вашего письма от 12 марта, как и приложенной к нему телеграммы от 11 марта фельдмаршала Александера Объединенному штабу, видно, что германский генерал Вольф и сопровождающие его лица прибыли в Берн для ведения с представителями англо-американского командования переговоров о капитуляции немецких войск в Северной Италии. Когда Советское правительство заявило о необходимости участия в этих переговорах представителей советского военного командования, Советское правительство получило в этом отказ.

Таким образом, в Берне в течение двух недель за спиной Советского Союза, несущего на себе основную тяжесть войны против Германии, ведутся переговоры между представителями германского военного командования, с одной стороны, и представителями английского и американского командования — с другой. Советское правительство считает это совершенно недопустимым...

В. Молотов.

Реакция Бормана на донесение Штирлица о подробностях переговоров Вольфа и Даллеса была неожиданной: он испытывал мстительное чувство радости. Аналитик, он сумел понять, что его радость была похожа на ту, которая свойственна завистливым стареющим женщинам.

Борман верил в психотерапию. Он почти никогда не принимал лекарств. Он раздевался донага, заставлял себя входить в состояние транса и устремлял заряд воли на больную часть организма. Он вылечивал фуникулярную ангину за день, простуду переносил на ногах; он умел лечить зависть, переламывать в себе тоску — никто и не знал, что он в юности был подвержен страшным приступам ипохондрии. Так же он умел лечить и такую вот, остро вспыхнувшую в нем, недостойную радость.

— Это Борман, — сказал рейхсляйтер в трубку, — здравствуйте, Кальтенбруннер. Я прошу вас приехать ко мне — незамедлительно.

«Да, — продолжал думать Борман, — действовать надо осторожно, через Кальтенбруннера. И Кальтенбруннеру я ничего не скажу. Я только попрошу его повторно вызвать Вольфа в Берлин; я скажу Кальтенбруннеру, что Вольф, по моим сведениям, изменяет делу рейхсфюрера. Я попрошу его ничего не передавать моему другу Гиммлеру, чтобы не травмировать его попусту. Я прикажу Кальтенбруннеру взять Вольфа под арест и выбить из него правду. А уже после того как Вольф даст показания и они будут запротоколированы и положены лично Кальтенбруннером на мой стол, я покажу это фюреру, и Гиммлеру придет конец. И тогда я останусь один возле Гитлера. Геббельс — истерик, он не в счет, да и потом, он не знает того, что знаю я. У него много идей, но нет денег. А у меня останутся их идеи и деньги партии. Я не повторю их ошибок — и я буду победителем».

Как и всякий аппаратчик, проработавший «под фюрером» много лет, Борман в своих умопостроениях допускал лишь одну ошибку: он считал, что он все может, все умеет и все понимает объемнее, чем его соперники. Считая себя идеологическим организатором национал-социалистского движения, Борман свысока относился к деталям, частностям — словом, ко всему, что составляет понятие «профессионализм».

Это его и подвело. Кальтенбруннер, естественно, ничего не сказал Гиммлеру — таково было указание рейхсляйтера. Он повторно приказал немедленно вызвать из Италии Карла Вольфа. В громадном аппарате РСХА ничего не проходило без пристального внимания Мюллера и Шелленберга. Радист при ставке Кальтенбруннера, завербованный людьми Шелленберга, сообщил своему негласному начальству о совершенно секретной телеграмме, отправленной в Италию: «Проследить за вылетом Вольфа в Берлин». Шелленберг понял — тревога! Дальше — проще: разведке не составляло большого труда узнать о точной дате прилета Вольфа. На аэродроме Темпельхоф его ждали две машины: одна — тюремная, с бронированными дверцами и с тремя головорезами из охраны подземной тюрьмы гестапо, а в другой сидел бригадефюрер СС, начальник политической разведки рейха Вальтер Шелленберг. И к трапу самолета шли три головореза в черном с дегенеративными лицами и интеллигентный, красивый, одетый для этого

случая в щегольскую генеральскую форму Шелленберг. К дверце «Дорнье» подкатили трап, и вместо наручников холодные руки Вольфа сжали сильные пальцы Шелленберга.

Тюремщики в этой ситуации не рискнули арестовывать Вольфа: они лишь проследили за машиной Шелленберга. Бригадефюрер СС отвез обергруппенфюрера СС Вольфа на квартиру генерала Фегеляйна, личного представителя Гиммлера в ставке фюрера. То, что там уже находился Гиммлер, не остановило бы Бормана. Его остановило другое: Фегеляйн был женат на сестре Евы Браун и, таким образом, являлся прямым родственником Гитлера. Фюрер даже называл его за чаем «мой милый шурин»...

Гиммлер, включив на всю мощность радио, кричал на Вольфа:

— Вы провалили операцию и подставили под удар меня, ясно вам это?! Каким образом Борман и Кальтенбруннер узнали о ваших переговорах?! Как ищейки этого негодяя Мюллера могли все пронюхать?!

Шелленберг дождался, пока Гиммлер кончил кричать, а после негромко и очень спокойно сказал:

— Рейхсфюрер, вы, вероятно, помните: все частности этого дела должен был подготовить я. У меня все в порядке с операцией прикрытия. Я придумал для Вольфа легенду: он внедрялся в ряды заговорщиков, которые действительно ищут путей к сепаратному миру в Берне. Все частности мы обговорим здесь же. И здесь же под мою диктовку Вольф напишет рапорт на ваше имя об этих раскрытых нами, разведкой СС, переговорах с американцами.

Борман понял, что проиграл, когда Гиммлер и Шелленберг с Вольфом вышли от фюрера. Пожимая руку Вольфу и принося ему «самую искреннюю благодарность за мужество и верность», Борман обдумывал, стоит ли вызвать Штирлица и устроить очную ставку с этим молочнолицым негодяем Вольфом, который предавал фюрера в Берне. Он думал об этом и после того, как Гиммлер увел свою банду, успокоенный победой над ним, Борманом.

Он не смог принять определенного решения. И тогда он вспомнил о Мюллере.

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ Г-НУ Ф. РУЗВЕЛЬТУ

1. ...Я никогда не сомневался в Вашей честности и надежности, так же как и в честности и надежности г-на Черчилля. У меня речь идет о том, что в ходе переписки нами обнаружилась разница во взглядах на то, что может позволить себе союзник в отношении другого союзника и чего он не должен позволить себе. Мы, русские, думаем, что в нынешней обстановке на фронтах, когда враг стоит перед неизбежностью капитуляции, при любой встрече с немцами по вопросам капитуляции представителей одного из союзников должно быть обеспечено участие в этой встрече представителей другого союзника. Во всяком случае, это безусловно необходимо, если этот союзник добивается участия в такой встрече. Американцы же и англичане думают иначе, считая русскую точку зрения неправильной. Исходя из этого, они отказали русским в праве на участие во встрече с с немцами в Швейцарии. Я уже писал Вам и считаю не лишним повторить, что русские при аналогичном положении ни в коем случае не отказали бы американцам и англичанам в праве на участие в такой встрече. Я продолжаю считать русскую точку зрения единственно правильной, так как она исключает всякую возможность взаимных подозрений и не дает противнику возможности сеять среди нас недоверие.

2. Трудно согласиться с тем, что отсутствие сопротивления со стороны немцев на западном фронте объясняется только лишь тем, что они оказались разбитыми. У немцев имеется на восточном фронте 147 дивизий. Они могли бы без ущерба для своего дела снять с восточного фронта 15—20 дивизий и перебросить их на помощь своим войскам на западном фронте. Однако немцы этого не сделали и не делают. Они продолжают с остервенением драться с русскими за какую-то малоизвестную станцию Земляницу в Чехословакии, которая им столько же нужна, как мертвому припарки, но безо всякого сопротивления сдают такие важные города в центре Германии,

как Оснабрюк, Мангейм, Кассель. Согласитесь, что такое поведение немцев является более чем странным и непонятным.

3. Что касается моих информаторов, то, уверяю Вас, это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо. Эти люди многократно проверены нами на деле...»

Штирлиц получил приказ от Шелленберга возвратиться в рейх: необходим его личный рапорт фюреру о той работе, которую он провел по срыву «предательских переговоров изменника» Шлага в Берне.

Штирлиц не мог выехать в Берлин, потому что он каждый день ждал связника из Центра: нельзя продолжать работу, не имея надежной связи. Приезд связника также должен был означать, что с Кэт все в порядке и что его донесение дошло до ГКО и Политбюро. Он покупал советские газеты и поражался: дома всем казалось, что дни рейха сочтены и никаких неожиданностей не предвидится.

А он, как никто другой, особенно сейчас, проникнув в тайну переговоров с Западом, зная изнутри потенциальную мощь германской армии и индустрии, опасался трагических неожиданностей — и чем дальше, тем больше.

Он понимал, что, возвращаясь в Берлин, он сует голову в петлю. Возвращаться туда одному, чтобы просто погибнуть, — это не дело. Штирлиц научился рассуждать о своей жизни со стороны, как о некоей категории, существующей обособленно от него. Вернуться туда, имея надежную связь, которая бы гарантировала немедленный и надежный контакт с Москвой, имело смысл. В противном случае можно было выходить из игры: он сделал свое дело.

17.3.1945 (22 часа 57 минут)

Они встретились в ночном баре, как и было уговорено. Какая-то шальная девка привязалась к Штирлицу. Девка была пьяная, толстая и беспутно-красивая. Она все время шептала ему:

— О нас, математиках, говорят как о сухарях! Ложь!

В любви я Энштейн! Я хочу быть с вами, седой красавец!

Штирлиц никак не мог от нее отвязаться; он уже узнал связника по трубке, портфелю и бумажнику, он должен был наладить контакт, но никак не мог отвязаться от математички.

— Иди на улицу, — сказал Штирлиц. — Я скоро выйду.

Связник передал ему, что Центр не может настаивать на возвращении Юстаса в Германию, понимая, как это сложно в создавшейся ситуации и чем это может ему грозить. Однако, если Юстас чувствует в себе силы, то Центр, конечно, был бы заинтересован в его возвращении в Германию. При этом Центр оставляет окончательное решение вопроса на усмотрение товарища Юстаса, сообщая при этом, что командование вошло в ГКО и Президиум Верховного Совета с представлением о присвоении ему звания Героя Советского Союза за разгадку операции «Кроссворд». Если товарищ Юстас сочтет возможным вернуться в Германию, тогда ему будет передана связь: два радиста, внедренные в Потсдам и Веддинг, перейдут в его распоряжение. Точки надежны, они были «законсервированы» два года назад.

Штирлиц спросил связника:

— Как у вас со временем? Если есть десять минут, тогда я напишу маленькую записочку.

— Десять минут у меня есть — я успею на парижский поезд. Только...

— Я напишу по-французски, — улыбнулся Штирлиц, — левой рукой и без адреса. Адрес знают в Центре, там передадут.

— С вами страшно говорить, — заметил связник, — вы ясновидящий.

— Какой я ясновидящий...

Связник заказал себе большой стакан апельсинового сока и закурил. Курил он неумело, отметил для себя Штирлиц, видимо, недавно начал и не очень-то еще привык к сигаретам: он то и дело сжимал пальцами табак, словно это была гильза папиросы.

«Обидится, если сказать? — подумал Штирлиц, вырвав из блокнота три маленьких листочка. — Пусть обидится, а сказать надо».

— Друг, — заметил он, — когда курите сигарету, — помните, что она отличается от папиросы.

— Спасибо, — ответил связник, — но там, где жил я, теперь сигареты курят именно так.

— Это ничего, — сказал Штирлиц, — это вы меня лихо подлопатили. Молодец. Не сердитесь.

— Я не сержусь. Наоборот, мне очень дорого, что вы так заботливы...

— Заботлив? — переспросил Штирлиц. Он испугался — не сразу вспомнил значение этого русского слова.

«Любовь моя, — начал писать он, — я думал, что мы с тобой увидимся на этих днях, но, вероятно, произойдет это несколько позже...»

Когда он попросил связника подождать, он решил, что сейчас напишет Сашеньке. Видения пронеслись перед его глазами: и его первая встреча с ней во владивостокском ресторане «Версаль», и прогулка по берегу залива, первая их прогулка в душный августовский день, когда с утра собирался дождь и небо сделалось тяжелым, лиловым, с красноватыми закраинами и очень белыми, будто раскаленными, далями, которые казались литым продолжением моря.

Они остановились возле рыбаков — их шаланды были раскрашены на манер японских в сине-красно-желтые цвета, только вместо драконов носы шаланд украшались портретами русоволосых красавиц с голубыми глазами.

Рыбаки только-только пришли с моря и ждали повозки с базара. Рыбины у них были тупорылые, жирные — тунцы. Паренек лет четырнадцати варил уху. Пламя костра было желтоватым из-за того, что липкая жара вобрала в себя все цвета — и травы, и моря, и неба, и даже костра, который в другое время был бы красно-голубым, зримым.

— Хороша будет ушица? — спросил он тогда.

— Жирная уха, — ответил старшина артели, — оттягивает и зеленит.

— Это как? — спросила Сашенька удивленно. — Зеленит?

— А молодой с нее делаешься, — ответил старик, — здоровый... Ну а коли молодо — так оно ж и зелено. Не побрезгуйте откушать.

Он достал из-за кирзового голенища деревянную ложку и протянул ее Сашеньке. Исаев тогда внутренне сжался, опасаясь, что эта утонченная дочка полковника генерального штаба, поэтесса, откажется «откушать» ухи или брезгливо посмотрит на немытую ложку, но

Сашенька, поблагодарив, отхлебнула, зажмурилась и сказала:

— Господи, вкуснотища-то какая, Максим Максимыч!

Она спросила старика артельщика:

— Можно еще?

— Кушайте, барышня, кушайте, — ответил старик, — нам-то она в привычку, мы морем балованы.

— Вы говорите очень хорошо, — заметила Сашенька, дуя на горячую уху, — очень красиво, дедушка.

— Да что вы, барышня, — засмеялся старик, обнажая ряд желтых крупных зубов, — я ж по-старому говорю, как внутри себя слышу.

— Поэтому у вас слова такие большие, — серьезно сказала Сашенька, — не стертые.

Артельщик снова рассмеялся:

— Да нешто слова стереть можно? Это копейку стерешь, пока с рук в руки тычешь, а слово — оно ведь будто воздух, лётает себе и веса не имеет...

...В тот вечер они пошли с Сашенькой на вернисаж: открывали экспозицию полотен семнадцатого века — заводчики Бриннер и Павловский скупили эти шедевры за бесценок в иркутской и читинской галереях. На открытие приехал брат премьера — министр иностранных дел Николай Дионисьевич Меркулов. Он внимательно осматривал живопись, щелкал языком, восхищался, а после сказал:

— Наши щелкоперы болтают, что дикие мы были и неученые! А вот полюбуйтесь — такие картины уж двести лет назад рисовали! И похоже, и каждая деталька прописана, и уж ежели поле нарисовано — так рожью пахнет, а не «бубновым вальтом»!

— Валетом, — машинально поправила его Сашенька. Она сказала это очень тихо, словно бы самой себе, но Максим Максимыч услышал ее и чуть пожал ее пальцы.

Когда министр уехал, все зашумели, перейдя в соседний зал, где были накрыты столы для прессы.

— А говорят, интеллигентных владык у нас нет! — шумел кто-то из газетчиков. — Культурнейший же человек, Меркулов! Воспитанный, образованный! Интеллигент!

Штирлиц хотел написать ей про то, как он до сих пор помнит ту ночь на таежной заимке, когда она сидела возле маленького слюдяного оконца и была громадная луна, делавшая ледяные узоры плюшевыми, уютными,

тихими. Он никогда раньше не испытывал того чувства покоя, какое судьба подарила ему в тревожную, трагическую ночь...

Он хотел сказать ей, как часто он пробовал писать ее лицо: и в карандаше и акварелью. Однажды он пробовал писать ее маслом, но после первого же дня холст изорвал. Видимо, само Сашенькино существо противоречило густой категоричности масла, которое предполагает в портрете не только сходство, но и необходимую законченность, а Сашеньку Штирлиц открывал для себя наново каждый день разлуки. Он вспомнил слова, сказанные ею, семнадцатилетней, и поражался, по прошествии многих лет, глубине и нежности ее мыслей, какой-то их робкой уважительности по отношению к собеседнику — кем бы он ни был. Она и жандармам-то сказала тогда: «Мне совестно за вас, господа. Ваши подозрения безнравственны».

Штирлицу хотелось написать ей, как однажды в Париже на книжных развалах он случайно прочел в потрепанной книжечке: «Мне хочется домой, в огромность квартиры, наводящей грусть. Войду, сниму пальто, опомнюсь, огнями улиц озарюсь...»

Прочитав эти строки, Штирлиц второй раз в жизни заплакал. Он заплакал первый раз, когда, вернувшись из первой своей поездки за кордон, увидел могилу отца. Старик начинал с Плехановым. Его повесили белоказаки весной двадцать первого года. Он заплакал, когда остался один, плакал по-детски, жалобно всхлипывая, но не этого стыдился он, а просто ему казалось, что его горе должно жить в нем как память. Отец его принадлежал многим людям, а вот память о папе принадлежала ему одному, и это была особая память, и подпускать к ней Штирлиц никого не хотел, да и не мог. А тогда в Париже на книжном развале он заплакал неожиданно для самого себя, потому что в этих строках он увидел чувство, которое было так нужно ему и которого он — за всю жизнь свою — так и не пережил, не ощутил. За строчками этими он увидел все то, что он так явственно представлял себе, о чем он мечтал, но чего не имел — ни одной минуты.

Ну как же сейчас написать Сашеньке, как осенью — он точно помнил тот день и час: 17 октября сорокового года — он пересекал Фридрихштрассе и вдруг увидел Сашеньку, и как у него заледенели руки, и как он пошел к ней, забыв на мгновение про то, что он не мо-

жет этого делать, и как, услыхав ее голос и поняв, что это не Сашенька, тем не менее шел следом за той женщиной, шел, пока она дважды не обернулась — удивленно, а после — рассерженно.

Ну как написать ей, что он тогда три раза просил Центр отозвать его и ему обещали это, но началась война...

Как может он сейчас все видения, пронесшиеся перед глазами, уместить в слова?

И он начал переводить строчки Пастернака на французский и писал их, как прозу, в строку, но потом понял, что делать этого нельзя, потому что умный враг и эти стихи может обратить в улику против парня, который пьет апельсиновый сок и курит сигарету так, как это сейчас модно там, где он жил. И он положил этот листок в карман (машинально отметив, что сжечь его удобнее всего будет в машине) и приписал к тем строчкам, которыми он начал письмо: «Это произойдет, как я думаю, в самом ближайшем будущем».

«Как можно словами выразить мою тоску и любовь? — продолжал думать он. — Они стертые, эти мои слова, как старые монеты. Она любит меня, поэтому она поверит и этим моим стертым гривенникам...

Нельзя мне ей так писать: слишком мало мы пробыли вместе, и так долго она живет теми днями, что мы были вместе. Она и любит-то меня того, дальнего, — так можно ли мне писать ей так?»

— Знаете, — сказал Штирлиц, пряча листочки в карман, — вы правы, не стоит это тащить вам через три границы. Вы правы, простите, что я отнял у вас время.

18.3.1945 (16 часов 31 минута)

Начальнику IV отдела управления имперской безопасности обергруппенфюреру СС Мюллеру
Прага. Сов. секретно. Напечатано в 2-х экземплярах.

Мой дорогой обергруппенфюрер!

После получения исторического приказа фюрера о превращении каждого города и каждого дома в неприступную крепость я заново изучил ситуацию в Праге, которая должна стать — наравне с Веной и Альпийским редутом — цент-

ром решительной битвы против большевизма.

К работе по превращению Праги в форпост предстоящих сражений мною привлечен полковник армейской разведки Берг, который, как мне известно, был знаком Вам по активной проверке в связи с делом врага нации Канариса. Он оказывает мне реальную помощь потому еще, что с ним работает завербованный русский агент Гришанчиков, высоко оцененный сотрудником центрального аппарата штандартенфюрером СС фон Штирлицем. Этот Гришанчиков ныне весьма активно исследует людей из армии генерала Власова, составляя для меня весьма интересные досье.

Поскольку работа двух этих людей связана с высшими секретами рейха, просил бы Вас организовать дополнительную проверку как полковника Берга, так и агента Гришанчикова.

Позволю себе также просить Вас сообщать мне изредка все относящееся к работе IV отдела, связанное с пражским узлом, понимая при этом, что мои обязанности не входят ни в какое сравнение с Вашей поистине гигантской работой по подготовке нашей окончательной победы.

Хайль Гитлер!
Ваш *Крюгер.*

Мюллер недоумевающе прочитал это письмо и написал рассерженную резолюцию: «Айсману. Никакого Берга я не знал и не знаю. Тем более русского Гришанчикова. Организуйте проверку и не отрывайте меня более такого рода деталями от серьезной работы. *Мюллер».*

Получив этот документ, Айсман споткнулся на том месте, где Крюгер писал, что русский Гришанчиков был высоко оценен Штирлицем.

Айсман позвонил в архив и сказал:

— Пожалуйста, подготовьте мне все, абсолютно все материалы о поездке Штирлица в Краков и о его контактах с лицами низшей расы...

18.3.1945 (16 часов 33 минуты)

Мотор «хорьха» урчал мощно и ровно. Бело-голубой указатель на автостраде показывал двести сорок

семь километров до Берлина. Снег уже сошел. Земля была устлана ржавыми дубовыми листьями. Воздух в лесу был тугим, синим.

«Семнадцать мгновений апреля, — транслировали по радио песенку Марики Рокк, — останутся в сердце твоем. Я верю, вокруг нас всегда будет музыка, и деревья будут кружиться в вальсе, и только чайка, подхваченная стремниной, утонет, и ты не сможешь ей помочь...»

Штирлиц резко затормозил. Движения на трассе не было, и он бросил свой автомобиль, не отогнав его на обочину. Он вошел в хвойный лес и сел на землю. Здесь пробивалась робкая ярко-зеленая первая трава. Штирлиц осторожно погладил землю рукой. Он долго сидел на земле и гладил ее руками. Он знал, на что идет, дав согласие вернуться в Берлин. Он имеет поэтому право долго сидеть на весенней холодной земле и гладить ее руками...

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

...Осенью 1989 года друзья из ФРГ передали мне архивный документ, в котором говорится, что гроссадмирал Дениц приезжал, — под покровом строжайшей тайны, — в Швейцарию, как раз в те дни, когда Вольф вел переговоры с Даллесом.

Документация эта не германская; пришла от ученых США; попытаться найти факты, с кем встречался там Дениц, — задача историков нового поколения, да, возможно, и литераторов тоже, ибо именно Дениц был назначен Гитлером своим преемником. Почему не Борман? Риббентроп? Лей? Почему не ветераны национал-социалистской рабочей партии Германии стали преемниками фюрера, а военный, вступивший в ряды партии лишь в конце тридцатых годов? Кто и почему настоял именно на этой кандидатуре?

Закулисная борьба за власть в рейхе, — в самые последние дни гитлеризма, — стала еще более загадочной после того, как был обнаружен этот документ.

Москва — Берлин — Нью-Йорк
1968, 1989

СОДЕРЖАНИЕ

Майор «Вихрь» 5

Семнадцать мгновений весны 309

Семенов Ю.

С30 Собрание сочинений: В 8-и томах: Т. 3: Политические хроники (1944—1945). — М.: МШК МАДПР, ДЭМ, 1991. — 576 с.
ISBN 5-85207-023-8

В 3-й том вошли политические хроники: «Майор «Вихрь» и «Семнадцать мгновений весны». В первом произведении повествуется о спасении Советской Армией польского города Кракова. Хроника «Семнадцать мгновений весны» рассказывает о попытках сговора нацистских главарей с наиболее агрессивной частью военно-промышленного комплекса США.

Для широкого круга читателей.

С $\frac{4702010201—009}{МШК\ МАДПР,\ ДЭМ}$ Без объявл. ББК 84.3Р7

Литературно-художественное издание

Юлиан Семенович Семенов

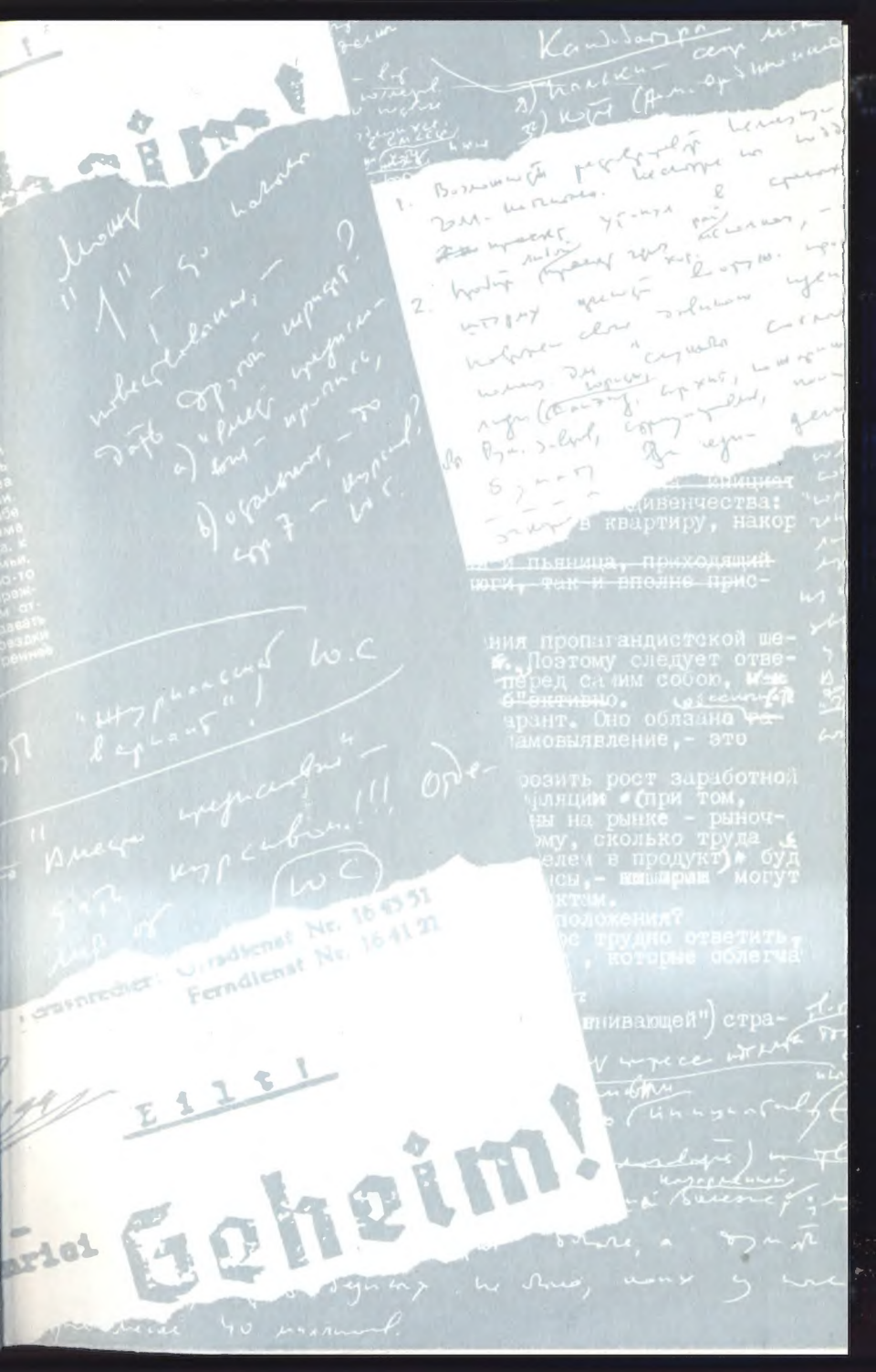
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ
Том третий. Политические хроники
(1944—1945)

Редактор *И. В. Стабникова*
Оформление художников *В. М. Белякова, В. С. Помочилина, М. Н. Шестопола*
Художественно-технический редактор *Т. К. Койранская*
Корректоры *Т. П. Поленова, А. Л. Курочкина*

Н/К

Сдано в набор 17.01.91. Подписано в печать 20.05.91. Формат 84×108/32. Бумага Типографская № 1. Гарнитура Литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 30,87. Уч.-изд. л. 32,81. Тираж 300 000 экз. (200 000 экз. по подписке). Заказ № 41. С-2. Изд. № 33—ДЭМ. МШК МАДПР, 119021, Москва, Зубовский бульвар, 4.

Ярославский полиграфкомбинат Министерства печати и информации Российской Федерации. 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.


Eilt!
Geheim!